

Dr. H. ROUBIKH
LAUSANNE
Av. Moussines 38
Teleph. No. 53.63

P 8
865

801-12
538

95
95

КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ПО ИСТОРИИ
НОВЕЙШЕЙ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ЗА 30 ЛЕТ

ПОЭЗИЯ :: КРИТИКА :: БЕЛЛЕТРИ-
СТИКА :: ДОКУМЕНТЫ :: МАНИ-
:: ФЕСТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГРУПП ::

СОСТАВИЛ, СНАБДИЛ ПРИМЕЧА-
НИЯМИ И ВВОДНЫМИ СТАТЬЯМИ

В. ЛЬВОВ-РОГАЧЕВСКИЙ

3413

Второе исправленное и дополненное издание

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
ЛЕНИНГРАД :: 1925

ПРЕДИСЛОВИЕ

КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Смена основных периодов, на которые делится история русской литературы 19—20 в., связана со сменой классов, игравших руководящую роль в хозяйственной жизни страны. След за самым богатым и ярким периодом — усадебным, связанным с дворянской культурой, приходит период, связанный с городом, с ростом товарно-капиталистических отношений в буржуазной России, с писателем-разночинцем, сыном города, разночинцем-народником радикальной демократической окраски, а позднее с писателем буржуазной складки, эстетом индустриалистом. Деревенскую усадьбу сменяет городской особняк.

С начала 90-х г.г., а в особенности после революции 1905 г., русская литература развивалась под знаком революционной борьбы пролетариата и крестьянства против дворянско-буржуазного строя, и состав писательской среды резко изменяется, а вместе с тем резко изменяется и основной тон темы, и самое идеологическое содержание произведений за последние 30 лет, столь богатых событиями чрезвычайной исторической важности.

За эти 30 лет, начиная с Максима Горького, в литературу вступают новые, свежие силы. Молодые писатели постепенно переходят от демократизма к социализму, от народничества к марксизму. Творчество молодое, едва расцветающее, дает, однако, много ценного материала, который пора собрать и изучить.

За последние годы идет дифференциация в новой писательской среде. Образуются группы новокрестьянских и пролетарских писателей, внутри этих групп возникают новые группировки. От самоуверенного захваливания новых писателей переходят к резким и несправедливым нападкам и огульному отрицанию их значения.

В этой книге мы даем документы и манифесты групп, автобиографии и письма писателей, критические статьи новых критиков, произведения, наиболее ценные для характеристики достижений новых писателей.

Перед нами в исторической перспективе раскрывается рост пролетарских и новокрестьянских поэтов. От наивных стихов и элементарных рассказов, от подражаний и заимствований, от эклектики и пестроты стилей новые писатели переходят к поискам большого, простого, четкого и ясного — поворот к нашим классикам, к классической простоте, к ясности и ясности намечается все резче в последние годы.

Эта книга дает материал и новым читателям, и новым писателям для чтения и проработки.

Второй том посвящен, с одной стороны, писателям коммунистам из непролетарской среды, а, с другой — буржуазно-демократическим группировкам и даст знакомство с рядом школ, с их приемами, их идеологией. Сюда войдут произведения символистов, акмеистов, имажинистов, неоклассиков, сюда же войдут футуристы и представители так называемого Лефа, конструктивисты. «Серapiионовы братья», Б. Пильняк, А. Яковлев, А. Малышкин, М. Козырев, Леонов, Бабель, Сейфуллина, П. Романов и другие. Второе издание выходит в дополненном виде. Разрослась глава о Ширяевце-Абрамове, умершем в 1924 г., вошла в книгу очень красочная автобиография А. Свирского, внесена новая глава «Комсомольцы». С другой стороны, творчество Сейфуллиной, с которой мы бегло познакомились в I-м томе, будет подробно освещено во втором томе, в главе о левых попутчиках.

Очень прошу молодых авторов присылать мне свои автобиографии и благодарю всех товарищей писателей, которые дали мне материал для этой книги.

1924 г., 10 октября.

В. Львов-Рогачевский.

ОТДЕЛ I-й

Предреволюционная эпоха и 1905 г.

ПЕРВЫЕ ПИСАТЕЛИ-ВЫХОДЦЫ

:: ИЗ НОВЫХ КЛАССОВ ::

ВЕСЕННИЕ МЕЛОДИИ

В саду, за окном моей комнаты, по голым ветвям акаций прыгают воробьи и оживленно разговаривают, а на коньке крыши соседнего дома сидит почтенная ворона и, слушая говор серых птишек, важно покачивает головой. Теплый воздух, пропитанный солнечным светом, приносит мне в комнату каждый звук, и я слышу торопливный и негромкий шум ручья, слышу тихий шорох ветвей, понимаю, о чем воркуют голуби на карнизе моего окна, и вместе с воздухом мне в душу льется музыка весны.

— Чик, чирик, — говорит старый воробей, обращаясь к товарищам. — Вот и снова мы дождались весны. Не правда-ли? чик, чирик.

— Фа-акт, фа-акт, — грациозно потягивая шейю, отзывается ворона.

Я хорошо знаю эту солидную птицу: она всегда выражается кратко и не иначе, как в утвердительном смысле. Будучи от природы глупой, она еще и пуганая, как большинство ворон. Она занимает в обществе прекрасное положение и каждую зиму устраивает что-нибудь благотворительное для старых голубей. Я знаю воробья: хотя с виду он кажется легкомысленным и даже либералом, но в сущности эта птица себе на уме. Он прыгает около вороны с виду почтительно, но в глубине души хорошо знает ей цену и никогда не прочь рассказать о ней несколько пикантных историй.

На карнизе у окна молодой щеголеватый голубь горячо убеждает скромную голубку: — Я умру от разочарования, если ты не разделяешь со мною любовь мою.

— А знаете, сударыня, чижики прилетели, — сообщает воробей.

— Фа-акт.

— Прилетели и шумят, порхают и щебечут...

— Ужасно беспокойные птицы. И синицы явились за ними. Как всегда, хе, хе, хе.

— Вчера, знаете, я спросил в шутку одного из них: что, голубчик, вылетели? — Ответил дерзостью. В этих птицах совершенно нет уважения к чину, званию, общественному положению собеседника. Я надворный воробей.

Но тут из-за угла трубы на крышу неожиданно явился молодой ворон и вполголоса отрапортовал:

— Внимательно прислушиваясь по долгу службы к разговорам всех, наполняющих воздух, воду и недра земли творений, и неукоснительно следя за их поведением, честь имею донести, что означенные чижики громко щебечут о всем и осмеливаются надеяться на якобы скорое обновление природы.

— Чик-чирик, — воскликнул воробей, беспокойно оглядываясь на доносителя.

А ворона благонамеренно покачала головой.

— Весна уже была, она была уже не однажды — сказал воробей. А на счет обновления всей природы это... конечно, приятно... если происхождения с разрешения тех сил, коим надлежит сие ведать.

— Фа-акт, — сказала ворона, окинув собеседников благонамеренным оком.

— К вышеизложенному должен добавить, — продолжал ворон, — означенные чижики выражали недовольство по поводу того, что ручьи, из которых они утоляют жажду, якобы мутны; некоторые из них дерзуют даже мечтать о свободе...

— Ах, это они всегда так, — воскликнул старый воробей. — Это от молодости у них, это ничуть не опасно. Я тоже был молод и тоже мечтал... о ней. Разумеется, скромно мечтал... Но потом это прошло. Явилась другая «она», более реальная... хе, хе, хе... и знаете, более приятная, более необходимая воробьям... хе, хе...

— Э-ам, — раздалось внушительное крахтение. На ветвях липы явилась действительный статский сницирь; он милостиво раскланялся с птицами и заспорил: — Э-то, замечаете ли вы, господа, в воздухе пахнет чем-то, э?

— Весенний воздух, ва-ство, — сказал воробей. А ворона только склонила голову на бок и крикнула звуком нежным, как блянные овцы.

— Н-да, вчера за винтом тоже говорил один потомственный почетный филин... чем-то, говорит, пахнет... А я отвечаю: заметим, понюхаем, разберем. Резонно, э?

— Точно так, ваше-ство.

— Вполне резонно, — согласился почтительно старый воробей. Всегда, ваше-ство, надо подождать. Солдская птица всегда ждет.

На пропалню сада спустился с неба жаворонок и, озабоченно беая по ней, забормотал:

— Заря своей улыбочкой нежно гасит в небе звезды... ночь бледнеет, ночь трепещет, и, как лед на солнце, тает тьма ночной покров тяжелей...

Как легко и сладко дышит сердце, полное надежд, встрече света и свободы...

— Это что за птица? — спросил сницирь, прищуриваясь.

— Жаворонок, ваше-ство, — строго сказал ворон из-за трубы.

— Поет, ваше-ство, — снисходительно добавил воробей. Сницирь искоса посмотрел на поэта и прохрюпал:

— М-м... какой серый... прохвость. Он что-то там насчет солнца, свободы прошелся, кажется?

— Так точно, ваше-ство, — подтвердил ворон, — занимается возбуждением неосновательных надежд в сердцах молодых птенцов, ваше-ство.

— Предосудительно и... глупо.

— Совершенно справедливо, ваше-ство, — отозвался старый воробей, — глупо-с. Свобода, ваше-ство, суть нечто неопределенное и, так сказать, неуловимое.

— Однако, если не ошибаюсь, вы сами к ней... зывали.

— Фа-акт, — вдруг крикнула ворона.

Воробей смутился.

— Действительно, ваше-ство, однажды воззвал, но при смягчающих вину обстоятельствах...

— А... то-есть как?

— Тихо сказал: да здравствует свобода, и тотчас же громко добавлял: в пределах законности.

Сницирь посмотрел на ворона.

— Так точно, ваше-ство, — ответил ворон.

— Я, ваше-ство, будучи надворным воробьем, не могу себе позволить серьезного отношения к вопросу о свободе, ибо сей вопрос не значится в числе разрабатываемых ведомством, в котором я имею честь служить...

— Фа-акт, — снова каркнула ворона. Ей все равно, что подтверждать...

А по улице текли ручьи и нелюбимую тихую песню о реке, куда они вольются в конце пути, и о своем будущем: «широкие, быстрые волны нас примут, обнимут и в море с собой унесут, и снова, быть может, нас в небо поднимут горячего солнца лучи, а с неба мы снова на землю надем прохладной росой и в ночи снежинками или обильным дождем».

Солнце, великолепное, ласковое солнце весны, улыбается в ясном небе улыбочку бога, полного любви, пылающего страстью творчества.

В углу сада, на ветвях старой липы, сидит стайка чижиков, и один из них вдохновенно поет товарищам где-то слышанную им песню о Буревестнике:

Буревестник.

«Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То волны крылом касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, — и тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике жажда бури. Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике. Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем.

Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны в высоту навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объёмом крепким и бросает их с размахом в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады. Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела, пронзает тучи, пену волн крылом срывает. Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает. В гневном грома, — чужий демон, — он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, нет, не скроют! Ветер воет... Гром грохочет. Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит

стрелы молний, и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.

— Буря. Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник реет гордо между молний над ревущими снежным морем: то кричит пророк победы.

Пусть сильнее грянет буря...¹

Максим Горький.

1900 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Максим Горький — вестник революции
1905 года

I

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА 1897 г.¹

(Из архива «Критико-биограф. Словаря»)

Родился 14 марта 1869 г. в Нижнем-Новгороде. Отец — сын солдата, мать — мещанка. Дед со стороны отца был офицером, разжалован Николаем I за жестокое обращение с нижними чинами. Это был человек настолько крутой, что мой отец с десятилетнего возраста до семнадцати лет пять раз бегал от него. Последний раз отцу удалось убежать из семьи своей навсегда — он пешком пришел из Тобольска в Нижний и здесь поступил в ученики к драпировщику. Очевидно, у него были способности, и он был грамотен, ибо уже двадцати двух лет пароходство Колчина (ныне Карповой) назначило его управляющим своей конторой в Астрахань, где в 1873 г. он умер от холеры, которой заразился от меня. По рассказам бабушки, отец был умный, добрый и очень веселый человек.

Дед со стороны матери начал свою карьеру бурлаком на Волге, через три путины был уже приказником на караване балахнинского купца Заева, потом занялся окраской пряжи, разжился и открыл в Нижнем красивое заведение на широких началах. Вскоре он имел в городе несколько домов и три мастерских для набойки и окраски материи, был выбран в цеховые старшины, служил в этой должности три трехлетия, после чего отказался, оскорбленный тем, что его не выбрали в ремесленные головы. Он был очень религиозен, до жестокости деспотичен и болезненно скуп. Жил 92 года и за год перед смертью сошел с ума, в 1888 г.

Отец и мать обвенчались «самокруткой», ибо дед не мог, конечно, выдать свою любимую дочь за безродного человека с сомнительным будущим. Мать моя на мою жизнь никакого влияния не имела, ибо, считая меня причиной смерти отца, не любила меня и, вскоре выйдя замуж второй раз, уже совершенно сдала меня на руки дела, который и начал мое воспитание с Псалтыря и Часослова. Потом, семи лет, меня отдали в школу, где я учился пять месяцев. Учился плохо, школьные порядки ненавидел, товарищей тоже, ибо всегда любил уединение. Заразившись в школе оспой, я кончил учение и более уже не возобновлял его. В это время мать моя умерла от скоротечной чахотки, дед же разорился. В семье его, очень большой, так как с ним жили два сына женатые и имевшие детей, меня никто не любил, кроме бабушки, изумительно доброй и самоотверженной старухи, о которой всю жизнь буду вспоминать с чувством любви и уважения к ней. Дядья мои любили жить широко, т.-е. много и хорошо пить и есть. Напившись, обыкновенно дрались между собой или с гостями, которых у нас всегда бывало много, или же били

¹ Это произведение является как бы эпитафией к целой эпохе. Оно состоит из двух частей. Стихотворение в прозе «Весенние мелодии» появилось в разгар студенческого движения и ходило в бесчисленных списках, как исстариально. В 1908 г. было напечатано в 8-м книжке приложения к журналу «Пробуждение». Вторая часть произведения: «Песня о Буревестнике» появилась в журнале «Жизнь» за 1900 г., кн. IV. Эта песня — популярнейшее произведение М. Горького — вызвала цензурные кары против журнала «Жизнь». Это — гимн во славу грядущей революции. М. Горький явился пророком победы, и его недаром прозвали «Буревестником».

В. Л.-Р.

¹ Русская литература XX века 1890—1910 г. Под редакцию проф. Венгерова.

своих жен. Один дядя вколотил в гроб двух жен, другой — одну. Иногда и меня били. Среди такой обстановки о каких-либо умственных влияниях не может быть и речи, тем более, что все мои родственники — народ полуграмотный.

Восьми лет меня отдали «в мальчики» в магазин обуви, но месяца через два я сварил себе руки кипящими щами и был отослан хозяином вновь к делу. По выздоровлении меня отдали в ученики к чертежнику, дальнему родственнику, но через год, вследствие очень тяжелых условий жизни, я убежал от него и поступил на пароход в ученики к повару. Это был гвардии отставной унтер-офицер, Михаил Антонович Смуры, человек сказочной физической силы, грубый, очень начитанный; он возбудил во мне интерес к чтению книг. Книги и всякую печатную бумагу я ненавидел до этой поры, но побоями и ласками мой учитель заставил меня убедиться в великом значении книги и полюбить ее. Первая, понравившаяся мне до безумия книга — «Предание о том, как солдат спас Петра Великого». У Смурого был целый сундук, наполненный преимущественно маленькими томичками в кожаных переплетах, и это была самая странная библиотека в мире. Эккарттаузен лежал рядом с Некрасовым, Анна Радклиф — с томом «Современника», тут же были «Искра» за 64 год, «Камень веры» и книжки на малорусском языке. С этого момента моей жизни я начал читать все, что попадало под руку; десяти лет начал вести дневник, куда заносил впечатления, выносимые из жизни и книг. Дальнейшая жизнь очень пестра и сложна: из поварят я снова возвратился к чертежнику, потом торговал иконами, служил на Грязе-Царицынской железной дороге сторожем, был крендельщиком, булочником, случалось жить в трущобах, несколько раз отправлялся пешком путешествовать по России. В 1888 г., живя в Казани, впервые познакомился со студентами, участвовал в кружках самообразования; в 1890 г. я почувствовал себя не на своем месте среди интеллигенции и ушел путешествовать. Шел из Нижнего до Царицына, Донской областью, Украиной, зашел в Бессарабию, оттуда вдоль южного берега Крыма на Кубань, в Черноморье. В октябре 1892 г. жил в Тифлисе, где в газете «Кавказ» напечатал свой первый очерк «Макар Чудра». Меня много хвалили за него, и, переехав в Нижний, я попробовал писать маленькие рассказы для казанской газеты «Волжский Вестник». Их охотно принимали и печатали. Послал очерк «Емельян Пиляй» в «Русские Ведомости» — тоже приняли и печатали. Мне, пожалуй, следует заметить здесь, что легкость, с которой провинциальные газеты печатают произведения «начинающего», воистину, изумительна, и я полагаю, что она должна свидетельствовать или о крайней доброте г.г. редакторов или же о полном отсутствии у них литературного чутья.

В 1895 г. в «Русском Богатстве» (книга 6-я) напечатан мой рассказ «Челкаш» — о нем отозвалась «Русская Мысль» — не помню в какой книге. В том же году в «Русской Мысли» помещен мой очерк «Ошибки» — отзывом не было, кажется. В 1896 г. в «Новом Слове» — очерк «Тоска» — отзыв в сентябрьской книге «Образования». В марте текущего года в «Новом Слове» — очерк «Коновалов».

До сей поры еще не написал ни одной вещи, которая бы меня удовлетворяла, а потому произведениям моих не сохраняю — ерго: прислать не могу (Курсив мой. С. В.). Замечательных событий в жизни моей, кажется, не было, а, впрочем, я неясно представляю себе, что именно следует подразумевать под этими словами.

Крым, Алупка, д. Хаджи-Мустафа.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА ИЗ ЖУРНАЛА «СЕМЬЯ»

№ 36 за 1899 г.

Этой заметке профессор С. А. Венгеров предпослал несколько строк: «кое-какие повторения только-что приведенного имеются в другой ранней и ценной автобиографической заметке (частью написанной самим Горьким, частью составленной с его слов), помещенной в № 36 «Семьи» за 1899 г. Но много тут и нового, и характерного, почему мы и воспроизводим эти совершенно затерянные в никому неизвестном журнальчике сведения. Предлагаю читателю опять обратить внимание на общий тон. Автобиография «Семья» отделена от автобиографии моего архива всего полутора годами, но какая перемена произошла за этот короткий промежуток времени в литературном положении начинающего беллетриста. И тон попрежнему очень скромный, но вместе с тем и счастливо-умиленный».

«Родился 14 марта 1868 г. или 9-го года¹ в Нижнем, в семье красильщика Василия Васильевича Каширина от дочери его Варвары и Пермского мещанина Максима Савватиева Пешкова, по ремеслу драпировщика или обойщика. С тех пор с честью и незапятнанно носил звание цехового малярного цеха. Отец умер в Астрахани, когда мне было 5 лет; мать в Кунавине — слободе.

По смерти матери дедушка отдал меня в магазин обуви, в ту пору имел я 9 лет от роду и был дедом обучен грамоте по Псалтири и Часослову. Из «мальчиков» сбежал и поступил в ученики к чертежнику, — сбежал и поступил в иконописную мастерскую, потом на пароход в поварята, потом в помощники садовника. В сих занятиях прожил до пятнадцати лет, все время занимаясь усердно чтением классических произведений неизвестных авторов, как-то: «Гуак или непреоборимая верность», «Андрей Бесстрашный», «Япанча», «Яшка Смертинский» и т. п.

На пароходе, когда я был поваренком, на образование мое сильно влиял повар Смуры, который заставлял меня читать: жития святых, Эккарттаузена, Гоголя, Глеба Успенского, Дюма-отца и многие книги франк-масонов. До повара терпеть не мог книг, всякой печатной бумаги, до паспорта включительно. После 15 лет возмел я свирепое желание учиться, с какою целью поехал в Казань, предполагая, что науки желающим даром преподаются. Оказалось, что оное не принято, вследствие чего я поступил в крендельное заведение, по 3 руб. в месяц. Это самая тяжелая работа из всех опробованных мною. В Казани близко сошелся и долго жил с «бывшими людьми»: зри «Коновалов» и «Бывшие люди». Работал на Устье, пилил дрова, таскал грузы и, прибавлю, почитывал всевозможные книжки, которыми пичкали добрые люди».

Как тяжело жилось Горькому, можно судить по тому, что в 1888 г. он покушался на самоубийство, не имевшее, к счастью, смертельного исхода.

¹ Максим Горький путает дату своего рождения, как и дату своего выступления в печати. В «Записи из метрической книги Варваринской церкви Нижнего-Новгорода за 1868 г. № 16» дата рождения отнесена к 16 марта 1868 г. Выступила в печати М. Горький в 1892 г. в № 242 Тифлисской газеты «Кавказ», от 12 сентября, очерком «Макар Чудра».

«Прохворав, сколько требовалось, я ожил, дабы приняться за торговлю яблоками».

После Казани Горький пробует счастья в Царицыне, где занимает должность жел.-дор. сторожа, а затем опять появляется, по случаю призыва, в Нижнем. В солдаты, однако, Горький не попадает: «дырявых не берут», а делается продавцом баварского кваса. Наконец, многострадавший член малярного цеха какими-то судьбами пристраивается писмоводителем у присяжного поверенного Ланина.

«Влияние его на мое образование было неизмеримо огромное. Это высоко-образованный и благороднейший человек, коему я обязан больше всех».

Как ни жилось хорошо А. М. у Ланина, где он отдохнул, наконец, душой, но его снова потянуло к бродячей жизни. Бродил он и скитался немало, причем исколесил чуть-ли не всю Россию. Где он только ни бывал, каких работ ни делывал, чего ни насмотрелся и ни натерпелся. Об этом могут свидетельствовать хотя бы очерки «Чудра» и «Челкаш», «Мальва», «Пиляй», «Старуха Изергиль», «Мой спутник», «Проходимец», «Песнь о Соколе» и другие.

На мысль стать писателем впервые натолкнул Горького его бывший знакомый В. М. Каложный, которому он тоже многим обязан. Первою вещью, появившейся в печати, был рассказ «Макар Чудра», напечатанный в октябре 1892 или 1893 г. в газете «Кавказ». Скитания привели Горького в Тифлис, где он работал в жел.-дор. мастерских. Вернувшись затем в родные края, Горький начал помещать свои очерки в поволжских газетах. Может быть и здесь, в новой для него обстановке литературы, для Горького начался бы целый ряд в своем роде скитаний, если-бы не счастливый случай.

«В Нижнем в 93 — 94 г. я познакомился с В. Г. Короленко, которому обязан тем, что попал в большую литературу. Он очень много сделал для меня, многое указал, многому научил».

Первою вещью Горького, напечатанною в толстом журнале, был «Челкаш», попавший, благодаря В. Г. Короленко, в «Русское Богатство». Вещь эта решила судьбу Горького.

— Напишите об этом, непременно напишите. — Горького учил писать Короленко, а если Горький мало усвоил от Короленко, в этом виновен он, Горький. Пишите: первый учитель Горького был солдат, — повар Смурый, второй — адвокат Ланин, третий — Каложный, человек «вне общества», четвертый — Короленко.

«Больше не хочу писать. Я расстроился и расстроился при воспоминании об этих великодушных людях».

ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШАГИ ГОРЬКОГО

(«Автобиографические рассказы»)

(Отрывки)

I

ВРЕМЯ КОРОЛЕНКО

... Однажды в тяжелый день я решил, наконец, показать мою поэму В. Г. Короленко. Трое суток играла снежная буря, улицы были заромождены сугробами, крыши домов — в пыльных шапках снега, скворешни — в серебра-

¹ «Красная Новь», 1923 г., кн. I, стр. 9—12.

ных чепчиках, стекла окон затянуты кружевами, а в белесом небе сияло, ослепляя, жгуче-холодное солнце.

Владимир Галактионович жил на окраине города, во втором этаже деревянного дома. На панели, перед крыльцом, умело работал широкой лопатой коренастый человек в меховой шапке странной формы, с наушниками, в коротком, — по колени — плохо сшитом тулупчике, в тяжелых вятских валенках.

Я полез сквозь суроб на крыльцо.

— Вам кого?

— Короленко.

— Это я.

Из густой курчавой бороды, богато украшенной инеем, на меня смотрели карие хорошие глаза. Я не узнал его. Встретив на улице, я не видел его лица. Опираясь на лопату, он молча выслушал мои объяснения, причины визита, потом прищурился, вспоминая.

— Знакомая фамилия! Это не о вас ли писал мне, года два тому назад, некто Ромась, Михайло Антонов? Так!

Входя на лестницу, он спросил:

— Не холодно вам? Очень легко одеты.

И — не громко, как бы беседуя сам с собой:

— Упрямый мужик Ромась! Умный хохол. Где он теперь? В Вятке? Ага...

В маленькой угловой комнатке, окнами в сад, тесно заставленной двумя рабочими конторками, шкафами книг и тремя стульями, он, отирая платком мокрую бороду и перелистывая мою толстую рукопись, говорил:

— Почитаем!! Странный у вас почерк; с виду — простой, четкий, а читается трудно.

Рукопись лежала на коленях у него, он искоса поглядывал на ее страницы, на меня — мне было неловко.

— Тут у вас написано — «зигзаг», это... очевидно, описка, такого слова нет, есть «зигзаг»...

Маленькая пауза перед словом «описка» дала мне понять, что В. Г. Короленко — человек, умеющий падить самолюбие ближнего.

— Ромась писал мне, что мужики пытались порохом взорвать его, а потом дождаги, — да? Вы жили с ним в это время?

Он говорил и перелистывал рукопись.

— Иностранные слова надо употреблять только в случаях совершенной неизбежности, вообще же, лучше избегать их. Русский язык достаточно богат, он обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли.

Это он говорил, между прочим, все расспрашивая о Ромасе, о деревне.

— Какое суровое лицо у вас! — неожиданно сказал он, — и, улыбаясь, спросил:

— Трудно живется?

Его мягкая речь значительно отличалась от грубоватого, окающего волжского говора, но я видел в нем странное сходство с волжским лопатном, — оно было не только в его плотной, широкогрудой фигуре и зорком взгляде умных глаз, но и в благодушном спокойствии, которое так свойственно людям, наблюдающим жизнь, как движение по извилистому руслу реки среди скрытых мелей и камней.

— Вы часто допускаете грубые слова, — должно быть, потому, что они кажутся вам сильными? Это бывает!

Я сказал, что знаю: грубость свойственна мне, но у меня не было ни времени обогатить себя мягкими словами и чувствами, ни места, где бы я мог сделать это.

Внимательно взглянув на меня, он продолжал ласково:

— Вы пишете: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться. Раз это так»... «Раз—так»,—не годится. Это—неловкий, некрасивый оборот речи. Раз-так, раз-эдак,—вы слышите?

Я впервые слышал все это и хорошо чувствовал правду его замечаний. Далее оказалось, что в моей поэме кто-то сидит «орлом» на развалинах храма.

— Место мало подходящее для такой поэмы, и она не столько величественна, как неприлична, — сказал Короленко улыбаясь. Вот он нашел еще «описку», еще и еще. Я был раздавлен обилием их и, должно быть, покраснел, как раскаленный уголь. Заметив мое состояние, Короленко рассказал мне, смеясь, о каких-то ошибках Глеба Успенского. Это было великодушие, — а я уже ничего не слушал и не понимал, желая только одного — бегать от срама. Известно, что литераторы и актеры самолюбивы, как пуделя.

Я ушел и несколько дней прожил в мрачном угнетении духа.

Я видел какого-то особенного писателя: он ничем не похуж на распатанного и сердечно-милого Каронина, не говоря о смешном Старостине. В нем нет ничего общего с угрюмым Сведенцовым-Ивановичем, автором тяжеловесных рассказов, который говорил мне:

— Рассказ должен ударить читателя по душе, как палкой, чтобы читатель чувствовал, какой он скот!..

В этих словах было нечто сродное моему настроению. Короленко первый сказал мне веские словечки слова о значении формы, о красоте фразы; я был удивлен простой, понятной правдой этих слов, и, слушая его, жутко почувствовал, что писательство — нелегкое дело. Я сидел у него более двух часов, он много сказал мне, но — ни одного слова о сущности, о содержании моей поэмы. И я уже чувствовал, что ничего хорошего не услышу о ней.

Недели через две рыженький статистик Дрягин — милый и умный — принес мне рукопись и сообщил:

— Короленко думает, что слишком запугал вас. Он говорит, что у вас есть способности, — но — надо писать с натуры, не философствуя. Потом — у вас есть юмор, хотя и грубоватый, но — это хорошо! А о стихах он сказал — это бред!

На обложке рукописи карандашом острым почерком написано:

«По «Песне» трудно судить о ваших способностях, но, кажется, они у вас есть. Напишите о чем-либо пережитом вами и покажите мне. Я не ценитель стихов, ваши показались мне непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие. Вл. Кор.».

О содержании рукописи — ни слова. Что же читал в ней этот странный человек? Из рукописи вылетели два листка стихов. Одно стихотворение было озаглавлено: «Голос из горы идущему вверх», другое «Беседа чорта с колесом». Не помню, о чем именно беседовали чорт и колесо, — кажется, о «круговращении» жизни, — не помню, что именно говорил «Голос из горы». Я разорвал стихи и рукопись, сунул их в топившуюся печь, голландку, и, сидя на полу, размышлял: — что значит писать о «пережитом»?

Все написанное в поэме я пережил...

И—стихи... Они случайно попали в рукопись. Они были маленькой тайной моей, я никому не показывал их, да и сам плохо понимал. Среди моих знакомых кожаные переводы Барыковой и Лихачева из Копля, Ришпэна, Томаса Гуда и подобных поэтов ценились выше Пушкина, не говоря уже о мелодиях Фофанова. Королем поэзии считался Некрасов, молодежь восхищалась Надсоном, но зрелые люди и Надсона принимали — в лучшем случае — только снисходительно. Меня считали серьезным человеком; солид-

ные люди, которых я искренно уважал, дважды в неделю беседовали со мной о значении кустарных промыслов, о запросах народа и обязанности интеллигенции, о гнилой заразе капитализма, который никогда, никогда! — не проникнет в мужицкую, социалистическую Русь.

И—вот, все теперь узнают, что я пишу какие-то бредовые стихи! Стало жалко людей, которые принуждены будут изменить свое доброе и серьезное отношение ко мне.

Я решил не писать больше ни стихов, ни прозы и, действительно, все время жизни в Нижнем — почти два года — ничего не писал. А иногда — очень хотелось!

С великим огорчением принес я мудрость мою в жертву все очищающему огню.

II

«КОРОЛЕНКО»

Когда я вернулся в Нижний из Тифлиса, — В. Г. Короленко был в Петербурге.

Не имея работы, я написал несколько маленьких рассказов и послал их в «Волжский Вестник» Рейнгардта, самую влиятельную газету Поволжья, благодаря постоянному сотрудничеству в ней В. Г.

Рассказы мои подписаны М. Г. или Г.—ий, их быстро напечатали; Рейнгардт прислал мне довольно лестное письмо и кучу денег, около тридцати рублей. Из каких-то побуждений, теперь забытых мною, я ревниво скрывал свое авторство даже от людей очень близких мне, от Н. З. Васильева и А. И. Ланина; не придавая серьезного значения этим рассказам, я не думал, что они решат мою судьбу. Но Рейнгардт сообщил Короленко мою фамилию, и когда В. Г. вернулся из Петербурга, мне сказали, что он хочет видеть меня.

Он жил все в том же деревянном доме, архитектора Лемке, на краю города. Я застал его за чайным столом в маленькой комнатке окнами на улицу, с цветами на подоконниках и по углам, с массой книг и газет повсюду.

Жена и дети, кончив пить чай, собрались гулять. Он показавшись мне еще более прочным, уверенным и куражным.

— А мы только что читали ваш рассказ «О Чиж» — ну, вот, вы и начали печататься, поздравлю! Оказываются, вы — упрямый, все аллегории пишете? Что же! — и аллегория хороша, если остроумна, и упрямство — не дурное качество...

Он сказал еще несколько ласковых слов, глядя на меня прищуренными глазами. Лоб и шея у него густо покрыты летним загаром, борода — выщела. В сарпинковой рубашке синего цвета, подпоясанной кожаным ремнем, в черных брюках, заправленных в сапоги, он, казалось, только что пришел откуда-то издалека, и сейчас снова уйдет. Его спокойные умные глаза сияли бодро и весело.

Я сказал, что у меня есть еще несколько рассказов и один напечатан в газете «Кавказ».

— Вы ничего не принесли с собой? Жаль. Пишете вы очень своеобразно. Не слажено все у вас, шероховато, но — любопытно. Говорят — вы много ходили пешком? Я тоже, почти все лето, гулял за Волгой, по Керженцу, по Ветлуге? А вы где были?

Когда я кратко очертил ему путь мой, он одобрительно воскликнул:

— Ого? Хорошая путина! Вот почему вы так возмужали за эти три года почти! И силы накопили, должно быть, много?

Я только что прочитал его рассказ «Река играет». Он очень понравился мне и красотой, и содержанием. У меня было чувство благодарности к автору, и я стал восторженно говорить о рассказе.

В лице перевозчика Тюлина Короленко дал, — на мой взгляд, — изумительно верно понятый и великолепно изображенный тип крестьянина «героя на час». Такой человек может самозабвенно и просто совершить подвиг великодушия, а вслед затем изувечить до полусмерти жену, разбить колом голову соседа. Он может очаровать вас добродушными улыбками и сотней сердечных слов, ярких, как цветы, и вдруг, без причины, наступит на лицо вам ногою в грязном сапоге. Как Козьма Минин, он способен организовать народное движение, а потом — спиться с круга, «скормить себя шшам».

В. Г. слушал мою путаную речь, не прерывая, внимательно присматриваясь ко мне — это очень смущало меня. Порою, он, закрыв глаза, пристукивал ладонью по столу, а потом встал со стула, прислонился спиной к стене и сказал, смехась добродушно:

— Вы преувеличили. Скажем проще: рассказ удачный. Этого достаточно. Не утаю — мне самому нравится он. Ну, а таков ли мужик вообще, каков Тюлин, — этого я не знаю! А вот вы хорошо говорите, выпукло, ярко, крепким языком, —на-те вам в оплату за вашу похвалу! И чувствуется, что видели вы много, подумали немало. С этим я вас от души поздравляю. От души!

Он протянул мне руку с мозолями на ладони, — должно-быть, от весел или топора, — он любил колоть дрова и вообще физический труд.

— Ну, расскажите, что видели?

Рассказывая, я коснулся моих встреч с различными искателями правды, — они сотнями шагают из города в город, из монастыря в монастырь, по запутанным дорогам России.

Глядя в окно, на улицу, Короленко сказал:

— Чаще всего они — бездельники. Неудавшиеся герои, противно влюбленные в себя. Вы заметили, что почти все они — злые люди. Большинство их ищет вовсе не «святую правду», а легкий кусок хлеба и кому бы на шею сесть.

Слова эти, сказанные спокойно, поразили меня сразу, открыв предо мною правду, которую я смутно чувствовал.

— Хорошие рассказчики есть среди них, — продолжал Короленко. — Богатого языка люди! Иной говорит, как шелками вышивает.

«Искатели правды», «взыскующие града» — это были любимые герои житийной народнической литературы, а вот Короленко именует их бездельниками, да еще и злыми. Это звучало почти кощунством, но в устах В. Г. продуманно и решенно. И слова его усилили мое ощущение душевной твердости этого человека...

... Неделю через две я принес Короленко рукописи сказки «О рыбакe и фее» и рассказа «Старуха Изергиль», только что написанного мною. В. Г. не было дома, я оставил рукописи, и на другой же день получил от него записку «Приходите вечером поговорить. Вл. Кор.».

Он встретил меня на лестнице с топором в руке.

— Не думайте, что это мое орудие критики, — сказал он, потрясая топором, — нет, это я полки в чулане устривал. Но некоторое усекновение главы ожидает вас...

Лицо его добродушно сияло, глаза весело смеялись, и, как от хорошей, здоровой русской бабы, от него пахло свежe выпеченным хлебом.

— Всю ночь — писал, а после обеда заснул, проснувшись — чувствую надо повозиться!

Он был не похож на человека, которого я видел две недели тому назад; я совершенно не чувствовал в нем наставника и учителя; передо мной был хороший человек, дружески внимательно настроенный ко всему миру.

— Ну-с, — начал он, взяв со стола мои рукописи и хлопая ими по колену своему, — прочитал я вашу сказку. Если бы это написала барышня, слишком много прочитавшая стихов Мюссе, да еще в переводе нашей милой старушки Мысовской, — я бы сказал барышне: — недурно, а, все-таки, выходите замуж. Но для такого свирепого верзлика, как вы, писать нежные стишки — это почти гнусно, во всяком случае преступно. Когда это вы разразились?

— Еще в Тифлисе.

— То-то! У вас тут сквозит пессимизм. Имейте в виду: пессимистическое отношение к любви — болезнь возраста, это теория наиболее противоречивая практике, чем все иные теории. Знаем мы вас, пессимистов, слышали о вас кое-что!

Он лукаво подмигнул мне, засмеялся и продолжал серьезно:

— Из этой панихиды можно напечатать только стихи, они — оригинальны, это я вам напечатаю. «Старуха» написана лучше, серьезнее, но — все-таки и снова — аллегория. Не доведут они вас до добра.

— Вы в тюрьме сидели? Ну, и еще сидеть!

Он задумался, перелистывая рукопись.

— Странная какая-то вещь! Это — романтизм, а он — давно скончался. Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин воскресения. Мне кажется, вы поете не своим голосом. Реалист вы, а не романтик, реалист. В частности, там есть одно место о поляке, оно показалось мне очень личным, — нет, не так?

— Возможно.

— Ага, вот видите! Я же говорю: мы кое-что знаем о вас. Но — это недопустимо, личное — изгоняйте! Разумное — узко личное.

Он говорил охотно, весело, у него чудесно сияли глаза, — я смотрел на него все с большим удивлением, как на человека, которого впервые вижу. Бросив рукопись на стол, он подвинулся ко мне, положил руку на мое колено.

... Рано утром я возвращался с поля, где гулял ночь, и встретил В. Г. у крыльца его квартиры.

— Откуда? — удивленно спросил он. — А я иду гулять, отличное утро, пройдемтесь?

Он, видимо, тоже не спал ночь; глаза красные и сухи, смотрят утомленно, борода сбита в клочья, одет небрежно.

— Прочитал я в «Волгаре» вашего «Деда Архипа», — это недурная вещь, ее можно бы напечатать в журнале. Почему вы не показали мне этот рассказ, прежде чем печатать его? И почему вы не заходите ко мне?

Я сказал, что меня оттолкнул от него жест, которым он дал мне три рубля взаимы, — он протянул мне деньги молча, стоя спиной ко мне. Меня это обидело. Занимать деньги в долг так трудно, я прибегал к этому только в случаях действительно крайней необходимости.

Он задумался, нахмурясь:

— Не помню! Во всяком случае это — было, если вы говорите, что было. Но вы должны извинить мне эту небрежность. Вероятно, я был не в духе,

это часто бывает со мной последнее время. Вдруг задумаюсь, точно в колодец свалился. Ничего не вижу, не слышу, но что-то слышу и очень напряженно.

Взяв меня под руку, он заглянул в глаза мне.

— Вы забудьте это. Обижаться вам не на что, у меня хорошее чувство к вам, но что вы обиделись, это вообще — не плохо. Мы не очень обидчивы, вот это плохо. Ну, забудем. Вот что я хочу сказать вам: пишете вы много, торопливо, нередко в рассказах ваших видишь недоработанность, неясность. В «Архипе», — там, где описан дождь, — не то стихи, не то ритмическая проза. Это — нехорошо.

Он много и подробно говорил и о других рассказах, было ясно, что он читает все, что я печатаю, с большим вниманием. Разумеется, — это очень тронуло меня.

— Надо помогать друг другу, — сказал он в ответ на мою благодарность. — Нас — не много! И всем нам — трудно!..

... Вот что, — попробуйте вы написать что-либо покрунее, для журнала. Это пора сделать. Напечатает вас в журнале, — и, надеюсь, вы станете относиться к себе более серьезно!

Не помню, чтобы он еще когда-нибудь говорил со мною так обаятельно, как в это славное утро, после двух дней непрерывного дождя, среди освеженного поля.

Мы долго сидели на краю оврага у еврейского кладбища, любуясь изумрудными росы на листьях деревьев и травах, он рассказывал о трагикомической жизни евреев «черты оседлости», а под глазами его все росли тени усталости.

Было уже часов девять утра, когда мы возвратились в город. Прощаясь со мною, он напомнил:

— Значит — пробуете написать большой рассказ, решено?

Я пришел домой и тотчас же сел писать «Челкаша», — рассказ одесского босняка, моего соседа по койке в больнице города Николаева, написал в два дня и послал черновик рукописи В. Г.

Через несколько дней он привел к моему патрону обычных кем-то мужиков и, сердечно, как только он умел делать, поздравил меня.

— Вы написали недурную вещь. Даже, прямо-таки хороший рассказ. Из целого куска сделано...

Я был очень смущен его похвалой.

Вечером, сидя верхом на стуле в своем кабинетике, он оживленно говорил:

— Совсем не плохо! Вы можете создавать характеры, люди говорят и действуют у вас от себя, от своей сущности, вы умеете не вмешиваться в течение их мысли, игру чувства, — это не каждому дается! А самое хорошее в этом то, что вы цените человека таким, каков он есть. Я же говорил вам, что вы реалист.

Но, подумав и усмехаясь, он добавил:

— Но, в то же время — романтик! И, вот что, — вы сидите здесь не более четверти часа, а курите уже четвертую папиросу...

— Очень волнуясь...

— Напрасно. Вы и всегда какой-то взволнованный, поэтому, видимо, о вас и говорят, что вы много пиете. Костей у вас много, мяса — нет, курите — не нужно, без удовольствия, — что это с вами?

— Не знаю.

— А — пиете много, — есть слух.

— Врут.

— И какие-то оргии у вас там...

Посмеиваясь, пыливо поглядывая на меня, он рассказал несколько, не плохо сделанных, сплетен обо мне.

Потом, памятно, сказал:

— Когда кто-нибудь немножко высовывается вперед, его — на всякий случай — бьют по голове, — это изречение одного студента Петровца.

Ну, так пустяки — в сторону, как бы они ни были любезны вам. «Челкаша» напечатает в «Русском Богатстве» да еще на первом месте, это некоторая отличка и честь. В рукописи у вас есть несколько столкновений с грамматикой, очень невыгодных для нее, я это поправил, больше ничего не трогал, — хотите взглянуть?

Я отказался, конечно.

Расхаживая по тесной комнате, потирая руки, он сказал:

— Радует меня удача ваша.

Я чувствовал обаятельную искренность этой радости, и любовался человеком, который говорит о литературе, точно о женщине, любимой им спокойной, крепкой любовью, — навсегда. Незабвенно хорошо было мне в этот час, с этим лицом, я молча следил за его глазами, — в них сияло так много милой радости о человеке.

Радость о человеке — ее так редко испытывают люди, а ведь это величайшая радость на земле.

Короленко остановился против меня, положил тяжелые руки свои на плечи мне.

— Слушайте, — не уехать ли вам отсюда? Например, в Самару? Там у меня есть знакомый в «Самарской Газете» — хотите, я напишу ему, чтоб он дал вам работу? Писать?

— Разве я кому-то мешаю здесь?

— Вам мешают.

Было ясно, что он верит рассказам о моем пьянстве, «оргиях в бане», и вообще о «порочной» жизни моей, — главнейшим пороком ее была нищета. Настоящие советы В. Г. мне — уехать из города — несколько обижали, но, в то же время, его желание извлечь меня из «недр порока» трогало за сердце.

Взволнованный, я рассказал ему, как живу, он молча выслушал, нахмурился, пожал плечами.

— Но, ведь, вы сами должны видеть, что все это совершенно невозможно и — чужой вы во всей этой фантастике. Нет, вы послушайте меня! Вам необходимо уехать, переменить жизнь...

Он уговорил меня сделать это.

Потом, когда я писал в «Самарской Газете» плохие ежедневные фельетоны, подписывая их хорошим псевдонимом Иегудил Хламида, Короленко писал мне письма, критикуя океанную работу мою насмешливо, внушительно, строго, но — всегда дружески...

Шесть лет, — с 95 по 901 год, — я не встречал Владимира Галактионовича, лишь изредка обмениваясь письмами с ним.

В 1901 году я впервые приехал в Петербург, город прямых линий и неопределенных людей. Я был «в моде», меня одолевала «слава», основательно мешая мне жить. Популярность моя проникала глубоко: помню, шел я ночью по Аничковому мосту, меня обогнали двое людей, видимо, парикмахеры, и один из них, заглянув в лицо мое, испуганно, вполголоса сказал товарищу:

— Гляди — Горький!

Тот остановился, внимательно осмотрел меня с ног до головы и, пропустив мимо себя, сказал с восторгом:

— Эх, дьявол, — в резинковых калошах ходит!

В числе множества удивительных я снялся у фотографа с группой членов редакции журнала «Начало», — среди них был провокатор и агент охранного отделения М. Гурович.

Разумеется, мне было крайне приятно видеть благосклонные улыбки женщин, почти обожающие взгляды девиц, — и, вероятно, как все молодые люди, только что ошарашенные славой, — я напоминал индийского петуха.

Но, бывало, ночами, наедине с собою, вдруг почувствуешь себя в положении непойманного уголовного преступника; его окружают шпIONS, следователи, прокуроры, все они ведут себя так, как будто считают преступление несчастьем, печальной «ошибкой молодости», и — только сознайся! — они великодушно простят тебя. Но — в глубине души каждому из них непобедимо хочется уличить преступника, крикнуть в лицо ему торжествуяще: — Ага-а!

Нередко приходилось стоять в положении ученика, вызванного на публичный экзамен по всем отраслям знания.

— Како веруешь? — пытали меня начетчики сект и жрецы храмов.

Будучи любезным человеком, я сдавал экзамены, обнаруживая терпение, силе которого сам удивлялся; но после пытки словами у меня возникало желание проткнуть Исаакиевский собор Адмиралтейской иглой или совершить что-либо иное, не менее скандальное.

Где-то позади добродушия, почти всегда несколько наигранного, Россия скрывает нечто, напоминающее хамоватость. Это качество, а может быть, это метод исследования? — выражается очень разнообразно, главным же образом — в стремлении посетить душу ближнего, как ярмарочный балаган, взглянуть, какие в ней показываются фокусы, пошвырять, натоптать, насорить пустяков в чужой душе, а иногда — опрокинуть что-нибудь и, по примеру Фомы, тыкать в раны пальцами, очевидно, думая, что скептицизм апостола равноценен любопытству обезьян.

В. Г. Короленко и в каменном Петербурге нашел для себя старенький деревянный дом, провинциально уютный, с крашеным полом в комнатах, с ласковым запахом старости.

В. Г. поседел за эти годы, кольца седых волос на висках были почти белые, под глазами легли морщины, взгляд — рассеянный, усталый. Я тотчас почувствовал, что его спокойствие, раньше так приятное мне, заменилось нервозностью человека, который живет в крайнем напряжении всех сил души. Видимо — недешево стоило ему Мультианское дело и все, что он, как медведь, ворочал в эти трудные годы.

— Бессонница у меня, отчаянно надоедает. А вы, не считаясь с туберкулезом, все так же много курите? Как у вас легкие? Собираюсь в Черноморье, — едем вместе?

Сел за стол, против меня и, выглядывая из-за самовара, заговорил о моей работе.

— Такие вещи, как «Варенька Олесова», удаются вам лучше, чем «Фом Гордеев». Этот роман — трудно читать, материала в нем много, порядочной стройности — нет.

Он выпрямил спину так, что хрустнули позвонки и спросил:

— Что же вы, — стали марксистом?

Когда я сказал, что близок к этому, он невольно улыбнулся, замечив:

— Не ясно мне это. Социализм без идеализма для меня — непонятен. И не думаю, чтобы на сознании общности материальных интересов можно было построить этику, а без этики — мы не обойдемся.

И, прихлебывая чай, спросил:

— Ну, а как вам нравится Петербург?

— Город — интереснее людей.

— Люди здесь...

Он приподнял брови и крепко потер пальцами усталые глаза.

— Люди здесь более европейцы, чем москвичи и наши волжане. Горький — Москва своеобразнее, — не знаю. На мой взгляд — ее своеобразие — какой-то неуклюжий, туповатый консерватизм. Там славянофиль, Катков и прочее в этом духе. Здесь — декабристы, петрашевцы, Чернышевский...

— Победоносцев, — вставил я.

— Марксисты, — добавил В. Г., усмехаясь. — И всякое иное заострение прогрессивной, т.-е. революционной мысли. А Победоносцев-то талантлив, как хотите. Вы читали его «Московский Сборник»? Заметьте — московский все-таки!

Он сразу нервозно оживился и стал юмористически рассказывать о борьбе литературных кружков, о споре народников с марксистами.

... Рассаживая по комнате, заложив руки за спину, он продолжал вдумчиво и негромко:

— Тяжелое время! Растет что-то странное, разлагающее людей. Настроение молодежи я плохо понимаю, — мне кажется, что среди нее возрождается нигилизм, и явились какие-то карьеристы-социалисты. Губит Россию самодержавие, а сил, которые могли бы сменить его, — не видно!

Впервые я наблюдал Короленко настроенным так озабоченно и таким усталым. Было очень грустно.

К нему пришли какие-то земцы из провинции, и я ушел. Через два три дня он уехал куда-то отдыхать, и я не помню, встречался ли с ним после этого свидания.

(Отрывок из «Автобиограф. рассказов» М. Горького. Из журнала «Красная Новь», кн. I—1923 г.).

«БОЛЕЕ ЧЕМ ОРИГИНАЛЬНО»¹

(Случай с Максимом Горьким)

1 марта 1902 года в «Правительственном Вестнике» (№ 48) появилось следующее сообщение:

На состоявшемся 21 минувшего февраля соединенном заседании отделения русского языка и словесности Императорской академии наук и ряда изыщной словесности закрытою баллотировкою шарами были произведены, согласно с существующими постановлениями, выборы в почетные академики разряда изыщной словесности. Избранными оказались: Александр Васильевич Сухово-Кобылин и Алексей Максимович Пешков («Максим Горький»).

По приказанию министра внутренних дел, это сообщение было вырезано, наклеено на веленевую бумагу и представлено бывшему императору

¹ «Былое», № 1/23, июль 1917.

вместе со следующей справкой «на Максима Горького», составленной в Департаменте Полиции (6 марта 1902 года):

Пешков (литературный псевдоним «Горький»), Алексей Максимов, 33 лет, Нижегородский цеховой, литератор, в 1889 году привлекался в Нижнем-Новгороде к дознанию по обвинению в укрывательстве привлеченного в Казани к дознанию по делу революционного кружка Сергея Сомова. В то время установлены были близкие сношения его с лицами неблагонадежными и конспиративный образ жизни, а ранее он проживал в Казани, в булочной, устроенной неблагонадежными лицами (Хиренков). Произведенный обыск, однако, не дал результатов, и дело о Пешкове было прекращено, с учреждением за ним негласного надзора.

В 1892 году при обыске в Ростове на Дону, по делу распространения преступных изданий, у одного лица оказались два письма Пешкова, в одном из которых он выражался так: «поливая из ведрушка просвещения доброкачественными идеями, и таковые приносят известные результаты», причем добавлял, что «работы пока нет, и работников, способных к чему-нибудь, всего 6-8 человек».

В другом же письме Пешков просил достать место двум парням, рекомендует их, как лиц, способных на всякие преступления, и прибавлял, что он и его товарищи ожидают визита «блестящих пуговиц». У другого обвиняемого по тому же делу оказались письма Пешкова, не имеющие серьезного значения, и сам он к этому делу привлечен не был.

В указанном 1892 году Пешков служил в Тифлисских железнодорожных мастерских и вел довольно обширное знакомство с молодежью.

В 1894 году он жил в Нижнем-Новгороде, продолжая сношения с неблагонадежными лицами, и состоял некоторое время под наблюдением, а в 1896 году выбыл в Крым, где проживал в пансионе негласно-поднадзорной Елены Токмаковой, дающей приют неблагонадежным лицам.

В 1897 году он был привлечен к дознанию в Тифлисе по делу о пропаганде среди рабочих. По свидетельским показаниям он выражал резкие суждения и часто много говорил об эксплуатации рабочих. За отсутствием, однако, других данных к обвинению Пешкова, это дело о нем было прекращено.

Пешков состоял сотрудником «Самарской Газеты» и журнала «Новое Слово», закрытых впоследствии за неблагонадежное направление, и уже в 1895 году принадлежал к числу лиц, известных в литературных кружках враждебным самодержавию направлению.

В марте 1901 года Пешков подписал, в числе прочих, известный протест «Союза писателей» в редакции газет по поводу демонстрации 4 марта у Казанского собора.

В апреле 1901 года Пешков обыскан и арестован в Нижнем-Новгороде, в виду полученных сведений о том, что, проживая в марте того же года в Петербурге, он приобрел здесь, в сообществе с литератором Петровым («Скиталец») амнеограф для изданий преступных воззваний к Сормовским рабочим, в видах подстрекательства их к беспорядкам, и привлечен к дознанию в порядке 1035 ст. Уст. Уголовн. Судопр.

Дело это находится еще в производстве.

За минованием надобности в дальнейшем аресте, Пешков в июне 1901 г. отдан под особый надзор полиции в Нижнем-Новгороде. Но так как пребывание его там, в виду продолжения агитации, было признано вредным, то, по ходатайству местных властей, дело о Пешкове было внесено на обсуждение Особого Совецания, по постановлению коего, утвержденному Министром Внутренних Дел 14 августа 1901 года, Пешков подчинен, вопреки до разрешения

возбужденного о нем дознания, гласному надзору полиции в местности Нижегородской губернии, по усмотрению губернатора, кроме Нижнего-Новгорода, а в октябре 1901 года, в виду болезненного состояния, ему было разрешено поселиться до 15 апреля 1902 года в Ятлинском уезде, где он ныне и находится.

На листе бумаги, на котором была наклеена вырезка, бывший император изволил начертать следующую резолюцию:

«Более чем оригинально».

После этой-то резолюции и вышло так, что Горький не оказался в составе почетных академиков.

«Былое», № 1 (23). Июль, 1917.

9-е ЯНВАРЯ

(Отрывок из очерка)¹

... Вокруг жилища царя стояли плотной неразрывной цепью солдаты, под окнами дворца на площади расположились конница. Запах сена, навоза, лошадиного пота окружал дворец, ляг сабель, звон шпор, команда, топот колебался под окнами.

Со всех сторон на солдат натирали плотной массой люди, десятки тысяч возмущенных, холодно озлобленных людей. Говорили они спокойно, но как-то особенно веско, новыми словами и с новой надеждой, едва ли ясной для них. Стояла рота солдат, опираясь одним плечом о стену здания, другая — о железную решетку сада, она преграждала дорогу на площадь ко дворцу. Вплоть к ней, лицом к лицу подошла толпа, бесчисленно большая, немая, черная.

— Расходись, господа! — вполголоса говорил фельдфебель, безуспешно стараясь спрятать обеспокоенные глаза. Он ходил вдоль фронта, отводящих людей от солдат руками и плечом, стараясь не видеть человеческих лиц.

— Почему вы нас не пускаете? — спрашивали его.

— Куда?

— К царю!

Фельдфебель на секунду остановился и с чувством, похожим на уныние, воскликнул:

— Да я же говорю — нет его!

— Царя нет?

— Ну, да! Сказано вам нет и — ступайте!

— Совсем нет царя? — настойчиво допрашивал иронический голос.

Фельдфебель снова остановился, поднял руку.

— За такие слова... беритесь!

И другим тоном объяснил:

— В городе — нет его.

Из толпы ответили:

— Нигде его нет!

— Кончился!..

— Расстреляли вы его, дьяволы!

¹ Изд. Гос. изд. 1920. Петербург.

- Вы думали — народ убиваете?
- Народ — не убьешь!.. Его на все хватит...
- Вы царя убили... понимаете?
- Отойти, господа!.. Не разговаривай!
- Нет — врешь!.. Я поговорю!

В другом месте старичок с бородкой клином воодушевленно говорил солдатам:

— Вы — люди, мы — тоже! Сейчас вы в шинелях, завтра — в кафтанах. Работать захотите, есть понадобится. Работы нет, есть нечего. Придется и вам, ребята, так же, вот, как мы... Стрелять, значит, в вас надо будет? Убивать за то, что голодаете вы, а?

Солдатам было холодно. Они переминались с ноги на ногу, били каблучками в землю, терли уши, перебрасывая ружья из рук в руки. Слушая речи, вздыхали, двигали глазами туда и сюда, чмокали озябшими губами. На лицах, посиневших от холода, лежало что-то однообразно унылое, растерянное, туповатое, глаза мигали, прятались. Лишь некоторые из них, прищуриваясь, как бы целились во что-то, крепко стиснув зубы, должно быть, с трудом сдерживая злобу против этой массы людей, ради которой приходится мерзнуть. От их серой, скучной линии веяло усталостью, бессилием, тоской.

Люди стояли против них грудь с грудью и, подаваясь толчкам сзади, порюю толкали солдат.

— Тише! — негромко отзывался серый человек.

Иные брали солдат за руки, горячо говоря им что-то. Солдаты слушали мига, лица кривились неопределенными гримасами, и нечто жалкое, робкое являлось на них.

— Не трог ружо! — сказал один из них молодому парню в мохнатой шапке. А тот тыкал солдата пальцем в грудь и говорил:

— Ты солдат, а не палач... Тебя позвали защищать Россию от врагов внешних... а заставляют расстреливать народ... Пойми! Народ — это и есть Россия!

— Мы — не стрелям! — ответил солдат.

— Гляди — вот стоит Россия, русский народ! Он желает видеть своего царя...

Кто-то перебил речь, крикнул:

— Не жаает!

— Что в том худого, что народ захотел поговорить с царем о своих делах? Ну, скажи, а?

— Не знаю я! — сказал солдат, сплевывая.

Сосед его добавил:

— Не велено нам разговаривать...

Уныло вздохнул и опустил глаза.

Один солдатик вдруг ласково спросил стоявшего перед ним:

— Земляк, — не рязанский будете?

— Псковский... А что?

— Так... Я, вот, я рязанский...

И, широко улыбувшись, зябко передернул плечами.

Люди колыхались перед ровной серой стеной солдат, бились об нее, как волны реки о камни берега. Отходили, снова возвращались. Едва ли многие понимали, зачем они здесь, чего хотят и ждут? Ясно сознанный ли, определенного намерения не было. Было горячее чувство обиды, возмущения, у многих — желание мести, это всех связывало, удерживало на улице, но не на кого было излить эти чувства, некому мстить... Солдаты не возбуждали

злости, не раздражали — они были просто тупы, несчастны, иззябли, многие не могли сдержать дрожь в теле, тряслись, стучали зубами.

— С четырех часов утра стоим! — говорили они. — Просто беда! —

— Ложись и — помирай...

— Уйти бы вам, а? И мы бы в казармы, в тепло пошли...

— Сколькое время-то?

Было около двух часов.

— Чего вы беспокоитесь? Чего ждете? — говорил фельдфебель.

Его слова, его солидное лицо и серьезный, уверенный тон охлаждали людей. Во всем, что он говорил, был как бы особый смысл, более глубокий, чем его простые слова.

— Нечего ждть!.. Вот только войско из-за вас страдает...

— Стрелять будете в нас? — спросил его молодой человек в башлыке.

Фельдфебель помолчал и спокойно ответил:

— Прикажут — будем!

Это вызвало взрыв укоризненных замечаний, ругательств, насмешек.

— За что? За что? — спрашивал громче всех высокий, рыжий человек.

— Не слушаете приказаний начальва! — объяснял фельдфебель,

потирая ухо.

Солдаты слушали говор толпы и уныло мигали. Один тихо воскликнул:

— Горячее бы чего-нибудь теперь!..

— Крови моей — хочешь? — спросил его чей-то злой, тоскливый

голос.

— Я не зверь! — угрюмо отозвался солдат.

Много глаз смотрели в широкое, приплюснутое лицо длинной линии солдат с холодным, молчаливым любопытством, с презрением, гадливостью. Но большинство пыталось разогреть их огнем своего возбуждения, пошевелить что-то в крепко сжатых казармоу сердцах, в головах, засоренных хламом казенной выучки. Большинство людей хотело что-нибудь сделать, как-нибудь воплотить свои чувства и мысли в жизнь, и упрямо бились об эти серые холодные камни, желавшие одного — согреть свои тела.

Все горячее звучали речи, все более ярки становились слова.

— Солдаты! — говорил плотный мужчина, с большой бородой и голубыми глазами. — Кто вы? Вы дети русского народа. Обеднял народ, забит он, оставлен без защиты, без работы и хлеба. Вот он пошел сегодня просить царя о помощи, а царь велит вам стрелять в него, убивать. Солдаты! Народ, — отцы и братья ваши, хлопочет не только за себя, но и за вас. Вас ставят против него, против народа, толкают на отцеубийство, братоубийство. Подумайте! Разве вы не понимаете, что против себя же идете?

Этот голос, спокойный и ровный, хорошее лицо и седые волосы в бороде, весь облик человека и его простые, верные слова, видимо, волновали солдат. Опуская глаза перед его взглядом, они слушали внимательно, иной, покачивая головой, вздыхал, другие хмурили брови, оглядывались, кто-то негромко посоветовал:

— Отойти... офицер услышит!

Офицер, высокий, белообрый немец с большими усами, — медленно шел вдоль фронта и, натягивая на правую руку перчатку, сквозь зубы говорил:

— Ра-азайдись... па-ашел прочь!.. Что? Па-агваря... я тебе пагаварю!..

Лицо у него было толстое, красное, глаза круглые, светлые, но без блеска. Он шел, не торопясь, твердо ударяя ногами в землю, но с его приходящим полетом быстрее, точно каждая секунда торопилась исчезнуть.

следует заботиться о развитии и накоплении культурных сил — сил этих у нас страшно мало, сравнительно с тем спросом, какой предъявляет нам наше сегодня и предвещает суровое завтра. Нам необходимо научиться беречь каждого человека, ибо он есть источник творческой энергии — это необходимо нам более, чем какой-либо иной нации, вследствие нашей духовной нищеты и склонности к пассивному подчинению силам, враждебным нам силам, затрудняющим культурный рост страны. Никто не нуждается так сильно в развитии взаимопомощи и чувства дружбы, в развитии сознания единства наших задач, как нуждаемся в этом мы в наши тяжкие дни. И вместе с этим, нигде не ценят человека так низко, как у нас, нигде он не беспомощен более, чем среди нас, да и сами себя мы не умеем достойно оценить, хотя наша работа в стране и дает нам право на самоуважение. Мы живем среди народа, по природе своей даровитого и вот факт, неоспоримо подтверждающий это: ни одна страна Запада не дает столь высокого процента самоучек писателей, техников, основоположников различных сект, а если это явление возможно в столь отвратительных и тяжелых для развития человека условиях, каковы условия русской жизни, мы имеем право верить в даровитость и силу духа нашего народа...

Из предисловия к книге стихов Ив. Морозова «Разрыв трава», изд. «Прометей» Михайлова (стр. 13).

III

МАКСИМ ГОРЬКИЙ О ТВОРЧЕСТВЕ РАБОЧИХ

... Написанная вашими товарищами, эта книжка, — новое и очень значительное явление вашей трудной жизни; оно красноречиво говорит о росте интеллектуальных сил пролетариата. Вы, разумеется, прекрасно понимаете, что для писателя-самоучки написать маленький рассказ неизмеримо труднее, чем для профессионального литератора — роман в двадцать листов, — на эти трудности с горькой усмешкой намекает автор рассказа «Но»... Вы понимаете также, что, кроме недостатка свободного времени, писателю-рабочему мешает изложить свои впечатления ярко и точно — т.-е. художественно, его малое умение пользоваться пером, инструментом писателя, мешает незнание с техникой дела, а самой крупной помехой является недостаток слов — невозможность выбрать из десятка их, самое простое, сильное, красивое. Но, несмотря на все эти трудности, вы, мне думается, все-таки можете сказать, не кривя душой, что этот ваш сборник интересен; вам есть чему порадоваться, и — кто знает будущее — возможно, об этой маленькой книжке современем упомянут, как об одном из первых шагов русского пролетариата к созданию своей художественной литературы.

— Фантазия! — недоверчиво скажут мне. — Такой литературы никогда и нигде не было!

— Многого не было, что есть теперь, — ведь, раньше не было и рабочего класса, в тех формах, с тем духовным содержанием, каков он в наши дни. Если бы человек не верил в силу своей воли и разума, — он не летал бы в воздухе птицы, как летает ныне. Стремление выразить в красивых формах свои ощущения, свои мысли свойственно каждому человеку. Это стремление должно все более напряженно развиваться в душе пролетариата, который, по мере роста интеллектуальных сил, будет все с большей и мучительной ясностью чувствовать свою коллективную драму и драму своих единиц.

А когда душа переполнена, — она неизбежно изливает свои силы — свои скорби и радости — в мире, на людях.

Я крепко убежден, что пролетариат может создать свою художественную литературу, как он создал — с великим трудом — и огромными жертвами — свою ежедневную прессу.

Это убеждение мое выросло на почве многолетних наблюдений моих за усилиями, которые сотни и сотни рабочих, ремесленников, крестьян упрямо тратят в попытках изложить на бумаге свои думы о жизни, свои наблюдения и чувства.

... Товарищи!

Когда история расскажет пролетариату всего мира о том, что пережито и сделано вами за восемь лет реакции — рабочий мир будет изумлен вашей жизнедеятельностью, бодростью вашего духа, вашим героизмом. Может быть, вы сами не сознаете, не замечаете, как много сделано вами, но будущее поколение русских рабочих и весь пролетарский мир нашей планеты, несомненно, почерпнут в примере вашем великие силы для борьбы за новую, мировую культуру.

Это — будет. Только мертвые не поймут обескультурного значения работы, совершенной вами за эти восемь лет. Один из поэтов, участник в сборнике, восклицает: — «Вперед, к культуре мировой!»

Добрый путь, товарищи! Да здравствует разум и воля, создавшие мировую культуру!

(Отрывок из предисловия к 1-му сборнику «Прометарских писателей» 1914 г.)

Демократическая беллетристика
 СКИТАЛЕЦ (ПЕТРОВ)—Н. ТЕМНЫЙ (Н. А. ЛАЗАРЕВ)—А. И. СВИР-
 СКИЙ—А. П. ЧАПЫГИН—И. ВОЛЬНОВ

СКИТАЛЕЦ

(псевд. Ст. Гавр. Петрова)

Родился на Волге в 1868 г. в семье рабочего из крестьян, талантливо исполнявшего под аккомпанемент гуслей народные песни. Учился в учительской семинарии, откуда исключен за неблагонадежность. Участвовал в кружках народников. Позднее встретился в своих скитаниях с Максимом Горьким, который оказал на него огромное влияние (см. «Провесчение»). Скиталец, выступивши в литературе, сразу примкнул к союзу «Большого Максима», к знаньевцам, во главе которых стоял М. Горький. Сатирические журналы звали его в шутку «подмаксимкой». Если сравнить его повесть «Огарки» с «Бывшими людьми» М. Горького, то подражание учителю станет несомненным. Но на сходство тем, героев, настроений повлияло и сходство переживаний за годы «скитальчества» этого артиста Скиталец выступил и с рассказами («Октава»), бродячий он исполняет свои песни под аккомпанемент гуслей. Его рассказы и песни связаны с эпохой первой революции 1905 г., с эпохой надвигавшейся бури («сына Волги»). Бывший певчий в церковном хоре («Октава»), бродячий поэт рассказал в книге: «Утро жизни» (Госизд. 1923 г.). Свой рассказ он довел пока до начала литературной карьеры. Расцвет его таланта относится к эпохе «Знания», и лучшие его рассказы появились в сборниках «Знания». С 1902—1914 г.г. Скитальцем изданы 6 томов рассказов и песен. Некоторые его песни были популярны среди молодежи предреволюционной эпохи. Скиталец демократ по натуре, художник предреволюционных настроений, без определенного мировоззрения.

В. Львов-Рогачевский.

ИЗ «ПЕСЕН СКИТАЛЬЦА»¹
 ПОСВЯЩЕНИЕ

Я погибал... С младенчества скитаюсь,
 Обремененный тяжелой ношей жизни,
 Упорно я искал своей дороги
 И не хотел мириться с рабской долей.

¹ Эти стихи посвящены Максиму Горькому.

И стала жизнь моя мучительнее пытки.
 И все преграды, беды и несчастья,
 Все неудачи, муки и печали
 На путь суровый мой судьба нагромодила.
 Я одного молил себе — свободы!
 И не знавал ее! Я жаждал смерти
 И права не имел на смерть, кому-то нужный.
 Любовью к людям скованный, как цепью,
 Я был — как мост через болото грязи,
 Я лег в нее, поддерживая слабых,
 И шли по мне и в грязь меня втоптали
 Все слабые и — чистыми остались.
 Когда-ж поднялся я — истерзанный и грязный —
 Уж ночь была, и холод, и ненастье...
 И долго брел так — в холоде и мраке,
 Стучался в двери и — нигде не отворили.
 Взывал о помощи — мне помогать боялись...
 А путь мой был все сумрачней и глуше.
 И наконец я — выбился из силы,
 И стал покорен я и тупо — равнодушен.
 Холодное, спокойное Унынье
 И тихое Отчаянье явились —
 И обняли меня, и вместе с ними
 В забвенье мрачное я начал погружаться.
 Уж падал я в зияющую бездну,
 Как вдруг какой-то сильною рукою,
 Без чувств подхваченный и поднятый внезапно,
 Я унесен был замертво куда-то...

Я у тебя очнулся... Ты за мною
 Ухаживал, как за больным ребенком.
 Ты обласкал меня и целовал, как брата.
 Огнем речей твоих, твоим могучим словом
 Согрел ты мне застынувшее сердце,
 А охлажденную, как камень, душу
 Ты обратил в расплавленную лаву.
 И встал я на ноги перерожденный, новый,
 Как витязь сказочный, из трупa оживленный.
 Благодарю тебя: теперь я полон силы
 И ухожу вперед к моей заветной цели.
 Ты освещаешь путь твоим горящим сердцем
 Всем, кто идет из тьмы к заре святой свободы!

(Из Сборника «Песни скитальца». Москва, 1920 г.)

«УТРО ЖИЗНИ»

Помню темный и теплый, мягкий весенний вечер в деревне: мы — отец, мать и я — только-что приехали в гости к деду и бабушке, но никого не застали дома: изба была заперта на замок; все ее обитатели еще были в поле; мы сидели на завалинке и ожидали их возвращения.

Действительно, вскоре из мягкой и густой тьмы только в нескольких шагах от нас беззвучно выделлась телега, запряженная мелко трусившей лошастью с низкой отлогой дугой. Когда телега остановилась у старых ворот с покосившейся калиткой, из нее вылезла маленькая старушка с мальчишкой моего возраста. Разглядев нас, она издала радостный ласковый крик удивления добрым и тихим старушечьим голосом: это были бабушка и ее младший сын Ленька, приехавший мне дядей; кажется, это была моя первая встреча с родственниками по материнской линии.

В этой деревне, как я после узнал, у моего отца жили две замужние сестры, но он был с ними в какой-то застарелой ссоре, и поэтому я так и не увидел их никогда.

Бабушке и Леньке суждено было сыграть в моей детской жизни выдающуюся роль: с этого времени я каждое лето, а иногда и зимой, подолгу жила у бабушки, плохо зная, где находятся и что делают мои родители. И на этот раз они недолго погостили в деревне, уехав куда-то и оставив меня на поечение бабушки.

Бабушка и дед, вскоре тоже приехавший с поля, относились к моему отцу с большою любовью и радушием, а дед гордился своим гордским, торговым и умственным зятем. В ближайший праздник собрались гости; все уселись за столом, на который бабушка подавала всевозможные деревенские яства, а отца посадили в передний угол.

Дед был громадный старичище с длинной седой бородой по пояс. Вид у него был суровый и молчаливый, но отца он не мог смотреть без самодовольной улыбки и все говорил гостям, кивая на зятя: «Поглядите-ка, какую я штуку-то себе завел!» И смеялся же он, как я убедился впоследствии, очень редко.

Когда отец и мать уехали, я словно приклеился к бабушке, и с Ленькой мы составили как бы одно существо, неразлучную пару друзей. С тех пор прошло сорок лет, мы оба стали пожилыми людьми, но и сейчас я иногда бываю у него летом в родной моей деревне, а он у меня в городе — зимой. Когда я смотрю на этого большого красивого мужика с длинной складистой бородой и добродушно-шутливой речью, — мне вспоминается маленький Ленька, и наши разговоры теперь вечно возвращаются к тому давно прошедшему времени, когда мы вместе слушали бабушкины сказки.

Бабушка оказалась интереснейшим и милейшим существом, а главное — талантливой сказочницей. Народных сказок она знала великое множество и умела рассказывать их артистически, великодушным сказочным языком, в лицах, с пеннием и прибаутками. Она то заставляла нас с Ленькой смеяться до слез, то плакать от жалости, то ужасаться, то радоваться чистой, высокой, человеческой радостью. С уверенностью могу сказать, что именно она своими сказками, кротким своим характером и всею своею незлобивою и, я сказал бы, благородной личностью внушила мне на всю жизнь любовь к поэзии, ко всему прекрасному и все те лучшие человеческие чувства, каких потом не могли вытравить ни школы, ни люди, ни жизнь.

Особенно много и задушевно рассказывала бабушка сказки нам с Ленькой в длинные зимние вечера, сидя за своей бесконечной пряхей при

свете лучины, которую тогда освещали деревенские избы. Бабушка и по наружности была симпатична: маленькая, сухонькая, с красивым тонким профилем; вероятно, в молодости она была очень хороша собой. Одевалась она всегда в синий сарафан с оловянными пуговками от ворота до самого подола, а голову как-то особенно красиво и ловко обвязывала платочком.

Кроме Леньки, семья деду и бабушки состояла еще из взрослого парня Яфима и девушки Настя. Яфима вскоре женили, а Настю выдали замуж. Дед считался зажиточным крестьянином, хозяйственным и скупым: детей держал в повиновении, сам работал за пятерых и от них требовал неустанной работы. Но маленьких — Леньку и меня — любил, забавлял шутками, а когда ездил в город на базар, то привозил по большому жесткому прянику, у которого можно было зубы сломать.

С Ленькой у нас шли нескончаемые игры, одним нам понятные разговоры, а также и совместные дела; как крестьянин, он исполнял уже в хозяйстве посильные работы: гонял на водопой скотину, бегал, за чем пошлют, на гумно, на огород, во время молотбы лошадьми — стоял в кругу и прочее.

Теперь же нас всюду посылали вдвоем, так как различать нас было невозможно: так сильно любили мы друг друга.

Спали мы вместе на полатах, в обнимку, но прежде, чем заснуть, долго хихикали и шептались. В сущности, мы были полная противоположность один другому: Ленька — природный наследственный крестьянин, трезвый, деловой реалист, а я — типичный «некрестьянин», как меня и называла вся семья, мечтатель, фантазер и книжный человек. «Давай играть в Еруслаана Лазаревича», предлагал я Леньке, на что Ленька солидно возражал: «нет, давай пахать», и выходило так, что мы играли в пашню.

Ленька уже имел кое-какие хозяйственные познания, знал, как взять вилы и грабли, ездил верхом, я же во всех этих крестьянских делах обна- руживал самое постыдное невежество и неумение. «Эх, ты, прямой нехрестьянин!» — говорил Ленька, вырывая у меня грабли, которые я держал не так, как следовало, и показывая, как надо ими действовать. В этих делах был Ленькин верх, и я ему подчинялся, но зато я был грамотен и не только грамотен, но глубоко начитан, и когда говорил «из книг», то Ленька слушал меня разина рот. Кроме того, я уже был бывалым человеком, много путешествовал, видывал виды и умел-таки о них порассказать Леньке. Да, наконец, я был старше его на целый год. Я норовил командовать Ленькой, и только тогда, когда особенно заносился и тыкал ему своим старшинством, Ленька спокойно и резонно напоминал мне, что он — мой дядя, а я — всего только племянник.

Эти маленькие препирательства никогда не переходили в ссору и тем более в драку: мы никогда не ссорились и жили душа в душу.

На деревенской улице к нам присоединялись для игр соседние ребята: два брата, Степка и Леска, жившие рядом, и Ванька Алпа, живший через дорогу: это была наша неразлучная компания из года в год на протяжении многих лет, когда я наезжал в деревню.

Во время весенних и летних дождей против дедовой избы во всю ширину улицы образовывалась громадная дождевая лужа, почти озеро, в котором мы, разделившись, плавали при помощи большой доски или старого корыта. Это было очень весело. Затем мы в одних рубашонках бегали по лужам вдоль улицы впергоню; я оказался легче всех на ноги, и никто из нащей компании не мог меня обогатать. Мы делали из тростника и сухого капдетта стрелы, пули и умели пускать их высоко в небо. Но главное и капитальное наше увеселение заключалось в путешествии через лес в «Зумора» — полуостров на берегу Волги, заросший хворостячком: там мы вырезывали

себе гибкие, прямые и длинные хворостины, «садились» на них верхом и возвращались вскачь, как-бы «на лошадах». «Зумор» отстоял от деревни верстах в трех-четырех, и все это расстояние приходилось идти по лесным дорогам и тропинкам среди заповедного старого леса, стоявшего нетронутым с незапамятных времен.

Деревня была на горе, а внизу около нее извивалась реченка «Постепок», маленькая, похожая на ручей, густо заросшая около берегов осокой и плавающими лопухами кувшинок. Тут же за Постепком начинался дремучий дубовый лес, вечно шумевший своим торжественным и таинственным шумом.

Весьной Волга затопляла весь лес и подходила вплоть к самой деревне, и тогда мы плавали в лесу на бударке. По праздникам весь лес наполнялся лодками с девушками и парнями в ярких нарядах и, главным образом, ребятишками. Слышалось пение, звуки гармоник, смех... Когда вода сбывала, в лесу оставались озера и маленькие болотца, в которых оставалось много подростшей мелкой рыбешки — шурят. Мы мутили ногами воду, шурята высывали головы из воды, за которые мы и хватали их прямо руками. Раков в озерах и Постепке было такое изобилие, что мы их тоже ловили руками, залезая к ним в норы, а если бродили бреднем, то вытаскивали их целые сотни: полный бредень. Мы разводили на берегу огоньки и варили раков или уху в приготовленном котелке. После половодья в лесу и на лесных полянах быстро появлялась буйная растительность: трава выростала по-прежнему много дикого луку, столбцов, шавеле и ароматных ландышей. Девки и бабы толпами ходили за луком, шавелем, цветами и возвращались домой с хоровыми песнями. А в лесу не умолкала кукушка, кукушка, оралы грачи, щебетало разнообразнейшее птичье царство.

Целый день мы бегали в лесу, раз по двадцати купаясь в большом прозрачном озере, которое называлось, за эту необыкновенную прозрачность, «Ситцевым». Опускаясь на песчаное дно его, мы открывали глаза и ясно видели там друг друга. Возвращаясь в деревню, опять не упускали случая искупаться в Постепке, на «мысу», излюбленном всюю деревней месте для купанья. Тут постоянно купались женщины и дети. Чаше всех в лесу и на мысу нам встречалась девушка Груня, первая красавица не только на всю деревню, но и на всю округу. Она была из самой богатой семьи, верховодила подружками, надменно обращалась с парнями. Язык у нее был как бритва, характер веселый и наружность замечательно красивая: она была смуглая, цыганского типа, с волосами черными, как смоль, и орлиным взглядом прекрасных глаз с длинными ресницами. Купаясь, она шутила с нами, доставала для нас с глубокого дна ракушки и после купанья украшала свои мокрые, черные, как уголь, и замечательно длинные волосы водяными лилиями. Было в ней что-то дикое и поэтическое, вольное и самостоятельное. Мы все любили ее за ракушки и разные мелкие знаки внимания, каких не получали от других девиц. Уважали мы ее за всегдашнее первенство, принадлежавшее ей в весенних хороводах: она была запевалой в хоре, заводила игры, и никто лучше ее не мог ни станцевать, ни срезать острым, насмешливым словечком какого-нибудь зазнавшегося парня.

Но на меня сильнее всего действовала ее поэтическая наружность: смотреть на нее доставляло мне какое-то эстетическое высокое наслаждение, и когда по праздникам на заросшей зеленой муравой улице собирался многолюдный хоровод, а ее еще не было — я скучал, и мне казалось, что солнце не светит и не греет; но лишь стоило появиться ей, как весь мир в моих глазах освещался ликующим светом, словно солнце появлялось и освещало всех: становилось весело, интересно, радостно. Где бы она ни прошла, где бы ни стала, где бы ни села — я всегда оказывался недалеко от нее и, как

маленький Азра, бледнея от непонятного мне волнения, с бурно бьющимся сердцем, не спуская с нее восхищенных глаз, молча и неподвижно смотрел на нее часами. Разговоривать с нею я не мог: когда она со мной заговаривала, сердце мое готово было разорваться от счастья, мое лицо, уши и шея становились пунцовыми, и из глаз от смущения готовы были брызнуть слезы, но слова замирали в моем сердце. Хоровод чему-то смеялся, а лукавую красавицу мое странное смущение забавляло и, наконец, заинтересовало: вероятно, своим женским чутьем она раньше угадала мое необычайное состояние: — я был влюблен.

Мне было тогда всего шесть или семь лет, ей — двадцать, но, вспоминая потом в течение всей моей жизни этот странный случай и сравнивая его с позднейшими чувствами в юношеском и более зрелом возрасте, я убеждался, что моя первая любовь, настоящая поэтическая любовь, пришла ко мне в шестилетнем возрасте, и объектом ее была взрослая двадцатилетняя красавица.

Боясь сделаться предметом насмешек, я стал избегать встреч и разговоров с нею и смотрел на нее издалека, в стороне от всех: вероятно, фигура моя в это время была очень печальна. Однажды, когда Груня стояла в хороводе на середине улицы, а я, отделившись от толпы, одиноко стоял, приводе на середине улицы, а я, отделившись от толпы, одиноко стоял, словнившись к воротам деловой избы, и попржежму, не сводя глаз, смотрел на нее, она резко оторвалась от хоровода и направилась ко мне своею удивительно легкой, словно воздушной, походкой. Мне показалось, что весь хоровод остановился, замолк и смотрит на нас с ней. А она подошла ко мне и с лукавой улыбкой, едва сдерживая готовый брызнуть серебристый смех свой, протянула мне — удочку! да, маленькую, стальную, острую удочку!

Я принял подарок, но вспыхнул так, что весь хоровод, следивший за этой сценой, раскатился хохотом. Слезы брызнули у меня из глаз, и я убеждался, я понял, что и «она» смеется надо мною: удочка! ведь это же насмешка!

Вскоре ее выдали замуж, и я вместе со всеми ребятами нашего колотка бил на ее свадьбе в качестве постороннего зрителя. Теперь она уже забыла обо мне и даже не заметила меня в толпе, а я и тут страдал, мучительно ревнуя ее к жениху.

В деревне я тогда прожил безвыездно, вероятно, около года. Хотя я очень любил бабушку и Ленку, и вся семья относилась ко мне очень хорошо, тем не менее я никогда не забывал, что все-таки живу без отца и матери; я очень тосковал о них, но об этом никто не знал и даже не догадывался, так как я никому, даже Ленке, об этом не говорил, а в общем деревенская жизнь мне нравилась больше городской.

Наконец, как-то приехали отец и мать с недавно родившейся у них маленькой моей сестренкой. Не успел я привыкнуть к ней, как отец собрался на Нижегородскую ярмарку в качестве музыканта и решил взять меня с собой, а мать и девочку оставить в деревне. Так и сделал. Мы с отцом уехали в Нижний и целых два года были трактирными музыкантами. Из Нижнего мы переехали в другой приволжский город и здесь играли в большом ресторане около театра, где постоянно бывали актеры, а после представления каждый вечер собиралась публика из театра. Здесь, лет восьми от роду, я окупнулся в закулисно-театральный мир.

(Отрывок из книги Скитальца «Воспоминания». «Утро жизни».
Гос. изд. 1923 г.)

Гусли звонкие рокочут и звенят,
 Про веселье чистой трелью говорят.
 Мысли - песни напеваю я струнам,
 Вольный ветер их разносит по полям.
 Гусли, мысли, да веселых песен дар
 Дал в наследство мне мой батюшка-гусляр,
 Гусляром быть доля выпала и мне —
 Веять песни по родимой стороне.
 Я иду, накинув бедный мой наряд,
 Гусли звонкие рокочут и звенят!
 Прохожу по полям, по горам,
 Напеваю я песни ветрам;
 А как выйду на Волгу - реку, —
 Отдохнуть прихожу к кабаку.
 Там по праздникам пьет и поет
 Веселится рабочий народ.
 Как ударю я в струны мои, —
 Замолчат над рекой соловьи;
 Разливается песня кругом —
 серебром!
 Солнце выйдет, смеясь из-за туч...
 И народ то, как солнце, могуч!
 Целовальник мне цедит вина,
 Да душа и без чарки полна!
 Только длинные струны звенят —
 говорят!
 Ах! и звонко-ж гусли медные
 звенят...
 Слышит их владеец каменных
 палат.
 На душе его осенняя пора,
 И зовет он молодого гусляра:
 «Ты сыграй-ка, песню грустную
 запой,
 Чтоб омыл я душу грешную
 слезой,
 (Из книги «Песни скитальца». Москва, 1920 г., стр. 13.)

Успокой ты совесть нежную мою, —
 Я тебя и накормлю и напою!
 Пусть о том, что я народу — друг
 и брат,
 Гусли звонкие рокочут и звенят.
 Я вхожу во дворец к богачу
 И пропеть ему песню хочу,
 Я пою ему, звонко смеясь:
 «На душе твоей копоть и грязь;
 Не спою тебе песни такой,
 Чтоб тебя очищала собой:
 Пусть лежит на душе твоей тень,
 Песнь свободы не нравится вам,
 И звенит она словно кистень
 По пустым головам!» —
 Земля у нас истощена...
 Чего просить у ней?
 Бурьян сухой родит она
 И ядовитых змей,
 Вот — я змеей вползаю к вам
 И песней жалю вас.
 Я только яд и раны дам,
 А муки — бог вам даст.
 Я к вам явился возвестить:
 Жизнь казни вашей ждет!
 Жизнь хочет вам нещадно мстить:
 Она за мной идет!
 Смеется вы, твердя: «он лжет,
 Колочий, как бурьян!»
 О нет! Каков теперь народ,
 Таков и я вам дан!
 Ах! не кончил этой песенки гусляр,
 Не приходит он на людной на базар,
 Не видать его в царевом кабаке,
 И не слышно звонких песен на реке.
 Только видно — у тюремных у ворот
 Каждый вечер собирается народ,
 А из башни песни льются и гремят,
 Гусли звонкие рокочут и звенят!

А. И. СВИРСКИЙ

(Автобиография)

В каком городе я родился — не знаю. Возможно, что в Житомире, откуда родом моя мать; но возможно, что родился в Ленинграде, где я помню себя трехлетним мальчиком. Одно достоверно мне известно, что родился 26 сентября 1865 г. Мы жили на Бассейной ул. Отец мой работал кровельщиком на табачной фабрике Жукова. Мать, из боязни забеременеть, кормила меня грудью ровно три года. Отчетливо помню, как я сам подносил маме скамеечку для ног и как вскарабкивался к ней на колени.

Жили бедно и тесно. Матери пришлось пойти в прислуги. Когда мне исполнилось пять лет, между родителями произошел разлад и они развелись. Мать уехала на родину (на два года) сестру, отправившись домашний скarb, забрал меня и старшую (на два года) сестру, отправившись с нами на свою родину — уездный город Свеняны, Виленской губернии.

Мать, соскучившись по нас, прислала отцу письмо «со вложением» 13 рублей денег и потребовала, чтобы он «вернул» ей детей. Отец охотно исполнил просьбу, отправил нас одних, а сам, освободившись от детей, женился на молодой девушке.

Около месяца длилось наше путешествие. Незнакомые «дяди и тети» помогали нам, указывали путь, усаживали в «дилижансы», вздыхали, жалели, удивлялись и всячески носили отца, отправившего малюток своих в такое далекое странствование.

Однако, мы с сестренкой добрались до Житомира и... нашли маму нашу в больнице.

Мать умерла в больнице, сестру приютили какие-то супруги Вейси, а меня взяла к себе тетя, родная сестра мамы, самая многодетная и самая бедная женщина во всем городе.

Муж тети был чахоточный и злой. И когда за первую шалость он больно побил меня, я ушел и пристал к уличным беспризорным мальчишкам.

До 12 лет я жил в Житомире, нигде не учился, делал набеги на сады и огороды, помогал толстым хозяйкам носить корзины с провизией, дрался с гимназистами, бил стекла у почтенных обывателей, делал арабские мячи из найденных на свалке резиновых галosh и... однажды вот-таким мячом запустил в директора учительского института Барского за то, что приказал меня выгнать, когда увидал меня на дворе института. Директор оглох, а я бежал из Житомира.

И вот с этого момента началось мое скитальчество. В продолжении 15 лет я несколько раз исходил Россию вдоль и поперек. Побывал в Сибири, шатался по Крыму и Кавказу, измерил ногами всю Среднюю Азию, прошикал в Персию, а однажды, спрятавшись в трюме парохода, попал из Одессы в Константинополь. Исходил весь Балтийский край, всю Польшу, Литву, Бессарабию, всю Украину.

Не зная ремесла и будучи малограмотным, я работал изредка и случайно, когда нужда и голод заставляли меня братья за труд. На Волге выгружал баржи, поденничал в портах Черного моря, в Баку — на вышках, опускался упряжечным в шахтах Донбасса; в Крыму, на Кавказе и Бессарабии работал на виноградниках, на табачных плантациях; в Туркестане ставил марки на хлопковых тюках; на Севере подбивал шпалы на железных

Государственный
 архив
 Ленинградского
 областного
 комитета
 культуры и
 искусства
 1980

дорогах, работал на кирпичных заводах; жил среди рыбаков, плотовщиков и землеплов.

Мои спутниками были: бродяги, промысловые нищие, воры, мелкие авантюристы, проститутки, босьяки, всякого рода и вида и множества иных, подобно мне, выпавших из жизни и бесплодно искавших крова, убежища, тихой пристани.

Свой кров я находил в тюрьмах, полицейских участках, в ночлежных домах, в чайных и всякого рода притонах. Чаще же всего проводил ночи под открытым небом: в лесах, в оврагах, на улицах больших городов, в садах, на бульварах, под мостами, в недостроенных домах.

В 1891 году, гонимый холерой, я уожу из Бухары и попадаю в Ростов на Дону. Здесь, в этом теплом, красивом и богатом городе я нахожу приют в городском саду. Ночью под музыкантской эстрадой на мягких бляшиных стульях. На третий день утром голод выгнал меня на главную аллею, где на длинной пустынной скамье сидел одинокий бедно-одетый человек по виду рабочий. Я подсел. Разговорились. Я ему рассказал о своих скитаниях. От него я узнал, что он — портной, беден, обременен большой семьей и что его зовут — Феодор Васильевич Христо.

Он пригласил меня к себе. По дороге он купил арбуз и ситный хлеб. В маленькой хатенке, куда он меня привел, жила его семья: пятеро детей, жена и теща.

Редкостный был человек этот самый Христо. На половину грек, на половину русский, он носил в душе большую мечту о прекрасном, любил поэзию, музыку, ненавидел мещанство и всячески стремился вырваться из тенет нищеты, обывательской грязи и нелепой пошлой борьбы за существование.

Великодушный бедняк приютил меня и делился последним куском.

Вечерами мы с ним на портняжном катке усердно сочиняли стихи и рассказывали друг-другу свои биографии.

Однажды Христо отнес редактору новой газеты «Ростовские на Дону Известия» заказанные брюки и уж за одно захватил несколько моих стихотворений. Редактор — Розенштейн (Пиквик) принял мои стихи — и одно из них, посвященное памяти Кольцова, появилось за моей подписью на страницах «Известий».

Произошло это величайшее в моей жизни событие 15-го октября 1892 года, на 27 году моей жизни.

С этих пор я начал писать. Первые мои очерки из босьяцкой жизни имели успех, и редактор назначил мне высший гонорар — 2 коп. за строку.

Вскоре я познакомился с папиросницей табачной фабрики Асмолова Татьяной Алексеевной Ростовцевой, которая не побоялась «босьяка» и согласилась соединить свою судьбу со мной.

Яркая революционерка, живая свидетельница казни Желябова, Перовской и др., Т. А. горела ненавистью к врагам рабочего класса и эту ненависть сумела влить в мое спавшее сознание. Только ей, моей жене, я обязан тем, что вышел на писательскую дорогу. И если суждено мне в русской литературе оставить след, то я заранее заявляю, что без Т. А. я бы этого следа не оставил.

Мои первые две книги «Ростовские труппы» и «По тюрьмам и вертепам» обратили на себя внимание петербургской критики. Первым обо мне написал обширные два фельетона в «Новостях» Нотовича Скабичевский. Последнее обстоятельство придало мне духу, и мы с женой из Ростова перекочевали в Ленинград. За 32 года моей литературной работы я написал до 20 книг — рассказы, повестей, очерков, пьес из жизни рабочих, босьяков, евреев, арестантов, мелкого мещанства, воров и проституток.

Печатался я: в «Сыне Отечества», «Руси» (Гайдебурова), «Новостях», «Донская Речь» и в журналах «Вестник Европы», «Современный Мир», «Новая Жизнь», «Жизнь», «Образование», «Журнал для всех» и мн. др. газет и журналах.

Писали обо мне: Скабичевский, Скриба (Евг. Соловьев), Амфитеатов, Кривенко, Н. Михайловский, Кранихфельд, Измайлов, Косоротов, Долнин, Юр. Соболев и мн. др.

А. Свирский.

Москва.

12 августа 1924 г.

«ЮБИЛЕЙ А. И. СВИРСКОГО»

15-го октября 1922 года исполнилось 30-летие литературной деятельности А. И. Свирского, одного из интереснейших по необычайной пестроте своей биографии русских писателей. Достаточно сказать, что писать и читать выучился Свирский... 25 лет от роду, причем первой школой грамотности оказалась для него... тюрьма.

У Свирского есть превосходная повесть для детей «Рыжик», — даже не повесть, а своеобразный почти что авантюрный роман из жизни «ребенка улицы», волею судьбы претерпевшего разнообразнейшие приключения: то скидывающегося по белу-свету в поисках лучшей доли в обществе циркового фокусника, то попадающего в цепкие руки профессионалов-нищих, знакомящих маленького «Рыжика» со всеми тайнами «фабрики уродов», — то, наконец, изучающего курс воровской науки в шайке карманников и громил.

Так вот, занимательный этот рассказ — в огромной своей доле — полудлиная история детства и юности будущего писателя. Выкинутый на улицу семилетним мальчуганом, — Свирский проделывает те же этапы бродяжничества, через которые проходит и герой его автобиографической повести. Но он бывал принуждаем добывать себе средства и такой «работой», которой не знал даже его «Рыжик»: за плату в две копейки избивал гимназистов по наущению исконных их врагов — уличных мальчишек, и едва ли не за такой же «гонорар» — выбивал окна в квартирах почтенных обывателей южного городка. А потом потонула полоса бродяжничества-босьячества. Это продолжалось 14 лет. Успел тогда побывать А. И. Свирский чуть ли не во всех тюрьмах тогдашней «Российской Империи», которую, кстати сказать, исколесил буквально вдоль и поперек.

В 90-х годах попал он в Ростов-на-Дону, где случайная встреча с портным, греком Христо, приютившим юношу, повернула всю судьбу бедного бродяжки. Оказалось, что портной — великий почитатель литературного босьяка, а попавший к нему «босьяк» — втайне пописывает. И вот с помощью этого мещаната выступает Свирский на литературную дорогу: в местной газете печатает первое свое стихотворение, посвященное, разумеется, Кольцову, а затем пробует свои силы в качестве беллетриста — благо многолетние скитания по большим дорогам давали такой необъятный материал. И тот запас впечатлений и наблюдений, которые вынес начинающий писатель из пестрой сутолок базаров и своеобразного мира воров, бродяг и тюремных обитателей с такими уголками жизни, с такими штрихами быта и такими особенностями нравов, о которых они и представления не имели. Босьяки обитают со всею красочностью их «романтизма в лохмотьях» в очерках, встают со всею красочностью их «романтизма в лохмотьях» в очерках, «единенных под одним заглавием «Погибшие люди». Арестанты, вечные си-

дельцы общих и одиночных камер, представлены в пьесе «Тюрьма», детвора городской бедноты — в «Детях улицы» и в «Рыжике», обитатели «черты оседлости» — в томике «Еврейских рассказов». Все эти книги выдержали по нескольким изданиям и создала А. И. Свирскому ту известность, которая еще больше окрепла после появления «Пограничников», «Лагера Смерти», «На костре», «Одиночества» и целого ряда других произведений, уже широко захватывающих и иные стороны жизни, уже выходя за пределы повествования о «погибших людях».

А. И. Свирский теперь живет в Москве и работает над книгой своих записок и воспоминаний. А ему, действительно, есть и что вспомнить, и есть о чем оставить свои записки...

Ю. В. Соболев.

«ЗАПИСКИ РАБОЧЕГО» А. И. СВИРСКОГО

«Записки рабочего» рисуют быт рабочих до 1905 года. Первое издание было сожжено по приговору судебной палаты в 1907 году. В 1923 г. «Земля и Фабрика» выпустила их третьим изданием.

Эти записки носят автобиографический характер.

В. Л.-Р.

ОТРЫВОК ИЗ «ЗАПИСОК РАБОЧЕГО»

... Ну, голубчик, — сказал Пантелеич, — здравствуй и до свидания придется тебе на другой завод поступить.

— Почему? — спросил я, и сердце защемило в груди.

— А потому, что у нас полный комплект.

— Как же я теперь буду? — спросил я упавшим голосом и недоуменно развел руками.

— Не печальтесь, — обратился ко мне Павел Васильевич. — Для вас даже лучше. Здесь как-никак, а вы считались мальчиком-чернорабочим, а на другой завод вы уже можете поступить и в качестве мастерового.

— Как так? Ведь я ни одного ремесла по настоящему не знаю.

— Да мы все по настоящему ничего не знаем. Уж вы поступайте так, как все делают. Пантелеич вам даст записку, отправьтесь на Путиловский завод, отдайте записку мастеру механической мастерской и скажите, что вы слесарь. Вот и все.

— А если пробу дадут? — спросил я.

— И об этом не беспокойтесь, — сказал Павел Васильевич и добавил: — насчет пробы я позабочусь. Там у меня один приятель есть. Я ему заготовлю письмецо, и он вас выручит.

— То-есть, как это выручит?

— Очень просто: вам дадут пробную работу, а он вам поможет.

Я с удивлением посмотрел на Павла Васильевича.

Он понял мой взгляд и рассмеялся.

— Вы, голубчик, не удивляйтесь. Я сам понимаю, что так поступать нельзя, что это обман, но у меня уж правило такое: из двух зол выбирать наименьшее. Во-первых, я уже вам сказал, что так почти все поступают, а во-вторых, мы этим не вред, а пользу приносим и вам, и заводу.

— Какую же пользу?

— Самую настоящую пользу. Вас, наконец, допустят к тискам, вам цеховому рабочему, выдадут инструменты, и вы свободно начнете изучать слесарное ремесло. В трудных случаях вам помогут товарищи. И спустя немного времени вы будете настоящим слесарем, а не чернорабочим, каким вы могли бы остаться до самой смерти, если бы не такой способ. А заводу будет та польза, что он в лице вашем получит добросовестного работника.

После таких слов мне оставалось только поблагодарить добрых людей за их совет и содействие.

На другой день, еще задолго до восхода солнца, я отправился на Путиловский завод.

Путь предстоял мне неблизкий, и я, чтоб не опоздать, шел быстрым, торопливым шагом. И когда во второй раз прокричали заводские гудки, я уже был у цели. Я увидел улицу, широкую и длинную, всю переполненную народом. Черной живой рекой двигались люди в желто-буrom тумане наступающего утра. Было холодно и мокро.

При мне ворота раскрылись, и люди труда шумливым водопадом вливались внутрь завода. Никогда я еще не видел такого множества рабочих, собранных вместе. Добрых пятнадцать минут продолжался впуск людей в завод.

После третьего гудка все ворота закрылись, и мы, пришедшие наниматься, в числе около трехсот человек, остались на улице. Нам, стоявшим за оградой завода, видны были одни только трубы, высокие, круглые, закованные. Густой дымчатый туман, пропитанный, как мне казалось, гарью, обволакивал эти трубы, и временами они исчезали из виду.

Спустя немного завод пошел полным ходом. Мы слышали, как загудели машины, застучали тысячи молотков...

Тяжелое чувство испытывал я. Только рабочий, которому приходилось стоять под заводскими воротами в ожидании приемки, может понять меня. Трудно, мне кажется, придумать более унижительное положение, чем то, когда работник вынужден часами, а иногда и днями выставлять у ворот фабрики или завода в ожидании, когда угодно будет капиталу принять его труд.

И вспомнились мне в те минуты слова Павла Васильевича: «Труд есть величайшая радость земли». Какой злой насмешкой звучали для меня теперь эти слова! Хороша радость, когда мы, безработные, словно овцы, выгнанные из стада, растерянно топчемся на одном месте, мокнем и зябнем в осеннем тумане и с замирающим сердцем ждем, когда сытому и обеспеченному капиталу заблагорассудится обратить на нас внимание и благосклонно принять наши мускулы, наш пот, наше здоровье, которые мы приволокли и бросили к воротам завода, как ненужный хлам.

Прошло полчаса, но мне казалось, что мы целую вечность стоим у закрытых ворот. Не знаю, что меня толкнуло, только мне захотелось заявить кому бы то ни было, что триста человек рабочих стоят у завода и просят выпустить их.

Движимый этим желанием, я протиснулся вперед, к калитке, и поступался. В ту же минуту повернулся усатое и свирепое лицо сторожа.

— Чего тебе? — кричал он на меня.

— Мы — рабочие... мастеровые... поступить желаем...

— А желаете, так ждите...

И калитка захлопнулась перед моим носом.

— Что за серый народ такой пошел!... — послышался по моему адресу чей-то голос в толпе. — Порядка не знает, а прет, как козел на капусту. Тоже нетерпение выражает... Барин какой нашелся.

— А ты кто здесь: старшой, что ли? — послышался другой голос. — Сам еще на улице стоит, а язык уже контору лижет... Человеку надоело стоять, он и постучался, а ты набросился, словно начальник или пес какой.

— Ладно, булет вам... Точно бабы в бане, — вешался еще кто-то. Спор готов был разгореться, но в это время калитка открылась, и втрочично показалась свирепая рожа сторожа.

— Кто в механическую — проходи! — провозгласил привратник. К моему удивлению, я оказался единственным слесарем.

— Ступай в приемную, — сказал мне сторож и указал на белевший вдали одноэтажный домик.

К тому времени туман совершенно рассеялся, окружающие предметы стали ясно выприсовываться перед моими глазами.

Путиловский завод ошеломил меня своей огромностью. Это был целый город, состоявший из чугуна, камней, огня и стали. Человеческий труд показал себя здесь во всей своей мощи. Когда я проходил мимо сталелитейной, мне жутко сделалось. Я проходил мимо ада, в котором сотни людей купались в огне и расплавленном металле.

В приемной мне пришлось долго ждать, пока пришел мастер механической мастерской. Это был плотный, сытый человек, с коротенькими толстыми руками и ногами. В глаза рабочие называли его Матвей Иванович, а заочно — Ванька-Встанька.

— Ты — слесарь? — обратились он ко мне и взглянул на меня снизу вверх.

— Да, слесарь, — ответил я и покраснел до корня волос.

— Где работал?

— На Балтийском.

— Долго?

— Один год.

— Почему ушел?

— К призыву потребовали. Я из Нижнего.

— Аттестат есть?

— У меня письмо к вам есть.

Я подал ему записку Пантелеича. Мастер развернул бумажку, подошел к окну и долго-долго читал. Повидимому, Матвей Иванович не особенно был силен в грамоте. Когда он кончил, на его лице появилась мечтательная улыбка, какая бывает у честолюбивого человека, когда ему льстят.

— Хорошо, — сказал мастер. — Пойдем в мастерскую.

Я молча последовал за ним. В мастерской рабочие до того были заняты своим делом, что на мое появление никто не обратил внимания.

И я был очень рад этому обстоятельству, потому что я чувствовал себя самозванцем и боялся людям в глаза смотреть. Мастерская мне не понравилась. Здесь чувствовалось полное отсутствие порядка. Это был огромный сарай с полукруглой крышей и разбитыми окнами. Пол был мокрый и грязный. Отовсюду дули сквозняки.

«Такой богатый завод, и такая мерзость», — подумал было я, но тут же вспомнил о тех, которые стояли на улице в ожидании приемки, и дух недовольства улегся на дне души.

Мастер подвел меня к свободным тискам.

— Вот твоё место. Сейчас пробу получишь, — сказал он и куда-то улетучился.

Я окончательно растерялся и совершенно забыл о письме Павла Васильевича, которое лежало у меня в кармане, если бы пробная работа оказалась не по силам.

Через полчаса пробная работа была мне выдана.

— Вот сделай это, а потом посмотри, — сказал мастер и положил около меня шаблон и материал. Потом он ушел, а я остался один, растерянный и беспомощный. Шаблон ничего не говорил ни уму моему, ни сердцу. Работа была для меня совершенно незнакомая, и я не знал, с какого конца к ней подойти. Одна только мысль гнездилась в моей голове: «Надо уйти скорее, пока не выгнали».

Впоследствии проба была не из трудных: мне нужно было сделать предохранительный клапан с передаточной трубкой для локомотива. Спустя месяца три я эти вещи делал, закрыв глаза; но теперь, в данную минуту, эта работа являлась для меня китайской грамотой.

Чтобы не выдать своего волнения, я стал как будто что-то делать: переключивал с места на место материал и рассматривал шаблон. А вокруг меня безостановочно кипела работа, полная стукотни и движения.

— Вы с Балтийского? — неожиданно услышал я над самым ухом чей-то вопрос.

Я повернул голову и увидел стоящего за своими тисками рядом со мною слесаря непомерно высокого роста.

— Да, с Балтийского, — поспешно ответил я и обрадовался почему-то.

Сосед задал мне еще несколько вопросов, на которые я охотно и подробно отвечал. За это время я успел хорошо рассмотреть его. Он был рыжий, с лицом, покрытым веснушками. Даже руки у него были в веснушках. Я еще в детстве терпеть не мог рыжих; но этот человек понравился мне с первого раза. Какая-то доброта и доверчивость светились в его карих глазах. Лицо у него было продолговатое и худое, точно после болезни, а лоб белый, высокий и открытый. Такие лбы бывают у писателей и у людей науки. Но главным образом этот человек подкупил меня своим голосом, мягким, грудным и ласкающим.

— Вы не были знакомы с Павлом Васильевичем? — спросил меня сосед.

— Это с чертежником-то? Как же, очень даже знаком. Ах, да...

вот хорошо, что вспомнил... Мне Павел Васильевич поручил записочку передать одному здешнему рабочему.

— Как его звать?

— Арсений Глыбов.

— Это я самый и есть, — сказал мой сосед и засмеялся.

Меня охватил такой восторг, что я готов был броситься целовать Глыбова.

Я передал ему записку Павла Васильевича. Глыбов мгновенно ее прочитал, бросил на меня участливый взгляд и сразу засуетился.

— Погодите, я сейчас вам помогу, — зашептал он, тревожно оглядываясь по сторонам. — Вы сначала сделайте трубку... Я сейчас ее размечу... Тут надо на миллиметры... Это пустяки... Мне тоже помогали... Не смущайтесь.

И, продолжая разговаривать, Глыбов быстро и ловко разметил трубку, кернером набил точки для сверла, а мне дал выпиливать бочковые пластинки.

Работал он быстро и умело. Я следил за движением его рук, завидовал и болел душой.

Раза два подходил к нам старшой, здоровый бездельник с хищным лицом.

— Эй, ты, рыжий, не мешай новичку! — ехидно бросил он на ходу и на мгновение остановился около Глыбова.

Тот посмотрел на него так, как ребенок смотрит на жабу, и ничего не сказал.

Проба моя, благодаря Гльбову, подвигалась вперед, и я чувствовал, что останусь на заводе.

Постепенно я стал осваиваться и наблюдать за тем, что вокруг меня происходило. Прежде всего я заметил, что все рабочие, находившиеся в мастерской, не столько работали, сколько сутелись. И происходило это не потому, что люди отлынивали от работы, а потому, что неблагоустройство мастерской мешало правильному труду. Ничего не было под руками. За напильником надо было бегать в инструментальную и там полчаса вымалывать его у заведующего.

Чтобы согреть работу, приходилось бегать в кузницу и там дожидаться очереди. Материал выдавался в обрез, и часто приходилось рыскать по всей мастерской и выпрашивать кусочек железа. И так во всем: за что ни хватиться, того нет. И невольно опускались руки, и работа являлась не радостью, как говорил Павел Васильевич, а сплошным мученьем. А все эти погонщики-мастера да старшие, грубые, с кабацким ругательством на устах, черствые и жестокие, — только и делали, что отбивали охоту к труду.

Первый день моего пребывания на заводе ознаменовался тремя прискорбными происшествиями. Все случившееся за этот день как нельзя лучше доказало мне, как глубоко порабощен русский рабочий и в какой крошечной тыме он обретаеся.

Начну с первого происшествия.

Паровозостроительная мастерская выпустила новый локомотив. Надо было попробовать его ход. С утра распустили пары, а за два часа до обеда, когда все было готово, дали знать начальству.

Явились инженер-механик, его помощник, старший машинист, главный техник и сам директор завода, тучный немец с круглой ермолкой на бритой голове.

Наступила торжественная минута. Машинист и кочегар взойшли на тендер локомотива.

— Пускаю, — сказал машинист и дал свисток.

Начальство выстроилось по обеим сторонам пути, а рабочие с мастерской во главе толпились позади.

Два раза прокричал паровоз, но с места не трогался. Подождали еще немного. Локомотив шипит, пыхтит и не двгается.

— Что же вы там, примерзали, что ли? — крикнул инженер, потеряв терпение.

В ответ локомотив свистнул в третий раз, но с места не двинулся. Тогда начальство двинулось к локомотиву.

— Что у вас там такое?

— Не вертится, — кратко отвечал машинист.

— Что не вертится? Говорите толком!

— Вся машина не действует. Ничто не вертится.

— Ага, вот это мне нравится! — как сказал Фауст, — с тонкой, как жало комара, язвительностью проговорил директор, вздернул плечами, кому-то подмигнул и направился к конторе.

— Пока у вас тут завертится, я успею в город съездить, — с тою же ядовитостью добавил он и ушел.

Инженер чуть не допнул от овладевшего им гнева. Ражий детина, похотливый торчащими вверх усами на императора Вильгельма, он бросился к паровозу, как ворона на падаль.

— Почему не вертится, чорт возьми?! — крикнул он изо всей мочи.

— А я почему знаю? Не я локомотив делал, — с видимым раздражением ответил машинист.

— Конструктора сюда! Мастера и всех портачей сюда! Мастера и всех портачей сюда!.. Я покажу вам, мерзавцы! Ах, сукины дети!.. Ах, прохлости!..

Так кричал инженер, получивший высшее образование, живший три года за границей и говоривший на трех языках.

Паровоз загасили, пары выпустили и, по приказанию инженера, приступили к разборке локомотива. Работа предстояла трудная и кропотливая. Под градом ругательных слов мастеровые приступили к делу.

Меня удивляло отношение к этому происшествию всех заинтересованных и незаинтересованных лиц.

Одни выходили из себя, а другие злорадствовали. Ни в ком я не заметил чувства огорчения или горечи уязвленного самолюбия. Не было любви к делу, а была только одна озлобленность.

— Не вертится, не вертится, — раздавался шопот по всем мастерским, и при этом глаза у всех смеялись.

— Не вертится... У нас не вертится, а у других вертится... Так им, чертям, и нало...

А ремни над моей головой шипели, как змеи, и мне чудилось, что и они повторяют: «Не вертится, не вертится!..».

А к вечеру всем стало известно, что напрасно разобрали локомотив и тем создали ненужный труд на две недели. Оказалось, что внутренний поршень был сильно привинчен к стану и что стоило только ослабить винтовой колпак, как паровоз пошел бы как следует.

Перехожу к другому происшествию. За четверть часа до обеденного гудка в механическую мастерскую вежал один из рабочих и крикнул:

«В сталепрокатной человек горит!».

И убежал.

Поднялась сумятица. Многие не расслышали слов рабочего, а только видели, что некоторые бросают работу и спешно выбегают из мастерской. И этого было вполне достаточно, чтобы произошла паника.

Кое-как мне удалось вырваться из крепких объятий толпы и выбежать из мастерской. Когда я добежал к сталепрокатной, там было уже все кончено.

На снегу, окруженный молчаливой толпой, лежал обуглившийся труп только-что сгоревшего молодого рабочего. Он сгорел во время работы, среди белого дня, на глазах тысячной толпы, и когда горел, он не терял сознания и молил о помощи.

Горение длилось две минуты. Две минуты горящий человек не хотел умирать и так кричал, что вопли его, казалось, и после кончины носились в сыром туманном воздухе и стучались в сердце каждому из нас.

Вокруг тлеющего трупа снег растаял и почернел. Синий дымок носился над скорбным местом, и пахло гарью от сгоревшей одежды и расплавленным салом. Лицо (мне говорили, что покойный был молодой, красивый, веселый и сильный человек) тоже сгорело; остались только зубы, — белые, обнаженные, смеющиеся, как смеется череп, и еще глаза, выскочившие из орбит и надувшиеся на подобие стеклянных шариков.

Толпа молчала. Народ всегда в подобных случаях молчит; но в этом молчании чувствуется столько горя, столько невисказанных дум, столько душевной боли, что никакие речи не могут сравниться с горькой глубиной подобного молчания.

Иногда кто-нибудь из присутствующих обнажит голову, перекрестится и шепнет: «Царство небесное...», и отвернется, чтобы людям слез не казаться.

Ближе всех к труп устояли литейщики, черные, как арапы, с измученными, опаленными лицами.

Догадливое начальство приказало дать обеденный гудок. И когда пар прокрячал, всем велено было немедленно разойтись, после чего труп был убран.

От литейщиков я узнал, как все это произошло. Покойный работал у прокатного станка. Понадобилось ему зачем-то к мастеру. И вот он слез с вышки и направился к калинным печам; а навстречу ему попалась литейщик с раскаленной до-бела болванкой на тачке.

— Эй, берегись! — крикнул ему литейщик.

Тот сделал движение в сторону, оступился и упал прямо на раскаленную сталь...

— Как это он оступился? — спрашивал я.

— Да очень просто, — отвечали мне. — В нашей прокатной оступиться или упасть не хитро. Пол-то у нас какой? Устлан плитками; плиты не приклеплены. И вот, значит, когда ходишь по мастерской, пол, как живой, скачет под ногами. И опять же темно у нас, ничего не видно. Когда счастье упалешь, а когда — поминай, как звали.

— Ну, хорошо, — попытывался я дальше, — упал человек, загорелся на нем одежда, закричал он, все услышали, себжался; а он все-таки сгорел. Как же это? Неужто вы не могли спасти его?

— Пойди-ка, спаси, когда человек в руки не дается.

— Как это не дается?

— Да так, очень просто. Как почувствовал он, что горит, испугался, должно быть, очень и давай прыгать по мастерской. Сажеными прыгал. А блуза-то на нем масляная, горячая, как вспыхнет вся, — ну, тут и конец пришел. Носится, бедняга, по мастерской огненным столбом и кричит изо всей мочи. Только подбежишь, а он как прискочит, да от тебя. И хочется помочь, да нельзя. А слышим мы, как живая кожа жарится, как сало в нем шипит. А он все еще живет, скачет и кричит. Насилу из литейной вытолкали да на снег повалили.

Вот все, что мне удалось узнать от литейщиков.

Весь день находился я под впечатлением описанного случая. Я не делал никаких выводов, никаких заключений. Никого я не обвинял, а только страдал за погибшего товарища-рабочего. Я представлял себя на месте, спорящего, и от мысли, что и меня, быть может, ждет такая судьба, мне становилось жутко и холодно.

Третий случай произошел в тот же день перед вечером в нашей механической мастерской. Один из чернорабочих попал под колесо парового токарного станка. Ему оторвало правую руку выше локтя.

Помню, я стоял за тисками, когда позади меня раздался отчаянный нечеловеческий крик. Я быстро оглянулся, и сам чуть было не вскрикнул. В трех шагах от меня лежал бородастый крупный человек и кричал и корчился от боли. От небольшого остатка руки горячим фонтаном била кровь. Кровь этого человека сочилась также с зубов остановившейся машины. Под станком лежала оторванная рука с мертвой посиневшей кистью.

У нас в памяти жил еще образ сгоревшего литейщика, и нервы у всех были натянуты. И когда в мастерской раздался крик рабочего, люди в безумном смятении бросились вон из мастерской. У места катастрофы собралось начальство: мастер и все старшие.

— Сам виноват: смотреть надо. На то и глаза даны... — торопливо проговорил мастер, не зная еще, в чем дело и как все это случилось.

— Он подавал мне резец, — рассказывал токарь, — протянул руку... А вот как его рука попала в зубы станка, я не заметил. Должно быть, блузу захватило...

— Вот я же и говорю: сам виноват. Все они, эти серые черти... неосторожны. Эй вы, ребята, смесите-ка его в лазарет. Я дам знать фельдшеру, — добавил мастер.

Пострадавшего подняли и вынесли из мастерской. Крики и стоны прекратились, а на том месте, где упал чернорабочий, стояла неподвижная лужа крови.

Кто-то нагнулся, полез под станок и вытащил оторванную руку, на которой висели ключья синей блузы. На лице того, кто это сделал, был написан ужас и отвращение. И когда он уносил руку из мастерской, его пытавалось.

— Сам виноват... Глаза даны для того, чтобы смотреть ими, — чуть ли не в десятый раз повторил мастер, у которого, видимо, совесть была не на месте.

— Нет-с, извините, он не виноват, — вдруг неожиданно проговорил Арсений Глыбов, и карие глаза его сверкнули, как молнии.

Мастер от удивления отступил даже шаг назад и уставился рыбьими глазами на Глыбова. Он был до того поражен несмысленной дерзостью, что в первое мгновение не нашел, что сказать. В те времена рабочие еще не разговаривали и безропотно переносили все обиды и невзгоды жизни.

— А кто же по-твоему виноват? — с трудом выговаривая слова, спросил мастер.

Видно было, как мастера душаила злоба и как постепенно багровел его жирный короткий затылок.

— Виноват завод, — отчеканил Глыбов и медленно прошелся глазами по круглому, одутловатому лицу мастера.

— Почему завод? — почти шопотом спросил Матвей Иванович и сделал шаг вперед.

— Потому завод виноват, что футляров нет перед машинами. Завод человеческую жизнь ни во что ставит. Сегодня вы сожрали двух человек, и ни одного не подавилис. Так будьте же трижды прокляты!

Я не узнал Глыбова: он весь преобразился. Высокий, стройный, с высоко поднятой пилой в руке, он говорил громким, звучным голосом.

— Вы, рабовладельцы! У вас заглохла совесть и жалость. Мы, рабочие, создаем вам вашу сытую жизнь, мы обогащаем вас, мы куем своими руками счастье и радость, которые вы целиком вырываете у нас, а нам оставляете одно горе, нужду и увечья. Но погодите, придет день и...

— Довольно! — изо всей силы гаркнул мастер. — Довольно, смутяни! Я покажу тебе, ржему чорту... Марш в контору за расчетом!.. Сдавай инструменты.

Мастер топал ногами, ругался скверными словами, и лицо его налилось кровью. Я был уверен, что с этим маленьким толстком случится припадок.

Через полчаса Глыбова не стало на заводе. Из девятисот человек нашей мастерской никто и звука не проронил по поводу случившегося. Рабский страх сковал уста, и все безмолвовало.

Я вернулся домой усталый и разбитый, словно весь день таскал неподвижные тяжести.

Впечатления были слишком яркие, и я долго не мог успокоиться. Ночью сон бежал от меня, и я ворочался на жесткой койке, окруженный дикими, чуждыми призраками.

В моем воображении проходили все происшествия дня, и мне казалось, что память моя рассказывает мне страшную, чудовищную сказку.

Картины быстро менялись одна за другой. То я вижу обуглившийся труп сгоревшего прокатчика, то оторванную руку чернорабочего, то я слышу над головой своей стоустый шопот: «Не вертится, не вертится...».

«Да что же это такое?» — мучительно спрашивал я и не находил ответа.

И вспомнилась мне речь Павла Васильевича. Он с болью в душе говорил о превосходстве иностранных рабочих, о красоте и совершенстве их работ.

Да, это правда: нам, русским рабочим, далеко до французов, англичан и немцев. Наши изделия грубы, топорны. У нас нет вкуса, нет любви к красоте.

Но кто смеет упрекнуть нас в этом? Кто?! Отнимите у французских, у английских и немецких рабочих их знание, их грамотность, дайте им грубые, нечестивых и жадных промышленников, дайте им недоучившихся и бессердечных инженеров, закройте им школы и сверните их в нашу российскую тьму, — и тогда мы увидим, каковы будут их изделия.

Нет, не упреков, а удивления достойны наши русские рабочие. Как-никак, а мы все-таки что-нибудь да делаем. Несмотря на гнет и бесправие, рабочий класс растет и ширится и твердыми шагами идет к цели.

Правда и то, что силы наши гибнут, что народный гений приравлен беспрестанной тьмой и жестоким бесправием, но пока силы окончательно не погибли, нельзя терять надежды.

Сегодня Арсений Глыбов показал, что русский рабочий — не рыба. Пусть он будет пока единственный, — это не беда. Если одна ласточка весны не делает, зато она дает знать, что весна не за горами...

Н. ТЕМНЫЙ (Н. А. Лазарев)

(Очерк И. А. Белоусова¹)

Есть на московских кладбищах тихие уютные уголки; встречаются они большей частью в последних рядах, где нет роскошных мавзолеев над богатыми и знатными людьми. Лежит здесь больше трудовой, рабочий народ, и стоят над ним деревянные кресты, да изредка промелькнет простой серый гранит незатейливой формы, или известняк.

Просто и тихо в этих уголках, — дорожки не расчищены, заросли травой; весной в густых деревьях поют соловьи, слышится мирная, беззаботная песенка зяблика; — только эти залетные гости погоста и нарушают тишину вечного успокоения тружеников. Людей тут мало, и не слышится их жалоб, сожаления, ни пошлого глупого суждения...

¹ Из книги Н. Темный (Н. А. Лазарев) «Рассказы» под ред. И. А. Белоусова. Гос. изд. Москва. 1920 г., стр. 108.

Вот в одном из таких уголков Ваганьковского кладбища в Москве, около заросшей кустами и деревьями дорожки, стоит простой, из серого гранита, памятник со следующей надписью:

Николай Артемьевич
ЛАЗАРЕВ

(Н. Темный).

Писатель из рабочих.

Внизу стихи:

Знал он рабочих тяжелые муки,—
Сам человек был труда,—
И упокоил уставшие руки
В темной земле навсегда...

А сверху, над надписью,—бронзовый барельеф-портрет Лазарева. Лицо энергичное, твердое, черты грубоватые, но правильные, открытый умный лоб, густые волосы... Этот памятник поставлен на могиле рабочего человека — писателя и изобретателя, умершего 21 мая 1910 года; родился Лазарев 23 апреля 1863 года, значит, умер он в пору расцвета жизни, на 47 году.

Отец его происходил из крестьянской среды, но крестьянским хозяйством занимался мало, — он исполнял в своем селе какую-то административную должность.

Семья Лазаревых была достатка среднего, думать о настоящем образовании и воспитании детей было нечего, а потому, как только сын подрос, его сейчас же отправили в Москву и определили обучаться слесарному мастерству.

Оторванный от семьи, одиноко рос любознательный скромный мальчик в рабочей среде. Через два года он уже многое постиг в слесарном деле, но его не удовлетворяло одно это ремесло, — ему хотелось знать больше того, что он получал, работая с утра до ночи в мастерской: его тянуло к книге.

Читать и писать научил его отец, а большего он ничего не мог ему дать. Лазареву пришлось самому дополнять свое скудное образование; он стал учиться арифметике, грамматике; — но без человека, который бы разъяснил, растолковал эти науки, было трудно малоподготовленному Лазареву, и он стал искать знакомства среди учащейся молодежи.

Лазарев, действительно, очень хорошо знал жизнь рабочего класса, он с малых лет пристрастился к людям, знал и горе и радость трудящихся, — умел оценить и понять каждого товарища, за что впоследствии и поплатился.

В это время Лазарев работал в мастерских Смоленской (ныне Александровской) железной дороги и жил влоем со старухой-матерью, — отца уже не было в живых, — занимал он небольшую квартирку в одном из переулков Гruzин, в деревянном флигеле, во дворе.

Старушка-мать души не чаяла в сыне, — у ней только и заботы было, что о нем.

Когда умерла мать, Лазарев остался одиноким и поселился в одной квартире с известным статистиком И. П. Боголеповым, который считался в то время неблагонадежным в политическом отношении и у которого нередко производились обыски.

В это время начальником охранного отделения был известный Зубатов, который всячески «заигрывал» с рабочими, особенно с металлистами, как наиболее развитыми и сознательными.

У Зубатова была выработана система: во все мастерские и заводы ставить своих агентов для вылавливания нужных жертв — противников царского режима. Такие агенты были пристроены и в мастерские Смоленской железной дороги.

Зоркий глаз Лазарева сразу отличил «новых» рабочих, которые всячески старались завести дружбу со старыми.

Лазарев не только не сходил с ними, но стал предостерегать своих товарищей от сношения с ними.

— Митюха, ты не очень слони распускай с таким-то, а то угодишь, куда Макар телят не гонял, — бывало, скажет Лазарев наедине кому-нибудь из своих товарищей. И, может быть, благодаря этому зубатовская провокация не только не процветала в Смоленских мастерских, а совсем заглохла.

По счастливой случайности он познакомился с двумя гимназистами старших классов — детьми известного писателя-народника Н. Н. Златовратского, которые много помогли Лазареву в его самообразовании.

Да и сам старый писатель тепло и душевно относился к молодому слесарю и ввел его в круг своих знакомых.

И вот, простой малограмотный рабочий очутился в среде литературных людей. Беседы, разговоры о литературе, о современных событиях развивали любознательный ум Лазарева и расширяли кругозор его наблюдений; он уже во многих вопросах разбирался по-своему, и в то же время его самого потянуло к писательству. Сначала, как это обыкновенно бывает с самоучками, Лазарев пробовал писать стихи, но скоро понял, что к этому он неспособен, и стихи были оставлены навсегда.

Жизненный опыт, знание рабочей среды и природная наблюдательность, — вот те данные, которые ясно показывали, что его дело — быть бытописателем рабочей среды.

Первый опыт, в виде рассказа из рабочей жизни, был принесен Лазаревым Н. Н. Златовратскому. Опытный писатель сразу увидел серьезное отношение молодого автора к делу писательства и посоветовал ему этот рассказ послать В. Г. Короленко.

Между прочим, молодой автор ни за что не хотел подписать рассказ своей фамилией, и сообщая с Н. Н. Златовратским был придуман псевдоним — «Н. Темный».

В. Г. Короленко обратил внимание на произведение самоучки-писателя, заинтересовался самим автором и прислал ему письмо, в котором удивлялся неэкономичности начинающего писателя в том смысле, что другой бы на месте Лазарева, обладая таким богатым и правдивым материалом, мог бы на эту тему написать целую повесть. Лазарев же ждал все это в небольшой рассказ.

Высшие чины охранки раскусили, в чем дело, и когда догадались, кто является виновником, парализующим их деятельность, — произвели у Лазарева обыск, но ничего подозрительного не нашли. Лазарев во время обыска был спокоен, даже шутил:

— Ваше благородие, ордена запачкаете, — говорил он чиновнику, который полез под кровать, что-то разыскивая.

Однако, Лазарев был арестован.

Продержав Лазарева несколько месяцев в Москве в заключении по разным тюрьмам, не предъявив ему никакого обвинения, его выслали в город Воронеж, где он пробыл около двух лет, занимаясь слесарным мастерством. Там, в Воронеже, он познакомился и подружился с известной писательницей В. И. Дмитриевой.

Через два года дело Лазарева окончилось ничем, и он вернулся в Москву и поступил на городскую службу, на насосную станцию.

В это время он изучил электрическое дело и перешел на службу в ремонтные мастерские московского трамвая.

Ему давалась отдельная квартира, и хотя он жил в одиночестве, но редкий день у него не было кого-нибудь из товарищей рабочих; особенно у него находили приют те, кого судьба выбросила за борт жизни, — рабочие, лишнные мест, или подозреваемые, которым надо было скрываться. И Лазарев делился с неимущими последним. Иногда приходила осень, наступали холода, а у него не было теплой одежды.

— Где же у вас теплое пальто? — спросят его, бывало.

— Должно быть, кто-нибудь взял, оно все висело на вешалке. Много у меня бывает таких, которым одеть нечего и купить не на что, — ответил он. И ни злобы, ни обиды, ни сожаления не слышалось в этом ответе.

Но, как ни много было работы в мастерских, как ни отрывали время разные посетители, Лазарев ухитрялся заниматься литературой и изобретениями, к чему тянуло его с ранних лет.

Интересна история с веретеном, которое он сделал по образцу английского.

Это было еще до ареста.

Лазарев знал, что все почти прядельные фабрики Европы употребляют только английские веретена, которым не существует конкуренции. В выделке этого предмета англичане не имели, да и до сих пор не имеют соперников.

Главное достоинство английского веретена заключается в том, что оно так математически-точно выточено, что при работе, делая громадное количество оборотов вокруг себя, не нагревается, так как не задевает воздуха, и остается холодным.

Лазарев страшно заинтересовался этим веретеном и, долго обдумывая по своему характеру, решил сам домашним способом выточить такое веретено.

Купил он подержанный точильный станок и принялся за работу. Долго он работал, и, наконец, веретено было готово, но надо было его испробовать.

Два веретена были посланы на две известные в России прядельные фабрики, и Лазарев получил официальные отзывы фабричных механиков и инженеров в том, что веретена сделаны так, что ничем не отличаются от английских.

К Лазареву явились предприниматели с предложением открыть фабрики для выделки веретен в России, но на все предложения Лазарев отвечал так: «Ни на каких предпринимательских, принадлежащих частным лицам, фабриках я работать не буду. Пусть мне даст государство субсидию, и я устройю фабрику, но на таких началах, чтобы каждый рабочий был равноправным членом предприятия. А на службу я ни к кому не пойду и никому не желаю увеличивать капиталов».

Конечно, прежняя царская власть не могла согласиться на такие коммунистические условия.

И дело с веретенами заглохло, и забылись веретена!

Изобрел Лазарев еще интересную вещь, — песочницу для посыпки рельсов на железнодорожных путях, — вещь, необходимая в каждом подвижном составе. И до лазаревской были песочницы, но не так усовершенствованы, как его; но и от этого изобретения он не получил никакой пользы:

вышли какие-то недоразумения с чертежником, который представлял это изобретение на получение патента. Он предъявил свои права за оказанную помощь при присовании, и Лазарев предоставил г. Москве пользование его изобретением при оборудовании вагонов для московского трамвая. И теперь все вагоны трамвая в Москве имеют песочницу Лазарева. Изобрел он еще несколько типов насосов. Задумал он построить междувагонное заграждение... Но давно уже известно, что русским изобретателям ни в чем не везет, тем более такому, как Лазарев — полнейший самоучка. На его изобретения не обращали внимания. Чувствовал это Лазарев и сам строго относился к другим изобретениям.

Был такой случай: какой-то ученый техник изобрел аппарат, который приделывается к колесам вагонов и будто бы совершенно предохраняет от несчастных случаев. По словам изобретателя, его аппарат является незаменимой вещью для московских трамваев.

На экспертизу изобретения собралась вся знать: представители города, администрации, инженеры, механики-техники всех сортов, даже пожарный бригадир явился. Приглашен был в качестве эксперта и Лазарев. Посмотрел он изобретение и увидел, что оно нигде не годно, — да так прямо и высказал свою мысль представителям. Изобретатель потребовал доказательства.

— Так судить, — говорит, — нельзя, надо обоснованно делать заключение.

— А вот что, — ответил изобретателю Лазарев, — ложитесь-ка вы на рельсы, а я по этим рельсам поведу вагон. Чего еще основательнее?

Не понравилось это изобретателю...

Как ни трудна была работа в ремонтных мастерских, все же в праздничные дни Лазарев пользовался отдыхом. Измучившись недельным трудом среди сутолки и спешной работы, он, особенно летом, уезжал в Апрелевку к Н. Н. Златовратскому¹.

Целый день он беседовал со старым писателем, сообщал ему городские новости, рассказывал ему, что прочитал, что слепал за неделю, бродил по лесу или сидел с удочкой на берегу пруда, вылавливая карасей.

Когда же наступал более продолжительный отдых, на Рождество или Пасху, Лазарев шел к своим близким друзьям-знакомым и отправлялся с ними за праздничными покупками. Какая у этого человека, грубоватого на вид, была мягкая, добрая душа, видно из того, что он, прежде чем купить себе необходимое, начинал покупать игрушки для детей своих приятелей. Но сколько ни делал Лазарев покупок для своего хозяйства, у него всегда чего-нибудь не хватало: «расталили!» — скажет он просто, — и больше ничего.

В 1909 году Лазарев начал прихварывать. Врачи посоветовали взять отпуск и полечиться. Ему захотелось поехать куда-нибудь подальше, и он отправился на Кавказ, но эта поездка не принесла пользы измученному организму. Болезнь упорно развивалась; пришлось лечь в больницу. Проснулась жажда жизни, но жить этому человеку было не суждено, — он умер 21 мая 1910 года.

Литературное наследие Лазарева невелико, — им было написано в законченном виде всего 7 рассказов и один путевой очерк. Большая часть рассказов была напечатана в журнале «Русское Богатство», а потом рассказы вышли отдельными дешевыми изданиями. Темы всех рассказов взяты из жизни рабочих, которых, как высечено на памятнике, Лазарев «знал тяжелые муки» и правдиво изобразил их в художественной форме.

¹ У Н. Н. Златовратского было маленькое имение в 40 верстах от Москвы, близ ст. Апрелевка, Киевско-Воронежской ж. д.

Старый, отошедший быт запечатлен в рассказах Лазарева; началась новая, свободная жизнь, но те, кто дожил до этого времени, пусть по талантливому изображению Лазарева узнают, как в прежние времена тяжело, трудно жилось рабочему люду. И по самому Лазареву пусть судят, что и среди беспресветной тьмы, среди всеобщего гнета и насилия загорались светлые искорки и освещали трудящимся и угнетенным дорогу к свободе...

В посмертных бумагах Н. Н. Златовратского нашлось неоконченное письмо, написанное им в ответ на приглашение присутствовать на открытии памятника Лазареву.

Письмо это дает яркую характеристику личности Лазарева, а вместе и отношение старого писателя-народника ко всем «пионерам народной массы».

Вот это письмо:

«Любезный Иван Алексеевич, очень жалею, что не мог вчера по нездоровью быть в кружке лиц, собравшихся почтить память так рано умершего Николая Арт. Лазарева, которого всегда вспоминаю с чувством искреннего уважения и изумления перед той удивительной энергией, с какой он стремился в тяжелых условиях (особенно в первую половину жизни), к свету знания и возможности тем или иным путем дать своим недюжинным дарованиям и всегда кипевшему в нем живому стремлению к духовной защите людей труда и трудовой правды.

Ведь я не могу без умиления вспомнить, как он, бывало, лет 20 тому назад, после 16-часового труда в мастерской, чуть не ежедневно прибегал ко мне вечером, чтобы кое-что узнать по арифметике, а там и по литературе, прочесть наскоро набросанные свои стихи, заметки, отвести душу в общей беседе, просиживая нередко до глубокой ночи, когда ему надо было вставать по гудку уже к 5 часам утра. Да это ли только вспоминается мне, когда образы подобных энергичных тружеников с их стремлениями к свету и правде встают предо мною. Прилет время, и память об этих пионерах трудовой народной массы будет восстановлена во всей ее полноте»...

На это сбывается письмо старого писателя-народолюбца, этим законом и мы свою памятку о безвременно ушедшем от нас талантливом трудовом человеке...

ЮБИЛЕЙ «БЛОХИ»

(Рассказ)

I

Проклять судьбе, заставившей не раз Терпеть зимний холод и голод всех нас. Напрасно мы ждали, терпели напрасно,— Она издевалась над нами бесстрастно. Мы тем, неустанно мы тем...

Г. Гейне.

Он был самый старый работник механического завода и единственный свидетель его развития из кустарной мастерской в огромное капиталистическое предприятие с тысячами рабочих, с инженерами, с учеными коммерсантами, руководившими производством и сбытом. Несмотря на шестьдесят лет, которые делают человека почтенным и внушают к нему уважение, решительно не было никакой солидности и степенности у этого маленького

сельного хлопотуна. Преисполненный готовностью услужить заводу, он вечно суетился, махал руками, как-то неожиданно и странно прыгал у одного станка, словно боялся упустить птицу или мышь, которые ускользали из его рук.

И огромный грохочущий завод прозвал его — «Блоха».

Блохой его звали в заводской округе решительно все: лавочки, дворники, мальчишки и... даже жена.

— Вставай, Блоха, на работу, свисток гудит, — будила она разозвшегося мужа.

Он вскакивал с постели, вприпрыжку бежал на завод, кланялся, махал руками, поражал своим легкомыслием и неумоимостью даже молодых и совершенно забыл свое человеческое имя.

Но и его звали по имени...

Это случилось совершенно неожиданно и застало всех врасплох.

Однажды по мастерским завода вывели коротенькое объявление, в котором сообщалось: «В честь сорокалетней службы токаря Никифора Зернушкина завтра, 6 января, в механическом отделении будет отслужен молебен. Желающие могут присоединиться к чествованию товарища».

Завод ожил, заговорил, завиделся; рабочие спрашивали друг друга, кто Зернушкин, и когда узнали, что это Блоха, — все бросились к старику, чтобы поглядеть на замечательного человека, которого они как-будто в жизни никогда не видели, и стали расспрашивать его о житье-бытье и о том, каким образом хозяин нашёл завод, дом с зимним садом и мраморной лестницей, на которой, кроме швейцара, стоит огромный медведь с чашкой в лапах, за сколько куплен дворец в Крыму, куда хозяин каждую осень ездит пить вино и есть виноград, и давно ли этот сиволопный мужик заставил на себя работать тысячу народа, инженеров и ученых коммерсантов?

Но Зернушкин не мог обстоятельно ответить на волновавшие рабочих вопросы.

— Кадило свое он стал раздувать в маленькой мастерской на Живодерке, — начал Блоха, пугливо оглядываясь кругом, — хозяин наш тогда еще сам работал: он, значит, колесом вертел, а я точил. Надо правду сказать, работать он был ленив, ленив, а заболит, а я точил. Хозяин правду сказать, в первом деле, незаметно для нас, старается на мятинке груз повесить, чтобы как потише ходили во время работы; потом встанет посреди мастерской и что есть силы-мочи заорет:

— Дармоеды, в душу вам гвоздя, долго ли дрыхнуть будете, анафемы? Живо вставать!

Ну и мы в долгу не оставались: бывало, кто-нибудь с нар кричит ему не своим голосом:

— Чего лаяешь-то ни свет, ни зря, жулик, свинья морда?..

Да он на это не обижался, — ругай его, сколько хочешь, только побольше работай.

— Таким-то манером и жили мы: он колесом вертел, а я, значит, точил. Потом поставил паровую машинку: она стала колесом вертеть; хозяин по городу бегает, работу, материал доставляет, в мастерской нас ругает, а я знай себе точу. Ну, а затем и ругаться ему стало некогда, нанял мастера, прибавил народу; дальше да больше, с Живодерки-то вот сюда, на это самое место переехали. Здесь-то и началось настоящее капило... И откуда это взялось — понять не могу... Эво, какое раздул! — закончил старик и показал грязной рукой на огромный, наполненный смрадом завод.

Волнение перелетело далеко за пределы мастерских и охватило всю фабричную окрестность. В лавках, банях, трактирах говорили о юбилее Блохи;

на улицах толпились народ и оживленно, словно в дни забастовки или объявления важного манифеста, рассуждал на разные лады о бывавшем событии в заводской жизни. Казалось, что наступил великий момент в жизни порабожденного народа — восстановить неотъемлемые права человека на плод его труда и счастье жизни. И люди, полные неясных ожиданий и наивного нетерпения, поздно вечером расходились по домам и, мечтая о завтрашнем торжестве, тревожно засыпали.

II

Зимнее солнце ярко светило с безоблачного неба и зажигало холодными лучами разноцветные огоньки на сугробах пулистого снега. Звон колоколов и грохот пушек на иордани наполнял торжественным гулом синий морозный простор и пробуждал смутную надежду в душе измученного народа, который непрерывной вереницей валил на завод, чтобы поглядеть, до какого почета и милости дослужился бедный человек.

На воротах мрачного завода ярким пятном выделялся огромный вензель с цифрой «XL» и надписью: «Слава Никифору Зернушкину, слава!» От вензеля, словно лучи восходящего солнца, протянулись узкие и длинные полосы разноцветного миткаля и терялись в гирляндах и флагах, украшавших законченные стены мастерской. Старики смущенно сминали шапки, а старушки нерешительно крестились и проходили в завод, украшенный елками, флагами и материей.

Тысячная толпа рабочих удивленно гудела у станка Блохи, утопавшего в зелени и цветах: великолепные пальмы, кусты сирени, роз и азалий окружали «железного раба» и благоухали тонким ароматом в пропитанной гарью масла и нефти заводской атмосфере. Среди цветов, в лавровом венке, помещался роскошный шелковый вензель с той же цифрой и надписью — «Слава Никифору Зернушкину, слава!»

Перед станком широким полукругом стояли иконы, и пламя свеч дрожало в золотых ризах, усыпанных драгоценными камнями. Певичие перелистывали ноты, выслушивали какое-то наставление духовенства, и в своих форменных кафтанах походили на каких-то иностранцев.

Глядя на великолепные украшения и торжественную обстановку, народ охал, качал головами и таинственным шепотом высказывал тысячу предположений и догадок о необыкновенной милости, которая ожидает Блоху. И люди ждали этой милости, настойчиво, терпеливо и туло.

— Идут, идут... Расступились! — крикнул кто-то.

Толпа смолкла, кольхнулась и расступилась на две половины, освобождая проход к иконам. Из кабинета с торжественной медленностью вышел хозяин под руку с смущенным юбиляром; вслед за ними плелась горбленная старушка, жена Блохи, в медных очках и шалью на обвисших плечах; шестие замыкали расфранченные дамы, с веерами и лорнетками, в сопровождении директора, механиков и прочей заводской власти.

Толпа почтительно пропустила разряженных людей на помостки, сомкнулась в сплошную массу и внимательно стала наблюдать юбиляра, который стоял впереди всех, беспечно озирался кругом и не знал, куда ему повернуться лицом — к хозяйну или к иконам?

Духовенство надело ризы, диакон освободил волосы из-под стихаря, поневел головой, крикнул, и среди полной тишины начался молебен.

— Святый великомученик Никифор, моли бога о нас, — пел диакон, заглушая октавой слабый голос священника, и кадил пахучим ладаном на иконы.

Блоха вместе с женой опустился на колени, пристально глядел на образа, крепко прижимал ко лбу, животу и плечам корявые, распухшие в суставах пальцы, шептал молитвы и усердно клал земные поклоны.

— Пресвятая богородица, спаси нас, — просил хор смиренным речитативом.

Народ крестился, потихоньку подпевал, не нарушая гармонии красивого мотива, и не сводил глаз с юбиляра.

Хозяин, окруженный дамами и заводской свитой, властно глядел на толпу, на певчих, как владыка на рабов, которых он в любое время может заставить молиться, работать или плясать.

А певчие, среди благоговейного настроения толпы, все просили бога и во святых о мире, о спасении, о счастье истрадавшегося народу...

Но вот священник покропил водой иконы, юбиляра и народ, взял золотой крест, высоко поднял его перед диаконом и тот провозгласил обычное многолетие; потом во весь свой могучий голос загудел:

— Учредителю Ефрему Николаевичу и сотруднику его, рабу божьему Никифору, мно-о-гая ле-та-а!

Ход подхватил, и громовые раскаты, потрясая стены завода, разнеслись по всем мастерским, испуганные голуби метались по стропилам и смехались своими крыльями пыль на головы возбужденных людей, которые шарахнулись в разные стороны, кричали, волновались, лезли на подоконники, станки, колонны, чтобы лучше видеть «церемонию».

Блоха стоял, окруженный дамами, хозяином, учеными коммерсантами, духовенством и чувствовал всю силу поработанного и весь их гнет над собой. В жизни ему никогда не приходилось так долго испытывать душевных волнений: обыкновенно они продолжались пять-десять минут, когда его ругали, штрафовали или исповедывали грехи; но теперь, от пожатия руки хозяином, директором, дамами, от торжественных гимнов и взгляда тысячной толпы он чувствовал себя ничтожным, жалким и до слез смущенным.

На помостки вошли двое рабочих: один держал икону спасителя с раскрытой книгой в руке, с надписью на ее страницах: «Придите ко мне все трудяющиеся и обремененные»... другой ясным отчетливым голосом прочитал адрес от заводских товарищей, в котором хвалили Зернушкина за добродушие, артельский характер, дружбу и желали ему много лет здравствовать. Раздвинул рукоплескания и одобрительные возгласы: юбиляр прекрестился, поцеловал икону товарищей и поклонился на четыре стороны и вытер вспотевшее от волнения лицо. Подошел хозяин и при гробовом молчании толпы напоявил Зернушкину то время, когда они были молоды и работали бок-о-бок в маленькой мастерской; с тех пор он полюбил его за преданность, трудолюбие и то нравственное влияние, которое он оказывал на своих товарищей честным исполнением долга. — А теперь, — закончил свою речь хозяин, — позволь передать тебе вот эту бумагу; она делает тебя участником нашего производства, в некотором роде хозяином завода, и пожелать тебе много, много лет трудиться со мной!

Старик заплакал; он держал трясующимися руками сторублевую заводскую акцию и растерянно спрашивал хозяина:

— За что честь неслыханная, за что милость несказанная?

Хозяин великодушно потрепал по плечу юбиляра, взял его под руку и так же величественно повел между двух рядов молчавшего народа в кабинет. Певчие грянули концерт: «Кому возопио, владычице?..» и... торжество кончилось.

Рабочие переминались, вопросительно глядели друг на друга, чувствовали себя чем-то обманутыми и угрюмо, как с похорон, расходились по

домам. В кабинете Блохе любезно помогли одеться, завернули в бумагу икону, еще раз пожелали ему много лет трудиться, и он вместе со старушкой важно пошел домой, взволнованный и горделивый всем происшедшим.

На квартире юбиляра встретили соседи по каморке, с какой-то особенной предупредительностью и вниманием разглядывали подарки, поздравляли с торжественным днем, выражали свое удовольствие по поводу того, что наконец-то честному труженику пришлось отдохнуть на старости лет, и наперевы спрашивали старика: какую завод назначил пенсию, где он думает жить, и просили не поминать лихом их, озорников, коль что вспомнит неприятное.

Зернушкин изумленно смотрел на соседей и не понимал, о чем они толкуют. Те глядели на него и ждали разъяснения на свои вопросы.

— Да ты завтра-то что будешь делать? — категорически кто-то спросил Блоху.

— Как что? работать... точить буду.

— Опять точить?..

— А то как же... Чем же нам со старухой кормиться-то прикажете, позвольте вас спросить?..

— Та-ак... Значит, за сорок-то лет тебе только бороду подвзвасали!...

Ловко. Ай, да миллионщики!

Старик виновато и смущенно смотрел на соседей и уныло разводил руками.

Жильцы сердито ворчали, постепенно расходились по своим каморкам и чувствовали себя разочарованными.

— Давай-ка, Никифор, обедать, дело-то лучше будет, а то уж смеркается, — сказала старушка, зажигая лампаду перед новым образом.

— Не хочу... Меня что-то всего разломало... Я лучше полежу.

— А ты не расстраивайся, старик, да поменьше слушай людей-то: мало ли что они наговорят тебе про пенсию-то, да про хозяйские миллионы... Завидно им, ну, расстраивают человека. Надо и за то сказать спасибо, что дали... На похороны хватит и благодаря царя небесного, у других и этого нет.

Зернушкин молча и тревожно подошел к столу, поглядел покрасневшими слезливыми глазами на лик спасителя, любовно призывающего угнетенных к покою, на заводскую акцию — и ему почему-то припомнилась картина искушения Христа сатаной. В душе у него шевелилось горькое чувство обиды, тоски и рассенивался самодовольный туман сегодняшнего дня. Он чувствовал своим скорбным сердцем, что для него все кончено, и его трудовой жизни подведен окончательный итог.

Наступили безнадежные хмурые дни.

Разбитый и усталый он лег на кровать и сейчас же забылся тревожным сном. Тяжелый кошмар душил его: он бредил, стонал и метался всю ночь, а утром старушка осторожно трясла его за плечо и монотонно говорила свою многолетнюю фразу.

— Вставай, Блоха, на работу: свисток гудит!

А. П. ЧАПЫГИН

Алексей Павлович Чапыгин родился в 1870 г. в Олонецкой губ. в крестьянской среде, в суровом краю древних былин и хмурых людей. Мальчиком 13-ти лет он попал в Петербург и поступил учеником в малярную мастерскую. Подобно Максиму Горькому, был «мастеровым малярного цеха». Но крестьянин свыше 16 лет был маляром, и, даже ставши писателем, любил показывать в своей маленькой комнатухе свое цеховое свидетельство и произведения своего мастерства. Он выступил в печати в 1904 г. В 1905 г. помещал свои вещи в «Образовании». В 1912 г. в Издательстве К-ва Писателей в Петербурге он выпустил 1-й сборник своих хмурых лесных рассказов «Не лядимы». В книгу вошли: «Игошка», «Лесной пестун», «Последняя дорога» и др. В 1914 г. в том же издательстве вышел его большой роман «Белый скит», сразу создавший имя художнику. В 1922 г. Госиздат выпустил сборник его рассказов «По звериной тропе», куда вошли многие из его ранних произведений из сборника «Нелюдимы» и лучшее из них: «Лесной пестун».

А. П. Чапыгин — подлинный поэт нашего хмурого севера и художник первобытных, былинных людей, что проходят перед ним «по звериной тропе» сквозь чащу дремучих лесов. Сергей Есенин пишет о нем: «и сродник наш Чапыгин певуч, как снег и доль». Художник является близким по воспоминаниям, по языку, по переживаниям Н. Клюеву и др. новокрестянским поэтам, но жизнь города, работа среди мастерового, ремесленного люда, сблизила его с новой средой. Но и городские его герои, подобно метельщику горбуну «Игошке» также нелюдимы и замкнуты в себе.

Полоса 80-х г.г., полоса безвременья, бездорожья и безнародности мало внесла отрады в его юность. Он вырос вне народнической и вне марксистской идеологии, оторванный и от лесных первобытных людей, и от рабочих крупной индустрии, уже пробуждавшихся к революционной жизни. Аполитичный, сосредоточенный, принесший в сердце своем песни дремучего леса, он любит задумываться о смерти, он любит глядеть в душу одинокого хмурого человека. По настроению он ближе подходит к Федору Сологубу, чем к Максиму Горькому. Это большой, глубокий художник, мастер северного пейзажа, возлюбивший наш богатый язык и сумевший показать красоту первобытного человека, скрытую за его звериным обликом. Чуждый тенденции, А. П. ничего не навязывает читателю, но каждый его рассказ зовет от звериного к человеческому... А. П. Чапыгин пишет очень медленно, как выскателный художник, скупко относится к каждой написанной строке. За 20 лет он дал три книги, но эти книги поставили его в ряд наших лучших художников. У него свой стиль, свой язык, свои краски, свои наблюдения и свои темы. Пройдя себе дорогу в большую литературу, он много сделал и делает для молодых писателей из родной среды. Один из сборников пролетарских писателей вышел под редакцией Максима Горького и А. П. Чапыгина.

В. Львов-Рогачевский.

БЕЛАЯ НОЧЬ¹

Травянистая дорога... Вода реки свинцовая — холодно... Осень, осень!...

Но отчего же в ближайшем перелеске звенят голоса птиц? Кругом колыхается цветущая бледными цветочками рожь, поют предрассветные петухи. На востоке, разбитая унылые облака, встает и ширится лимонно-бледная зоря... от зари на траве и деревьях тусклые блики, как от восковой свечи на лице молодого покойника — то холодная июньская ночь севера, родная сестра октябрьскому дню...

В такую ночь звучит грусть в голосах поющих птичек, и знаю я, почему печальны их песни — холод убивает птенцев. Такой ночью поющие птицы напоминают мне маленьких детей города, полуодетых, с грустными глазами, бесильно пляшущих на ледяных камнях мостовой, под гнусавый голос шарманки.

ОСЕННИЙ СТРАХ

Погода ветренная, сыплет лист; кажется, что с деревьев летит на влажную землю рой желтокрылых бабочек... листья шуршат... встает туман на болоте... на пряслах вороны кричат... Ветер низко-низко гнет деревья — скрипят, стонут и трещат ели на мшистых корнях. Каждый день небо серое, лишь по вечерам яркой серебряной полосой горит северо-запад. Отблеск холодного заката без глужих переливов рассыпан на черных окнах черных изб...

Село, как старое кладбище, день и ночь спит на холме у реки...

Нет ни веселья, ни шума, ни песен — человека не слышно... лишь волчий вой по ночам на задворках тревожит собак... они скулят и жмутся к подворотне... днем у самой околицы, с трудом выдирая примерзшую рыжую траву, бродят овцы и лошади — скоро их загонят в хлев... Звон дождя на озере, говор ветра в трубе изды дыма пугают душу, и оттого каждый миг чудше необойденное целомудрие смерти... хочется услышать хоть пьяную песню, увидеть пляску и драку — только вселенную хочется любить с человеком, грешную, пьяную, шумную...

ЛЕСНОЙ ПЕСТУН²

(Отрывок из рассказа)

... Конца нет!... Уедет нас к чортовой матери, этукою даль мохнатая тварь забралась. — Рыжий прибавлял шагу. Русый едва поспевал за ним. Наст подмерз и держал хорошо. — Вишь, по соснам солнечная ржа поднялась — закат скоро, придется у огня ночевать — продолжал Рыжий. Прислушавшись, он спросил: опять пугач гукнул?

¹ А. Чапыгин. Нелюдимы. Издат. Т-ва Писателей. Петербург. 1913.

² А. Чапыгин. Лесной пестун. Петроград. Государственное издательство. 1921 г. Взят нами отрывок.

— Да... филин кричит, — почти шопотом отозвался Русский, крестясь. Клубящаяся снежными туманами даль вспыхнула, словно кто-то сыпал между деревьями большими горстями красный золотой песок.

Русый, боязливо вскидывая глаза на встречное коренье, принимавшее в розовом сумраке очертание неведомых животных, сказал:

— Ты, Рыжий, в лесу черным словом ладешься...
— К молитве привик? Или в попы, коли молитву любишь, в лесу заговор правильно молотишь... твой плешатый, небось, много заговоров знает?
— Дедушка все знает... лес хорошо знает...
— Лес я не хуже его знаю, — а заговорам поучился бы. Все одно скоро помрет; ежели своей науки не передаст, нечистые ему помереть не дадут.

Собака лаяла на осиновый трехсаженный пень, сплошь исколотый носом желны.

— Врет, кажется! — вяло сказал изрядно уставший русский парень, оглядывая пеня. Он подошел вплотную и занес ногу, чтоб пнуть повшище корня. Рыжий оттолкнул парня.

— Что ты, Рыжий?

— Бай еще; нохий!

Рыжий зорко разглядывал дырья, пробитые желной.

— Ну-ка обухом шори... легко, смотри, — приказал он. Парень вяло послушался. После первого удара зверек показал голову из пня. Куница приняла застывшее положение: она еще не хорошо уяснила тревогу. Рыжий взвел курок. Парень, не видя куницы, занес топор, чтобы ударить снова. Рыжий, повернув к нему лицо, угрожающе осклабился; топор в руке парня повис, не коснувшись пня. Михейка наглядел куницу, навел и выстрелил в мордочку зверя. Зверек сунулся назад в дупло.

— Ударь! — резко приказал Рыжий. Парень ударил обухом. — Еще ударь! еще! — Парень ударил несколько раз. Рыжий, бросив шапку в снег, глядел не моргая и слушал долго и внимательно. Собака с лаям семенила кругом пня.

— Руби пеня! — сказал Михейка, распоясываясь, — куница моя.

— Не твоя, а наша общая... На складе промышляем, — поправил Русый. Рыжий ухмыльнулся, стукнув кулаком по оттопырившейся пазухе.

— Склад, милый, у меня за пазухой... В мешке с сухарями — зво где!

— Что ж, ты делиться не думаешь? Собака наша, дедушкина, — спросил его Русый. Михейка молчал.

Срубленный пеня осины пылал, подожженный с боку. Охотники отдыхали. Русый поел сухарей, запил из бересты водой из снега и на рубленом ельнике под полущубком уснул. Рыжий не спал, не развевался. У огня было жарко, он снял сапоги, развесил сушить онучи и внимательно следил за русым парнем. Парень во сне бессознательно двигался все ближе к огню — было очень морозно. Чистое днем, с янтарным закатом, небо сохранило на своем сиянии искристые сетки на белые вершины деревьев... Длинные ели, сплошные от снега и светлые, выглядели причудливыми кипарисами, сказочной страны — холода и смерти... Настоящими кипарисами, прозябшими синими, лежали на луном снегу их тени... Бьютур-о-резные тени дробили светлый мрамор снега на тысячу кусков. Даль, заснеженная обледеневшими стволами толстых сосен, лила застывшие потоки синего блеска... Михейка снял с сука повешенную к огню для просушки шкуру куницы, вывернул ее.

«Казак-куница! по спине белая ость идет... продам ужо, хватить девкам на прыжки, кха-ха! Только бы к ярмонке послусть». Рыжий провел по лицу нежной шерстью куницы и осторожно прищурился: что-то недалеко трещало, но не так, как трещит огонь. Привыкши объяснять в лесу каждый шорох, Михейка оглянулся. У конца пылавшей осины собака доела сухари, брошенные беззаботно вместе с мешком на сней.

«Обедая, умница, хорошая! — что-то хозяин твой завтра есть будет?» Рыжий безжалостно, спокойно поглядывал на спящего парня; снял высушенные портянки, перемял их в руках и обулся. Подтянул ремень полущубка; поправил ружье и по привычке сунул, было, за ремень чужой топор, но тут же бросил его к огню.

«Тяжеленный... Свой в избе есть! Спи! Не скоро тебя девки дождутся». Он пошел прочь, сперва тихо, потом все шибче и шибче — сразу от огня было невыносимо холодно. Михейка на ходу постукивал ногой об ногу и все прибавлял шагу.

«Только до избы — там согреюсь»... Кто-то закричал за ним.

«Э-э-э-й, у-у! Михейка, вздрогнув, оглянулся. Огня не было видно: далеко-далеко маячил розоватый, лучистый столб дыма.

«У-у-х ты! Завтра кричать зачнет, шальной... побезжит, — небойсь! лес хоть кого умеет... с голоду, что олень, мох разроет, — ха!.. недолго побегаеть здесь, присмирешь».

Михейка стал вспоминать и не мог вспомнить, как умирают люди. Зато вдруг вспомнилось ему хорошо, как однажды о празднике чужого парня ребята гнали колымаги по полосам. Полосы были вспаханы, мокрые, парень вынул в пахоте по коленки, падал... Его догнали, стали ломать о его спину колья, парень закрыл руками и берет только голову, да вдруг как завоет волком. Михейку по сердцу резнуло словно серпом. Он сам дико закричал, выломал кол из изгороди и разогнал парней. Битый размялся, пошел с ним и все ему руки целовал, водки купил, потчевал, Михейка не пил; он обозвал его Рыжим, залез под лавку и заснул в чужой избе. Вспомнил, что русский парень на вечеринке любой гость-посидельщик, а он, рыжий, только посмешище, заспшил вперед... Ему пришло в голову, что если русский догонит и завоет, как тот битый выл на полосах, то, может быть, придется взять с собой.

«А нет уж!» — снова и снова мерзлый снег заскрипел от его быстрых шагов. Рыжий остановился передохнуть, морозный воздух резал лицо. Ему показалось, что не те места, которые надо; он коротко подумал и скоро решил.

«Левее ударил! дай вправо заберу!»

Должна подхватить еловая низина, но было наоборот: ельник шел слегка в гору, а низины не было. Попадались корокы, валежник. Пришлось подползать местами ползком. Сухие, тонкие, как тетива, ветки резали дыравый полущубок, ввали лицо. Все настойчивее мелькала одна мысль «Компас». Михейка инстинктивно испугался этой настойчивой мысли; ему казалось всегда, что он знает лес на каком угодно расстоянии, а тут себе не поверил — значит заблудился.

«Компас!» — мелькнуло в голове, но руки в дырвях деленках совсем околечени, были как деревянные, а тут еще чаща еловая все гуще и гуще — рук за пазуху не просунешь — но вперед просвет... Михейка, продираясь, вышел на круглую полянку — небольшое болото, замерзшее и занесенное снегом. Местами из-под снега торчал долговязый бледный пырей. Отряхнув ружьем снег с ели, Рыжий сел у корня. Он вытаскил мешок с сухарями, попутно сунул в рот горсть сухарей и нацупал в мешке катушку компаса.

Михейка присмотрелся к компасу, его бросило в жар, потом в холод: катушка была цела, но стекло, рамка и стрелка с бумажкой раздроблены. Он вскопил на ноги, бросил ружье и закричал бессмысленно и дико:

— Батюшки-и мои!

— И-и-и!.. ответило эхо. Сел и стал вспоминать. Ему даже показало, что русский парень посмеялся, нарочно испортил компас. Может быть, у него есть компас свой? «Нет! он сказал это», потом вспомнил, что упал на сухари, когда спил сторожа. — «Тогда, — тогда... Страшно! Что делать?» — Михейке почудилось, что где-то кто-то смотрит на него злыми глазами. Он оглянулся на вершины деревьев. На мерзлом кривом суку башаханской сосны сидел филин и любопытно, хищно глядел на него.

«Я-те, стой!..» Михейка поднял ружье, приложился и спустил курок. Трескучее эхо, словно переломило и повалило дерево, ответило выстрелу. Филин не шевелился, только зеленые глаза еще больше вспыхнули.

«Заряд мал?» Михейка дрожавшими, оконеченными руками зарядил снова, насыпал порошу больше. Снова треск пошел по лесу, долго не смолкал, филин сидел, не шевельнув пером. Рыжий неуверенно шагнул вперед, разглядывая страшную птицу; филин, согнув мохнатую шею, глядел на него.

«Заговор говори!» — мелькнуло в голове Михейки.

«Оборотень!.. Лешен сын?» — Михейка заборотал что-то похожее на заговор против лешего, но не выдержал испыхивающих глаз филина, присел, попытался и, сжимая пустое ружье, пустился бежать. За ним как будто побоевало вдогонку неведомое живое по лунному зеленоватому снегу. Иногда в далекой вышине кто-то кричал, как прежде.

— Э-э-й! у-у!

Михейка выбежал из цепкого ельника на редколесье. Вместо полубка на нем тряслись и болтались мохнатые ключья шерсти. Синие стволы деревьев, ледяные и заросшие, мелькали перед ним, сливались, иногда казались кроваво-красными. В редком лесу бежать было легче. На бегу Михейка рассыпал сухари, потерял шапку, спички — и не замечал; скрюченные пальцы рук прилипли к каленому от холода стволу ружья. Выбился из сил; дымясь от пота, упал, споткнувшись за кору. Рубаха побелела на нем и заскорузла быстро.

«За-а-мерзну?.. Батюшки», — он подполз к стволу дерева, плотно прижался. Боязнь и утомление отняли силы, хотелось спать. Михейка зажмурил глаза. Ему послышался около шорох. Рыжий открыл глаза. Пригляды в глазах красные ключья кумачу, а когда Михейка с напряжением вглядывался в снег, то почудилось: лежит парень — не то русский, не то рыжий — на животе, в сапогах, в шубных лохмотьях, какие на нем. Лежит близко — рукой дотянуть можно.

— Подь сюда... Рядом теплее станет — шепчет Михейка. Парень не слышит и роет скрюченными белыми пальцами жесткий снег.

— Зачем тебе мох, — кикимора? Лежавший разрыл снег, вырвал мох, жадно схватил его зубами — начал жевать.

— Плонь! Аминь, аминь... Глаз парня не видно, видно слезы — они белыми полосами примерзали к лицу.

— Уйди! Аминь... Парень попрежнему лежал на животе; его черный, большой рот шевелился, а мох упрямо не проходил в горло. Михейка, зажмурив глаза, с трудом подняв ноги, переполз на другое место, успокоился, задремал, не переставая дрожать. От мороза трещат, лопаются сосны.

«Лесовой стреляет... Сиверко, мясачно». — Подбородок у него трясется, глаза слезятся, ресницы намерзли и отяжелели. Кто-то звонко сказал.

— Я-а ту-у-т!

Михейка пошевелился, хотел подняться и, не открывая глаз, тихо сказал:

— Та-атка, я тут!

— Чуви, чви! Тррр... Тррр!

«Пукша кричит?»

Его голова склонилась; на волосы Рыжего, замерзшие, торчащие, как чертополох, посыпался снег. Он неохотно и с трудом открыл сплпшисные глаза; по вершинам деревьев, на выпуклых сучьях зажигалось все больше зеленых и желтых круглых огоньков.

«Не боюсь! — вы пукши...» Он стал считать прилетающих сов и филинов.

«Раз... раз... еще? Кыш, окаянные! Не боюсь... Вы... Кыш!»

Мороз все крепче сжимал Рыжего своими холодными обручами. «Кыш!» — Михейка слабо взмахнул руками. На нем зашумела мерзлая рубаха. Голодные огоньки переместились ниже, словно зеленоватый снег притягивал их к земле. Михейка почувствовал их сплошное движение к нему, на минуту в нем проснулась злоба — он шелкнул зубами, потянулся зарядить ружье, но белые скрюченные пальцы не слушались, стучали как деревянные, а голова бессильно клонилась на грудь... Тяжелый ком снега упал ему на колени и в то же время по голове ударили чем-то острым, словно суковатым поленом.

«Леший?»

От боли и суеверного страха Михейка хотел вскочить на ноги, ноги не слушались, колени не гнулись — он ничком перекатился на снег...

— Тррр! Тррр!

— Чви! — трещали совы голоса на снегу, совы рвали тело Михейки... Рыжий бессвязно отчаянно прокричал, приподнял на себе движущееся стадо голодных хищников и умолок, впившись скрюченными пальцами в снег.

ИВАН ВОЛЬНОВ

(«Сын народа» о народе)

«Повест о днях моей жизни» появилась в первой своей части, посвященной детству и отрочеству крестьянина, в журнале «Завяты» в 1913 г. Молодой писатель, принимавший активное участие в революционном движении и появившийся в нелегальной печати, вынужден был эмигрировать, жил некоторое время на Капри и со стороны М. Горького встретил самую горячую поддержку.

Сын деревенского батрака взял старую тему, много раз уже разработанную в русской литературе и нашими корифеями из «Дворянского гнезда», Л. Толстым, С. Аксаковым, последним дворянином Алексеем Толстым, нашими разночинцами — Помяловским, Г. Успенским, и художниками из буржуазной среды — Ив. Шмелевым, С. Найденовым, и сыном обоящика Максима Саватьевича Пешкова — Максимом Горьким. Эти темы: — Детство, Отрочество, Юность освещены совершенно по новому художником новой социальной среды. Это не столько художественное произведение, сколько драгоценный документ, связанный с эпохой первой революции 1905 г. И если нельзя не знать «Детства и отрочества» Льва Толстого, «Очерков Бурсы» Помяловского, «Детства», «В людях» Максима Горького, то также нельзя

пройти мимо «Повести о днях моей жизни», написанной художником, который вырос в деревне и теперь живет в деревне, и может сказать о себе словами и А. П. Чехова: «во мне течет мужицкая кровь».

В. Львов-Рогачевский.

«ПОВЕСТЬ О ДНЯХ МОЕЙ ЖИЗНИ»

Юность

часть 2, гл. 6. (Отрывок)

... День — ясный, солнечный, веселый. Молодой снег искрится алмазами и серебром, деревья в инее. Розовыми столбами поднимается дым; у завалинок, в пушистом намете, барахтаются собаки.

С раннего утра на столе у нас самовар, но никто не завтракает. То и дело мимо окон проезжают лагерьные помещичьи хлебом и лесом повозды, доносится смех, хлопанье рукавиц, прибаутки. У Насти под глазами синие круги; мать молчалива.

— Дорвались свиньи до навоза, — раздраженно говорит отец, глядя на улицу. — Как то будете расслачиваться за свободу!.. Ты, может, чего-нибудь тоже приволок? — кричит он на меня. — Чтoб духу не было!..

Еще в начале погрома он ушел домой и теперь ходит тучей.

— Ваньтя Брюханов умер, — говорит, ни к кому не обращаясь, мать — исшел кровью.

На душе у меня отвратительно. Вспоминается мертвый барчук, Володя, дикая сцена с помещиками, обезображенные трупы крестьян и солдат. Когда я развозил по домам убитых, старухи проклинали меня; одна из них плюнула в лицо мне.

— Подлец! — завизжала она, когда я нес убитого в избу. — Сгубил мне сына!..

Злые мысли грызут. Разве так нужно было делать, и разве этого с таким нетерпением и любовью вы ждали? Суется сейчас, жадничают, режут скот, зарывают награбленное в ометы и уже сорятся из-за тряпки... Я чувствую себя виноватым перед ними, потому что не сумел я сказать им нужного слова, не нашел его.

Пришли Лебастарный, Богач, Костюха Васин, Паша Штундист, сестра. Сестра, по обыкновению, со втянутыми губами, как будто только что глотнула укуса.

— Что нос повесил? Или лапти продал с убитком? насмешливо спрашивает она.

— Довольно того, что вы теперь с прибылью, морды кверху дерете, — ответил я и стал жаловаться, обвиняя крестьян во всем, что видел в них гадкого, подбирая выражения, которые могли бы больнее задеть их, унижить, как последних людей. — По глазам вашим подлым вижу — рады, что Останкова кутали в проруби!.. Вам бы разрушать все, пакостить, а заново построить вы не можете!.. Куда вас деть таких?.. Зверье!..

Мотя порывисто поднялась с лавки, но, разгоряченный своими жалобами, я нетерпеливо махнул на нее рукой.

— Говорим — свобода! ждали ее, как бога, а пришла — вымазали кровью!.. Наблюдил, теперь хвосты между ног!.. Приедут солдаты, побегите прятаться, предадите друг друга, плакать будете, нас же с Галкиным

проклинать!.. И ты, старый чорт, такой же, а еще дядей мне приходишься, — сказала я Астатую.

— Сатана ты корявая!

Отец, набросив полушубок, хлопнул дверью. Вошел Дениска в барском драповом пальто. Руки в карманах, ухмыляется.

— Теперь бы мне в пору жениться: обзаведение в порядке!..

— Вот он, гад паршивый, — сказала я. — Зачем смеялся, когда шахтер урядника убивал?

— А что же мне — плакать?

— Урядник убит неизвестно кем! — закричали на меня мужики. — Ты не путай голову!..

— А ты, дядя Саша, еще крестился: упокой Господи, раба Данилу, а сам шкворнем. — Бесстыжая твоя душа!.. Слышишь, али нет?

— Я на это ухо глух! — отозвался Астатуй.

— Дела мне жалко, дело погубило. — Неужто вам-то все равно?..

Поднялась бледная Мотя.

— Тебе кто хвост прищемил? — шагнул ко мне, спросила она. — Чего завыл? Чужих жалко, а — своих? Почему ты своих не жалеешь?

— Мне всех жалко, и своих, и чужих... Солдат утром говорил, что между людей нет чужих, — ответил я.

— Лжет солдат твой. Мы промееж себя свои!.. Других своих нету!.. Плачешь, тельпенг, что не так все, как надо, тыкаешь: жадны, душегубы, а ты — кто? Где ты был? Не так, остановил бы!.. Али душа в пятки убежала?

— Мотя!..

— Пустобрех! Чему ты нас учишь?.. «Старайтесь, братцы, для свободы, не сидите, сложа руки, действуйте»... А научил, как делать? — Тебе все верили, ставили головой, а ты, шкура барабанная, вз-зы, вз-зы! да под телегу!

— Я сам не знал.

— Не знал?

— Меня самого надо учить.

— Ну, так молчи!..

Колоухий с минуту пристально рассматривал меня, потом сказал: — Я думал, ты у нас первый, а ты — моя пятка... понял?..

— Понял.

— То-то вот и дело. Я тебе больше ничего не скажу.

— Не хуже этого, робятушки, в глаза мне мечет, — заелозил по лавке Астатуй. — Как же, бат, ты этак, дядюшка, — Данилу за упокой, а начальника шкворнем? И князя, мол, того, к примеру взять, избилел... А меня четыре раза пороли! — завизжал он, вскакивая с места. — Тебя еще не били? Жену твою спать с чужим не клали? Кутенок!.. Слобода в золотом венце!.. Ах, ты, грамотей безмозглый!.. Мой дедушка Демьян в Сибирь сгинул, а ты — слобода!.. Сестра Луша в проруби, а ты — слобода!.. Пашенок!..

— Все вы на меня набросились, — отталкивая от себя Астатую, сказал я: — укорять легко!..

— Ага, друг любезный! — вскочил Дениска. — Прижимаешь хвост-от?.. Жену твою с чужим спать клали?.. «Укорять легко!»!.. А сам охаверничал — это можно?.. «Свобода в золотом венце»? Дур-рак!..

— Эхось, сколько крику-то! Здоровы были!.. — В дверях Лопатин. — Ну, как тут у вас дела, соколики?

— Расскажи сначала про свои.

— Да что ж у нас... У нас, как быто, ничего... Я вглядываюсь в лицо Лопатина. Веки у него опухли, словно он много плакал, белки глаз подернулись кровяными жилами, через два-три слова он облизывает сухие ярко красные губы, хрустит пальцами.

— Разобрали художку... Поделили промежду со своими... Да-да! Ничего не сделаешь!... Вы что-то не все тут?... Петрушки шахтера не видать... Он жив-здоров?

— А чорт-ли ему делается — у себя в избе играет с кутятами!... Двух кутят принес от Осташкова... — ослабилс Дениска.

— Кутят? — обернулся к нему Илья Микитич. Это чей же дипломатик-то тебе? оттуда? Да-да!.. Рано народился!.. Овчишек, коровенок сожгли занаярпно постройки... Ничего не сделаешь — сильно разлюбились!.. Удержу никакого нет... Ну, так как же? Надо бы собрать. Сходи, малец, за шахтером!.. Тетушка, не рука тебе сидеть с нами, — обратился он к матери. — И ты, Настасьюшка... Когда будем насчет книжечек, милости просим...

Братство собралось быстро. Молча входили в избу: не снимая шапок, не здороваясь, садились по углам, глядели друг на друга исподлобья. Не то слов, бессловных спор.

Белобрый захаровский парень-староста пришел с перевязанной головой.

— Ну, так как же у вас? — спросил Лопатин.

— Тринадцать убитых, — отвечал я.

— Знаю, слышал... Об этом, Петрович, после. Прежде — что важнее... Ружьишки не забыли, коим грехом там? — кивнул он на княжью экономию.

— Ты как, шахтер?

— Завтра ярмонка... надо в Мытищи... — хрипло отозвался Петя.

— Гуртом? Я тоже так думаю... Матренушка, ты что нам скажешь?

— Поезжайте, — ответила сестра.

— А вы, ребята? — Ехать?... Дипломатик, малец, сбрось, сейчас чтоб

не было!.. — Микитич сорвал с Дениски пальто. — Поиди, изруби его топором! — крикнул он второму захаровскому парню, приехавшему вместе с ним.

— Зачем же? Хоть бы продать кому-нибудь, коли мне не даете! — закричал Дениска. — Я трудился — нес его!..

— Петрович, он у нас записан или нет?

— Стало-быть записан, — ответил Дениска. — Еще двадцать копеек взяли за запись.

— Ну, так слушайся, голубок, старших, если записан!.. Не надо было не в свое место лезть... Тебе-ка замки подламывать в чужих амбарах!..

Разговоры были недолгими. Согласились, что дело еще только начатости действий, никому не приходила в голову мысль, что не нынче-завтра нагрянет начальство, нужно сговориться, предусмотреть возможности, и сделать это нужно совместно: обществами, волостями.

Не отдохнув, не написавшись чаю, Лопатин тотчас же после собрания уехал в свою деревню.

— Надо, голубяточки, кой-что там поправить... Неровен час — не так ступим: людишки разлобились!.. Бывайте живы, соколики!.. Завтра на ярманке увидимся...

— Тебе ка замки подламывать!.. — передразнил его Дениска, когда Лопатин уехал. — А сам нынешнюю ночь застрелил своего барина... Бело-бровский сказывал... Поставил к порогу, да из пустилета — бац ему в рот!.. Замошник выискался!.. Шахтер, мы с тобой на одних санях поедем в Мытищи, ладно?

Горел весь уезд. От одного конца до другого, вдоль и поперек, реяли зловещие птицы с огненными крыльями; жизнь выплеснулась из берегов и заклокотала кровью, огнем, слезами, мстительной злобой. Перепелось святое и звериное, божье и дьявольское. При свете зарев неуверенно вспыхнуло, нуло затоптанное — человеческое, высшее, нагло сочетавшись с грязным, нуло подлым, недостойным человека. На всем пространстве, от одного конца до другого, гиб строй русской жизни, а на смену в смутном хаосе двигалась другая, темная туча нищих, рабов, поротых, клейменных, изъеденных болезнями, нуждою, вечным унижением, и кто знал, что несет с собой эта туча — славу и честь России или смерть ее. На всем пространстве, от одного конца до другого, ослепшими от злобы людьми безрасудно уничтожались дела рук своих и своих предков, созидавшиеся веками.

По всем направлениям — к городу, к станциям железных дорог, к большим селам со станвыми квартирами, так — куда глаза глядят, обезумевшие от ужаса, бежали из своих гнезд Обломовы, Ноздревы, Маниловы, Лаврецы, Левины, Чертопхановы, Плюшкины, Иудушки Головлевы, Фомы Фомичи Опискины, князья Нехлюдовы, Салтычихи, — все, красноречивые и бессловесные, умные и идиоты, честные и мерзавцы, либералы и поклонники кнута и дыбы — всех сравнял страх.

Гроза пришла из Мытищ, началась с двух копеек. Повсюду разнесшиеся слухи о манифесте, о нарезке земли, о том, что всех господ приказано «лупить» и за это ничего не будет, привлекли ко всех концов уезда на ярмарку множество народа.

Все были возбуждены, с помутневшими глазами метались из конца в конец по площади, задевали стражников, много пили. Неожиданно ударил колокол. Опрокидывая воза, прыгая через телят, через плетушки с поросятами и груды замороженных гусей, гуаясь, тяжело дыша, мужики бросились к церкви. Из дверей ее выносили покойника. На минуту остановились, примолкли.

— Омман! — крикнул кто-то, — господу подкупили!..

Остановили носилки: сдернув покров, глянули в лицо умершего — молодого парня с перекосенным ртом. Попятились.

— Взаправду мертвый... От какой причины помер? Где отец с матерью?

Парень оказался сиротой, умер от живота.

Хлынули от церкви опять в гушу ярмарки, на площадь. А там сын священника, семинарист, стоя без шапки на возу с конопляными вытрясками, что-то жалобно кричал, размахивая белым.

— Манихвест!..

Все ринулись к возу.

— Това-арищи!.. Праздник народного освобождения!..

— Чей это?

— Попа Ивана сын!..

— Не зьявь!..

— Тиш-ша!..

- «... Свобода слова, собраний и союзов...».
- Земляк!.. Оглох, ай нет?.. Читай манихвест скорее!..
- «... Действительная неприкосновенность личности и жилищ!..».
- Ребята, стражники лезут слухать!..
- Гони их!..

А у винной лавки, соблюдая строгую очередь, стоял длинный хвост. Звучно выбивая пробки, люди жадно глотали из горлышка холодно-искристое зелье, кричали, закусывая баранками, круто посланным черным хлебом и, бессмысленно потолкавшись, опять становились в хвост. Под крыльцом барахтались пьяные, скулили лесни.

В лавку, минуя черед, протискались шахтер и Колобок, зубастый, ярой парень, слободской.

- Это куда же? — загалдели мужики.
- В кабак. Чего хайла пияте?

Шахтер оттянул за рукав полупьяного старика, вцепившегося Колобку в полушубок, подоспевшие слободские парни окружили его кольцом, сдерживая напор сзади.

- Сотку, — сказал Колобок, бросая на прилавок полтину.
- Сиделец, не глядя, смахнул в ящик монету, подал сотку и сдачу.
- А семерку? — зарал Колобок.

Сиделец поднял брови.

- Сними шапку. Какую тебе семерку?
- Сдачу!.. Я тебе сколько дал? А ты мне сколько?.. Тридцать семь?..

Толпа сзади наперла, вытянула шею, клая бороды друг другу на плечи

- Что такое?
- Рубь зажил.
- А по морде его рублем-то!

Колобок схватил через окошечко сидельца за рукав.

— Дашь, ай нет семерку? Кишки выпущу.

Вырвав руку, сиделец наотмаш ударил Колобка по лицу.

— Драться? — взвизнул Петя, как кошка, перескакивая через решетку, отделяющую сидельца от толпы.

Мужики в одну грудь ухнули, сразу десятки рук вцепились в проволоку

- Кар-раул!.. Полиция!..
- Ага, караулу запросил!..

Затрепало дерево, зазвенели в окнах стекла, ящики с посудой, захрапели, заработали кулаками, вырывая друг у друга бутылки, прыгая с ними через окна, жадно припадая к полу, в разлитые винные лужи.

- Злодеи!..
- Кровь нашу сосете!..
- Последний четвертной у мужика зажил!..
- За свои же деньги да ножом в брюхо хотел вдарить!..

С колыями толпа гонялась по улице за сидельцем, а другие громили бакалейную лавку, рядом с монополюшкой.

Кто-то запалил кучу коноплиных вытрясок. Ударил набат. Ответил залом из ружей слободские парни. Полиция исчезла.

С ревом толпа бросилась на площадь, стачили с воза все еще кричащего семинариста.

- Июд-да!..
- Барский прихвостень!
- Ура-а!..

Откуда-то вынырнул Илья Микитич, схватил за плечи трясущегося, в крови, семинариста, к Лопатину подскочили Богач, Колоухий, Паша Штундист, работая кулаками, отбиваясь от налезавших мужиков, а семинарист плакал и рвался в гушу. Илья Микитич крепко держал его за пальтишко, уговаривая.

— Ну, да куда ж ты, глупеночек, лезешь?.. Ну, не трави ты ихнего сердца!..

— Я душу готов... Я всего себя... Я... А они меня же... Пусть!.. — рыдал тот.

— А ты не надо... Это ты потом, родимый!..
— Где шахтершко? Петрушку сюда надо!.. Где шахтер? — закричал Лопатин.

— Дениска, шутоломный, беги за шахтером!..
Наставив передним ружья в животы, Петрушина дружина оттеснила напиравших на семинариста мужиков.

— Бросьте, дураки, он же за нас! — протискавшись к ним в середину, размахивая руками Лопатин. — Али вам застило?.. Он сичас только манифест вычитывал!.. Это же свирепинского попа Ивана сын!..

— Постой, а ты сам чей?
— Старой бабы казначей!.. Ступай к нашему уряднику за пачпортом!.. Экие какие безалаберные, право!.. Свою брата норовят задушить...
— А чорт его поймет, какой он: наш аль чужой!.. Его хватают за патлы, а он рот раззявил!..

А позади шахтера, семинариста и слободских уже трещали красные и рыбные яря, бабы волокли в сани штуки ситца, боченки с сельями, табак, хлопчатую бумагу, прядки, метла, веретена, горшки, пеньку, били палками мешан-торгашей; мужики с колыями гонялись по выгону за цыганями, отнимая у них лошадей.

— Кровь нашу выпили!.. Мужик пятнадцать годов наживал два ста, а вы его во что поставили гады!..

Нестройным, диким стадом ярмарка повалила в о-бок расположенное имение. Владельцы, последыши старинной боярской фамилии, еще с утра выехали, взяв с собою то, что могли. В два-три часа расхватали мебель, хлеб, одежду, книги, скот. Между мытищами и жителями окрестных сел стали отнимать друг у друга добро и бросать в огонь. При громких криках стали отнимать друг у друга согласие наградили рабой королей с теленком, беговыми дрожками, стенными часами без маятника и бронзовым бюстом одного из владельцев имения.

— Братцы, — заплакал он: — очень мне приятно, что вы меня уважаете...

— Ну, что ты!.. Да мы для тебя, эх!.. В ладу бы только жить, жаланушка!.. В ладу бы!..

Разгоревшиеся страсти, сознание, что исчезла вековая палка, закружили сознание, отняли у людей разум. С пожараща, пьяными от вина и не привычной обстановки, от только что совершенного разрушения, ударились по домам. По всему уезду загудел набат, зазвенели косы, засверкали вилы и ножи и красный петух распростер над мертвыми, под снежным саваном, полями свои огненные крылья.

Русь! Несчастливая моя мать, любимая, жестокая, слепая!..

Изд. К-ва «Прометей» в Москве.

К этому времени Игнат получил самоточку, старую, в конец разбитую таратайку Суркова. Пожалуй, что только Сурков и мог работать на ней: дюйма нельзя было проточить без конуса. Первые дни работы Игнат — измучился и не выножал даже полденного. Потом бросил работать. Полдня ша на своей лад. И добился-таки того, что станок перестал дырчать и тянул стружку вавое большую.

Сурков, однако, не унывал.

— Посмотрим, как «оно» резьбу резать будет, — подмигивал он в кругу приятелей-стариков.

И правда, как только Игнату понадобилась резьба, он оказался в положении затруднительном: половина шестерен была переломана, и как-раз той пары, которая случайно была ему известна, не было. Сурков притащил ему большую доску и огромный, фунтов пяти, кусок меду.

— Ищи, голубок, — сказал он удивленному и сконфуженному Игнату: — не жалея меду: испишьшь — еще принесу.

Со стороны смеялся. Игнат напряг всю волю, чтобы не ударить Сурковых счетчиков на заводе; и видел Игнат, что тот ждет. Но он хорошо знал, что здесь не просто вопрос о шестерях... Хотел, было, выручить его Журба и, удрав минутой, шепнул пару колес; но и этой пары не оказалось.

— Придется, видно, спросить Максима, — заметил Журба с досадой.

— Не пойду! — прямо ответил Игнат.

И нашел. Да еще как! Напал на простую формулу и подобрал колеса на любой счет быстрее самого Максима. Стал брать даже ту работу, от которой отказывался прежде Сурков.

— Ну, что ж, — цедил Сурков с механхолическим видом: — разве я не смог бы? Так только, не хотелось...

Он подстергал. И вот, раз оба получили по большой партии совершенно одинаковых кранов. Выждав, когда Игнат взял первую коробку крана, чтобы ставить в патрон, Сурков многообещающе подмигнул двум-трем соседям и сразу же принялся за работу с крайним напряжением: работаю он был и выносливо и думал теперь отыгратья.

— Ну-ка, господи, благослови! Размять, что ли, старые косточки!

Некоторое время Игнат ничего не замечал и работал спрехвала. Однако, чрезвычайная торопливость Суркова и его дурымысленные выкрики возбудили его любопытство, а, всмотревшись внимательнее, он понял, что Сурвалец хочет его переиграть. Вначале это его не тронуло: пускай уж полагается! Но затем вспыхнуло самолюбие: в желании Суркова он почувствовал вызов тому, что было в нем, в Игнате... и вызов не одного Суркова. Тогда ему захотелось бороться.

Первое время он взял приемы Суркова: быстрый ход, отчаянную торопливость, нерасчетливую трату резцов. И сразу же заскользил ремень, разорвалась втулка, и, наконец, резец наскочил на «жучка» и лопнул.

Раздался смех. Теперь он знал же наверняка, что за ним следят. Огромным усилием он потасил свое волнение и, остановив станок, стал в него всматриваться, как и тогда, когда «дырчал». Долго соображал. Потом забрал резцы и даже все «огузки» и ушел в кузницу. Целый день заправлял резцы и точил разные оправки; а когда снова принялся за краны, давши станку тихий ход, у Суркова было почти готовых три крана.

Он подошел к Игнату и ласково спросил:

— Ну, как дела, дружок? Не ладится?

— Пойдет, — сдержанно ответил Игнат.

— Гм... На твоих, должно быть, чугуи крепче.

Сурков подогадал еще немного и, уже совсем уверенный в победе, преврал работу и показано задымил папирскойой.

— Ты что не работаешь? — нарочно громко окликнул его Костычев от своего станка.

— Отдыхаю, — с томностью ответил Сурков, — спешить-то некуда.

Заказ был большой. Составление дилось еще четыре дня, и с виду казалось, что Сурков совсем «забил» Игната. Почти половина коробок у него была уже готова, а Игнат все еще «обдирал» и все на том же тихом ходу.

Старики торжествовали.

— Эй, молодец! — нагло уже кричал Сурков. — Это, видно, не книжки читать! Не помочь ли?

— Нажи, нажи! — подуживал Костычев.

Игнат молчал. Кончив черную обдирку, он перебрался вдруг ремень на быстрый ход, и отделка пошла на удивление скоро. Благодаря припасенным оправкам установка была и точной и быстрой; а, кроме того, резцы сохранились, и в то время, как Сурков уже вынужден был бегать в кузницу, Игнат лишь изредка носил свои резцы к точилю подтачивать.

Костычев подошел к Суркову будто за болтами и подсунал два снежных резца. Но только отошел, Журба крикнул ему:

— Эй, кашан! Резцы свои забыл!

Конфуз вышел порядочный... И вот настал, наконец, момент, когда число готовых кранов, стоявших рядом красивым узором на Игнатовом станке, превысило число кранов, сделанных Сурковым.

Старики притихли... Час-другой Сурков поторчал еще у станка, потом куда-то «залился». И только к шашбу пришел вдребезги пьяный и избегал Игната.

Земля уже заметно просохла, но все еще хранила следы обновления и быстро покрывалась нежной зеленью. Верба давно уже цвела.

В один из этих дней, как только пустили машину, лопнул маховой ремень, и его шивали до самого завтрака. Машина стояла, и потому в токарной было странная необычная тишина. Редкий лягающий звук железа или удар молотка отдавался где-то под высокой крышей и стрелой, точно испуганный, проносился вдоль мертво стоявшего вала. Это раздражало, и нередко в ответ неслись свирепые окрики:

— Головою! Гвозди в гроб, дьявол! Не наработаешься!

В раскрытое окно, гоняя друг за другом, вспорхнули два воробья и сразу наполнили тишину яростным, звонким чирканьем. Попрыгав по мрачно заставшим шкивам и повисшим, черным от грязи, ремням, они вылетели вон. Но здесь еще некоторое время слышался их дерзкий крик, звеневший маяншию и душистым воздухом весны.

— Счастливая птичка, — вздохнул Журба. — Взяла и полетела.

Максим, пивший с ним чай, ухмыльнулся:

— Обсади Золотько, и ты вылетишь.

Пошла машина. Игнат работал вяло, через силу. Подошел Артем и долго стоял молча, наблюдая, как длинная белая стружка мягко извивалась из-под резца, ползла по супорту вниз с тихим шуршаньем. Мелодично пели, повторяясь, шестерни перебора...

— О чем ты думаешь? — спросил Артем.

— Так... ни о чем.

Долго шли приятели молча, широко шагая и дружно грудью врезаясь в густую толпу деревьев. Лес расступался и пропускал дальше, дальше. Но сзади строго смыкался, и в нем они были одни, с молчанием и шопотом востроженных ногам листьев.

Артем стал, громко засмеялся и во всю мощь своей сильной груди крикнул:

— Гоп-гоп-гоп-го-о-о!

И тотчас ему откликнулось эхо: оно шархнулось вправо, перекачилось назад и после длинной паузы отдалось, как стон, где-то далеко-далеко и замерло.

Игнат с силой потянулся, а лицо его расцвело тихой радостью.

— Хорошо, Артем!

— Гоп-го-го-го-о-о! — захлебываясь, повторил Артем.

Побежал вдур.

— Лови меня!

Игнат в бурном восторге погнался за ним. Бежали быстро, как молодые кони.

Артем был впереди. Широко раздулись ноздри.

— Прыгай, Игнат!

Повернулся спиной, чуть склонив голову.

Игнат разбежался, коснулся плеч его и упругий, как мяч, перелетел через голову.

— Держись! — радостно крикнул Артем, разгоняясь в свою очередь.

— Мы, как лещи! Как лещи! Го-го-го-о!

— Ну, еще! Держись! Гоп!

Упали оба на землю и уж не захотели подняться.

— Вот чудачки-то! — воскликнул Игнат, смотря в небо и в светлом сладострастии раскидывая руки и вытягиваясь.

Тяжело дыша, лежали на листьях, как хмельные, и сквозь теплые ветви смотрели в лазоревую бездну неба.

— А знаешь, — промолвил Игнат, — пустоту души можно заполнить можно!

Артем промолчал. Вскочил вдруг на ноги и сказал:

— Пойдем дальше... без дороги.

К вечеру вышли к какой-то деревне. Солнце опускалось за лесом, бросая золотые ласковые лучи на верхушки плетней, соломенные крыши и белые стены мазанок. По узкой и кривой улице, пыльной посредине и поросшей травой по бокам, от ставка, мерцавшего на краю деревни, шли домой, тихо бормоча, гуси. Так же, как и они, важно и вперевалку, с хворостинной в руках, шагал за ними хлопчик и время от времени покрикивал:

— Гиля! Гиля!

В небольшой деревянной церкви шло богослужение. Слышался тихий напев, и тннуло ладаном.

— Войдем, — предложил Игнат.

Артем подумал.

— Нет, не хочу. Иди сам.

В церкви было тихо, мерцали одинокие свечи. Громко и жалобно скрипнула дверь, гулко прозвучали шаги. Игнат остановился, смущенный этим гулом и тем, что не мог осенить себя крестом. Осторожно, на цыпочках ступая, прошел к притвору и стал за широкой деревянной колонной. Здесь был полусвет; перед большой иконой, украшенной разноцветными лентами, теплилась красная лампада и едва освещала строгий сосредоточенный лик богоматери. По всей церкви было рассеяно с десяток говельщиков.

больше старух. В алтаре бормотал что-то добреньким фальцетом старый батюшка; вдоль стен с озабоченной торопливостью семенил с кадиллом в руках старенький тшедушный дьякон. Подбежав к иконе, он деловито ей кланялся, встряхивал кадиллом, робко звякнущим цепью, и семенил дальше...

Игнат входил не без дерзости. Хотелось еще раз взглянуть в лицо тому, что стало для него прошлым. Теперь же среди пугливой тишины, глядя на стоявшую впереди старуху и кроткий образ богоматери, он чувствовал, как улегалась в нем дерзость, и в душу проникала непонятная грусть...

Вдруг резко и шумливо хлопнула дверь, к алтарю шли, громко стуча сапогами, два мужика.

Настроение пропало. Игнат вздохнул и пошел из церкви.

... Когда приближались к городу, Артем глубоко вздохнул и с горечью произнес:

— А завтра — опять завод, и снова по старому: табельщик будет эпизывать нам дни, а мы вычеркивать их из нашей жизни...

(Отрывок 2-й)

... Праздник, так страстно желанный, пришел.

На одной из главных площадей города стояли друг против друга в напряженном ожидании, два отряда солдат. Они были вооружены, имели запас боевых патронов. Их разделял молодой, снегом запушенный скверик, ласы боевых патронов. Это чувствовали и те, которые и каждую минуту могло начаться побоище. Это чувствовали и те, которые стояли по ту сторону, во главе с высшими офицерами, и эти, где команда принадлежала нескольким рядовым, у которых погоны были закрыты белой бумагой. И в то время, как на той стороне почти не было видно невоенных, напротив, тревожно настроенных солдат окружало кольцо людей чуть здесь, напротив, тревожно настроенных. Главная же масса была из рабочих. Многие не всех возрастов были вооружены: двое или трое удачников пошевеливали в этом кольце были вооружены, там и сам попадались пиконосцы, некоторые старыми офицерскими саблями, там и сам попадались пиконосцы, некоторые старательно прятали под одеждой охотничьи ружья. Были здесь, несомненно, и браунинги, и бульдоги, причем пули последних имели обыкновение не покидать дула; были, по слухам, даже маузеры; а кое-кто знал и то, что в дальнем конце сквера, там, где стояла артиллерия и пулеметы, расположилась группа самоотверженных гранатчиков. Но это были только слухи. А мало ли в эти дни было слухов?!

Эта стойка длилась уже часа три. Ранним утром эти солдаты, что с упрямим нетерпением стояли по эту сторону, вышли с музыкой из казарм и навстрелку в город. В городе их встретили другие солдаты, — и вот и те и другие стали друг против друга.

Возможно, что дело уже было бы решено, — по крайней мере, могло принять совершенно иной оборот, если бы артиллеристы были решительнее: туда или сюда. Во всяком случае, там на них не полагались.

— Вот, брат, завоздака, — произнес Журба, обращаясь к Игнату, с которым он стоял в цепи. — Уже и надоедает. То или се...

— И все-таки хорошо, — отозвался Игнат. — Право, хорошо! Ты только посмотри на наш сброд: с чем пришел? С одним лишь горячим сердцем. Строго судя, и мы с тобой, и они — только помешаем, если начнется драка. Но знаешь, как-то так... плакать даже хочется!

— А мне так даже не верится!

— Хорошо, брат, так жить!

— Хорошо. А все-таки я смерз и есть хочу. Зайти бы куда погреться.
 — Что ты! Каждую минуту могут...
 — Ты! — вспомнил вдруг Журба. — Да, ведь, у меня кусок сала есть! Ей-богу! Это я, признаться, тайком от своей бабы. Эх, ну не дурак ли я, старик? Шел мимо монополии и забыл захватить мерзавчика.

— Товарищи, держите цепь! — заметил, проходя мимо, человек определенной профессии, с бритыми усами и белой перевязью на руке. На крайнем конце цепи, с той стороны, где отряд демонстрирующих не был еще окружен, произошло заметное движение, раздались приветственные

заметно свержанные, возгласы.

— Ба! Наши пришли! — воскликнул Журба, взглянул туда через голы.

— С пиками! Побей меня бог, с пиками! Это с Павлом пришли. Только и чудно-ж как-то выходит с этими пиками! Будто красное, что ли.

Еще бы танец какой индейский присочинить.

— Будьте спокойны, товарищи, — твердил человек с перевязью, — Спокоен, спокоен, — пробурчал Журба, выравнивая линию. — А какое тут спокойствие, — продолжал он, обращаясь к Игнату: — с меня все равно толку, как с козла молока.

Пристально посмотрел через редкие и голые деревья скверика и нахмурился еще больше. Заметив хрупкую, миловидную девушку, с серьезным

видом топтавшуюся за цепью, он вдруг рассердился.

— Товарищ-барышня, ну и чего-б я тут вертелся, ей-богу. Только другим помешаете.

Она быстро вскинула на него большие увлеченные глаза и покраснела;

однако, оправившись, она ответила твердо и с достоинством:

— Не беспокойтесь, товарищ, я не побегу.

Игнат улыбнулся.

— С'ед, старче?

Журба отвернулся в сторону и некоторое время молчал, делая вид, будто рассматривает что-то. Потом признался.

— Нарвался, брат. Ежели по совести, — так оно и я вроде пятого ко- леса до возу. Только, ведь, и оружия, что болт в кармане.

— А ты не унывай. Знаешь, чем Самсон дрался?

— Самсон! Так тож когда дело было! Самсон...

— Ну, если что — возьмишь тогда мой браунинг.

— Так, значит, кандидатом?

Оттуда, откуда вышли рабочие с пиками, теперь вынырнула еще группа рабочих с небольшим оркестром и красным, старательно расшитым красным знаменем. Уткнувшись прямо в вооруженных солдат, оркестр как-то кон- фузяно затих, только знамя осталось маячить, дразня ту сторону и не при- давая бодрости этой: слишком ярким и определенным пятном казалась оно

здесь...

На той стороне то появлялись, то снова скакали куда-то курьеры, ад'ю- танты. Иногда движение становилось слишком заметным, и все насторожи- порядочного ура. Волнение передавалось и на эту сторону.

— Кажется, начнется, — произнес Игнат, слегка поблдев и осто- рожно вынимая из кобуры браунинг.

Солдаты тоже насторожились.

Но через несколько минут прошел слух, что часть солдат на той сто- роне так явно заколебалась, что их предпочли отправить обратно в казармы.

Это на некоторое время подняло настроение.

— А, все-таки, не верится мне, — сказал Журба в раздумьи. — Смотрю я на этих вот «наших» солдат — и бог их знает, что у них на уме теперь. Жил я в этих казармах, знаю.

— Теперь время другое, — возразил Игнат, хотя его наблюдения были также несвежи.

Журба отмахнулся рукой и замолчал. Потом оглянулся назад, где все еще стояла хрупкая девушка, и застенчиво предложил ей кусок хлеба и сала. Та посмотрела на него с недоумением, протянула, было, руку, чтобы взять хлеб, но вдруг покраснела и, поджав губы, отошла в сторону.

Игнат рассмеялся.

— Что, брат, и салом не подкупишь? Ну, ничего, давай я помогу.

Позади них произошло замешательство. Какая-то дорожная торговка, с двумя большими корзинами в руках, силсилась пробраться сквозь цепь и хрипло кричала:

— Я до дому иду! Не хочется работать, так они тут бастовки устраи- вают! Лодыри!

Заметив, однако, у некоторых оружие, она сразу же умолкла и, как утка, засеменела прочь, провожаемая смехом.

Этот смех не подходил под общее настроение и быстро оборвался.

— Ох, кончалось бы уже скорее, что ли, — заметил Журба. — А то, чего доброго, пронюхает моя баба — товарищ мой ненаглядный. Такого ре- кошету наделает... Главное — то, что сижу на ее шее. Даже со стороны

нальцем показывают: вот, дескать, лодырь, на жинкинних хлебах живет. В го- роде хотя спрячется человек, а у нас, ведь, все на виду. И то еще чудно: все

говорят — революция. Но как же так: и борщ варится, и мясо жарится, и

магазины торгуют.

— И долги требуют, — подсказал Игнат.

— Ох, и не говори, — печально махнул рукой Журба. — Вот я и ду- маю: неужели все это — революция?

— Она, брат, она. Все сдвинулось с места, значит, она.

На другом конце дружинники арестовали какого-то провокатора; арес- товали как раз в момент, когда он собирался выстрелить на ту сторону.

— Самого пристрелить бы, как собаку, — слышались враждебные

голоса.

Журба глубоко вздохнул.

— А что, Гнатику, скоро нам ижичу пропишут?

— Вероятно, скоро, — к тому идет.

— Хо-хо-о... Запраздновались...

В это время раздались негромкая команда; солдаты взяли ружья на плечо и двинулись в город, окруженные цепью своих союзников. На той

стороне такжебрякнули ружья, взятые на руку. Там их было раз в пять больше, и жутко было итти под зловецким взором их маленьких черных то- чек. На штыках слабо и холодно играли лучи послеобеденного солнца.

Проходя мимо угрюмых пушек, оркестр зарокотал похоронный марш. В ту же минуту печально-торжественный мотив подхватила тысячная толпа, обнажившая головы.

Еще минута напряженных ожиданий — и колонна, обогнув угол, вышла из каменного кольца площади и влилась в широкую и светлую улицу. Грудь

вздохнула свободнее, точно кошмар исчез, и оркестр дружно грянул мар- шельезу. И вся толпа, как один человек, с бурной страстью и рвущимся от

радостного под'ема голосом, подхватила ее.

— Гнатику! — воскликнул Журба со слезами восторга. — До чего ж это хорошо!

Игнат ответил горячим пожатием руки.

— Запомним это, друже! Завтра, быть может, опять наступит ночь, но это, — он широким жестом показал вокруг, — это пусть живет в нас! В этом вся правда! Жизнь! Красота!

— Эх, — вздохнул Журба: — не дотянул Артемка...

Взгрустнулось и Игнату.

В одном месте из толпы на него глянуло удивительно знакомое лицо. — Нина! — чуть не вскрикнул он. Но толпа сомкнулась и увлекла дальше. А сердце долго еще билось радостной тревогой.

— Здесь она! Здесь...

Улица пошла вниз. Сверху далеко и ясно видно было мерно колышущую массу солдат и густую черную цепь. В домах, сверху и до низу, раскрывались окна, и оттуда махали платками, приветно кивали.

(Оба отрывка взяты из журнала «Совр. Мир», 1912 г., № 7, 10).

ПАВЕЛ КАРПОВИЧ БЕССАЛЬКО

Родился в Екатеринославе в 1877 г. По окончании церковно-приходской школы занимался с отцом грузовым извозом. 16-ти лет поступил учеником-слесарем в Екатеринославские железнодорожные мастерские. В 1903 г. принял участие во всеобщей стачке. В 1907 г. был арестован, вскоре освобожден и вновь арестован в октябре того же года и пробыл в тюрьме 2 года. После суда сослан на вечное поселение в Енисейскую губ., откуда бежал чепных и ортопедических заводах. Признавая, что пролетариат должен стать повелителем новой жизни, Бессалько становится горячим сторонником и пропагандистом пролетарской культуры. Еще за границей он начал писать, и свою первую же повесть послал Максиму Горькому. Начал с воспоминаний о личных переживаниях в сибирской ссылке, затем перешел к очеркам: «Дети Кузьки», «Бессознательным путем», «Катастрофа», «К жизни». Это становится Даровым и идет вперед ошутью, «бессознательным путем» и, перелетая партийным работником. От этих бытовых пережитых очерков он переходит к экзотическим символическим стихотворениям в прозе «Алмазы Востока». Во время революции 17 г. он сперва попадает в Екатеринославе, а оттуда в Петербург, где сближается с рабочим критиком и организатором культуры и деятельно сотрудничает в журнале «Грядущее» и в издательстве Петроградского Пролеткульта.

В Петрограде он напечатал свои очерки «Алмазы Востока» и там же написал драматический этюд «Каменщик». Во время наступления Деникина он был в качестве партийного работника мобилизован на южный фронт, там он работал в качестве редактора армейской газеты. В 1920 г. он умер от сыпного тифа в Харькове.

Это был писатель, наделенный большим темпераментом. Он еще не нашел своего стиля. В теории он был решительным противником буржуазной культуры, но в своих творческих исканиях находился под большим воздействием и Ницше, и Леонида Андреева, и Тагора, и Максима Горького, и

Достоевского. Он был одним из ярких представителей пролетарской интеллигенции и решительным противником «попучиков» пролетариата («Катастрофа»).

Материалом для его творчества послужили, по преимуществу, наблюдения и переживания, связанные с первой революцией.

В. Львов-Рогачевский.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ПОЧИВШИХ БОРЦАХ ЗА ПРОЛЕТАРСКУЮ КУЛЬТУРУ

... Бессалько, застенчивый и угрюмый, явился ко мне. Кажется, он остался недоволен как моим недостаточным авторством перед первыми пробами пера его, так и тем, что я оказался бессильным помочь ему в напечатании его вещей.

В то время Бессалько изживал еще свой период интенсивной ненависти к партийной интеллигенции. Он принадлежал к меньшевистской организации, но по духу был скорее всего анархо-синдикалистом.

Вскоре, однако, отношения между ним, а с другой стороны — мною и моей женой, сделались настолько дружескими, что Бессалько, все еще немного угрюмый, милостиво заявил мне, что «выделяет меня из интеллигенции».

Большой работой того времени был у Бессалько роман «Катастрофа». Этот роман, или, вернее, серия сцен из тюремной жизни, с одной стороны, объясняет неприязнь Павла к интеллигенции, с другой стороны, со всей резкостью ее выражает. Бессалько не мог, не победив от негодования, вспомнить, как недостойно вели себя партийные интеллигенты в 906 году в Екатеринославской тюрьме, когда всем заключенным грозил смертная казнь. И эту кошмарную историю он сумел местами с мучительным мастерством перелить на страницы своей мрачной и желчной эпопеи.

Но то были последние тучи рассеянной бури.

На глазах у меня Бессалько менялся. Все больше огня было в его глазах, все чаще на его губах расцветала улыбка. Он чуял в себе талант, он отдыхал в Париже, он нашел там дружбу и любовь.

Писал он в то время свои воспоминания, теперь опубликованные в виде ряда отдельных глав большой биографии Кузьки — самого Павла, конечно. Здесь краски были уже значительно светлее. Но и это была дань прошлому. Совсем не то роилось в голове молодого рабочего-южанина, с большим темпераментом и страстной жаждой жизни, веселой, блестящей, языческой.

Как-то вдруг разрешил он себя от поста нарочитого реалиста и набрал на свою палитру самых ярких и разнообразных красок. И тогда вдруг раздался совсем новые песни: Иуда Гавлонит, вываливающий себе глаз в каменистых окрестностях Иерусалима, весь по обстановке и по тону выдержанный в полубиблейских тонах; «Алмазы Востока», где рядом с чудесными легендами, написанными узорными эмалевыми словами, встречается такая гомерическая вещь, как «Вулкан»; рассказы, написанные с легкостью самых лучших произведений Мопассана из жизни парижской богемы, — словом, огромный диапазон фантастически развернулся в душе Бессалько.

Я с восхищением следил за расширением русла его вдохновения. Его любовь к ярким краскам, исключительным переживаниям, к героическому, сказке, к мифу, как нельзя лучше подтверждала мою всегдашнюю идею о том, что пролетарским художникам доступно будет все: что прошлое и бу-

душее, природа и душа человеческая во всей необъятности станут их объектом, но что все это они осветят своим пролетарским светом.

Так это было с Бессалько. Нет у него ни одного произведения, которое придирчивый критик не назвал бы тенденциозным. Все эти радужные золотые стрелки, трепеща, показывают один и тот же полюс: пролетарскую идею торжества труда, свободы и человеческой гармонии.

В России я постарался тотчас привлечь Бессалько к работе, и он заменил Федора Калинина в Петрограде, как руководитель Отдела помощи самостоятельным пролетарским культурным организациям по отъезде Калинина в Москву.

После отъезда моего из Петрограда я меньше наблюдал Павла. Но знаю, что дружба с Мгебровым и близость к героическому театру была новой полудой в его жизни. Театром он увлекался страстно, мечтал о целом ряде пьес. Об этом мечтании мы с ним вместе рассказывали друг другу сюжеты задушевных нами драм, и в последнее наше свидание, как никогда почувствовали мы оба и сказали это друг другу, как мы близки и как параллельна наша работа в области искусства.

Ехал он спокойный, уверенный. И вот бессмысленный тиф скопид этот яркий талант.

А. Луначарский.

(Из журнала Пролетарской Культуры № 13—14, 1920 г.)

«КАТАСТРОФА»¹

(Отрывок)

В центре города, на высоком холме, стояла мрачная старинная тюрьма. С четырех ее углов высились круглые с бойницами башни, и была обнесена она толстой кирпичной стеной и глубоким рвом, в котором когда то стояла вода.

За рвом, с левой стороны, шли солдатские казармы; с правого — полицейский участок, а с переднего фасада — через улицу, стояли дома тюремной стражи. Во дворе у тюремных ворот высился двухэтажный дом. В нижнем этаже помещалась контора, наверху же жил начальник с семьей... Этот дом с железными дверьми и окнами со стальными решетками, для тюремщиков, во время арестантских мятежей, представлял надежное убежище. Только тыл тюрьмы не был надежно закреплен. Здесь за стеной, на месте сгоревшего винного завода, вольно лежал пустырь, поросший темно-бурым высоким бурьяном. Но на это место было обращено внимание тюремной инспекции, здесь день и ночь находился усиленный караул.

В прежние «мирные» времена начальство старалось придать тюрьме жилой, приятный вид: ее часто штукатурили, красили и обсаживали деревьями. Но старуха тюрьма не держала на себе штукатурку, не молодила ее и краска, одни деревья могли укрыть в своей листве отвратительный лик ее. Теперь же тюрьму не прятали, а наоборот, чтобы устрашить непокорных горожан, совершенно очистили ее от столетних деревьев. И, действительно, облезлая, угрожающая, с оскаленными зубами и множеством темных дыр в роде глаз, она невольно внушала к себе всеобщий страх и омерзение.

¹ В основу повести положены события, разыгравшиеся в Екатеринбургской тюрьме.

Проша, после предварительной сидки в участке и трехмесячного лежания в больнице, наконец, попал в обетованную «палестину». В воротах тюрьмы он с нетерпением ожидал конца обыска. Но этому обыску, кажется, не предвиделось конца. Толстый, седобородый и на вид коректный надзиратель, приказав Проше сбросить с себя одежду, не торопясь, но достаточно добросовестно встарывая ножом все швы и замечательно искусно точно набившемся за полкладку мусоре. И, наконец, когда последняя подметка на сапоге была сорвана, и снова кое-как приколочена, толстый надзиратель вежливо попросил Прошу одеваться. Затем повел его в контору, где конторщик, занеся его имя и звание в книгу, торчуил другому надзирателю отвести арестанта в двенадцатую камеру. По выходе из конторы, другой — люговенький маленький надзиратель, поднявшись на носках, треснул Прошу кулаком по шее.

— Ты за что? — остановился Проша.

— Привыкай! — засмеялся гном и повел его через двор ко входу в тюрьму.

Здесь их встретил высокий костистый надзиратель с зелеными глазами гаюки.

— Раздевайся! — сказал он.

Проша опять разделся догола. Змеиные глазки забегали по нему. Плюгавенький забрал его одежду и, опустившись на стул, стал по ниткам ее ощупывать.

— Жид?

Проша не ответил.

— Вот я сейчас скажу, — проговорил плюгавенький и сделал все, чтобы убедиться, какой веры этот мученик.

— Не жид?

— Штундист.

Огромные рты раздирались от смеха.

Костлявый бросил Проше его лохмотья. И не успел тот надеть на себя картуз и рубашку, как надзиратель крикнул:

— Беги наверх, — там оденешься!

— Дай сапоги надеть!

— Беги, тебе говорят! — возвысил голос надзиратель и слегка ударил Прошу по лицу.

От костлявого кулака Проша зашатался и наверно упал бы, если бы гадючьи глазки вторым ударом в затылок не направили его к лестнице.

Были две лестницы — налево и направо. Проша побежал влево.

— Не туда! Сюда! — зашипел надзиратель, ловко саданув Прошу сапогом в икру.

Как безумный, пробежал Проша лестницу и очутился на среднем коридоре.

Тишина была — как в склепе, и Проша ясно слышал частые удары своего сердца.

Снизу поднимался его мучитель.

— Ты чаво так бегаешь, псэ собачий?

Проша медленно стал взбираться по второй лестнице.

— Ползи, скорей ползи, — покрикивал надзиратель, толкая Прошу вязкой ключей в бок. Проша изо всех сил крепился не застонать или не наброситься на мучителя. Поднялись на верхнюю площадку.

— Стой! — надзиратель милостиво улыбнулся жертве и крикнул в темную дыру: — Чертыжкин, принимай!

Из дыры высунулась усатая рожа под форменным картузом.

подпрыгивая и звеня кандалами, точно сказочный змей. Передний смертник очень красиво выбрасывал ноги вперед и навистывал какой-то боевой марш. Надзиратели пучили глаза на арестантскую затею, а того не видели, что один смертник, не принимавший в игре участия, положил под стену взрывчатый снаряд.

Раздался такой страшный взрыв, что, казалось, вся тюрьма рассыпалась. Смертники упали на землю, но через минуту, сбросив с ног заранее перепиленные кандалы, вскочили и, с криками радости, устремились к месту взрыва... Да их радость перешла в отчаяние: толстая стена не упала, а дала только незначительную трещинку. Одно мгновение смертники, как помешанные, метались около небольшой щели в стене, в своем иступлении не понимая того, что в игольное ушко не пройти верблюд. Потом, наступлении не понимая в руке, погнался за перепутанным надзирателем, другие влезли на баню и пытались перебраться через провололочные заграждения. Наружный патруль убил некоторых, другим пришлось соскочить обратно во двор. В это время из-под ворот конторы выбежала тюремная стража. Убив вооруженного смертника, израсходовавшего все патроны, она принялась добивать других. Покончили со смертниками, стража с криками: «Бей пожитику!», побежала к загородке, где были наши товарищи.

Дед Водовозов пал первым. Под градом пуль лежали и другие. Пятидесятителетный Миша, с детским бесстрашием разорвав ворот рубанки, крикнул: «В грудь цельтесь, гады!» и, простреленный десятком пуль, опрокинулся навзничь. Погиб и красавец Павел. Расстреляв и эту прогулку, озверевшие, упиавшие кровью надзиратели, бросились на тюремный коридор. Решетчатые двери открывали им всю нашу камеру. Проша, это было ужасно! Они с хохотом стреляли в нас, мы валялись, укрывались за раненых и убитых. Предсмертные хрипы и стоны, выстрелы, бешеная беготня, крики отчаяния, мольбы и проклятия клубились в каком-то диком хаосе. Часа два творилось нечто ужасное. Наконец, в тюрьму приехало начальство. Губернатор благодарил начальника и прочих чинов за «доблестные подвиги» и обещал награды. С нас же срывали одежды и голых выгоняли на коридор, напоказ всей этой сановной сволочи. Стражники очищали камеры от трупов и раненых. Помню, с каким зверством тащили за ноги умирающего Ваню. Он не кричал, не стоял, только молча смотрел на своих врагов и друзей. О, что был за взгляд!

— Довольно, довольно, — попросил Проша, бледный, близкий к обмороку, — я больше не могу...

С ним, как у мертвеца, лицом и горящими безумием глазами Мельник произнес дико:

— Не могу! А мы могли, мы могли видеть, как в это время охранники добивали на дворе недобитых? Мы могли целые месяцы жить в аду? Слышать крики и стоны за стеной? Вносить побой, издевательства тюремщиков? А народ, для которого мы добывали свободу, спокойно жил, спокойно узнавал, что творилось здесь, спокойно пил и ел...

Проша не слышал, что дальше говорил Мельник, он лежал в глубоком обмороке.

(«Катастрофа», или. Пролетарьята, стр. 13—22).

ПЕСНИ САДОВНИКА

VIII

На песчаном берегу валялась раковина.
Ее розовую поверхность целовало нежно море.
Оно то тихо, то громко урчало на солнце, которое, в любви своей к раковине, горело таким пламенем, что от него изнывала вселенная — это видел рыбак.

Он поднял с земли раковину и сказал, смеясь:
— Влюбленные всегда глупы, они часто не сознают, что влюблены в красивую пустоту. Эта раковина пуста.
И рыбак раскрыл раковину, чтобы одну половину отдать солнцу, а другую бросить в море.

Но вдруг на синем перламутре сверкнул, как слеза, чистый, необыкновенных размеров жемчуг.

Рыбак открыл глаза: теперь я понимаю, отчего спорят влюбленные — они смотрят часто вглубь. И видят то, чего другие не видят.
Моя возлюбленная, не похожа ли я на рыбака, нашедшего камень драгоценный и непроницаемый.

Я смотрю на тебя и не понимаю. Кто ты? Откуда ты?
Нет у меня лучей солнечных и любовной соли морской, чтобы проникнуть дальше видимого...

В моем сознании складывается легенда о египетском сфинксе. Слушай!
Во дворце фараона был пир.
Стояла тихая ночь. Зал пирующих освещала таинственная лампа.
На ее свет из сада в окно влетела пушистая, как бархат, черная бабочка. Фараон поднял на нее глаза и, когда она билась вокруг стекла, сказал, дотронувшись рукой до ее нежных крылышек:
— Неразумная, неужели ты не боишься сгореть в этом пламени?
И тогда от прикосновения его пальцев произошло чудо: — черная бабочка превратилась в неземной красоты женщину.
В ту же минуту царь Египта почувствовал неудержимое желание поцеловать ее.

Но от его поцелуя случилась странная метаморфоза — женщина стала вдруг полуженщиной-полузверем.

Взглянув на нее с отвращением, новый Мидас закричал:
— Я не могу видеть это чудовище!
И, взмахнув рукой, фараон разбил заколдованную лампу. Когда лампы дворца охватил мрак, по ним пронесся предсмертный стон:
Странное существо не выдержало млека и холода и окаменело.
Напрасно обезумевший фараон на следующее утро с тоской в голосе во-прошал загадочного сфинкса:
— Кто, кто ты, прилетевшая на огонь любви моей? Женщина ли, зверь или бог?

Но молчала загадка с каменными глазами, бесстрастно устремленными к звездам.

Моя возлюбленная, не ты ли этот сфинкс с глазами немигающими? И не я ли — второй Эдип, воспаленными глазами проникающий в таинственный огонь праматери Астарты?

IX

О, девушки страны моей, красавицы горные, пена морская белая, ответьте садовнику: что есть любовь? Что есть любовь? Что есть любовь? — твержу я, глядя на холодного сфинкса, и моргаю глазами.

Ответьте мне, нежные, ответьте, цветами одаренные, певуны звонкие. Двигает ли горами любовь?

Вырастают ли крылья у влюбленных?

Гонятся ли влюбленные за звездой, танцующей в небе? Убежали, убежали от меня, безумного.

А химера с глазами каменными захлестывает на мне веревку.

Гибель, гибель садовнику, выпустившему из рук нож садовничий.

О, как тесна петля на шее мой!

Огненным кольцом сжимает отравленный вопрос Дракона сердце мое измученное.

Вот стою я у пропасти. И должен назвать имя бога.

Имя бога любви, чтоб ожил сфинкс с глазами, устремленными к небу.

Боже, боже, имя твое — Смерть!

Через Смерть к солнечному венцу путь влюбленных.

Этим путем шли Беатриче и Данте, Поль и Виржиния и еще шесть имен, осиянных славою.

И я избираю этот путь в обитель далекую.

Там сяду я у входа и буду ждать. И не встану, пока не придет Она — моя Возлюбленная.

Итак, полно нам танцевать на стекле. Сердце мое, кончай песнь лебединою!

(Из книги Бессалько—«Песни садовника». Петерб. Госиздат. 1921, стр. 25—29).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Демократическая лирика

С. Д. ДРОЖЖИН—И. А. БЕЛОУСОВ—С. Д. ФОМИН—ИВ. МОРОЗОВ—Е. НЕЧАЕВ—Ф. С. ШКУЛЕВ—АЛЕКСЕЙ ГМЫРЕВ—Е. ТАРАСОВ

ДЕДУШКА КРЕСТЬЯНСКИХ ПОЭТОВ

Спиридон Дмитриевич ДРОЖЖИН

Дрожжин родился в 1848 году в деревне Низовке, Тверской губ., на правом берегу Волги, в бедной крестьянской семье. Он жив и поныне. Пишет он стихи с 1865 г., а печатается с декабря 1873, но и он, и Суриков присобрили известность, как поэты-самоучки, поэты-самородки, а не как поэты-творцы, зачинатели нового. Славащее отношение к мужичку сказывалось в том покровительстве, которое народолобивая интеллигенция оказывала их поэзии. Не с революционным народничеством, а с либеральным народолобием породилась эта поэзия... В поэзии Дрожжина вы слышите то Никитина, то Некрасова, то Кольцова, то Шевченко. Когда вы читаете стихи: «Чуть в избе холодной теплдся ночник, на печи безродный умчал старик», вы вспоминаете Никитинские строки: «Скоро будет полночь, тишина в избе»...

Когда вы встречаете «Радость пахаря» или «Урожай», когда прислушиваетесь к песням: «От тоски-кручины истомился я» или «Ах, ты жизнь моя, жизнь бездольная, у чужих людей подневольная» или «Надо мною выют тучи да метели, от тоски-кручины кудри поседали» — вы тотчас же вспоминаете с досадой весь строй кольцовской песни, но песни обескрыленной, от которой отлетели радость и буйная сила.

Когда вы читаете «Привал на Волге» с описанием работы бурлаков, вы слышите знакомый некрасовский размер: «О, Волга, колыбель моя» и вылетает строка за строкой: «Бывало, берегом реки тянули барку бурлаки и проливали тяжкий пот»...

Шевченковское слышите в стихах «Вечер в Малороссии» и не радует вас «За белой хаткой сад вишневый». Но у С. Д. Дрожжина имеются прекрасные произведения. Вот, впитавшие всю красоту, образность и свежесть народной песни:

Как по травке ветерок,
По муравке веял,
В огороде старичок
Конопельку сеял.
«Уродися конопель
Высока добротна,
Чтоб жена мне на постель
Наткала полотна!»
В эту пору молода
У ворот стояла

И к нему из-за пруда
Голубей скликала:
«Гули, сизые мои,
В огород влетайте,
На здоровье из земли
Конопель собирайте!
Чтобы мне молодой потом
Уж ее не брати
И за мужем стариком
Поскони не мяти.

Таких песен немного у Дрожжина. Утомляют читателя все его «непогодушки и невзгодушки», «жизнь кручинная», «жизнь бездельная», «у чужих людей подневольная».

В каждой песне — кручина, тоска, горюшко, вечно у Дрожжина «грулая больная надрывется тоской», даже в летнюю ночь поэту «где-то измученный жинцы тосклявая песня слышна». Он видит убогую деревню, он встречает лица, «измученные работой, утомленные, забытые нуждой». Он сам тяготится тоскливостью своей поэзии и жалуется: «не могу я ни одной песни спеть веселой», он вечно горюет. О «душевной истоме» он пишет в своем дневнике, живя в Петербурге, «на свою горькую долю и на свое унгнетное состояние духа» жалуется он в письмах своим петербургским друзьям, когда он снова попадает в свою родную Низовку. Нужда тонит его из своего родного села на чужую сторону. Он служит то половым в трактире, то мальчиком в табачной лавке, то лакеем у барина, то приказчиком в книжной лавке. Но не радует поэта жизнь в столицах, и основной темой, темой крестьянина, вынужденного уйти на отработку, в отход, является у Дрожжина тема о родном селе. Он и поэтом становится от тоски по родному селу. Вспомывая в своих «Записках о жизни и поэзии» о работе в трактире, Дрожжин писал: «Целыми днями, бывало, ноет сердце, ничто не веселит кругом и не радует: так бы, кажется, и улелет в деревню. Это-то душевное состояние и послужило поводом к тому, что я стал писать стихи. В начале 65 года я задумал выразить свою тоску стихами и написал стихотворение. Оно закончилось следующими, до сих пор оставшимися у меня в памяти строчками:

«Локомотив вдруг застучал
«И в Петербург меня умчал,
«И вот теперь уж пятый год!
«Я милых сердцу не видал»

В минуту грусти он поет свое стихотворение и мечтает о Низовке: сколотит несколько лишних рублей, он уже спешит на родину, но нужда вновь гонит его в столицу. 23 мая 1865 г. он приезжает в Низовку, а 6-го июня снова едет в столицу. Нужда бросает его то в Харьков, то в Ташкент, то в Москву, но всегда он мечтает о собственном клочке земли на родине. О пребывании в Харькове он пишет в своих «Записках о жизни и поэзии»: «самый город и жизнь в нем мне не нравились, меня, как и всегда, тянуло в деревню, тем более, что у меня теперь был свой клочок земли и своя изба, из которой уж некому было меня выгнать» (92). С 1896 г. он возвращается, «после долгих скитаний по белу свету», к себе в свой дом, к своему клочку, где и решает остаться до конца дней своих, слабая «песни крестьянина» и воспевая «год крестьянина». Работает он, как пахарь, и пишет для «Посредника» свои «Песни пахаря». В 1903 г., 7 декабря, кружок писателей устраивает в честь юбиляра обед, его приветствуют участники московской «Средь», представляют музу, писатель-народник Златовратский, ссылаясь на рассказ Щедрина о юбилее сельского учителя, в котором Щедрин ставил вопрос: «Когда же будет юбилей нашего пахаря?», высказывает мысль, что юбилей этого пахаря, вносящего теперь свои думы и чувства в русскую литературу и в сознание нашего общества, наступил уже и празднуется в лице пахаря-поэта Дрожжина.

¹ Стихотворения Дрожжина, 1866—1888 г. «Записки о жизни и поэзии», стр. 45.

В 1879 г. у Дрожжина завязывается переписка с поэтом-крестьянином И. З. Суриковым. В одном из писем уже умиравший от чахотки поэт писал своему собрату: «сердечно вам желаю пойти дальше других, писал своему собрату: «сердечно вам желаю пойти дальше других, в борьбе с обстоятельствами. Я на днях уезжаю в Самарские степи для поправления в ко- тельствами. Я теперь стал негоден никуда; ни голова, нец разрушенного здоровья. Ни Дрожжину, ни Сукову не удалось ни душа — не работаю». Ни Дрожжину, ни Сукову не удалось преодолеть гнета обстоятельств и пойти дальше других, как и твор- обстоятельством придавила их творчество могильной плитой, как и готовно- чество Никитина. Ни силы, ни протеста, ни стихийной радости, ни готовно- сти бороться не было в их поэзии. Свой «клочок земли» и «своя лавочка» приковывали их к патриархально-мещанским отношениям.

Их горе — терпеливое, их муза — незлобивая, безгневная. Их люди — терпеливые, их муза — незлобивая, безгневная и печали и будила ненависть к вековым поработителям, муза Сурикова и Дрожжина только изнывает от тоски и слез: и тот и другой певы «тоски и горя».

Впрочем, в поэзии С. Д. Дрожжина часто слышатся отзвуки 60-х годов, так называемой «эпохи великих реформ».

Певец Света и Свободы, поклонник книги и просвещения, поэт-крестьянин в эпоху героическую революционного народничества остается вне революционного движения 70-х годов. Его муза «родилась крестьянской пророй, ни читать, ни писать не умела». Этой простой крестьянкой она остается и поныне. В «песнях крестьянина», в «чаше крестьянина», в «родной деревне» всегда крестьянская дума о родном доме, родном поле, хлебе насущном, труде в поте лица, для добывания этого хлеба, всегда мечта о довольстве, крестьянина. Он не стихи пишет, поет песни. Его песни — песни за работой, за крестьянской работой. В этих бесхитростных сердечных песнях пахарь, идя за сохой, поет о том:

... что ляжет
В сердце и подкажет
Просто, без искусства,
Пламенное чувство.

В этих простых безыскусственных песнях, тепло прочувствованных, поэт поет о своей бездельной и подневольной жизни «у чужих людей» и о вечном порывании «к родимой стороне», где «шумит-гудит дремучий лес, трава благоухает».

С. Д. Дрожжин является дедушкой новокрестьянских поэтов; как и поэт И. З. Суриков, он стоит на перепутье между старыми поэтами, рожденными крепостной Россией, и новым поколением поэтов, пришедших после революции 1905 г.

В 1923 г., 19-го декабря, исполнилось 50 лет его литературной деятельности. Во все 50 лет он был верен своей Низовке, как средневековый рыцарь своей прекрасной даме. И жизнь Низовки, серую, будничную, от урожая до урожая, отразил он в своих произведениях.

Произведения С. Д. Дрожжина издавались много раз. В 1888 г. в Петербурге они вышли под редакцией Соловьева-Несмелова, близкого друга С. Д. Дрожжина; в 1898 г. издательством «Посредник» изданы для народного чтения «Песни крестьянина», в 1899 г. — «Год крестьянина»; в 1907 г. в Моченте вышло третье издание его стихотворений с портретом и ценными записками автора о своей жизни и поэзии. Сюда вошли стихи, написанные от

1866 по 1888 г. В 1903 г. И. Д. Сытин выпустил новое собрание стихотворений в 2-х томах, от 1889—1903 г. И после 1905 г. С. Д. Дрожжин не оставляет своей работы: от сохи он шел к своим любимым книгам и рукописям; от стола шел к своей борозде. В 1913 г. появляются его «Песни старого пахаря» (1906—1912 г.) со статьей А. А. Коринфского. Революция 1905 г. в них не отразилась.

В. Львов-Рогачевский.

О СПИРИДОНЕ ДРОЖЖИНЕ¹

К нам в редакцию зашел Спиридон Дмитриевич Дрожжин — 75-летний поэт-крестьянин, богатырь русской поэзии.

Его имя сейчас светится наряду с именами Никитина, Кольцова и Сурикова.

Как и эти три народных поэта, Дрожжин был оторван в раннем детстве от родной семьи, от сырой земли, от крестьянствования и брошен в омут городской жизни, — в омут торгашества.

- Не обманешь, не продашь!
- Не подмажешь, не поедешь!
- Деньги не пахнут!

Вот лозунги среды, в которой жил великий поэт-прасол — любимец Спиридона Дрожжина!

Поэзия и прасольство! — какой трагический контраст!

Душа рвется к звездам с их небесной гармонией, а жизнь толкает на скотный двор для свеживания быков, для убоя, сдирания с них кожи, для спекуляции этим пахнущим кровью и мясом товаром!

Жизнь не выдержала этого противоречия.

У Никитина — поэт чуткого, юного, прекрасного, другой кошмар — пьянство и хамство отца, тоже смотревшего на жизнь глазами торгаша.

У Сурикова кошмар — нахотка.

Все трое умерли молодыми, не использовав и в десятой части того родника поэзии, который бил из их души.

Дрожжину тоже на долю выпал кошмар.

Душа вралась к звукам сладким, к крестьянской песне, к шуму леса, к нервной дрожи озера, к пьянищим ароматам ржаного поля, к радости деревенского быта, к чистоте и простоте детской незлобивой души.

А жизнь кинула — в кабак.

«Зимой 1860 года отправили меня в Петроград и отдали там в гостиницу «Европа», у Чернышева моста, на черную половину, так называемую «Капказ». Это была грязная, пропитанная табаком и водкой комната, оштукатуренная зеленой полинявшей от сырости краской. Три окна ее глядели мрачно и выходили на двор к помойной яме. На моей обязанности лежало прислуживать большую часть пьяным и бурливым посетителям Капказа и выносить от старших полупьяных половых потасовки. Я же мыл ежедневно после запора гостиницы пол. И спать мне приходилось не больше четырех часов в сутки»².

¹ Заметка Гостя из № 9 журнала «Всемирная иллюстрация»

² Из «Автобиографии» С. Д. Дрожжина, с 1843 года доведенной до 1923 г., печатающейся и выходящей на днях в издании «9 января» Транспресски под ред. Н. Шебуева.

Казалось бы, как не погибнуть в этих обстоятельствах! Как само не запить и не превратиться в полупьяного полового, раздающего потасовки тем, кто слабее его.

Но...

«В гостиницу часто захаживали разносчики и книгоноши».

И это примиряло мальчика с жизнью.

На собранные в продолжение дня копейки, полученные на чай от посетителей Капказа, я покупал картинки и книги в роде «Бовы Королевича», «Битвы русских с Кабардинцами», и, между прочим, разрозненные номера журналов «Мирской вестник», «Чтение для солдат», в которых особенно мне нравились рассказы А. Ф. Погосского.

Мальчик уходил в другой мир, вырастая духом.

Грязь, окружавшая его, не приставала к его душе.

Книга освещала, осыпала и очищала его душу.

«Читать приходилось урывками и украдкой от буфетчика, который с мальчиками и даже взрослыми слугами обращался грубо и бесчеловечно. Все перед ним положительно трепетали и боялись его, как огня. Особенно досталось мне, когда он застал меня за чтением рукописной комедии «Царь Максимилиан». Он мало того, что избил меня, но и рукопись и все книги, которые только нашел в моем комодке, отнял и сжег в печке».

Так велика была в темном человеке ненависть к книге.

Отец тоже не поощрял книжности сына и, в особенности, рано начавшихся у него стихотворных опытов.

Отец требовал заработка. А стихи отбивали юношу от дела.

Он скитался из кабака в кабак, — в приказчики по табачной части, — в лакеи, снова в кабак, снова в табачную.

И все время, всегда, везде, при всяких обстоятельствах тянулся душой к деревне, к крестьянскому труду.

Вот эта-то тяга к земле — самое знаменательное в автобиографии Дрожжина.

Сурово встречал отец сына, приехавшего в родную избу, — земли мало, работником не требуется, а в городе Спиридон зарабатывает больше.

Размолвки с отцом доходили, как у Никитина, до побоев.

Но Дрожжин, как философ, как поэт, как дитя, незлобиво принимал даже побои отца.

Наконец, после долгих пертурбаций, поэту удалось навсегда бросить город, кабак, табак и поселиться с молодой женой в деревне.

Проста и изумительно бесхитростна дальнейшая биография Дрожжина: постепенное и постоянное признание поэтического значения и красоты лирики его.

Я не буду останавливаться на этом простом и здоровом, как рост дерева, росте популярности поэта.

Обращу лишь внимание на ту роль, которую в жизни Дрожжина играла его жена.

В течение 45 лет она была неизменной залушевной музой его.

Она была неграмотной.

Но она была — не увидительно ли это — так чутка и чиста сердцем, что поэт, по собственному его признанию, ни одного своего стихотворения не выпускал в свет, не прочитавши его предварительно ей.

— Если она одобрит, значит хорошо. Если же она задумается и скажет: «Я этого не поняла», я без сожаления рву такое стихотворение. Мои песни должны быть понятны каждому крестьянину, а в особенности крестьянке.

1866 - Ей, жене, своей первой и единственной музе, Дрожжин посвящает первое стихотворение, которое открывает книгу избранных стихотворений, выходящую тоже на днях в издательстве «9-е января»:

СТАРАЯ МУЗА.

Как пробужденная от сна,
Когда вернулась весна
И пеньем птиц и шумом вод
Торжествовала свой приход,
Поруга старая в мой дом
Вошла с задумчивым лицом
И с прежней ласкою на грудь,
Склонясь сказала: — «Не забудь,
«Что я все та же, как была
«Когда то много лет назад.
«Взгляни на мой простой наряд,
«Взгляни в лицо, — я не могла
«Перемениться, и все та
«Во мне душа и красота
«Простой крестьянки. Как всегда,
«На зло изменчивой судьбе
«Я и сильна и молода.

«До гроба верною тебе
«И неразлучною с тобой
«Останусь я. И только ты
«Не изменяя мне, мой родной,
«Умерь о счастья мечты,
«Доверься мне, пойдем опять
«Во все приюты нищеты,
«Чтоб вместе горе горевать;
«Пойдем к родным твоим полям —
«Туда, где нет конца трудам,
«В заводы пыльных городов,
«В подвалы, в стены чердаков,
«В остроги мрачные пойдем
«И новой песнею своей
«Всех обездоленных людей
«Мы к лучшей жизни призовем!»

Трогательно описана в «Автобиографии» смерть этой музы.
Ее последнее слово, обращенное к мужу:
— Не тужи!

Дрожжин — счастливец.
Его всегда любили. И до революции, когда он пел искренно и просто
свои песни труда и свободы.

А теперь любят и подают.
На-днях, в зале Политехнического музея, Союз Крестьянских писателей,
Ассоциация Пролетарских писателей и Всероссийский Союз Поэтов устраи-
вали под председательством проф. Сакулина чествование старейшего кре-
стьянского поэта.

В грандиозном чествовании участвовали до ста поэтов!
Живет он у себя в деревне Низовке, Тверской губернии.
К нему, как к Толстому в Ясную Поляну, то и дело приходят старики
и молодежь на поклонение.

Музу свою он схоронил.
Без нее несколько лет не писал. А вот геперь опять запел.
Последние песни 75-летнего старца так же молоды и бодры, как и
первые.

Не только по содержанию, но и по фактуре они не отличаются от са-
мых ранних!

Здесь мы приводим те, которые своим ясным, приятным, совсем не стар-
ческим голосом прочитал в редакции сам Спиридон Дмитриевич.

В настоящее время ими подготовлены следующие книги:

- 1) Первое полное собрание стихотворений в четырех томах:
В состав войдут:
Том I. Стихотворения 1866—1888 гг. Четвертое исправленное и допол-
ненное издание.
Том II. Стихотворения 1889—1903 гг. 2-е издание.

Том III. Стихотворения 1904—1912 гг. 2-е издание.

Том IV. Стихотворения 1913—1920 гг. 1-е издание.

И в виде дополнительного к ним пятого тома войдут «Записки жизни и поэзии», исправленные и дополненные, с портретом автора, с приложением алфавитного указателя на все четыре тома стихотворений, а также библиографического указателя статей об его личности и произведениях, переводах, переделках на ноты и грамофонные пластинки.

2) Избранные стихотворения с иллюстрациями А. А. Апенга и др. художников.

- 3) Песни рабочих. Третье исправленное и дополненное автором издание.
- 4) Новые русские песни. Второе значительно дополненное издание.
- 5) Четыре времени года. Сельские идиллии для детей. Второе издание.
- 6) Сказки, детства и быта. Второе издание.
- 7) Песни крестьянина. Третье издание.
- 8) Год крестьянина. Третье издание.
- 9) Из мрака к свету. Избранные стихотворения со вступительной статьей

С. Н. Кошкарлова, второе исправленное и дополненное издание.
С. Н. Кошкарлова, второе исправленное и дополненное издание, со вступительной статьей Н. С. Вялова - Окского.

- 11) Песни молодости.
- 12) Вечерняя заря. Стихотворения последних лет.
- 13) Жизнь поэта-крестьянина С. Д. Дрожжина 1848—1920 гг., описанная им самим, и избранные стихотворения для детей и юношества. Четвертое, исправленное и дополненное издание.
- 14) Родная деревня. Стихотворения со многими рисунками, со вступительным стихотворением И. А. Белоусова. Второе издание.
- 15) Песни труда и свободы. Стихотворения С. Д. Дрожжина 1848—1923 гг. в его избранные стихотворения. Под редакцией и предисловием Н. Шебуева.
- 16) Автобиография поэта-крестьянина С. Д. Дрожжина 1848—1923 гг. в его избранные стихотворения. Под редакцией и предисловием Н. Шебуева.
- 17) Детские годы. Стихотворения с биографией, написанной В. Галаанциным портретом автора и иллюстрациями. Издание В. В. Васильева. Рига, 1923 г.

На-днях правительство в воздаяние прекрасных заслуг С. Д. Дрожжина наградило его пожизненным усиленным академическим пайком.

Радость поэта велика.

Хотя он и до сих пор крестьянствует — пашет и боронует, но с каждым годом, конечно, хлеб насыщенный ему достается все тяжелее.

Теперь он обеспечен. И запоет еще беспечнее, еще беспечальнее и бодрее.

Гость.

ПЕСНЯ

Много с детских лет
У меня в груди
Задушевных дум
Притаилось.
Много в ней любви,
Чувства теплое
Для родных друзей
Сохранилось.
Только в мире я
Сиротой живу,
У чужих людей
В злой неволюшке.

От чужих людей
Веет холодом,
Словно осенью
В непогодушку.
А и выйдут дни
Счастья-радости,
Да и те нуждой
Отравляются.
Лишь одна тоска
Безысходная
В сердце молодца
Уживается.

(«Стихов», XVI) изд. 1907 г.

* * *

Без довольства я доволен,
Без богатства я богат,
Потому что мои песни
Громче золота звучат.

Потому что в моем сердце
Дар поэзии святой,
Я и в небо уношусь
С ней крылатою мечтой.

(«Стихотв». XXVIII) изд. 1907 г.

НАРОДНОМУ ПЕВЦУ

Ты царь, живя один.
Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя
свободный ум.
А. С. Пушкин.

Забудь, певец, что в жизни строгой
Ты испытал из года в год
Немало тягостных невзгод
И что трудна твоя дорога...
Иди бестрепетно вперед!

Ты мысли царь; твое призванье
Не быть рабом среди рабов;
Для поколений и веков
Пой про народное страданье
И о бездолии бедняков.

(«Песни старого пахаря», стр. 19).

* * *

Сторонка благодатная!
Опять передо мной
Долины ароматные
С распаханной землей:
Болота непроходные,
Чарующий простор,

И Волга многоводная,
И лес-дремучий бор.
Здесь горе забывается
Всех доль пережитых,
И сам собой слагается
В душе горячий стих.

(«Песни старого пахаря», стр. 20).

* * *

От юных лет до старости
Я жил в нужде да горести,
В чужих людях жил-маялся,
Сносил—терпел неволюшку.
Придет, бывало, черный день,
Весь белый свет помутится,
А я, стяхнув слезу из глаз,
Стою как дуб под бурюю.
Стою, не гнусь и думаю,
Что эта жизнь тяжела
Когда-ни будь минуется
И к лучшему изменится.

Окончив труд, придешь домой,
В постель, усталый, бросишься,
Или зажжешь огонь—к столу
С тетрадкою усядешься.
И все, что было прожито,
Что за день передумано,
Само собой с горячих уст
Из сердца вырывается.
И стих звучит и ширится,
Как мурот от волнения,
Потом в тетрадь заветную
Свободно изливается.

(«Песни старого пахаря», стр. 21).

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ГОРОДА

Прощай, далекая столица,
Ее большой фабричный дом!
Я снова слушаю, как птицы
Щебечут весело кругом.
Какая радость овладела
Моей измученной душой,
Когда принялся я за дело,—
Шел за лошадкой и сохой,
Пахал свое родное поле!..

Какой простор, какая воля!
Во всем какая красота!
Вся ярким солнцем залита,
Играет Волга под горою,
Кругом родимые леса...
Я взор бросаю в небеса:
И все, мне кажется, со мною
К творцу исполнено хвалою.
(«Песни старого пахаря», стр. 88).

* * *

Много песен было спето,
Много слез пролито мной,
Что ни радости, ни света
Нет в сторонущке родной;
Что крестьянин, работая,
Часто впроголодь живет

И напрасно урожая
От земли бесплодной ждет,
Что моя с ним жизнь прожита
Без надежды впереди,
И поругана, разбита
Вся любовь в моей груди.
(«Песни старого пахаря», стр. 89).

РАДОСТЬ ПАХАРЯ

Предо мной лежит
Поле чистое,
В стороне шумит
Рожь зернистая;
Ко сырой земле
Наклоняется
И, как в золоте,
Вся купается.
Васильки-цветки
На меня глядят,
Словно речь со мной
Завести хотят.
К ним, склонив лицо
Загорелое,
Скоро срежет их
Жница смелая;

И начнет вязать
Вместе с колосом.
В золотых снопах
Класть на полосу.
Я свяжу снопы
На свое гумно,
Смолочу цепом,
Уберу зерно.
Размелю его
Между двух камней,
Отдохну зимой
До весенних дней.
А придет весна,
И тогда опять
Снова буду я
Урожай ждаты.
(«Песни старого пахаря», стр. 105).

И. А. БЕЛОУСОВ

Иван Алексеевич Белоусов родился 27 ноября 1863 г. в Москве, в семье ремесленника. Отец его, Алексей Федорович — крестьянин Московской губ., Подольского уезда, а мать — крестьянка тоже Моск. губ., Можайского уезда. В 1880 г. И. А. окончил курс в 1-м Московском городском училище. Первое его произведение было напечатано 26 февраля 1882 г. Затем его стихи, рассказы и переводы печатались в журналах: «Вестник Европы», «Русское Богатство», «Русская Мысль», «Журнал для всех», «Нева», «Нива», «Южные записки», «Мир Божий», «Пробуждение», «Студенческая Жизнь», «Женские

дело», «Наш журнал», «Звезда», «Колосья», «Радуга», «Волна», «Родина», «Объединение» и т. д., а также в газетах: «Новости Дня», «Жизнь и Искусство», «Киевская Мысль», «Северный край», в детских журналах: «Родник», «Солнышко», «Светлячок». Участвовал в сборниках и альманахах: «На трудовом пути», «Почин», «Нижегородский сборник» и т. д.

Отдельные издания:

- 1) «Стихотворения» (1882—1909), изд. «Утро», 1909 г., Москва.
- 2) «Атава», изд. К-вом писателей в Москве.
- 3) Песни и думы кобзаря. Т. Шевченко. 1911.
- 4) Запретный кобзарь, изд. т-ва Грань. М. 1910.
- 5) Т. Г. Шевченко в переводах И. А. Белоусова, «отдел. изд. и книжн. торговли Моск. Сов. Р. и К. Д. Москва, 1919 г.», стр. 297.

Под редакцией И. А. Белоусова основано книгоизд-во «Утро» для детей и был издан ряд книг. За 40 лет литературной работы много дал переводов из Конопницкой, Ады Негри, из украинских и белорусских поэтов. Писал литературные воспоминания. В его портфеле имеются интереснейшие письма стоит действительным членом Общества любителей российской словесности. По своему мировоззрению демократ. Поэзия его проникнута мягким, любовным отношением к природе и трудовому люду. По манере описывать природу принадлежит к школе И. А. Бунина.

В. Львов-Рогачевский.

НА РОДИНЕ

Вдыхая воздух ароматный
Родных полей, я снова там,
Где прадед мой ходил с сохой
По взрытым пашни бороздам.
А я, оторванный столицей,
В ней годы лучшие сгубил,
Но вас, поля мои родные,
Душой и сердцем не забыл.
Я рвался к вам неудержимо
От шумной жизни городской...
И вот опять я здесь!.. Все так же
Лесок синее за рекой;
Спускаюсь к речке по пригорку,
Чернеясь, полосы бегут,
Где так же пахари терпеливы
Свершают свой тяжелый труд...

И церковь с белой колокольней
На горке висит все та...
Вот показались сараи,—
Солома с крыш у них снята;
Вон ряд избушек потемневших,
За ними ряд пустых дворов...
На тощем выгоне пасется
Пять-шесть овец, пять-шесть коров.
Бегут ребятки за повозкой:
«Постой, ящик,—не погоняй!»
Ко мне ручонки протянулись:
«Подай копеечку, подай!»...
Деревню миновали,—снова
Я среди полей моих родных!
И стыд лицо мое сжигает
И за себя и за других..

(Из сборника «Стихотворения» (1889—1903)
кн. «Утро», 1909, стр. 56-57).

Семен Дмитриевич ФОМИН

Сын крестьянина Владимирской губернии, Александровского уезда, девицы Суцовой, родился 26-го января 1881 г. Первое стихотворение его было напечатано в № 7 небольшого Московского журнала «Новая Воля» за 1907 г. Выпустил три сборника: 1) «Песни Радости и Печали», с предисловием Н. А. Рубакина, в издании суриковского лит.-музыкального кружка в 1914 г., стр. 43. 2) «Свирель», 1920 г. Гос. изд., стр. 78. 3) «Земная Зыбь», 1923 г. Изд.

«Земля и Фабрика». Первая книга стихов написана под явным влиянием С. Я. Надсона. Был тяжело болен туберкулезом, «был на волосок от смерти» и это отразилось на его настроении. В его первых песнях больше печали, чем радости, больше жалоб, чем протеста. Преобладает личная, лирическая работа над сборником — это возврат к жизни. Заметен рост таланта, видна работа над стихом и уже нет следов надсоновщины. Заметно горячее и радостное настроение революции. С появления этого сборника начинается известность поэта. О нем появляются отзывы в журналах «Творчество» № 5-6, 1920, Печать и Революция в 1921 г., в книге Бориса Гусмана «Сто поэтов», его приветствуют в письмах Н. Рубакин, отмечающий рост таланта, Айхенвальд, А. Белый, П. Сакулин. А Белый пишет поэту о его стихах: «они свежи, сильны, образны и как бы настоены на душистых луговых травах».

В двух последних книгах С. Д. Фомина много живых штрихов и красок. Его простой, четко написанный пейзаж действительно органически связан с русской природой. С этой природой, с бытом деревни, с тягостями и печалью крестьянина середняка никогда не порывая надолго поэт. В 1917 г. он бросил Москву и работал в самой гуще крестьянской, в деревне, в волости, а в 1920 г. переселился совсем в деревню, работая там учителем, лектором, до изменения, и работал безвозмездно. Он получил от крестьян душевой надежды и целых четыре года сам пахал, сев, косил, жал и молотил... В то время, как Есенина и других крестьянских поэтов отравила Москва кабацкая, а С. Д. Фомина оставался совершенно чужд «отравам города». Характеристика Н. Рубакина связана только с первыми шагами поэта и не захватывает последующие периоды. Она устарела, но мы приводим ее, как первый привет поэту.

В. Львов-Рогачевский.

ИЗ ПИСЬМА С. Д. ФОМИНА К Н. А. РУБАКИНУ

«... Все мое детство протекло в крайней бедности. Большая и когда-то сравнительно зажиточная семья отца год за годом терпела несчастья и неудачи. То взяли в солдаты моего дядю, и отец остался в семье один добытчик; то умер мой дедушка, мастер на стекольном заводе. Отец при дяде занимался скупкой и продажей телят, а после его смерти целиком занялся крестьянством. Неурожай, непосильные подати и отсутствие заработков довели отца до крайней бедности. Все это неизгладимо осталось в моей душе на всю жизнь. Когда я начал учиться в сельском училище, я переживал душевную муку, я уже ясно сознавал наше горькое положение, но выхода из него не было. В избе по вечерам горела еще лучина. Своего хлеба не хватало даже до Рождества. Выколачивание властями податей, хождение на «барщину» обрабатывать помещику за пастбище и покос, — все это я застал и помню посейчас. Я часто в детские годы носил завтраки и обеды своим домашним взрослым на барщину, на покосы или живнво. В 12 лет я окончил сельскую школу, и отец определил меня к управляющему помещичьим имением в мальчики при конторе и барском дворе. Через год я оттуда ушел, но отец, видя во мне уже добытчика, определил меня к другому «баршину», прогрозившему дворянину, у которого мне пришлось терпеть и побиен. Не снес их, я убежал домой. Тогда отец определил меня на стекольный завод в «хлопцы». Целую зиму я бегал на этом заводе замасанным «хлопцем», таскающим на железных вилочках пузырьки и банки в калыно, а летом остался дома работать с отцом по крестьянству. Мне было тогда 15 лет, я мог уже пахать, косить и молотить. Но отцу нужно было сделать меня на-

чтением и писанием стихов, просиживаю до рассвета за любимыми занятиями. На собранные деньги, «чаевые», покупал себе книжки на рынке. Через волостное получалась почта — письма, газеты. Просматривая номер одной газеты, я нашел корреспонденцию из села, отстоящего от волости в 15 верстах. Долго старался узнать, кто это пишет, и, наконец, выведал, что в селе есть старик, который «пишет в газетах». Через одного знакомого завелась у меня с этим стариком переписка, и вскоре мы познакомились лично. Это был самоучка-писатель... некто Влазнев, друг известного Сурикова. Прочитав мои стихи, он дал совет больше работать над ними, но не бросать стихосложения.

В 1902 году, узнав из газет о существовании в Москве кружка народных писателей, посылаю туда несколько стихотворений, из которых два напечатаны были в одном литературном сборнике. С одним из членов кружка велась у меня переписка, которая кончилась тем, что в 1908 году я покидаю деревню, почти тайно уезжаю в Москву. Не легко было деревенскому парню без средств скитаться по Первопрестольной...

| | |
|---|---|
| Зашуми ты, вихрь могучий, Загуди, Скрытый в сердце стих певучий Разбуди! | Пусть могучим громом грянет Над землей, Грозной молнией проглотит Огневой. |
| Пусть он в глубь небес взвоется, Как и ты, Крупины бисером прольется С высоты. | Мрака серые покровы Пусть порвет, К жизни светлой, жизни новой Призовет! |

(«Разрыв-трава», стр. 21).

БЛАЖЕН

| | |
|---|---|
| Блажен, кто жизнь свою провел В борьбе с неправдой и пороком, Чья мысль взвивалась, как орел, В просторе царствуя широком, Блажен, кто сердцем изнывал, Скорбя по светлым идеалам, Кто шел навстречу братьям малым— На путь добра их призывал. | Блажен,— кому венец терновый Обвили гневно вокруг чела Людская злоба и хула, Кого вели на суд суровый За бескорыстные дела, В сердцах грядущих поколений Он будет жить из века в век.— Призванью верный человек, Землей рожденный добрый гений. |
|---|---|

(«Разрыв-трава», стр. 72).

Георгий Ефимович НЕЧАЕВ

Вступительная статья Вал. Полянского к книге Нечаева «Из песен старого рабочего»

Он был сын простого рабочего-стеклящика. И сам был стекляшником, Восемь лет вошел в гуту (рабочий корпус, где производится варка и выработка стекла) и сорок лет своей жизни отдал мучительному труду. Но он был и поэтом, одним из первых рабочих поэтов. И недаром Пролеткульт в 1921 году так тепло и с таким воодушевлением чествовал Нечаева в тридца-

тую годовщину его литературной деятельности. Если пролетариат должен знать своих борцов, особенно действовавших на заре рабочего движения в области политической и экономической, то он не должен забывать своих деятелей и в области художественной литературы. Она — тот вечный источник, по которому мы можем судить о ранних чувствах и настроениях рабочих, по которому мы можем судить о том, что мы меньше всего имеем документов. Предлагаемая читателям книжка стихов — замечательная книжка, особенно для рабочего. Замечательна она не оригинальностью или изысканностью форм; поэзия Нечаева не сложна, как не сложна была и его долящая горькая жизнь. Книжка замечательна тем, что в ней просто, временами с глубоким трагизмом, запечатлена жизнь и думы не только рабочего Нечаева, но и всего рабочего класса, его широких масс. Этим она нам близка, этим она нас волнует. За это Нечаева и любят рабочие.

Поэт родился в 1859 г. на стекольном заводе Ладженского, в селе Харитонове, Корчевского уезда, Тверской губ. Отец был хорошим рабочником, но его крутой и буйный характер не нравился хозяину, и он зарабатывал жалкие гроши.

Пяти лет, когда семья достигла шести человек, отец вынужден был пятилетнего Егорку, как лишний рот, отправить к бездетной тетке, жене лабазного приказчика. Мальчика хорошо кормили и одевали, но детской жизни он не видел. Круг его наблюдений ограничивался семейными ссорами. Тетка была выдана замуж за зажиточного больного старика. Злая на свою судьбу, она постоянно устраивала ссоры, вела себя «казаком-разбойником», — не раз разбивала безволосу голову мужа чубуком так, что тот по целым дням ходил в компрессах. Мальчик сделался робким, трусливым, по ночам вскрикивал и бросался с постели.

Восьми лет отец взял сына домой и определил его мальчиком в гуту. Нужно было зарабатывать деньги.

Кончились дни детства, и рано началась каторжная жизнь стекляшника с рабочим днем в 18, а иногда и в 20 часов. Нестерпимая жара летом, ужасный холод зимой; чад, боль в глазах, головные боли, побои старших, частые ожоги, голодное существование так угнетали мальчика, что он несколько раз собирался покончить со своей жизнью.

На пятый день работы Егору залили за сапоги горячее стекло. Факелом вспыхнули штанишки, и замертво унесли его домой. Так встретила будущего поэта гута.

Два года прошло, пока мальчик вернул свои силы и снова вошел в завод. За это время у одной ласковой немки он прошел семь страниц букваря и научился читать псалтирь. Лет восемнадцати юноша страстно ищет знаний, а на заводе грамотных не было. Выручил коробейник, который за нончел и ужин давал ему свои книжки: «Живой мертвец», «Еруслан Лазаревич», «Солдат Яшка», «Атаман-мелвежья лапа» и т. д.

Эти книги пробудили в молодом рабочем и чувства протеста, и жажду героических, самоотверженных подвигов. По ним он учился и русскому языку, покупая случайно попавший старый номер «Недели» не познакомил его с жизнью и творчеством народного поэта И. З. Сурикова. Последний и пробудил в нем поэтический жар. Юноша начал писать стихи против администрации завода и за это подвергался репрессиям и не получал прибавки к жалованью. Он был уже мастером, а вместо рубля все получал сорок копеек. На этой почве у отца с хозяином завода вышел скандал. Пьяный отец выбил в его квартире окна и гонялся за ним по конторе с угрозой по-

колотить. В результате семья из восьми человек осталась на слабосильных плечах будущего поэта.

Через некоторое время выгнали с завода и Егора. Он отправился в Москву, где, работая, читал все, что попадется под руку, исключая настоящей литературы.

В Москве же в 1886 г. Нечаев случайно познакомился с литератором Поповым (Монастырским). Это был добрый, отзывчивый человек. Любимым отнесся он и к Нечаеву, знакомя его с теорией стихосложения. Он доставал ему стихотворения Коллцова, Никитина, Пушкина, Лермонтова и Некрасова и других и сам исправлял его стихотворные опыты.

С 1892 года стихотворения Нечаева начинают появляться в печати: в «Московском Листке», «Детском чтении», «Русской беседе», «Журнале для всех» и др. В 1911 г. вышел сборник его стихов под названием «Трудовые песни», в 1914 г. вышли «Вечерние песни», в 1922 — в издании Ассоциации пролетарских писателей вышли «Песни стеклянника»; в скором времени, помимо этой книжки, Госиздат выпускает поэму.

Поэту уже 64 года, но он еще пишет и принимает участие в делах «Ассоциации» и «Кузнице» — ее журнале.

Мы живем в яркие весенние дни, когда новая жизнь развертывается, несмотря на утренники, волшебною сказкой. А он родился, когда русский народ влачил еще цепи крепостного права, и начал писать, когда многие из современных деятелей еще и не слышали о рабочем движении, только что тогда складывавшемся. Если мы пред'являем строгие классовые требования к современным пролетарским поэтам, то эти требования неприменимы к поэту-рабочему, который начал писать тридцать лет назад. Художественное творчество, отражающее определенные классовые черты, оформляется лишь тогда, когда сам класс оформился и осознал свою самостоятельность. На первых шагах движения, когда кадры будущего класса только еще собираются, а умы широких масс класса охватывает еще неясная идея борьбы, волнуют туманные контуры идеала, идеология неизбежно проникнута также неопределенными, а иногда и противоречивыми стремлениями.

Мы не будем излагать историю русского рабочего движения на заре его развития, это всем хорошо известно, но скажем одно, что оно не давало той ясности, которой мы требуем от современных поэтов и которой не сумел угадать во всем объеме даже такой мировой писатель, как Максим Горький. Нечаев дорог рабочим, как один из их первых поэтов. Пусть его настроение изжито и нам чужды, пусть они порой кажутся незначительными и наивными и даже не вполне классовыми, с идеологической точки зрения, но через них прошел русский пролетариат. И будущему историку рабочего движения и самому пролетариату небезынтересно, чем мучились и волновались, в чем находили радость и утешение его братья в столь далекие от нашего бурного времени годы. Теперь так ярко светит солнце, а тогда ночь, глубокая ночь, беспросветная, окутывала суровую русскую действительность. Что это была за жизнь, поэт излил в своей песне:

Под звон железа и стекла,
Под крышей шумного завода,
Среди бездомного народа
Моя жизнь горькая текла
Без алых зорь и ясных дней,
Полна лишений и скорбей.
Я детства милого не знал,

Не знал и юности беспечной,
И вместо радости сердечной
Не доедал, не доспал.
Полураздетый мерз зимой
И задыхался в летний зной.

... И в эти годы каторжных страданий поэту хочется крикнуть, чтобы его услышал целый мир:

Ведь, люди мы, не твари, не скоты!

Утравя веру в бога, в общественную справедливость, поэт уверовал в свободу, она «на благо общее народа создана». Поэт молится ей. Ей славет свои песни, хотя она так далека от него и так неясна в своем конкретном содержании. Он знает одно, придет свобода, и людям будет жить лучше, царству богатых наступит конец. Он хочет петь «свободные песни», «как соловей поет на заре», но у него нет нежных звуков.

Только стон, да бесильная злоба раба
Выливается в песне моей,

жадается поэт. Но все это не мешает ему верить в «рассвет», хотя и «далекий».

Но чудо,—Солнца ясный луч
Рассеет мглу утробных туч.

Поэт дожид до светлых дней. И то, что ему казалось сказкой дивной — стало наяву. Это новое также отразилось в жизни Нечаева, в его последних стихотворениях. Он примиряется со своей тяжелой жизнью, видя победу рабочего класса, почувствовав себя свободным, а не рабом капитала. Он радуется за детей, которых миновала каторжная жизнь, он зовет их к творчеству нового общества.

Как и большинство писателей-рабочих, не порвавших с деревней, Нечаев страстно любит природу. Он ищет в ней утешения, к ней принадлежит в минуты тоски: он любит поле, бор дремучий, — его пленяет река серебристая, что блещет среди лугов, обвивая нивы — он зачарован румяными утрами, тихим вечером и песней соловья. Любимые поэты Нечаева — Суриков, Дрожжин, Кольцов, Никитин. Большая дружба у него с скромным и милым И. А. Белоусовым, которому он доверяет свои планы и думы. В истории пролетарской поэзии Нечаев встанет у ее порога; он на грани поэзии народной и поэзии рабочих, больше последней. Он — один из корней ее.

Тяжелая жизнь не дала возможности развернуться его силам, он печалится этим, но пусть поэту-рабочему будет утешением, что сказка, о которой он мечтал, стала действительностью, что пролетариат завоевал власть и, несмотря на все величайшие трудности и козни врагов, медленно, но упорно строит свою солнечную жизнь, свободную, как безбрежное море, яркую, как цветущая душистая степь.

Москва, 26 июля 22 г.

ГУТАРЯМ.

Н. Д. Лытисев.

В адском пекле, в тучах пыли,
Под напев стекла и стали,
За работой на заводе
Песен звонких о свободе
Мы начало положили.

А мотивы к песням этим
На рассвете
Нам дубравы нашептали,

Чем дышали и болели,
Проливая пот и слезы,
Выход к светлomu простору,
Что орлам лишь видеть вপুরо,
В единении усмотрели...

А итти стальной стеною
Смело к бою
Против зла—внушили грозы.

(«Из песен старого рабочего», стр. 2).

НА РАБОТЕ.

Все дружнее идет работа
В блеске тысячи огней;
Льются градом капли пота
С загорелых хрусталаей.

Точно пули вылетают
Из гигантского жерла,
Всюду шарики мелькают
Раскаленного стекла.

Засновали хлопцы-гномы
И босые, и в чунях,
С выражением истомы
И в движенях, и в глазах.

Друг за другом вперегонку
Точно с копания в руках,
Кто со стекляшкой, кто с воронкой,
Спотыкаясь влопыхах,

Кто ругается, кто плачет,
Знать, уклонула желна¹,—
А над гутом ночь маячит
Ароматна и ясна.

И в дырявое окошко,
Точно ласковая мать,
Внятно шепчет хлопцу-крошке:
«Дорогой, пойдем-ка спать!

Я тебе навею грезы
Нежной песней о весне.
У малютки блещут слезы
При раздумьи в полусне.

Ничего ему не надо.
Ни рубахи, ни лаптей,
А бежать от мук и смрада
Хоть за тридесать морей.

Затерзала нудь лихая,
Замытарила в конеш;
От побоев мать больная,
Без просыпа пьет отец.

Ускакать на сером волке
Во дворец ко птице-жар...
—«Что ты, дьявол, прешь без толка?»
—«Вот те!»—слышится удар.

Думки спутались от боли
Зарыдать?—прибьют больней,
Ночь длинна, а будет то-ли...
Хоть бы утро поскорей!

Гуще чад и клубы пара,
Все звончей посуды звон;
Воздух сперся до угара,
До бессилья мучит сон.

1880 г.

(Там же, стр. 14).

ГИМН ПРОЛЕТАРСКИМ ПТЕНЦАМ.

Летели дни, за ними годы
Тянулись нудно, без следа,
И нас лишенья и невзгоды
Не покидали никогда.

Мы, как бездушное творенье,
Как черви жалкие в пыли,
Не шли дорогой назначенья,
А робкой ошупью ползли.

В поту кровавом до истомы,
Трудясь за угол и гроши,
Не отдухали мы и дома
В ненарушаемой тиши.

Там ребятенки нас встречали—
Побеги темной нищеты,
Что не расцветши увядали,
Как опаленные цветы.

¹ Желна—удар кулаком сверху в голову острием кулака.

Их было жаль до иступленья.
А кто поможет? Кто спасет?
И лишь одни нравоученья
С тоской выслушивал народ.

— «Приветстуй божье испытанье,
Забудь гордыню и смиришь.
И будь щедрей на подаянье»,
— Глаголы пастырей неслись.

Внимая им, душа скорбела,
В кистень сжималась рука;
И ныло в лихоманке тело,
Рвались проклятья с языка.

Хоть бы деток черных дней,
Нашу радость черных дней,
Власти вражеская сила
От губительных сетей.

Хоть бы им возможность дали
Бодро следовать вперед...
Так, страдая, мы мечтали,
Проводя за годом год.

Но вот достигнута желанья
Ценой неслыханной борьбы,
От долговечного страданья
Освободились рабы!

Развевая гнета сумрак дикий,
Стена препятствий снесена,

Пришла к нам с радостью великой
Свобода первая весна.
Шире двери, долой запоры!
Рати юные идут!

Необъятому простору
Песню новую поют.
Это идут дети в школу
Из конурок и шелей;

Барство, знать, склонитесь долу
Ваше место—у дверей!
В одну семью слились ребята,
Гудят, шумят, как пчелок рой;

Тутз, Ахмет, Рахиль, Филатка—
Идут дорогою одной.
Какое милое смешенье
Имен, наречия и лет.

У них у всех одно стремленье—
Из мрака вырваться на свет.
Слава солнцу золотому,
Слава силе трудовой!

Делу общему, живому,
Слава воле мировой!
Слава русскому народу,
Слава доблестным борцам,
Слава павшим за свободу,
Слава деткам-голышам!

1920 г.

(Там же стр. 48)

ТКАЧ

Ф. С. Шкулеву

Оробел работник юный,
Затуманились глаза,
И на грудь его скатилась
Накипевшая слеза.

— «Мама, милая! — он шепчет —
Попечался о сынке,
Трудно мне, я задыхаюсь
В этом каменном мешке!»

Но, увы! под шум и грохот
Ярко блещущих машин
Мать-печальница не слышит,
Как грустит работник-сын.

И она лишь ночью поздней
Без лампады и свечей,
Жарко жалеет о сыне,
Не смыкаючи очей.

Простит счастья кормильцу
И способности в труде,
Что-б не пал в борьбе с неправдой
Не унизился в нужде.

Донеслись молитвы эти
И услышаны творцом, —
Вышел сын ее на диво
Замечательным ткачем.

Не угас в нем пламень веры
В божью правду и людей,
Не отвык любить всем сердцем
Красоту родных полей.

Глубже понял скорбь народа,
Оценил борьбу с нуждой,
Стал упорнее стремиться
К свету — делом и мечтой.

Мчатся годы. Крепнут силы
У способного ткача;
Ясен ум, душа, как в детстве,
И чиста и горяча.

Но теперь не ткет основы,
Хоть и ведает нужду:
Ткет он мыслей дивных ткани —
Гимны правде и труду!

1916 г.

(«Из пения старого рабочего», стр. 136. Гос. издат. 1922 г.)

ФИЛИПП СТЕПАНОВИЧ ШКУЛЕВ

Родился в 1868 году в бедной крестьянской семье. Мать была поденщицей-прачкой. В школе пробыл несколько месяцев и с десяти лет был отдан на фабрику. Там провел он дни «своей весны», «под осень сделавшись калекой». Десятилетний рабочий попал правой рукой в машину и стал инвалидом.

Из больницы попал в овощную лавку в Москве, где прослужил до 23-х лет. В 1890 г., в сборнике С. В. Мотова «Наша хата», напечатал свое первое стихотворение. Участвовал в Суриковском кружке, редактировал журнал «Народный Рожок». В 1911 г. судебной палатой приговорен по статье 129 к 6 месяцам тюрьмы. В 1922 г. кружок «Рабочая весна» избрал его своим почетным членом. По форме стихов Шкулева очень примитивны. Это поэт-самоучка, как и большинство поэтов-суриковцев. В унылые безотрадные настроения поэтов-суриковцев он внес ноту протеста и бодрости. В стихах «Моей матери» («Е. М. Шкулевой») он пишет:

Поденщицей-прачкой была моя мать.
И мне навсегда говорила:
Придется, сынок, тебе много страдать,
Пока ты дойдешь до могилы.

Но духом не падай — такой уж удел
Всех бедных, нуждой обойденных...
Будь бодрым...

В стихотворении «Желанная песня» поэт говорит о своем желании «песню такую пропеть, чтоб мир от нее всклыхнулся, а люд утомленный, страдающий люд, при звуках ее улыбулся». Он говорит голосом человека, уже сознающего свое достоинство и свою силу, в стихотворении: «Я не просить пришел», мы читаем:

...Я не просить пришел,
Вы хлеба мне не подавайте!
Таких, как я, ведь много нас —
Мы сильны все, вы это знайте!

Свою книжку, выпущенную издательством М. Н. Травниной, он озаглавил: «Смелые песни». Он пропел в них «Гимн труда», он выступил, как кузнец нового счастья, еще им самим неосознанного, но страстно желан-

ного. Его стихотворение «Кузнецы» положено на музыку и полностью напечатано во 2-м сборнике «Рабочей весны». Если Е. Нецаева, почетного члена «Кузницы», называют дедушкой пролетарских поэтов, то Шкулев является прдтечней «Железного Мессии» — революционного пролетариата, ибо уже в своих ранних стихах правильно оценил его мощь.

В. Львов-Рогачевский.

КУЗНЕЦЫ

Искры мечутся и дальше пусть летят
И шипят...
Пусть они своим полетом тех сожгут,
Что гнетут...
Свищут, дуют пусть без умолку меха,
Ха, ха, ха...
Горн, как солнце, пусть сияет над
землей

В жуткой мгле...
Поднимайте ж выше молот кузнецы-
Удальцы!
Куйте плуги, разбивайте цепи в прах,
Трах, трах, трах...

III

— Для чего, — меня спросили, —
Век я молотом стучу?
Я ответил, ударяя:
— Есть хочу.
— Для чего, меня спросили —
Плуг и грабли я кую?
Я ответил, ударяя:
— Труд люблю.

— Отчего — меня спросили —
Праздной жизни не ищу?

Я ответил, ударяя:
— Не хочу.
— Кто, скажи, устроит лучше
Жизнь тяжелую твою?
Я ответил, ударяя:
— Сам скою.

(«Рабочая весна» 1923 г. Сборн. 2, стр. 3—4).

I
Мы кузнецы, и дух наш молод,
Кую мы к счастью ключи.
Вздыхайся выше, тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи.
Мы светлый путь кую народу,
Мы счастье родине кую...
В горне желанную свободу
Горячим закалим огнем.
Ведь, после каждого удара
Редеет тьма, слабеет гнет,
И по полям родным и ярам
Народ измученный встает.
Недолго час — огнем обятый¹,
Великий, славный грянет бой,
И всех врагов с земли проклятых
Сметем мы бурною волной.
Вздыхайся вихрем грозный молот,
В стальную грудь сильней стучи.
Мы кузнецы, и дух наш молод,
Кую мы к счастью ключи.

II

Поднимайте дружно молот, кузнецы-
Молодцы.
И стучите в грудь железную сильней,
Веселей.
Рязькайте тяжким молотом руду
На виду...

¹ Последние восемь строк первой части стихотворения в свое время не могли быть напечатаны по цензурным условиям.

АЛЕКСЕЙ ГМЫРЕВ

(1887—1911).

Родился 10 марта 1887 г. в Смоленске. Сын железнодорожного кондуктора, 13-ти лет окончил шестиклассное училище в Смоленске. 14-ти лет попал в Николаев, поступил на судостроительный завод и вырос в предреволюционной атмосфере 1901—1903 г. И «без колебания, радостный и гордый, он вошел под знамя волевого труда». В 1913 г. во время всеобщей забастовки был арестован 16 лет, а по выходе из тюрьмы скитался безработным бездомником. В 1905 году был снова арестован на 7 месяцев, а в январе 1906 г. попал опять в тюрьму, а затем в ссылку в Холмогоры, Архангельской губ. . . . В июне 1906 г. он бежал из ссылки, а в октябре 1906 г. был в четвертый раз арестован. Из Елисаветградской тюрьмы его два года водили по этапам. 26 января 1908 г. его судили в Елисаветграде и приговорили к 6-ти годам и восьми месяцам каторги. После суда у него хлынула горлом кровь. Его отправили в Херсонскую каторжную тюрьму. «Цепи наложили неизгладимый след и на лицо и на душу» его, но он продолжает верить, что через шесть лет произойдут великие перемены. В начале октября 1911 г. он умер 25-ти лет в Херсонской тюремной больнице. Свою страдальческую жизнь он запечатлел в своем поэтическом творчестве. Его стихи не вошли отдельным сборником, но многие из них были приведены В. М. Фриче в статье «Алексей Гмырев» в №№ 15—16 журнала «Пролетарская Культура» за 1920 г. В этих человеческих документах, выстраданных в «келье тесной и душевной» и написанных кровью сердца, не было «ни тени искусства . . . ни музыки, ни красоты», по признанию поэта, но была в них неиссякаемая сила молодого энтузиазма. Только на минуту прорывались в стихах А. Гмырева надсоновские скорбные ноты, только на минуту. Вера в движение революционного коллектива отрывала поэта от личного страдания и он учил не на словах, а на деле:

«Страдать и не падать душою,
Но с верой в рабочий народ
Готовиться к смертному бою».

Из оков его темницы на волю к друзьям, к невесте

«В блеске солнечного дня
Мчатся странной вереницей
Грезы, полные огня».

В. М. Фриче свою статью о юном поэте заканчивает такими строками: «Жизнь А. Гмырева сложилась так трагично, что из него не мог выработаться крупный поэт. По тому, что он сделал, никак нельзя судить, однако, о том, что он мог бы сделать. Освобожденный из тюрьмы, в свободной стране, он несомненно занял бы почетное место в первых рядах наших пролетарских поэтов».

В. Л.-Р.

* * *

| | |
|--|---|
| Вот и прожита жизнь. Оглянусь ли назад | Непостижная скорбь на челе— И идет она к смерти, во тьме, без пути, |
| Вижу юность стоит вдалеке, Вся в огне в боевом, на веру баррикад | С затаенным упреком земле. Вот и прожита жизнь. Только на ноги встал |
| С ярким знаменем воли в руке. Настоящее-ль мыслью печаль-ной взгляну: | И сказал всему миру—«Люблю», Налетела гроза—надломился—упал, И теперь у могилы стою. |
| Вижу молодость—смысл бытия, Бесполозно проходит и гибнет в плену, | Еще несколько дней и не станет меня,— |
| Тяжело кандалами звеня. Кровь из сердца сочится у ней на груди, | Мрак, безмолвие, черви. За что? Для чего я родился и жил, не живя? Кто на это ответит мне? Кто? |

* * *

| | |
|---|--|
| В черном мраке душевной ночи Стонет злой набат, Толпы грозные рабочих В улицах кишат. Из жилищ своих, с проклятьем Вековым цепям, Они встали дружной ратью На беду царям. И на место жизни ада, Где давил их мрак, | Вырастают баррикады, Рвется красный флаг. А набат мятежным словом Бьет их по сердцам. «Смерть врагам!» «Долой оковы!» Жизнь и честь борцам! В черном мраке душевной ночи, В боевом дыму, Рать свободная рабочих Рушит жизнь-тюрьму. |
|---|--|

* * *

| | |
|--|---|
| Под знамя восстанья, под знамя борьбы Во имя труда и свободы Стекаются грозно отсюда рабы, Как вешние воды. И, бросив свой вызов проклятью врагов, Давивших их черным кошмаром, Они озарили твердыню врагов Восстанья великим пожаром. И, гневно сжигаемая мятежным огнем Позорную рабскую долю, Понесся сзывающий крик по стране: «За волю, за волю, за волю!» | Но крепки оллоты тупых палачей, Солдат ослепленные рати, И бой, разгораясь сильнее и сильнее, Сливается с гулом проклятий. На место погибших народных борцов Являются новых отряды, И в ужасе падают стены двorcов И грозно растут баррикады. И гневно, свергая в мятежном огне Позорные цепи и долю, Несется сзывающий клич по стране: «За волю, за волю, за волю!» |
|--|---|

(Три стихотворения А. Гмырева напечатаны в статье В. Фриче в журн. «Пролетарская культура» № 15—16, за 1920 г.)

ЕВГЕНИЙ ТАРАСОВ

(Род. в 1882 г.)

«МОСКВА В ДЕКАБРЕ»

Из цикла его стихов

ОКО ЗА ОКО

I

Чем дальше пред жизнью они от-
ступают,
Тем меньше им места среди братьев-
людей!
Они ни пощады, ни меры не знают—
Они убивают детей!
Кто может, пусть мимо пройдет, не
бледнея.

Я чужд всепрощенью безумца-Христа,
Мне ближе завет старика-иудея,
Отмщенья идея, о пленных мечта!
Я понял холодное: око за око.
И знаю — нельзя, невозможно про-
стить!

В вот повторяю: «Ни слова упрека!
И будем жестоко за гибнувших
мстить!»

Мы помним, мы знаем счет нашим
потерям,
И мерой, которая мерится нам—
Без жалости робкой убийцам воз-
мерим

И близок — мы верим — час мести
врагам!

II

Смокли залпы запоздалые,
Смолк орудий гром.
Чуть дымятся лужи алые.
Спят кругом борцы усталые,
Спят нездешним сном.
Вечер веет над скелетами
Павших баррикад.
Над телами неотпетыми
Гимны, скорбными приветами,
В сумраке звучат.
Спите, братья, с честью павшие—
Близок судный час!
Спите, робости не знавшие,
Ночь в руках у нас.

Все, что днём у нас разрушено,
Выстроим во мгле.
Жажда битвы не задушена
В раненом орле.
Ночью снова баррикадами
Город обовьем.
Утром свежими отрядами
Новый бой начнем.
Спите, братья и товарищи,
Близок судный час!
На неслышанном пожарище
Мы помянем вас!

III

Они лежали здесь—в углу,
В грязи зловонного участка.
Их кровь—густая, словно краска,
Застыла лужей на полу.
Их подбирали,—не считая,
Их приносили—без числа,
На неподвижные тела
Еще не конченных кидая.
Здесь были руки без голов,
Здесь были руки—словно плети.
Лежали скомканные дети,
Лежали трупы стариков,
У этих—лица были строги,
У тех—провалы вместо лиц,
Смотрели вверх, лежали ниц,
И были босы чьи-то ноги...
И чья-то грудь была жива,
И чьи-то пальцы шевелились.
И губы гаснувших кривились,
Шепча невнятные слова.
Декабрьский день светил им скупю,
Никто не шел, чтоб им помочь.
И вот, когда спустилась ночь—
Живых не стало: были трупы!
И вот, лежали там—в углу,
Лежали тесными рядами:
Все с искаженными чертами.
И кровь их стыла на полу!

ОТДЕЛ II-й

Литература рабоче-крестьянская

О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь.
С иными именовали
Встает иная степь.
По голубой долине
Меж телок и коров
Идет в золотой ряднице
Твоя Алексей Кольцов.
В руках краюха хлеба,
Уста—вишневый сок.
И вывездило небо
Пастушеский рожок.
За ним с снегов и ветра
Из монастырских арат
Идет одетый светом
Его средний брат.
От Вытегры до Шуи
Он изобразил весь край
И выбрал кличку Ключев,
Смирный Николай.
Монахи мудр и ласков
Он весь в резьбе молвы,
И тихо сходит пасха
С беспудрой головы.
А там за взгорьем смолям
Иду, тропу тая,
Кудрявый и веселый
Такой разбойный я.

Долга-крута дорога,
Несчетны склоны гор,
Но даже с тайной бога
Веду я тайно спор.
Сшибаю камнем месяц
И на немую орожь
Бросаю, в небо сваясь,
Из голенца нож.
За мной незримым роєм
Идет кольцо других
И далеко по селам
Звонит их бойкий стих.
Из трав мы выжжем книги,
Слова трясем с двух полей,
И сродник наш Чапыгин
Певцу, как снег и дол.
Сокройся, сгинь ты, племя
Смердящих снов и дум.
На каменное темя
Несем мы звездный шум.
Довольно гнить и ноять,
И славить взлетом гнущь,
Уж смыла, стерла дезоть
Воспрянувшая Русь.
Уж повела крылами
Ее немая крепь,
С иными именами
Встает иная степь.

С. Есенин.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Новокрестьянское творчество»

(ВВОДНЫЙ КРИТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК В. ЛЬВОВА-РОГАЧЕВСКОГО).

НОВОКРЕСТЬЯНСКОЕ ТВОРЧЕСТВО.

В октябрьские дни 1905 г. зашаталось старое царство, зашаталась «основа», «исконные начала», и началось ломка... Реакция 1907—16 г. только на десять лет задержала исторически неизбежное... В мартовские дни 1917 г. Россия вступает на путь переустройства.

И над миром проносится дыхание величайшей революции. Новое социалистическое содержание поэзии, которое было недоступно для разночинца демократа и просветителя, ясно обозначилось и стало овладевать широкой областью поэзии и одушевлять собою лирику новых поэтов, поэтов Рабоче-Крестьянской Советской страны.

И подобно тому, как для бывшего крепостного Шевченко расцвет его творчества относится к 39—40 г.г., когда он был свободен, так для новых поэтов падение самодержавия и начало социалистической революции, время свободы явилось огромным толчком для радостного пробуждения творческой мысли и лирического подъема.

Максим Горький, пробивший себе дорогу, прекрасно сознавал, что значит дружеская своевременная поддержка талантливого человека, он помнил, что сделал для развития его таланта бывший ссыльный А. Каложный, художник В. Г. Короленко, народник Каронин. Он помнил, что значили «обстоятельства», мука трудовой жизни, нужда и бедствия при первых шагах, что значили «свинцовые мерзости» Окуровской уездной жизни при пробивании себе дороги. Разве не задушили окуровцы поэта Симу Девушкина, который хотел, чтобы его стихи «как молитвы были» («Хроника горючка Окурова»). Разве не затратил Шевченко девять десятых своей энергии на то, чтобы не погибнуть, разве не ранили смертельно Никитина личные бедствия, разве «обстоятельства» не свели в могилу поэта Сурикова? Певец рабочих явился другом и товарищем новых поэтов. Он примером собственной деятельности показал, как нужна поэту Симе Девушкину товарищеская своевременная разумная опора.

Горький постоянно настойчиво стремился вызвать к жизни все талантливое и яркое в Окуровской уездной России, где веками глушили талантливое. Он совершил огромную работу собирателя, организатора и руководителя писателя-самоучки, как раз в годы, когда рабочее предместье, рабочая слободка и деревня пережили величайшую встряску после 1905 года.

Только за 5 лет, от 1906 по 1910 г.г., им было прочитано, по его словам, более 400 рукописей.

Авторы этих рукописей были волнами разыгравшегося моря народного. Из этих сотен писателей-самоучек только единицы были ярко одарены, только таланты преодолели беспомощность самоучек и научились работать над собой, но эти немногие — весенние струйки, первые струйки будущего потока.

Этот поток вливается двумя руслами в литературу новой России. После 1905 года все резче и резче обозначаются две стихии: деревенская и городская, крестьянская и пролетарская.

Московский суриковский кружок печатает преимущественно сборники московских самоучек, безразлично крестьян и рабочих, вернее, крестьян, попавших в город на заработки и порой застрявших в городе на какой-либо службе. В 80-е, 90-е и даже в 900-е годы Москва, с ее ткацкими фабриками, по преимуществу, отставала от Петербурга с его заводами и квалифицированными пролетариями, давно порвавшими с землей и с патриархальным укладом.

В пролетарских сборниках 1914—16—17 г.г. накануне революции преобладают рабочие писатели Петербурга. Сборники пролетарские и ведут к размежеванию, они собирают представителей пролетарской интеллигенции.

Вместе с тем, вокруг народнических органов, около «Заветов» Ивана-Разумника и «Ежемесячного Журнала» В. Мирялобова группируются поэты, связанные с крестьянским миром, с сермяжной Русью...

Уже от 1906 по 1911 г. Максиму Горькому присылают свои произведения 67 крестьян-самоучек, с 1911 г. подлиннее поэты-крестьяне выступают со своими сборниками. Эти сборники тоже говорят о новой поэзии, о новых настроениях и новых отношениях, социальный вопрос отражается и в них. Период ломки и переустройства захватил «Русь буревестную», захватил крестьян и рабочих. Поэт-крестьянин Н. Клюев пишет об этом периоде:

Пролетела над Русью Жар-Птица,
Ярый гнев закивая в труду!
Богородица, наша земляца,
Вольный хлеб мужику уроди...
От Байкала до теплого Крыма
Расплескался ржаной океан...

Расплескавшись ржаному океану, пробудившемся народу — Святогору посвящая свое творчество представители ново-крестьянской поэзии, группирующиеся в 1917 году вокруг эс-эровской «Революционной мысли», а в 1919 г. выступающие, как «Московская трудовая артель художников слова». С 1921 г. Государственное издательство выпускает ряд сборников ново-крестьянских писателей.

О пробуждении деревни после 1905 года рассказал беллетрист, связанный с деревенской беднотой, Ив. Вольнов в своей «Повести», которая является драгоценным документом этого пробуждения. «Повесть о днях моей жизни» в двух частях, заканчивается описанием пожаров и разгромов старинных усадеб в 1905 г. Она рисует деревенскую бедноту, которая зароворила и стала действовать слепо, стихийно, с горячий верой в осуществление своих вековых мечтаний. Герой повести, Ванюша Володимиров, представитель деревенской бедноты, весь охвачен пламенным желанием вырваться из кольца темноты и забитости, стонет и слез, и он героическим усилием разрывает это кольцо обстоятельств.

Вольнову удалось подойти не извне, а изнутри к запечатанной прежде душе народа. Говоря о своей сестре Моте, Ванюша замечает: «нужна была внутренняя жизнь, тайная и непрерывная работа души, напряженной и тошнущей, чтобы суметь вырваться из цепкелл дан невежества, рабства, вопиющей нужды и холодного деспотизма замордованных людей».

Эта тайная работа, работа подвижничества, выковывает новых упорных, гневных, решительных людей. Прочитавши первую часть повести, посвящен-

ную детству, вы понимаете, как и почему в 1905 году жизнь заплотила огнем, кровью, слезами гнева людей, проснувшись под звон набата. Вы понимаете, как и почему «перепелись святое и звериное, божье и дьявольское».

Ванюшка стал революционером; люди из города, рабочие, открыли ему глаза. Этот крестьянин-интеллигент терается перед могучею разбушевавшейся стихией, он в отчаянии восклицает: «Русь! несчастная моя мать! Любимая, слепая!». Но, когда начинаются карательные экспедиции, когда засекают, вешают, расстреливают его же учеников и товарищей, он безраздельно отдает себя тем, которые предвдвигли мачехе-жизни веками выстраданный счет. Он становится «частичей народного сердца», он сливает свою мятежную волю с распечатанной душой народа, он дает клятву приложить все усилия, чтобы «грехи», промахи и преступления, которые претили его душе, когда на его глазах были разгромы, чтобы эти грехи глотали и в самом народном сердце, уступая место человечности. Ваня Володимиров всем сердцем почувствовал, что новой, расколовшейся деревне нужна новая форма, новые навыки, нужен переход от дикого сплетенья святого и звериного к человеческому.

Мятеж деревни подавлен был с неслыханной жестокостью, но в огне борьбы сгорели песни Лазаря, причитания суриковцев, в огне борьбы выкопалось новое сердце, новые настроения, новый язык.

Деревенская Россия выдвигает ряд молодых талантливых поэтов... Эти поэты выступают наряду с целым рядом беллетристов и поэтов из рабочих.

С 1911 г. по 1913 г. появляются сборники тверского крестьянина Сергея Клычкова: «Песни» (1911), «Потапный сад» (1912); Н. Клюев, олонечий крестьянин, выпускает сборники: «Сосен перезов» (1912), «Братские песни» (1912), «Лесные были» (1913).

В 1915—16 гг. в «Ежемесячном Журнале» Миролюбова, который всегда был чутким, внимательным и серьезным другом молодых начинающих писателей, печатаются стихи молодых поэтов: Н. В. Орешина (Саратовской губернии), С. А. Есенина (крестьянина Рязанской губ.), Абрамова-Ширяева (вожского поэта-крестьянина). В 1916 г. и 18 г. Сергей Есенин выпускает свои два сборника «Радуница» и «Голубень», в 1918—19 г. тот же поэт выпускает сборники «Сельский часослов» и «Преображение». Сергей Клычков в 1919 г. печатает новый сборник «Дубравна», П. Орешин — сборники «Зарево», «Красная Русь», Н. Клюев — «Медный Кит». В 1918 г. Иванов-Разумник редактирует сборник «Красный звон» в эс-эровском издательстве «Революционная Россия» с произведениями всех этих крестьянских поэтов.

Кроме этих поэтов, выступают еще поэты: Пимен Карпов — яркий, темпераментный, хотя и сумбурный писатель хлыстовского типа, выпустивший в 1914 г. надушевшую книгу «Пламень», Иван Морозов — выпустивший в 1914 г. книгу «Разрыв-трава», а в 1916 г. — «Красный звон», молодой воляжский поэт Тисленко, Фокин и др. Из беллетристов выдвинулся А. Неворов, изобразитель жизни деревни после 1914—18 годов, писатель, прикнувший позднее к группе «Кузница», из которой вышел в 1923 г.

Поэты-крестьяне приходят позднее поэтов-рабочих, связаны с иной средой, иным бытом, иными впечатлениями, по иному мыслят, мечтают, по иному чувствуют и по иному пишут свои стихи.

Крестьяне и рабочие раз'единены бытом, строем жизни, но творчество их объединяет эпоха. Конец девятисотых годов, 1905 г., послереволюционное время, наступившее вслед за октябрьскими днями, предреволюционное накануне, предшествующее 1917 г., наконец, 1917—19 гг., — вся эта

эпоха бури и натиска наложила печать под'ема, бодрости, смелости, решимости и беззаветности на произведение поэтов: и крестьян, и рабочих. У одних поэтов-крестьян это настроение временное, переходное, как весеннее половодье, как вспышки напряженной энергии короленьковского Тюлина, пока «река играет», у других у поэтов-рабочих это основные черты характера, основные черты их мироощущения, самая суть их мироощущения, — жизнерадостного, оптимистического.

Как бы то ни было, поэты — и крестьяне, и рабочие — встретились «у столба распутья мирового», захватившие вихрем свободы и восславленные энтузиазмом; у одних этот энтузиазм полон горячей, почти религиозной веры, у других тот же энтузиазм исполнен твердой, сознательной уверенности.

И те и другие родились в грозе и буре, с восторгом принимают эту грозу, как великую творческую радость. Революция — их мать.

Когда-то поэт Тютчев бросил замечательные строки:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые:
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир.

Поэты из народа, из крестьянской и рабочей среды не просто приехали к революции в ее движении, они ее участники, творцы. И, подобно тому, как непримиримые отрицатели-разночинцы в 1860 г. в «прокламационную эпоху», значительно опередили в настроениях Гамлетов Ширяевского уезда, выходящих из дворянских гнезд, прогрессивных постепеновцев, «отцов», проклинавших нигилизм, так и после 1905 г. и в 1917 г. роковые минуты разделили старых и новых писателей в настроениях: одни оказались кающимися буржуа и остановились на пол-пути, проникшись мрачным пессимизмом, другие — с блаженным восторгом шли на пир величайшей в мире революции. В предисловии редактора сборника «Красный звон» (1918 г.) поднимается вопрос об отношении поэтов к революции. Иванов-Разумник подчеркивает, что лишь у народных поэтов «сказалась полнота поэтического переживания в дни великой революции. Их устами народ из глубины России откликнулся на «рррррррррр» (стр. 10). Критик-народник ни словом не обмолвился о тех пролетарских поэтах, которые в лице Максима Горького задолго до 1905 г. явились буревестниками и пророками победы.

Он не вскрыл содержания творчества крестьянских поэтов в целом, не показал в их поэзии особенного налета.

Поэты-крестьяне прекрасно сознают, что они порвали с песнями Лазаря, что они преодолели суриковщину и даже стоны Никитина, проклинавшего «отвратительную прозу» личных бедствий. Они строят алый храм новой жизни.

Поэт Поволжья, Ширяевец, обращается к своему народу, к Илье Муромцу, которого «в клеть загнали, благо, прост», обращается к России со словами:

Полно маяться, сутулиться,
Встань, родная, во весь рост!
Глянь, зарю-заряницею

Осветилась ночи мгла...
Не бывать тебе черниною,
Светлый путь ты обрела...

Другой волжский поэт, П. В. Орешин, по весеннему поет:

| | |
|---|---|
| Долой же скорбные морщины, Огненные светел я и смел. | Над каждой хатой — радость-птица Над каждой хатой — жар-мечта... |
| Все бездны, ямы и пучины Свободы ангел пролетел. | И ветер ночи бледнолицый Целует алые уста. |

Даже у С. Есенина его нежная лирика, часто переходящая в какой-то псалменный канон, посвященный природе, озарена светлою радостью, и у него из глубины души вырываются прекрасные строки:

Втыкался на озере алый свет зари,
На бору со звонами плачут глухари,
Плачет где-то иволга, скорнясь в дупло,
Только мне не плачется — на душе светло!

Песня крестьянского поэта также перестала быть черниною, также сбросила скорбные морщины, также полюбила Жар-Мечту и стала светлой, и этой светлой песне не плачется.

Когда-то А. Кольцов, с восторгом воспевавший грозу, говорил о себе:

Вся жизнь моя — как синее море,
С ветрами буйными в раздоре —
Бушует, пенится, кипит,
Волнами плещет и шумит...

Теперь грозу личной жизни сменила гроза социальная. Бушует, пенится, кипит жизнь всей страны, и кольцовская радость захватывает ново-крестьянскую поэзию.

И разве не по-кольцовски стихийно ярки, смелы стихи Н. Клюева?

Стихотворение Н. Клюева «На отлете», поражает чисто кольцовским ритмом и всем своим песенным складом:

Ты не плачь, не крушись,
Сердца робость избудь,
И отбыть не страшись
В предугазанный путь...

Но, в особенности, кольцовской силой, кипучей и огненной, охвачено с первой до последней строки «Завещание» поэта, задуманное в эпоху казней, расправ и расстрелов 1906—1907 г.г. и повторенное также в 1918 г. в книге «Медный кит» и в «Песенсловах» (1920). Это «Завещание» может занять в русской поэзии место рядом с лучшими произведениями наших лучших поэтов и, прежде всего, Кольцова.

Огнекрылая душа кольцовской поэзии переселилась в души новых поэтов. В некрасовски-гневно стихотворении П. Орешина «Волчья жизнь» вы слышите бурнопламенные строки, вырывающиеся из сердца, как звериный крик, в страшные годы реакции после 1906—07 г.г.

Песня застыла в глотке огненным колом,
Черный звон голода терзает уши.
Тяжко жизнь давит меня произволом,
Темная ночь думой томит и сушит.
Нет, не поддамся! Пусть не смакует люди

Радость свою над моею могилой.
Сердце мое темных ночей не забудет.
Слабость моя будет железною силой.
Бью, слышите, бью в золотые литавры
Голоден, бос, весь оборван — пляшу!

Эти строки из книги поэта «Зарево» не похожи на жалобные причитания над «Долей бедняка» и на покорно-терпеливый стон И. З. Сурикова.

Эх, ты горе, мое горюшко,
Уж такая, видно, долошка!

Эти строки напоминают кольцовские стихи: «Надо мною буря выла!» Как и Кольцов, поэт не «пал от страдания, гордо выдержал удар, сохранил в душе желанья, в теле бодрость, в сердце жар».

Сами поэты прекрасно сознают свое родство с кольцовской поэзией. Свое первое стихотворение «Жнецы» в сборнике «Сосен перезвон» Клюев начинает эпитафией из Кольцова: «Сладок будет отдых на снопах тяжелых», а кончает строками, поражающими чисто кольцовской силой:

И хоть смерть косой глетворной
Нам грозит из лет седых,
Он придет, нерукотворный
Век колосьев золотых.

Поэт, как бы продолжает поэтическое дело Кольцова. Волжский поэт Ширявец также свою песню повеял с кольцовской песней и не отрицает этого.

Милая рисуется поэту в красном сарафане, в алом сарафане, из-за синих глаз ее он не раз заливался «Кольцовской песней». Об этом не только он сам свидетельствует, об этом говорят его стихи.

Кольцовское вы сразу почувствуете и в «песнях» тверского крестьянина Сергея Клычкова. Поэт влюблен в полевую работу.

Его светло-улыбающаяся весенняя Лада, милая, его дед с покоса, дед на пахоте, дед, «старен мудрый, древний», его Дубравна — связаны с деревенским миром, с поэзией земледельческого труда, как и песни Кольцова. Печально-радостный Клычков, влюбленный в лес и дуг, не знает гроз и бурь Кольцова, он любит кольцовское раздумье, воспринял напевность этого изумительного «песенника». Эпитафией к своему «Потаенному саду» Клычков взял завет народной песни: «Ах, ты сад, ты мой сад, сад зелененький», но с немалым основанием он мог бы привести и кольцовскую песню:

По над Доном сад цветет,
Во саду дорожка,
На нее-б ясе глядел,
Сидя у окошка...

В зелененький сад донеслась песня Кольцова и отозвалась в потаенном саду, саду печали-радости Клычкова, который из окошка глядел, не отрываясь, в свой сад...

Кудрявый и веселый Сергей Есенин, напоивший «вишневым соком» свои стихи, хмелен радостью Кольцова. Он пишет нечто в роде манифеста ново-крестьянских поэтов и устанавливает их родословную в юношески-задорных и кольцовски-смелых стихах.

«О, Русь, взмахни крылами...
Поставь иную крепь»

Эта «иная крепь» прежде всего заключается в восторженном, беззаветном принятии революции. Впрочем, «пугровый звон» или «красный звон по разному отразился в поэзии Клычкова, Есенина, Клюева, Ширяева, Огшина, которые сохраняют каждый ярко проявленные индивидуальные черты и черты тех групп крестьянства, к которым он принадлежит по кровным связям. Иванов-Разумник совершенно прошел мимо этого, прошел мимо этого и Г. И. Успенский, связавший земледельческую мысль с земледельским трудом.

Несмотря на то, что разные крестьянские поэты по разному освещают современность и по разному подходят к Николе, Егорию, Христу, все они не ходят в плену у дедовских преданий, у народных легенд и поверий. Пра Орешин, когда говорит: «Нетленны в русском человеке отцов и прадедов псалмы». Здесь под русским человеком надо разуметь человека, связанного с деревенским миром, с деревенским преданием.

Интересно, что все эти поэты, несомненно связанные с разными слоями крестьянства, одинаково прикреплены к преданиям старины. Все они пытаются свое творчество «являя сказочному древней», подобно Клюеву, в «они «стародавних полны сил»... Олонцкий поэт признается, что «на راه, путях дальнего скитанья, как пчела меляную росу, собирал певучие сказанья». Эти сказки, псалмы, песни, стихиры проникнуты религиозным настроением. «Псалмов высокой лад» завещали внукам деды... Дед-рекольник читает с Есениным библию, и с любовью пишет о нем поэт в стихотворении «Дед». Деду посвящает свою первую книгу Орешин и о «Дед-краснобае», о «прадеде, вспоминаящем о золотом веке» пишет он прекрасные стихи.

У С. Клычкова образ деда на пахте, на покосе — это образ ветхого деда Народа-Пахаря... Дед у всех поэтов сливается с работой, с ржаным полем, с поэзией ржаного поля, с ржаным богом.

Мироощущение деда по наследию переходит к внуку и сохраняется даже в революционные годы. И, как у Кольцова Народ-Пахарь молит у бога «уроды ты, боже, хлеб — мое богатство», и, как у Кольцова, прекраснейшее стихотворение «Урожай» заканчивается строками:

И жарка свеча поселянина
Пред иконой боже матери,

так и у новокрестьянских поэтов эта свеча поселянина продолжает гореть, хотя и развевает ее пламя революционные вихри, хотя и срываются с уст «разбойных» поэтов кощунственные слова. И эта свеча вносит смещение в душу революционных поэтов, эта свеча заставляет Емельяна Пугачева, Емельяна-разбойника, у Орешина каяться перед казней, зерем вить протяжно и громко: «господи, поразь меня, нечистого гада!»

Верность религиозному преданию ярко отмечает крестьянскую поэзию, питающуюся соками земли, соками народной души.

В этом отношении полевые стихи русских поэтов-крестьян отличаются резко от стихов бельгийского поэта Верхарна, изобразившего в своих «Умирающих» и «Галлюцинирующих полях», в своих «Зорях» — крушение деревенского, гибель сказки и победу городского. Это происходит оттого, что в Бельгии капиталистический процесс уже разрушил патриархальный быт и патриархальное мировоззрение деревни.

В своей книге «Медный кит» Клюев говорит: «братья, это наша красная крестьянская культура, где звукоангелы сопостники людских пабелок и просонок» (стр. 107). То, что называет поэт культурой, правильнее назвать патриархальным мифическим мировоззрением, когда первобытный младенче-

ствующий человек свои человеческие свойства переносит на природу и всю свою жизнь ставит в зависимость от дейстий вездесущих существ.

Культура связана с пробуждением научного исследования, с изучением закономерности явлений, широким использованием научного опыта человечества и многовековой практики для сознательного, планомерного и целесообразного управления изученными законами природы и законами общественного развития. Патриархальное мировоззрение это — «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой», это мировоззрение наивно, связанное с состоянием «людских пабелок и просонок», когда «звукоангелы», святые заступники и заступницы заменяют стройную цепь причин и следствий, когда хранителями преданий являются деды и прадеды.

Бессознательный, стихийный, младенческий человек находится во власти слепой стихии и трепещет перед таинственными существами, которые правят его судьбой и судьбами мира.

Человек творит своих богов по образу своему и подобию. Земледельчик силы природы, влиявшие на сельские работы, в языческие времена представлял в образах громовержца Перуна, бога жатвы Дажьбога, покровителя скота Велеса. Крестьянин, или «хрестьянин» после принятия христианства, тесно переплел языческие предания с христианскою легендой; он творит ржаного бога, прозного Илью пророка, Никола Милостивого, Власия, милующего скот. Языческая старина вливается в новые формы, и новые формы носят на себе печать обыденного деревенского обихода с его печалью и радостями. Христианские святые, грозные и милостивые, заступники и заступницы повелевают крестьянину, грозят, карают, милуют, требуют жертв, помогают, как об этом красноречиво говорят «Народные русские легенды», собранные в прекрасной книге А. Н. Афанасьева и впервые опубликованные в 1889 г.

«Земледельческая мысль» — по характерному выражению Г. И. Успенского — в свои объяснения природы вносит свой особый отпечаток. Эти объяснения яркие, полные сближений и соответствий между жизнью пахаря и жизнью природы, превращаются в легенды, в символы и мифы.

В основание всей организации крестьянской жизни, семейной и общественной, Г. И. Успенский, в своих очерках «Власть земли», положил земледельческий труд. Этот земледельческий труд влияет на человека, неразрывно связанного с ним, и на его земледельческую мысль. Корнем этих влияний оказывается природа. «С ней человек имеет дело, непосредственно от нее зависит. Она, — говорит Успенский, — учит его признавать власть и притом власть бесконтрольную, своеобразную, капризно-прихотливую и бездушно жестокою»¹.

Зависимость от грома и молнии заставляет земледельца трепетать перед Илей пророком, который захочет — пошлет во время дождевую тучу, а прогневаешь — разразится градом и побьет зеленые побег и уничтожит последствия работы «в поте лица».

Матеевский город противопоставляет власти слепой стихии, власти грозного Илья пророка власть рынка, власть всемогущего капитала. Патриархальные предания, переходящие к внукам и правнукам от дедов и прадедов, получают трещину... Революция усиливает разложение, разрушает основы повиновения и властвования, вносит в патриархальный земледельческий быт новые начала, перед земледельческой мыслью ставит новые задачи. Уже в религиозной легенде нет цельности. Но, подобно тому, как с принятием христианства упорно сохранилось языческое предание, и пахарь переживая

¹ Г. И. Успенский, т. II, стр. 543 (Поэзия земледельческого труда).

двоеверие, превращая Велеса во Власия, Перуна в Илью, так и в революционную эпоху новокрестьянские поэты захвачены колеблющимся настроением. Их революционная вера переплетается с прадедовским преданием. Отсюда «Преображение» Есенина, пророчествующего о новом старыми словами, отсюда кощунственные слова у Орешина, влюбленного в белые церкви, и в пречистую мать, и в Николу-батюшку.

Отсюда у Клюева, вслед за «братскими песнями», «самосоженческими стихами», за «Голгофскими псалмами» следуют песни — «Лесная», «Острожная», «Свадебная», «Слободская», «Кабакцкая», и пляшет в самозабвении Плясея и несется ее пьянящий, хмельной вскрик:

Вот я,
Плясея —
Вихорь, прах летучий.
Сарафан
Синь-туман,

Косы — бор дремучий.
Пляс-гром,
Бурелом,
Лешева погудка.
(«Лесные были» стр. 7).

Отсюда у Ширяева вы слышите песни, противоположные по настроению: то строго аскетические — раскольничьи, то разбойничьи-хмельные. Сравните его два небольшие прекрасные стихотворения, сохранившие суровый отсвет заволжских скитов, когда в «лесах» и на «горах» спасались люди «древляго благочестия»:

Проплывают пароходы гулко,
Тот — на Нижний,
Этот — к низовью, —
Жизнь-то, жизнь!
Да только кулугурку
Не завихрит...
В келейку свою
Затворилась с книгой пожелтелой,
Со старинным Спасом...

Гневен взор...
Как живой пред нею
Голубь белый —
Аввакум, всходящий на костер...
— «Светик родной!
Какбы мне бы тоже
Пострадать
За веру-правоту...»

(«Кулугурка») 1.

Теперь прочтите вслед за этим другое стихотворение, буйное и языческое, разбойничьи-отважное, точно рожденное в Жегулях:

Измаялась, нет моченьки,
Кидает в холод, в жар, —
Все снится кажуноночьку —
Удалый Кудеяр!
Ухватка богатырская
И слышу песню я:
— Пойдем в края Сибирские,
Зазнобушка моя!
«Оставь соху и борону, —
К лицу ль тебе труды!

Не для тебя ль сохорены
Заклятые клады!»
«Ой, не видала краше я!
Иду, соколик мой!
Окончу жизнь пропащую
Аль плохой, аль тюрьмой!
Прости, родная, доченьку!
Бегу в потайный яр!
Там поджидает вночьку
С ватагой Кудеяр...»

Новокрестьянская поэзия является огромным шагом вперед после сурковщины, и эта поэзия слишком еще прочно связана с прежними патриархальными отношениями, она говорит не последнее слово, она, как жена Лота, оглядывается назад. Верность религиозному преданию — это верность ух-

1 Кулугурка — староверка.

дающему быту, с его властью старшего в роде, отца, деда на земле и властью деда — бога, на небе. Эта верность не согласуется с рождением новой России.

И когда в своем революционном стихотворении «Коммуна» Клюев пишет строки:

Боже, свободу храни
Красного государя Коммуны,
Дай ему долгие дни
И в венец дучезарные луны...

в этих словах слышится отзвуки дедовских преданий, слышится преклонение перед авторитетом.

Те же отзвуки патриархального и дедовского вы слышите г. интересном стихотворении «Ленин», которое выделяется из бесчисленных виршей на эту тему:

Есть в Ленине Керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он идет в Поморских ответах.

(«Медный кит», стр. 14).

Поэты крестьянские, пришедшие с Поморья и Поволжья, из Тверской, Рязанской и Саратовской губерний, с восторгом приветствовали революцию, но сохранили связь с уходящим бытом, с патриархальным мировоззрением, с «игуменским окриком». Вместе с деревенской Россией они вносят в новое отзвуки былого, уходящего сказочного и легендарного. Их поэзия вправлена в дедовские кюты и старинные ризы, окурана церковным ладаном и пахнет елеем. У Есенина «хаты — в ризах образа», «край родной, поля, как святцы, роши — в венчиках иконы», у него «вызванивают в четки ивы — кроткие монашки», у него «На сердце — лампадка, а в сердце — Иисус».

У Клюева в каждой песне слышится «псалом высокий лад», у Орешина «тенно стоит над Русью неполаканый крест», и в каждом стихотворении вы видите лик Пречистой, Христа, архангела Михаила, Николы...

Эти сравнения превращают книги поэтов в подобие иконостаса. Это религиозный уклон неизбежен в поэзии крестьянских поэтов, пока они связаны с властью земли. «Его же не преидеши!»

Глеб Успенский, не будучи марксистом, глубоко и верно объяснил религиозное устремление земледельческой мысли. Это признание власти неба подкатоано властью обыкновенного деревенского, властью стихии и природы, которую так молитвенно, так красочно, так ярко и так тонко умеют описывать крестьянские псаломпевцы. Один из них, Сергей Клычков, не даром пишет — поэт:

Как не петь и не молиться,
Если все поет вокруг —
Лес и дуг, ручьи и птицы,
Если облак светлолицый
Улыбается, как друг...

Для деревенского поэта «облак светлолицый» значит гораздо более, чем красочный эффект в сельском пейзаже. Для земледельца «облак светлолицый» — это вестник дождя и, значит, урожая... За облаком земледельцу

видится кто-то всемогущий и всецелый, кого надо умолить, перед кем надо смириться и сказать: «да будет воля твоя!»... Такова власть земли, слепок сил природы, еще не познанных первобытным младенствующим человеком, этим поэтом и мифотворцем по преимуществу, для которого, вместо законов природы, существуют святые и боги.

В чудеснейшем стихотворении «Боги Греции» поэт-философ Шиллер с грустью вспоминает о языческой эпохе, о младенческом состоянии патриархального греческого мира, «когда свой народ водили вождем чужака сказочного в творческих ночах», когда все в природе было возвышено убором фантазии, когда все открывало посвященным взорам «богов заветный след», когда ручей, горы, роши, луга были населены нимфами, дриадами, фавнами, когда «что и жить не может, все жило».

Поэту-мечтателю жаль того одухотворенного сказочного мира, в котором «покров свой вдохновенья налагал правде на чело»: он сознает, что ныне новый мир не нуждается в богах, как «подмоге» для вселенной, вседенная «связь нашла в себе самой»... Он это знает и все-таки оплакивает сказку, оплакивает «нас возвышающий обман» и с грустью пишет изумительные по красоте строки (в переводе Фета):

Да, они укрылись в область сказки,
Унося туда-же за собой
Все величье, всю красу, все краски,
А у нас остался звук пустой...

Для поэтов новокрестьянской поэзии еще живы боги, еще не ушли в область сказки, еще не звук пустой, и берут они для своей поэзии не голую правду, а покров над правдой и вместе с патриархальным миром «ищут и находят смысл иной у бытия»... Этот «смысл иной» отражается не только на содержании их нецельной поэзии, захваченной правдой иной откровенности, той правдой, которая не мирится со сказкой, этот смысл отражается на форме их творчества, на манере писать, на музыке их песенного стиха, на самой тесной связи их песен, полным символом, с творчеством поэтов-символистов: Тютчева, Андрея Белого и, в особенности, Александра Блока и в то же время с коллективным народным ценным песенотворчеством, со всеми неисчерпаемыми сокровищами богатой, красочной и образной народной речи Поморья, Поволжья, центральной полосы. Они повенчали кольцовское с блоковским и блоковское с заонежским, заволжским сказом. От народных символов пришли к литературным символам. Они обогатили язык литературы самоцветными, живыми, играющими всю радугу красок словами народной речи; пройдя через «искус», они сочетали искуснейшее с безыскусственным.

Все новокрестьянские поэты-певцы, кроме Орешина, являются поэтами-романтиками. Они не видят действительности, реальности, они баяснословны, они забываются не здесь и не там, они живут, «в настоящем разуваясь», находя отраду в былом и свивая то, что было, с грядущим; шем романтики, потому что их поэзия говорит о том, чего нет, о том, что для них лучше того, что есть, и даже больше похоже на правду; они романтики потому, что сказку младенствующего народа предпочитают правде, полусон, полудьявь, проснонок предпочитают дневному, видимому миру, потому что «мужицкий рай» предпочитают царству небесному здесь, на земле.

В своем творчестве они по приемам символисты. Они, по преимуществу, поэты-певцы. Их песни отражают первобытное мирозерцание на-

рода. В этом отношении они национальны. У них порой проскальзывают нотки национализма.

Все они воспевают революцию и все они страдают болезнью двоеверия. В литературе они идут от Кольцова и примыкают к новейшим поэтам символистам-общественникам. Все они ненавидят город и глубоко чувствуют красоту деревенского пейзажа.

Поэзию певцов-крестьян нельзя смешивать с поэзией поэтов-рабочих, поэзию звуков нельзя смешивать с поэзией мыслей. Поэзию мужицкого Ржаного Спаса нельзя смешивать с поэзией «Железного Мессии».

Поэты-крестьяне и рабочие связаны с разными социальными группами, связаны с разным бытом, с разными формами труда, впитали, одни — деревенское и другие — городское, и это не могло не отразиться на поэзии тех и других.

В. Львов-Рогачевский.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Лирика новокрестьянских поэтов

Пимен КАРПОВ—С. КЛЫЧКОВ—Н. КЛЮЕВ—А. ШИРЯЕВЦЕ—
С. ЕСЕНИН—П. ОРЕШИН—Я. ТИСЛЕНКО

Автобиографии и характеристики

ПИМЕН КАРПОВ

(Родился в 1887 году)

* * *

Стоя, солнце, бурнопламенный му-
жик —
Пока не устаю благославлять!
Беременная под тобой земля —
Вот боль мою, и вот о чем мой
крик!
Целуй ее и запускай ей в грудь
Свирепых излучений лемехи,

Чтоб исходили страстью камни,
мхи,
Не в силах от лобзаний отдохнуть.
А я, твой буйный отпрыск и твой
плод,
Качаясь спелым колосом златым,—
Все так же буду прохотом слепым
Благославлять твоих зачатый год!

(«Русский ковчег», стр. 16)

РЮРИКУ ИВНЕВУ

Буйнозвездную и грозовую
Я люблю мою сирую землю...
Все: и пытку ее огневою
И печальную радость приемлю.
Ее и песни и благословленья,
И проклятья мои, и молитвы —
Отдаю я в слепом иступлении
За огонь ее бури и битвы.

Отдаю ей последние силы...
За сохою ей — пот мой кровавый,
Буду страстным певцом до могилы
Торжества ее, мудрости, славы.
Знаю, что обгарю своей кровью
Темноликую мою землю;
Но за это-то с лютой любовью
Я целую ее и приемлю.

(«Русский ковчег», стр. 19)

Сергей Антонович КЛЫЧКОВ

Родился в 1889 г. в Тверской губернии, Калязинском уезде, в деревне Дубровки, в крестьянской семье. Окончил среднюю школу, но связь с деревней не порвал.

Одинокий, уходящий в свои поэтические настроения поэт-лирик Сергей Клычков не только в своих прежних сборниках 1911—12 г.г., но даже в последующих сборниках: «Дубравна» (1919), «Домашние песни» (1923), «Гость чудесный» (1923) не отозвался ни одним стихотворением на величайший в мире переворот... В «Зареve заводов», журнале Самарского Пролеткульта, приведена, правда, «Кантата», посвященная жертвам октябрьского переворота, погребенным у Кремлевской стены. Эта кантата написана

Сергеем Есениным, Орешиним и Клычковым, но революционные стихи Клычкова для него не характерны. Это поэт, стоящий в не общественности, это крестьянский Фет, который эпиграфом к своим песням берет слова пророка Амоса: «Я пас стада отца моего, а говорить меня учили звезды».

В прекрасном стихотворении, которым он открывает свою «Дубравну», певец Лалы, Леля, Дубравны, полей, лугов и лесов поет:

Милей, милей мне славы
Простор родных полей,
И вешний гул дубравы,
И крики журавлей.
Нет таинства чудесней,
Нет красоты иной,

Как сеять зерна песней
Над вешней целиной.
Ой, лес мой, луг мой, поле!
Пусть так всю жизнь, и пусть
Не сходят с рук мозоли,
А с тихой песни — грусть!

Сергей Клычков всегда верен своей Дубравне, и революционная буря только косвенно отражается на его творчестве, углубляя его демократизм и просветляя его грусть... Радостным голубым подснежником глядит на мир его ранняя песня... Эту песню напевает поэт-песенник «вполголоса», «про себя», на берегу реки... «И сквозь сон журчит Дубна». Он поет свою песню «в забвенье» лесу, лугам и полям, а не крестьянам родного села; он поет ее деду древнему, песенной Ладе, сказочному Бове, другу пастухов Лешему, сыну весеннего солнца Лелю, тому Лелю, который «цветами все поле украсил».

Любимые поэты С. Клычкова — А. Н. Кольцов и, в особенности, А. Блок. Он высоко ценит народное коллективное творчество и с ненавистью относится к футуристам-«заумникам», которые калечат прекрасный, богатый язык многомиллионного народа. Его образы Лалы, Деда, Бовы из народных песен в первых сборниках несколько утомляли своим повторением. Но в последнем сборнике: «Домашние песни» поэт-певец отошел от них и хорошо сделал, ибо одно время он слишком приближался к стилю Любови Столицы. А Блок оказал на него весьма заметное влияние.

Александр Блок — любимейший и родной Ключеву и Клычкову. У Орешина переплетаются влияния и Тютчева с его «бедными селеньями», и Некрасова с его музой гнева и мести. У Ширяевца сплетаются Кольцов и Бальмонт, у Клычкова — Кольцов и Блок, у Есенина — Кольцов и Андрей Белый.

Почитайте «Дубравну» Клычкова — вы сейчас же вспомните «Незнакомку» Блока, его стихи «Прекрасной Даме», вспомните, как А. Блоку за темною вуалью действительности видятся «берег очарованный и очарованная даль», вспомните, как отуманенный поэт грезит в ресторане о своей «Лучезарной», сливая сон и явь, и грезится ему в полузабытьи, что «очи синие бездонные цветут на дальнем берегу». Эти «очи» преследуют и Ключева и Клычкова:

И, может, что было недавно—
Давно только песни и сны.

И синие очи Дубравны
Слились с синевой весны,—

поэт Клычков и вновь возвращается к тому же в другом месте:

Окутал туман перелески...
Туман над рекой прояснился,
И только вдали на яву
Таят зорьяные ресницы
Бездонных очей синеву...

Блоковская «Незнакомка» у Клычкова становится более живой, более связанной с весенним лесом, с радостной зеленой Дубравной. И поэт говорит о себе:

Я пою один в деревне О моей лесной царевне,
О печали давней, О моей Дубравне.

Стихи-песни С. К. Клычкова — большого мастера пейзажа — носят интимный характер; это, действительно, домашние песни, песни уединенного певца, песни крестьянского Фета, но в этих песнях теплится огонек подлинной поэзии, — а вместе с огоньком поэзии пробивается порой идеология крепкого мужика. Свое отрицательное отношение к поэтическим вывертам, к «трускам» он ярко выразил в резкой статье «На Лысой Горе» («Красная Новь»).

В. Львов-Рогачевский.

С А Д

Ручеек бежит по лугу,
А мой сад на берегу,
Он стоит невидим другу,
Невидим врагу...
Ой-ли сад любви, печали,
А в нем ветки до земли—
Да они весной почали,
По весне цвели...
Не услышать другу гуслей,
Не гулять в моем саду,

А и сам-то я из сада
Ходу не найду!
На певучем коромысле
Не носить с ручья воды,
Где поникли, где повисли
Ягоды, плоды.
Где встает туман по лугу
На высоком берегу,
Да где нет дороги другу,
Нет пути врагу!..

(«Гость чудесный», стр. 33).

ДЕТСТВО

Помню, помню лес дремучий,
Под босой ногою мхи,
У крыльца ручей гремучий,
В ветках дремлющей ольхи.
Помню: филины кричали,
В темный лес я выходил,
Бога строгого в печали
О несбыточном молил.
Дикий, хмурый, в дымной хате
Я один, как в сказке, рос;
За окном стояли рати
Старых сосен и берез.
Помолюсь святой иконе
На соломе чердака,
Понесутся, словно кони,
Надо мною облака...

Заалет из-за леса,
Прянет ветер на крыльцо,
Нежно глядя у навеса
Мокрой лапой мне лицо.
Завернется кучей листьев,
Закружится возле пня,
Повевет, тропы расчистит,
Взявши за руку меня.
Шел я в чаще, как в палате,
Мимо ветер тучи нес,
А кругом толпились рати
Старых сосен и берез.
Помню: темный лес дремучий,
Под босой ногою мхи,
У крыльца ручей гремучий,
Ветки дремлющей ольхи...

(«Гость чудесный», стр. 38).

* * *

Была над рекою долина,
В дремучем лесу у села,
Под вечер, собирая малину,
На ней меня мать родила.
В лесной тишине и величьи
Меня пеленад полумрак,
Баюкала пение птичье,
Бегущий ручей под овраг.
На ягодах спелых и хмеле,
Широко раскрывши глаза,

Я слушал, как ели шумели,
Как тучи скликала гроза.
Мне виделся в чаще хоромы,
Мелькали в заре терема,
И гул отдаленного грома
Меня провожала до дома.
Ах, верно, с того я и дикий,
С того-то и песни мои—
Как кузов лесной земляники
Меж ягод с игольем хвои...

(«Гость чудесный», стр. 55).

* * *

На чужбине далеко от родины
Вспоминаю я сад свой и дом,
Там сейчас расцветает смородина,
И под окнами птичий садом...
Там над садом луна величавая,
Низко свесившись, смотрится
в пруд,—
Где бубенчики желтые плавают
И в осоке русалки живут...
Она смотрит на липы и ясени
Из-за облачно-ясных завес,
На сарай, где я нежилась в сене,
На дорогу, бегущую в лес...
За ворота глядит, и на улице,

Словно днем,—только дрема и тишь
Лишь причудливо избы сутулятся
И роса взлеток пакает с крыш—
И несет презрительная конница,
Утонувши в туманы по-грудь—
И березки прощаются-клонятся,
Словно в дальний собрались путь...
Эту пору весеннюю раннюю,
Одинок встречая вдали...
Ах, прильнуть бы, послушать ды-
хание,
Поглядеть в заревое сияние
Милой матери-родимой земли...

(«Гость чудесный», стр. 68, изд. Госиздат. 1923 г.).

* * *

Куда ни глянь, везде ометы хлеба,
И в дымке спозарань не видно
деревень.
Идешь, идешь, и только целый день
Ячмень и рожь пугливо зыблют
тьень
От облака, бегущего по небу.
Ой, хорошо в привольи и без-
людьи
Без боли мир оглянуть и вздохнуть.
И хорошо уйти-уйти в безвестный
путь.

И где-нибудь, в ковильную погудь,
Прильнуть на грудь земли усталой
грудью.
И верю я, идя безбрежной новью,
Что сладко жить, неся благоу
весть:
Есть в мире радость, есть: приять
и перенеть
И, словно облаку закатному до-
цветь,
Страхнув с крыла последний луч,
с любовью.

(«Домашние песни», стр. 15, изд. Круг, 1923 г.).

* * *

Люблю свой незатейный жребий
И хутор с лугом и леском —
Зарю за изгородью в небе,
Заботу о едином хлебе,
Хоть жив и не одним куском...
Кормлю семью и для скотины
Кошу по зарослям ковыль, —
Здорового лелею сына,
Надежный к старости костыль...
Мое хозяйство и усадьба —
Как крепко скрученная нить,
Хоть хлопотливо, как на свадьбе,
Где нужно всех кормить, поить.
Под вечер — словно безголовый,
Но, как в заутреню, встаешь,

Когда у опуши еловой
По пару надо сеять рожь...
За хлопотливую обедней
В поклонах снова целый день,
И не заметишь, как соседний
Опять вступаются плетень.
В нераспоясанной рубахе
Заснешь кой-как, и сонный слух
Чуть ловит, как воркует вяхирь,
Чернополосный, нивный дух.
И вот на жестком изголовьи
И спишься, может, так тебе,
Что налит до краев любовью, —
Заботой о судьбе коровьей.
Как и о собственной судьбе.
(«Домашние песни», стр. 53).

Николай Алексеевич КЛЮЕВ

(Род. в 1887 г.).

В творчестве олонечского поэта Н. Клюева революция занимает большое место; и его песни, посвященные революции, носят следы не временного поэтического воодушевления и преходящего настроения, а длительных глубоких переживаний, родившихся в душе человека и гражданина... Это не «мартовский» революционер, начавший воспевать революцию в 1917 г. Лучшие стихи его, посвященные революции, написаны им в годы черной реакции после октябрьских дней 1905 г. и вошли в его первый и лучший сборник «Сосен перезвон» (1912). Важно отметить, что в книге «Медный Кит» этого поэта, выпущенный Петроградским Советом в 1919 г., лучшими, наиболее правдивыми, наиболее пережитыми являются прежние стихи этого первого сборника и отчасти второго — «Братские песни», ныне вновь перепечатанные. Из 43 стихотворений этого пестрого сборника четвертая часть написана в 1909—11 годах: «Завещание», «Я надену черную рубаху», «Есть на свете край обширный» и т. д. Эти вновь приведенные стихи загораются при свете новых зорь новою пророческою силой; они заражают глубинной настроенности, они прошли через испытание проклятых годов. Иногда Н. Клюев вносит незначительные поправки в прежние стихи. Об этом приходится пожалеть. К документам революционной эпохи не подходят с поправками черз 9 лет (см. «Под вечер», сборник «Сосен перезвон», стр. 54 и «Медный кит», стр. 39). В революционные стихи Клюева 1912 г. порой врезается официальный державинский тон. Порой поэт портит свои стихи хлестко полемическими газетными выпадами против газетных врагов и занят не столько революцией, сколько Клюевым. Это к «смирненному Николаю» совсем не идет. В прежних революционных стихах Клюева захватывает глубина веры в торжество революции. Одно из таких стихотворений хочется здесь привести полностью. Оно прекрасно и по форме, и не перегружено словами, которые порой приходится разбирать со словарем Даля. Вот эти стихи:

Есть на свете край обширный,
Где растут сосна да ель,
Неисследный и пустынный,
Русской скорби колыбель.
В этом крае тьма и горя
Есть забытая тюрьма,
Как скала на глади моря,
Неподвижна и нема,
За оградю высокой
Из гранитных серых плит,
Пташкой пленной, одинокой
В башне девушка сидит.
Злой кручиною объята,
Все томится, воли ждет,

От рассвета, до заката,
День за днем, за годом год.
Но крепки двери запыри,
Недоступно страшен свод,
Эхо дикого простора
В каземат не донесет.
Только ветер перепенный
Шепчет ей из далека:
«Не томись, моя царевна,
Радость светлая близка,
За чертой зари туманной,
В ослепительной броне,
Мчитесь витязь долгожданный
На вспенном скакуне».

(«Медный кит», стр. 44).

Это пророческое стихотворение в первый раз было напечатано в сборнике «Сосен перезвон» в 1912 г.

В стихах 1917—18 гг. вы видите этого долгожданного витязя на «вспенном скакуне», видите не в мечте, а наяву.

Н. Клюеву удается передать движение, взмах крыльев, вспенность революционного скакуна. Мешает силе впечатления газетная злободневность. То, что — в стиле Князевых и Демьянов Бедных, то совершенно не подходит к песне Клюева, который поет с народом, и с которым, может быть, будет петь народ.

Сила революционной поэзии Клюева в ее сплетенности с революционными настроениями восставшего народа.

Не Ярослава рано кычет
На заборе городском, —
То богоносный дух поэта

Над бурной родиной парит;
Она в громовый плащ одета,
Перековав луну на щит.

(«Медный кит», стр. 36).

В предисловии к сборнику «Медный Кит» Клюев пишет: «Только раз во сто лет слетает с громового дерева огнеркая Естрафилая-птица, чтобы пропеть, провещать крещеному люду Сульбу-Гарпун. И лишь в сороковую, неуасимую, неспячно зарю расцветает в грозных соловейных дебрях Святогорова палица — чудолейная Лом-трава, сокрушающая стены и железные засовы. Но еще реже, еще потайнее pronосится над миром пуровый звон народного песенного слова — подслупного, мужицкого стиха: «Вам, люди, несуй я этот звон — отлески Медного кита, на котором, по древней лопарской сказке, стоит «Всемирная Песня» (стр. 5).

Клюев широко пользуется народным песенным словом, иногда даже излишне злоупотребляя, иногда не столько творя, сколько пересказывая; часто он с редкой силой показывает изумительную, необычайную древнюю красоту древне-русского подслупного стиха, влившегося, как расплавленное золото, в драгоценную форму клюевских образов. В революционной поэзии Клюева нет шаблона, нет повторов и перепевов; он коснулся «громового плаща» восставшего народа, и он силен этой связью. «Умрут Кольповы одиночки, но не лесов и рек молва...» — гордо пишет поэт в своем стихотворении, и еще ранее: «Из нас с Садко-народом не сгинет ни один».

Поэзия Клюева, пришедшего «от студеного поморья из бревенчатой страны», поэзия этого «полесника хвойных слов, из олонечского бора», прекрасна и могуча, как песня Садко — народа, этого изумительного песенника, воспетого в знаменитой новгородской былине. «Кровавый гром в моих крылах» — пишет Клюев и в своем «арочатом стихе» увековечивает «ярый гнев» воставшего народа. Ярый гнев умеет слить Н. Клюев с нежною мечтою, с молитвенным настроением.

Из подвалов, из темных углов,
От машин и печей огнеглазых,
Мы восстали, могучей громов,

Чтоб увидеть все небо в алмазах,
Уловить серафимов хвалы,
Причаститься из спасовой чаши... —

— пишет Клюев, сочетавший чеховскую нежность с народной гневною силой. И как неожиданно прекрасны в его стихах строки, посвященные кровавым мятежам:

Будут ангелы срывать незабудки
С луговин, где был лагерь пик.

Прав поэз, когда некоторые свои стихи называет «сладословными стихирями», «лучезарными псалмами».

Свою революционную поэзию Клюев также облекает в лучезарные облачения, он так же переплетает революционное с религиозным. Но Клюев, «полесник хвойных слов» из олонечского бора, принес мечту о «Белом Ските», он «нездешним очарован», он сливает Голгофу с ашафотом, мученичество с мятежем, «братские песни» духоборов с марсельской солнценосцев-революционеров и он сам прекрасно сознает, что он не стихотворец, а певец, и у него постоянно встречается слово пою, вместо слова пишу. Два тома его стихов вышли под заглавием «Песно слово».

Клюев слышит и заставляет слышать «осен перезвон», его олонечский бор гудит, «как сладостный орган»; его «зеленых волн прибой тысячеудный, под сводами души рождает смутный звон». Он называет себя песноводным певцом, баяном-баснословом, свои песни — свирельными. Он мчится на легковозном коне, он заставляет по разному звучать песни, псалмы и стихирь. Он каждую песню наделяет иным строем, иной душой; и по разному звучат его «лесные были», и его революционные гимны, сочетавшие «отречемся» и «зеленый сад», и его песни: «свадебная», «рекрутская», «слободская», «бабья», «разбойничья», «рыбацкая»... Все богатство звуков взял поэт у народа, этот певец, «обуянный» «певучей душой», этот «певник розмыслом»... «Широкая гульба, гуляющие добрых молодцев, мигачей и заливчатиков, перелетных зорких чречетов» сливаются у него с «Голгофскими песнями» мучеников-страстотерпцев и заглушаются громом революционной грозы...

Тут и вихрь самозабвения, «плясь-гром, бурелом», тут и «огонь гвоздяных ран», тут и порыв воставшего народа.

Свою поэзию полунамеков, полусна, поэзию примет и прозрений, Н. Клюев связывает с народным мирозерцанием, с образным, полным символов языком младенчествующего народа. У народа он взял для своих стихов напевность, певучесть, ту «звонкую звучность» народных песен, о которой с такой гениальностью писал Гоголь в своей заметке о малороссийских песнях, о песнях цветущей части России.

Гоголь говорил: «Самая яркая и верная живопись и самая звонкая звучность слов — разом соединяются в них. Песня сочинена не с пером в руке, не на бумаге, не с строгим расчетом, но в вихре, в забвении, когда душа звучит и когда все члены, разрушая равнодушное обыкновенное положение, становятся свободнее, руки вольно аскидываются на воздух и дикие волны веселья уносят его от всего» (Гоголь, т. 10, стр. 55).

В народной песне Гоголь видел и поэзию мыслей, и поэзию звуков, поэзию поэзии, когда мысль непостижимо стройно, в разногласии звучит каким-то внутренним согласием.

Эту поэзию поэзии, это внутреннее согласие поэзии звуков принесли поэты-крестьяне в своих песнях. Они не пишут, а поют, они повенчали свою личную литературно обработанную песню, прошедшую сквозь искус, с безыскусственной безымянной устной песней того народа, который под песню пледается, венчается, хоронится. Но из всех поэтов-песенников Н. Клюев песенник по преимуществу.

В песне, в языке Н. Клюева слышится былинный Садко. Но Н. Клюев не чужд и лирике поэтов-символистов.

Александр Блок — автор «Нечаянной радости», оказал на Н. Клюева особенно сильное влияние, не даром же поэт Олонечского края посвятил свою первую книгу Александру Блоку — Нечаянной Радости. Вместе с ним, он привык в снежности синих полей, под жужжанье прятки, чутко слушать «пролет журавлей», вместе с ним, сквозь печаль и сумрак провидит «Нечаянную Радость». В прекрасном стихотворении «Александру Блоку» Н. Клюев подчеркивает свое духовное сродство с этим нежнейшим из русских лириков, влюбленных в несказанное, неизреченное. Есть у Н. Клюева стихотворение «Сказка», поразительно напоминающее блоковское, его напевность, его символику, его приемы письма. Читая эту северную песню, вы невольно вспоминаете «Сольвейг» А. Блока, ту нежную, верную девушку Ибсена, что всю жизнь за пряхкой в лесной избушке ждала возвращения своего Пер Гюнта. И у Н. Клюева вечная тяга к берегам иным, и для него цветут все те же очи синие, бездонные на дальнем берегу. Как и Блока, Н. Клюева тянет к загадке, к туманной мечте, что встает из болот и оврагов...

„Примнится чортом—покров шалаша,
Колдуней лесной—незабудка.
И горько в себе посмеется душа
Над правдой слепого рассудка“.

Как и Блок, поэт из Вытегры, полесник хвойных слов, любит и неотвратимые обманы лидово-сызых вечеров, любит «туман вечеровой», любит мечту о «райских кринах», о «берегах иной земли», о тех далеких лучезарных странах, где «в свете дремлющего залива блуждают сонно херувимы».

Но Н. Клюев богаче красками, богаче сокровищами речи... ибо ближе к источникам, питающим поэтическое творчество. К сожалению, у поэта нет чувства меры, и он часто злоупотребляет богатством местного говора.

В. Львов-Рогачевский.

Я обещаю вам сады...
Бальмонт!

* * *

Вы обещали нам сады
В краю улыбчиво-далеком,
Где снедь — волшебные плоды,
Живым питающие соком.
Вешали вы: «далеких зла
Мы вас от горестей укроем,
И прокаженные тела
В ручьях целительных омоем.»
На зов пошли: Чума, Увечье,
Убийство, Голод и Разврат,
С лица — вампиры, по наречью —
В глухом ущелье водопад.

За ними следом Страх тлетворный
С дырявой Бедностью пошли,—
И облетел ваш сад узорный,
Ручьи отравой потекли.
За пришельцами напоследок
Идем неведомые мы,—
Наш аромат смолист и едок,
Мы освежительной зимы.
Вскормили нас ущелий недра,
Вспоил дождями небосклон,
Мы — валуны, седые кедры,
Лесных ключей и сосен звон.

«Песнопослов» Т. I. стр. 57).

АЛЕКСАНДРУ БЛОКУ

Верить ли песням твоим —
Птицам морского рассвета,
Будто туманом глухим
Водная зыбь не одета?
Вышли из хижины мы,
Смотрим в морозные дали:
Духи метели и тьмы
Взморье снегами сковали.
Тщетно тоскующий взгляд
Скал испытует граниты, —
В них лишь родимый фрегат
Грудью зияет разбитой.

Долго-ль обветренный флаг
Будет трепаться так жалко?..
Есть у нас зимний очаг,
Матери мерная прялка.
В снежности синих ночей
Будем под прялки жужжанье
Слушать пролет журавлей,
Моря глухое дыханье.
Радость незримо придет,
И над вечерними нами
Тонкой рукою зажжет
Зорь незакатное пламя.

«Песнопослов» Т. I. стр. 62).

ВЛАДИМИРУ КИРИЛЛОВУ

Мы — ржанные, толоконные,
Пестрядиные, запечные,
Вы — чугунные, бетонные,
Электрические, млечные.
Мы — огонь, вода и пажити,
Озимь, солнца пеклеванные,
Вы же таин не расскажете
Про сады благоуханные.
Ваши песни — стоны молота,
В них созвучья — шлак и олово; —
Жизни дерево надколото,
Не плоды на нем, а головы,
У подножья кости бранные,
Черена с крошечным хохотом;
Где же крылья ураганные,
Поединок с мечным грохотом?

На святни proletарские
Гнезда вить слетелись филины;
Орды книжные, татарские,
Шестерню не осилены.
Кнут и кивер арачекеевский,
Как было на троне буквенном.
Сон Кольцовский, терем Меевский
Утонули в море клюквенном.
Ваша кровь водой разбавлена
Из источника бумажного,
И змея не обезглавлена
Песней витязя отважного
Мы — ржанные, толоконные,
Знаем слово алатырное,
Чтобы крылья громобойные
Вас умчали во всемирное.

Там изба свирельным шоломом
Множит отзвуки павлинине...
Не глухим, бездушным оловом
Мир связать в снопы овинные.

Воск с медью яблоноювоку,—
Адамант в словостроении,
И цвести над Русью новою
Будут гречневые гении.

«Песнопослов». Том II, стр. 208).

* * *

Меня Распутиним назвали,
В стихе растрогой, без вина,
За то, что я из хвойной дали
Моей бревенчатой страны;
Что души печи и телеги
В моих колдующих зрачках,
И ледовитый плеск Онеги
В самосожженных стихах;
Что васильковая подденка,
Меж коленкоровых мимоз,
Я пугачевскою веревкой
Перевозил искусства воз.
Картавит дружба: «святоотатец»,
Приятельство: «хам и конокрад»,
Но мастера небесных матиц
Воздвигли вешему Царьград.
В тысячестолную Софию
Стекутся зверь и еловек.
Я Алконостную Россию
Запратал в дедовский сусек.
У Алконоста перья-строчки,
Пушинки — звездные слова;

Умрут Кольцовы-одиночки,
Но не лесов и рек молва.
Потомок бога Китовраса,
Сермяжных Пудов и Вавил,
Угнал с Олимпа я Пегаса
И в конокрады угодил.
Утихомирится Пегаска,
Узнав полеты в комуте...
По Занежью бродят сказки,
Что я женат на Красоте.
Что у меня в суставе — утка,
А в утке — песня и яйцо...
Спелась с кометой незабудка
В бракоискусное кольцо.
За Евхаристией шаманов
Я отпил крови и огня,
И не оборотчий Романов,
А вечность жалует меня.
Увы, для паусных умишек
Невятен огненный Талмуд,
Что миллионы чарых Гришек
За мной в поэзию идут.

«Песнопослов». Т. 2, стр. 205).

* * *

Где рай финифтяный и Сирин
Поет на ветке расписной,
Где Пушкин говором просирен
Питает дух высокой свой,
Где Мей ярочатый, Никитин,
Велесов первенец — Кольцов,
Туда бреду я, ликом скрытен,
Под ношей варварских стихов.
Когда сложу свою вязанку
Сосновых слов, медвежьих дум?
«К костру готовьтесь спозаранку» —
Гремел мой прадед-Аввакум.
Сгореть в мятельном Пустозерске
Или в чернилах утонуть?
Словопоклонник богомерзкий
Не знаю я, где орлий путь.

Поет мне Сирин издалеча:
«Люби, и звезды над тобой
Заполыхают красным вечем,
Где сердце-колокол живой».
Набат сердечный чует Пушкин —
Предвечных сладостей позт...
Как яблоновые макушки
Благоухает звукоцвет.
Он в фазной букве, в алой строчке,
В фазных-пестрой запятой.
Моя душа, как мох на кочке,
Препрета пушкинской весной.
И под лучем кудряво-смуглым
Дремуча глуть торфяников.
В мозгу же, росчерком округлым,
Станицы тянутся стихов.

«Песнопослов». Том 2, стр. 140).

ПАХАРЬ

Вы на себя плетете петли
И наостряете мечи.
Ищу вотще: меж вами нет ли
Рассвета алчущих в ночи.
На мне убогая сермяга,
Худая обувь на ногах,
Со сколько радости и блага
Сквозит в поруганных чертах.
В мой хлеб мешаете вы пепел,
Отраву горькую в вино,

ПЕСНЯ ПРО СУДЬБУ

Из-за лесу-лесу темного,
Из-за садика зеленого,
Не ясен сокол вылетывал, —
Добрый молодец выезживал.
По одежке он купецкий сын,
По общенью — парень-пахотник.
Он подыхал во чистом поле
Ко ракиотовому кусту,
С корня сламывал три прутика,
Повыстругивал три жеребья.
Он слезал с коня пеганого,
Становился на прогалине,
Черной земли низко кланяясь:

Но я, как небо, мудро-светел,
И не разгадан, как оно.
Вы обошли моря и сушу,
К созвездьям взвились корабли,
И лишь меня — мирскую душу,
Как жалкий сор, пренебрегли.
Работник господя свободный
На ниве жизни и труда,
Могу ль я вас, как терн негодный,
Не вырвать с корнем навсегда?

(«Песнополов». Том I, стр. 16)

«Ты ответствуй, мать сыра-земля,
С волчником-травой, с дубровою,
Мне какой заочно сужений,
Изо трех повыбрать жеребий?
Первый жеребий — быть лапотником,
Тихомудрым, черным пахарем,
Средний — духом ожелезиться,
Стать фабричным горемыкою,
Третий — рай высокий, мысленный,
Добру молодцу дарующий.
Там река течет животная,
Веют воздухи безбольные,
Младосте резвая не старится,
Не седеют кудри-вихорю!».

(«Песнополов». Том I, стр. 290)

В златотканые дни Сентября
Мнится папертью бора опушка.
Сосны молятся, ладон курая,
Над твоей опустелой избушкой.
Ветер-сторож следы старины
Заметает листовой шелестящей.
Распахни узорочье сосны,
Промелькни за березовой чащей!
Я узнаю косынки кайму,
Голосок с легковейной походкой...

Сосны шепчут про мрак и тюрьму,
Про мерцание звезд за решеткой,
Про бубенчики в жестком пути,
Про седые, бурятские дали...
Мир вам, сосны, вы думы мои,
Как родимая мать, разгадали!
В поминальные дни Сентября,
Вы сыновнюю тайну узнайте,
И о той, что погибла любя,
Небесам и земле передайте.

(«Песнополов». Том I, стр. 5)

Пушистые, теплые тучи,
Над плесом содовая марь.
За гатью, где сумрак дремучий,
Трезвонит Лесной Пономарь.

Плывут вечерые отгулы...
И чудится: витязей рать,
Развеся по ельнику тулы,
Во мхи залегла становать.

Осенняя явь Обонежья,
Как сказка, баякает дух.
Чу, гул... Не душа ли медвежья
На темень расплакалась вслух?
Иль чуёт древесная сила,
Провидя судьбу наперед,
Что скоро железная жила
Ей хвойную ризу прошьет.

Зовут эту жилу Чугункой, —
С ней лихо и гибель во мгле...
Подчельш с Ольховой лазушкой
Таятся в родимом дупле.
Тайга — Боговидящий инок,
Как в схиmu, закуталась в марь.
Природа великий поминок
Вещает Лесной Пономарь.
(«Песнополов». Том I, стр. 170)

Оси! ак гулче, ельник глуше,
Сне туманней и скудней,
В пару берлог раз'ели уши
У медвежат ватаги вшей.
У сосен сторожки вершины,
Пахуч и бур стволос янтарь.
На разопрелые низины
Летит с мошнухоу глухарь.

Бреду зареюшей опушкой, —
На сучьях пляшет солнопок.
Вон над прижухлоу избушкой
Вилает белчиный дымок.
Там коротают час досужий
За думой дед, за пражей мать...
Бурлят ключи, в лесные дужи
Глядится пней и кочек рать...
(«Песнополов». Том I, стр. 186)

«Безответным рабом
Я в могилу сойду,
Под сосновым крестом
Свою долю найду».
Эту песню певал
Мой страдалец-отец
И по смерти завещал
Допевать мне конец.

Но не стоном отцов
Моя песнь прозвучит,
А раскатом грома
Над землей пролетит.
Не безгласным рабом,
Прокляная житье,
А свободным орлом
Допую я ее.
(«Песнополов». Том I, стр. 35)

Я надену черную рубаху,
И вослед за мутным фонарем,
По камням двора пройду на плаху
С молчаливо-ласковым лицом.
Вспомню маму, крашеную прялку,
Синий вечер, дрему паутин,
За окном ночующую галку,
На окне любимый бальзамин.
Луговин поемные просторы,
Тишину обкошенной межи,
Облаков жемчужные узоры
И девичью песенку во ржи:
Узкая полосынька
Клинышком сошлась, —
Не во-время косынька
На две расплелась.
Развилась по спинушке,
Как лынная плеть.

Те тебе — детинушке
Девушкой владеть.
Дерева вилавого
Смаху не любить, —
Парня разудалого
Силой не любить.
Белая березынька
Клонится к дождю...
Не кукуй, загосынька,
Про судьбу мою...
Но прерут куранты крепостные
Песню-думу боем роковым...
Бред души! То заводи речные
С тростничком люют береговья!
Сердца сон кромешный как могила!
Опустил свой парус рыбарь-день.
И слезятся жалостно и хило
Огоньки прибрежных деревень.
(«Песнополов». Т. I, стр. 32)

КРАСНАЯ ПЕСНЯ

Распахните, орлиные крылья,
Бей, набат, и гремите, грома,
Оборвались цепи насилья
И разрушена жизни тюрьма!
Широки черноморские степи,
Буйна Волга, Урал элаторуд —
Сгнись, кровавая плаха и цепи,
Каземат и неправедный суд!

За Землю, за Волю, за Хлеб
Трудовой

Идем мы на битву с врагами —
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой!

Пролетела над Русью Жар-птица,
Ярый гнев закигая в груди...
Богородица наша Землица, —
Вольный хлеб мужику уроди!
Сбылись думы и давние слухи, —
Пробудился народ-Святогор;
Будет мед на домашней краюхе,
И на скатерти ярко узор.

За Землю, за Волю, за Хлеб
Трудовой

Идем мы на битву с врагами, —
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой!

Хлеб да соль, Костромич и Вольнец,
Олончанин, Москвич, Сибиряк!
Наша волошка — Божий гостинец —
Человечеству светлый маяк!
От Байкала до теплого Крыма
Расплеснется ржаной океан...

Ослепительной риз Серафима
Заревой Святогоров кафтан.

За Землю, за Волю, за Хлеб
Трудовой

Идем мы на битву с врагами, —
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой!

Ставьте-ж свечи мужицкому Спасу!
Знание — брат и Наука — сестра, —
Лик пшеничный, с брадой солнце-
власой, —

Воплошенье любви и добра!
Оку Спасову сумрак несносен,
Ненавистен телец золотой;
Китеж-град, ладон Саровских сосен —
Вот наш рай вожделенный, родной.

За Землю, за Волю, за Хлеб
Трудовой

Идем мы на битву с врагами, —
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой!

Верьте-ж, братья, за черным не-
настьем

Блещет солнце — Господе окно;
Чашу с кровью — всемирным при-
частьем

Нам испить до конца суждено.
За Землю, за Волю, за Хлеб
Трудовой

Идем мы на битву с врагами,
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой!

(«Песнослов». Т. II, стр. 170).

ТОВАРИЩ

Революцию и Матерь Света¹
В песнях возвеличим,
И семирогие кометы

² На пир бессмертия закличем.
Ура, Осанна — два ветра-брата

В плащах багряных трубят, поют...
Завод железный, степная хата

Из урганов знамена ткут.
Убийца красный — святей потира,
Убить — воскреснуть и пасть —

ожить...
Браду морскую, волосья нира

Коммуна-пряха спрядает в нить.

Из нитей невод сплетет Отвага,
В нем затрепещут стада веков.
На горной выси, в глуши оврага,

Цветет шиповник пурпурных слов.
Товарищ ярый, мой брат орлиный,
Вперяясь в пламя и пламя пей!

Потемки шахты, дымок овиный
Отгнались в перстень ясные дней!

А ночи — вставки в их гранях
глуби

Стихов бурных, лавинных строк,
Мы ало гибнем, прибойно любим,
Как злая клятва — любви зарок.

Как воск алтарный — мазоль на пятке,
На яркой шее — веревки след,
Пусть в Пошехоньи чадят лампадки
Пред ликом Мести — лучи комет.

И лик столярный нам кровно-ясен,
В нем сны заводов, раздумье нив...
Товарищ верный, орел прекресеи,
Но ты, как буря, как жизнь, краси!

(«Песнослов». Т. II, стр. 182).

* * *

Из подвалов, из темных углов,
От машин и печей огнеглазых
Мы восстали могучей громаю,
Чтоб увидеть все небо в алмазах,
Узнать серафимов хвалы,
Причаститься из Спасовой чаши!

Наши юноши — в тучах орлы,
Звезд задумчивей — девушки наши.
Город — дьявол копытами бил,
Устрашая нас каменным зевом,
У страдальческих теплых могил

Обручились мы с пламенным гневом.

Гнев повел нас на тюрьмы, дворцы,
Где на правду оковы ковались...
Не забудь, как с детьми отцы
И с нестною милей прощались...
Мостовые расскажут о нас,
Камни знают кровавые были...

В золотой победительный час
Мы сраженных орлов схоронили.
Поле Марсово — красный курган,
Храм победы и крови невинной...
На державу лазоревых стран
Мы помозаны кровью орлиной.

(«Песнослов». Т. II, стр. 183).

ИЗ «КРАСНОЙ ГАЗЕТЫ»

Пусть черен дым кровавых ятежей
И рыщет Оторопь во мраке, —

Уж отточены миллионы ножей
На вас, гробовые вурдалаки!
На вы изгрызли душу народа

Загадили светлый божий сад,
Не будет ни ляды, ни парохода
Для отпльтия вашего в гнойный ад.

Керенками вымощенный проселок —
Ваш лукавый искариотский путь;
Христос отдохнет от терновых иголок
И легко вздохнет народная грудь.

Сгинут кровосмешители, прости-
тутки,

Церковные кружки и барский шик,
Будут ангелы срывать незабудки
С луговин, где был лагерь ник.

Бедуинам и желтым корейцам
Не будет запретным наш храм...
Слава мученикам и красноармейцам,
И серьезным советским властям!

Русские юноши, девушки, отзовитесь:
Вспомните Раина и Перовскую Софию!
В ливную красную веру креститесь,
В гибели славьте невесту — Россию!

(«Песнослов». Т. II, стр. 187).

ЛЕНИН

Есть в Ленине Керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разорух

Он ищет в Поморских Ответах.
Мужицкая ныне земля,
И церковь — не наймит казенный.

Народный испод шевеля,
Несется глагол краснозвонный.

Нам красная молвь по уму, —
В ней пламя цветные сафьяна;

То Черная Неволи Басму
Попрала стопа Иоанна.

Борис-элаторднй мураза
Трезвонит Иваном Великим,
А Лениним — вихрь и гроза

Причислены к ангельским ликам.
Есть в Смольном потемки трущоб
И привкуз хвои с костяничкой,
Там нищий колодный гроб

С останками Руси великой.
«Куда хоронить мертвца» —
Толкует удухаль ватага...
Поземкой пылит с Коневца

И плещется взморье-баглага.

Спросить бы у тучки, у звезд,
У зорь, что румянят ракиты...
Зловещ и пустынен погост,
Где царские бармы зарыты.

Их ворон-судьба стережет
В глухих присподних могилах...
О чем же тоскует народ
В напевах татарско-унылых?

(«Песнослов». Т. II, стр. 230).

С К А З К Е

Ветхая ставень, резьба,
Кровли узорный конек,
Тебе, моя сказка, судьба
Войти в теренок.
Счастья—Царевны глаза
Там цветут в тишине,

И пленных небес бирюза
Томится в окне.
По зиме в теремок прибреду,
Про свои поведать вины,
И глухую старуху найду
Вместо синей, звенящей весны.

(«Лесные бьялы», стр. 50).

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

В степи чумашкая зола
Твой стих, гордыню остужен,
Из мыловарного котла
Тебе не выловить жемчужин.
И груз Кобыльных кораблей—
Обломки рифы, хромые стопы,
Не с Коловратовых полей,
В твоем венке гелиотропы.
Их поливал Мариенгоф
Кофейной гущей с никотином...
От оклеватанных голгоф
Тропа к иудиным осинам,
Скорбит Рязанская земля,
Седея просом и гречихой,
Что, соловьиный сад трепля,
Парит Есенинское лихо.
Оно, как стая воронят
С нечистым граем, с жадным зобом,

И опадает песни сад
Над материнским строгим гробом,
В гробу пречистые персты,
Лапотцы с посохом железным—
Имажинистские цветы
Претят очам многоболезным.
Словесный брат, внемли, внемли
Стихам-берестяным оленям:
Олонекские журавли
Христосуются с Голубенем.
Трерядница и Песнослов—
Садко с зеленой волянницей.
Не счесть левучих жемчугов
На нашем дитище—страннике.
Супруги мы... В живых веках
Закослится наше семя,
И вспомнит нас младое племя
На песнотворческих пирах.

(«Львиный хлеб», стр. 55).

З А В Е Щ А Н И Е

В час зловещий, в час могильный,
Об одном тебя молю:
Не смотри с тоской бессильной
На всходящую зарю,
Но, верна словам завета,
Слезы робости утри
И на проблески рассвета,
Торжествующе смотри.

Не забудь—за далью мрачной
Средь волнующих забот,
Что взмог я новобранно
По заре на эшафот,
Что, ослив злое горе,
Ложью жизни не дыша,
В заревое пала море
Отнекрылая душа.

(«Лесные бьялы», стр. 71).

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

(Автобиография)

Я сын крестьянина. Родился в 1895 г. 21 сентября в Рязанской губернии, Рязанского уезда, Козминой волости. С 2-х лет по бедности отца и по многочисленности семейства был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с которыми протекало почти все мое детство. Дядя мои были ребята озорные, отчаянные. Трех с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку. Потом меня учили плавать. Дядя Саша брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и пока я не захлебывался, он все кричал: «Эх, стерва! Ну, куда ты годишься». «Стерва» было у него слово ласкательное. После, лет восемь, другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавая по озерам за подстреленными утками. Очень хорошо был я выучен лазить по деревьям. Из мальчишек со мной никто не мог тягаться; многим, кому грачи в полдень после пахоты мешали спать, я снимал гнезда с берез, по гривеннику за штуку. Один раз сорвался, но очень удачно, оцарапав только лицо и живот и разбив кувшин с молоком, который нес на косьбу деду. Среди мальчишек я всегда был конволом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах. За озорство меня ругала одна только бабка, а дедушка иногда сам подзадоривал на кулачную и часто говорил бабке: «Ты у меня, дура, его не трожь! Он так будет крепче». Бабушка любила меня изо всей души, и нежности ее не было грани. По субботам меня мыли, стригли ногти и гарным маслом гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых волос. Но и масло мало помогало. Всегда я орал благим матом и даже теперь какое-то неприятное чувство имею к субботе. По воскресеньям меня всегда посылали к обедне и, чтобы проверить, что я был у обедни, давали 4 копейки. Две копейки на профсору и две на выемку частей священнику. Я покупал профсору и вместо священника делал на ней перочинным ножом три знака, а на другие две копейки шел на кладбище играть с ребятами в свинчатку. Так протекало мое детство. Когда же я подрост, из меня очень захотели сделать сельского учителя и потому отдали в закрытую церковно-приходскую школу, окончив которую 16-ти лет, я должен был поступить в Московский учительский институт. К счастью, этого не случилось. Методика и дидактика мне так осточертели, что я и слушать не захотел. Стихи я начал писать рано, лет 9-ти, но сознательное творчество отношу к 16—17 годам. Некоторые стихи этого времени помещены в «Радунице». 18-ти лет я был удивлен, разослав свои стихи по журналам, тем, что их не печатают, и неожиданно грянул в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй Городецкий. Когда же я смотрел на Блока, с меня падал пот, потому что я первый раз видел живого поэта. Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова. С Клюевым у меня завязалась, при всей нашей внутренней распри, большая дружба, которая продолжается и посейчас, несмотря на то, что мы 6 лет друг друга не видели.

Живет он сейчас в Вытегре, пишет мне, что ест хлеб с мякиной, запивая пустым кипятком и моля бога о непостыдной смерти. За годы войны и революции судьба меня толкала в разные стороны. Россию я исколесил

вдоль и попереk, от Северного Ледовитого Океана до Черного и Каспийского морей, от Запада до Китая, Персии и Индии.

Самым лучшим временем в моей жизни считаю 1919 год. Тогда мы зиму прожили в 5 градусах комнатного холода. Дров у нас не было ни полена. В РКП я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее. Любимый мой писатель — Гоголь. Книги моих стихов: «Радуница», «Голубень», «Преображенье», «Сельский Часослов», «Трерядница», «Исповедь хулигана», «Пугачев».

Сейчас работаю над большой вещью под названием «Страна негодяев». В России, когда не было бумаги, я печатал свои стихотворения вместе с Кусиковым и Мариенгофом на стенах Страстного монастыря, или читал просто где-нибудь на бульваре. Самые лучшие поклонники нашей поэзии протитутки и бандиты. С ними мы все в большой дружбе. Коммунисты нас не любят по недоразумению. Засим, всем читателям моим нижайший привет и маленькое внимание к вывеске: «прост не стрелять!»

С. Есенин.

Берлин, 14 мая 1922 г.
(Из «Русской книги» № 5, 1922 г. Берлин).

Сергей Есенин отозвался на революцию в 1918 году в коллективном сборнике «Красный звон», где он выступил с целым рядом прекрасных стихотворений, проникнутых красотой ярких и необычных образов, согретых огнем неподдельного вдохновения. Лучшим из этих стихотворений была былина о Марфе Посаднице, стильная, величественная и ударяющая по сердцам с неведомой силой... Эта поэма-былина была написана еще в сентябре 1914 г., но могла появиться только в 1918 г. Начинаясь она строками:

Не сестра месяца из темного болота
В жемчуге кокошник в небо запрокинула,
Ой, как выходила Марфа за ворота,
Письменище черное из дулейки вынула.
Расколосся зыками колокол на вече,
Замахали кружевом полотнища зорние,
Услыхали Ангелы голос человечесий,
Отворили наскоро окна-ставни горние.
Возговорит Марфа голосом серебряно:
Ой-ли, внуки Васькины, правнуки Микулы!
Грамотой Московской изволено-повелено
Выгомонить вольницы, бражнице загулы.
Заходила буйница выхвали старинной,
Бороды, как молнии, выпятили грозно:
— Что нам Московия, как поставник блинный!
Там бояр-те жены хлыстают загозно!

В союзе с Антихристом идет царь Московский на вольный Новгород, который ему «ног не лобызает»... Чтобы задуть волю Новгородскую, царь продал Вельзевулу душу свою и расписался своею кровью... Только дал Вельзевулу царю сроку четыреста лет и сказал ему:

Как пойдет на Москву заморский Иуда
Тут тебе с Новгородом и сладу нет.

О том, что над Новгородом нависла «туча вихриста», узнала Марфа от голубей, принесших ей письмо из райского терема, от самого бога. Узнала

Марфа, что «Московский царь на кровавой гильбе продал душу свою антихристу».

И вот в 1914 г. внук раскольника Сергей Есенин вспоминает, что минули сроки неволи, что минуло 400 лет и наступила пора

Исполнить святой Марфин завет,
Заглушить удайло Московский шум.
А пойдемте, бойцы, ловить кречетов,
Отшлем дикомыта с потребою к царю,
Чтобы дал нам царь ответ в сечи той,
Чтобы не застил он Новгородскую зорю.

Это изумительное по строгой красоте стихотворение, приветствовавшее в 1914 г. Новгородскую зорю, показывало, какие возможности предстояли молодому поэту, которому в 1914 г. было всего 19 лет.

В ряде других революционных стихотворений: «Товарищ», «Ус», «Певучий зов», «Отчарь» поэт-крестьянский сын явился откликом «буйственной Руси», «е певучих зовов».

Каждая строка его песен светилась, горела огнем восторга и мечты, ликованьем пасхальных песнопений.

Радуйтесь!
Земля предстала
Новой купели!

Догорели
Синие мятели,
И земля потеряла жало...

(«Красный звон», стр. 36).

Так поет С. Есенин, и в песнях его слышен «Волховской звон и Буслаев загуль». Будущее рисуется поэту, как золотое лето в голубом саду, и кажется веселому кудрявому песеннику, синеглазому благовестителю, что

Кто-то мудрый, несказанный,
Все себе подобя,
Всех живших гREET песней,
Мертвых — сном во гробе.

Кто-то учит нас и просит
Постигать и мерить,
Не губить пришли мы в мире.
А любить и верить!

(«Красный звон», стр. 38).

Из революционных стихов С. Есенина особенной задумчивостью и необычной красотой отличалось чудесное стихотворение «Товарищ».

Эти немногие революционные стихотворения С. Есенина были отмечены печатью большого оригинального дарования. И во всех этих красных поэмах и песнях была одна характерная для поэта-крестьянина черта: его Марфа Новгородская переписывается с богом, Московский царь продал душу антихристу, Мартин идет биться «за равенство, за труд» вместе с товарищем Иисусом, донской казак Ус «смотрит Иисусом»... Пеню революции хочется слить пасхальный звон храмов с красным звоном революции, страстотерпца Христа пасхальных песнопений сблизить с самоотверженным героем революции, хочется повенчать религиозное с революционным. В самую религию пытается С. Есенин влить новое революционное содержание, но делает это с большой смелостью и с очень скудным багажом. В книге «Преображенье» пишет он очень длинное стихотворение «Инония», посвящает его пророку Иеремии, начинает его трескучими словами, совершенно не идущими к его прежней манере писать, к его, обычно искреннему, задуманному тону. Не революционно, а смешно, по-мальчишески нелепо звучат его слова: «Даже богу я выпилило бороду осколком моих зубов».

С телячьей радостью поет-мычит Есенин о своем «отелившемся боге», на радость Шершеневичам и Мариенгофам славит новое Вознесенье, нагромождает образы один необычней другого, но вся его новая вера сводится к проповеди радости, жизни, «без креста и мук».

Новый на кобыле
Едет к миру Спас.

Наша вера в силе,
Наша правда — в нас.

В этой новой вере, которой отелился «пророк Есенин», остались старые мехи, в которые пытается под влиянием революции влить новое вино всегда радостный и всегда «разбойный» Сергей Есенин. Старые мехи расплываются, а новое вино льется в грязь Мариенгофщины. То, что было революционного и ценного в этом вине, давно уже провозглашено без всякого ломанья и кощунства, без всякого показывания языка, без всякого «отеленья»... Это стихотворение показательно, как документ революционной эпохи, а не как пророческое послание, оно интересно, как следствие, а не как причина. Но в этом пьяном лепете нельзя не отметить общую черту новой поэзии: хмельную радость, дерзкий вызов прошлому.

В своих стихах Сергей Есенин силен не мыслью, а настроением. И когда это настроение искренно, когда оно выражается без вычура, без позы и кривлянья, без шаманства — оно захватывает и пленяет читателя. А когда этого настроения нет, получается что-то крикливо-вымученное, и хочется напомнить тогда поэту его же стихи из книги «Преображение».

Песни, песни, чего вы кричите?
Иль вам нечего больше дать?
...Несчастье родиться поэтом
И своих же стихов не любить!..

Его прекрасные революционные стихи пришли к нему, как радостный гость на короткое время, пришли не как результат глубокого революционного мирозерцания, а как вспышка восторженного настроения.

После 1919 г. С. Есенин отходит все дальше от этих настроений. Вчерашнему «революционеру» более по душе «Исповедь хулигана». Он «похабную надпись заборную обращает в священный псалом». Он сближается с литературной богемой, с группой поэтов из буржуазной среды. Шелковую косоворотку и мужичкиный армячек, он сменяет на новые одежды. «А теперь хожу в цилиндре и лаковых башмаках», пишет друг Мариенгофа и Шершеневича. В его новую поэзию ворвался «лаковый» стих поэтов, отравленных литературщиной. В своей книге «Четвертый Рим» Н. Клюев отмежевывался от своего вчерашнего спутника:

«Не хочу быть знаменитым поэтом
В цилиндре и в лаковых башмаках,
Предстану миру в песню одетым
С медвежьим солнцем в зрачках,
С потемками хвои в бородине,
Где в случке с рысью рычит лесовик»...

На творчестве С. Есенина ярко сказался кризис, пережитый патриархальной деревней. Он пропел «сорокост» над старым уходящим миром, но сам оказался поэтом, у которого все больше уходит из-под ног почва. Городская богема засасывает его, а город отравляет внешним блеском. От деревенской революционности С. Есенин «озорник с детства» пришел к деревенскому ни-

лизу, от деревенского нигилизма — к нигилизму городской богемы. Но после поездки, или полета, за границу и посещения Америки и Европы, Есенин стоит на грани пересмотра своего мировоззрения. Современный город с его железным гулом властно врывается в его поэзию. Связь его с прежней группой имажинистов рвется. Талантливому поэту недостает культурности, и серьезной угрозой его творчеству является тот хулиганский нигилизм, который он нередко воспевает. В 1923 г. он пытается объединиться с группой ново-крестьянских поэтов и задумывает вместе с ними издавать журнал «Россияне», но, прежде чем приняться за что-либо серьезное, талантливому поэту, отравленному ядом кабачков, надо очистить свое мировоззрение, надо понять, что в писательстве надо сохранять «сердце чисто» и хорошо и трезво разбирать «правая левая, где сторона»... Над этим пора, давно пора серьезно задуматься Сергею Есенину, этому талантливейшему из поэтов. Ему много дано, с него много и взывается!

В. Львов-Рогачевский.

ТОВАРИЩ

Он был сыном простого рабочего,
И повесть о нем очень короткая.
Только и было в нем, что волосы, как ночь,
Да глаза голубые, кроткие.
Отец его с утра до вечера
Гнул спину, чтобы прокормить крошку;
Но ему делать было нечего,
И были у него товарищи: Христос да кошка.
Кошка была старая, глухая,
Ни мышей, ни мух не слышала,
А Христос сидел на руках у матери
И смотрел с иконы на голубей под крышею.
Жил Мартин, и никто о нем не ведал.
Грустно стучали дни, словно дождь по железу.
И только иногда за скудным обедом
Учил его отец распевать марсельезу.
«Выростешь, — говорил он, — поймешь...
Разгадаешь, отчего мы так нищи!» —
И глухо дрожал его шершавый нож
Над черствой горбушкой насущной пищи.

Но вот, под тесовым
Окном —
Два ветра взмахнули
Крылом:
То с вешнею польемью
Вод
Взметнулся Российский
Народ!..
Ревут валы,
Поет гроза!
Из синей мглы
Горят глаза.

За взмахом взмах,
Над трупом труп;
Ломает страх
Свой крепкий зуб,
Все взлет и взлет,
Все крик и крик!
В бездонный рот
Бежит родник!..
И вот, кому-то пробил
Последний, грустный час...
Но верьте, он не сробел
Пред силой вражьих глаз!..

Душа его, как прежде,
 Бесстрашна и крепка,
 И тянется к надежде
 Бескровная рука.
 Он не задаром прожил,
 Недаром мял цветы;
 Но не на вас похожи
 Угасшие мечты...
 Нечаянно, негаданно
 С родимого крыльца
 Донесся до Мартина
 Последний крик отца.
 С потухшими глазами,
 С погливой синью губ,
 Упал он на колени,
 Обняв холодный труп.
 Но вот приподнял брови,
 Протер рукой глаза,
 Вбежал обратно в хату
 И стал под образа.
 «Исус, Исус, ты слышишь?
 Ты видишь? Я один!
 Тебя зовет и кличет
 Товарищ твой Мартин...
 Отец лежит убитый,
 Но он не пал, как трус!..
 Я слышу, он зовет нас,
 О, верный мой Исус!
 Зовет он нас на помощь,
 Где бьется русский люд,
 Где бьется русский люд,
 Велит стоять за волю,
 За равенство, за труд!»
 И, ласково приемля
 Речей невинных звук,
 Сошел Исус на землю
 С неколебимых рук,
 Идут рука с рукою,
 1917 г., март.

За темной прядью перелесниц,
 В неколебимой синеве,
 Ягненок кудрявый-месяц
 Гуляет в голубой траве.
 В затихшем озере с осокой
 Бодаются его рога, —
 И кажется с тропы далекой
 Вода качает берега.
 А степь под пологом зеленым
 Кадит черемуховый дым,
 И за долинами по склонам
 Свивает полямя над ним.

А ночь черна, черна!..
 И пыжится бедою
 Седая тишина.
 Мечты цветут надеждой
 Про вечный, вольный рок.
 Обои нежит вежды
 Февральский ветерок.
 Но вдруг... огни сверкнули...
 Залаял медный груз!
 И пал, сраженный пулей,
 Младенец Исус.
 Слушайте:
 Больше нет воскресенья!
 Тело его предали погребню:
 Он лежит
 На Марсовом
 Поле...
 А там, где осталась Мать,
 Где ему не бывать
 Боле,
 Сидит у окошка
 Старая кошка
 Ловит ларную луну...
 Ползает Мартин по полу:
 «Соколы вы мои, соколы,
 В плену вы,
 В плену!!»
 Голос его все глуше, глуше,
 Кто-то давит его, кто-то душит,
 Палит огнем.
 Но спокойно звенит
 За окном,
 То погаснув, то вспыхнув
 Снова,
 Железное
 Слово:
 «Пре-ес-пуу-блика»

(«Сельский часослов», стр. 19).

* * *

О сторона ковыльной пуши,
 Ты сердцу ровностью близка,
 Но и в твоей таится гуще
 Солончаковая тоска.
 И ты, как я, в печальной требе,
 Забыв, кто друг тебе и враг,
 О розовом тоскуешь небе
 И голубиных облаках.
 Но и тебе из синей шири
 Пугилю кажет темнота
 И кандалы твоей Сибири
 И горб Уральского хребта.

(«Голубень», стр. 13).

ГОЛУБЕНЬ

В прозрачном холоде заголубели
 доли,
 Отчетлив стук подкованных копыт.
 Трава поблекшая в расстеленные
 поля
 Сбирает медь с обветренных раки.
 С пустых лошин ползет дугою то-
 щей
 Сырой туман, курчаво свившись
 в мох,
 И вечер, свесившись над речкою,
 полощет
 Водою белой пальцы синих ног.
 Осенним холодом расцвечены на-
 лежды.
 Бредет мой конь, как тихая судьба,
 И ловит край махающей одежды
 Его чуть мокрая буланая губа.
 В дороге дальною, не к битве, не
 к покою
 Влекут меня незримые следы,
 Погаснет день, мелькнув пятой зла-
 тою,
 И в короб лет улягутся труды.
 Сылучей ржавчиной краснеют по
 дороге
 Холмы плешивые и слегший пе-
 сок,
 И пляшет сумрак в галочей тре-
 вове,
 Согнув луну в пастушеский рожок.
 Молочный дым качает ветром
 села,
 Но ветра нет, есть только легкий
 звон.
 И дремлет Русь в тоске своей ве-
 селой.

Вцепивши руки в желтый круто-
 склон.
 Манит ночлег, недалеко до хаты,
 Укропом вялым пахнет огород,
 На грядки серые капустой волно-
 ватой
 Рожок луны по капле масло льет.
 Тянусь к теплу, вдыхаю мягкость
 хлеба,
 И с хрустом мысленно кусаю огур-
 цы,
 За ровной гладью вздрогнувшее
 небо
 Выводит облако из стойла под
 удзы.
 Ночлег, ночлег, мне издавна зна-
 кома
 Твоя попутная разымчивость в кро-
 ви,
 Хозяйка спит, а свежая солома
 Примята ляжками вдовеющей любви.
 * Уже светает, краской тараканьей
 Обедена божница по углу;
 Но мелкий дождь своей молитвой
 ранней
 Еще стучит по мутному стеклу.
 Опять передо мною голубое поле,
 Качают лужи солнца рдяный лик.
 Иные в сердце радости и боли
 И новый говор липнет на язык.
 Водю зыбкой стынет синь во
 взорах,
 Бредет мой конь, откинув ушла,
 И горстью смуглою листья послед-
 ний ворох
 Кидает ветер вслед из подкола.
 («Голубень», стр. 58).

* * *

Гой ты, Русь, моя родная,
 Хаты — в ризах образа...
 Не видать конца и края —
 Только синь сосет глаза...
 Как захожий богомолец,
 Я смотрю твои поля,
 А у низеньких околиц
 Звонно чахнут тополя.
 Пахнет яблоком и медом
 По церквам твой кроткий Спас,

И гудит за корогодом
 На лугах веселый плас.
 Побегу по мятой стежке
 На приволь зеленых лех,
 Мне навстречу, как сережки,
 Прозвенит девичий смех.
 Если крикнет рать святая:
 — Кинь ты Русь, живи в раю!
 Я скажу: не надо рая,
 Дайте родину мою!

(«Радуница», стр. 18).

* * *

Матушка в купальницу по лесу ходила,
Босая с подтыками по росе бродила.
Травы воровжиные ноги ей кололи,
Плакала родимая в купырях от боли.
Не дознамо печени судорга схватила,
Охнула кормилица, тут и породила.
Родился с песнями, в травном одеяле.
Зори меня вешние в радугу свивали.
Вырос я до зрелости, вник купальничной ночи,

* * *

Проплакал, проплакал дождь весенний,
Замерла гроза.
Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,
Подымать глаза...
Скучно слушать под небесным древом
Взмах незримых крыл:
Не разбудишь ты своим напевом
Дедовских могил!
Привязало, осаднило слово
Даль твоих времен.
Не в ветрах, а, зная, в томах
тяжелых
Прозвенит твой сон.
Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи,
Вытянет персты.

ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА¹

Дождик мокрыми метлами чистит
Ивняковый помет по лугам,
Плюйся, ветер, охапками листьев
Я такой же, как ты, хулиган.
Я люблю, когда синие чаши,
Как с тяжелой походкой волю,
Животами листовой хрипящими
По коленам марают стволы.
Вот оно мое стадо рыжее!
Кто ж воспеть его лучше мог?

¹ Есенин. «Исповедь хулигана», 1921.

Сутемень колдовная счастье мне пророчит.
Да не любо молодцу счастье наготове,
Выбираю удалью и глаза и брови.
Пусть бы меня хаяли, пусть бы все гаддели,—
Не сплунуть соколика на словах и деле.
Как снежинка белая, в просини я таю,
Да к судьбе-разлучнице след своей заметаю.

(«Радуница», стр. 37).

Близок твой кому-то красный вечер,
Да неужен ты.
Вскольхнет он Брюсова и Блока,
Встормошит других,
Но все так же день взойдет с восточка,
Так же вспыхнет миг.
Не изменят лик земли напевы,
Не страшнут листа...
Навсегда твои пригвождены ко древу
Красные уста.
Навсегда простиер глухие длани
Звездный твой Пилат.
Или, или лима Савафани,—
Отпусти в закат!

(«Преображение», стр. 26).

Бродит черная жуть по холмам,
Злобу вора струит в наш сад,
Только сам я — разбойник и хам
И по крови степной конокрад.
Кто видал, как в ночи кипит
Кипяченных черемух рать?
Мне бы в ночь в голубой степи
Где-нибудь с кистенем стоять.

Ах, увял головы моей куст,
Засосал меня песенный плен.
Осужден я на каторге чувств
Вертеть жернова поэм.
Но не бойся, безумный ветер,
Плюй спокойно листовой по лугам.
Не сотрет меня кличка «поэт»
Я и в песнях, как ты, хулиган.

СОРОКОУСТ

А. Мариенгоф

1.

Трубит, трубит погибельный рог!
Как же быть, как же быть теперь нам
На измызганных ляжках дорог?
Вы, водители песенных блох,
Не хотите-ль пососать у мерина?
Полно кротостью мордичь праздничься.

Любо ль, не любо ль, знай бери.
Хорошо, когда сумерки дразнятся
И высыплют вам в толстые задницы
Окровавленный венчик зари.
Скоро заморозь извостью выбейт
Тот поселок и эти луга.
Никуда вам не скрыться от гибели,
Никуда не уйти от врага.
Вот он, вот он с железным брюхом,
Тянет к глоткам равнин пятерню,
Видит старая мельница ухом,
Навострив мукомольный нюх.
И дворовый молчалиник бык,
Что весь мозг свой на телок пролил,

Втырая о прясло язык,
Почуял беду над полем.

1923 г.

2.

Ах, не с того ли за селом
Так плачет жалостно гармоника:
Тая, ля-ля, тили-ли-гом,
Висит над белым подоконником.
И желтый ветер осенницы
Не потому ли синь рябью тронув
Как будто бы с коней скребницей

Очесывает листья с кленов.
Идет, идет он — страшный вестник,
Пятай громоздкой чащи ломит.
И все сильней тоскуют песни
Под лягушинный писк в соломе.
О, электрический восход,
Ремней и труб глухая хватка,
Се изв древенчатый живот
Трясет стальная лихорадка!

3.

Видели ли вы,
Как бежит по степям
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поездов?
А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закливая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?
Милый, милый, смешной дуралей,
Ну, куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых
коней

Победила стальная конница?
Неужель он не знает, что в полях
бессиянных

Той поры не вернет его бег,
Когда пару красивых степных россиянок

Отдавал за коня печенег?
По иному судьба на торгах пере-
красила

Наш разбуженный скрежетом плещ
И за тысячи пудов конской жижи
и мяса

Покупают теперь паровоз.

4.

Чорт бы взял тебя, скверный гость!
Наша песня с тобой не скивется,
Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить, как ведро в колодеце.
Хорошо им стоять и смотреть,
Красить рты в жестяных поцелуях,

Только мне, как псаломщику петь
Над родимой страной Аллилуя,
Оттого-то в сентябрьскую склень
На сухой и холодный суглинок
Головой разможась о плетень
Облился кровью ягод рябина.
Оттого-то вросла тужиль
В переборы тальянки звонкой,
И соломой пропахший мужик
Захлебнулся лихой самогонкой.

Август, 1920.

* * *

Все живое особой метой,
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То наверно был мошенник и вор.
Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.
И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:
— Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет. —
И теперь вот, когда простыла
Этих дней кипячковая вязь,

Беспокойная, дерзкая сила
На поэмы мои пролилась.
Золотая, словесная груда,
И над каждой строкой без конца
Отражается прежняя удаль
Забавки и сорванца.
Как тогда я отважный и гордый,
Только новью мой брызжет шаг...
Если раньше мне били морду,
То теперь вся в крови душа.
И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
— Ничего! Я споткнулся о камень
Это к завтраму все заживет!

* * *

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.
Был я весел, как запущенный сад,
Был на женщин и зелье падкий,
Разонавилось пить и плясать
И терять свою жизнь без олядки.
Мне бы только смотреть на тебя,
Видеть глаз златокарый омут,
И чтоб прошлое не любя,
Ты уйти-не смогла к другому.

Поступь нежная! Легкий стан! —
Если б знала ты сердцем упорным,
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть покорным.
Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил,
Только б тонко касаться руки
И волос твоих цветом в осень.
Я б навеки пошел за тобой,
Хоть в свои, хоть в чужие дали...
В первый раз я запел про любовь
В первый раз отрекаюсь скандалить

* * *

Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России,
Знаешь ты одинокий рассвет,
Знаешь ты холод осени синий.
По смешному я сердцем влип,
Я по глупому мысли занял,
Твой иконный и строгий лик.

По часовням висел в рязнях,
Я на эти иконы плевал.
Чтил я грубость и крик в поеве,
А теперь вдруг растут слова
Самых нежных и кротких песен.
Не хочу я дететь в зенит,
Слишком многое теду надо.

Что не так имя твое звенит
Словно августовская прохлада?
Я — ни нищий, ни жалок, ни мал,
И умею расслышать за пылом:
С детства нравиться я понимал
Кобылам да степным кобылам.
Потому и себя не сберег

Для тебя, для нее и для этой,
Неселого счастья залог
Сумасшедшее сердце поэта.
Потому и грущу, осев
Словно в листья, в глаза косые...
Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.

(«Красная Нива» № 41, 1923 г.).

ПОЭТ ПОВОЛЖЬЯ

Памяти Александра Ширяевца (1887—1924 г. 15 мая)

Сын волжского крестьянина Василия Ивановича Абрамова из села Ширяева, что притаялось в Жигулях над Волгою, потомок вольной разбойной гольтыбы из ватаги Стеньки Разина, что осела в Жигулях и в Ширяеве также, Александр Васильевич Абрамов воплотил в своих песнях ширяевское, волжское, мужицкое, разбойное и стал певцом «широкого раздолья»: буйством, удалью и хмелем зазвучали его жигулевские песни и сказы.

Потомок вольницы стал поэтом не «вольнотлюбивой мечты», а вольнолюбивой жизни, жизни — песни и жизни — сказа. Не оседлостью, не властью земли, не домашним уютом веет от этих бунтарски-скитальческих песен гольтыбы.

И если Сергей Клычков сложил «домашние песни» и воспел крепкого мужичка, то Александр Ширяевец, вечный бездомник, дал нам разбойные песни и воспел вольного сокола, для которого дороже всего «волевать».

Эпиграфом к лучшей своей книге «Раздолье» он взял слова песни:

Вниз да по матушке по Волге,
По широкому раздолью.

Как певец раздолья, войдет он в русскую литературу вместе со своей «Заявкой»:

Пышут зори—зореницы
На коне Эгорий мчится.

* * *

О победе звонко трубит,
Черных гадов с маху рубит,

* * *

Отворяет все темницы
Пышут зори—зореницы...

Звучащие красно-набатным звоном слова стали его излюбленными словами-звучками:

Лажу гусельки—яровчаты
Песней звонкою зальсьо...

Поет он в одной песне и в другой, хмельный от радости, захлебываясь от красных звуков, полный бурноогневой силы, припевает в такт своей саратовской гармонии:

Загуди сильнее,
Красный веший звон!...
...Песенные гулы
Красный звон шальной,
— Веселись, Микула,
Царь земли родной!

Он вместе с волжским людом, вместе со всей страной переживает светлый праздник, когда

Воскрешен весь люд бездольный
Словом властным,
И запели колокольни
Звоном красным.

И он обращается к «Родине» с песнями пробуждения.

Русь, вставай! Довольно муки!
Нет ни тюрем, ни оков!
Слышишь радостные звуки
Вечевых колоколов...

И снится волжскому, жигулевскому певцу, ширяевскому звонарю, что

...Не умер Стенька Разин —
Снова, грозный, он идет...
И гудит ватага Стеньки
Все грознее и звончей!...

И слышит на грозный призыв ширяевский поэт и поет свои удалые красные песни, и звучат в этих песнях голоса его крепостных предков и буйной вольницы, порвавшей с рабством и бежавшей в Жигули:

Тяги! Деда!
Лапотники,
Пахотники,
Чернокостники — смерды!
— А кто с Альпийских лысин свистнул
На весь мир?
— Вы!
— Вы!
Кто песенных
Жар-птиц метнул по свету? —
— Вы!
— Вы!
Печальники,
Кабальники,
Безвестники —
Смерды!...

Пламенный, гневный протест рабов, беззаветно хмельную удаль вольницы, жалобы и стоны матерей и бабушек впитал с детства волжский поэт.

И все эти «мамыньки, баушки, Арины Родионовны, зацапаннные барами и стогрбленные буднями черными» и богатые легендами, сказами и песнями, стояли у колыбели его и были восприимчивыми его. Матери и отцы наделили его молитвенным раскольничьим напевом лесных скитов и удалым разбойным кличем... волжских набегов.

И сплелись в его песенном творчестве красные мятежные звуки с черными скорбными стонами-молитвами, сплелись мужикослов с молитвословом. Но во всем этом сплетении, в этом пестром клубке волжских песен, песен скитников и разбойников, звенело, гудело, звучало и пело «раздолье» хмельных берегов. Казалось, нет пределов непочатой, неистраченной могучей силы этого волжанина, и вдруг неожиданно весной 1924 года умер Александр Ширяевец. Умер так же нелепо, неожиданно, на пути к славе, как и его земляк Александр Неверов.

«В Москву! В Москву! В Москву!» — мечтали эти земляки-самарцы... Наконец, после голодовок, после муки скитальчества сбрались до Москвы...

И Москва их с'ела... С'ела в два года.
Одному было всего 38 лет, а другому 37...
И легли они оба на Ваганьковском кладбище.
Одного положили в могилу в рождественскую стужу, а другого среди майских цветов...

И над Александром Неверовым говорил речь «Андрон Непутевый», а над Александром Ширяевцем пел свою песню на березке соловой, провожая последний приветом своего товарища — волжского соловья.

Не умер, а отзвучал Ширяевец, и среди звуков соловьиной песни разбредлись мы все с кладбища.

Много было речей на могиле, но запомнится на всю жизнь эта песнь соловья...

За два года своей жизни в Москве А. В. работал не покладая рук. Составляя опись его рукописей вместе с его друзьями, я поражен был огромностью произведенной работы. Он собрал свои песни, сказки, пьесы и оставил большое литературное наследие.

Как и А. Неверов, он шел твердым шагом в большую литературу, и был у него большой оригинальный талант и благоговейное стремление к писательскому подвигу.

В полутемном углу, не имея даже своего письменного стола для работы, в тесноте, среди суеты, под шум и гам, в проходной комнате одного из флигелей при доме А. Герцена, многие месяцы он кое-как ютился буквально на тычке, скорбя лишь о том, что у других писателей и такого угла нет. Не жалуюсь, не распускаюсь, он готовил к печати свои книги: «Узоры» (23), «Мужикослов» (23), «Раздолье» (24), свою последнюю большую поэму «Палач» (24), свою книгу о Туркестане «Бирюзовая чайхана».

Там, в тесной дыре, творец «Раздолья» слагал свой певучий стих из «удалых строк» и хмельных слов. «Он молча проходил среди нас, среди братьев писателей, и думал свою думу без шума».

А между тем, это был своеобразный писатель, яркий человек и подвижник литературы.

Это был потомственный романтик, «удалой гусляр». Он ненавидел серые будни, серые лица, серые мысли и серую жизнь. Еще в школе твердишь

автор «Волжских песен», «Раздолья», «Бирюзовой чайханы» — постигает ясно в один весенний день, что он рожден «не для наук, для песен»...

Но серые будни и черные дни обступили его с юных лет.

Раю потерявший отца-гармониста, мальчик, которому хочется «волевать», идет в неволю на бумаго-красильную фабрику в Самаре: «ест нечего, и вот ярмо труда рабочего несет он ошалело». Удалого гуслера оглушает «машинный ляг». Он мечтает о приволье полей и лесов, а ему приходится в 1903—4 г. в Ставрополе Самарском у лесничего Дубинина выводить «писарскую канву» и бродить «сонной мухой» по канцелярии.

В красный 1905 г. он влил и свою «каплю в алую волну», но с 1905 г. по 1915 г., а затем после короткой отлучки в Петербург и родное Ширяево, он пять лет проводит в Азии до 1922 г. и с тоской, переходящей в отчаяние, заносит в свой «поминальник»:

«То Стенькой, то бялинымм Святогором
Я думал быть, но в Азию попал,
Среди халатников, с тупым бараным взором
Не соколом, а курицею стал.
Пропала жизнь ни за поношку. Вяну
День ото дня, себя, судьбу кланю...
На кой мне чорт халаты Туркестан!
Люблю, пою я Волжскую весну...»

Там, в Туркестане, тоскуя по волжской весне, по Жегулям и Ширяеву, поет он волжские песни свои и пишет «Волжский сказ», «Клад» и пьесу о «Стеньке Разине». Он не замечал, что Туркестан с его экзотическими красками, с его зноем вошел в его восприимчивую душу, и не знал, что его песни о нашем востоке оставили яркую страницу в истории нашей поэзии. В 1919 г. в Туркентропечати вышла его книжечка в 30 страниц «Край Солнца и Чимбета», куда вошли 29 песен, и позднее, в 1924 г., он готовил книгу «Бирюзовая чайхана» в 50 стихотворений, полных ярких красок и пронизанных глубоким настроением. Но живя в Туркестане, он с мучительной, невыносимой жаждой рвался на Волгу и дальше, в центр жизни, как и его покойный друг, вечно беспокойный Александр Неверов. Наконец, как и Неверов, он дорвался в 1922 г. до Москвы... Дорвался...

И лег на Ваганьковском под березками, рядом с своим другом: у одного сердце не выдержало, у другого — мозг. И уже когда его красный гроб стаял на Тверской в саду союза писателей у дома Герцена, принесли только что отпечатанное его стихотворение, и этим завещанием ушедшего волжанина я начал свою речь от союза писателей:

«Всплакните на погосте
Над новым мертвецом.»

Сын тихой и нежной Марьи Ермолаевны и буйного, разгульного Василия Ивановича, Александр Ширяевец унаследовал и материнское и отцовское, и от подвижников и от мятежников и прошел среди нас один в двух лицах.

Как у героя из романа Леонида Андреева, «Сашки Жигулева», у него уживались в сердце и нежный Саша Породин и мятежный Сашка Жигулев... Не знаю, любил ли он читать Диккенса «Крошку Доррит», но он писал сам детские сказки, ткал свои «узоры» для современных крошек Доррит, и он же писал свой грозный, как набатный колокол, призывающий к пожарам «Мужикослов» о замученных смердах, предках своих. Он слогал и святые песни и разбойные, он увековечил и монастырское — скитское и удалое — бродяжное. В своей песне «Молодецкий Кур-

ган» он повенчал затворницу и разбойника... Перед вами проходят разбойники, атаманы, эсаулы, сам Степан Тимофеевич.

На кургане, в шанке — зорнице
Стенька встал разгульно смел,
Молодецкую он вольницу
Кликал, звонницей, гудел:
Гей — эй — эй!...

Песни, повсisty и гуд, и стремительный натиск вольницы...

А рядом с разбойниками встает культушка-расколница, что затворилась в кельеке своей, а рядом с бродягой-ватажником с его гармонией идет на Светлояр в свой Китеж-град старница с котомкой... Двудляка, бродячая Русь, вольница и подвижники — стоит за спиной поэта... Тут и «искры Поэты Аввакума», тут и «Разина грозный язык», и пьянчуги и угодики, и Пугачи и Муромцы, и буйноголовые и юродные, и душегубы и страстотерпцы. И не даром он сам стремился в родные Жегули.

Две стихи: язычско-хмельная и стихия христиански-аскетическая переплетаются в его песнях. Переплетаются старина, которую он любит, изучает и знает, и новизна, которая его захватывает в буйный поток.

В свой «поминальник» Александр Ширяевец занес на вечное поминовение старую Бинарадку — «лесное необычное село» мордовское, где он жил в отрочестве со своим отцом. Он пишет:

«Мордва двубожница. Христос и Кереметь
В лесных сердцах на разных гуде пели,
И долго, долго так еще им петь.»

Ширяевец занес в свой «Поминальник» и светлую березку в этом лесном селе и священный дуб, вокруг которого по ночам звенели трубные иерихонские голоса восточных мордовок, взлетающих буйно над кострами. Прощаясь со старой Бинарадкой, двудлякий Александр Ширяевец говорит:

Смотри, не утайши «костров былого».

Все творчество Ширяева — это порыв в сказочное былое, в легендарную «старь». В ту далекую ночь, когда у хмельных берегов песенной Волги загорались костры...

И песенник-романтик рвется всем своим сердцем в это волжское Запо-рожье, к этим волжским гайдамакам, и бредит Стенькиным костром, разли-роже, к этим волжским венец ждет своего жениха, а ее пятит нефтяными плевками стальные Горнични... чайки носятся над ней с тихими стопами и что-то ищут: «не колыда ли персидской княжны»; солнце ставит свой «злат-шатер» и рассыпает по волнам Воли Стенькину казну, а ночью поэт из Ширяева тихо шепчет, глядяваясь в облачное небо:

Месяц глянь ушкойм оком
Кистенем стальным взмахни.

Самые образы родных его ширяевцев тоже принимают какой-то легендарный сказочный характер, выдержаны в стиле волжских песен, что-то в них и былинное и разбойно-богатерское. Вот он встретился с другом своего отца.

«Толь Ермака, толь Пугачева рожа.»

Сам отец походил на Илью Муромца. И вечно мысль его уносится в старину и даже грядущее сплетается с минувшим, и самый образ революции, Зори-зоряницы, связывается с образом Стеньки Разина.

Ему «становится ясней», когда «душа его летит к огню былому» — признается романтик.

Вот он в 1915 году попал в родное Ширяево. Кто-то из парней, потехи ради, запустил в него камень; и он думает — что это камень или новь? «Отшел в сторонку, о днях минувших снова загрузив».

Наговорившись вдоволь с приятелем отца, он «ночью ревел над быльями прошлых лет».

Воспевши волжские курганы и клады, раздолье Волги, борьбу волницы, увековечив родные Жегули, он после революции 1917 г. пытался в 1918 году слить романтику былого с романтикой революционных годов (Зори-зоряницы).

Но от стари он не успел перейти к нови родных Жегулей. Это делает новое поколение. Ширяевец своими волжскими песнями благословляет новых певцов на подвиг новый.

Им предстоит показать подлинное новое лицо новой Волги, и синтетически показать нежного Сашу Погодина с мятежным сердцем Сашки Жигулева. На наших глазах снимают творцы-организаторы новой жизни, прежнее поколение. Они упорно выполняют свою плановую работу над тем, чтобы серую будничную жизнь превратить в светлую и праздничную. Пусть же новые певцы, пришедшие на смену старым, запишут в свои поминальнички имя Александра Ширяевца, который всю свою жизнь рвался от черных будней к светлому празднику и заражал своей мечтой всех, кто слышал его звучные песни.

Не деклассированная голытьба с ее стихийным бунтарством, а творцы жизни, спаянные с производящим классом созидательной работой, одиночки, пронизанные единым порывом, они отдадут свой волыный подвиг новой Волге и новым Жегулям и жадно устремятся из мира сказочных снов в мир революционной яви, от стихийного порыва мятежной волницы к организованному труду строителей, от стари к нови.

Но певец волжских ушкунчиков, Ширяевец, как и Шевченко, певец днепровских запорожцев, увековечил целую полосу исторической романтики с ее молодецкими курганами.

Только собрав и напечатав его песни, пьесы и рассказы, можно будет показать, какой это был большой подлинный поэт. И когда «по широкому раздолью» Волги книга придет в Ширяево, все эти Дульки, Афоны, Анисы с удивлением узнают, что их друг Сашка Абрамов, их земляк, был творцом волжских песен и сказок — Александром Ширяевцем.

И они поставят ему в Жегулях памятник и придут к нему в весенний день, когда поют соловьи, воркуют горлинки, и сыграют на сормовской гармонике раздольную песню.

В междугорье залегло
В Жегулях мое село;
Рядом Волга плещет, льнет
Про бывалое поет.

А потом кто-нибудь скажет:

— А теперь споем любимую песню Ширяевца, умершего в субботу:

Во субботу, день ненастный....

И будут плескаться волны реки и будут звенеть слова поэта, который:

Вместе с Волгой песни пел.

В. Львов - Рогачевский.

РАЗЛУКА.

Из «Волжских песен».

— Уйди, тоска, не мучай,
Гляди: стою в гробу.
Спознался с белоручкой,
Зарыл свою судьбу.
Метнись, заря, над лесом,
Не долго до греха.
Звалась она невестой,
Ушла от жениха.
Девический обычай —
Любить и забывать.
— Кого ты, сердце, кличешь,
Не мертвую ли мать?

Никто — никто не вспомнит
Глаза мои, лицо.
— Заскучу в черной омут
Невестино кольцо.
— Эй, бабы, не судачьте,
Судьбы не миновать.
— Заплачем-ка, заплачем,
Что счастью не бывать.
К другим умчался в гости,
Других дарить венцом.
— Всплакните на погосте
Над новым мертвецом!

Воспоминания о поэте Александре Васильевиче Ширяевце (Абрамове) Петра Петровича Шапка.

Родился Александр Васильевич Абрамов в селе Ширяево, Симбирской губ. 10 апреля с/стиля 1887 г. Он был единственным сыном крестьянина Василия Ивановича и матери Марии Ермолаевны. Отец в поволжских лесах был лесным сторожем (объездчиком), а маленький Саша, предоставленный самому себе, целыми днями бегал по лесу, прислушиваясь к шуму сосен и долам Волги. В эти дни лесного одиночества слугался будущий поэт. Когда Саше Абрамову было около десяти лет, отец его поехал как-то в Самару на несколько дней, да на обратном пути скоропостижно и умер. И пришлось Саше с матерью, покинув родные места, итти в г. Самару на заработки. Наняв там лачугу за 3 руб. в месяц, мать начала тянуть ямьку чернорабочей и определила своего Сашу в городское училище. Окончить его все же ему не удалось, так как нужда погнала на заработки, сначала писцом к лесничему, а потом на писчебумажную фабрику. И пришлось ему с 12 лет с раздолья Волги уйти в шум машин и по 12 часов в сутки месить лопатой грязное месиво. Жажда знаний и любовь к природе спасали его от окружающей среды. Будучи на этой фабрике, он познакомился с Пушкиным и Кольцовым и на этой же фабрике запел впервые Волжский Соловей, помещая стихи свои под псевдонимом Симбирский. Живой душой и рабочий по крови, мальчик Саша в революцию 1905 г. не остался простым зрителем. Вместе с рабочими бастовал и от этого голодал, ходил с манифестациями, разбрасывал прокламации о свержении самодержавия и др. В период революции 1905 г. он с матерью переехал в гор. Ташкент, где мать также начала добывать хлеб черной работой, а Сашу определила на телеграф учеником. Здесь, в Ташкенте, как и ранее в Самаре, он, работая на телеграфе, целыми днями и ночами просиживал над книгами. И каких только здесь не было книг: наряду с русскими и иностранными классиками, словарем Дала, историей культуры Англии Бокля, Майн-Рид, Купер и др. В этот период мы встретились с ним

¹ Это стих. напеч. в № 14 «Красной Нивы» от 6-го апр. 1924 и было прочитано мною в Союзе писателей над гробом Ширяевца и послужило вступлением к моей речи. В. Л.-Р.

в первый раз. Мать его уехала куда-то прислугой, и мы вместе наняли комнату. Он уже сотрудничал в «Ташкентском Курьере» и «Туркестанских Ведомостях», и редакторы ему платили по 5 коп. за строчку. В те дни в столицах пели Бальмонт, А. Блок, Вячеслав Иванов, Бунин, молодой Сергей Городецкий и др. Все, что выходило из-под его пера, Ширяевец на свои гроши приобретал и запоем читал. Много прекрасного изучал наизусть, и в прогулках любил декламировать. Почтовое начальство не любило поэта за то, что он пишет и поет без их разрешения. Надо было по закону испрашивать разрешение начальства на право поместить свои произведения. Он не шел на это и скрывал под псевдоним Ширяенца. За это он был гоним. Так, из Ташкента его угнали в Коканд, потом в Кизиль-Аrvat Закаспийский, Асхабад, Бухару и т. д. Таким образом, в течение 3 лет он кочевал по всему Туркестану, пока не свалился в Бухаре от тропической малярии. Из цветущего, жизнерадостного мальчика Саши в Ташкент вернулся желтый, изурнанный юноша Александр Васильевич Ширяевец. Годы скитания не прошли даром, стал не по летам грустен и замечтал о далеких градах и всях. «Пойдем на Валаам, или Соловки, будем Русью бродячей, будем по Волге беланы спускать, не могу дышать отравленным воздухом телеграфа. Уплыву в Австралию, Новую Зеландию, где буду пасти овец в раздольях степей; так куда лучше, чем эта нудная серая жизнь». В своем бесцельном вырваться из тисков нужды, он в это время слагал много грустных песен и с годами безжалостно уничтожал. Эти песни были песнями грустными в клетке, и в них уже говорилось, что жизнь тяжела ноша и что он не видит смысла ее.

К этому циклу песен относятся следующие стихи:

Я одно из тонких звеньев
Расколовшегося льда,
По бурливости течения
Мчусь неведомо куда.
И свою судьбу я знаю
Будет путь недолог мой,
Белой пеной я расту
И на век сольюсь с волной...

Три года разлуки—и я снова встретил его в Ташкенте уже значительно духовно выросшим. За это время он изучил историю русской литературы, серьезно работал по русской истории и изучал европейских классиков. В это время в Ташкенте, да и в столицах, его заметили, и, в отличие от борющихся местных писак, называли «божьей милостью поэт». Впервые его в России заметил Мировлюбов и предоставил ему свой журнал. К этому времени, т.-е. в 1913 году Ширяевец издает ряд сборников. Начинается обмен письмами с Буниным, Горьким, Клюевым, Есениным и др. Стал усиленно врать в столице, чтобы лично посмотреть, как он говорил, на «братьев писателей». Ему в это время казалось, что писатели — высшие существа в этом мире. За хождение не в форменном платье его вновь загнали в город Чарджуй, Закаспийской области, и в этой ссылке, в песках, он работал над собой и творил свои лучшие песни. Отсюда же, из Чарджуя, он, заняв 50 рублей, поехал в 4 классе на Волгу, в родное Ширяево и даже вниз и вверх по Волге. Осенью 1915 г. вернулся, после долгого сравнительно скитания, веселый, бодрый и уверенный в себе, как потом никогда. Посетил московских и петербургских писателей. Виделся с Бальмонтом, Горьким, Буниным, Мережковским, Гиппиус и др. и в особенности был очарован Сергеем Городецким. Привез книги с автографами писателей и бережно их хранил всю жизнь.

Городецкий подарил ему свой старый английский френч, и он его берег до 1920 г., когда в голодную пору променял на хлеб. Гиппиус подарила ветку сирени, и он хранил ее как реликвию. Сильно горевал, что не добился свидания со своим любимым поэтом А. Блоком. Также грустил, что не повидал Орешина, Клюева и др. «Обязательно еду к своим», говорил он: «Грин обещал найти мне дело, да на первое время обещал дать мне приют в своем номере в мейблирашниках». С этой поездкой он ожил и стал неузнаваем. Песни начал петь бодрее; Волга с курганами снилась ему во сне. «Надо учиться и учиться, работать над собой, а то дальше волжских песен не уйдешь» — и бросался за самообразованием. «Вон, смотри, какие поэты пришли: Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Бальмонт, Блок: где нашему брату, сераку, за ними угнаться. Их природа одарила талантом, а судьба, или рок, создала благоприятные условия для всестороннего развития. Детям нищеты материальной все дается с бою», и он гордо указывал на развитие такого же беланья, как и он, Максима Горького. Снова разлука и встреча в 1918 г. Незнакомый с учением социалистов-экономистов, в том числе с Марксом, а также с коммунистической программой, он на первых порах растерялся и был простым зрителем великих событий. Когда А. Блок пропел свои «Двенадцать», Ширяевец глубоко задумался, написал ему очень интересное письмо, но ответа не получил. Записался слушателем Туркестанского университета и 2 года не посещал филологический факультет. Всю жизнь Ширяевец жил в нужде и скитался по затхлым комнатам, чуланам, несмотря на свою экономную жизнь (он не пил никогда и не курил). В период с 1918 г. по 1922 г. он с матерью буквально голодал, и 4 года печь в квартире не знала дров. В холодные и сырые дни Ширяевец в своем несменяемом рыжем пальто валялся в постели и здесь же писал свои поэмы, как-то: «Голод», «Мужики» и др., которые печати еще не видели. В эти годы он со слезами на глазах вынужден был по книжке таскать свою библиотеку на базар, меняя их на хлеб. Измучившись голодом, холодом, обносившись, он приехал с матерью в январе месяце 1922 г. в Старую Бухару. Стояла непролазная грязь, а у Ширяевца сапоги протекали. «Вот, брат, беда, бронесанда мои дали течь, погнать придется. Вот маленько себя реставрирую, сошью сапоги, броюки и тогда можно будет махнуть в Москву».

Летом того же года его и мать свалила тропическая малярия, и вместо «реставрации», он уехал в Москву чужой живой. «Вот видишь, я поправил свои дела в Бухаре», — говорил он, уезжая в красном вагоне. В Самару мать оставил у Степного, а сам поехал в Москву искать приюта. В отсутствие его мать как-то незаметно свернулась и умерла. Степной же и сгорюченный его мать. После смерти матери Ширяевец загрустил. «Один я теперь на свете. Жениться как-то поздновать, но и одному жить тяжело». «Почему же ты раньше не женился, ведь на твоем пути стояло много прекрасных любящих тебя девушек?» «Нужда, братец, преследует. Мерзнуть в холодной комнате и голодать, лучше уж одному».

Здесь необходимо сказать о его отношениях к женщинам. В юношестве и почти до 32-летнего возраста, это был вечно влюбленный. Каждая весна приносила ему новую чистую любовь. Он любил в любимой девушке свою мечту, приписывая ей качества, которых порой его героиня не имела. Они вдохновляли его творчество, но когда дело доходило до женитьбы, а порой девушка готова была и отдаться ему, он ей говорил: «Не стоит оплошать прекрасных моментов. Пусть я останусь чистым и возвышенным в ее мечтах». Своим избранным девушкам он дарил цветы и всегда высказывал свой взгляд на замужнюю жизнь: «Неужели вам хочется пошлой жизни с ее серыми буднями?» Так текло время, а любимые и любящие его девушки выходили

за врачей, присяжных поверенных, а он только с грустью вспоминал их. «Что, ты не видал Кати, она, кажется, как и все, стала. Теперь мне с ней не хотелось бы встречаться, иначе мечты улетят. Пусть она живет в моих мечтах светлой, радостной и чистой». При встрече же с мужчинами-приятелями хотел казаться циником.

Последня встреча в Москве в доме союза писателей. Маленькая комната и три кровати. «Видишь, как живу. Тебе хочется писать, а другому петь, вот и ловишь моменты затишья. Знакомые как-то быстро устраиваются, а я вот за 2 года не могу отдельного угла найти. Эх, брат, и хорошо и плохо, что я перекочевал в Москву. Издали все лучше. В мечтах и братья-писатели были другие. Тут свою физиономию теряешь. Большинство из писателей, так или иначе с детства наукой и манерами напичканы. Приходи в Союз, посмотришь на поэтов и писателей. Есть умные, интересные ребята, а главное говорить уж больно мастера. Все же на Волге, в Жегулях лучше бы мне жить». «Зачем ты такие огромные сапоги носишь? — спрашиваю я у него». «Жаль, что на Трубной больших не нашлось. Правда, ведь, они мне к лицу? Лак и замша не для меня. Эх, уехать бы куда-нибудь за море, отдохнуть бы — устал я, брат, и-их, как устал. Один я теперь живу. Знаешь, Марго в Ташкенте тоже замуж вышла. Ездил я к ней в Ташкент, думал в ней подругу найти, да напрасно. Испугал большими сапогами и ее и матушку». Наша встреча в мае не состоялась, опоздал на неделю и попал на тризну. Поэт уплыл за море ранней весной, которую он так страстно любил и ждал, не стал ждать славы, а, может быть, и бессмертия.

Петр Шпак.

г. Харьков,
30 мая 1924 г.

Из подготовленной к печати книги «Поминальник».

Предисловие.

Для большей ясности автор этих строк разбивает свою жизнь на периоды — 1887—1893 г. — появление на свет в Ширяеве. Жегули. Волга. 1893—1897 г. — жизнь в селе Старая Бинарадка. Лесная сторона. Мордва. Начало учения в земской школе.

1897—1899 г. — Обратный переезд в Ширяеве. Снова родное. Жегули. Волга. Волжский хмель. Продолжение и окончание ученья в церковно-приходской школе.

1900—1905 г. — Смерть отца. Переезд в Самару. Ученье в городском училище. Поиски работы. Поступление на бумаго-красильную фабрику. Служба в Ставрополе-Самарском.

1905 г. — Переселение в Туркестанский край.

1905—1915 г. — Безвыездно в Азию.

1915 г. — Удалось вырваться на родину (отпуск). Ненстойвая радость и горькое сознание, что «песенка долетела».

С 1915 г. — опять Азия.

Бухара 1922. А. III.

ПАМЯТИ ОТЦА

Пленный ледоход.

В плечищах — Муромец! А если В досуг, конечно... Грустное такое
к пьянству кинет — Гармонь певучими устами улетает...
Владимир-князь! Не выдержал-б Грустят вдвоем... Я понял: то при-
и тот! бои
Но лишь огонь разгульный поосты- Неспетых песен! Пленный ледоход!
нет,
Отец гармоню ласково берет...

СТАРАЯ БИНАРАДКА

(1894—1897 г.).

Село мордовское.. Обездичком лес- В лесных сердцах на разный голос
ным пели,
Отец был там. Сначала на «бе- И долго, додго так еще им петь...
кетете»! Проснулся раз я ночью и с постели
Мы к лесу жались — подружились Вскочил, напуган отблеском огня,
с ним! Приник к оконцу: вижу — пляшет
И до сих пор одна березка светит, пламя
Корой чудесно-белой в сумрак дней...
С «бекета» переехали в село мы — Вдвали, за речкой... песни, суетня —
Вот это самое... Становится ясней Мордва взлетала буйно над кострами,
В душе, когда летит она к огню У дерева священного... Прошло
былому. Немало лет, но часто, часто снится
Трубовой Иерихонской — голоса Лесное необычное село:
Мордовских девок разливались Священный дуб взмахнет, как не-
веще... взначай,
Их дикая и ражая краса, Березка с лаской закивает снова...
Поди, и ныне брагой древней хле- — «Эх, Бинарадка старая — прощай!
щет... Смотри, не угашай костров бы-
Мордва — двубожники: Христос и лога!»
и Кереметь

905 ГОД

И я влил каплю в адую волну —
Пора была весенняя, хмельная —
Раскинул «прокламаций» не одну,
Радея о тебе, страна родная.

Казацкая нагайка полосу
Мне тоже не единожды врезала.
— О, родная, когда мне будет суд,
Прости, что для тебя я сделал мало.

АЗИЯ

То Стенькой, то былинным Свято-
гором Вяну
Я думал быть, но в Азию попал,
Среди халатников с тупым ба-
раным взором
Не соколом, а курицею стал.

Пропала жизнь не за поношку!
Вяну
День ото дня, себя, судьбу кляню...
— На кой мне чорт халаты Турке-
стана!
Люблю, пою я волжскую весну.

ПОРТРЕТ МОЙ

Орясина солидная!—Детина!
 Русоволос, скуласт, медведя тя-
 желей...
 Великоросс—чти между строчек:
 Душу всем тем, чем Русь издревле:
 дышит.
 Славян, монголов помесь...
 (Из неопечатанной книги «Поминьяльик».)

* * *

V.

Накрывается тучей-схимою
 Вышний Пастырь, а звезды кудесно-
 ярки.
 — Вот, встают они, праотцы, деды,
 отцы мои—
 Мужики, мужики, мужики!
 — Власть поели немного вы сит-
 ного,
 Пиво ячное, мед протекли мимо
 ртов...
 За лихое тягло, за судьбу чело-
 битную,
 Быть вам, быть окол райских кус-
 тов!

X.

...— Мамыньки! Баушки!
 Арины Родионовы!
 Зацапанные барами—
 Блуднями
 Для соромной забавушки!
 Рано вас сторбило
 Буднями
 Черными!
 Радости видано много ли?!
 Не вы ли
 Поили
 Песнями, сказами ярыми,
 Пушкиных, Корсаковых, Гоголей!
 А самим—оплеухи, пинки,
 Синяки,
 Да могилки неизвестные, убогие.

«ШИРЯЕВО»

С. И. Абрамову.

В междугорья залегло—
 В Жегулях наше село,
 Рядом—Волга плещет, льнет,
 Про бывалое поет...
 Супротив—Царев Курган,

Память сделал царь Иван...
 А кругом простор такой—
 Взглянешь—станешь сам не свой!
 Все-б на тот простор глядел,
 Вместе с Волгой песни пел!

XI.

Распалится мужицкая дума!
 Чу, засеченных смертный крик!
 Брызжут искры костра Аввакума,
 Слышу Разина грозный зык!
 — Эй, Ивана Великого вышкэ,
 Разнеси-ка пожарче звон!
 — Да не я ли Отрепьев-Гришка?
 Только я не отдам свой трон!

XII.

— Пьянчуги,
 Святые угодники,
 Муромцы, Пугачи, Ермаки,
 Юродные, буиноголовы—

XIII.

Други!
 Сродники!
 Сродники!
 Бью челом вам я,
 Бью челом!

Крест ли, меч ли возьму,—не знаю,
 Помолось кому—неведомек!
 Только в каждом—душа родная;
 Каждый с лаской меня берет.
 Для чего?

Да не выпрыгни, сердце!
 — Знаю! Понял!—не блажь, не бред!
 — Душегоубы и страстотерпцы,
 На холопский гляньте Рассвет!
 (Из книги «Мужикослов», изд. «Круг».
 1923 г., стр. 14—24).

БУРЛАК

Уплыву, как только вспенится
 Волга-матушка река,—
 У бродяг душа не пленница,
 Не дрожит у кошелька!
 Любо петь мне песни смелые,
 Что поет по Волге голь,
 Видеть волны—гребни белые...
 — Эх, зазноба, не неволь!..

Ты неси быстрее, Кормилица,
 Наши барки и плоты!
 Глядь и ветер принасылит,
 Будет меньше маять...
 Не меня-ль краса румяная
 Манит с берега рукой?!
 Да милей мне воля пьяная,—
 Обручился я с рекой!

ПОЛЯМ

В. С. Миролюбову¹.

Я из города—из плена
 К вам приду,
 И на травы, и на сено
 Упаду!
 Засмотрюсь, как васильковый
 Лен цветет...
 Пусть кует мне жизнь оковы—
 Не скует!
 Словно в золоте червонном
 Ходит рожь,

Шелестит—шумит с поклоном:
 Узнаешь?
 Звонкой песней вместе с жнищей
 Я залюсь,
 Над судьбою-озорницей
 Посмеюсь!
 Манит к воле голос в поле
 Ветровой!
 Опьянею я от воли
 Полевой!

(«Запска», стр. 5).

Н. КЛЮЕВУ

Говорил ты мне, что мало у меня
 удалых строк:
 Удаля в городе пропала,—замотался
 паренёк...
 А как девица-царевна, светом ласко-
 вых очей,

Душу вывела из плена—стали песни
 позвончей;
 А как только домокнулся: кинуть
 город мне пора,—
 Всколыхнулся, обернулся в удалого-
 гусляра!

(«Запска», стр. 5).

НА ЧУЖБИНЕ

На чужбине невеселой
 Эти песни я пою.
 Через горы, через доли
 Вижу родину свою:
 Жегули в седом тумане,
 Волга.. улицы села...
 Вот, ты в алом сарафане,
 Точно лебедь, проплыла...
 Не видал нигде чудесней
 Русых кос и синих глаз!
 Из-за них кольцовской песней
 Заливался я не раз!

Я ушел... я ждал иного,
 Не к сохе влеклась рука...
 И уплыл... А ты с крутого
 Мне махала бережка...
 На сторонке чуждеальной
 Позабить тебя не мог...
 Сится грустный взгляд прощальный,
 Твой изорчатый платок...
 Что сулит мне воля божья?
 Ворочусь-ли я назад?..
 — Пусть до милого Поволожья,
 Мои песни долетят!

(«Запска», стр. 61, 1916 г.).

¹ Виктор Сергеевич Миролюбов — бывший редактор «Журнала для всех», а позже — «Ежемесячного журнала Миролюбова», всегда был чутким, верным и строгим другом молодых начинающих писателей и многих вывел на большую дорогу той литературы, которую беззаветно и бескорыстно любит. В. Л.-Р.

СТЕНЬКА РАЗИН

Всколыхался ярко-красен
 Стяг восставших за народ...
 — Нет не умер Стенька Разин,
 Снова, грозный, он идет!
 Не у волжского кургана
 Встал он с вольницей своей —
 Потянуло атамана
 На Неву, к дворцам царей...
 — «Что народ морочить зря-то!
 Ой, давно сюда я рвусь!
 — Приняляйте-ка, ребята,—
 Перепахла гнусью Русь!»

И гудит ватага Стеньки
 Все грознее и звончей,
 Пересчитаны ступеньки
 Лбами царских палачей...
 — «Нажимай сильнее, братцы!
 Ай-да соколы! вперед!
 Где царили тунецды,
 Будет править сам народ!»
 Вьется стяг багряно красен,
 Близок, близок светлый час...
 Нет, не умер Стенька Разин,
 Дух свободы не угас!

(Сборн. «Красный звон» стр. 93, 1918 г.)

* * *

Старинных слов узорные ларцы
 Люблю неодолимо любовью
 Ковали их и деды и отцы,
 Покинуты они задорной новью...
 — Я к ним иду! Согнать дремучий
 сон

Не помешает дьявольская сила...
 Нашел... Открыл... Какой певучий
 звон!
 Какая драгоценная могила!

* * *

Никогда старина не загаснет
 Слишком русское сердце мое.
 — Позабуду ли песни на Клязьме!
 Как я мчался с таежным копьём!
 — Разгорается удаль Добрыни!
 Звук железных кольчужных колец...
 — Глядь, я в Лавре, у древней
 святыни
 Ставлю свечи, тихоня - чернец...

— Вечевые приборные клики!
 Ветер Волхова вздул паруса!
 — То палач я, то нищий-калика,
 То с булатом в разбойных лесах...
 Не припомню, какого я рода,
 Своего я не знаю села...
 Ускакал я в бывалые годы,
 Старь родная меня заклала.

(Оба стих. из цикла «Земь».)

ТУРКЕСТАНСКИЕ МОТИВЫ

* * *

К. М. Трояновскому.

Сон вековой! Как деды и отцы,
 Так стыннут дети в скуке богомоль-
 ной...
 Лишь на мечетях древних изразцы
 Поют о жизни ясной и раздольной...

— Создай ее! Зажгись и напиши
 Иной Коран, — не жуткий и суро-
 вый,
 Как ныне пьян от крепкой анashi,
 Будь пьян от сказки радужной и
 новой!

КАРТИНКА

Е. К. Бетгеру.

Посевов изумрудные квадраты,
 Ряд тополей, талы, карагачи...
 Реченка... Запах близкой сердцу
 мяты
 И солнца необычные лучи...
 На ишаке старик длиннорободый,
 Трусит рысцей... Заплатанный ха-
 лат,

Но выглядит калифом... Ищет броду.
 Сартенок смуглый, мутным струям
 рад...
 А вдалеке грядой неровной, длин-
 ной,
 Вонзились в небо горные вершины...

ГОЛОДНАЯ СТЕПЬ

Верблюжьи кости в желто-серой
 глине...
 Какой простор! Но нищ и жалок
 он!
 — Кто расколдует этот мертвый
 сон
 Забытой богом и людьми пустыни?..
 Дырявый череп. Пылью солнно-белой,

В лицо метнул вдруг ветер.
 — Ужели где-то в берег бьет волна.
 Цветут сады?
 От степи омертвелой
 Лечу я вскачь, гоною коня нещадно,
 Туда, где люди, плеск реки про-
 хладной!

З Н О Й

Валентину Вольпину.

Зыбко струится из душевной небес-
 ной эмали
 Зной нестерпимый и властный...
 Листья в бессилии уснули...
 Сонные-сонные, теплые зыбки вол-
 ны весь мир укачали,
 Всех захлестнули!
 Медленно, верно тону в золотом
 океане

Мягкие струи... Все глубже и глуб-
 же...
 Смежало ресницы...
 Странную песню без слов, кто-то,
 Яростный, огненный, тянет...
 — Долго-ль томиться?

Все эти стихи из сборника «Край солн-
 ца и Чимбета» (Туркестанские мотивы).

БУХАРА.

В лунном свете мечети застыли.
 Крик гортанный за стены уплыл.
 Замелькали шакалы, завывли
 У древних могил.

В лунном свете старинные были
 Оживут до последней звезды.
 Крепко пахнут и тленом и гнилью
 Кладбища, пруды...

СИБИРЯКУ

Весь день на солнце! Загорелый,
 Бросаюсь в горную реку,
 Плыву, плещусь помолоделый,
 И песни солнечные тку!

Что будет завтра? — Не волнуйся..
 Готов любовь и смерть принять!
 Сегодня с солнцем я целуюсь,
 И начинаю жить опять!

ПЕТР ВАСИЛЬВИЧ ОРЕШИН О СЕБЕ.

Родился я в городе Саратове в 1887 году, возле Привалова моста, на Никольской улице, в старом полуразвалившемся каком-то флигелишке. Родители жили тогда очень бедно, а впрочем не только тогда, но и всю свою жизнь. Отец мой, Василий Егорович Орешин, вывезенный из деревни на тринадцатом году жизни, был отдан в мануфактурную лавку, и это обстоятельство сделало его приказчиком на всю жизнь. Мать, Агафья Петровна Орешина, от нищеты шла на базар ситцевые рубашки, по 3 копейки за штучку, сидела дни и ночи за швейной машинкой, подрабатывая этим каторжным трудом на кусок черного хлеба. В этой нищете я был отдан на девятом году в начальную школу, кончил ее с «первой наградой», и двенадцатилетним парнем попал в городскую 4-х-классную школу. Но этой школы, за недостатком средств, я окончить не мог и вышел через три года, хотя и сдал экзамен в четвертый класс. Отец изо всех сил старался сделать из меня своего коллегу; для этой цели поместил меня в лавку, в которой он служил сам, но на этом коммерческом поприще у меня ровным счетом ничего не вышло. На шестнадцатом году я попал в школу бухгалтерии, но и тут почувствовал себя не на месте. Взвзяв за рисование, хотел эту науку осилить самоучкой, и рисовал не плохо, но кусок хлеба заставил меня бросить художество и поступить в контору. В конторской работе я чувствовал себя отравительно. Стал читать книги. Решил пуститься в путешествия, поехал в Сибирь, но скоро опять вернулся в Саратов, опять поступил на службу, опять взялся за книги, полюбил Пушкина, Некрасова, Лермонтова, Толстого и Достоевского. Сидя без места, т.-е. без работы, стал чаще наезжать в деревню (родственников у меня в селе Галахове, кроме деда, Егора Алексеевича Орешина, и бабки, Анны Лаврентьевны, было больше чем достаточно). Смотрел эту жизнь, проникался состраданием и любовью к деревне, чувствовал, что говорить об этой жизни мне хочется, не знал, как это начать, с какого конца, и вот однажды совершенно неожиданно для себя написал стихотворение. Показал бывшему моему учителю, получил ответ: «хорошо, но безграмотно». На двадцать четвертом году написал еще стихотворение, напечатал в «Саратовском Листке», через полгода написал еще, напечатал в «Саратовском Вестнике»; это было в 1911 году.

В это время читал я много, запоем. К 1913 году у меня было уже шесть стихотворений, которыми я сам был тогда доволен, и с этими стихами поехал в Питер, явился в редакцию журнала «Заветны» к Иванову-Разумнику, и в этом журнале были напечатаны все привезенные мной стихи. Затем встретился с В. Л. Львовым-Рогачевским и В. С. Миролюбовым. Эти встречи дали мне очень много. Я стал больше писать, стал печататься во всех «толстых» журналах и жить исключительно «строчками».

Сборников у меня было много, но эти все сборники заполнялись одними и теми же стихами или вкуче с написанными вновь, — во всяком случае, все сборники были случайного характера, составлялись на-спех, по-революционному.

Сейчас у меня вышел в издании Госиздата первый том под заглавием «Ржаное Солнце», и находится в печати второй том — «Соломенная Плаха». Эти книги я считаю «капитальными», и только над этими книгами я работал, как это полагается настоящему и уже несколько окрепшему художнику.

Петр Орешин.

ПОЭТ ДЕРЕВЕНСКОЙ БЕДНОТЫ.

Петр Васильевич Орешин, по преимуществу социальный поэт, по преимуществу поэт революционной бедноты, порой примыкающий к настроению люмпен-пролетариата.

Орешин кровно связан с крестьянством; свою первую книгу «Зарево» (1917 г.), в которую вошли стихи 1913—14—15—16—17 г.г., он посвящает «престарелому деду своему, Егору Алексеевичу Орешину и бабке своей Анне Лаврентьевне Куренковой», проживающей в селе Галахове, Аткарского уезда, Саратовской губ. Сам он пишет о своем детстве: «Жили скудно, в почти жестокой семейной обстановке», учился в четырехклассном городском училище. Одно время служил приказчиком в магазине... Первое свое стихотворение, «Касьяныч», он написал в 1911 г. и напечатал в «Саратовском Вестнике». С 1913 г. он перебрался в Петербург, начались годы нужды... «В Пинике» — служба: в конторе, на железной дороге». Урывками пишутся стихи... Мирлобува появляются первые стихи, проникнутые гневным протестом человека, изведавшего на собственной шкуре нужду, обиды, социальную несправедливость.

В стихотворениях «Волчья жизнь», «Душа на кресте», «Письмо с позиции» — он раскрывает свое личное, и это личное проникает гневным возмущением человека, не имеющего в шумной столице «даже угла».

Голодный, озлобленный, корчась от холода в шумной столице, строчит на чердаке ввук пахаря свои стихи:

Кончена песнь. Лампа дымит керосином.
Ночь на меня черный надела колпак
Слез с чердака. Жутко по улицам длинным...
Снова иду, хмурясь, к себе на чердак.
Завтра продам, с горя, последние брюки,
Надо кормиться до самой могилы!
В небо выпелись богохульные руки,
Болью, отчаянием стянаты жили.
Льются молебнов благодарственных ливни.
Воздух сосут красногубые свечи.
Молится хам злой... Даже смотреть противно.
Слово господне бесстыже калечит!
Вот и доел, наконец, черствую корку...

(«Зарево», стр. 72—73).

С некрасовской силой описывает поэт жизнь изголодавшегося, озлобленного протестанта, и песня его звучит сурово, гневно, возмущенно.

Песня застыла в глотке огненным колом,
Черный звон колокола терзает уши.

Волчья жизнь заставляет голодного поэта написать волчьи строки, переходящие в какой-то волчий вой и волчье шелканье зубами от голода:

Завтра залезу в окно Троицкой лавры,
Кружки взломаю и огни потушу!

(«Зарево», стр. 74).

Таких «волчьих строк» нет ни у «разбойного» Есенина, кудрявого юноши в шелковой рубашечке, ни у Н. Клюева с его духоборческими братскими песнями, ни у Ширяева с его стенкинкой удалью. Через голод, через озлобление, через муку личной жизни («Душа на кресте»), через любовь к прекрасной женщине — шел Орешин к революции. Смерть любимой, чуткой и умной жены (18 ноября 1917 г.), пробовавшей уже свои силы в писательстве, потрясла измученного человека.

С горя пошел пострадать за волю на баррикадах, Божьим перстом был отмечен — остался целым, —

(«Зарево», «Душа на кресте», стр. 168).

пишет он в своем прекрасном и сильном стихотворении «Душа на кресте». Его черные дни сплетаются с красными, он видит себя порой на «огромном кресте распятым, душу свою, давно изошедшую кровью».

Такова душевная основа поэзии Орешина; эта душевная основа связана с нуждой, горем, мукой, голодом и холодом. Душа поэта, побывавшего на кресте, почувствовала крестьянские муки голодного люда, его озлобление, — почувствовала «зверюгу». И поэт, прошедший через волчью жизнь и преодолевший в себе волчье, научился писать сильные стихи, властно зовущие к преодолению в человеке «зверюги», научился любить и ненавидеть по-не-красовски.

В своих деревенских стихах поэт не столько рассказывает о «голодных сельчанах»... Он знает, как «бродит, гуляет горе по селам, в избах худых сладко живется нужде»; перед его глазами вечно «проклятое, болезное, голодное село»; у него школьник «ходит, по бедности, в школу без сумки и книг» («Без отца»)... «Осень в худых башмаках прижалась под окнами...». Он любит «русскую землю с худыми избами, чухлое поле, тяжкими днями и горем убитое». Его крестьянин потом и кровью полил, кормилец «каждую глыбу и каждый рыхлый и теплый ломоть скорбной земли своей». Он знает «думку пахаря» и о ней поведал в стихах:

Наши песни не допеты,
Пляски не допласаны,
Мы разуты и раздеты,
Льком опоясаны.

(«Зарево», стр. 23).

В песне «Кручина» Орешин по-колцовски поет:

Темнолики наши хижини,
Золотой соломой крытые,
Не судьбой ли мы обижены
И не богом ли забытые?

(«Зарево», стр. 13).

У героев Орешина за плечами нужда и голод; это, в буквальном смысле слова, деревенская беднота:

Земли пол-десятины,
А деток полон дом,
Весь век, согнувши спину,
Катись-ка колесом.
Кузьма в одной рубахе.
Иван и наг и бос.
Не краше-ль божьей птахе
Живется в сенокос?

(«Красная Русь», «Соседи», стр. 77).

Как же отнеслись босые Иваны, обитатели темных хижин, пахаря чуждых пашен к революционной буре? У босых Иванов, «в руках — ножи, в глазах — мечта». В стихотворении «Без царя» Орешин говорит языком Ивана:

...Братцы, есть лишь один враг истовый:

Богачи, государевы бражники...
...У богатых изба — двухэтажная,
У богатых земли — больше волости,
Оттого у тебя, Русь сермяжная,
Не бывало на сердце веселости.
Без казны, без земли и без хижини
Ты кочуешь по нивам-распаринам.
Богачами ли мы не обижены,
Как в суровую барщину баринам?

(«Красная Русь», стр. 57—58).

Поэт внушает своему голодному брату: «Помни крепко — земля только пахарю», и вместе с ним поднимает «алый стяг над хибарами серыми».

В стихотворении «Раздумье» Орешин снова возвращается к богатей и говорит от лица босого Ивана:

Широка полоса богатей,
Ненаситна царева казна.
Вся деревня под игом злодей,
Вся раздета, темна и пьяна.

(стр. 18).

Из столичного города в деревню пишет молодой сын-красноармеец, тоже, вероятно, бывший Иван босой, своему тятке письмо в стиле героев Александра Блока из его поэмы «Двенадцать»:

Батя, глянь-ка:
Как никак —
Занимаем особняк.
Из деревни
Едет в гости мой отец.
— Кушай, тятка,
Осетрину.
Повезло родному сыну.
Жили-были
Во хлевах,
Ныне — в мраморных дворцах.

Брось ненужный разговор.
Лг, родимый, на ковер.
Я за письменным
Столом
Напишу письмо пером.
Мамка,
Тестюшка и сват,
Приезжайте в Петроград.
В зипуне
Хота и в рваном,
Все равно здесь будешь паном.

(«Красная Русь», стр. 70).

П. В. Орешин поет песню голодного люда, нагого и босого; вместе с ним он мечтает о днях, когда будут «нищие — боярами, медный грош — червоным золотом, зарастет густыми травами вековая кручинушка, и пойдет гулять заставами с золотой казной детинушка».

Вместе с голодным людом, нагим и босым, вспоминает он Стеньку Разина, который говорил: «Все отдам бродяге-брату, не воспользуюсь чужим»...

Духом непокорный поэт с восторгом приветствует алую зарю, алый храм и алые стяги, запылавшие в полях:

Крестьяне с огненными стягами
Идут рядами по селу.
Земля и воля — краше золота,
Земля и воля — наш девиз.
Степная ширь ножом распорота,
Горят останки синих риз...

Поэт идет в огневых рядах и поет: «лечу я по полю на крыльях огненных времен». Самозабвенные огненной толпы захватывают его; он вне себя: он слышит грозу и бурю и рисует грозную огненную картину восстания на черном фоне ночи.

В поле ночью стелется огненный дым.
Стонет за речкой колокол голосом ржавым,
Тень мужика выросла грозно во мгле.
...Темные избы пламенем алых обьяты.
Жаркая степь запахом сена пьяна.
...В поле Россия мощно голодно о людю
Миру всему — огненный стяг подняла.

Вихрь грозы сообщает стихам Орешина вихревую, набатную силу; в его огненных словах «стонут в вихре перезвона беспорядочные звуки»; в его революционных поэмах, где сплетаются разные ритмы, «точно в бешеной подлятси; сердце захваченного стихий поэта «радуется искры гаснут и родятся в самозабвенном восторге кричит: «Ах, оставьте, не тушите!».

Разиновская вольница, голтыба, нагие и босые, изголодавшиеся люди, мятежные, взбунтовавшиеся против векового гнета вчерашние рабы сливают свое «Осанна!» с голосом набата. Орешин пропел песни не пролетария, захваченного социалистической мечтой, не рабочего созидателя, а взбунтовавшегося крестьянина-нищего. Суриковщина пропела песню Лазаря, песню забытой бедности и нищеты, бедности несмелой; Орешин пропел песню набата, песню восставшей нищеты.

Свою песню Орешин также облек в религиозную одежду. Но его бог, его Христос, его Никола — приходят в мир не в золотых одеждах, а в дырвовой сермяге. Они так же нищи и так же измучены неправдой. Они пронизаны горем земли, их сердца переполнены до краю человеческими слезами, обидами и мукой... Христос Орешина напоминает нам Христа из картины Ге — «Что есть истина?».

Шел Христос по селениям с котомкою
В белом, как серебро, уборе.
Пел Христос неустанно и громко
О мужиком неутешном горе,
Скоробно звучал над селениями голос,
Бренного Христа — Человека.
Плакал, росу проливая, колос,
Где-то теленок радостно мекал.
— Блаженны верующие в брата
Жаждающие голоса божья!
Смотрит в оконце купец богатый,
Мыслит: «знать, не в уме прохожий»,
Вышел к нему и ударил в щеку,

(«Зарево», «Зверюга», стр. 67).

Только кротость Христа, подставляющего другую щеку, не вяжется с гневным тоном книги. Христос заодно с мирским неутешным горем, не с богатым купцом, а со скорбным бедняком. Мудрый Никола — также с Ивановым босым и нагим. В прекрасном стихотворении «Дед краснобай» поэт говорит:

Где-то теленок протяжным надрывается мыком,
В зорях гармоника старая весело тонет.
Мудрый Никола в божнице, с затуманенным ликом,
Думу мужицкую думает в убогой иконе.

Всю тяготу голодной земли принимает он в душу свою, вместе с голодным людом страдает он огненными болями земли.

Никола — батюшка,
В серой сермяге, с ликом невиданным,
Плачет над Русью
Каждое утро слезами горькими...

читаем мы в книге «Зарево», стр. 17.

Вместе с босыми Иванами он ждет... вот «красная Русь» поднялась, запылала, поднялись люди «вольные, как Разин, святые, как Христос». И Никола-батюшка с теми, которые «в кандалах родились, вольными умрут». И там, где в чистом поле стояли три столба, где палач казнил буйных молдочов, там теперь родилась радость...

Ходит по полю угодник,
Праведный Никола,
Ризы, огненные зори,
Падают на села.
Ходит по полю Никола,
Ратников собирая:

— Выходи во чисто поле,
Русь моя родная!
Чудом стгнули навеки
Плахи-петли в поле.
Слава павшим за свободу
За святую волю.

(«Красная Русь», стр. 90).

В стихотворении «Крестный путь» поэт спрашивает угодника Николая:

Кому, родной Никола,
Простор небесных хат,
Кому поля и села,
Из крылей белый сад?

— Тебе, мой брат и сын,
...Тебе простор мой синий,
Тебе весь белый свет.

отвечает сермяжный Никола поэту деревенской бедноты.

У этого Никола совершенно другой лик, чем у Николы-милостника в прекраснейшей поэме Сергея Есенина «Микола». Микола Орешина — спутник в горе брата-человека, Микола Есенина — «ласковый угодник», поэт и созерцатель, русский Франциск Ассизский, влюбленный в красу мира.

П. В. Орешин озлоблен и непримирим. Он враждебен индивидуалистическим течениям в поэзии. Ласковый С. Есенин, с его вечно меняющимися настроениями, яркий индивидуалист. Один тяготеет к пролетарским поэтам, другой к буржуазно-упадочным течениям. «Исповедь хулигана» С. Есенина это исповедь поэта, потерявшего под ногами почву, поэта, захваченного опустошенными душевно Шершеневичами и Мариенгофами. П. Орешин создан революционной эпохой, и его поэзия дышит революционным подъемом. К со-

жалению, у П. Орешина нет чувства меры; его гиперболизм, хватанье пафоса через край, часто переходит в реторику и в безвкусице. П. Орешин пишет, кроме стихов, и рассказы, но в этих рассказах незаметен еще свой стиль. Поэт обладает ярким даром слова и большой искренностью и не боится резкости. Все его выступления пропитаны горячей любовью к литературе, к подлинному, нутряному творчеству. Он резко клеймит литературшину и выверты поэтов, которым нечего сказать, поэтов, которые в своем «стойле Пешина» «нахальную подпись заборную обращают в священный псалом». П. Орешин за десять лет выпустил много «сборников, совершенно случайных и непродуманных», по его же признанию. В 1923 году вышла лучшая его книга «Ржаное Солнце», т. I (224 стр.) в издании Госиздат. Том 2-й печатается.

В. Львов-Рогачевский.

РАНЕНЫЙ

Трава осенняя, густая,
Стоит, пригнувшись до земли.
Над степью, с края и до края,
Большие звезды расцвели.
Но в этом жутком полусвете
Я не хотел бы умирать.
Ведь, где-то там — родные дети,
Ведь, где-то там — родная мать!
В груди — сжигающая рана,

В глазах пустынно и темно.
Ах, как мучительно и пьяно
Минут последнее вино!
Звенит трава в потемках ночи,
Дрожат венки степных огней.
Но — с каждым мигом жизнь ко-
роче,
И драгоценней и милей!

(«Радуга», стр. 112).

ПРОЛЕТАРСКИМ ПОЭТАМ

Вы видите: в небе растет
Густая голубая трава
И зарей золотой цветет
Ваша собственная голова!
Что такое — из кирпичей труба,
Когда после обильного ливня,
Радуги два столба
Упираются в него, синее!

Скучно слушать молотобойные
взмахи
И удары их петь стихом,
Как вдруг над землей тарарахнет
Первый весенний гром!
Привет тебе, мать-природа,
Огненные зори, леса.
О голубые капустные огороды,
Взлетевшие на небеса!

(«Радуга», стр. 168).

ПЕСНЯ ВЕСЕЛОГО СТЕКОЛЬЩИКА

Я хожу из проулка в проулок.
— Вот кому вставить в раму стекло?
С Волги льдом голубым потянуло,
На душе, как на Волге светло.

Из окна мне рукой замахала
Чернобровая краля: «войди!»
Мне с разбитыми окнами стало
Тяжело, беспросветно в груди.

Я вставляю везде без разбора,
Только крикни: «стекольщик!» — я
тут.

Вставай быстрее, чтобы с Волги не
дуло,
Чтобы горница розой цвела;
И задорно мне в очи взглянула,
И так близко ко мне подошла.

За Саратовым Лысые горы
К небесам, точно к матери лнут.

«Вставлю», — молвил. И вынул цвет-
ное
Из подставки стекло. А она:
— «Нет, мне стеклышко нужно про-
стое,
Чтобы в доме была тишина!»

Тут ее уговаривать стал я,
Пел, и слезы катились из глаз.
Ветер с Волги меж нами растаял,
Подружил без попечки нас.

ПАМЯТИ А. А. БЛОКА

Удивительная нежность!
И таинственность снов.
И зелен и белоснежность
Стихов!
Никто не стоял так близко
К золотым берегам.
И как далеко и мглисто
Нам до Прекрасных Дам!
Только одна Незнакомка

Ноябрь 1921 г., Москва.

Удостоилась такой любви,
Что стихом задущебно — звон-
ким
Мог только ее любить.
Звал и просил объятий,
Исторгая голодный крик.
Но увидел Ее (я знаю!)
Он в самый последний миг.

(«Радуга», стр. 172).

УЧИТЕЛЬ

В селеньях, где шумят колосья
И избы сохнут на буграх,
Идет он рожью, льном и просом
В простой рубашке и в очках.
Но впереди туманом застит
Тропы неясный поворот.
А он идет, влюбленный в счастье,
В лесные зори и в народ.
Разливает озеро незнакомо
Камыш густущий кое-где —
И отразится бороденка
В заколыхавшейся воде.
Туман ползет... Но мысли ясны,
Они горят, как зорный куст,

Какой-то парень не напрасно
Снял пред учителем картуз.
И ветер треплет кудри эти —
Желтое выбитого льна...
На избы низкие в рассвете
Заря упала, как волна.
Пусть деды малость подсудачат, —
Не им итти в далекий путь.
Веселым смехом глаз ребячьих
Полна учителява грудь.
В очках — он зарослю исконной
Ведет их в дивные века.
— «Вставай, проклятием заклей-
менный!» —
Запели поле, лес, река.

(Сборник «Мы», стр. 25).

РАССВЕТ

Он пышет, пышет, красный,
С верхушек сосен лет.
И вовсе не напрасно
В степи запел завод.
Запел, в снегах ночуя,
Зарю стальной гудок:
Взметает тьму ночную
Златой метлой восток!

Всю ночь галдели волки
И папал белый снег...
В степном, в глухом поселке
Поднялся человек!
Надел зарю — рубаху,
Ступил на степь — руду
И шибко гигантским взмахом
Последнюю звезду!

Катись, звезда былого,
Уйди в глухую даль...
Проклятого и злого
Не будет сердцу жаль!
И долго, долго степью
Звезда катилась прочь
И слушала, как цепи
Сбирала где то ночь!
(Сборник «Набат», стр. 10)

О, Русь моя! ты видишь
Мой семицветный звук.
И знаю: песней бредишь
Под звоном красных выюг!
Катись без страха, Солнце,
Во мглу зеленых рош.
В заветное оконце
Стучит весенний дождь.
Я песенник, и знаю,
Меня увидит Русь,
Когда над вольным краем
Я солнцем вознесусь!
И конь мой без оглядки
Уже летит туда,
Где с тьмой играет в прятки
Веселая звезда!
Я мучю овсяным долом,
Притгнувшись, без седла, —

СОЛНЦЕ В СЕРМЯГЕ

Опять колдуют эти зори,
Колдуют степи и поля,
Изда и лес на косогоре, —
Иль это выдумка моя?
Но я одно наверно знаю:
От этих зорь мне не уйти.
Нас к земледельческому раю
Ведут все красивые пути!
Я часто, часто на досуге
Себя рассматриваю привок.
Во мне, ей-богу, как в лачуге,
Еще не выдохся мужик!
Пушай грызут стальные кони
Просторов русских чернозем.

Мой плащ краснопоподый
Лови, степная мгла!
В руках моих все струны,
Руси словесной ширь...
И я, как призрак лунный,
Лечу в желанный мир!
Мой конь дорогу знает, —
Отточен слов резец.
О Русь, моя родная,
Где твой лихой конец?

Ты в новой песне Миру
Несешь весенний день, —
И я — бросаю лиру
На первый твой плетень!
(Сборник «Набат», стр. 35).

Восходит солнце золотое
В моей родимой стороне,
Но солнце радужнее вдвое
Горит и плещется во мне.
Под тихий звон лесных фиалок,
Под песню радостную дней,
— Светлее солнца просияла
Душа воскреснувших полей!
Цветы цветут на всех полянках,
Вся степь в узорах и в огне...
Но тех цветов и вспышек рдяных
В степи не больше, чем во мне!
(«Набат», стр. 49).

В. И. Ленину.

Мы их на утреннем загоне
В зарю мужицкую вплетем!
Мужик — все слово, как из жира, —
Какая сила дышит в нем:
Ведь, больше, больше, чем полмира
Степным пропахло армяком!
В источнике — ни дна, ни донца:
Пей, лей, расплескивай, — не жаль!
Ведь даже Ленин — это Солнце
В другой стране взошло-б едва ли!
Нас Солнце обжигает зноем,
В сермяге Солнце, — с ним идем.
И с ним, пока он жив, достроим
Ржаной Всесветный Исполком! 1.

ИЗ ПОЭМЫ «НА ГОЛОДНОЙ ЗЕМЛЕ» 1.

I
В деревне пусто. Нет овинов.
Полнь в степи и на дворе.
И над пустым, забытым клином
Высокий холодно заре.
Село совсем полуживое.
Такая тишь. Такая сонь.
Не встеленькает, не вззоет
Нигде зазнобушка-гармонь.

Голодный жес на звезды воет,
Кому-то предвещая путь.
Не гонят парни на ночное
Конец костлявых отдохнуть!
Село мое! Родная пахить!
Полынная моя страна!
Тяжелым камнем в сердце ляжет
Мне грусть твоя и тишина!

II

Высохли курганы. Как лица,
Заморщились пашни от боли.
Только ворон, проклятая птица,
Каркает над пустынным полем.
Лес листовой шебуршит опавшей,
Завулканились зорь болота!
И покойником длинным на пашни
Растянулась мужичья забота.
Русь! сегодня твой облик строже,
Горемично в бескрайностях синих.
Поздно льют в колеи подорожья
Золотые июльские ливни.

ЗОЛОТОЙ ЧЕРНОЗЕМ

По родным рассеянным просторам
Сколько лет бродила я с положком,
Припадавая изумленным взором
К бедной хате с крохотным окном.
И всегда в избе я видел то же:
За столом сидела сухота,
На спине — суровая рогожа,
Точно листья желтые с куста.
По деревне гомон босонюгих,
Златокудрых, озорных ребят...

Нет, и ливни теперь не помогут!
Сгибло поле, и пусты лабазы.
И упорно глядят на дорогу
Из окна два большущих глаза.
Это смотрит тоска мужичья,
Плят зенки убогая осень.
Через силу могучие плечи
Русь великая по-миру носит!
Нечем стало похвастаться боде
Ни сохе, ни машине, ни плугу.
Желтый лес да полынное поле
Дуют сушью в пустую лачугу.

Налетели горячие ветры,
Постажили солому с крыши.
И запрыгали в рдяном рассвете
По загонам голодные мыши.
Попшатнулась изба в изморе,
Лихо стало лесам дремучим.
И пухнет мужичью горе,
Как туман по сосновым сучьям.

Сухо стало в глубоких колодцах,
Без воды возвращались ведра!
Что же дождь голубой не льется
И не мочит лесные ребра?
Душно, душно в избе мужичьей,
Не кудахчут за стенкой куры.
Лишь горит златолистный вечер
Над избой кособокой и хмурой.
На заре кукурекнул в вечер
Петух о пшенице свежей.
Он не знал, что кормить его нечем
И что завтра его зарежут!..

1 Изд-во «Красная Новь», 1922 г., Г. П. П., Москва. Эта книжка вышла с следующим посвящением: «Посвящаю леду моему Егору Алексеевичу Оренину, собиравшему куски под окнами села Галахова, Аткарского уезда, Саратовской губ., и умершему там под окнами, во швах и в голоде, 25 апреля 1922 г.»

1 «Правда», 18 марта 1923 г. Бюллетень № 6, о состоянии здоровья Ленина.

Исходил я Дон и Украину,
И тайгу сибирскую пешком,
Про тоску, про тяжкую кручину
Золотой шептал мне чернозем.

Неподвижны хижины
С выбитыми окнами,
Обнялись обиженно
Бревнами поблеклыми.
Ждут они под горкою
Парня кудреватого,
Стеньку-птицу зоркую,
С Волги из Саратова.
Он придет нежданно
С молодцами красными.
Пустит в небо ладаном
Думы ежечасные,
И с детьми, и с женами—
Вольницу разбойную
Встретим мы поклонами,
Ласкою достойною.

Крылья красные, большие
Распластались и застыли.
Пляшут тени золотые
Под дождем огнистой пыли.
Скачут, падают со звоном
Волли медного набата.
Ночь горит костром зеленым.
Месяц светит виновато,
Точно в бешеной погоне,
Звоны колокола мчатся,
В полукрике-полустоне
Искры гаснут и рождаются.

ИЗ «ЖЕСТОКИХ ПЕСЕН»

Вы меня не таким загадали
И напрасно связали с избой.
Ураганы железа и стали
Пронесли над моей головой.
А когда вся Россия согнулась
Под ярмом нищеты и борьбы,
Я ушел от соснового гула
И от лунной ушел ворожбы.
Наплавал я на бабкины сказки,
Бочку соли, ей, ведьме, под хвост.

Пусть не цедают за рошей подпаски
Молоко из дымящихся звезд.
Это ваши уловки и сети,
Будто солнце — котенок в избе.
Только бабы в ночном полусвете
Все еще говорят о судьбе.
Будет врать о любви и о бобе,
И о многом и многом другом.
Не вернут вас ни кони, ни дроги
В старорусский родительский дом.
(«Вехи октября», стр. 166).

ЖДУТ

Ночкой темно-синее
Будет пир с подарками.
Чокнемся с дружиною
Золотыми чарками.
Будут песни молотом,
Думы — наковальнями.
Зори вспыхнут золотом
Над полями дальними.
Поведем веселые,
Загудим ватагою.
И заплем похмелье
Белопенной брагой.
Будем все богатыми,
Будем все счастливыми.
С теремами-хатами,
С женами красивыми!
(«Радуга», стр. 65).

НАБАТ

Вся деревня — красный пламень,
Люди — пляшущие тени.
Хлещет огненное знамя
О кровавые ступени.
Стонут в вихре-перезвоне
Беспорядочные звуки.
На кровавом небосклоне
Умоляющие руки.
Ах, оставьте, не тушите,
Сердце радуется звону.
Знамя красное не рвите.
Пусть горит по небосклону!
(«Радуга», стр. 70).

ПРАДЕД

Мы — прадеды ваши с седого Днепра,
Мы — вольные пахари божьего поля.
В лесах не сыскать ни избы, ни двора,
А двор от двора на сто верст и побеле.

Над нами небес неумемая синь,
За нами — лесов серостволая сила.
Под скрипом дубов вековых и осин
Лиса златобрюхая стадом ходила.
Медведь косоплпый со мною дружил.
От зайца, бывало, не знали отбоя.
В болотах похлопывал выцветший ил,
В озерах туманилось дно золотое.

В лесах сторожили куща кистени,
Поймают — отнимут грощи и алтыны.
Под небом высоким в бездождные дни
Стояли, как храмы, ржаные овны.
Как вы, не ходили мы в зиму без шуб,
Как вы, не сидели мы в избах без хлеба.
Из божьего леса рубили мы сруб,
В алтынах была не великая треба,

Хватало с избытком лесов и полей,
О податях не было даже помину.
Пред светлые очи наемных князей
Без дела не гнули мы, пахари, спину!
Без красного стяга мы были вольны,
Не криком, а звоном сызвали мы вече.
Каленые стрелы седой старины
Пронзали изменников дожде плечи.

Я древен годами. Сквозь толщу веков
Смотрю на расцветшую матушку-Землю.
Веселому рокоту пенистых слов —
Не в наших, но в ваших — с бесстрастием внемлю!
Мы, прадеды ваши, росли без царей,
Тюрьма с казематом не правили нами.
Над Русью великой, в просторах полей
Мы были сами царями!!

(Из сборника «Зарево», 1918 г., стр. 47)

ДЕДУШКИН ГРЕХ

(Поэма)

Когда в потемках дедушка Афоня,
Сухой старик, мосол до сухожил,
Засветит свет и подойдет к иконе,
И упадет и скорчится в поклоне,
А за окном вдруг заспит коваль, —

Я перекинулся через край полатей
И пристально слежу за каждым шопотком.
И кажется мне шопоток крылатей,
Чем мотылек при огненном закате,
Растаявший в просторе полевом.

В седых усах, как в войлоке, придушен
Глубокий вздох, и не понять о чем:
Вот светел он, как белый цвет на груше,
Вот он отцвел и стал темней и глуше,
Вот зашуршал и полился ручьем.

Дед замахнулся жилистой рукою,
Ткнул в лоб перстами сложенными в крест,
К земле приник мохнатой головою.

А я томлюсь, хочу — и не открою,
Какая же блоха так больно деда ест!

А, ведь, зимой в избе тепло, как в бане.
Мне на полатях — марево и сласть.
Лампадный лучик — усик тараканий —
Шевелится в махорочном тумане,
Чтобы светлей поклоны деду класть.

Я знаю: дед — не вор и не убийца.
Весь век трудился до последних сил.
И в молодости песню пел, как птица,
Всегда одну: как он красу-девицу
Увидел раз — навеки полюбил.

Когда-то с Волгой, в молодые годы,
Сдружился крепко, слыл за боска,
Гонял плоты и грузил пароходы...
Бывал пьянехонек и на показ народу
Откалывал за сотку трепака.

Был на войне, едва унес монатки,
Пришел домой с подвязанной рукой.
Шинель на нем — заплатка на заплатке,
И на ногах — один сапог без пятки,
Да лапоть старый, лапоть вековой.

И непонятно шалому мальчонке,
О чем он долго молится в углу:
Аль шибко пьян от хлебной самогонки,
Аль уж привык и стал родным иконке,
Как стал родным и полю и селу?

Одно понятно: в старом человеке
Зашло сердце, многого не жаль.
Но снятся медом вспененные реки,
И — в райских кущах дятлы-дровосеки
Привычно новую продавливают даль.

Еще вчера рассказывал мне дедка,
Грозя в окно на темный исполком:
— Умру, сынок, запомни это крепко,
Держись за землю весело и цепко,
Да не болтай без меры языком!

— Земля жива, откуда с ней в обнимку
По-темному вершишь ее обряд.
Заметить в поле-ведьму-невидимку,

Оксти лицо, подуи на лихонмку,
Да и поплуй, как люди говорят.

— Дух земляной узывен, хуже бабы,
Дух-оборотень бродит по лесам,
По нашим избам, по стенным ухабам,
И будь ты хоть каким отчаянным и храбрым
Но верь до гроба всяким чудесам!

— В лесу есть леший: зелен парень с виду —
Зеленый хвост, зеленые рога.
Но друг такой, что уж не даст в обиду...
И я зато, бывало, в лес как выйду,
Несу и лешему кусочек пирога.

— А с домовым в обнимку спал, бывало,
И ничего: помет, отпустит враз.
За то уж сивке, чтоб дружной пахала,
И гриву заплетет, и подстрижет крушала,
И сена принесет в корзину про запас.

— На мельнице русалка и поныне
Живет, как встарь, под темным колесом...
Ой, не влюбись!.. К пригожему детине
Прильнет, как пьяница, и в тине
Утопит, рыбным приласкав хвостом!

Нарассказал, аж волос на затылке
Поднялся дыбом... Поглядел: мой дед
Все молится и шепчет что-то пылко,
И каждая в нем старческая жилка
Молитвенный переживает бред.

Ну, что-ж, пускай мой дедушка на склоне
Глубоких дум и седовласых лет
Откроется до дна своей иконе,
Чтоб снять грехи да и взглянуть спокойней
На эту жизнь, на этот белый свет.

Зачем мешать? Лампада смотрит шурко.
В иконе краски выбились из сид,
И дым ползет с фитильного окурка.
— А, может быть, дед молится за турка,
Которого он на войне убил?

А коли так, ты опоздал мой дед,
Давно то было, было поросло.
В окне метель взялась еще с обеда,
И не найти во въюжном поле следа
Того, что было и давно прошло.

Дед стар, как пень, забытый в желтом поле,
И деду внук давно уж изменил,
Над ним подтрунит иногда на воле,
И у себя, в районном комсомоле,
Немало песен скабранных сложил.

Отец и мать жалеют деда очень
И обо мне не говорят при нем.
Но я люблю его слепые очи,
И на полатях вместе каждой ночью
Мы спим под старым теплым зипуном.

Конец молитвы утонул в поклоне,
Я затаил дыханье и молчу,
Ведь не заметил дедушка Афоня,
Что он молился вовсе не иконе,
А... врезанному в рамку Ильичу!

(Из журнала «Пролетарий Связи». № 12—13, 1924 г.)

КВАСОК

Я знаю шорохи и звоны
Колосьев зреющих во сне,
Душистой ржи полупоклоны,
Моей родимой стороны.

Дорог изгибы мне знакомы,
Испытан жатвы знойный день,
Люблю я золото соломы,
На крыше русских деревень.

Люблю зеленые отавы,
Ряды серпов и светлых кос.
Бродяги-ветра звон кудрявый,
Среди серебряных берез.

Люблю веселый смех мужичий
На темном пахотном лице.
И старый дедовский обычай,
И посиделки на крыльце.

Люблю за то, что скоро в хаты,
Ворвется новая пора.
И будет кошено и сжато,
Сереброкудрое вчера.

Люблю проснуться спозаранок,
Когда в заре все небо сплошь,
И мимо розовых ветрянок
Волати в заутренню рожь.

Под звон косы полягут волны!
Снопов кудрявых на току,
И славно будет в полдень знойный,
Хлебнуть крестьянского кваску.

О, край родной, как ты чудесен:
Ржаная степь, ржаной народ,
Ржаное солнце, и от песен
Землей и рожью отдает!

(Из книги «Ржаное солнце», стр. 8).

ДУЛЕЙКА

В камышах шишикает шишига;
— Не купайся, сгинешь за копейку,
Дал шишиге хлеба я ковригу,
А шишига мне дала дулейку.

На дулейке только заиграю,
Все поля, вздохнув, заколосятся.
Потемнеет нива золотая,
Зашуршит — и сны ей тут при-
снятся.

Позабудут странники убоги
Долгий путь к угоднику Миколу.
Соберутся, сядут при дороге,
Во широком златозвонном поле.

Я возьму чудесную дулейку,
Заиграю звонким переливом.

— Ой, ходила туча — лиходейка
По родным, по выпаханым нивам!

— Ой, гуляли буйные ватаги,
Русь ковали в тяжкие оковы.
— Ой, шатались хмельные от браги
По Руси опричники царевы!

— Ой, томились пойманные птицы
По родному, радостному краю,
Отрубали голову на плахе
Всенародно парню-краснобаю!

— Ой, взгляните, люди, за покосы,
Не столбы-ли виселицы видно?
— Ой, не волк-ли пьет весенние
росы,
Не седол-ли плачется ехидно?

Зашумело вызревшее просо,
Распахнула зорюшка шубейку.
Положивши голову на посох,
Хвалят слезно странники дулейку.

В камышах шишикает шишига:
— Не купайся, сгинешь за копейку!
Дал шишиге хлеба я ковригу,
А шишига мне за то — дулейку.

(Из сб. «Дулейка», стр. 5).

Я. ТИСЛЕНКО

РАБОЧИМ

Я — сын полей и волньих пашен,
Вы — дети фабрик, знойных руд,
Мое заветное и ваше —
Однообразно-серый труд.

В огне пылающего горна,
Вы серп куете мне и плуг,
А я зерно в землице черной
Взрашу усилюм сильных рук.

Не возомните в гордой славе:
Природы мертвенны лучи, —
Еще звенят в родной дубраве
Певучей радости ключи.

Ваш мир — огонь и лягз машины,
Мой — златоурные поля,
Но в этом разном мы едины,
В стенах родного Корабля.

Пока серпом вражда не сжата
Любовь к вам близким и родным,
Позвольте мне, степному брату,
Итти путем моим степным.

Еще по пустоши раздольной,
Железным грохотом дыша,
Не раз задумается больно
В гранит плененная душа.

(Из непечатанного сборника «Весенний взмах», 1919 г.)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Новокрестьянские беллетристы

И. ВОЛЬНОВ—А. НЕВЕРОВ—С. ПОДЪЯЧЕВ

ИВАН ВОЛЬНОВ

ДЕРЕВЕНСКАЯ ПЕСТРЯДЬ

I. ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

— Пишешь?

— Пишу.

— Пиши.

Черными потрескавшими пальцами мужик долго ловит по столу папироску.

Вертит ее перед лампой: — штука! — и вдруг заливается тоненьким детским смехом.

— Ни шута из твоего писанья не выйдет!.. Читали!.. Тая, баня, Катерина, Мамочка... Сосонт Шавров ударил по голове колом Пахома Кривоухого, Пахом Кривоухий заголил Овдотью Рыбину... ежа дохлого с'ели... проткнули лошади вилками пузо... Так, шут тебя знает, что набираешь, абы деньги платили!.. А там, дураки, верят... про орловских мужиков писанье...

По грязно-серым, взмокшим стенам избы трепетно прыгают тени. Под столом чавкают и рвут лапки сосунки-поросята. — «Кш-ш, сволочи, оглодали!» Жужжит веретено. В углу, на куче смрадного тряпья, бредит больной ребенок в скарлатине.

— Жив еще? — кивает мужик в угол.

— Жив.

— Угаснет. Готовь доску.

Вечер томителен и тих. Снежная улица пустынна. Изредка щелкнет щеколда. Шаркнет впотмах рука, отыскивая заиндевевшую скобу. Из сеней, с навоза, в раскрывающиеся двери обдает серым холодом.

Изда постепенно наполняется рваными полшубками, самодельными папахами в мякине и отрубях, кашлем, удушающим дымом домашней махорки.

— Сидите?

— Сидим.

— Сиденье вам.

Ко мне:

— Пишешь?

— Пишу.

— Пиши. Бумаги не жалко.

Садятся на полу, на лавках, у шестка. Лезут на голобоц. Позевывают. Подолог и крепко чувствуются. С матерщиной бьют на столе насекомых.

— Чем писать-то — аппарат бы приладил. Ты, небось, мастер на это: во всех землях был.

Захлебываясь:

— По чибарушечке!.. Одной, другой, девятой!.. Эх, и разговор бы у нас сейчас вышел!

— Первый!

С восторгом:
— Смеху!.. Драки!!.. Всю деревню бы перевернули...

Будто кто сдернул маску с угрюмых, свалывшихся лиц. Сопят, возятся, громко хохочут.

— Теперь на нас, на эту канпанию, да если при хорошей закуске!.. Василий Павлыч, сколько на нас при такой канпании? Ух, и много выжрали бы!.. Ед-ди твою барыню!..

— А дома? А? Штоб я пропал, ни одной бабы не осталось бы в избе!..

Сосед раздраженно смотрит мне в лицо:

— Не веришь? Что большевики — равноправие? Да я первый своей скулы на затылок своротил бы!..

С глубокою, непередаваемым презрением:

— Равнопра-вие!.. То-то у тебя ни чорта и нет по хозяйству, — тот из имения себе лошадь сташил, тот — корову, у того — плуг исаковский, соха, борона, кобыла ворона, а ты с своей соплей возишься, не знаешь, на какое место посадить: «Товаришцы, как у нас окончена гражданская война и женщина есть наш товариш, то чтобы этого не было — в морду!»... Эх, ты — писарь!..

Собравшиеся в десятки ядовитых морщинок широкое, обветренное лицо его расправляется, он залившись хохочет, снисходительно хлопая меня по спине...

Болезненно и громко плачет ребенок.

— Ну пойдемте, — заглянув в тряпье, говорит сосед, — умирать сейчас будет.

С презрением и жалостью ко мне:

— Ведь, небось, и досок-то нет на гробишко?.. Эх, вы говоруны!..

Хочет скрыть свои доподлинные чувства, поласковее как-нибудь сказать то, что, очевидно, накипело в груди — не может, не умеет: больно уж он прост, непосредствен.

— Пятнадцать годов ты маялся, конуры не видел... тюрьмы прошел...

Самые размолодые, распрекрасные годы ухлопал... учил мир, как надо жить... А сам живешь хуже последнего побирושки, чурок на гроб нету... Чи-тарь!.. Ты на меня сердиться?..

— Сержусь.

— За живое взяло?

— Нет, не поэтому. Темен ты, глуп...

— Нет, тебя за живое взяло! — возмужденно кричит сосед...— Правда глаза колет!.. Ну, слушайте, ребята, ну, пожалуйста, выслушайте нас, как есть дело!..

Он принимает вплотную ко мне, кладя крепкую, волосатую руку на плечо.

Пониженно, почти шопотом, странно волнуясь:

— Мы, например, пашем, сеем, молотим... по глотку живем в земле, навозе... кормим себя, скотину, стариков, сирот убогих... На нас, — сам же говоришь! — испоконь веков ездят... их тоже, стало-быть, кормим...

Громко, уверенно:

— Всю землю кормим!..

Ревматичный стол качается и стонет от удара.

— Это — худо?.. Без нас все подохла бы, как мошки!..

Близко-близко к лицу:

— Ну, а — ты?.. ты вот хорошо обучен, грамотный, в газетах, книжках пишешь... Кому ты дал хоть полынный кусок хлеба, — зачем ты живешь?..

Он порывисто выдергивает у меня из-под рук лист бумаги, — читает нараспев, с заминками:

— «Словно необозримое море, раскинулись хлеба; словно мачты далеких кораблей, темнели на рубежах одинокие деревья. Радостно горели и улыбались звезды. Стрдание ли в мертвой хватке душит землю, кровавая-ли распра горячо кропит лицо ее, мор, голод, стихийные ли бедствия опустошают ее — звездам, холодным, улыбочным стеклянцам, — все равно: в дни тяжелых бедствий в минуты маленькой, скудной радости земли — они одинаково продажно-приветливы»...

Долго, пристально, молча смотрит на меня.

— Зачем это?

— Не знаю. Так написалося.

— «Так напи-салось?» Кому написалося? На что?.. Ребята, поняли, прочто написано?.. Никто?.. И я не понял... Поповнам написалося!.. Городским, которые на вострых копытцах... Там тебя поймут — страдание, любовь, лицо кропит, она ему, он ей... А нам твоё писание ненадобно — пустое, глупое... Устало вытирает вспотевший лоб, мнет шапку-капелюху.

В избе душно. Ручьем течет вода с оттаявших подокозников. Меркнет светец.

— Шли бы, мужики, домой, уж надоели, — говорит невестка: — тары-бары, четыре пары... из пустого в порожнее переливаете...

— Ладно, сейчас отравимся, вот покурим, да ночь делить с курами. Через минуту изба по матицу наполняется чадом. Бабы чихают.

— Ну, пиши теперь своим вострокопытам, — говорит сосед, подтягивая опояску: — расскажи им, как граф Монтекрист прилюбил барыню Милитрису, и какие соловьи свистели... тебя похвалят за это...

— Я напишу им, как вы живете, хуже животных, — раздраженно кричу я: — как вы темны, дики, как тускло течет ваша мученическая жизнь...

— Слыхали!.. Знаем!.. То-то там расплачутся в три ручья!.. Намедни в Курске шестеро утонули в слезах... нынче хоронят с военной музыкой... Не правда?..

— Как вы жадны и подлы, жалкие рабы, как за медный пятак вы продаете революцию, как вы пьянствовали, когда города вымиралы от голода, на последние рубахи меняли рабочим дохлах поросат и птицу!..

— Валяй, валяй... гни дугу в оглоблю!.. За это тебя еще больше похвалят... об именах не забудь — как именья грабили... Про винные заводы, — про все пиши им... Бей мужика, у него спина дубовая!.. Рви удилами рот, чтобы кровью захлебывался!..

II. САМОГОНЩИКИ

В старом вдвоем амбаре, пустом, где мыши подошли от тоски, поставлен аппарат: два чугуна с просверленными днищами, деревянная трубка, продолговатый деревянный холодильник, набитый снегом, — раньше в нем давали корка поросатам. Жестяная самодельная толпа под чугунами. А у холодильника — моргасулька с конопляным маслом. Вдова дает амбар, караулит от милиции. Ей платят от затора: карман пшена с головы. Захватят самогонщиков: их ответ, вдова тут не при чем — амбар за гуннами, раскрят, разве за каждым дьяволом усмотришь?.. А коли смеуют — разбегутся от милиции, в амбаре никого не окажется, только гарь, запах сивушный, вдова скажет начальству:

— Я варила, душа пить-есть хочет... Хотите — стреляйте из пушгавлета, хотите — в острог отправляйте, я не могу пропитать себя по старости годов... моих старых...

Заторы готовят дома, — у вдовы избенка мала, печь плоха, на печи места мало. А надо, чтобы заторы уксислы в порядке. Хлопотливо трут сахарную свеклу, кормовой бурак, картофель, грушу, яблоки. Реже, но не редко, варят из муки.

От моргасульки в амбаре полутемно.

Слабое красноватое пламя подтопки трепетно освещает полудетские и детские лица. Десяти, двенадцати, пятнадцати лет. Взрослые боятся: с них, в случае чего, больше спросят. А эти — народ никудышный: их и в тюрьме-то стыдно держать. Одни колят щепки, другие шевелят в подтопке, третьи носят снег, воду, заторы, — мало ли работы? И когда барда в чугунах закипит и тоненькой струйкой зазвенит в бутылку «первак», дети радостно потирают руки. Как взрослые. Как типичные алкоголики. Хотя они еще не алкоголики. Но, несомненно, будут.

«Первак», самый крепкий и ядовитый, достается детям: они пробуют. Чайной чашкой поровну размерируют водку и первые глотки тянут со стиснутыми зубами, сильно, задыхаясь, извергая обратно. Закусывают припавшим хлебом с луком. Не пить нельзя, это значит не быть взрослым, а двенадцати, пятнадцатилетние ребята считают себя взрослыми: солидно разбирают качество выгнанной водки, ее привкус, крепость; свободно говорят о женщинах, мечтают о том, где и как бы за полпула муки, несколько фунтов укравденного мяса проникнуть в тайны «будауеров» деревенских гетер с провалившимися носами. Среди них уже имеются вкусовые сладости грехопаления: с чувством превосходства, чаще — с едва скрываемым стыдом — бахвалятся перед приятелями своими похождениями. А те завистливо молчат.

Желтая, мутная, отдающая подгорелой свеклой водка быстро действует на неокрепшие головы. Долго и беспринично смеются. Потом поют несни — несладкие, бессмысленные, срамные. Затем — дерутся и плачут.

Если «первак» во-время захватят взрослые, его отнимают, и дети довольствуются «драгуном» и ополосками. Но это случается редко: дети хитры и великоплено проводят старых воробьев.

Остатки пиршества, — ребята не в состоянии выпить всего выкуренного, — продаются по 8—10 «лимонов» за бутылку. Покупателей искать не приходится. Деньги идут на игру в карты: в очко.

Так текут зимние деревенские дни.

Дети — сколок со взрослых. Пьянство среди взрослых отвратительное. Пьют все и все. Ухлопываются десятки пудов.

Школы стоят; на школу жалко полпула — пуд зерна. Без стекол с расшатанными крыльцами, упавшими трубами, ободранною тесовою подшивкой. Учителя батрачат, подшивают старые валенки. Учительницы на содержании у богатых деревенских хамов.

Больным, амбулатории бездействуют. В деревне свирепствуют тиф, скарлатина, дифтерит, сифилис. Беспризорные малыши гоняют собак, курят, ругаются хуже арастантов.

А между тем, на «курево» расходуетя такое количество хлеба, что и половина бы его даля жинь больницам и школам.

Милиция? Исполкома?

Что могут сделать три — пять человек милиционеров на район в несколько волостей с населением в 20—35 тысяч жителей?..

В суде уже не раз разбирались дела о поголовном пьянстве целых деревень на сходах — по-старинному. Приговоры выносились жестокие, но бессельные: пьянство усиливается.

Что делать?..

(Из журвала «Красная Новь», 1923 г.)

Александр Сергеевич Неверов

В ВОСПОМИНАНИЯХ

ЛИДИЯ КРАСНОГОРСКАЯ

На смерть А. С. Неверову¹

Такой простой и по простому мураый
Умел он в душу каждому взглянуть...
Горит тоскою камень изумрудный —
Тяжел писателя многострадальный путь...

Но он прошел его и доблестно и строго
До скорбного нежданного конца,
Трудна была крестьянская дорога
До тяжкого писателя венца.

Он не жалел своей мужицкой силы —
Крепла вокруг него писателей семья,
И вот у горькой преждевременной могилы
Печально собрались бездомные друзья.

Не стало одного и ранит жизни холод
И нечем заменить лихую пустоту,
Упал, не завершив большого дела, молот,
Едва успев отбросить искру в темноту.

НИКОЛАЙ СТЕПНОЙ О НЕВЕРОВЕ.

Мы с ним работали вместе в журнале «Жизнь для всех» у Поссе. Я приглядывался к его вешам и часто думал, кто он и какой из себя. Хорошо бы посмотреть в лицо. Слышал, что он где-то живет в Ставропольском уезде в деревне (Родился писатель в селе Новиковке, Ставропольского у., Самарской губ., в семье Скобелева, 1886 г.).

Империалистическая бойня кинула меня на французский фронт, где я воевал на полях Шампани и у Рейсса. Вернувшись в Россию, гражданская война бросила меня в ряды армии против Дутова. Вот, возвращаясь с дутовского фронта, я и встретился с ним в Самаре, в самарском литературном обществе. Здесь были: Тисленко, Треплев, Иван Вольный, Скиталец и др. Передо мной стоял, выше среднего роста, лет 30—32, широкоплечий деревенский интеллигент. Большие рабочие руки, скуластое лицо, из-под большого лба глядели серые умные глаза.

— Где и откуда?

¹ Весь этот материал помещен в № 2 Сборника лит., драмы и критики «Наш труд» в издательстве коллектива рабоче-крестьянских писателей. По выходе из «Кузницы» А. Неверов явился основателем коллектива рабоче-крестьянских писателей.

Я принялся рассказывать. Было лето. Жил я нелегально, т. к. власть принадлежала чехам, и меня, как члена второго ВЦИК не пощадил бы, если бы я попался им в руки.

На мой вопрос, — как и что нового в литературе? Александр Сергеевич подал мне журнал — «Жизнь для всех» и говорит: «Вот прочтите!»

Это был апрельский номер 1918 г. В нем была и его вещь и моя. А. С. в кружке зачитал одну из своих вещей (кажется, об Ивановой душе). Спорили. Потом мы вышли с ним вместе. Он жил один, семья была в деревне.

— Ну, как вы теперь? — задал я ему вопрос.

— Да революция для нашего брата клад — время наше пришло, дождались. Пора и нам показать себя.

Поговорили о том, как писать, как и где помещать. Он уже сознавал, что журналы — «Жизнь для всех», — «Русское богатство», — «Современный мир» его не удовлетворят. Теперь надо свое.

— Мне налево, — прервал он широким размашистым жестом, — к махехе пойду ночевать, она у меня на окраине живет.

Вскоре из города стали отступать чехи, и стали всех хватать. Пришлось мне скрываться.

Когда пришли наши, мы с А. С. встретились в организованном вновь отделе искусств, где я был секретарем журнала редакции «Пламя».

Он рассказал о своих мытарствах, так как был в деревне, у своей семьи и оттуда пробирался в Самару через Яров.

Пробрались они вдвоем вместе с Яровым.

С этого времени (начало 19 г.) мы не расставались. Он прочитал вышедшую у меня книгу «Сказки степи» и написал для нового издания предисловие.

— П. тут раз'яснил, как их, сказки понимать надо, лучше пойдут, — добродушно с'иронизировал он.

Отдел искусств, нуждаясь в новых пьесах, объявил конкурсы, что и толкнуло А. С. писать пьесы. У него создалась одна маленькая агитка «Корона», пьеска быстро пошла по клубам, была напечатана в журнале «Красная Армия»; редакторы были П. Яровой и Дорогойченко. Потом А. С. принялся за большую пьесу. И однажды прочитал нам в черновике пьесу «Бабы». Читал он у меня в квартире. Все присутствующие были в восхищении от мастерской зарисовки типов, а также и четкости языка.

Когда приехал Н. Г. Виноградов (драматург-режиссер) из Петрограда, А. С. пошел к нему. И тот ему сказал, что вещь очень талантлива. Оценка вещи двинула А. С. продолжать работу. И он сработал ряд еще мелких пьес. С одной из них «Женским засильем» мы ездили в Иващенковский завод, при чем у нас один артист не явился. Пришлось играть самому А. С. Я сел за суфлера. Давал А. С. реплики... Он их нервно схватывал, но играл хорошо... Зрители были все рабочие, после игры вызывали актера-автора. Затем мы устроили еще литературное отделение. Выступали много раз, при чем его мелкие рассказы вызывали много смеху: «Каряга», «В тисках» и др.

После преобразования отдела искусств в лито самарского гублитпровета (которым я заведывал), А. С. занимал пост заведывающего художественно-литературной секцией. Работал он не жалея себя, несмотря на то, что у него сердце и тут было не в порядке — припадки... Перечитывал, исправлял рукописи, давал советы, выступал вместе со всеми на литературных вечерах. Играл сам в пьесах, которые уже ставились как в городе, так и в окружающих селах. Принимал горячее участие в самарских журналах и газетах и дал ряд критических статей. Некоторые были больше печатного листа. «О Чехове», «Писатель и описатель» и др.

Москва объявила конкурсе на песни. Секция об этом широко оповестила. Мы все стали посылать вещи. Он получил несколько премий, как за драмы, так и за рассказы. Пьесы: «Бабы», «Захарова смерть», «Смех и горе»... Помимо московских премий, он получил премию и самарскую.

Наступил 20 год. Поехали вместе с ним на съезд пролетарских писателей. Здесь на съезде мы установили контакт с владимирцами. И здесь и было решено объединение. В проекте было, помимо общего участия в журнале «Рассвет», — также и общая дача, возможность устройства коммунальной, широкая помощь друг другу...

Съезд прошел не даром. Вернувшись, А. С. начал усиленно работать. Самарское дело создало журнал «Понизовье», литературную газету. Вся работа по художественному отделу целиком падала на А. С., также как и постоянный обмен с владимирцами.

В одной из литературных газет А. С. рассказывает в фельетоне, как вел переписку с В. Г. Короленко, и как хотел поехать в Петроград, и как Короленко на его порывы поехать в Петроград ответил ему, чтобы А. С. и не думал ехать, а оставался бы в деревне.

Наступил 21 год. Этот страшный для Поволжья год, который погнал всех, кто мог двинуться вон из Поволжья.

Мы, самарские писатели, отправились в Самарканд за хлебом, надеясь дорогой кормиться лекциями, да и привезти сюда для остальных голодающих товарищей писателей и для семей...

Благодаря энергии писателя самарца Дорохова, удалось достать вагон. Поехали: А. С., пишущий эти строки, Дорохов, брат А. С., певец-студент. Дорогой мы устроили ряд лекций и литературных выступлений в Актюбинске, Перовске, Ташкенте, Самарканде, Дюме и т. д. Проездили так три с лишним месяца. Хлеба привезли немного. В Самаре не захватили уже кое-кого в живых. Умер Тисленко, уехали, рассыпались многие, нас не дождавшихся...

Тогда мы ударили набат-просьбу к владимирцам, и группа владимирских писателей, возглавляемых Евг. Локтевым, выслала через Я. Ганзбурга мне и А. С. хлеба по несколько пудов и гречи. По настоящей просьбе А. С., была выслана владимирцами еще дополнительная посылка Е. Лукашевичу (критику самарскому).

— Можешь себе представить, — говорил А. С., — какие оказались владимирцы! Верные не на словах только, а на деле. Не забыли.

Помощь действительно была своевременна. У некоторых членов самарцев оставалось по несколько фунтов муки...

Ну, теперь мы опять засядем за работу, что нам — мука есть, дрова есть, да и квартира теперь есть. Ал. Сергеевич перешел из курной избушки, в которой он жил на окраине у своей махечи. Это была такая избушка, что войти в нее надо было остерегаться не ушибить головы о потолок. Кроме того, и народу в ней постоянно толклось много, т. к. приезжали из сел постоянно крестьяне...

— Как ты здесь пишешь? — задавал я ему вопрос.

— Да так, по ночам. Вот копилку завел, керосин дорог, ну ночью под копилку, когда все спят, я сижу и пишу. Только сверчки один свистят, да я пером скриплю... Кажется, в эти ночи он начал свою повесть «Гуси-лебеди»...

— «Ташкент город хлебный», по-моему начат был еще когда мы ехали частью дорогой (он делал заметки), частью уже потом, когда он перебрался в новую, более светлую и удобную квартиру...

— Владимирцы звали в Москву для выполнения намеченного плана...

Мысль, брошенная владимирцами, определенно указывала пути... И А. С. Серг.

нет, нет да и заговорит — надо ехать. А тут уже уехавший писатель Яровой в письмах также настойчиво стучал — ехать...

В 22 г. на пасху А. С. выехал в Москву.

Выезжал — колебался. А вдруг семья здесь не продержится, ему заработка не удастся достать в Москве. Заботлив он был чрезвычайно...

Забота о других была его основной черта...

Роман «Семья» я ему зачитал. И он посововетовал мне послать его на конкурс...

Когда я получил письмо от т. Серафимовича и т. Касаткина с уведомлением о первой премии, он прибежал запыхавшись.

— Ну-ка, что там пишут?

Прочел и принял меня поздравлять. Радость его была равна моей... Я почувствовал, у него нет этой тяжелой струны зависти, нет карьеризма...

Разговорились...

— Да, индивидуальная семья изжила себя, но нам-то пока заменить ее нечем. До новой приходится беречь свои старые черепки, а то совсем без всего оставаться плохо...

Беседы наши были всегда за самоваром.

— Знаешь, хлеб-соль объединяют людей, не даром это принято. Люди как-то ближе видят друг друга, — были его слова.

Из Москвы он мне часто писал, и определенно звал... Письма его отличались юмором, он подзадоривал к продолжению творчества, а когда у меня сторела квартира и в ней погибла первоначальная рукопись романа «Передела» — он написал такое письмо не на поэзе, так пешком дойдешь, прокормишь себя здесь если не литературой, то лекциями, здесь, брат, сейчас такая жизнь, что прямо, как мед пьешь, мы ее здешней литературной жизни не отдавали еще, если ты раньше и был, видел частичку, так это одна тысячная, а чтобы быть настоящим — литератором, необходимо быть в Москве — отсюда, как с горы, все видно.

Когда я приехал в Москву, в конце мая 23 г., то остановился у него жить. И он дал мне возможность устроиться в комнате тут же в доме, поддерживал меня включительно до того, что присылал за мной чуть не ежедневно мальчика-сына звать обещать. После обеда у нас лились беседы. Он рассказывал о своих планах. Рассказывая о том, как необходимо поехать сейчас на все лето в деревню — наблюдать нового крестьянина.

Ему удалось поехать.

Но поездка его была непродолжительна: всего три недели, т. к. у него малы были денежные ресурсы.

По приезду он уже жил на Полянке и видятся мы с ним стали реже. Только когда приехал Н. Г. Виноградов, Ал. Серг. зашел ко мне и сказал: а знаешь, кто приехал?

— Кто? — переспросил я.

Он слегка улыбнулся, — так иронически у него всегда как-то выходила улыбка — и сказал:

— Николай Глебович Виноградов!..

Это режиссер-драматург, что помог А. С., в бытность в Самаре, техническими указаниями о том, как строить пьесы... И по обыкновению Ник. Глеб. у него остановился. И мы пошли вместе с А. С. повидаться с Виноградовым.

Последний раз он зашел ко мне 24 декабря, часа в три-четыре вечера.

— Здравствуй!

— Здравствуй, — ответил я, — что давно не был?

— Ну, давай чай пить. Я стал налаживать, разводить чайник.

Он принялся рассказывать

— Был у Сыльча (Новикова-Прибоя). Хотел его позвать завтра к себе, да его не застал. Теперь вот смотри, ты завтра обязательно приходи.

Он сел, глянул своими пронизательно-вдумчивыми глазами из-под больших бровей слегка скуластого лица и принялся рассказывать — строить планы.

Беседа моя с ним за несколько часов до смерти особенно выделилась рельефно предо мною.

— Ты вот что, милоч. Ты напрасно это думаешь, что плохо. Нет, дело хорошее этот сборник. — «Наш труд» — выше всех предыдущих номеров «Рассвета». Теперь с третьего номера надо взяться еще расширить его. Ввести туда побольше участников. Надо от коллектива втянуть еще. Я дам побольше материала, так страниц на двадцать... Ну, вообще, ты знаешь, я номером доволен, он со всех сторон достоин быть назван столбичным...

И он развил мне план о том, что надо думать всегда дать читателю больше и дешевле. Наш читатель кто? Рабочий... а какой его заработок? Вот трамвайная кондукторша получает два червонца, где ей затратить рубль, ей сорок копеек и то же много. Ну, вот — «Наш труд» — сборник стоит из первых рук сорок девять копеек, так их надо довести до сорока копеек. Или в крайности, если в полтину, то чтобы давались определенные вещи, а не так — двадцать две пустяковины и ни одной серьезной вещи. Нет, пусть уже будет лучше три-четыре, но действительных вещи. Вот это мне и нравится в «Нашем труде».

И он тут же продолжал развивать план.

— Надо бросить работу — ты бросай лекции, а я свое редактирование, и давай отдадимся исключительно литературной работе!... «Гуси-лебеди» я кончил. Теперь Москва мне пораздвинула мозги. Большое, надо, большое... Надо устроить свое большое, в «Нашем труде». — Выпускать его надо пять-шесть раз в год неустанно, неуклонно. Себя заложить, но выпустать...

Допив чай, он встал, пожал крепко руку, глаза его блеснули задором.

— Ну, так, значит, до завтра, завтра обязательно приходи... да смотри не опаздывай, а то у тебя привычка везде поспеть, потому и опаздываешь.

Вечером я выступал от коллектива рабоче-крестьянских писателей у дошкольников. Когда я пошел на другой день к А. С. вместе с И. Лукашиным, встретили нам по дороге т. Вагин.

Он остановился, поднял глаза.

— Да, какая неприятность. А еще он говорил Ютанову недавно, что письменный стол у него нет, вот тебе и письменный стол, лежит теперь...

Вагин потрогал свою шапку, повернулся и пошел. Мы как следует не вслушались, тоже пошли...

Идем. Думаем, что бы это значило, о чем Вагин толковал... Неужто об А. С.?

— Да бы не может, — перебила я сам себя, — ведь у него, кажется, письменный стол есть...

— Ну, — это быть не может, — подтвердил и Лукашин. — Вчера звал тебя в гости, а нынче... это не про него Вагин рассказывал...

Вошли и сразу обстановка уже показала все...

— Умер вчера, в восемь часов вечера, от разрыва сердца, — угроюще серьезно встретил нас широкоплечий Герасимов.

— Меньше земляком стало, — бросил Дорогойченко.

— Где лежит?

П. Яровой сидел облокотившись о стол, приподнялся.

— Пойди, посмотри, там, в его комнате, где он и писал...

В комнате, рядом со столом, на котором были набросаны рукописи, на кровати лежал, покрытый простыней, Александр Сергеевич.

Лицо его было, как живое, да на большой лоб лег клочок волос. И усмешка — та усмешка прежняя еще скользящая будто по лицу — только она уже была скорбная, он будто спрашивал его:

— Ну что, пришел?.. опоздал, брат...

ЕВГЕНИЙ ЛОКТЕВ.

Это было в 1920 году, на первом всероссийском съезде писателей в Москве, в Доме Печати. Мы, владимирцы: я и Ганзбург, познакомились с Александром Сергеевичем Неверовым. Потом раз'ехались, сохранив литературную связь нашим владимирским сборником «Рассвет». В 21 году мы стали тянуться в Москву, бросая провинциальную жизнь. В Москве у нас созрела мысль: заарендовать под Московской около села Богородского дачу, куда мы, писатели, могли бы уезжать на день, два в неделю для своей литературной работы. Веквые сосны парка погонно-лосиное острова, чистый воздух, тишина и временный уход из московских тесных гнезд-комнатшек, неотрапизм тянули нас к себе. Были мечты о маленькой коммуна писателей в дачной обстановке.

Александр Сергеевич, как только приехал из Самары, принял живое участие в достижении этой цели, и мы упорно много раз собирались в сокольнический жилищный отдел, чтобы добиться аренды дачи. Свидание мы обычно назначали около помещения Сокольнического Совета, здание бывшей большой богадельни. Помню не раз, подходя к Совету, я находил Александра Сергеевича лежащим на траве под деревом.

«Ну, что... идем томиться в очередь или проедемся в сосновый парк к дачам?»

Александр Сергеевич обычно не колебался:

«Сначала идем за делом, потом будет видно по времени»...

Шли в помещение Совета к жилищному отделу, становились в очередь. Кругом нас толпились, проходили, возмущались, охали, вздыхали, шептались, заискивали перед всяким проходившим сотрудником.

Мы стояли час, два...

Александр Сергеевич внимательно и с любопытством рассматривал окружающих. Наконец, накуренная атмосфера, грубая толкотня начинала утомлять нас.

«Если придем дня через два — хуже не будет?»

Александр Сергеевич тут обычно не возражал, соглашался, и мы быстро выдвигались из тесной очереди длиннейших коридоров монастырского типа на воздух.

Мы сядили на трамвай, идущий по Сокольникам, доезжали до конечной его остановки и с час гуляли по сосновому парку.

Но это было еще тогда, когда Александр Сергеевич не успел с головой окунуться в кипучую московскую жизнь, когда он еще мог не думать о каждом часе занятий, еще только привыкал к Москве и тихонько литературно работая.

Нашей мысли периодического отдыха под Москвой — «даче писателей» не судено было сбыться: назначенная нам арендная плата оказалась для нас баснословно высокой, и мы бросили эту мысль, как несбыточную.

Но в нашем упорстве, с каким мы добивались «писательной дачи», уже тогда бессознательно чувствовалось, что одному из нас будет непосильна московская трудная жизнь, что было остро нужен уголок подмосковного отдыха, хотя бы день, два в неделю чистого воздуха.

После хождений в Сокольники я редко встречал Александра Сергеевича, но за недели три до его смерти, под вечер, мы встретились на улице в центре Москвы. Остановились. Он был усталый, с туго набитым портфелем подмышкой. Я стал упрекать его, почему он прислал в наш сборник «Наш труд» произведение не творчества его последних дней, а прежнего времени, когда он жил в Самаре.

Он не только согласился со мной, но сказал, что сам раскаивается в этом, но что в будущем для «Нашего труда» он будет давать свое самое последнее, свежее...

Мы расстались с тем, чтобы непременно встретиться и поговорить о том, какой материал будет лучше всего подходить для «Нашего труда».

Мы встретились, увы! Когда вместо него, был холодный труп... Прошлое не воротить... но стремление к подмосковному отдыху, хотя бы самому небольшому, еще осталось. Хочется походить по снежным сугробам в вековом сосновом парке около села Богородского... вспомнить, как мы с Александром Сергеевичем остро думали о том, что нам нужен хороший основательный литературный орган, с которым сроднились бы и мы и наши читатели...

Один из нас ушел...

Больно и тяжело!

П. ЯРОВОЙ.

24-го декабря, в 8 часов вечера, навсегда ушел от нас человек, гражданин и художник, кто сумел объединить в себе эти три качества. Ушел на 37 году, молодым, многообещающим.

Преждевременная смерть обурвала силу художника, не дала вырасти человеку и лишила республику нужного гражданина.

Александр Сергеевич Неверов (Скобелев) родился в 1886 г. Детство провел в селе Новиковке, Мелекесского у., Самарской губернии. С ранних лет лишился родителей, испытал сиротство, крайнюю нищету, и только нутренняя тяга к творчеству спасла его, дав силу и упорство... Дедушка, чтобы не иметь в доме лишнего едока, отвез его в посад Мелекес и сдал в полное распоряжение лавочника. Мальчик Саша, с пылким воображением и жаждой лить песни о горе мужиком, не мог выдержать торгашеских вождельний хозяина. Местный поэт — своими советами пробудил в мальчике глубокий протест против мелких расчетов лавочника. Пятнадцатилетний Саша бежит в с. Озерки и поступает во второклассную учительскую школу, чтобы стать потом учителем мужичьих ребятишек и писать песни.

Тогда впервые он читал свое стихотворение — «На могиле матери» — в нем горечь прорвалась так сильно, что я и многие крестьянские мальчишки, не избалованные нежностью, не могли сдержать слез. Сиротское детство и положительно на все его последующее творчество неизгладимую печать. И, конечно, необычайная чуткость Неверова выросла из детских лет.

Потом настало безрадужное детство. Неверов учитель церковно-приходской школы. Это проклятие царской России многих и лучших сыновей крестьян загубило до конца. Захолустная деревня, серое пятно, где жизнь в беспросветном труде крестьянина, где учитель не в силах вдохнуть в детей струю свежего воздуха. Символически звучит даже имя той деревни — Ка-

мышенка. Место, где только тишина, где лениво скользят в воде головастики. Участь многих — пить, мечтать. А Неверова спасала литература.

В это время он начал писать рассказы. Первое ободряющее слово получил от Вл. Г. Короленко, который письмом вдохнул в него бодрость. Встреча с ним, мы часто говорили о столице, о писателях, о захолустной жизни. А. С. чутки всегда замечал:

— Трудно нам... Если бы не литература, я не выдержал бы.

Второй, кто ободрил Неверова в тяжелые годы, это был М. Горький. Он, как и Короленко, писал ему в деревню и ободрил авторитетными словами, предсказывая писателю блестящий путь. «Верьте мне, из вас выйдет большой писатель», — говорит Алексей Максимович в одном из писем.

А. С. как бы в ответ повторяет заветную мечту:

— Мне хочется написать такую вещь, чтобы все поняли трагедию крестьянства.

Он негодовал, когда столичный писатель, так или иначе лгал на деревню, его раздражала легкомысленная литература о крестьянах и для крестьян.

— Мы должны сказать правду о деревне...

Эту правду начал говорить, начиная с рассказа — «Серые дни», «Музыка», «Преступники». «Серые дни» прорвались революцией. «Преступники» стали активными борцами за Советы. Барская музыка, которая до революции толкала мужиков сжигать помещичьи усадьбы, превращается в плач вилонский бывших властелинов. После революции Неверов дает драмы — «Бабы», «Гражданскую войну», «Захарову смерть» и комедию «И смех и горе».

Он пишет роман «Гуси-лебеди», в котором хочет дать два полета революционной деревни, но закончить его не успел...

«Андрон Непутевый» и «Ташкент город хлебный» говорят о быстром росте таланта.

Незаконченными остались «Повесть о бабах» и много огромных замыслов осталось без осуществления.

Неверов был великодушным товарищем. Истинным членом революционного общества. Наперекор литературным гордцем, он не гнушался незаметных органов печати. С самого возникновения журнала «Крестьянка и Работница» работал в нем. Его четкие миниатюры-юморески и рассказы находили свое место в «Рабочей газете» и в «Крокодиле». Широкий диапазон творчества делал его весьма работоспособным. Перебравшись в Москву, Неверов печатается в «Красной нови», в «Красной ниве», «Прожекторе», «Красноармейце», «Нашем труде» и в «Альманахе». Его книги нужны не только крестьянам, они также нужны массе рабочих и красноармейцев, вплоть до рабочей интеллигенции.

Недуг давно начал подтачивать здоровье писателя. Нелегко было содержать семью. — Неверов был сам-пять. Чуткость, доходящая до болезненной нежности, вечная забота о куске хлеба, нервность творчества, в связи с этими причинами, и отсутствие здоровой критики — все это привело писателя к преждевременной смерти.

В заключение о том, что думал он сам о положении современного писателя. В рукописях найден ответ на анкету, где он пишет:

«Литературная обстановка, если можно так выразиться, по сих пор для большинства современных писателей и поэтов такова, что находится она в каком-то безвоздушном пространстве, за тысячу верст от современной критики. Критика современная, не видит и не хочет видеть современных писателей. И если она одних усердно афиширует, ставя им плюсы и минусы художественного и идеологического характера, то других усердно обходит...

Чрезвычайно верно характерное заключение анкеты:

— Поскольку писатель, работающий не за грош, а по внутреннему побуждению, является лишь батраком, которому со всевозможными проволочками платят сорок рублей за печатный лист, то отсюда, на мой взгляд, писательская усталость, некая обίδα, разочарованность»...

Эти строки написаны незадолго до смерти, они заключают и подчеркивают, что и сейчас путь писателя — путь тяжелого восхождения, что для полного формирования многого не хватает.

Семья покойного не должна оставаться без крова и погибнуть в нищете, память дорогого товарища пусть будет запечатлена не речами, а братской помощью тем, кто остался без мужа, отца и без средств... А писателям, которые тонут в индивидуальном расколе, следует подумать о том, что, наконец, нужно позаботиться о создании организации литературной помощи и уверить себя, что только коллективная жизнь поможет каждому правильно формировать свой талант.

Я. ГАНЗБУРГ.

Помню в последних числах октября 20 года, когда заребезжал культурный колокол — на съезд пролетарских писателей, потянулись в Москву писатели из многих медвежьих углов огромной страны. Из Владимира на Клязьме от губернобра были командированы нас двое — я и Е. Локтев-драматург. Там, в Москве, встретился впервые с Неверовым. Это было в квартире тов. Серафимовича, который тогда жил на Красной Пресне. Когда мы с Локтевым зашли к Серафимовичу, там застали А. С. После незначительного разговора о неудачном выступлении некоторых поэтов на съезде, помню А. С. просил Серафимовича дать отзыв по поводу одной из его вещей. Видимо — он очень дорожил критическим отзывом т. Серафимовича. Возвращались с Пресни все трое: я, Локтев и А. С. На вопрос, как живут Самарцы — А. С. жаловался на острую нужду, которую Самарцы испытывали. Некоторые черты его обрисовки были очень мрачными. Расставаясь А. С. просил нас быть с ними, Самарцами, в контакте. В Москве мы пробыли недолго. Возвратясь во Владимир, мы двое принялись за продолжение литер. сборника «Рассвет». Было решено звать Самарцев работать совместно. Я написал в Самару Степану и А. С. просил прислать свои произведения. От А. С. был получен первый рассказ «В тисках», который был помещен в пятом номере сборника. Через некоторое время А. С. прислал нам еще свои рассказы. Мы, Владимирцы, с наступлением голодной полосы в Поволжье оказывали посильную помощь продовольствием А. С. Для нас, Владимирцев, был ясен ужас голода, царящий на Волжских берегах. Вот тогда Владимирцы и познакомились со всеми переживаниями А. С. Неверова. Он лирик до мозга костей. Порою с оттенком импрессионизма. Мрачен, по большей части, колорит картин Неверова, его теньные изображения и образы. Но мрачность эта смягчается поэзией, лирическим излиянием. Ярко, размашисто изображает этот истинный художник, печальник народного горя, всю тоску скорбной жизни: бедн. неминуемо его окружающих. Тяжкую невзгоду сел, деревень, благоустроенного города. Сиротство, глумление грубой силы над слабостью беззащитных, гибель молодой, едва распутившейся жизни, сцены воюющего невежества, грубость нравов. Люются кровавые жгучие слезы вокруг. Но Неверов обладал, как немногие, редким умением сочетать комическую, подчас шутовскую простоватую оболочку с золотым чутким сердцем — и показывать всю глубину душевного страдания при помощи самых нехитрых слов. Среди смеха

вдруг прерывается глубоко скорбная, часто болезненная нота, и изображаемый образ сразу выступает пред читателем совершенно в ином свете и приобретает чрезвычайную глубину. Особенно и нередко скрытая теплота проходит красной нитью через все произведения Неверова.

Новое слово в литературе А. С. внес, как писатель, глубоко любивший человека, откуда бы он не был. Искренний печальник о пасынках судьбы и жертвах общественного неустройства-неурядиц. Помню, когда я пригласил А. С. приехать из Самары к нам во Владимир для совместной работы по журналу, он ответил совместно с Степном, что ехать он не может, не время оставлять Самару, рекомендовал другого писателя (Зароченцева). Лишь в мае в 22 году А. С. приехал на жительство в Москву. Часто собирался мы у Е. Н. Локтева на квартире, по Сытинскому переулку.

А. С. говорил про всю непроницаемую толщу и преграды, встречающиеся на пути творчества преданных революции группы писателей. Искренно хотел он и тосковал по новой вольной жизни. Но А. С. был беспомощен в отстаивании своих насущных вопросов, как сейчас вижу его бледного. Помню, возвращались мы с квартиры Локтева после одной из бесед по вопросу о линии творчества, в связи с захлестывающим влиянием в литературе НЭПа.

Я спросил: отчего А. С. так бледен? Просто, чистосердечно рассказал, что голодает уже третью неделю. За несколько последних миллионов купил для промисла на Сухаревке семь пар брюк. Оказалось, что его обманули. Они были без сиденья, т.-е. панталоны, шитые один, и поэтому он оказался еще в худшем положении. А. С., талантливейший наш красивый Чехов, оказался плохим дельцом на Сухаревке. Очень он мучился за окружающих. На его глазах нп поднимал голову. Многие жили, а он, как первый сын Октября, в глазах нп поднимал голову. Многие жили, а он, как первый сын Октября, в глазах нп поднимал голову. Многие жили, а он, как первый сын Октября, в глазах нп поднимал голову. Многие жили, а он, как первый сын Октября, в глазах нп поднимал голову. Многие жили, а он, как первый сын Октября, в глазах нп поднимал голову.

С своей стороны, я спрашивал совета относительно некоторых персонажей, какими они были обязаны в произведении моем. С сюжетом я его ознакомил. А. С. дал некоторые ценные указания, в форме простой—Неверовской. Мы расстались с ним, как оказалось, навсегда. Его нет, но он творчеством жив.

О том, что А. С. ушел не во-время, двух мнений быть не может. Для меня ясно, как для многих, что он не дал того, что мог бы. Чувствуется, что А. С. сохранить мы для творчества не смогли, не сумели. Обидно, тех многих свечечков, появляющихся на нашем темном тернистом пути, мы их своим невежеством топчем и со всей силой давим, давим на-смерть. Смерть этих безвременных мучеников не раз заставляет нас вспоминать о нашей неэтичности, о нашей писательской отчужденности друг от друга.

Смерть А. С. напоминает нам, что пора писательской братии, всем верно понявшим заветы Октября, — совместным коллективным путем, отстаивать жизнь, свободу от всяких пут прошлой буржуазной марки и теперешней разваренной разлагающим Нэп'ом. Хранить талантливых единц часовых, со всей огромной их энергией и любовью, отстаивающих вольную свободную будучность коммунистического общества.

ВОЛЯ К ЖИЗНИ.

На смерть Неверова.

Всякую большую писательскую фигуру мысленно прощупываешь на расстоянии. На расстоянии расщепляешь ее догадкой и фантазией. На расстоянии, по двум-трем беглым встречам, да по паре беглых рассказов-брошюр, я догадываюсь и о покойном Неверове.

Мы много рассуждем о писателе-попутнике, как будто он есть соль земли. Но мы совсем не разговариваем о писателе-друге, то тут, то там проглядывающем на советском черномозге. А молчать о нем просто нельзя: с попутчиком далеко не уедешь, а с другом нам шагать далеко.

Серый, никакой окраски, никаким паскудством о России не прославлен. С нами, — значит, наш. Но с оговоркой: предоставив почтительно нам быть режиссерами, инструкторами и монтерами жизни, а себе взяв исполнительские функции. Наш, — потому что с нами.

С нами хватался за винтовку, когда требовалось бить Колчака. С нами плыл на буферах российских обмороженных вагонов. С нами кусочничал в голодные годы. А потом хватался за перо и доделывал им то, чего не доделал в жизни. Просто, ясно, без казенных «живописных обозрений», но и без нудного мистического пафоса.

Наш, — потому что с нами.

Если человек всей пуповиной связан с матерью-Россией, он знает, что ему нужно. И он знает, что нужно Рабоче-Крестьянской России. А зная, ему трудно оторваться от пути — в писаниях ли, в жизни ли, вися ли на буферах обмороженных вагонов. У человека с пуповиной есть надежная «целевая установка».

Целевая установка — разве не то это, чего не достает нашим писателям? Целевая установка — это стержень, на котором крутится искусство, — литература особенно. Каждый берущийся за перо, должен отчетливо осознавать, чего он хочет. Многие ли знают? Многие ли отдают себе отчет, чего им нужно?..

На унылом фоне «осознания» вчерашнего, две четкие целевые неверовские вещи привлекают. Автор их не только знал, что хочет «сказать», но и — что хочет «сделать». В «Андроне Непутевом» и «Ташкенте — городе хлебом» он лишь пером доделывал то, чего не доделал в жизни.

Весело, уверенно проходит по деревне молодой Андрон, сегодняшний хозяин жизни. Земляной, как и Неверов, потому и свой, так эластично и вклинивающийся в щели деревни.

Неуменно-жизнерадостен — и тоже по-хозяйски знает, что к чему — и «Мишка бузулукский, голодающий», двенадцатилетний парнишка из голодающей губернии, едущий в «Ташкент — город хлебный», — где на крыше, где на буферах обмерзшей всероссийской телы.

Изыдхающий, голодный — не сдастся:

«В Ташкент поехал, должен доехать. Лучше дальше умереть, чем на этом месте. Неужели не вытерпит? Вытерпит. Ночью нынче обязательно вытерпит. А утром завтра юбку бабушкину продает. Дадут фунтов на пять печеного хлеба — и больно гожа. Сразу не станет есть. Отломит полфунта, остальное спрячет. Пять фунтов — десять полфунтов — на десять дней»...

Проходит целая цепь голодных поездов. Со всеми ужасами грязи, заморзания, голодных тифов, отупления. Но у людей есть цель. Это — не голая изобразительность серапионов и не «искусство, как познание жизни» отхо-

дящих от жизни чудиков. Это — пером писатель-трудовик достраивает то, чего не достроил в жизни.

«Ташкент — город хлебный. Лучше дальше умереть, чем на этом месте».

В «жизни», у бесплодных «познавателей» и у жрецов «наития святого духа» — это программа-максимум. А у писателя, связанного с черномозгом новой родины, — это всего только начало. Отсюда его движущийся волевой поток преодолевает, отсюда идет борьба за жизнь, отсюда вырастает неотвратимая победа.

Воля к жизни — вот победное начало писательской работы Неверова. Воля к победе — и его, и наше начало. Мы — в тяжелом окружении, и нам необходимо впитать в себя все соки земляной России. Земляной Неверов — друг...

С нами хватался за винтовку, когда требовалось бить Колчака. С нами плыл на буферах российских обмороженных вагонов. С нами кусочничал в голодные годы. А потом хватался за перо и доделывал им то, чего не доделал в жизни.

Н. Чужак.

«Известия ЦИК СССР» 1923 г. 29 дек.

ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВ О НЕВЕРОВЕ.

Памяти соседа¹.

Не стучит машинка за стеной
Долгими глухими вечерами,
И ко мне он не придет такой
Светлый с голубиными словами...
Там в углу пальто его висит,
Прикорнули у дверей калоши,
Александр Сергеич крепко спит,
Утомленный непомерной ношей.

Не стучит машинка за стеной...
Где-то холмик с белыми цветами...
Александр Сергеич, спи родной,
Александр Неверов — вечно с нами.

Рассказ А. С. НЕВЕРОВА.

МАРЬЯ-БОЛЬШЕВИЧКА

Была такая у нас. Высокая, полногрудая, брови дугой поднимаются — черные! А муж с наперсток. Козонком зовем мы его. Так, плюгавенький — шпалкой закроешь. Сердитый — не дай господи. Развояется с Марьей и стучит по столу, словно кузнеч молотком.

— Убью! Душу выну...

А Марья хитрая. Начнет величать его нарочно, будто бы испугалась.

Прокофий Митрич! Прокофий Митрич! Да что ты?

— Башку оторву!

¹ Эти стихи напечатаны в сборнике «А. С. Неверов» составленном Лит. Общ. «Никитинские суботники». Изд. «Земля и Фабрика». Москва 1924. Ленинград. Стр. 174. Ц. 55 к.

Она еще ласковее:

— Кашу я нынче варила. Хочешь?

Наложит блюдо ему до краев, маслаца поверху пустит, звездочек масляных наделает. Стоит с поклонно и угощает по свадебному.

— Кушай, Прокофий Митрич, виновата я перед тобой...

Любо ему — баба ухаживает, нос вверху дерет, силу большую чует.

— Не хочу!

А Марья, как горничная около него: воды подает, кисет с табаком ищет. Разуетя посреди избы — лапти уберет, чулки в печурку сунет. Ночью на руку положит, по волосам погладит и на ухо мурлычит, как кошка... Ущипнет Козонок ее — улыбается.

— Что ты, Прокофий Митрич! Чай, больно...

— Беда — больно... раздавил.

И еще ущипнет: дескать, муж, не чужой мужик. Натешит сердце, она начинает его.

— Эх, ты, Козон, Козон! Плюсню вот два раза и не будет тебя... Ты думашь, деревянная я? Не обидно терпеть от такого гриба?..

Раньше меньше показывала характер Марья, больше в себе носила домашние неприятности. А как появились большевики со свободой, да начала бабам сусоли разводить, что вы, мол, теперь равного положения с мужиками, тут и Марья раскрыла глаза. Чуть, бывало, оратор какой — бежит на собрание. Вроде, как стыд потеряла. Подошла раз к оратору и глазами играет, как девка. Идемте, говорит, товарищ оратор, чай к нам пить. Козонок, конечно, тут-же, — в лице изменился. Глаза потемнели, ноздри пузырями дуются. Ну, думаем, хватит он ее прямо на митинге. Все-таки вытерпел. Подошел бочком и говорит:

— Домой айда!

А она, нарочно что-ли... Встала на ораторово место да с речью к нам:

— Товарищи крестьяне!

Мы так и покатались со смеху. Тут уж и Козонок вышел из себя.

— Товарищ оратор, суньте ее черта!

Домашь с кулаками на нее налетел.

— Душу выну!

А Марья поддразнивает:

— Кто это шумит у нас, Прокофий Митрич? Страшно, а не боязно...

— Педол отрублю, если будешь по собраниям таскаться!..

— Топор не возьмет.

Разгорелся Козонок, ищет ударить чем, Марья с угрозой.

— Тронь только: все горшки перебью о твою козоначью голову...

С этого и началось. Козонок свою власть показывает, Марья — свою.

Козонок лежит на кровати, Марья — на печке. Козонке — к ней, она — от него.

— Нет, миленький, нынче не прежняя пора. Заговенье пришло нашему брату...

— Иди ко мне!

— Не пойду.

Попрыгает-попрыгает Козонок да с тем и ляжет под холодное одеяло.

Раз до того дело дошло — смех! Ребятишек она перестала родить. Родила двоих — схоронила. Козонок третьего ждет, а Марья заартачилась. Мне, говорит, надоела эта игрушка...

— Какая игрушка?

— Эдакая... Ты ни разу не родил?

— Чай, я — не баба.

— Ну, и я — не корова, телят таскать тебе каждый год. Вдумаю-когда — рожу...

Козонок — на дыбы.

— Я тебе башку оторву, если ты будешь такие слова говорить!..

Марья тоже не сдает. Я, говорит, бесплодная стала...

— Как бесплодная?

— Крови во мне присохло... А будешь неволить — уйду от тебя.

В тулик загнала мужика. Бывало, шутит на улице, по шабрам ходит. После этого — никуда. Ляжет на печку и лежит, как вдовец. Побить хорошо — уйдет. Этого мало, на суд потащит, а большевики обязательно засудят: у них уж мода такая — с бабами нянчиться. Волю дать во всю, — от людей стыдно, скажут — характера нет, испугался. Два раза к ворожейке ходил — ничего не берет! Начала Марья газеты с книжками таскать из союзного клуба. Развернет целую скатерть на столе и сидит, словно учительница какая, губами шевелит. Вслух не читает. Козонок, конечно, помалкивает. Ладно уж, читай, только из дому не бегай. Иногда нарочно пошутит над ней:

— Телеграмму-то вверх ногами держишь... Чтица!

Марья внимания не обращает. А книжки да газеты, известно, засасывают человека, другим он делается, на себя непохожим. Марья тоже дошла до этой точки. Уставится в окно и глядит. Мне, говорит, скушно...

— Чего же ты хочешь? — спросит Козонок.

— Хочу чего-то... нездешнего...

Казнится-казнится Козонок и не вытерпит.

— Эх, и дам я тебе, чортюна твоего голова! Ты не выдумывай!..

А она и впрямь, начала немножко заговариваться. В мужикое дело полезла. Собрание у нас, и она торчит. Мужики стали сердиться.

Марья, щи вари!

Куда там! Только глазами поводит. Выдумала какой-то жен-отдел. И слова-то такого никогда не слышали мы — не русское что ли. Глядим, одна баба пристала, другая баба пристала, что за чорт! В избе у Козонка курсы открылись. Соберутся и начнут трещать. Комиссар из совета начал показывать к ним. Н-ш он, сельский. Васильев Шляпунком звали мы его дпрежде, перешел к большевикам — Васильем Ивановичем сделался. Тут уж совсем при-смирел Козонок. Скажет слово, а на него в десять голосов.

— Ну-ну-ну, помалкивай!

Комиссар, конечно, бабью руку держит — программа у него такая. Нынче, говорит, Прокофий Митрич, нельзя на женщину кричать — революция... А он только хмыляется, как дурачек. Сердцем готов надвое разорвать всю эту революцию, — но боязно: неприятности могут выйти. А Марья все больше да больше озорничает. Я, говорит, хочу совсем перейти в большевистскую партию. Начал Козонок стыдить ее. Как, говорит, тебе не стыдно? Неужели, говорит, у тебя совести нет? Все равно, не потерпит тебе господь за такое поведение.

Марья только пофыркивает.

— Бо-ог? Какой бог? Откуда ты выдумал!

Прямо сумасшедшая стала. С комиссаром почти не стесняется. Он ей книжки большевистские подтаскивает, мысли путает в голове, а она только румянится от хорошего удовольствия. Сидят раз за столом плечико к плечичку, думают — одни в избе, а Козонок под кроватью спрятался: ревность стала мучить его. Спустил деругу до полу и сидит, как хорек в норе. Вот комиссар и говорит:

— Муж у вас очень невидный, товарищ Гришагина. Как вы только живете с ним — не понимаю.

Марья смеется. Я, говорит, не живу с ним четыре месяца... Одна оболочка у нас...

Он ее — за руки.

— Да не может быть? Я этому никогда не поверю...

А сам все в глаза заглядывает, поближе к ней жмет. Обнял повисше поясники и держит. Я, говорит, вам сильно сочувствую...

Слушает Козонок под кроватью и вроде дурного сделался. Топор хотел взять, чтобы срубить обоих — побоялся. Высунул голову из под дерюги и глядит, а они над ним же на смех: мы, говорят, знали, что ты под дерюгой сидишь...

Стали мы совет перебирать. Баб налетело, словно на ярмарку. Мы это шумим, толкуем, слышим Марьино имя кричат:

— Марью! Марью Гришагину!

Кто-то и скажи из нас нарочно:

— Просни!

Думали, в шутку выходит, хватъ—всерьез дело пошло. Бабы, как галки, клюют мужиков: вдовы разные, солдаты — целая туча. А народ у нас не охотник на должности становиться, особенно в нынешнее время — взяли и махнули рукой. Марья, так Марья. Пускай обожетесь...

Стали Марьины голоса считать — двести пятнадцать! Комиссар Василий Иванчы речью поздравляет ее. Ну, говорит, Марья Федоровна, вы у нас первая женщина в совете крестьянских депутатов. Послужите. Я, говорит, поздравляю вас с этим званием от имени Советской Республики и надеюсь, что вы будете держать интересы рабочего пролетариата...

Глаза у Марьи больше стали, щеки румянцем покрылись. Не улынется — стоит. Я, говорит, послужу, товарищи. Не обесцудите, если не сумею — помогите.

Козонок в это время сильно расстроился. Главное, непонятно ему смеются над ним или почт оказывают. Пришел домой и думает. «Как теперь говорить с ней? Должностное лицо». Нам тоже чудно! Игра какая-то происходит. Баба и вдруг — в волостном совете, дела наши будет решать...

Ругаться начали мы между собой:

Дураки! Разве можно бабу сеять на такую должность.

Дедушка Назаров так прямо и сказал Марье в глаза:

— Ой, Марья, не в те ворота пошла.

Но она только головой мотнула.

— Меня мир выбрал — не сама иду.

Приходим после в совет поглядеть на нее — не узнаешь. Стол поставили, чернильницу, два карандаша — синий и красный, около — секретарь с бумагами строчится. А она и голос, проклятая, другой сделала. Так и широко глаза по строчкам. Это, говорит, по продовольственному вопросу, товарищ Еремеев?

— Угу.

Разведет фамилию на бумаге и опять, как начальник какой:

— Списки готовы у вас? Поскорее кончайте!

Глазам не верим мы. Вот тебе и Марья!! Хоть бы покраснела разок... Так и кроет нас всех «товарищами». Пришел раз Климов старик, он и ему такое же слово: что, говорит, угодно, товарищ? А он терпеть не мог этого слова — лучше на мозоль наступи. Хотя, говорит, ты и волостной член, ну я тебе — не товарищ... Да разве смутишь ее этим? Смеется. Через месяц стала шапку с пикой носить, рубашку мужицкую надела, на шапку звезду прико-

лола. Мучился, мучился Козонок, начал разводу просить у нее. Ослобони, говорит, меня от эдакой жизни... Я, говорит, не могу... Другую женщину буду искать — подходящую. Марья только рукой махнула. Пожалуйста, говорит, я давно согласна. Месяцев пять служила она у нас — надоедать начала: очень уж большевицкую руку держала, да и бабы начали заражаться от нее: та фыркнет, другая фыркнет, две совсем ушли от мужьев. Думали, не избавимся никак от такой головушки, да история тут маленькая случилась — нападение сделали казаки. — Села Марья в телегу с большевиками и уехала. Куда — не могу сказать. Видели, будто бы, в другом селе ее, а можа и не она была — другая, похожая на нее. Много теперь развелось их.

Иван Михайлович КАСАТКИН

Автобиография, напечатанная в «Литературной России».

Родился 30 марта 1880 г. в деревне Барановице, Костромской г., Колотригского у., В.-Межевской вол. Сын крестьянина. До 9-летнего возраста жил в деревне, затем обстоятельства беспрестанно кидали по разным городам и местам России. Никакого школьного образования не получил, развивался исключительно самоучком. До 30-летнего возраста существовал физическим трудом: в учени, слесарем, помощником машиниста, машинистом, электротехником и многое другое. Плавал на барках, на плотках, на пароходе кочеваром, работал на лесопилнях, в лесочистках и прочее. Первые мои писанья (стихи) относятся к 1900 г. Несколько стихотворений, помню, были напечатаны в «Родине». По части стихотворства некоторое время наставлял меня К. К. Случевский. В 1902 г. я вошел в рабочие кружки в Питере. Затем в том же году вступил в партию. Начало писания прозой относится к 1903 г.: написан целый ряд подпольных прокламаций в Питере и Воронеже (прокламаций особого рода, почти беллетристических), печатание и распространение коих прошли при моем же участии. За рассказы я взялся в 1904 г. сидя в Нижегородской тюрьме («Нянька», «На барках»), но напечатал их только в 1907 г. в волжской газете «Суходолец». Затем я надуумился послать Горькому на Капри несколько вырезок с моими газетными рассказами, и с тех пор у меня с Горьким завязалась длительная переписка, а рассказы мои стали печататься в сборниках «Знание» и в больших журналах. За годы войны и революции писательство было почти заброшено. Тут опять пошли всепоглощающие службы и дела, не дающие возможности сосредоточиться художественным оком над вздыбленной и кипящей жизнью. И вот только теперь наступает время и возможность снова пробовать перо, которым в прошлом, и так поздно, я успел сделать лишь начатки своего писательского пути.

Февраль, 24.

Библиография

- «ЛЕСНАЯ БЫЛЬ» — Сб. рассказ. 1916 г. К-во писателей. Москва, стр. 216. Вышло три изд.
 «ПЕТРУШКИНА ЖИЗНЬ» — Изд. Госизд. 1919 г.
 «ПУТЬ ДОРОГА» — Изд. Госизд. 1919 г.
 «НА БАРКАХ» — Изд. Госизд. 1919 г.
 «ТЯПА» — Сказка, утопия в стихах.

БОЛОТО

Брошенный в дикие леса, будто дремлет, скатившись в низину, унылый, хмурый городок. Серое, низкое небо, тихая и серая, к земле придавленная жизнь...

Люди на улицах редки, походки их неторопливы, лица тусклыми и непонятны, как эти темные, бесконечные заборы.

Из окон смотрят на проходящего глаза — осовевые в вязком омуте тишины и покоя, — смотрят или испуганно, или мертвенно-равнодушно...

Морозный день слегка закуривал деревья инеем...

От городка выется к лесу дорога, и еловые вехи по сторонам ее, — как скорбные, сторбившиеся путники, в два ряда уходящие от городка дальше, дальше...

Но там, за полем, сизодымная стена леса загораживает им путь.

Мужик стойком на дровнях, натянув вожжи, спускается там, на дороге, в лог, к городку.

Три человека, шагавшие по дороге, встали, посторонились и ждут пока проедет мужик... Потом двигаются дальше, приближаются, — двое по сторонам, прямые, одинаково серые и с ружьями на плечах; один — согнувшийся, в рваном картузе, в больших казенных котях; руки засунуты в рукава куртки, такой истерзанной, будто этого человека в жерновах молоти.

Входят они в город.

Тут и там в окнах, как приведения, мелькают вытянутые деревянные лица.

Идут трое в ряд через широкую и пустынную площадь к серому, в облупинах, дому с орлом на фасаде. У ворот этого дома, не двигаясь, как монумент, стоит человек в папахе, в огромном тулупе с изорванной полой и с ружьем.

А из лавок высовываются бороды в больших шапках. Хлопают рукавицами, гококают, уськают на проходящую откуда-то взявшуюся стаю собак, тощих, щетинистых. Собаки окружили троих, набросились на них с лаем; одна яростно вцепилась тому, в изорванной куртке, в ногу — и матерное слово, широкое, по-волчьему злобное, надрывно загремело и повисло над просторной площадью городка.

А бороды в дверях низеньких деревянных лавок зазорно трясутся, машут руками, улюлюкают, свищут, натравливая собак.

И большая, живая новость быстро летит по сонным улочкам из дома в дом. И люди, сидящие на кованых сундуках, на теплых лежанках, с дикими узорами старинных изразцов, зашевелились приятно встревоженные новостью.

— Приведи...

— Поймали, убивца-то...

— Господи, как бы не вырвался!

— Спаси и сохрани, царица небесная!

— Озоровать ночью не позволяется; шалишь, братчик!

Всколыхнулась в логу жизнь, не надолго ожила, чтобы замереть снова. А леса вокруг и в даялах, за белыми полями, как неподвижные стены дыманосизы, — с серым низким небом сливаются на горизонтах.

Скучно... Страшно...

(«Лесная бьяль», стр. 207).

С. ПОД'ЯЧЕВ

(Род. в 1857 г.).

В СЕЛЕ ПОД'ЯЧЕВЕ

Еще никто в русской литературе не показал нам деревни в таком живом подпочвенном разрезе, как это сделал осеаши в глухом болотце простой мужик-бобыль.

Имя этому мужику-художнику Семен Павлович Под'ячев.

Теперь, когда революция пошла в народную глубину, имя это становится родным и дорогим даже темному соседу-крестьянину, который понемножку начинает понимать певца своей горемычной жизни.

В воскресенье, 8 июня, вся Обольяновская волость торжественно праздновала сорокалетний юбилей славной литературной деятельности Семена Павловича. Торжество это происходило как раз в том болоте графском доме, что на горе, куда раньше Под'ячев, захудалый бобыль, не смел и носу показать и где в первые же годы революции он устроил детский дом и заведывал им.

Я не видывал более скромного и умирительного по задумчивости человека, как это. По-детски застенчивого, опирающегося на палочку старика-юбиляра (ему 67 лет) еле удалось посадить на почетное место в том зале, где раньше танцевала аристократическая знать и даже будто «какая-то императрица».

Юбиляра и друга его многогранной жизни, жену Марию Степановну, окружили старики-сверстники, помнящие далеко закатившееся детство и все совместные трудности и горести деревенской жизни. Полный зал набился мужиков, молодежи и детей. Пошлись до умиления бесхитростные приветствия, столь трогательные, что запомнятся навеки. Были поднесены скромные подарки, в том числе восемь фунтов шоколаду, «потому что жизнь не баловала тебя, Семен Павлович, сладким!» — сказал подосиивший.

Торжественно и по-мужичьи просто приветствовали юбиляра, писателя и коммуниста, представители волнослепкома и ячейки, представители комсомола, работников просвещения, земли и леса, представители Дмитровского укома и исполкома. Приветствовали яхромские рабочие, передовые крестьяне, дети и т. д. Затем приносили поздравления и знаки внимания к юбиляру приехавшие из Москвы представители всероссийского союза писателей, всероссийской ассоциации пролетарских писателей, редакций: «Известий», «Правды», «Бедноты», «Гудка» и др.

Затем, под гром рукоплесканий, эхом прокатившийся по амфиладам графского дома, была вынесена торжественная резолюция о переименовании села Обольянова и Обольяновской волости, в виду огромных заслуг юбиляра перед народом и революцией, как писателя и старого коммуниста, — его именем: село — Под'ячево, волость — Под'ячевская. Созданный Под'ячевым в барских хоромах детский дом, и понине остро нуждающийся в средствах, постановлено привести в благоприятные условия путем коллективного шествия над ним московской печати, а дому присвоить имя юбиляра.

Торжество закончилось дружным пением «Интернационала» и трогательными проводами Семена Павловича всеми присутствующими до его неказистого жилья, где прокричали ему пожелание еще долго здравствовать и ура.

Вот как революционное крестьянство чтит своего близкого и родного сельчанина. На данном примере нам бы очень не худо поучиться чтить и охра-

нять талантливых, вскормленных низовой почвой писателей. Пора увидеть в С. П. Под'ячеве большого крестьянского художника и всемерно воздать ему должное.

Между тем, к стыду нашему, вы не найдете на рынке ни одной его книжки: Под'ячев не издан!

Мы тут, в партийных и литературных кругах, ломаем голову: кого бы из современных писателей двинуть в крестьянскую гущу? Мы совершенно забыли, что существуют произведения Под'ячева — неопенимое зеркало, которое еще долго и долго подносить к лицу мужика, чтобы он смотрелся в это зеркало и понимал себя и несурзности своей прошлой и настоящей жизни!

И в. Касаткин.

ПРИЕХАЛИ

(Рассказ)

Старики Коньковы еще весной, вскоре после пасхи, получили от сына-красноармейца письмо, в котором он сообщал, что находится в настоящее время в городе Ростове-на-Дону, на службе в каком-то, как он писал, и чего никак не могли понять домашние, «рефтрибунале», и что он женился и скоро с молодой женой приедет домой на побывку.

— Привезет какую-нибудь незнамую, — визжали две, ничего еще не видя, дочери Коньковых, гулящие старые девки, будущие золовки неизвестной им братишкиной жены. — Начнет здесь хвостом-то вертеть по-своему, хозяйничать. На кой она нам далась!

В семье, помимо этих двух девок, был еще молодой младший сын, Михайло, малый лет под двадцать, «полудурье», как его звали в деревне, пьяница, грубый, безграмотный, но сильный, как медведь.

Сам старик Коньков, высокий, худой, пожилой мужик Василий, болезненный и сердитый, выслушав письмо, сказал:

— По-своему все делают, по-новому. Родителей не спрося.

А жена его, Дарья, маленькая, запоренная работой бабенка, всплеснула руками и, залившись слезами, воскликнула:

— На чужой стороне, не спрося родительского благословения, по-собачьи! Господи, Иисусе Христе, до чего я дожила, и смерть-то меня не берет! Не видали бы мои глазыньки, не слышали бы мои ушеньки! Что народ-то скажет теперь? Проходу не дадут, засмеют!

— Не скули! — крикнул муж.

Сын приехал, когда его и ждать перестали, неожиданно, ночью, накануне Ильина дня, престольного праздника в деревне.

Со станции, верст за пятнадцать, он с молодой женой пришел пешком и нес с собой небольшую ручную дорожную корзиночку, все свое имущество, и, подойдя к избе, постучался в переплет рамы. Ответа не последовало. Он постучал еще.

— Кто там? — раздался из избы голос, в котором сын узнал голос отца.

— Я.

— Степан, ты что-ль?!

— Я, отец. Я самый. Да не один, с женой. Принимай гостей!

— Обождите, сейчас я! — сказал взволнованный отец и, захлопнув оконце, толкнул сладко спавшую жену свою, разбудил ее, громко прошептал:

— Вставай скорей! Приехали!

— Господи Иисусе, — с каким-то ужасом проговорила жена, скатившись с постели. — Владычица! Один?

— С ней! Вздуйвай скорей огонь. Буди дур-то своих! Аль их нет? Вот сволочи-то, и под праздник гуляют! И Мишки нет. Тыфу!

Он побежал отпирать калитку, а она, суетясь и тыкаясь в потемках, нашла, наконец, в пещурке свички и, вздув небольшую жестяную лампочку, повесила ее над столом.

Немного погодя гости вошли в избу.

Мать в застывшей позе стояла около стола, как была с постели, растрепанная и вдобавок еще перепуганная. Она, с выражением тупого страха и любвишества, усталилась на вошедших и молчала.

— Здравствуй мать! — громким, звучным голосом сказал вошедший сын. — Вот и я, да не один, а с женой.

Он подошел и обнял мать.

— Ну, вот, Соня, мы и дома. Да ты сядь. Устала? Сними курточку-то. Садись! Дай-ка я тебе помогу разуться. Небось, с непривычки мозоли набилась?

— Что это ты сынок, стачное ли дело жену разувать?!

— Не надо, не надо! — замахав руками, запротестовала молодая. — Я сама! Я сама!

— А вы когда же, сынок, обвенчались-то? — спросила, подозрительно разглядывая разувавшуюся молодую, мать.

— Да мы, мать, не венчались. Мы так.

— Без попа, значит?

— Без попа!

— В коммунисты, знать, записался?

— Записался, мать. И она тоже, — кивнул он на жену.

Мать поджала губы, отошла в сторону и, сев на скамейку, совсем другим голосом сказала:

— Самовар-то ставить?

— Не надо, — ответил сын и, обернувшись к отцу, который, насупившись, стоял около печки, спросил:

— Ну, как отец, живешь?

— Живу. Как живу? Все так! А ты совсем что ли с женой-то с законной прибыл, аль в гости?

Сын пристально посмотрел на него и ничего не ответил.

— А брат где же? — помолчав, спросил он. — Сестры?

— А шут их знает, где! Треплются, небось, по сараям с парнями. Завтра вот праздник, а им, сукам, все едино.

— Какой завтра праздник?

— Какой! Забыл, что ли? Наш праздник. Ильин-пророк.

— А-а! И верно, забыл. Ну, ладно. Мать, где же ты нас спать положишь? — обратился он к матери. — В вышку, что ли?

— Посвети им! — сурово сказал отец.

Мать отвела их в вышку, оставила лампочку и, холодно сказав: «тут вот одежда висит, шубы постелите, ляжете», — вышла.

Оставшись одни, молодые пристально посмотрели друг на дружку, и муж, пожав плечами, сказал:

— Ну, ну!

— Не стояло и ехать, — сказала жена.

— Ну, ничего! Увидим, что дальше будет, а теперь давай спать.

¹ Напечатано в № 130 «Известий» за 1924 г., 10 июня.

А мать, возвратившись в избу, окликнула потихоньку мужа:

— Василий!

— Ну, чего еще?

— Что же это, господи, с полюбовницей приехал, а? Без стыда. Башмаки у ней скидает. «Дай, говорит, я сяду». В коммунисты зачислился! Кто теперь народ-то, узнает, скажет? Завтра гости придут. Сваты. Головушка моя! Что же это такое?!

— Отстань! Ну тебя к чорту. Нарожала дьяволов мама, да не приняла яма! Возму вот рогач да вместе его со шлюхой вышибу вон!

— Одно только и остается,—согласилась она.—О, господи-сусе! Рожала, кормила, выхаживала, а он, нако, какие шутки от него открываться стали. Шлюху привез. «Жена», говорит. А она: «я, говорит, камуника». Господи, издохнуть бы уж мне, что ли! И зачем я, сука, живу только. Срамотица-то теперь пойдет на всю вотчину!

— Мо-о-лчи, чорт! — заорал муж. — Без тебя тошно. У-у-у, сволочи! — прорычал он, и в этом рычанье слышались злобные слезы.

Утром, когда было уже совсем светло и слышно было, как в селе, за версту от деревни, звонили к обедне, пришел откуда-то сильно выпивший брат прихавшего — Михайло и вслед за ним — обе сестры. Отец встретил их матерной руганью. Михайло ответил ему тем же и пошел было в вышку спать.

— Не ходи туда, сынок-батушка, — остановила его мать. — Тама братец Степан, ночью пришел с женой, лер.

— С какой с женой? — промычал Михайло. — А мне наплевать! Денег-то привез с гостинцами?

Мать не ответила на его вопрос, а сказала свое:

— Иди, сынок, в сарай, на сено. Только не кури тама, христа ради.

Не зарони. Поспишь покеда, а там придешь уж к обеду, покушаешь с братцем.

— Ладно! — согласился он. — Мотри, только встану, самогонки мне давай, а то работать не буду. На кой вы мне дали задаром-то!

— Да дам ужко! Иди только, сынок, усни.

Михайло ушел, а две девки-вековушки, сторяя любопытством, пристали к матери с расспросами, а когда она сказала им, что приезжие «окромя как вот этаяк махонькой корзиночки», ничего не привезли, надулись и, тоже уйдя куда-то, завалились спать.

Сам хозяин, по праздничному одетый, но злой и хмурый, потому что не на что было, как следует, справить праздник, а главным образом, потому что приехал сын со «шлюхой» и, повидимому, как он понял, ничего не привез с собой, ни денег, ни гостинцев, — бродил, не зная, куда себя деть, и, когда «отблаговестили» к обедне, пошел в церковь, сказав, уходя жене:

— Встанут господа-то, спроси у него, может, не привезли ли сколько-нибудь денежок. Скоро налог платить, а ни гроша нету и добыть негде. Скажи ему: для этого праздника все бы, небось, надо было не с пустыми руками приехать.

— Ладно, скажу.

— А коли нет, — продолжал он, — скажи, уходил бы, откуда пришел, вместе со шлюхой своей. У меня, вель, разговор со сволочами с ними короткий. За ноги да об угол. Так смотри, поговори!

— Ладно, ладно, а ты иди уж, знай. Отблаговестили давно.

Приезжий сын проснулся довольно-таки поздно, когда в церкви отзвонили «к достойной», и, разбудив жену, пришел с вышки в избу умываться.

— Встали? — встретила его вопросом мать.

— Встали, мать! Где бы нам умыться?

— А вон ковшик стоит, зачерпни в ведерке, поди на дворе умойся.

— Ладно. А ты нам молочка дай. Нет ли?

— Что ты, что ты! Обедня идет, а он «молочка»! Грех! Вот ужко отец придет из церкви, сядем обедать, тогда и лей на здоровье.

Сын промолчал и, зачерпнув воды, пошел умываться.

— Идем, Соня, — сказал он жене. — Я тебе поляю на руки.

— Поди полей, полей, батюшка,—не скрывая ехидства, сказала мать.—

Чулочки-то надел ли на нее?

Умывшись, молодые снова возвратились в избу, и мать с нескрываемым удивлением глядела во все глаза на приезжую, которая как-то особенно ловко и живо вытерла полотенцем руки, лицо и, достав из кармана гребенку, трянув головой, причесала на правую сторону свои выющиеся подстриженные, точно так же, как и у мужа, волосы.

— Чисто парень какой! — удивленно воскликнула мать. — Стриженная. Простоволосая. Тыф! Неужели же тебе не стыдно?

— Нет! — ответила молодая, глядя на нее смеющимися глазами.— Так лучше. Свободнее!

— Ах, ах, ах! А богу-то молишься?

— Нет.

— Так не венчавшись без попа и живете?

— Так и живем.

— Ну нам здесь такую не надоть. Нет, матушка, не надоть.

— Я уже это и вижу, — ответила молодая.

— Где у тебя глаза-то были сюда ехать-то?

— А он меня сюда позвал, я и поехала. Муж.

— Тыф! «Му-у-уж». Какой он тебе муж? Полюбовник он тебе, а не муж. Ты и его-то, знать, погубила. Нешто он такой был.

— Брось, мать! — вступился сын. — Давай молока луще.

— Рожна тебе, а не молока! Не дам! Жди время. Отец, вон, наказал мне спросить у тебя: денег ты привез, аль нет?

— Каких денег? Нет, не привез.

— А нам тоже взять негде. Что же ты пустой-то ехал? Говоришь: коммунист, а на какой ты мне без денег? Праздник у нас престольный, гости. Все бы надо догадаться привезти гостинцев, а не с пустыми руками ехать. Не хорошо, сынок, родителей обижать. Грех! Господь накажет. Женился — писал нам. Да нешто так женятся? Без благословения, по-собачьи. Где у вас, у обоих, стыд-то был ехать-то сюда? Грех один, неприятности. Не хорошо!

Она замолчала и заплакала.

Сын хотел что-то сказать, но не сказал, а махнул только рукой и вместе с женой вышел из избы.

Выйдя на улицу, они увидели, что из-под горы, навстречу им, возвращаются идущие из церкви богомольцы. Бабы в разноцветных платках, девки в белых платьях, мужики, парнишки.

Среди этой толпы шел и отец приезжего, Василий, все такой же злой и хмурый, как пошел в церковь.

При виде идущего сына, рядом с приежей — как он мысленно окрестил ее — «шлюхой», злость его еще больше увеличилась, ему было стыдно, и он рад был бы провалиться сквозь землю.

— Кто такие? Чьи? Откуда? — раздавались вокруг его любопытные вопросы. — Откуда такие завелись? Гляди, портки-то дутые, камунист должно. Тыфу, провались ты! Да, ведь, это Степка Коньков, к отцу, должно, приехал! А эта с ним кто же? Неужели жена? Чудеса!

Василий все это слышал и еще больше рад был бы провалиться сквозь землю.

— Отец! — увидя его в толпе, крикнул сын. — Погоди. Пойдем вместе. Василий отошел в сторону и подождал подошедшего к нему с женой сына, косясь на остановившихся любопытных.

— Ты чего? — спросил он, когда они подошли к нему.

— Да ничего. Погулять вышли. Пойдем вместе.

— Ты бы хоть обождал маленько ходить-то с ней! — не глядя на нее, сказал отец.

— А что? — не поняв, удивился сын.

— А что, а что! Вот тебе и «а что»! Ненадоть мне таких. За каким рожном привез?! Вези назад! На кой она мне нужна! Какая она тебе жена? Шлюха она! Ты много отцу-то помогал, а? Шлюху гулящую привез сюда вместо денег, на отцовскую-то шею! У-у-у, сволочи! Убыло!..

Возвращавшиеся богомольцы с захватывающим любопытством глядели на эту невиданную еще ими картину.

Вечерний выпуск «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК Советов» 20 авг. 1923 г.

ОТДЕЛ III-й

Пролетарское творчество

«Класс мой великий пролетарият
мировой алии, с любовью тебе эта
книга»
Иван Филиппенко. «Руки»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Пролетарская культура

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ ДЕКЛАРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА

(Из № 1 «Пролетарской Культуры» за 1918 г.)

Товарищи!

К нашей великой цели — Мировому Социализму — рабочее движение идет разными путями. Оно зарождалось, как чисто экономическое, профессиональное, затем кооперативное; позже стало складываться также в политическую силу; еще позже формируется и в культурную организацию. Буржуазный мир не только насилем боролся с этими потоками новой жизни, еще с самого начала он старался мирно овладеть ими, взять под свою опеку, и это долго ему удавалось. Пролетариат, выйдя из класса мелких хозяйственников, долго сам не понимал всей глубины своего разрыва с обществом, построенным на частной собственности и хозяйской власти, — колебался между борьбой и сотрудничеством классов, примыкая к буржуазным партиям, подчинялся буржуазным понятиям о жизни. Высвобождение из-под опеки совершалось мало-помалу; были остановки, были повороты вновь от классовой самостоятельности к связывавшим ее блокам с чуждыми общественными силами, к идейному оппортунизму. А когда огромный рост международного социализма, казалось, должен был окончательно упрочить независимую тактику пролетариата во всех областях, тогда разразилась мировая война и с нею небывалый кризис пролетарского классового сознания.

Большинство рабочих, даже в самых передовых странах, пошло за буржуазией и не за страх, а за совесть признало ее национальные интересы выше своих классовых, заключило мир и союз со своими капиталистами, чтобы сообща истреблять врагов — своих же вчерашних и завтрашних товарищей. И мысль, и чувство пролетариата оказались на деле ненадежны и неустойчивы. Почему? Потому что они столкнулись с новым, невиданно-трудным вопросом и не имели за собой достаточно глубокого, целостного воспитания, чтобы решить его твердо и неуклонно, по-своему, с точки зрения своих задач и своего идеала. Не будучи в силах решить его так, рабочий класс подчинился чуждому решению, тому, которое навязывала вся окружающая среда — капиталистический мир.

Дать классу целостное воспитание, непреложно направляющее коллективную волю и мышление, может только выработка самостоятельной духовной культуры. Она была у буржуазных классов, — в этом заключалась их сила; ее не хватило пролетариату, — в этом его слабость. Если бы он был вполне самостоятелен культурно, то ни в какой самой трудной и новой обстановке, старый мир не мог бы подсказывать ему свою мысль, внушать ему свои настроения, развращать его своим ядом, делать его своим слепым орудием.

Культурное движение рабочего класса отстало от экономического и политического. Теперь мы видим, как тяжело это отразилось на них и на всей исторической судьбе рабочего класса в нашу эпоху. Вдвойне отразилась та

Искусство не только шире науки, оно было до сих пор сильнее науки. Как орудие организации масс, потому что язык живых образов был массам ближе и понятней.

Ясно, что искусство прошлого само по себе не может организовать и воспитывать пролетариат как особый класс, имеющий свои задачи и свой идеал. Искусство религиозно-феодалное, авторитарное, вводит людей в мир власти, подчинения, воспитывает в массах покорность, смирение и слепую веру. Искусство буржуазное, имея своим постоянным героем личность, ведущую борьбу за себя и свое, воспитывает индивидуалиста. Это опять не то, что надо нам.

Пролетариату необходимо искусство коллективистическое, которое воспитывало бы людей в духе глубокой солидарности, товарищеского сотрудничества, тесного братства борцов и строителей, связанных общим идеалом. И такое искусство зарождается. Мы имеем его в России в виде молодой пролетарской поэзии. Это преимущественно поэзия боевого коллективизма, но уже пробивается струя коллективизма строительского, например, в поэзии Самобитника, Кириллова, Гастева. Я не стану приводить образцов этой поэзии, вы их узнаете. Ограничусь одним стихотворением Самобитника из старых и не самых талантливых, но характерных по форме и по содержанию.

МОИМ СОБРАТЬЯМ.

Мы — звезды в сумраке глубоком:
 Едва мерцаем и горим,
 И на посту своем высоком
 Мы, как умеем, сторожим.
 Над угнетенными полями
 Мы в час уныния зажглись —
 Сверкать свободными огнями
 И озарять родную всь.
 Порой, алмазным дружным хором
 Свои черные полог уберем,
 Тво с первой песней — метеором
 В глухую бездну упадем.

И песня вольная прервется,
 Но не исчезнет без следа;
 Ей вслед друная запоется —
 И вспыхнет новая звезда.
 Опьянены любовью света,
 Мы грезим радостями дня,
 И до грядущего рассвета
 Не гасим дружного огня.
 И день придет. Над нашим краем
 Светило мощное взойдет,
 И мы, свободные, растаем
 Средь голубых своих высот.

Здесь коллективистично не только понимание задачи поэта, но и самое восприятие природы: звезды — коллектив неба, борющийся с ночью.

Конечно, это наивно, ненаучно. Но и будущий поэт-коллективист, который не сможет применять такие образы, потому что будет слишком проникнут знанием мира и природы, все же будет чувствовать и сознавать связи миров, которые разделены безднами, но подобны друг другу, как дети одной матери-природы, связанные общением своих лучей, вечным обменом своей космической жизни.

Товарищи! Поэт-коллективист, как и всякий художник-коллективист, будет говорить не только о пролетарской жизни и не только о человеческом коллективе борьбы или труда. Нет, вся жизнь и весь мир будут содержанием его поэзии. На все он будет смотреть глазами коллективиста, видеть связь общения там, где не может ее видеть индивидуалист, будет ощущать всю вселенную, как поле труда, борьбы сил жизни с силами стихий, сил стремящегося к единству сознания с черными силами разрушения и дезорганизации.

Но как относиться к старому искусству, которое не стояло и не могло стоять на нашей точке зрения, которое не видело коллектива в жизни и не вносило духа коллективизма в понимание мира?

Попробую объяснить на примерах: «Фауст» — гениальное произведение тайного советника В. Гете, буржуазного аристократа. Казалось бы, что для пролетариата в нем нет ничего ценного, но вы знаете, что наши мыслители цитируют часто из «Фауста». В чем же внутренний смысл этого произведения, какова его «художественная идея», т.-е., с нашей точки зрения, его организационные задачи? В нем отыскиваются пути для такого устройства, такой организации человеческой души, чтобы была достигнута полная гармония между всеми ее силами и способностями. Фауст — представитель человеческой души, вечно ищущей, вечно мятущейся, жаждущей гармонии. Переходя от одной страсти к другой, от одного увлечения к другому, Фауст все время ищет этой гармонии, сопровождаемый темным призраком, Мефистофелем, духом разложения, скепсиса, разрушающей критики, на каждом шагу его на пути, вновь и вновь раскрывающим противоречия человеческого бытия, он находит, наконец, разрешение задачи. В чем он находит его? В труде на пользу обществу. Фауст занимается осушением и возделыванием бесплодной прибрежной полосы, отвоевывает у природы узкую полосу земли, чтобы на ней могла процветать людская жизнь. Именно тогда и только тогда ему хочется сказать: «мгновенье, остановись!» В блуждающей душе Фауста сконцентрирован богатый внутренний опыт самого Гете. Это, конечно, еще не наше решение жизненной задачи. Это — индивидуалистическое решение. Но все же, это — первый шаг, и «Фауст», для нас драгоценен, так как он пролагает нам путь к нашему решению. А главное — мы узнаем, чего в том решении не хватает.

Более 2.000 лет тому назад была создана статуя богини, собиравшая в храме массу народа, обединявшая ее в одно, пусть — чудлом нам, настроение. Это была Венера Урания — небесная Венера, представительница чистой любви, как ее понимали древние — гармонической любви духовной и телесной. Храм был центром общения, богиня — центром храма. Следовательно, она была центром организации коллектива. Она отражала чуждый нам мир в спокойной, величественной, далекой от усилий, напряжения и порыва, но в настоящей, божественной красоте. Храм был разрушен, богиня была, вероятно, зарыта в землю. Прошли века, новый мир появился в Европе — мир зарождающегося капитализма. Боги умерли. Богиня перестала организовывать свой прежний коллектив, но люди почувствовали великую организующую силу статуи, они почувствовали прекрасное; и с того момента, как люди увидят ее, они всегда связаны чем-то общим...

...А народная поэзия? Возьмите былинки об Илье Муромце. Это — воплощение в одном герое коллективной силы крестьянства феодальной Руси, истинного строителя и защитника нашей земли. Пусть это образ индивидуалистический, иначе крестьянство не умело и сейчас не умеет выражать свою душу: в одном лице оно выразило свою коллективную силу. Но если вы поняли скрытый коллективный смысл образа, разве вы не глубже чувствуете его величественную красоту, разве не веет над вами дух борьбы веков, и не чувствуете вы, что не даром пропал труд и страдание темных строителей прошлого, проложивших через беспросветную мглу веков дорогу истории до того места, с которого уже видишь цель и с которого мы начинаем свой путь? Разве сознание этого не организует вашу душу, не собирает ваши силы для дальнейшей работы и борьбы?..

... Товарищи, надо понять: мы живем не только в коллективе настоящего мира, мы живем в содружестве поколений. Это — не сотрау-

ничество классов, оно ему противоположно. Все работники, все передовые борцы прошлого — наши товарищи, к каким бы классам они ни принадлежали. Почему мы боремся с буржуазными классами настоящего? Потому, что они мешают продолжать дело истории, которое мы приняли от революционеров буржуазии прошлого. Они изменяют этим своим предкам: те шли итти дальше, лучше отступили. Мы же продолжаем наступление тех исчезающих полков и говорим буржуазии: вы одеты в их форму, но вы — не те борцы, вы пераделались врагу, силам темного царства истории, — и мы боремся против вас. А те — наши, хотя оружие у нас иное, и идем мы другим строем, но дело наше — общее с ними, борьба с мертвыми за живое. И так, товарищи, искусство прошлого в н о в о м п о н и м а н и и, в критическом истолковании новой пролетарской мысли. Это дело нашей критики. Она должна итти рядом с развитием самого пролетарского искусства, помогая ему советом и руководством и руководя им в использовании художественных сокровищ прошлого. Эти сокровища она должна передать пролетариату, объяснив ему все, что в них для него полезно и нужно и чего в них для него недостает.

Художественный талант индивидуален, но творчество социально — из коллектива исходит и к нему возвращается, для него жизненно служит. И организация нашего искусства должна быть построена на товарищеском союзе, по духу верно своему идеалу и делается настоящим могучим орудием борьбы за него. Оно будет стройно объединять классовые силы в единство живого сознания общей цели, живого чувства ее бесконечного величия.

История показывает, товарищи, что эпохи бурь и гроз благоприятны для развития искусства, давая ему богатое содержание и внушая жажду новых форм. Такую грозную эпоху мы теперь переживаем, эпоху, какой еще не видел мир, и она, несомненно, принесет расцвет нашего нового искусства. Товарищи, мое изучение переживаемой действительности убеждает меня в том, что это еще не последние бури и грозы борьбы за новый мир. В этом я напоследок урок истории, урок, из которого пролетариат выйдет зрелым для пролетарского искусства будет одним из лучших, прекраснейших выражений этой зрелости. Оно украсит пролетарскую жизнь и борьбу, организует душу пролетариата, ибо красота, товарищи — это организованность и она же называется в науке истиной, в революционной борьбе и труде — силой. Где есть она, там необходимо и неизбежно будет и победа. А тогда:

Кровью вспоенная станет земля плодороднее,
Будет цветов полевых красота благороднее,
Речи и ласки тайть перестанут обман,
Жизни потоки сольются в один океан¹.

¹ Из протоколов I-й Всероссийской конференции под ред. П. Лебедева-Полянского стр. 72—77. Изд. «Прол. Культура» 1918 г. Москва.

Федор Иванович КАЛИНИН

Родился в 1882 г., умер в 1920 г.

Об этом вдумчивом критике — рабочем, об этом неутомимом организаторе Пролеткульта, в статьях «Пролетарской Культуры» (№№ 13, 14 — 1920 г.), в сборнике «Памяти Ф. И. Калинина» были высказаны самые горячие, проникнутые глубокою скорбью воспоминания, когда обвалилась его напряженная работа.

«Во имя нового духа коллективизма, во имя культуры восходящего класса, — он смолodu встал на боевой революционный пост и не покинул его даже перед лицом смерти» — писала о «бывшем ткаче», талантливым пролетарском философе, редакция журнала «Пролетарская Культура».

В своих «Воспоминаниях» о почивших борцах за пролетарскую культуру А. В. Луначарский писал о Ф. И. Калинине, который в годы подполья действовал нелегально под именем Аркадия, организовал работы Каприйской, а после Болонской школ:

«До октябрьского переворота Аркадий в Петербурге работал в профессиональных союзах, продолжая неуклонно теоретическую работу по вопросам пролетарской культуры. После переворота, я, само собой разумеется, пригласил его в коллегия порученного мне Наркомпроса и передал ему идейное и практическое руководство делом помощи самостоятельным пролетарским и культурным организациям, в первую очередь Пролеткультам. И уже, конечно, это не была переоценка его сил. Я их далеко не дооценил. Только в последние, перед его смертью, месяцы московского периода мы, руководители Наркомпроса, поняли, какого несравненного организатора мы имеем в его лице. Мало-по-малу в его руках сосредоточилась вся организационная работа, и он богатырски, сгорая от увлечения и жажды работы, принялся рационализировать и строить, и функции Наркомпроса. Я утверждаю, что это страстное увлечение огромной и захватывающей работой, эта непомерная готовность все сделать, всюду поспеть, была одной из причин такой ужасающей ранней смерти молодого борца, выросшего в огромную величину и первую классную для Советской Республики революционную и организованную силу» («Пролет. Культура» №№ 13 — 14, стр. 11).

Критические статьи Ф. И. Калинина печатались в каждой книжке журнала «Пролетарская Культура», а также в журналах «Грядущее», «Горняк» и т. д. Уже ранние его статьи 1912—1913 г.г. о пролетарском творчестве вызвали обширную полемику. Если рабочий-критик И. Н. Кубиков, бывший печатник, являлся талантливым популяризатором нашей классической литературы, то критик-мыслитель Ф. И. Калинин являлся пролагателем и искателем новых путей и пламенным апостолом пролетарского творчества. В своем горячем увлечении он умел удерживаться от крайностей и никогда не отрицал огульно работы художников-классиков.

В. Львов-Рогачевский.

Еще не так давно вопрос о пролетарской культуре в подавляющем большинстве партийных кругов вызывал к себе недоверчивое отношение, а сплошь и рядом враждебное. В настоящий переходный момент отношение значительно изменилось, и этот вопрос все больше привлекает к себе внимание, и растет число сторонников новой культуры. Правда, лед еще не совсем сломен, но трещины уже наместились, они ширятся и привлекают пролетарские взгляды своим разительным знанием. И все-таки нужно признать, что для многих и многих этот вопрос неясен, и существование пролетарской культуры они подвергают сомнению. Есть ли пролетарская культура? Да, ответим мы решительно, элементы ее налицо. То, что вы называете классовым сознанием, пролетарской идеологией, это и есть элементы пролетарской культуры. Развитие ее неравномерное; но в области политической и экономической влияние идеологии рабочего класса выходит далеко за его пределы. Булгаков в «Философии хозяйства» пишет: «Число фактических последователей экономического материализма гораздо больше, чем открытых и сознательных его приверженцев».

Теперь, в переходный момент социальной революции, когда пролетариат вместе с беднейшим крестьянством встал у власти, назрела неотложная и настоятельная потребность определить пролетариату свое отношение и к таким областям, как вопросы воспитания и искусства. Никто из искренних сторонников рабочего класса не станет отрицать огромной важности вопроса воспитания. Мы, рабочие, не можем оставить воспитание народа во власти буржуазных методов: в самый важный момент его жизни, когда формируется душа человека и часто остается таковой на всю жизнь, когда формируется подвергать ее влиянию нашего злейшего врага — буржуазии. Мы должны выработать свои социалистические приемы воспитания, которые были бы в прямой связи с социалистическим идеалом. Не менее важное значение для рабочего класса имеет и искусство. Искусство не только развивает наше сознание, но и организует строй наших чувств, помогает устранить между сознанием и чувством столь обычный разлад, привести их в полную гармонию, придавая этим силу и непреодолимую последовательность в достижении наших стремлений. Кроме этого, искусство обогащает нас огромным опытом, которого в практической жизни во всем объеме и широте, даваемой изображением в литературе, человек может не пережить: в данном случае предварительное восприятие искусства помогает предупредить практические противоречия и столкновения и тем самым усиливает нашу способность в борьбе.

В развитии и выработке пролетарской культуры есть две стороны. Одна, собственно, культурно-просветительная, которая выражается в усвоении буржуазного наследства, в определении к нему нашего пролетарского отношения и в усвоении элементов пролетарской культуры, которые уже созданы рабочим движением. Другая сторона должна выразиться в создании условий для проявления творческих сил пролетариата и в самом творчестве. Вторая задача — наиболее сложная; о ней мы и хотим поговорить в этой статье. Выяснение процессов творчества, в частности, поможет нам установить, в чем может выразиться участие в выработке пролетарской культуры интеллигенции, принадлежащей к рабочему классу, и роль самого пролетариата.

Вопрос о творчестве — один из наименее выясненных. Буржуазная интеллигенция, пользуясь таким положением дела, всего охотнее скрывается:

в эту последнюю свою крепость и усердно, со всякого рода заклинаниями, заволакивает себя в ней туманом мистицизма, который должен мешать нашему проникновению в эти заповедные луга. Рабочий класс не остановит колдовские набождения последних могокан буржуазии, и он сумеет при помощи испытанного оружия — организованной сознательности — извлечь их из самых отдаленных ущелий на солнечный свет и обнаружить наготу их ложного самонадеяния. Из кастовой, цеховой заинтересованности эти господа создают фантастические сказки, что заповедные луга творчества доступны только избранным натурам, жрецам искусства, которые входят туда в белых ризах и с кадилным дымом. Творчество есть элементарная потребность каждого человека: оно выявляется в преодолении противоречий, с которыми люди сталкиваются в практической жизни, — а рабочий прежде всего в трудовой, при воздействии на внешнюю природу, — и в области мысли, когда нарушается связь логической последовательности. Жреческая каста от искусства сейчас же задаст нам вопрос: значит, по вашему, между гением и простым рабочим нет никакой разницы? Да, скажем мы, по существу, никакой, — разница только в интенсивности и в большей или меньшей чувствительности мозгового аппарата. Иначе не смотрели и сами гении; не даром Гете определял гениальность обладанием способностью напряженного внимания, а Дарвин — терпением.

С этой точки зрения ясно, что процессы творчества, как в преодолении противоречий обыденной работы, так и усложненного творчества в разного рода великих открытиях, изобретениях и в области художественной, по существу, одни и те же. Различие может быть только в формах протекания процессов. Одна — форма логическая, к которой относятся научные открытия и изобретения, а другая — художественная, к которой относится искусство.

Протекание процессов научного творчества основывается на логическом мышлении и идет под контролем сознания, который выражается в сборании для поставленной задачи необходимого материала и приведения его в логически целесообразную связь. Но дело не сводится всецело к этому. Наша психика не исчерпывается сознанием: это — только ее светлая, непосредственно доступная область. За нею скрывается еще гораздо более обширная, темная сторона психики — подсознание, богатейший склад опыта, хранящие бесчисленных переживаний, неуловимых по своей слабости или крайней общности, — переживаний, смутно воспринятых и забытых. Когда сознание заканчивает работу накопления и упорядочения материала, то, если открытие назрело, подсознательное приходит на помощь, вступает в связь с областью сознания, как бы врываясь в нее могучим оплодотворяющим потоком, из своего скрытого богатства вносит то, чего не хватало для решения задачи. А в результате этого синтеза является как бы неожиданно открытие, нечто новое, способное дальнейшее развитие целой отрасли знания и мысли направить по новым путям, по новым методам. В пользу такого единственно верного и допустимого предположения свидетельствуют и богатый научный материал о жизни подсознания, и история открытий в их исторической постепенности, и возможность самого открытия при определенных исторических условиях. За это же говорят признания ученых, их биографические данные об их работе и исследованиях. Пуанкаре рассказывает, как он сделал одно открытие в математике не в момент напряженной работы по вычислениям, а когда сидел в автомобиль, думая совершенно о другом. На первый взгляд это кажется случайным открытием. Но это не верно. Здесь, очевидно, допустимо только одно предположение: когда напряженная работа сознания по данному вопросу прекращается, то работа подсознания, происходящая параллельно, продолжается и идет своим путем, хотя бы сознание отвлекло совсем другие задачи.

¹ Статья напечатана в № 1 «Прол. Культура» за 1919 г.

Многие из мистических интуитивистов склонны рассматривать творчество, как наитие, присущее избранным натурам, которые способны творить вечные ценности из ничего, по одному волшебному вдохновению. Этот взгляд свидетельствует о большом самомнении и одновременно о невежестве. Все серьезные исследования о творчестве говорят о возможности его только в результате напряженной работы, после приобретения богатого опыта. Только через накопление практических и теоретических знаний, можно идти к творчеству и открытиям. Всякий акт открытия или изобретения возможен после достаточно необходимого для него количества и соответствующего качества опыта или материала.

Другая форма творчества — в художественной области — базируется на непосредственных чувствах или, как говорят, интуиции, а вернее — на постоянно поддерживаемой связи сознания и подсознания; и только уже в конечной стадии, когда в воображении ярко и четко возник определенный образ, он контролируется и проверяется сознанием, — отвечает ли образ поставленной общей задаче и своему месту в системе назначения. Искусство есть по преимуществу образное мышление; оно не доказывает, а показывает; и поэтому не может базироваться на логическом мышлении уж хотя бы потому, что почти всякий более или менее сложный образ заключает в себе такое количество опыта, которое не может охватываться памятью сознания. Поэтому, чтобы процесс художественного творчества протекал в создании образа нормально, подальный опыт подсознания является постоянно необходимым дополнением. В тех же случаях, когда у художника между сознанием и подсознанием связь плохо налаживается или неровно протекает, продуктом этого творчества выступает искусство менее совершенное — каким является, напр, искусство тенденциозное. Образ или целая система образов в произведении не полны, они как бы не дозрели, в них не заключено должного и необходимого сознательного и подсознательного опыта, спяющего цемент чувства.

Если бы мы захотели сделать вывод и применить его к интеллигенции, примыкающей к пролетариату, какое она может занять место в творчестве пролетарской культуры, то мы бы определили это так: примыкающая к нам интеллигенция мыслить с нами, а если нужно и за нас, может, — чувствовать же — нет. Поскольку вопрос идет о логическом мышлении, наблюдения, систематизации опыта, интеллигент, внимательно изучающий жизнь и окружающие условия рабочего, может вполне мыслить за рабочего, правильно намечать путь развития идеологии пролетариата, как это сделано Марксом и целым рядом других пролетарских идеологов. Но лишь дело касается более глубоких переживаний, области чувств рабочего, — тут интеллигент бессилен, его проникновение ограничено. Ему может быть доступно только то, что высказывается и поддается наблюдению. А то и другое, как мы выяснили, недостаточно для завершения полного художественного выражения. Художественное творчество — процесс по преимуществу в своей основе подсознательный, контролируемый сознанием при своем уже выявлении; а подсознание имеет своей основой по преимуществу быт, и потому у интеллигента почти никогда не может оказаться пролетарским. Постороннему, даже самому внимательному наблюдателю, нет возможности проникнуть в переживания, которые происходят в процессе подсознательного формирования. Сам рабочий смутно сознает шорохи своей души, и только в момент напряженного творчества они принимают в его сознании яркие и четкие образы. Можно еще допустить изображение наиболее примитивной психологии рабочего, которая, буда сложности переживаний, более или менее доступна наблюдению и поддается известному учету; но чтобы изобразить сущность пролетарской природы передового слоя рабочих, нужно ее пережить. Нам могут указать на способность

художников перевоплощаться. Да, у великих художников это качество сильно развито; но внимательное изучение его показывает, что перевоплощаемость ограничена пределами опыта; от силы и таланта художника зависит только богатство ее комбинаций.

Большой художник может ярко и сильно изображать типы постороннего его класса в пределах доступного ему наблюдения и изучения, но сказать что-нибудь новое, там намечающееся, и в то же время типичное, способное развиться до общезначимого, он не мог бы.

Ограничивая роль интеллигенции в творчестве пролетарской культуры, мы не хотим, чтобы нас понимали по упрощенному методу лежонтовского камердинера, который делил мир на две половины, одна — его барин, а другая — вся остальная сволочь. Такой метод должен быть изгнан и отвергнут. Но надо признать, что те сложные, крутящиеся вихри и бури чувств, которые переживает рабочий, доступнее изобразить ему самому, чем постороннему, хотя бы близкому и сочувствующему, наблюдателю.

Здесь речь идет только о равных величинах, которые стоят в одном ряду передового авангарда, но о разных классовых группировках по происхождению. Опортунистом может быть и рабочий, выражающий настроения и стремления отсталых, не освободившихся еще от мелкобуржуазности полупролетарских масс. Такой рабочий, как бы он талантлив ни был, не будет выразителем намечающихся тенденций пути развития в передовом авангарде рабочего класса, а следовательно, не сумеет изобразить их и художественно.

Переходя к заключению, мы скажем: в способе решения вопроса о творчестве пролетариат должен применить уже испытанное оружие, которым он завоевывал политические и экономические крепости буржуазии; это оружие — организованная сознательность, спаянная дисциплина с запасом необходимых знаний; тем же самым оружием пролетариат завоеует и последнее убежище буржуазной интеллигенции — творчество и рассеет скопившиеся вокруг него удушливые газы мистицизма. Через упорный, последовательный путь расширения опыта, накопления знаний, духовной самодисциплины — к творчеству.

Федор Калинин.

ЛИТЕРАТУРА И РЕВОЛЮЦИЯ ¹

Место искусства можно определить таким схематическим рассуждением.

Если бы победивший пролетариат не создал своей армии, рабочее государство давно протянуло бы ноги, и нам не приходилось бы размышлять сейчас ни над хозяйственными, ни тем более над идейно-культурными проблемами.

Если бы диктатура оказалась неспособной в ближайшие годы организовать хозяйство, обеспечивающее население хотя бы жизненным минимумом материальных благ, пролетарский режим неизбежно пошел бы прахом. Хозяйство сейчас — задача задач.

Но и успешное разрешение элементарных вопросов питания, одежды, отопления, даже грамотности, являясь величайшим общественным достижением, ни в каком случае не означало бы еще полной победы нового историче-

¹ Под этим заглавием вышла в начале октября, в издательстве «Красная Новь» новая книга тов. Троцкого; основная часть предисловия к этой книге была напечатана в «Известиях» № 219, 1923 г. Отрывок берем из этой газеты. В книге «Литература и Революция» помещен ряд блестящих статей, выясняющих вопрос о пролетарской культуре.

ского принципа: социализма. Только движение вперед, на всенародной основе, научной мысли и развитие нового искусства знаменовали бы, что историческое зерно не только проросло стеблем, но и дало цветок. В этом смысле развитие искусства есть высшая проверка жизнениности и значительности каждой эпохи.

Культура питается соками хозяйства, и нужен материальный избыток, чтобы культура росла, усложнялась и утончалась. Буржуазия наша подчиняла себе литературу, и притом быстро в тот период, когда стала уверенно и крепко богатеть. Пролетариат сможет подготовить создание новой, т.-е. социалистической, культуры и литературы не лабораторным путем, на основе нынешней нищеты, скудости и безграмотности, а широкими общественно-хозяйственными и культурническими путями. Для искусства нужно довольство, нужен избыток. Нужно, чтобы жарче горели доменные печи, шибче вращались колеса, и «культура» была дворянской и бюрократической, на крестьянской основе, Дворянин, в себе не сомневающийся, и кающийся дворянин наложили свою печать на значительнейшую полосу русской литературы. Потом на крестьянско-мещанской основе поднялся интеллигент-разночинец, который писал свою главу в историю, русской литературы. Пройдя через народническое «пропущенство», интеллигент-разночинец модернизировался, дифференцировался, индивидуализировался в буржуазном смысле. В этом историческая роль декаданства и символизма. Уже с начала столетия, особенно же с 1907 — 1908 г.г., буржуазное переорождение интеллигенции и с ней литературы идет на всех парах. Война придает этому процессу патриотическое завершение.

Революция опрокидывает буржуазно, и этот решающий факт вторгается в литературу. Кристаллизовавшаяся по буржуазной оси литература рассыпается. Все, что осталось сколько-нибудь жизненного в области духовной работы и, особенно, литературы, пытались и пытаются найти новую ориентацию. Осью ее, за выходом буржуазии в тираж, является народ минус буржуазная масса города, а затем рабочие, поскольку возможно еще не выделять их из народно-мужичьей протоплазмы. Таков основной подход отчасти мещанская, народно-мужичья протоплазма. Таков основной подход всех путничков. Таков покойник Блок, таковы живые и здравствующие: Пильник, Серапионы, имажинисты. Таковы в чести своей даже и футуристы (Хлебников, Крученых). Мужичья основа нашей культуры — верно бы сказать: бескультурности — обнаруживает все свое пассивное могущество.

Наша революция — это крестьянин, ставший пролетариатом, на крестьянина опирающийся и намекающий путь. Наше искусство — это интеллигент, колеблющийся между крестьянином и пролетариатом, неспособный органически слиться ни с тем, ни с другим, но по промежуточному своему положению, по связям своим, более тяготеющий к мужику, стать мужиком не может, но может мужиковствовать. Между тем, без руководителя-рабочего революции нет. Отсюда основное противоречие в самом подходе к теме. Можно даже сказать, что поэты и писатели нынешних остро-переломных годов отличаются друг от друга преимущественно тем, как они выбиваются из противоречия и чем заполняют провалы: один — мистикой, другой — романтикой, третий осторожной уклончивостью, четвертый — все заглушающим криком. При всем разнообразии приемов преодоления существующего противоречия одно и то же: порожденная буржуазным обществом отделенность умственного труда, в том числе и искусства, от физического — тогда как революция явилась делом людей физического труда. Одной из конечных задач революции является полное преодоление разобщенности этих двух видов деятельности. В этом смысле, как и во всех остальных, задача создания нового искусства идет целиком по линии основных задач культурно-социалистического строительства.

Смешно, нелепо, до последней степени глупо притворяться, будто искусство может пройти мимо потрясений нынешней эпохи. События эти подвояются людьми, ими совершаются и на них же обрушиваются, меняя их самих. Искусство прямо и косвенно отражает жизнь людей, которые делают или переживают события. Это относится ко всему искусству — и самому монументальному и самому интимному. Если бы природа, любовь, дружба не были связаны с социальным духом эпохи, лирика давно прекратила бы свое существование. Только глубокий перелом истории, т.-е. классовая перегруппировка общества, встряхивает индивидуальность, устанавливает другой угол лирического подхода к основным темам личной поэзии и тем самым спасает искусство от вечных перепадов.

Но ведь «дух» эпохи действует незримо и независимо от субъективной воли? Так сказать... Конечно, в последнем счете, он отражается на всех. И на тех, которые его приемлют и воплощают, и на тех, кто безнадежно ему и противоборствует, и на тех, кто пассивно пытается укрыться от него. Но противоборствует, и на тех, кто пассивно пытается укрыться от него. Но пассивно укрывающиеся незаметно отмирают. Противоборствующие способны разве лишь оживить одной-другой запоздалой вспышкой старое искусство. Новое же искусство, которое проведет новые грани и расширит русло творчества, может быть создано только теми, кто живет заодно со своей эпохой. Если от сегодняшнего дня провести линию к будущему социалистическому искусству, то придется сказать, что сейчас мы проходим едва лишь через подготовку к подготовке.

В резких и схематических чертах группировки нынешней нашей литературы таковы:

Вне-октябрьская литература, от суворинских фельетонистов до тончайших лириков помещичьего суходола, отмирает вместе с классами, которым служила. В формально-генеалогическом смысле она является завершением старшей линии старой нашей литературы, сперва дворянской, а под конец буржуазной с начала до конца.

«Советская» мужиковствующая литература формально, но уже с гораздо меньшей бесспорностью, генеалогию свою может вывести из славянофильских и народнических течений старой литературы. Конечно, и мужиковствующая — не непосредственно от мужика. Они немислимы были бы без предшествующей дворянско-буржуазной литературы, младшей линией которой они являются. Сейчас они себя перелицовывают соответственно новой социальной обстановке.

Футуризм представляет собою также беспорное ответвление старой литературы. Но в пределах ее русский футуризм не успел развернуться и, достигнув необходимого буржуазного перерождения, получить официальное признание. Он оставался на богемской стадии, нормальной для каждого ношения. Но возникло новое течение в капиталистически-городских условиях, когда возразилась война и революция. Толкаемыми событиями, футуризм направил свое развитие в новое, революционное, русло. Пролетарского искусства тут не вышло и выйти по самому существу дела не могло. Футуризм, оставаясь во многом богемски-революционным ответвлением старого искусства, ближе, непосредственное и активнее других течений входит в формирование нового искусства.

Как значительны бы ни были достижения отдельных пролетарских поэтов, в общем, так называемое «пролетарское искусство» прохлдит через ученичество, рассеивая элементы художественной культуры вишир, ассимилируя новому классу, пока еще в лице очень тонкой прослойки, старые достижения, и являясь, в этом смысле, одним из истоков будущего социалистического искусства.

В корне неправильно противопоставление буржуазной культуре и буржуазному искусству пролетарской культуры и пролетарского искусства. Этих последних вообще не будет, так как пролетарский режим — временный и переходный. Исторический смысл и нравственный величие пролетарской революции в том, что она залагает основы внеклассовой, первой подлинно-человеческой культуры¹.

Наша политика в искусстве переходного периода может и должна быть направлена на то, чтобы облегчить разным художественным группировкам и течениям, ставшим на почву революции, подлинное усвоение ее исторического смысла и, ставя над всеми ими категорический критерий: за революцию или против революции, — предоставлять им в области художественного самоопределения полную свободу.

Революция находит в искусстве свое отражение, пока очень частичное, поскольку перестает быть для художника внешней катастрофой, поскольку творчество и поэтов, и художников, старых и новых, срывается с живой тканью революции, научается воспринимать ее изнутри, а не со стороны.

Не скоро еще уляжется социальный водоворот. В Европе и в Америке предстоят десятилетия борьбы. Люди не только нашего, но и следующего поколения будут ее участниками, героями и жертвами. Искусство этой эпохи будет целиком под знаком революции. Этому искусству нужно новое сознание. Оно непримиримо, прежде всего, с мистицизмом, как открытым, так и переряженным в романтику, ибо революция исходит из той центральной идеи, что единственным хозяином должен стать коллективный человек и что пределы его могущества определяются лишь познанием естественных сил и умением использовать их. Оно непримиримо с пессимизмом, скептицизмом и всеми другими видами духовной пространицы. Оно реалистично, активно, исполнено настоящего коллективизма и безграничной творческой веры в будущее...

Л. Троцкий.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Революционная сатира

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ—МИХАИЛ ВОЛКОВ

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ (Е. А. Придворов)

Родился 1/13 апреля 1883 г. в деревне Губовке, в Херсонской губ. Александровского уезда, в полукрестьянской, полупролетарской семье. Мать жила в деревне Губовке, отец работал в городе на заводе. Будущий поэт - сатирик детство провел в деревне. 13 лет был определен отцом в военно-фельдшерскую школу, по окончании которой отбывал военную службу в Елизаветградском университете на историко-филологический факультет. В 1904 г. поступил в петербургский университет на «Русском Богатстве» в январской книжке. В 1909 г. печатает первое стихотворение в «Русском Богатстве». В 1910 г. под фамилией Е. А. Придворова. В 1912 г. по моему предло-жению редакция журнала «Современный Мир» начинает регулярно печатать у него обэцены обычно в форму басни. Сатиры Демьяна Бедного. Эти произведения в отделе публицистики политические «Рабочей газете» выпускает в большом томе собрание сочинений этого талантливого сатирика, завоевавшего своими политическими баснями и фельетонами широкую популярность. В том же большом формате в 587 страниц текст напечатан в два столбца. Сюда вошли произведения от 1909 по 1922 г. В книге имеется вводящая статья К. С. Еремеева и критический очерк Л. Войтовского. Книга Демьяна Бедного является своеобразным и дневником коммунистической партии и памятником эпохи. В 1923 г. проф. Н. Н. Фатов выпустил в издательстве «Молодая гвардия» книгу «Демьян Бедный» (Краткая характеристика творчества). Ниже мы помещаем статью тов. Сосновского о Демьяне Бедном. Перепечатываем ее из № 1 журнала «На посту»¹.

В. Львов-Рогачевский.

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ — ПЕРВЫЙ ПРОЛЕТАРСКИЙ ПОЭТ.

Мне довелось слышать от Демьяна Бедного такой рассказ. Когда-то один человек был приговорен к смерти. Но в приговоре было сказано, что над осужденным казнь должна быть совершена только тогда, когда первый раз после зимы запоет соловей. Была зима, и осужденный с облегчением смотрел в окно на мощный снежный покров. Казалось, страшный миг так далек, весной еще не пахнет. А до весны, может быть, совершится чудо... О соловье не думалось. До соловья ли глубокой зимой? Шли недели. Осужденный сначала с тревогой, затем с тоской и, наконец, с отчаянием стал замечать, что множатся признаки грядущей весны. Почернели дороги, осел снег в сугробах, проглянуло ласковое солнце. Ночью осужденный вдруг проснулся в холодном поту. Ему послышались роковые звуки соловьиной песни. «Нег... нет...», бился он о стены и судорожно затыкал уши. В последующие дни в каждом шорохе, стуче, свистке часового ему мерещились соловьи-

ные трели. За неделю зазеленели первые листки на березках. Их вид резал глаз несчастному. Он избегал смотреть в окно. Чтобы не думать о будущем, он заставлял себя отдаваться воспоминаниям. Вот его детство. Очарование юности. Первая робкая любовь. Соловей в роще...

Как, соловей?... Этот мрачный вестник смерти... Неужели можно было, затавив дыхание, часами отдаваться во власть его звуков? Это невероятно. Но почему же поэты всех времен и народов воспевают соловья, этого полуручного палачей. Вот каркнула ворона — милое незлобное существо. «Напрасно тебя считают черным вестником. А по утрам бодрый клик петуха — глашатая света, бодрствования и труда, какое очарование!... Петух — вот истинный друг человечества. Почему так несправедливо вознеси лихорадочной рукой набрасывая последние прощальные строки близким. Он ни о чем другом не мог писать им, как только о соловье. Он закричал их во имя любви к нему навсегда проникнуться ненавистью и отвращением к соловью, вестнику смерти. «Я еще живу, и солнце улыбается мне, как и вам. Но наступит вечер... Кто-то где-то будет упиваться трельми соловья... А ко мне, в одиночку, с первыми трельми соловья придут и уведут... навсегда... Проклятый соловей, злой дух моего одиночества. Мне слаще змеиный шип, чем отвратительные ругавды соловья»...

Если читателю раньше казалось, что в оценке соловьиного пения не может быть двух мнений, вот ему, правда, гиперболический пример того, как обстоятельства влияют на эстетические вкусы. Но попробуйте более широко отнестись к вопросу и спросите себя, так ли восхищенно относится к пению соловья мужицкая масса, как дворянско-буржуазная, интеллигентская среда. Разумеется, не так. У привилегированных классов и сословиями, но и навязывались предками, литературой, средой, экономикой. У мужика — совсем иначе. И эстетическим чувствам мужика гораздо больше горю и изоблаванного певца, которого, как Шалапина, не везде и не всякому дано послушать. Поди-ка, жди летнюю ночью, пока сонно злит дворняжский солист. Да еще запоет ли? А мужику летом, в рабочее время не до соловьиных песен после трудового дня. Если бы вдруг замолкли петухи, мужицкая масса не заметила бы. Но если бы замолкли петухи, в народной жизни определенно почувствовалась бы некоторая пустота.

* * *

Перейдем к конкретному вопросу об оценке того или иного поэта. Как оценивали, скажем, творчество Некрасова его современники? Литературные столпы той эпохи — в особенности Лев Толстой и Тургенев — упорно отрицали поэтическое дарование Некрасова. «Поэзия даже не начевала в стихах Некрасова», говорили они. Но в это время на передовую линию общественной мысли выдвигался новый слой — разночинца-интеллигента. Именно этот слой и видел в поэзии Некрасова художественное выражение своих дух и настроений.

«Вот почему молодые разночинцы просто-напросто не поняли бы человека, который вздумал бы доказывать им, что Некрасов — не поэт: «Предоставьте нам судить об этом», — сказали бы они такому человеку и были бы совершенно правы. (Плеханов. «Литература и критика», стр. 366).

Современники передают, что на похоронах Некрасова один оратор поставил Некрасова на первое место после Пушкина.

— Он выше Пушкина! — выкрикнули молодые голоса из толпы слушателей.

Выше ли Пушкина Некрасов, как поэт, — дело другое. Но одно несомненно: Некрасов потрясал души своих молодых читателей, особенно разночинцев, и зажигал их таим огнем, какого не могла зажечь величая поэзия Пушкина. Вот свидетельство Г. В. Плеханова из его юношеских переживаний:

«Я был тогда в последнем классе военной гимназии. Мы сидели после обеда группой в несколько человек и читали Некрасова. Едва мы кончили «Железную дорогу», раздался сигнал, завывавший нас на фронтное ученье. Мы спрятали книгу и пошли в цейтгауз за ружьями, находясь под сильнейшим впечатлением всего только-что прочитанного нами. Когда мы начали строить, мой приятель С. подошел ко мне и, сжимая в руке ружейный ствол, прошептал: «Эх, взял бы я это ружье и пошел бы сражаться за русский народ!». Эти слова глубоко врезались в мою память; я вспоминал их потом всякий раз, когда мне приходилось перечитывать «Железную дорогу».

Поэзия, которая способна поднять человека на героические подвиги, заставить его даже пожертвовать собою во имя справедливости, это ли не самая замечательная поэзия? И насколько же выше она той поэзии, которая вызывает только эстетические ощущения, настраивает на созерцательный лад?

То же и с поэзией Демьяна Плеханова, народ, который «не умеет бороться и не сознает необходимости борьбы», то поэзия Демьяна Бедного посвящена сплошь тому же самому народу, но уже осознавшему необходимость борьбы, научившемуся бороться и сумевшему даже побеждать.

Но, прежде, чем перейти к самому Д. Бедному, — несколько предварительных замечаний. Я долго колебался, прежде чем решился вторгнуться в область, для меня новую — литературной критики. Раньше эта область была уделом особой касты жрецов, которая казнила или миловала писателей по вдохновению. Из года в год десятилетиями прорциали и декретировали спецы литературной критики свои приговоры. А читатель с раскритикованном благоговейно внимал и все принимал «к сведению и руководству». Сомнения в непогрешности касты возникали у нас и раньше. Революция же учинила основательную чистку и проверку рядов касты.

В качестве примера того, как каста умела казнить литераторов, ей не угодивших, можно указать на судьбу т. А. Серафимовича. За ним 35 лет литературной деятельности. Его произведения печатались в лучших журналах и в сборниках «Знание» (Торького) наряду с лучшими из современных русских писателей. Это свидетельствует о несомненности литературного дарования. Он не издал ни разу ни одной фальшивой ноты, с точки зрения идеологии.

Но Серафимовича замалчивали, ибо он, связанный с революционно-пролетарскими кругами, чуждался ресторано-богемской паноратской компании завсегдадаев «Вень» (излюбленного писательского ресторана в Питере). Критики и писатели чутьем чуяли в нем человека не своего и держали его в черном теле. То-есть, не рекламировали его, как рекламировали друг друга, замалчивали, оттирали.

А когда грянула революция, то всем стало ясно, что каста по-своему была права. Серафимович, в дни жесточайшей травли против большевиков, первый из писателей открыто пошел в ряды травимой партии, и за это был исключен писательской братией из ее среды. Впоследствии, однако, господа из «Веня» перебрались через красные рубежи и нашли себе пристанище в Париже и Берлине.

А Серафимович, разумеется, остался на посту, на славном литературном посту. И сейчас еще не оценены литературные заслуги Серафимовича, ибо над нашей советской литературной критикой в очень заметной степени тяготеют вкусы и предрассудки старого. Ведь могло же случиться, что в Пролеткульте литературному вкусу обучали пролетариев литераторы не только антисоветского, но и, пожалуй, просто антиобщественного типа, как знаменитый Андрей Белый.

* * *

Гораздо ярче в этом смысле сложилось отношение литературной критики к Демьяну Бедному. Желаясь убедиться в этом пусть ознакомится с интересным справочником-указателем марксистских критических статей о литературе (издан Госиздатом). Вы увидите, что марксисты писали о ком угодно и сколько угодно, только не о Д. Бедном. Писали о литераторах, которых ни один рабочий не читал, но не писали о том, кого знают, пожалуй, все грамотные рабочие.

Я долго, повторяю, колебался, прежде чем решился вторгнуться в запевники литературной критики. Наконец, попросил «слово к порядку» в «Правде». И когда в качестве литературных критиков поэта выступили Президиум ВЦИК и председатель Реввоенсовета т. Троцкий, я позволил и себе заняться делом, может быть, и не совсем соответствующим моей литературной квалификации. Однако, не боги же горшки обжигают? ..

В ответ на мою газетную статью я получил очень много замечательно интересных читательских отзывов о Д. Бедном. И тут — любопытнейшее совпадение — чуть не все авторы писем гордым жестом отстраняют спецкритиков от поэта и заявляют почти теми же словами, что разночницы, по свидетельству Плеханова, о Некрасове.

— Предоставьте нам судить о нем. Мы его судьи и ценители, ибо он наш, для нас и о нас пишет.

Но и поэт, как бы предчувствуя этот приговор, в одном из давних произведений — «Мой стих» — писал:

«Я не служитель муз:
Мой твердый, четкий стих — мой подвиг ежедневный.
Родной народ страдалец трудовой,
Мне важен суд лишь твой,
Ты мне один судья прямой, нелицемерный,
Ты, чьих надежд и дум я выразитель верный,
Ты, темных чьих углов я «пес сторожевой».

Итак, они сошлись. Поэт и масса. Что бы там ни говорили искусственные критики, масса заявляет: Демьян Бедный — мой поэт. И прибавляет: единственный пока. Ибо, в действительности, единственный поэт современности, и известный широким массам рабочих и крестьян это — только Демьян Бедный.

Поэт и известный — это еще половина дела. Признанный ли, чуждый ли, любимый ли, родной ли, — близкий ли? На все эти вопросы можно

без колебаний ответить: Да! Письма, которые я предполагаю к осени разработать и опубликовать, представляют собой богатейший материал для характеристики отношения масс к поэту. В истории русской, а быть может и мировой, едва ли бывал подобный случай проникновения поэта в такие подлинно глубокие низы народа.

«Над Волгой, над Окой, над Камой
Услышат песенку мою...»

Так мечтал Некрасов. Д. Бедный может сказать: услышали. И не только услышали. В целом ряде писем читатели приводят случаи из их жизни, когда стихи Д. Бедного, прочитанные на фронте, делали львами тех, кто только-что был уставшим, потерявшим веру в победу бойцом. Один фронтовик рассказывает в письме, как во время отступления с Урала безнадежность охватывала многих, как начинались самоубийства среди отчаявшихся и как свежая книжечка со стихами поэта переродила бойцов.

Другой, со слов бывшего белого офицера, говорит, что попадаясь через белый фронт стихи Д. Б. производили то же магическое действие, но в обратном направлении: белая часть, куда попадали агитационные стихи Д. Б., становилась совершенно небоеспособной и для белых потерянной.

Третий рассказывает следующий случай. Во время наступления Юденича на Петроград, белыми был занят один городок. При отступлении оттуда красные оставили — случайно или намеренно — граммофон с пластинками песенок Д. Бедного. Солдаты Юденича добрались до пластинок и... вместо того, чтобы с негодованием разбить их или выдать начальству, устроили подпольный большевистский агитпункт. Завесили шинелями окна, поставили часовых на улице, чтобы внезапно не нагрянули офицеры, и наслаждались запертой музыкой и поэзией. А граммофон хриплым басом поучал:

Все — в ряды большевиков!
Собирай всех батраков!
Эх-ма!
Собирай всех батраков!
Набирай на кулаков!
Эх-ма!

Само собой разумеется, наслушавшись такой поэзии, солдаты не могли особенно палать желанием положить головы за «веру, царя и отечество» под белыми знаменами.

Четвертый автор рассказывает, как в глухой деревне мужики не хотели сдавать хлеб государству и как настроение нарастало. Стоило прочесть на сходе пару стихов Д. Б., как стена враждебности упала, и настроение резко изменилось. Крестьяне спокойно выполнили свой долг.

И так без конца. Одна фронтовая сестра милосердия (красная) полуграмотными каракулями пишет мне, что в госпитале на фронте ей приходилось читать больным и раненым красноармейцам стихи Д. Б. и иногда слышать такие речи:

— Сестрица, брось ты эти лекарства... Почитай мне Демьяна, мне лучше будет, чем от твоих лекарств...

Снобы и завсегдатаи поэтических кафе могут улынуться, а боевая спутница красных бойцов, наша красная сестра, серьезно и вдумчиво свидетельствует о могучем влиянии поэта на сердца и умы наших героев.

Еще в 1912—13 годах, работая в старой «Правде» и одновременно бывая в рабочих кварталах, я сам наблюдал, как стихи Д. Б. доходили до сознания питерских рабочих лучше и основательнее, чем статьи лучших и виднейших наших литераторов. Статья Зиновьева или Каменева доходила полнотой до сознания лишь наиболее развитых читателей. Басни Д. Б. пленяли всех, были блестящим художественным комментарием к руководящим статьям вождей, или вернее, чудесным рупором для вождей.

Мне приходилось видеть в убогой рабочей квартирке толстую тетрадь с любовно подобранными и наклеенными стихами Д. Б. Рабочих, знавших наизусть 10—20 басен Д. Б., я знал много. В последние годы я встречал товарищей, заучивших наизусть целиком всю «Землю обетованную».

Не буду множить доказательств. Читательской народной массе все это ясно и понятно. Людям, ушибленным буржуазно-культурой, поэзия Д. Б. даже не кажется поздней. Она до такой степени проста и прозрачна, что некоторым простота эта режет глаз и ухо. То ли дело:

Черные розы
В золотистом бокале вина.

«На ушибленности» некоторых снобов ловко спекулируют шустрые ребята из «Лефа», провозгласившие даже лозунг:

— Долой элементарную общепонятность в поэзии! Да здравствует диктатура вкуса!

Курьезнее всего, что эти «аристократы вкуса» находят себе покровителей в нашей среде.

Между тем, простота и понятность в поэзии есть не низшая, а высшая ее ступень. Подняться на самые высокие ступени простоты и ясности не всякому дано. Помимо дарования, нужен величайший упорный труд над языком и величайшая храбрость — сорвать с поэзии ее туманно-мистические покрывала и представить ее, вместо музыки или принцессы Грезы, — простой, легкой бабой — Правдой.

Говорить просто, прозрачно и ясно — значит иметь, что предъявить читателю. У многих ли поэтов есть, что предъявить, помимо словесно-звуковых выкрутасов? Не имея за душой ничего, или ровно на грош, некие поэты трусливо прячутся за ширмами сомнительной формы.

Демьян Бедный мужественный поэт. Он знает, с чем он идет к массам. Его идейный багаж — багаж борющегося за судьбы всего человечества пролетариата. За полтора десятка лет — ни одной фальшивой ноты.

Даже в годы великих испытаний для большинства рабочих партий и вождей — в годы империалистической войны — оторванный от друзей, мобилизованный на фронт в качестве фельдшера, Д. Бедный, лишенный трибуны («Правда» была закрыта), пишет басни, которые жглись, как раскаленный металл.

Не могу удержаться, чтобы не привести здесь интересное сообщение т. Серебрякяна (с Кавказа) об одном моменте военного времени:

«Война... Все мы приравлены, угнетены, чувствуя всю бессмысленность бойни и взаиморазрушения трудящихся ради выгоды эксплуататоров. Я в тельпушке еду из Черногона на Юго-Западный фронт. На ст. Копотоп эшелон останавливается, мы — дружинники, рассылается по поезду. Вижу в киоске книжку журнала «Жизнь для всех». Дико, наивно и злобачливо звучит название журнала в атмосфере не жизни, а смерти для всех.

Но все же — покупаю, садимся, едем дальше. Просматриваю оглавление и.. о, радости Демьян Бедный! Мои товарищи не понимают, отчего это я голову потерял. Читаю им басню, заглавление забыл, но слова помню (вель по маленьким группам всему эшелону прочитать пришлось): «два коня, Корнеев конь, да конь Бавилы веди беседу у пельтя». На глазах у моих слушателей слезы: Бавилы веди беседу у пельтя».

— Кони мы и есть. Не про коней это, а про нас, да про германских солдат говорится. А пельть — граница или проволочное заграждение...».

Эпопеический стиль, как способ прорезать густой туман шовинизма и мракобесия, применялся Демьяном Бедным с исключительным мастерством. Он подавал о себе весть сквозь чернотенно-патриотический рев буржуазной поэзии. Помню, мне лично приходилось контрабандой в одном кооперативной поэзии. Помню, мне лично приходилось просовывать во время войны басню Д. Бедного курьезным способом. Противовоенную басню «Соха и пушка» мы помещали в отделе, кажется, «с.-х. орудия». Басню «Свинья» (против министра Кассо) — в отделе «Животноводство» и т. д. От этого басни нисколько не теряли в революционности, но зато доходили до мужика и заставляли его задумываться.

Многие ли из нынешних поэтов могут похвалиться, что они в годы войны не сфальшивили, что они пели в тот же тон, как сейчас? Увы, одних тогда еще и на поэтическом свете не было, другие пели весьма фальшиво.

Демьяну Бедному посчастливилось начать свое поэтическое творчество перед началом пролетарского подъема и попасть в русло пролетарской борьбы. Много соблазнов и прелестей было, однако, на пути Д. Бедного к пролетариату. Сам мужик, сын и внук мужика, он легко мог остаться глухим к музыке пролетарской стихии. Тем более, что в 1908—09 г.г. он близко подошел к народническим литературным кругам, лично сблизился с покойным поэтом П. Я. (Мельшиным-Якубовичем). Были и другие соблазны. Его, будущего Д. Бедного, сына забытой деревни, пригласили и приласкали высокостепельные сановники — меценаты, давшие ему стипендию на университетское образование. Княжеская ласка могла вскружить голову молодому деревенскому парню. И как тут выбирать: на одном берегу полуксазочная роскошь, ласковое внимание сильных мира сего, культура и блеск, материальная поддержка начинающему поэту.

На другом берегу — угрюмые улицы рабочих кварталов и нищета мужичьей хаты, мрак и невежество, участь певца бедноты, жизнь, полная лишений и риска.

И Д. Бедный (тогда еще только студент Ефим Придворов) оттолкнулся от «ликующих, праздно болтающих» и переплыл на другой берег. Отзвуки этих событий личной жизни поэта мы находим в его стихотворении «Горькая правда»:

«Шли день за днем, за годом год.
Смешав со светом «блеск», на «блеск» я шел упорно,
С мужичьей робостью взирая на господ,
Низкопоклонствуя покорно...»

Но инстинкт поэта взял верх:

«От блеска почестей, от сонмища князей,
Как от греховного бежал я наводнения.
В иной среде иных друзей
Нашел я в пору пробуждения.

Мстя за бесплодную растрату юных сил,
За все минувшие обманы,
Я с упоением жестоким наносил
Врагам народа злые раны».

* * *

Д. Бедного считают своим и рабочие, и крестьяне. По рождению мужик, он, казалось бы, легко мог стать чисто крестьянским поэтом. Однако, здесь в поэзии произошло то же, что в политике. Пролетариат овладевает крестьянской стихией, ведет ее за собой и направляет. Так пролетариат подскладом, мужицкими словами певца и заставил его петь песни... пролетарские. Демьян с чисто пролетарской прямотой глядел иногда свою родню против шерсти. Наиболее ярким примером такой резкости в отношении к деревне будет стихотворение «Добрая душа» («неприкрашенная бль»):

«У мужика душа — в кармане.
Суют в карман — ликуй душа!
И власть для мужика тогда лишь хороша,
Когда...»

Рассказав о случае мужицкого своекорыстия, поэт смело кончает:

«Пусть в деревнях во всю чествят меня.
Хоть мужики мне и родня.
Но правда все-таки родней мне и дороже!»

Зато для пролетариата, для его классовой солидарности, для его коллективного героизма, для его самоотвержения и выдержки, для его непоколебимой твердости и упорства Д. Б. всегда находил самые теплые, любовные, искренние строки. Прочтите басни «Муравьи», «План», «Пробуждение», «Щука и ерши», «Три пути». Тут широко и ярко набросан портрет класса в его борбе.

Как мог молодой крестьянин вдохновиться идеалами чужого класса и стать его певцом? Такова механика социальной жизни. Пролетариату, как самому передовому классу, суждено было притягивать к себе лучшие элементы других классов и перевоспитывать их в духе своих идеалов.

В повести «Про землю, про волю», которая скоро станет и надолго останется в деревенской школе любимой книгой, своего рода библией, поэт рассказывает историю деревенского парня Вани, который на войне подпадал под влияние бывшего пролетария Козлова и постепенно превращается из «серой скотинки» в революционера. Читатель расстается с Ваней в Октябре на баррикадах, кажется, у Смольного. В миниатюре это — история классовых отношений города и деревни за последние годы. Устами Д. Бедного пролетариат в художественной форме разговаривал с крестьянством. Разговор был сугубо ответственный и тонкий, поскольку крестьянство слушало поэта, имея в руках винтовки. И сквозь все испытания и тяготы революции Демьян Бедный прошел перед глазами и рабочих, и крестьян, как свой.

Сохраняя все пропорции, можно без особой ошибки сравнить в этом отношении судьбу нашего поэта с судьбой Ленина. Начав с проповеди в малой кучке, создав себе положение вождя фракции («секты» — ехидствовали враги), Ленин становится признанным вождем класса. А спросите крестьянина любой губернии, и он вам ответит без колебаний:

— Ленин на ш.

Демьян не вождь, и не идеолог. Он — скромный рупор для идей Ленина, для идей восставшего пролетариата. Но его поэтическое дарование позволило ему с невиданной силой бросать ленинские идеи в миллионные массы народа и помогать массам проникаться этими идеями, итти на смерть за эти идеи.

* * *

Волшебной палочкой, подчинившей поэту души масс и раскрывавшей их умы, был русский язык, которым он владеет, как никто в наши дни. У нас находятся чудачки, считающие, что язык Пушкина, Гоголя, Толстого и Чехова устарел, что этих мастеров слова пора выбросить за борт парохода современности. О, храбрые гимназисты, собравшиеся с перочинным ножиком в Африку на слонов! Вы рассчитываете жить и писать в России для русского рабочего и крестьянина? На каком же таком языке вы можете объясняться с массой? Неужели, по-вашему, язык пушкинской сказки «О рыбаке и рыбке» не годится для нынешнего народа? Что же вы ему предложите взамен Пушкина и его почтительного ученика, Д. Бедного? Неужели «Зара — амба» Каменского, или «Жмай руку, дай руб» Терентьева из «Лефа»?

Попробуйте на любом рабочем или крестьянском (красноармейском тоже) вечере устроить состязание всех поэтов (в том числе пролетарских без ковычек) с одним Демьяном Бедным, и увидите, какими пигмеями окажутся все прочие, ибо они непочтительно, безобразно обращаются с русским языком, особенно с народным языком, а Д. Бедный свободно и бережно владеет этим могучим орудием творчества.

Мне всегда было смешно и странно, когда в перечнях так называемых пролетарских поэтов всегда сознательно выбрасывалось имя Демьяна Бедного. И сами пролетарские поэты, по заблуждению, считали его за штатом пролетарской поэзии. Милые чудачки, им бы у него учиться, штудировать стих за стихом, учиться русскому языку, а они учились у Андрея Белого и проч.

* * *

Надеюсь, теперь эстетическое затмение у нашей пишущей молодежи скоро пройдет, и она начнет понимать вместе со всей пролетарской массой, что в Демьяне Бедном мы имеем первого пролетарского поэта и замечательного мастера поэтического русского языка, какого со времени Пушкина и Некрасова еще не было.

Л. Сосновский.

(Напечатано в журнале «На посту» за 1923 г. № 1)

КОГДА НАСТУПИТ СРОК...

Однажды в лавке антиквара,
Средь прочего товара
Заброшенный, забытый инвалид,
Шпажонка ржавая, убогая на вид,
Хвалилась пред другою шпагой
Своею честью и отвагой:
— «В алмазах, в золоте,
в чеканном серебре,
В ножнах из вылощенной кожи
Висела гордо я на вышитом бедре
Не одного вельможи.
За чью я не боролась честь?
Каких не добивалась целей?
И не припомнить и не счесть
Моих триумфов и дуэлей,
Случалось, справиться с врагом
я не могла
Путем прямым... Ну, чтож—не
скрою:
Борьбу решал порою
Удар из-за угла.
Издава кровь благородной,
Нашла я после вкус в крови
простонародной.
Вот, подлинно, где был кровавый
пир.
Как не сказать судьбе спасибо?
В те времена, едва где-либо
Поднимет ропот сельский мир,
Готов был скорый суд для обна-
глевшей черни.
Без лишних слов и без при-
крас:
Справляла я тогда не раз
Кровавые обеды и вечерни.
— Вой, подлый род, стений,
реви!
Не шутки шутим мы и не играем
в прятки! —
Купалась я тогда в крови
От острия до рукоятки!
Нам сердце закаляет гнев:
Остервенев,
Без всякой жалости я буйный сброд
колочу,
Колола...»
— «Эк, замолола!
Опомнись, матушка. Ей-ей ты ме-
лешь вздор!»

Ввязался тут со шпагой в
спор топор.
Топор:
«Нашла хвалиться чем, старуха:
Рядилась в золото, в шелка, —
Походом шла на мужика...
Ох, баба, баба-говоруха!
В одной тебе еще беда-б не велика,
Да шла-то ведь в поход—ты, чай, не
без полка.
Вовек мужичкого тебе-б не видеть
брюха,
Когда-б не эта рюха,
Слуга твой верный — штык, сосед
твой по стене.
Вот с кем потолковать хотелось бы
мне.
Все — непутевый — он деревню так
бездолит:
Ему — кто подвернись, хотя бы
мать, отец,
Приказано — конец:
Знай, колет!
А только, милая, все это до поры.
Дождется мы конечной свалки,
Куются где-то топоры
Иной закалки.
Слышь? Топоры, не палки.
Эх, в та-поры я сам, чай, здесь не
улежу!
Смекай-ка, что я доложу —
Тебе, дворянке, не в угоду: —
Не только топора, что на колоду!
Ему крестьянский люд обязан всем
добром,
И — коль на то пошло, скажу: лишь
топором
Себе добудет он и счастье, и свободу». —
Писал я басно не вчера:
Лет пять назад, коли не боле.
Про «верный штык» теперь уж песенка
стара.
Штык шпаге изменил — и весь народ
на воле.
— Штык. Обошлось без топора.
Ура! —
И кто-то, радуясь такому обороту,
Спешит собрать за ротой роту
И из полка шныряет в полк,

Улестливо шипя: — «возьмите, братцы,
в толк:
Ну, можно ль темному народу
Дать сразу полную свободу?
Нет, надо нам итти испытанным пу-
тем,
Взяв буржуазные за образец порядки.
Уж поддержите нас, ребятки,
А мы порядок наведем!» —
И пробуют навесьть — не надо быть
прилежней.
Авось-де у штыков смекалка так мала,
Что им и невдомек, что ждет их
кабала
Куда почие прежней!
Штыки не гонят прочь улестливых
господ.
И тех, кто подлинно болеет за народ,
Нет-нет да и возьмет раздумье и
опаска,
Что радостная быль пройдет, как сон,
как сказка;
Вздохнули малость — и капут:
Не отборяться никак от новых пуг.
Пойдет все, дескать, прахом. —
Товарищи, скажу, что я подобным
страхом
Не заражен.
Я знаю, «господа» прут сдуру на
рожном.
Скажу открыто:
Ведь топоры-то,
Они там где-то ждут, они там где-то
ждут;
Сполна-ль все мужикам дадут? Аль
не дадут?

Забито, дескать, их житье, аль не
забито?
Всей музыки конец получится
каков? —
И если «господа», к примеру,
мужиков
Землей и волею лишь по губам
помажут,
Так топоры себя покажут!
—
Вот что пророчю я, хоть я и не пророк.
Пусть смысл пророчества до острой
боли жуток,
Но — время не прошло,
Когда ж наступит срок,
Тогда уж будет не до шутки!
1917 г. 27 марта.

* * *

Друзья, чтоб не было неясных мно-
готочий
Прибавлю, что веда всю речь про
топоры,
Я с умыслом молчал про молоток
рабочий.
Кто-ж козыряет... до игры?
И чертыхались враги, и лбы кре-
стили,
Но им ни чорт, ни бог не мог по-
мочь в игре.
Когда на них гремя, наш молот
опустили
Мы в «большевистском октябре»!

П Р А В Д А

Терпя весь век во всем нужду и
недохватку,
Мужик все ищет правду-матку
И в простоте своей бредет порой
туда,
Где правды нет следа
И не было зачатку.
Теперь у нас почти на нет свелась
Господ — погромщиков проклятая
порода,
А при царе она кощунственно зва-
лась
«Союзом русского народа».

Попали как то мужички
На с'езд к «союзникам»! Попали —
и не рады:
Такую дичь несли «союзники» с
эстрада!

¹ Стихи взяты из собран. сочин. Д. Бедного. Изд. «Крокодил» 1923 г. Москва.

¹ Союзники — черносотенцы: помещики, попы, лавочники и т. д.

«Ась, братцы? Нам, никак, хотят
Лихие гадь!
Где наши армячки?
Где наши шапки то? Айда-те,
братцы, во свосяи!»
«Союзники» орут: «Постойте, вы
куда?
Ведь мы не кончили еще насчет
жида!»
— «Не», — молвил дядя Афанасий:
«Нам ясно все и так.
Пополоскали тут мы вдосталь брюхо
чаем.
Вы что же думали: мужик совсем
вахлак?
Пусть мы сморкаемся в кулак,
Пусть по складам (и то не все) читаем,
Все-ж кое что и мы смекаем.
Чем бреднями морочить свет,
Да о жидах плести нам небыллицы,
Вы лучше-б дали нам ответ
Насчет земли!»

М А Й

Подмяв под голову пеньку,
Рад первому дню,
Батрак Лука дремал на солнышке.
— «Лука!» — будил его хозяин: —
«а Лука?»
Ты что ж? Всерьез? Аль так валяешь
дурака?
С чего-те вздумалось валяться,
лежебоке?
Ну, полежал и будет. Ась?
Молчишь. Оглох ты, что ли?
Ой, парень, взял себе ты, вижу, много
воли.
Ты думаешь, что я не поглядел
вчера,
Какую прятал ты листовку?
Опять из города! Опять про забастовку!
Все голь фабричная... У, распроклятый сброд..

— «Тьфу! Совести в вас нет», —
«Союзники» тут хором завопили:
«Вы, черти, продались врагам!
Жида вас подкупили!»
— «Умерьте шум и гам.
О совести кричать не вам!» —
Афоня, распалась, ответил:
«Жидами нам не отводите глаз;
Я совести как раз
У вас и не приметил»..
— «Ушли сермяжники?» — Стал
черный стан тужить,
«Что делать нам теперь?... Молебен
отслужить!..»
Куда, дурак, за многолетия!
Подумаешь, что нам осталось
долго жить?
Тут кто-то простонал, не в силах
скрыть обиду:
— «Отслужим лучше панихиду!»
«Союзник» был с умом: соор-
зил подлещ,
Что скоро будет всем «союзни-
кам» конец.

Деревня им нужна... Мутить простой
народ.
«Ма-ев-ка!» Знаем мы маевку.
За что я к Пасхе-то купил тебе
поддевку?
За что?... Эх, брат Лука...
Эх, милый, не дури... Одумайся...
пока...
Добром прошу... Потом уж не
жди поблажки...
Попробуешь, скотина, каталажки!
До стражника подать рукой!..»
Тут что-то сделалось с Лукой.
Вскочил. Побагровел. Глаза горят, как
свечи.
— «Хозяин!» — вымолвил: «запомни...
этот... май!»
И, сжавши кулаки и разминная плечи,
Прибавил яростно: «Слышь? Лучше
не замай!»

Э П И Т И М И Я

Настоятель М-ской пустыни, К-ской области,
не выдает монахам штанов.
«Совр. Слово». 1913 г.

Узреши, как под свист, под песни,
охи, ахи,
Поднявши рясю до рубахи,
В страстной четверг монахи
Плясали лихо трепака
У кабака,
Накинулся на них отец игумен: —
«Псы! Мало пугаться вам с ба-
бами у гумен
Да девок зазывать под вечер в пу-
стыри,
Так вы теперь на грех и срам пу-
стидись явный?»
Любуюся, дескать, люд хороший,
православный,
Какие кобели идут в монастыри!
Что ж думаете вы? Что я все так
оставлю

И отпущу вам все вины?
Да я вас, вражьи вы сыны,
Год целый каяться заставлю!
Чтоб знали вы, как чтить великий
четверток,
И чтобы впредь вы, лоботрясы,
Бесстыдно оголясь, не задирали рясю,
Отныне повелю держать вас... без
порток».

Даю не вымысел, а жизни верный
сколок.
Хоть дерзкий мой язык обычно груб
и колок,
Я о портках пишу без замыслов
худых —
Во здравие души и тела молодых
И старых... богомолк.

Б О Г О М О Л К А

Монахи — чины ангельския.

У лавры Троицкой, в свободке,
Монах повадился ходить к одной
молодке.
Муж со двора, монах во двор.
Зачем? Нескромный разговор.
Однаке, как-то муж все шаши
обнаружил
И, сцапав в добрый час духовного
отца,
Уж так-то, так его утюжил:
С того и с этого конца!
То видя, всплакалась соседка бого-
молка:
— «Стой, стой, безбожник! Стой!
С ума сошел, Миколка!
Не тронь священного лица!»
— «Так я ж накрыл его с женою
шельмеца!»

— «Накрыл его с женой... Поду-
маешь: причина!
Да ты б еще ценил, что, может,
через год
Вдруг женка даст тебе приплод, —
И от кого приплод, поймаи ты, дура-
чина:
От ангельского чина!»

Вот с богомолкою подобной и тол-
куй.
Не дай, господь, такой обзавестись
хозяйкой!
Заладит, что ни день, «И с аие,
ликуй!»
С монахом снюхавшись, с Исайкой!

СЛОВО НА ПИТИЕ

Святой водицею трактирчик окропив
И «слово» произнесть на случай сей
Желая, Угодника святого
«Не чудотворца-ль Николая
Иль преподобного отца,
Воздвигнут образ тут?! — воскликнул
Который в жизни сам охоч был до
поп Авия: — «Винца».

Зело грешно .. и неуместно:
Зане святитель сей, как подлинно
известно Мы проповедника не очень уж по-
рочим.
По житию, Был пьян он, между прочим.
Не прилежал душою к питию.

КАТАВАСИЯ

— «Ой, набат!»—И млад и стар
К церкви ринулся.
— «Где горит?»—«Куда пожар
Перекинулся?»

* * *

Вот у церкви толпа.
— «Ка-та-ва-сия!»
Дьякон Кир тузит попа
Афанасия.

* * *

— «За подвохи получи,
За ехидные!»
— «Сам ты стирли калачи
Панихидные!»

* * *

Перешел, взъерявшись, поп
К нападению,

Изловчился: Кира — хлоп
По видению.
Кир попа лнуть сагогом
Покушается.
— «Го-го-го!» Народ кругом
Потешается.

* * *

— «Наше дело — сторона, —
Мы — свидетели.
А цена-то вам одна,
Благодетели!»

—

Друг-товарищ! Дай ответ
Во спасение:
Будет служба или нет
В воскресение?

ОБМАНУТЫМ БРАТЬЯМ В БЕЛОГВАРДЕЙСКИЕ ОКОПЫ

ПОСЛАНИЕ I

Дамьяна Бедного

Напугали мы крепко черную сотню:
Забилась она в подворотню,—
Поджавши хвост, по задворкам
шныряет,
Надежды, однако, еще не теряет,
Что вернуться к ней прежние дни:

— «Бо-о-же, ца-ря храни!»
Меч светский и меч духовный —
Вот чем держался вождь верховный,
Первый помещик и дворянин,
Пьяница, горький, безмозглый
кретин,

Иль проще молвить—дурак отпетый,
Народ разутый, народ раздетый,
Народ голодный,
Народ холодный
Стонал веками в тяжком ярме;
Борцы за свободу гноились в тюрьме,
Кормили вшей по чумным этапам;
Раздолье было царским сатрапам,
То-бишь опричникам и палачам:
Была им работа по темным ночам.
Сколько братьев наших замучено,
Сколько с детьми матерей разлу-
чено,
Сколько позора,
Сколько разора
Русь горемычная перенесла!
Не было жертвам числа!
Не было счета казням жестоким,
Бойцы задыхались по шахтам гу-
боким:
В Сибири далекой, в тайге непро-
ходной
Сколько убито силы народной
Пролито слез и кровавого пота!
Без счета!
Без счета!
Кем же держалась проклятая власть?
Кто не давал ей так долго упасть?
Кто, перед троном упав на колени,
Лобзал обгаренные кровью ступени?
Кто проплаканным, скорбных очей
Не сводил со своих палачей?
Кто с надеждой, в очах затаенною,
Силой покорною, многомиленною,
На труди пригревая лихую змею,
Проклинал беспросветную долю свою?
Кто не пел, а рыдал в своих песнях
Печальных
Под бряцанье цепей по дорогам кан-
дальных?
Кто?
Народ! Сам народ! Задурманенный,
Дымом ладана весь отуманенный,
Сбитый с толку речами елейно-
церковными,
Взятый в крепкий зажим палачами
чиновными,
Ошарашенный муштрой военною
И казармой- тюрьмой толстостенною,
Мироедской ордой обираемый,
Угнетаемый, люто караемый
И духовным и светским мечом,
Сам народ был своим палачом!

Сам!..
Спасеня ища в поножовщине,
Изливая свой праведный гнев в пуга-
чевщине
Против всех, кто, как мусор, его
попирал,
Наш народ сам себя усмирять и
карал,—
Сам, своими руками,
Плетью, пулей, штыками,
Темнотою озверелых народных полков,
Серых, темных, забитых, кого из
казармы
Выводили отцы-командиры, жандармы,
Убивать своих братьев, сестер,
матерей,
Ради пьяный потехи попов и царей
И теперь, и теперь, в это смутное
время,
Когда сбросили с плеч мы про-
клятые племя
Барской сволочи, люд трудовой
угнетавшей,
Кто теперь вас ведет против
«черни восставшей»,
Вас, убийц, «усмирителей» черную
рать —
Кто ведет? И кого вы хотите
«карать»?
Для кого вы готовите казни и
пытки,
Охраняя грабителей наших при-
бытки?
Что ж? Идите! Мы к встрече
готовы.
Эй, скажите нам, кто вы?
Эй, вы,
Идушие против рабочей Москвы,
Против красных бойцов Петрограда!
Какая за каинский подвиг награда
Холопам обещана барским
За измену рядам пролетарским,
За измену родному народу?
За чью вы стоите свободу?
С кем вы клятвою преступной
спаяны,
Каины, Каины?..
Откройте глаза, посмотрите
вокруг!
Где враг ваш? Где друг?
Кто ваши вожди и владыки?
Такие ль, как вы и как мы, го-
ремыки?

Иль белая кость, дармоедская шайка? Той чаши, которой, в жестокой
 Чья же по спинам по вашим гуляет гордыне,
 нагайка? Вас потчует банда господская ныне.
 Чьи окрики злые и властные Разбейте ее, не жалея,
 Вас гонят на бойню, несчастные? О череп злодея,
 Несчастные, темные, темные, Который, пленив вашу душу и тело,
 Вы — пахари, вы — силачи черно- Разве гонит на злое и черное дело!
 земные, Разбейте, разбейте ее на куски,
 Вас гонят на бой — с черноземною О головы тех, кто зажал вас в тиски,
 ратью: Кто волю сковал вашу волей своею,
 В преступном бою Кто мертвую петлю надел вам на шею,
 Итти на свою Кто ложью лукавых и гнусных речей
 Родную и кровную братью! штыки,
 Опомнитесь! В землю воткните Вдоль всех обратил в палачей,
 бедняки, бедняки! В холопов покорных отродья змеи-
 Пусть земля, орошенная кровью народного, Смесь гадам! Убейте их всех до
 Со стали холодной единого!
 Сотрет, пусть сотрет страшный Покончив с проклятыми гадами,
 след со штыков! В одиночку, полками, отрядами,
 Кровь таких же, как вы, Избавсь от гнета господской орды,
 бедняков, Все в братские наши вступи-
 Чьи руки в таких же мозолях, как пайте ряды!
 ваши, Демьян Бедный.
 Кто пил горький яд из отравленной чашы,

Москва
 12 октября 1918 года.

Михаил Иванович ВОЛКОВ

Автобиография

По паспорту — крестьянин Тверской губ., Калязинского уезда, Белгородской вол., с. Скарятина, Волков, Михаил Иванович.

Родился в 1886 г., в ночь на 1-е ноября, накануне бесребренников Козьмы и Демьяна, что оказало влияние на мою жизнь, т. к. карманы мои были пусты от золота и серебра, от дней рождения и пустуют и до сих дней.

В ребячестве моими любимыми игрушками были бутылки; близкие мои и сродники, покачивая головами, пророчествовали, что из меня выйдет «горчайший пьяница». Их пророчество не сбылось, ибо утроба моя не переносит даже алкогольного запаха.

В 7 лет с дедом поплелись с указкой по «азам» в псалтири. «Блажен муж» (1-й псалом) мне представлялся иногда «блажным Кондрашкой» — сапожником, обычно так блажившим во хмелю, что приходилось собирать деревню для его вязания веревками. Толку с псалтирью не вышло; кончилось тем, что дед хлопнул псалтирью по моему затылку и не стал тратить бесполезно времени.

А свободного времени у него, действительно, было мало: он славился на всю округу трудолюбием, честностью и отважностью, хотя и был несколько резок и не любил много разглаговольствовать.

К нему постоянно шли за советом и помощью не только одноклассники, но и из других деревень. Он умел рассудить при спорных семейных разделах не хуже Соломона, он мог усовестить непотопительного к родителям сына и т. д. Его слово считалось в спорных случаях авторитетным. Словом, это был тип исчезающего русского мужика-середняка.

Когда я увидел у своих товарищей буквари с картинками, меня потянуло в школу. По просьбе деда, меня приняли в сельскую школу 7 лет, хотя и требовалось не менее 8 лет. В школе пришлось узнать, что не только картинки глядят, а и ставят «на колени», к «доске — столбому», оставляют «без обеда» и т. д. Пытался-было на попятную — ударь, да дед с подзатыльниками спровадил обратно (а с ним шутить не приходилось — он деспотически держал в страхе всю семью в 20 человек).

Первые два года учился плохо, уроков никогда не учил. Причиной была Волга (школа стояла на берегу Волги) — до ученья ли... Когда глянешь в окно — а там зеркало, окаймленное желтой рамкой песка, а в зеркале: коноводы провизыят, веда барку, пароход пропахтит, рыбак в челноке одним веслом проковыляет, — и не заметишь, как учитель за ухо к доске потянет. Прибежишь домой, сумку долой и, не евши, уже несешься на Волгу. К Волге и рыбной ловле у меня сохранилась страсть и до сих пор. Сколько раз тонул, замерзал, заболел и все-таки любил и люблю Волгу. В минуты жизненных невзгод, когда все кажется безнадежным, и впереди нет ничего светлого... стоит недельку пожить на Волге, и опять являются силы и энергия для жизненной борьбы. А для пролетария это самое ценное, ибо жизнь — не мать, а мачеха, а первого появления встречает оплеухами: рраз... полетел, вот еще тумака, коли вынесешь, в причаду даст шлепка: «ну, живи, сукин сын».

В последний (3-й) год ученья поднянулся — кончил первым учеником, хотя уроков тоже не учил. Этим мое образование и закончилось.

Любимыми занятиями были: рыбная ловля, сойтись с кем на «любака» или в «стенке» — с ребятами своей и чужой деревни. Конечно, дома не особенно баловали: приходилось работать вместе со взрослыми: возить снопы, убирать seno, садить овин; кроме того, на мою обязанность лежало — загон скота по пригоне вечером с пастбища.

В 13 лет спровадили в Москву мальчиком в мануфактурный магазин. Вот тут-то и пришлось сойтись на кулачки с жизнью. Непосильные тасканье жетей, беготня целый день, издевательство, а вечером, когда «молодцы» мирно похрапывают, чистишь пар 30 сапог, начиная с хозяина, «самою» с детенышами, молодцов, и кончая кухаркой, которая также подсунет свой стоптанный башмак. Утром подзатыльник: «что сапоги не сияют».

В это время у меня развилась страсть к чтению. Читать приходилось урывками и тайком при свете уличного фонаря, который по счастью случился около окна... иначе подзатыльники с нравоучением: «ишь, паршивый чорт, расчитался».

Книги попадали ко мне не совсем обычным путем: в ренсковых погребках (еще до казенки) для заманки мальчишек, бегущих за «шалкалками», «половниками» для молодцов и мастеров — кои погребки давали в премию конфетку, кои книги. Так как мне приходилось бегать по поручению молодцов в погребки частенько, то у меня составился изрядная по количеству библиотечка вроде: «Как лицева воспитала царского сына», «Сапожник и чорт», «Битва русских с кабардинцами».

Выбраться из побегушек за прилавок молодцом так и не пришлось — сбегал. С тех пор начались мои хождения по мытарствам различных профессий, которые колебались от чернорабочего, упаковщика, певчего, мелкого служащего, пока не уравновесились на должности конторщика.

Несколько раз бросал службу и вновь начинал. Успехов по службе не имел, вследствие неблагонадежности. Не раз организовывал бунты на подкладке материальных требований, предъявляемых администрации служащими и рабочими, а самое главное — проявлял направление революционное; не хотел носить «гаврилку» и на работу приходил в русской рубашке. Такого протеста администрация не переваривала, и мне прямо заявляли, что меня «терпят исключительно из-за работы, и не будь я упрямым — получал бы вдове больше жалованье». Стал подумывать: нельзя ли схватить со стола науки крупицу-другую знаний. Мечтал подготовиться сельским учителем и уехать в деревню. На скудное жалованье собирал библиотеку, зачастую неделями голодая. Попадал в различные группы подготовляющих к экзаменам, большую часть шарлатанские и, кончив работу в 9 часов, бежал куда-нибудь поперек Москвы в группу. Понятно, после тупой работы в конторе занятия успешно идти не могли, тем более, что уже начали выдвигаться вопросы, не удовлетворяющиеся программой сельского учителя.

Полубил русскую литературу, особенно народную словесность, чувствовал некоторый зуд в руках, но писать не мог, находя свои попытки слишком ничтожными, а получить советы или указания было не от кого; так как интересы окружающей меня среды были: выпить, кутнуть и т. д. Так продолжалось до 1916 года, до моей мобилизации на войну.

Пережил всю прелесть николаевской солдатчины в течении 1½ лет, которая оставила в душе такие раны, что еще не зажили по настоящее время, от чего, несмотря на попытки, изобразить художественно эту эпоху пока не мог, так как еще не отошел от пережитого и не могу дать объективную оценку, необходимую для художника.

В конце 1918 г. случайно попалось в газете объявление об открытии Литературной студии Моск. Пролеткульту. С тревогой и радостью вступил я в Морозовский особняк и с первой же лекции почувствовал, что нашел то, о чем только мечтал.

Первое произведение «Ефрейтор в раю» написано в октябре 1918 г. Литературным развитием всецело обязан Московскому Пролеткульту. Вероятно многие пролетарские писатели ему обязаны.

Революция застала в армии, а Октябрьская в деревне, куда я был отпущен по болезни. В 1918 г. (в начале) мог наблюдать в деревне, как революция вклинилась в крестьянский быт и как там воспринимали ее. Хотя и живу за последнее время в городе, но с деревней имею некую косвенную связь, необходимую для наблюдения, как деревня по-своему перерабатывает новые, чуждые ей идеи и какие огромные шаги сделала в культурности с момента германской войны и особенно — революции. Это я и ставлю задачей для своей серьезной работы, а все написанное — это ученические упражнения в литературной технике.

Михаил Волков.

ГОСПОДЬ СПИТ

Райское действо

(Лубок)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Касьян-мученик.
Ануфрий-пещерник.
Николай-угодник.
Илья-пророк.
Иван-богослов.

Антипа-мученик.
Михайла-архангел.
Господь.
Толпа святых.
Голоса с земли.

Райская обитель. Лубочное великолепие: мочальные реки, кисельные берега, невдомые деревья, райские птицы—Сирин и Алконост. В глубине за занавеской опочивальни господня. По сторонам облака. У завески Михайла-архангела с мечом сон господень блядет. Толпа святых ожидает пробуждения господя—с докучкой за своих молитвенников. В толпе—средь митрофорных, омофорных святителей, колючих воинов, черных минков и внах стародавних хамид,—выделяется пещерник Ануфрий, наполовину обнаженный: с бородой до земли. Порой кто-либо из святых подходит к облакам и прислушивается: не несется ли с земли к нему молвь. Касьян стоит у края облака и смотрит, что дется на земле.

Голоса с земли (за сценой). Пода-ай, господи...
Голоса в толпе. Шш... Господь спит...
Голоса с земли (за сценой). Преподобне отче Ануфрие, моли бога нас...
Голоса в толпе. К кому?... К кому?..
Касьян (небрежно). Отец Ануфрий, тебя тревожат...
Ануфрий (радостно). Меня!.. (Бежит к облакам, прислушивается, к Касьяну). Не послушаешь ли ты, Касьянушка, мне... Кто клнчет-то... Касьян. Ладно... Только ты близко со мной не стой. Еще подумают, что дружбу с тобой лажу.
Ануфрий. Уж уважь, Касьянушка...
Касьян. Да... Подрядчик Хапалов молит... ухнул казенные деньги... Завтра ревизия, а у него в хранилище-то одни мышиные гнезда... только на милость господню и уповать осталось... Во всех церквах молебны с акафистами заказал... Свечу с пуд весом поставил...
Ануфрий. Говоришь, пуловую свечу!... Пойду, господя умолю... Велика милость господня, Касьянушка... велика... «просите и дастся вам, толпыте и отверзется»...
Голоса с земли (за сценой). Великомучениче Антипе, мо-ли бога о нас...
Голоса в толпе. К кому?... К кому?..
Касьян. Антипе...
Антипа. Мучениче Касьяне, яви велию милость... Преклони ухо к молению моему... Неверный цариче Демьяниче сокруши мой слух и обкарна уши мои... (Идет к облакам).
Касьян (махнув рукой). Ну тебя... (Отходит).
Голоса с земли (за сценой). Пода-ай, Господи...
Касьян. Ну и народец... Точно нищие, прости, господи, мое великое прегрешенье, кляччат... Кажись, всем наказано: на бога надейся, а сам не плошай... Дан тебе разум — разумный, — трудись, пользуйся от угоди!

всяких... коли одному не в мочь — в артель сбейся, огулом работай... Всяк только и нарывает, кому бы на шею сесть... на грабег идет и господа в по-
мощь зовет...

Антипа. Это за грошевую свещу-то... не внемлю... не внемлю...
(*мажет руками*).

Голос Ильи (за сценой). Тпру!.. Балуй... вот я тебя...
(*Слышно щелканье кнута*).

Илья (входит). Не проснулся господь?..

Голоса в толпе. Шш... Господь спит...

Илья (*чешет в затылке*). Захудаловские мужики вторую неделю с крестным ходом в поле молебны служат... Дождя просят: зерно перегорело... Сохи пропавать стали, все едино, говорят, с голодухи подыхать придется... А кого ругают... Илью ругают... Илья все виноват...

Голоса в толпе. Никола пришел.

Никола (*к Ануфрию*). Ты бы, старик, хоть бесстыдство какой рухлядью прикрыл. Жен и дев младых в соблазн вводишь... Здесь не в пещере кротом копаешься... на люлях...

Ануфрий. Обнажены мои телеса — обнажена моя душа перед господом.

Касьян. Откуда бог принес?..

Никола. С земли.

Касьян. Ты в раю, словно месяц молодой, покажешься и опять за тучку скроешься (*закрывает нос*). Где это тебя угораздило?.. Вся риза в навозе...

Никола. Вишь ты, дело такое вышло... Вез мужик в поле навоз — землю-матушку удобрять... Ну, значит, везет и везет... А воз-то возьми и запрокинься кверху копылками... бился, бился бедный мужик и так и саяк — не тут-то было... И давай с горя-досады чертей матерщиной крыть. Потом и до святых добрался. Ну, я и подвернулся...

Голоса в толпе. И смертию поразил богохульника.

Голоса в толпе. { О!.. о!..
Совсем омужичился...

Никола. Господь где?

Голоса в толпе. Шш... Господь спит...

Никола (*сердито*). Все спит да спит... Разбудить надо!.. Дело у меня спешное к нему...

Голоса в толпе. Чай, за мужика какого кучиться хошь...

Никола. Там жена некая молит... муж при последнем издыхании... Какое бабе дело без мужика: ни запахать, ни засеять. Поле-то пустым осталось... Сама шестера: чем жить-то будет... Костлявая уж и косою замаяхнулась... Упросил малую толку обождать...

Касьян. И охота тебе, Никола, вечно с мужиками валадаться... Неужто на земле привольнее?..

Никола (*восторженно*). Не в пример... Злыдни там меньше... Бывает, друг дружку и за бороды повозят... Чего на миру не бывает. Придет прощенное воскресенье, — друг дружке в ноги: прости, брат, коли обидел... а здесь веками злоба с уст не сходит...

Голоса в толпе. Ты не больно... Не с мужиками...

Никола. Поду-умаешь...

Михайла-архангел. Осадите, старцы божии, назад... осадите... вас честью просят!..

Голоса в толпе. Ишь какой военачальник выискался... как же, Егорья за войну с чертями заслужил и превозносится... Еро-ой!..

Михайла-архангел. Что-то... (*Толпа подалась назад от греха: от него все статья может. Идет Иван-богослов с книгой под мышкой*). Иван-богослов. Дети мои, любите друг друга, яко же возлюбил вас господь.

Голоса в толпе. Подхалим... Нашел дураков!..

(*За занавеской зевок. И-а... о... хо... хо...*).

Голоса в толпе (*улыливо*). Господь проснулся... Господь проснулся...

Голос господя (*за занавеской, громовой*). Михайлу сюда... (*Михайла-архангел входит за занавеску, за ним нырнул и Ануфрий*).

Михайла-архангел (*за занавеской*). Ты куда!..

Ануфрий (*за занавеской*). Ты за бороду-то не тяни... Не растил... Господи, избавь от океяного.

Голос господя (*за занавеской*). Оставь!.. говори... (*толпа становится на колени и поет: Хвалите имя господне все рабы его-о*).

Голос господя (*за занавеской*). Воздаты сторичню... Уходите. (*Из-за занавески появляются Михайла-архангел и Ануфрий; первый не утерпел, чтобы слегка не двинуть Ануфрия по шее*).

Михайла-архангел. У-у, сера лыуча...

Ануфрий (*радостно*). Господь приказал послать херувима и воздаты по молитве раба божия Хапалова.

Голоса в толпе. Что мы, на архирейском служении стоим, что ли...

Михайла-архангел. Не галдеть... Вам русским языком говорят: нельзя, господь упочил... Только на другой бок перевернулся... Осади назад!..

Илья. Захудаловские мужики кресты с иконами пропивают... Илью ругают... Илья виноват...

Никола. Помрет у жены мужик-то... сама шестера...

Голоса с земли (*за сценой*). Пода-ай, господи...

Касьян (*подходит к облакам*). Молитесь, молитесь, православные...

За богом молитва не пропадет... а сама сидите ручки сложивши, да скулите... и благо вам будет... Бла-аго!.. (*Смеется*).

Голоса в толпе. Шш... Господь спит...

ЗА НАВЕС

ЗАКОВЫКА

Гунявит, как нищий-слепец, великопостный звон — на карачках ползет по золотушно-весенним полям, корювыми пальцами цепляется за деревья и где-то в сумерках тихо-тихо замирает.

Церковь зазывно подмаргивает в окошко одним глазом: к нам, мол, пожалуйте: покупаем, продаем и в обмен берем.

И несет люд берегия грехов в меню на слово — листовое, поповское и станет на душе и в мошне так легко, легко.

Батюшка похаживает, бороду поглаживает, покхмыкивает: — бога гневить нельзя: эк, пятаки позвякивают.

Опротстал дядя Клим душу от грехов, поди, коробка с два свалил, а все на душе камень лежит.

Идет-идет, да вдруг, словно лошадь норовистая, станет, мнетса на месте, в затылке поскребет и рукой отмахнется:

— ... Гм... Эка оказия...

Залала в голову какая-то загвоздка — зудит мухой назойливой, а не поймаешь...

Жил-жил, эва сколько годов отмахал: вскачь не догонишь — все, как по-писаному, шло: изо дня в день корпел за работой, и никакая думка голову не тяготила.

А тут как будто вдруг от слепоты прозрел: выйдет хоть бы на косьбу, কিনет округ глазом: ширь зеленой стелется, там где-то далеко-далеко земля с небом обнялась, солнышко таково-то ласково в лысину целует, из травы цветочки улыбаются, и такое увидит умиление, просто душа плавает — облачком кисейным расправляется.

Пичужка какая чиркнет — ну, что-ж, думается, особенного — слава те, господи — за свою жизнь птичьего голосу ни весть что переслушал, а тут словно спичкой по душе чиркнет — так и загорится.

Кумекал-раскумекавал дядя Клим, что за притча такая с ним стала — да так и не раскумекал.

Дедушке Левонтию-знахарю порог обивал — поглядел дедушка в ковшик с волицей — с «самим» пошептался — притка, говорит, с ветру напущена, снять нельзя, на крест заговорено.

Он к Егоровне, божьей богомолочке, — та с угодниками свой человек — коли не помогла сила земная, не вызволит ли сила небесная...

Пораскрыла Егоровна наудак книгу евангельскую — четет стих: не подошло, кучнулась к творениям Златоуста, Лествичника: не то, и только царь Давид псалтырю истину изрек: «Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его»...

И говорит Егоровна таковые слова: душа тоскует перед росстанью...

И пустился дядя Клим в жизнь луцеспасительную: в заутреню — заутренничает, в обедню — обедничает, нищий в окошко стукнет — кусок норовит с таким отвалить, колы глаза задукавят — не много ли... нечистому прямо в белымы через леворуку харкнет.

Наденет рубаху — белее снега — каемистую, с ластичами под мышками — красными, портки пестрядевые, что ручьи после дождя полостей пестреют — сядет на завалинку, нейдет ли из-за околицы Косариха с косой: созрела былинка — на — коси.

Сосед однолетью подсядет:

— Не преставился?

— Скоро... Чую, как душа на небо вретса...

— Чай, с жистью расстаться не хотню...

— Пожито — погрешено... пора и на покаянье...

Сидят и о жизни праведной балакают...

Бабы по улице цветнеют — поравнялись:

— Дядя Клим — все еще на земле болтаешься, а мы думали — уж небо топчешь...

Ведь, у бабы не язык — жало зменное...

Першит у него в горле слово забористое, шибанул бы сукиных дочерей сплеча... да никто, как ангел — в правое ухо упередил:

— Ой, спасенье не в спас пойдет!...

Молитвословит — лукавый кукши с маслом получил.

Сыновья иной раз с укором:

— Неча лысину-то зорить, чай и помочь в работе не грех...

Экий народец, и кончине праведной завидно...

Ждет-подождет Клим, а смерть к нему нейдет...

Пора страдная в разгаре — домохадцы все на работе.

Пригрелся на завалинке дядя Клим — поднял бороду кверху, глядит — под князьком в гнездышке детенышки-ласточки копошатся, красненькие ротки раскрывают, пищат. Вот мать прилетела — мошку сунула, чиркнула: сидите, детки, смирно, и улетела...

Как туман над полями, ползет ему в голову думка:

— Вся-то с кукиш, а тоже своя забота есть, с коиш пор поднялась на работу... Пятюк ртов прокормить — не шутка... что ей только на эфтом свете и жизнью пользоваться — подохла, и нет ничего... а мы живем — маемся-маемся, да и на том-то свете черти драть будут... Ой, и опять помыслом согрешил... прости, господи, мое согрешенье, тыфу... тыфу, сгинь, лукавый!... Ишь ты, подвернулся, врасплох захватил, вот тут и сподобься жизни праведной!...

Глядь, Тараска Авдотьян, парнишка-грамотей, с книжкой бредет: книжонка с виду так себе, неказистая — закурки на две хватит — не больше...

— Дешка, чтой-то такое на книжке написано? Проле... про-ле-тари-я... всех стран... сое-ди-ний-те-ся...

— Шут-те знает что... теперь народ мудреный пошел... ни бога, ни царя знает тебе не хочет... сами, мол, управимся...

... Д-да... а слово-то занятное... как бишь его... «Про-ле»... сразу видно, что слово-то господское — не распоясавшись, наним дубовым языком и не выговорить.

— «Проле»...

— Ты, малец, катись-ка к Андрону — он книжник, библию который год осмивает, кабы, говорит, до смерти успеть... большое спасенье будет...

Тараска взглянул, по заднице для прыти шлепнул и вихрем понесся к деду Андрону.

— Вот она грамота-то, силица какая: — мальчонка — соску еще не забыл, а уж может знать, что на краю света деется, а я прожил всю свою жизнь, словно в теми какой... Э-эх-хе...

Шастет с Тараской дед Андрон — старик кряжистый, с очками на носу... подсел на завалинку, поправил очки, взял книжку, сначала отдалил, потом к глазам поднес...

— ... Проле-та-рие всех стран, соединитесь. Мм... что означает — дополдино сказать тебе не смогу... а-а, это, пожалуй, как бы вроде, как в священных книгах пишут: «благословиши, господи, венец лета твою»... Отролясь впервой такое слово слышу... Дако-се, в книжонке померекаем, не будет ли там разгадки...

И принялся за чтение Андрон — все равно, что лошадь по дороге ухабистой — коли тряхнуть нельзя, так шажком плетется, из колеи на слове заковыристом выскочит — назад воротится, все же за лето-летинское до конца доплелся...

Дядя Клим слушает да ахает:

— Погодь, Андрон... Неужель — так и пропечатано: дескать, вся сила в нас самих... Ни бог, ни царь не помогут, коль сам за ум не возьмешься...

— Давай-ка еще раз побукварим — по этому месту... опять выходит: бога-то и нет — попы для своих барышн люд морочат... Только, братец мой, не возмь в толк, кто же на горе Синае Моисею гремел: «Аз господь

бог твой»... Лико-то, точно, Моисей не видал, а голос слышал... в библии доподлинно расписано...

— Може — Моисею-то только почудилось...

Дальше-больше, и поняли Клим с Андроном, что рай на земле, а не на небе — вся сила в труде... работай и работай... весь народ, как братья, должен сбиться в работе в одну семью.

— Эх, Клим, — кабы эта книжица допрежь в руки попалась... Сколько годов на библию потерял...

— Д-да, Андрон, выходит, все мое спасение прахом прошло. От кого же награду получу, коли и я, как животина, подохну и капну!... Истинно, в книжке говорится: «Человек вечен в потомстве и в делах рук своих»... По губам попы раем мазали... на привязи держали... Понимаю, чему душа-то радовалась — проясненью ликovala...

— Так, Клим, оставить нельзя, нужно всем объявить, пускай расчу-хайот... давай-ко все, что в книжке бається, — соорудим...

— Дельно!...

Народ мимо ходит, зубоскалит:

— Вишь, старые хрычи, как воронке к непогоде, разгаделась...

Снял рубаху смертельную дядя Клим — да в работу подался: инда коса звенит — поет.

Дивится люд — что-то подеялось.

— Аль на небе отрочили...

Ухмыляется в бороду Клим, с Андроном перемигиваются:

— Вот уж, дай срок, узнаете...

... Начинаем, начинаем — на-чинаем... — заманивают колокола к обедне.

Дьячек горох по полю сыплет — четет часы.

Батюшка в алтаре просвирами орудует.

Мужиков в церкви маловато, — пока до начала табашничают.

Старухи у кануна сродников поминают.

Девки по парням глазом стреляют, шушукуются, в рукав хихикают.

Вошел дядя Клим в церковь — лба не перекрестил — прямехонько, шасть на место поповское — проповедное.

Люд глаза тарашит: обалдел старый...

— ... Православные...

У дьячка «аминь» на языке повис — у попа просвирки на пол прыснули...

— ... Так, значит, бога нет... и николи не было, все выдумка одна...

Значит, всяк сам на себя надейся... Иное дело одному невмочь, берись собча.

Как это в книжке говорится: коли ты силен — лядащего не забижай...

Чтобы, того, все ровня ровней... Коли мне не верите, Андрон порука!...

— Что правильно, то правильно... так и в книжке пропечатано... — грянул Андрон...

Старухи отплевываются:

— Отцы родные, и другой рехнулся... Не он первый, не он последний библей-то зачитался...

Батюшка из алтаря:

— Гоните, православные, взашей, осквернителей храма сего...

Сторож Масей с дьячком Антропом, как клещ-червь, влячилились в ворот Клима — да из церкви потянули, заодно и Андрона прихватили.

— Вот-те и праведники...

Молчит люд, размышляет:

— Будто и правда, а кто-е знает... Тут заковыка какая-то...

Здесь дьякон завладчил...

Руки проворно крестом замажали...

И пошла плестись паутина...

(Из сборника рассказов М. Волкова «Заковыка».)

Эпос

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ — ГЛАДКОВ — Н. ЛЯШКО — АРОСЕВ — ЛИБЕ-
ДИНСКИЙ — НОВИКОВ — ПРИБОЙ

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

Автобиография¹

Рожден в поселке Лебяжье, Семипалатинской области. Отец — Вячеслав Алексеевич — был из присовых рабочих, самоучкой сдал на учителя сельской школы. Но учил, особенно меня, мало, все больше по монастырям и по бабам ходил. От водки сошел с ума, немного оправился; не видал я его семь лет, в 1919 г. приехал повидать, а на третий день брат мой Палладий нечаянно его застрелил из дробовика (сам Палладий через год умер). Мать, Ирина Семеновна, казачка, и сейчас живет в поселке, через дядю пишет — неграмотна — «приезжай, приговорила пуд масла и засушила боярки».

Знаю: в поселке сплет боярышник, стерляди идут густо, и над солонцами, как спелые ягоды, утки. А я сижу в Петербурге и пишу романы. Учился в сельской школе и, полгода, в сельско-хозяйственной. С 14 лет начал шпаться. Был пять лет типографским наборщиком, матросом, клоуном и факиром — «лервиш Бен-Али-Бей» (глотал шаги, прокальвался булавами, прыгал через ножи и факелы, фокусы показывал), ходил по Томску с шарманкой, актерствовал в ярмарочных балаганах, куплетистом в цирках, даже борцом.

С 1917 г. участвовал в революции. После взятия чехами Омска (был я тогда в красной гвардии), когда одношопочников моих перестреляли и перевешали, — бежал я в Голодную степь и, после смерти отца (казачки думали: я его убил — отец был царелюб, хотели меня усамосудить), дальше за Семипалатинск, к Монголии.

Ловили меня изрядно, потому что приходилось мне участвовать в коммунистических заговорах. Так от Урала до Читы всю колчаковщину и скитался, а когда удалось мобилизовать, то прикомандировали меня, как наборщика, к передвижной типографии Штаверха. Паспорт у меня был фальшивый: «Евгений Тарасов».

Дальше два случая:

Когда поезд окружили партизаны, комендант поезда, прапорщик Малиновский сказал мне:

— Давай свою шинелишку, а сам мою бобровую шинель возьми. Я побегу, тут в сторону дорога открыта.

Я отдал. Прапорщик не убежал, и в полуверсте его зарубили. Пошли партизаны (в белых халатах — чтоб на снегу незаметно), старичка-генерала какого-то пристрелили у вагонов, мичмана с отморозженным ухом и человек тридцать добровольцев, выданных железнодорожниками.

А когда вечером совсем трупы поубрали, пристыла кровь (кровь на снегу, как линаляй, изъеденный молью, бархат), удумал я прогуляться. Наки-

нул на плечи шинель и вышел. А на снегах — ночь, как лед морской. Проезжают мимо поезда верховые двое, мельком оглянулись и дальше. И вдруг — чувствую, лошадиная морда в плечо. Спрашиваю:

— Чего?

Отвечают спокойно и трезво:

— Из-за вас седни товарища Суменина порешили! Становись на колени, богу молись, я тебя сейчас на тот свет.

И в седле закачался, потом из-под тулупа в каждую руку наган. Окажется — погоны офицерские я забыл снять. Попробовал сказать, что рабочий — матерятся. Тогда говорю со злостью.

— Нет, мол, на колени не стану и молиться твоему богу не буду — не верю Стреляй.

Наклонился он с седла, под шапку мне смотрит — широкобородый, как кедр, и пьян (по духу чую); страшно:

— Ка-ак, ты б... экая, без бога смеешь жить?

И пошел у нас тут спор о вере — сторожил оказался киржак-раскольник. Веру я мужицкую знаю крепко. Наганы спрятал, говорит:

— Эвои, огонь видишь: неси туды моим приказаньем мешок муки и боченок масла.

— У меня нет.

— Казенный на складе имеется?

— За замком, ломать не могу, хоть бы имелось.

— А ты не ломай, ты пленный, законно не имеешь прав ломать, а я сломать могу! Покажи.

Три версты тащил ему из сломанного вагона куль крупчатки и впереди себя катил боченок масла. А в избе баба с широким, как телега, задом. По скамьям куски ситцев, на полатах барские сумки, картина какая-то, проткнутая штыком, граммофон гудит. На столе в ведре самогона ковш. Пили мы всю ночь, ширококостая баба пекла блины, и спорили мы о боге и триперстном кресте.

— Приезжай, — говорил, обнимая меня Селезнев. — Приезжай ко мне на лето... Больно ты матеряться можешь и в бога не веруешь, весело: приезжай.

А на другой день увезли нас в Новониколаевск. В горле мороз и ветер. Трупы валялись у насыпей, и когда я шел к станции железной дороги, видел: собака тащала челоуево ногу с выеденной до кости икрой. Из Чека меня направили еще куда-то. Там порылись в бумажках и перепросили:

— Ваша настоящая фамилия Иванов?

— Да, Всеволод Иванов, а по «очкам» — Евгений Тарасов.

Еще подумал некий во френче, написал записочку, в какое-то передвижное Чека, потом порылись опять и сказали торопливо:

— Раз вы Всеволод Иванов, значит — вы арестованы.

Арестованных и колчаковских пленных тогда было тысяча десять. Поездами привозили с раз'ездов трупы замерзших — на кого мне теперь сердиться? Оказывается, был еще у Колчака Всеволод Иванов, редактировал в Омске газетку и писал патриотические стишки. В камере помещалось нас семнадцать человек, на утро пришел солдат и сказал:

— Одевайтесь, на улку айда! Барахло можно не брать.

— Куда?

— На Колчаковску ярманку!

Повели нас всех за город. В испуге я забыл надеть шапку, волосы у меня тогда были до плеч, — ветер на улице так и вздыбил. Конвойный обернулся:

¹ «Литературные Записки», № 3, 1922 г., стр. 26.

— Ты пошто без шапки?
Объясню. Без шапки, говорит, нельзя. Остановил отряд. Утро было уже большое. Служащие шли в учреждения. Взошел конвойный на тротуар и с какого-то буржуя сдернул хорошую меховую шапку:

— Ну, теперь пошли.

Тем временем столпились. Слышу — кричат:

— Товарищ Иванов!

Смотрю: наборщик Николаев, в семнадцатом году вместе на конференциях печатников были. Рука на перевязи и на груди красноармейские значки. Комиссар, видимо. Объясняет конвойному, почему меня нельзя расстреливать, ибо я совсем большевик. Солдату, должно быть, надоело слушать, докурил папироску и сказал:

— Наше дело разве судить? А раз тебе его надо, бери.

Николаев вывел меня из толпы под руку, а остальных увел за город. Через час мне дали временное удостоверение и пропуск из города. Это, конечно, не все — так как идет с 1917 г. одна моя дорога — смертная. И тому, что жив, — радуюсь.

Видел растаянувшие на сотни сажень мерзлые поленицы трупов. В снегах — разрушенные поезда, эшелоны с замерзшими ранеными. Видел, как партизаны жгли трупы (закапывать не хватало сил), — один ряд трупов, другой ряд бревен из изб и так на двухэтажную высоту. И от человеческого дыма небо было словно копченое. Тупики, забитые поездами с тифозными, и сам я в тифу, и меня хотят соседи выбросить из вагона (бояться заразиться), а у меня под подушкой револьвер, и я никого не подпускаю к себе (выбросят — замерзнешь, а наш вагон все же кто-то топил). И так, в бреду, семь суток лежал я с револьвером и кричал:

— Не подходи, убью!

А по бокам дороги в крестьянских хлевах награбленные штуки материи. Ветер — словно камни, и простые, как огонь, смерти. И мохноготые мужики, учившие меня — не знать страха.

— Коли ты в бога не веруешь, лави кулаком на сердце и, главное, дыши, парень, поглубже, чтобы пропотеть. Раз вспотеешь, все можно сделать.

В Татарском уезде, в тайге, был инструктором по внешнему делу. Там, за открытые школы и избы-читальни в поселке Брусничном подарил мне сход два мамонтовых клыка, найденные в те дни в Урмане.

В Омске был на газете выпускающим и корректором, из Омска помог мне выбраться Алексей Максимович¹ и Устинов — друг вечный. В Петербург приехал в январе 1921 года, здесь и стал питаться близ Дома Ученых и писать, что было давно надумано. В мае попал к «Серрапионам» — братом Алеутом.

Пишу я с 1916 года, но мало печатал. Всю революцию не писал, разве статьи (очень глупые). Напечатаны: книжка рассказов «Лога» и повести: «Цветные ветра», «Партизаны», «Бронепоезд № 14,69». Печатается книга рассказов «Сельмой берег», в «Красной Нови» — роман «Голубые пески»² и кончается роман «Ситцевый зверь».

Приблизительно — все.

Всеволод Иванов.

¹ Алексей Максимович Пешков (Максим Горький). В. Л.-Р.

² Роман «Голубые пески» вышел книгой в 1923 г.

ДИТЕ

1

Монголия — зверь дикий и нерадостный. Камень — зверь, вода — зверь и даже бабочка и та норвит укусится. А у человека монгольского сердце неизвестно какое: ходит он, говорят, в шкурах, похож на китайца и от русских далеко через пустыню Нор-Кой стал жидок. И, говорит еще, уйдет он за Китай и Индию в синие непознаваемые страны.

Прибывали тут около русских прииртышские, те самые киргизы, что от русской войны в Монголию перекочевали. У них сердце известно — слюдяное, никудышное, всего насквозь видно. Шли они сюда, не торопились — и скот, и ребятки, и даже больных своих привезли.

Русских же сюда гнали немилосердно — были они мужики крепкие и здоровые.

На камнях-горах оставили лишнюю слабость — кто повымер, кто по-выбит. Семьи, и лопотина, и скотина белым остались; зловны, как волки весной были мужики, в логах, в палатках жели и думали про степи и про Иртыш.

Было их с полсотни, председателемствовал Сергей Селиванов, а отряд так звался — партизанский отряд красной гвардии товарища Селиванова.

Скучали.

Пока гнали их белые через горы — от камня огромного и темного стралино на сердце, а пришли в степь — скушно.

Похожа степь на степь прииртышскую: песок, жесткие травы, крепко кованое небо. Все чужое, не свое, беспашенное, дикое. И еще тяжело без баб.

О бабах по ночам рассказывали матерные солдатские побаски, а когда становилось непереносно, сдлали лошадей, ловили в степи киргизок.

И киргизки, завидев русских, покорно ложились на спину.

Было нехорошо, противно их брать — неподвижных, с плотно закрытыми глазами, словно грешили со скотом...

Киргизы же боялись мужиков, кочевали далеко в степи.

Увлекав русского — грозилась винтовками, луками, пикали, но не стреляла. Может быть, не умели.

2

Казначей отряда Афанасий Петрович Трубачев — слезлив, как ребенок, и лицо у него, как у ребенка: маленькое, беззубое, румяное. Только ноги были длинные, крепкие, как у верблюда.

А когда садился на лошадей — строжал. Далеко пряталось лицо и сидел: седой, сердитый и страшный.

На Троицу отрядили троих: Селиванова, казначея Афанасия Петровича и Древесникова в степь искать хороших покосов.

Дымилась под солнцем степь.

Сверху, с неба, шел ветер, с земли на трепещущее небо тоже теплынь, и тела у людей и животных были жесткие, как камни.

И Селиванов сказал хрило:

— Каки там покосы-то!.. Все знали, — говорит он про Иртыш.

Молчали редкоробордые лица: точно солнцем выжгло волос, как травы и степи, и алены узкие, как рана от рыболовного крючка, глаза. Один Афанасий Петрович отозвался жалобно:

— Неужто и там засуха...

Поплакивался голосок, но лицо не плакало, и только у лошади под ним, усталой и замыхающейся, ныли слезами большие и сухие глаза.

Так один за другим по пробитым дикими козами тропам уходили партизаны в степь...

Тлеи пески тоскливо, жадно лип на плечи, на голову, душный, пахнущий песками ветер. Горел в теле пот, но не мог пробиться через сухую кожу наружу...

К вечеру, уже выезжая из лощины, Селиванов сказал, указывая на запад: — Едут.

Верно: на самой овиди, колыхали пески розовую пыль.

— Должно — киргизы.

Заспорили: Древинин говорил, что киргизы далеко водятся и к Селивановским логам не подходят, а Афанасий Петрович: — Непременно киргизы, пыль киргизская, густая... А когда подкатили пески, пыль, решили все — незнаемые люди.

По голосам хозяев учаяли лошади — несется по ветру чужое. Запряли ушами, пали на землю до приказа.

В логу серые и желтые лошадиные туши; были они беспомощны и смешны с тонкими, как жерди, ногами. От стыда, што ли, закрыли большие испуганные глаза и дышали порывисто.

Лежали Селиванов и казначей Афанасий Петрович на краю лога. Плакал, пошвыркивая носом, казначей. Чтобы не было страшно, клал его всегда рядом Селиванов. Почти от детского плача веселилось и озорничало тяжелое мужицкое сердце.

Развертывала тропа пыль. Перебойно стучали колеса, и, как пыль, клубились в хомутах длинные черные тривы.

Уверенно сказал Селиванов: — Русски...

И позвал из лога Древинина.

Сидят в плетеной новой тележке двое в фуражках с красными околышами. За пылью незаметно лиц, будто в желтом клубу плавают краснооколышные, ружье — дуло торчит, и когда рука с кнутом, ныряет из пыли Удумал Древинин и сказал:

— Офицера... по делам должно. Икспитияция.

Озорной подмигнул глазом и ртом: — Мы им пропишем...

Несет тележка людей, твердо несет, лошадей подталкивает и позади, как лиса хвостом, замечает след пылью.

Протянул плаксиво Афанасий Петрович:

— Ни надо, ребя... У плен бы лучча...

— Галовы своей не жалко...

Озлился Селиванов и затвор бесшумно, как пуговицу отстегивает, отбросил:

— Тут плакать не приходится...

Больше всего злило их — появились офицера в степь, одни без конвоя, будто была их тут сила несметная — мужикам смерть.

Вставал в рост офицер, степь оглядывал, но плохо — пыль, ветер вечерний красный на сожженных травах, люди и мысли их — пыль, ветер на лошадиные туши.

В красной пыли тележка, колеса, лоды и мысли их...

Выстрелили...

Разом, задев одна другую, упали фуражки в кузовок.

Ослабли, точно допнули возжи...

Рванули лошади... понесли-было... Но вдруг холки их молочно опенились... дрожа крепкими кусками мускулов, они понурили головы, стали.

Сказал Афанасий Петрович:

— Померли...

Подошли мужики, посмотрели.

Померли краснооколышные. Сидят плечо в плечо, а головы назад, как башлыки откинута, и один из умерших — женщина. Волосы распались, в пыли наполовину — желтые и черные, а гимнастерка солдатская приподнята высоко женскою грудью.

— Чудно, — сказал Древинин, — сама виновата — не надавай фуражку. Кому бабу убивать охота... бабы нужны.

Плонул Афанасий Петрович.

— Изверг ты и буржуй... ничего в тебе нету...

— Обожди, — прервал их Селиванов, — мы не грабители. Надо имущество народное переписать, давай бумагу.

Под передком, среди прочего «народного имущества», в плетеной китайской корзинке белоглазенький и белоглоленький ребенок, и в рученке у его угол коричневого одеяльца зажат. Грудной, маленький, пищит слегка. Умленно сказал Афанасий Петрович:

— То же ведь, поди, так по-своему говорит, что...

Еще раз пожалели женщину и не стали одежду с нее снимать, а мужчине закопали голого в песок.

3

Обратно в тележке ехал Афанасий Петрович, держа в руках ребенка и покачивая, напевал тихонько:

«Соловей, соловей — пташечка...

Кан, речка...

Жалобно поет...

Вспоминал он поселок Лебяжий — родину, пригоны со скотом, семью, ребяташек и тонкогололо плакал.

Ребенок тоже плакал.

Бежали на низеньких, крепкомьях монгольских лошадях партизаны, были они спаленнолицые и спаленнодушие.

У троп придушенная солнцем стлалась польнь, похожая на песок, мелкая и не удовимая глазом. А пески — польнь мелкая и горькая.

Тропы вы, тропы козы. Пески вы, пески горькие. Монголия-зверь, дикий и нерадостный...

Разглядели имущество офицерское. Книги, чемодан с табаком, блестящие стальные инструменты. Один из них, на трех длинных ножках — четырехугольный медный ящичек с делениями.

Подошли партизаны: осматривают, щупают, на руку привешивают.

Пахнет от них бараньим жиром — от скуки ели много и одежда высалилась.

Скуластые, с мягкими тонкими губами — донских станиц. С длинным черным волосом, темнотищье — известковых рудников. И у всех кричат, как дути, ноги и гортанные степные голоса.

Поднял Афанасий Петрович треножник медноголового, сказал:
— Тилископ.

И глаза зажмурил.

— Хороший тилископ, не один миллион стоит. На нем луну рассмотри и нашли на ней, парни, золотые россыпи... Промывать не надо, как мука — чистехонькое золото. Смыть в мешок...

Один молодой из городских захохотал.

— И то брешет, раз'язви его...

Рассердился Афанасий Петрович.

— Это я-то брешу, стерва ты кукурузная. Погоди.

Табак поделили, а инструмент передали Афанасию Петровичу: как казначей, может при случае обменять на что-нибудь у киргиз.

Сложил он инструменты перед ребенком.

— Забавляйся...

Не видит тот, пищит. И так и эдак пробовал, в пот даже ударило — пищит дите. Принесли кашевары обед. Густо запахло маслом, кашей, шами. Вытащили из-за голенищ широкие семилатинские ложки. Вытоптана станом трава. Лог глубокий, теннистый, а вверху часовой на лошади кричит:

— Мне скоро-а... Жрать хочу... Смену...

Пообедали и вспомнили — надо ребенка накормить. Пищит непременно дите.

Нажевал Афанасий Петрович хлеба, мокрую жамку сунул в мокрый растопыренный ротик, а сам губами пошелпал.

— Пы-пы... баско... лопай, лешаненок...

Но закрыл тот ротик и голову отворотил. Не принимает. Плачет носом.

Подшли мужики, обступили. Через головы заглядывают на дитя. Молчат.

Жарко. Лоснятся от баранины скулы и губы. Рубахи расстегнуты, ноги босые, желтые, как земля монгольская.

Один предложил: — штей бы ему.

Остудили шей. Афанасий Петрович обмакнул палец в щи и в рот ребенка. Текут по губешкам сальные хорошие щи на рубашонку розовую, на байковое одеяло.

Не принимает.

— Щенок умней — с пальца жрет...

— То тебе собака, то человек...

— Удумал...

Молока коровьего в отряде нет. Думали кобыльям напоить, кобылицы водились. Нельзя — опьяняет, кумыс. Захворать можно.

Разошлись среди телег, по кучкам переговариваются, обеспокоены. А среди телег Афанасий Петрович мечется, на плечах бешметикшо рваный, глаза маленькие, тоже рваные. Голосок тоненький, беспокойный, ребяческий, будто само дитя бегаёт, жадуется.

— Как же выходит? Не ест, ведь, мужики. Надо, ведь, а...

Стояли широкие, могучетельные, с беспомощным взглядом.

— Дело бабье...

— Канешна...

— От бабы он, может, и барана с'ел бы...

— Вот, ведь, оно...

Собрал Селиванов сход и объявил:

— Нельзя християнскому пареньку, как животине пропадать. Отец-то, скажем, — буржуй, а дитя-то как же?

Согласились мужики.

— Дитя не при чем.

Захотал Древесинин:

— Расти, ребя! Он вырастет у нас, на луну полетит... На россыпи...

Не рассмеялись мужики. Афанасий Петрович кулак поднял и крикнул:

— А и сука же ты беспросветная!

Потоптался он, руками помотал и вдруг закричал пронзительно:

— Корову надо, корову ему...

В один голос отозвались:

— Без коровы смерть...

— Обязательно корову...

— Без коровы сгорит...

Решительно сказал Афанасий Петрович:

— Пойду я, парни, за коровами.

Озорной Древесинин перебил:

— На Иртыш, в Лебяжий...

— На Иртыш мне, чичилибуха прописная, ехать незачем. Поеду я к киргизам.

— На тилископ менять...

Метнулся к нему Афанасий Петрович, озлобленно вопил:

— Стерва ты и правокатор рода человеческого, сволочь! Хошь по харе получить?

А так как начали они материться не по порядку, прервал председатель собрания Селиванов:

— Буда!

И проголосовали так: Древесинину, Афанасию Петровичу и еще трем ехать к аулам киргизским, в степь, и пригнать корову. Если удастся — две или пять — мясо у кашеваров истодалось.

Подвесили к седлам винтовки, надели киргизские лисьи малахаи, чтобы издали на киргиз походить.

— С богом!

Ребенка в одеяльце завернули и в затылок под телегу положили. Сидел подле него молодой паренек и дядя своего и ребячьего развлечения в польном куст из нагана постреливал.

Эх, пески вы монгольские, нерадостные! Эх, камень - горюч синий, руки глубокоземные, злые!

Едут русские песками. Ночь. Пахнут пески жаром, полночью.

Лают в ауле собаки на волка, на тьму.

Волки воют во тьме на город, на смерть.

От смерти бежали киргизы.

— От смерти угоним ли гурты?

Зеленая душина тьма дрожит над песками, еле удерживают ее пески: вот сорвется и порхнет на запад.

Пахнет от аула кизяком, айраном-молоком кислым. Сидят у желтых костров худые и голодные киргизские ребятишки. Возле ребятишек голороб-

рые, остромордые собаки. Юрты, как стога сена. За юртами озеро, камыши. Из камышей выстрелили в желтые костры.

— О-о-а-ат...

Сразу выскочили из окшемных юрт киргизы.

Закричали напуганно, сначала один, потом разом:

Уй-бой, уй-бой, ак-кызыл урус... Уй-бой...

Пали на лошадей, и лошади точно день и ночь заузаны. Затопали юрты, затопала степь. Камыши закричали дикой уткой.

— Ак... Ак...

Один только сеledоборный свалился с лошади головой в казан-котел, опрокинул котел и, ошпаренный, завонил густым голосом. А подле стояла, поджав хвост, лохматая собака и боязливо тыкала голодную морду в горячее молоко.

Тонко ржали кобылицы. Испуганно, как от волков, дышали в загоне овцы. Тяжело, точно запыхавшись, дышали коровы.

Покорные киргизки, увидев русских, покорно ложились на кошмы. Хохотал бесплутно Дреvesинин:

— Да мы жеребцы, что ли... Не вечно мы их...

Торопливо нацедил он в плоскую австрийскую фляжку молока и, хлопая нагайкой, погнал к юрте коров с телятами. Освобожденные с привязи телята, быстро толкая головой мягкое вымя, радостно хватали большими мягкими губами сосцы.

— Ишь, голодны, бичера...

И Дреvesинин погнал коров.

Афанасий Петрович еще обежал аул и хотел было поехать, но вдруг вспомнил.

— Соску надо. Соску, черти, забыли...

Кинулся по юртам искать соску. Огни в юртах были потушены. Афанасий Петрович схватил головню и брызгая искрами, кашляя от дыма, искал соску. В одной руке у него трещала головня, в другой был револьвер.

Сосок не находилось. Лежали на кошмах, распластавшись и закрывшись чулками, покорные киргизки. Ревели ребятишки.

Рассердился Афанасий Петрович и в одной юрте закричал молодой киргизке.

— Соску, сволочь, немакана, давай соску.

Заплакала киргизка и начала поспешно расстегивать фаевый кафтан, а потом рубаху.

— Ни кирек... Ал... Ал...

А рядом на кошме плакал завернутый в тряпки ребенок. Киргизка подгибала ноги.

— Ал... Ал...

Но тут схватился за грудь ее Афанасий Петрович, потискал и свистнул обрадованно:

— Во-о... Соска-то... А!

— Ни кирек... Ни...

— Ладно, не кричай. Ай-да!

И за руку потащил ее с собой. Головня упала. В юрте потемнело.

В темноте посадил киргизку на седло и, время от времени пощупывая у ней на груди, понесся в Селивановские лога.

— Нашел, паре, а? — обрадованно говорил он, и на глазах у него были слезы.

— Я, брат, найду!

А в стане оказалось — не заметил в темноте Афанасий Петрович — захватил с собой киргизка ребенка.

— Пушай — сказали мужики — молока и на обоих хватит. Коровы есть, а она баба здоровая.

Была молчалива киргизка и строга и ребят всем невидимо кормила. Лежали они у ней на кошме в палатке — один беленький, другой желтенький и пищали в голос.

Только через неделю на общем собрании Афанасий Петрович сказал:

— Так что утайка, товарищи: киргизка-то паскуда, кормит обманом — своему-то всю грудь скармливает, а нашему — что ни на доньшке. Я, брат, подсмотрел.

Пошли мужики, смотрят: ребята, как и все ребята. Один беленький, другой желтенький, как спелая дыня. Но только похоже, что русский потоньше киргизского.

Развел руками Афанасий Петрович:

— Я ему имя дал: Васька... а тут поди ты... оказия...

Сказал Дреvesинин:

— А ты, Васька, хилай.

Нашли палку, измерили ее на оглобле, чтоб одна другую сторону не перетягивала.

Повесили с концов ребятишек — который перевесит.

Пищали в тряпочках подвешенные на волосных арканах ребятишки. Пахло от них тонким ребячьим духом. Стояла у телеги киргизка, и, не понимая ничего, плакала.

Молчат мужики, смотрят.

— Пушай — сказал Селиванов.

Опустил руки от палки Афанасий Петрович и сразу русский мальченок — вверх.

— Ишь, сволочь желторотая, — сказал Афанасий Петрович разозленно.

Поднял валявшийся сухой бараний череп и положил на русского Уравнял шеи ребятя.

Зашумели мужики, закричали.

— На целу голову, паре, перекормила, а?...

— Не уследишь...

— Вот, зверь...

— Не только работы, что за ребятами смотреть.

Подтвердили мужики:

— Где уследишь!

— Опять же родительница.

Затопал, завизжал Афанасий Петрович.

— По-твоему, русскому человеку пропадать из-за твоего намаканова... пропадать, Ваське-то...

Посмотрели на Ваську — лежит белый, худенький...

Муторно стало мужикам.

Сказал Селиванов Афанасию Петровичу:

— А ты его... тово... пушай, бог с ним, умрет... киргизенка-то. Мало их перебили? к одному!

Поглядели мужики на Ваську и разошлись молча.

Взял киргизенка Афанасий Петрович, завернул в рваный мешок.

Завыла мать. Ударил ее слегка в зубы Афанасий Петрович и пошел из лога в степь.

Дня через два стояли мужики у входа в палатку на цыпочках и через плечи заглядывали во внутрь, где на кошке киргизка кормила белое дитё. Было у киргизки покорное лицо с узкими, как зерна овса, глазами, фаевый фиолетовый кафтан и сафьяновые цити.

Было дитё личиком в грудь, сучило рученками по кафтану, а ноги бились смешно и неуклюже, точно он прыгал. Могуче хохоча, глядели мужики.

Нежно глядел Афанасий Петрович и, швыряя носом, плаксиво говорил: — Ишь, кроет...

А за холщевой палаткой бежали неизвестно куда лога, степь, чужая Монголия.

Незнамо куда бежала Монголия — зверь дикий и нерадостный.

Петербург, 1921 г.

(«Семьмой берег», стр. 209).

АЛТАЙСКИЕ СКАЗКИ¹

1

Кургамыш — зеленый бог.

Туянчи-Осень траву посла, листья дерев жует.

Старая, злая; нос — чисто гнилой сучок, лицо — прошлогодняя саранча.

Кляки скалит.

— Все пожру!

Дрожат листья, жмутся — умирать никому не хочется.

Ладно.

По желтому озеру на бровке плавает Кургамыш — зеленый бог.

Лицо — широкое, ласковое лицо, а глаза, как у лошади — большие.

Хочет:

— Гу-у... Я плыву... Гу-у...

Это куврякнется со скалы на скалу, с горы на гору. Ручьи бьют каплями серебряными о камни:

— Ти... Ти... Ти...

Здравствуются с зеленым богом.

Туянчи увидала его. Озлилась еще сильнее

На кедр вскочила. Шипит:

— И тебя сложаю!

И Кургамыш ее увидал.

Как вскрикнет:

— Зачем лес портишь, кикимора?

А та как плюнет. Слюна в озеро пала, льдинками поплыла. Холодом пахнуло.

Кургамыш тоже рассердился.

— Я тебя! — кричит.

Выскочил на берег, к Туянчи бросился.

Схватились они биться.

¹ Из «Красной Новия», за август 1921 г., № 2. Всеволод Иванов.

Черным клубом палы идет, вода кипит, горы стонут. Тайга колеблется, как платые от ветра.

— Убью! — рычит Кургамыш.

— С'ем! — шипит Туянчи.

Ладно.

И день. И два. И три. Конца битве не видать...

Только листья качаются, жмутся, молятся:

— Хорошо бы Кургамыш победил! Ах, хорошо!

Узнал старый бог — Кутай, всем богам бог, у которого трон из чистого золота в тени березы с алмазными листьями, а подножье — облака, а конь — синегриный, а чамбырь из красного гаруса. Сказал:

— Нельзя богам сердиться, наконец. Бросьте.

А те не бросают. Кургамыш отогнул лицо от урни, крикнул:

— Вот убью и брошу.

И опять за лицо Туянчи схватил.

И махнул рукой старый бог — Кутай. — Рассердился.

В невидимом вихре понеслись Туянчи и Кургамыш. Крутятся, вертятся.

Ветер. Стужа.

РАССКАЗ О СЕБЕ

1

Нет горя большего, как говорить о себе.

Нет радости большей, как любить.

Над Каракорумскими камнями (была некогда там ставка Батыева и Чингиз-хана) ныне песок да ветер. Шел туда с ветром и я. Прошел мимо.

— Все пройдет мимо, но цветом неохватным расцветает за горем радость. Каждую весну — трава, каждую осень журавли летят в Египет.

II

Семь лет не видал я отца и летом 1918 года — увидал. Вышел он за школьную ограду встретить меня: загорелые губы улыбнулись над худым костлявым телом. Жалобно потрогал штаны из мешка и заплакал. Было у него такое лицо, словно сотни лет плакал.

А у меня в мозгу не он, и нет радости. Помню последний день перед бегством из Омска: шли подводы по пыльным душным улицам, я насчитал их семьдесят и ушел. Антон Сорокин говорил:

— Расстреляли чехи...

Может быть, расстреляли, не то убиты в боях под Куломзиным (теперь вы узнали, Антон Семенович).

Везли рано утром, торопливо, и на трупах оседала и сходила розоватая заиртская пыль и такая же пыль была на мне. Я тоже труп, но безжавный.

У матери туго перетянутый, выпирающий сверху живот, и лицо у ней выцветшее, как осенняя трава. Она тихо глядит на меня и спрашивает:

— Тебя как зовут-то теперь?

— Васильи, — отвечаю я.

Она наугадно молчит: у меня чужое имя и чужая фамилия. А позади ее смеется невзрачным идиотским смешком брат мой, Палладий: тонкоукий и тонконогий с огромным вздувшимся животом (у него расширение селе-

зенки, малярия и еще что-то), глазное яблоко у него синевато-серое, а зеница желтая.

— Хэ-и-хээ... смеется он в нос, визигвая.

Мать прячет мою привезенную и зашитую в перине винтовку.

Отец — Вячеслав Алексеевич его зовут — суетясь, показывает запазенную на зиму провизию и, сизу вверх (я выше его на голову) заглядывая мне под брови, говорит:

— Проживем, Василий Семеныч, а... Сколь у тебя имен-то, богатый человек ты, а...

III

Три дня цвели запахами казачьих поселков прииртышских: назмы, курдючные кисло-сладковатые, как солодка овцы, солонцы в сухих камышах...

Пошел на охоту. Было десять патронов, набил мешок уток, а один патрон забыл вынуть. Вечером, когда я сидел под навесом и писал рассказ, удумал Палладий пошалить, нацелился в отца и щелкнул курком.

Лежал отец подле стола, на холщевой рубахе рыхлая мясистая кровь: весь заряд в шею... Через окно на кровь летели сизые мухи, падали на подергивающееся еще лицо.

Позже брат сидел на корточках в кухне и чистил для поминок изюм. Когда я заходил в кухню, он предлагал:

— Всеволод, надо изюму, вот крупнееший, а...

Утки, застреленные мной, тоже пошли на помин. Ели их чубастые казаки, грозил самосудом и, крестясь с матерками, отворачивались от прелого смешка Палладия.

А матери говорили:

— Кабы вам, паре, уехать... може, сын-то твой... бог его знает...

отец-то, Вячеслав Алексеевич, царя чтит...

И опять я бежал.

IV

Степь. Голубые запахи песков. Кизяки. На барханах саксаул гоубийский, на саксауле-дереве коршун. Перо у коршуна на груди смятое, свалывшееся — диняет.

Сидят в повозке мать и брат Палладий. Мать мою зовут Ирина. По бокам дороги подпильенные телеграфные столбы, куски проволоки — большой Семиреченский тракт.

А на кустах караганы — человечьи кишки. Они высохли, ветер да коршун шебушат ими. Тонкие сухие струны из человеческих кишечек...

Кто сыграет на этих струнах.

— Воюют казаки с новоселами за землю. Поймают казаки новосел-то, брюхо подрежут, да на палочку кишки-то и выматывают. Хохочет тот неуждержно, а те над ним... так со смеху и помрет.

— А новоселы?

— Ну, те тоже поймают и тоже на палочку. Так оно, с одной стороны дорогу — новоселы вешают кишки, а с другой — казаки. Ишь их сколь...

От монголов Чингисовых, от туркменов Тамерлановых перенял крепкий обык — сушить на солнце распотешные человечьи кишечки. Потливый коротконогий москвит от косоглазого научился...

... Впереди длинный-длинный караван киргиз. Скрипят неподмазаные арбы, медленно шагают верблюды, и киргизы не глядят на нас, а упрямо на запад. Когда мы обгоняем их, — похоже, нет у них глаз: некая серая пелена, похожая на грязное полотно.

Мать говорит мне:

— От мору бегут.

— Куда?

— Кто их знает! Може — в Китай, може — в Индию. Они, поди, и сами не знают. Жрать нечего, и бегут.

Пески, и сверху почему-то небо. Желтовато-синее, как песок. На караганах, словно поспевшие стручья, ленточки кишечек.

И позади нас медленно, почти не подымая пыли, бредут киргизы, верблюды, арбы. Молчат и ничего не видят. Идут.

Мы тоже идем. И хочется тоже молчать, но нельзя: я знаю, куда иду, а мать боится: и того места, куда я иду, и тех людей, к которым я иду. Тогда мы торопливо говорим, сначала она, потом я, а за ее спиной, прикрыв плечи узорным цветным половиком, тихо, с привизгами, смеется Палладий. Чем мы дальше идем, тем подбористее, визгливее он смеется:

— Хэ-и-ээ...

V

Через день и еще через два дня, и утром и вечером, все одно и то же: пески, караганы, киргизы. Пал у киргиз верблюд, и они покинули его, точно не заметили. На арбе трое ребят, их тоже бросили, переключать нет места, некуда и нет сил. А потом с одной арбы сползла женщина и отстала от каравана.

— Кто это?

— Мать.

Я остановил подводу. Подошел к арбе. Киргизята, широко раскрыв засохшие губы, дышали в степь. Киргизка, поджав ноги, сидела рядом, грязный чулук сполз с головы, и волосы у ней пахли конским потом.

— Умирать собрались... ишь — ни воды, ни хлеба.

Я сказал:

— Надо их взять к себе.

— Лошадь-то и так еле везет.

— Сундук сбросим.

Я наклонился к киргизятам и хотел подхватить их на руки. Киргизка подползла и, вцепившись в ребят, шипела:

— Китеер... уколи... уколи...

Я угораривал ее, объяснял. Она, скривив рот, царапала песок и ненавидисто глядела мне в ноги. Баруг подпрыгнула и царапнула меня по лицу длинными сизыми ногтями.

Мать, схватив ее за волосы, ударила о песок. Вцепившись, царапаясь, они били друг друга, и я не мог их разнять. А брат, сидя на телеге, махал тоненькими желтыми рученками, крысино смеялся:

— Хэ-и-хээ...

Киргизка с ребятами осталась. Мать опять села на воз, рядом с братом и, боязливо глядя на запад, молчала.

От песков несло сухими и синими запахами. Над телеграфными столбами кружил лохмогрудый беркут. Караганы. Верблюды. Вечера.

Нет горя большего, как говорить о себе.

... И нет большей радости.

Ц В Е Т Н Ы Е В Е Т Р А

(Повесть)

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

XXXIV

Рыжебородый Наумыч обивал кошками верх телеги.

У потухших костров, завернувшись в тулупы, спали мужики. Телеги вздернули оглобли, и в зеленовато-желтом сумраке, казалось, рос по котловине прямоствольный тальник.

А бужи в котловине пески да прижухлые травы, мелкие, как песок. И еще озеро в камышах и солончах, похожих на плиты соли.

Пришел с осмотра лагеря Никитин, одна щека была у него перевязана — болеи зубы.

Наумыч сказал:

— Привезем мы вас к самой борьбе — скажем для виду-то — болящие, али что... кабы спросит.

Никитин спросил:

— Оружие привезли?

Наумыч почесал молотком бок.

— Оружьё?.. Ты, ведь, баял — не привозить.

— Не нужно.

— Значит, не привезли. Дисциплина!.. Они тоже понимают!..

Калистрат Ефимыч отозвался с телеги:

— Привезли. Ты ему, Никитин, не верь.

— А ты укажи, — разозленно крикнул Наумыч, — нет, ты укажи, где оно?..

— Найдешь у вас...

— Ну и молчи!.. Раз твое дело молчать! Я—штаб, я отвечаю, понял?

Подлень закружился сухой, желтолицый, яркий.

Яркие отделились от юрт офицеры. Загарцовали в лисьих малахахах бии на иноходцах. Гикали джигиты.

Сказал Калистрат Ефимыч:

— Байга!

И, отгибая кошму на тело, как будто радостно отозвался Никитин:

— Байга!

Пески на поляне желтые, как масло. Люди на земле — липкие блестящие листья. С одной стороны — киргизы, с другой — новоселья.

Желтая, шелковая нить песка перед ними. Лошади дышат торопливо. Тяжел, густ человеческий пот. Ржут телеги, ржут люди; вся земля, пески ржут.

Пыль над поляной, над розовым озером.

Подвели телегу к поляне. Мокрый, с мокрой фуражкой, тискался Наумыч, кричал:

— Не жми! Не жми! Тут болящие-е!..

Хохотали мужики.

Офицер, румяноуший, выехал на средину поляны и, пригибаясь к луке, говорил сбивчиво и волнуясь о дружинах Святого Креста, отрядах Зеленого Знамени, о защите отечества от немцев.

Игренья лошадь играла мускулами. Наумыч сказал:

— Ладный конь!.. Надо приметить!..

Джигит выехал с бараном через седло и понесся. С гиканьем догоняли и рвали барана джигиты.

— Кто вырвет — выиграл, — сказал Наумыч в телегу.

Густо пахущей тайгой стояли мужики, и не один не выбежал на поляну. Только, как ветер листьями, шенелил мчавшийся джигит волосатые веки мужиков.

— наших нет? Не догоняют? — спросил Никитин.

— Борьбы жгут. Это все так... зря...

Голосинные киргизята гнались вперед на коротконогих лошаденках.

Киргизы заикали:

— Ей! Ей!

Но так же, колыхаясь глазами и тесно, стояли мужики.

Киргизы взглянули на темные пласти их тел, на неподвижную шерсть бород и, замолчав, двинулись.

Пахло кислой кошмой в телеге; глядеть в щель нужно через Никитина.

Нельзя было охватить все поле, наполненное людьми.

Калистрат Ефимыч сказал:

— Жарко.

Точно пронизывая кошму длинными, коричневыми от табака пальцами, отвечал в щель Никитин:

— Нет. По-моему, прохладно...

Подходили, под'скакали еще. Впиваясь в мясо толпы телом лошадей, сливались и проглатывали они поле.

Не пески, не земля дышит — мясо в овчинах, в азямах, на телегах, на лошадях. Гнется, вглубь уходит земля — темнеет. Только блещет над ними озеро, камень — скала священная Копай.

Говорит аксакалам шаман Апо:

— Душно мне. Все внутри, как плесень. Зачем жмутся и молчат русские? Зачем они не веселятся, не играют?

Отвечали аксакалы:

— Ничего. Русские сразу веселиться не умеют. Русские хотят видеть борьбу.

Говорят бии:

— Где батырь Докай? Пусть готовится.

Сказал Калистрат Ефимыч:

— Тяжело тут в телеге-то, парены! Только и видно, что гриву, хвост, али рожу киргизскую. Надо на волю.

Через кошму кричал рыжебородый Наумыч:

— Ничего. Сиди, штаб. Это не антиресно все, счас бороться будут. И борода его над телегами, как желтый флаг.

Дышат хлебом — пьяным запахом мужики. Небо хмельное играет над поляной. Лица хмельные, волосатые, как кустарники.

— Дава-ай!..

— Кузьма-а!..

— Борись, немаканы!

Говорит шаман Апо:
— Сердце у меня бьется, как священный бубен. Не отдадут кабинетские земли русские.

Отвечают джатоchnики:

— Не надо нам земли. Пусть бии ведут нас в Китай... Не хотим мы воевать!..

Кричат джигиты на иноходцах:

— Докай идет, идет Докай, на русского хочет бороться...

Говорит шаман Апо:

— Подымите меня над арбой — хочу видеть борьбу.

XXXV

Завенел холм, что котловиной. Смотрят — поднимаются длинные фуругоны, зеленые. Лошади рослые и, взойдя на холм, не шелохнутся. Ждут. Подмигнул за кошмой Наумыч:

— Немсы — холонысты!..

— Зачем они?

— Они-то, Микитин, очень просто. Приехали, значит — коли киргиз нас бить будет — наше добро подобрать. Коли мы киргиз — киргизское. Однако, обязательно придется киргиз бить...

Докай — борец, низенький, губы тонкие, как степное озеро, лыс и во всю голову шрам. Кузьма над ним, как бык над овдой. Вытянул руки, взяв за опояску, поднял на руках, потряс и на землю — а-а-а!..

Ахнули мужики:

— Э-э-х!..

Охнул в телеге Калистрат Ефимыч.

— Та-ак!..

Нет, на ногах киргиз. Песок с ичика стрес, лицо бескровное, желтое. У Кузьмы муть по лицу.

Уперся киргизский борец, заворочался в песке ногами. Забился и вытянулся на его руках в воздухе — Кузьма.

Загикали, засвистали киргизы:

— Солай! Солай!.. Айда, Докай, айда!

Рывкнула земля, запылдилась. Пыль-песок на телегу Калистрата Ефимыча.

Нет, на ногах борцы. Опояски не выдержали, лопнули. Надо сменять опояски.

Рванул за опояску Кузьму, забороздил телом киргиз. Поташил его Кузьма, как tavoloжник, из земли. Трещат кости, жилы лопаются, из носу, рта — кровь.

Не падает киргиз, держится.

Полощутся на поле мужики, густой пылью рев висит:

— Кузьма! Кузя, не выдавай!

— Кузя!.. Голубы!..

Свистят киргизы. Лошади ржут, арбы скрипят.

— Докай!.. Тэ-эк!.. Батырь!

— Айда, Докай!..

В пене, в крови борцы. В пене люди и лошади. В пене земля. Все борется, все гнется, все ломается... Ветер ли, люди ли, тайга ли!..

— Э-эй, Докай!..

— Ге-ей, Кузя!..

И только те — неподвижные, четырехугольные, вдали, — ждут на холмах, молчат.

И еще оторвал от земли Кузьму Докай. И еще понес, тиская мясo и жилы. В пене крови, руки, опояска; тело — лопается, рвется. Мясо — на голую землю, на голого.

Душно в телеге, жарко. Откинул полог Калистрат Ефимыч, в голос поднялся над телегой:

— Ку-узьма!.. Ва-а-а-ляй!..

Не слышно его голоса; все орут, землю рвут телеги.

— Ку-узьма-а!..

— Ва-а-ляй!..

И час, и два, и до обеда ходили, тискали землю борцы.

Дышат в один мах — привыкли. Глаз тоже один — мутный, смертоносный. Руки на поясах в телег вросли, опояски кости ломают, ноги землю ломают. Не переломать ей кости, не согнуть землю.

Охрипли от рева киргизы и русские. Отхлынули от борцов.

А они — в пыли, в крови и в пене — ходят. Рты не закрываются, по плечам течет на землю слюнь и все тело — один рот...

Мечется в телеге Калистрат Ефимыч, за руки, за плечи Никитина хватает:

— Кузя!.. не выдавай!.. Микитин, ты-то чево, ты-то!..

Темным пламенем горит глаз. Смотрит через борцов, через юрты.

Не отвечает Никитин.

— Кузя, ты ево, ты-ж!..

Ходят борцы. Весь день ходят. Весь день ревут на лошадях киргизы. Вечер.

Ушли офицеры — устали. Казаки на конях дремят.

Солнце — усталый борец — подходит к тайге. Ветер в золотом бешмете несется по котловине, сонный ветер, усталый.

Гикают киргизы, кричат:

— Кончай, Докай, славный батырь, кончай!

Гудят, ревут мужики:

— Буде, Кузя, буде, родной!.. Крой ево, стерву, намакану!

Обернулся Кузьма и, не шевеля ртом, сказал:

— Си-ча-ас...

Ослабли руки и дернул от себя тело Докая, а потом грудью — хрясь. Как щепка переломилась пыль над головой, туман розово-золотистый.

Заревели мужики:

— Так ево, та-ак...

Кинулись к песку, пыль сорвалась — опять на земле. А на земле, скрючив руки и запрокинув голову, поборотый Кузьма.

Над ним Докай, оперся в грудь его, подняться сил нет. Пальцы скрючены в опояске.

Гикают радостно киргизы:

— Солай, э-эй!.. Поборол русского! Э-эй!..

К мужикам Наумыч. Борода красная в крови.

— Кузя-то, парни, отошел!

— С насдады?

— Эх, ты-ы!.. — крикнул Наумыч.

И ножом в усталый глаз Докай! По рукояти пополз глаз на землю. По телу Кузьмы пополз Докай на землю.

В лошадях закричали:

— Кро-ой, православыне!..

И топот. И рев в топоте, как пыль — алый...

С разбитою головою на арбе киргиз. Юрты в крови.
 Небо багово.
 Лошади ржут.
 Травы в криках:
 — Степша-а! ..
 — Реежь! ..
 — Не спрашивай!
 — Режь! ..

Топор в голову, как в гнилое полено. Аракчин на голове — не расколешь.

Не бей топором в плечо — в голову!
 — Офицера-а! .. Офицера! .. В пагон ево, стерву, бей в пагон!
 Ра-аз! Топор по погону! Вместе с плечом, погон полощется кровью.
 — Получай генеральство! ..

Колом киргиз, колом. Патронов мало — бей киргиз колом. Красные мокрые колья.

— Кабинетскую землю — хочешь?
 — Получай!
 За юрты прячутся киргизы. За кучи кизяка, в табуны.
 — Скотину не трожь!
 — Скотина годна! ..

В арбах скрипят. Визжат. Бегут по котловине арбы. Бегут киргизы
 Как ксмар от дыма.

Табуны бегут. Никнут в топоте кровавые травы.
 — Скотину не пушай! ..
 — Ладно-о! ..
 — Волки задерут!
 Киргизы по котловине. Киргизы в камыши.
 — В камышах стреляют. Офицер! .. Солдаты! ..
 — Окопайся! ..
 — Микитина сюда, Микитина! ..
 — Э-э-ой-ой, товарищи!
 — Держись! ..

Небо на земле. В озеро кровь льет. Кровь вяло пахнет.

Спускаются с холма медленно, неторопливо четырехугольные. Тихо позвякают фургоны. Они обемистые, они подберут.

И еще — степь... Бежит. Пески бегут.

Котловина, лога ...
 Кошма под ногами. Ноги мнут кошму. Ноги сорвали кошму.
 Лошади рвут возжи. Телега рвет землю.
 Синебородый, огромный, мечется в телеге.
 — Одно-о, Микитин, земло-ю! .. не дадим! .. Микитин! .. гони-и! ..
 По трупам, по рукам, по ногам несется синяя телега. На шипах кровь, мясо, пески, травы.
 — Гони-и! ..
 Гонит Калистрат Ефимыч лошадей. В крови гривы. Облака над степью — алые гривы.
 — Товарищи-и! .. Тише, товарищи! ..
 — Гони, Наумыч, бей!
 Камыши стреляют. Озеро стреляет. Над озером плачутся утки.
 Руки в топоре.
 — Гони! ..
 — Землю тебе-е? ..

— Кузьку-то... Кузьку? ..
 За телегами — телеги, телеги... Лошади... Винтовки... Пуле-мет...
 — Зачем оружие? Как смели оружие? — спрашивает Никитин.
 Камыши горят. Стреляют. Телеги ломаются на телах киргиз, как на корнях.

Седла на земле. Кошмы.
 Турсуки, овцы блеют, напуганы...
 — Бе-ей! ..
 — Микитин, к камышам тебя, Микитин! ..
 По турсукам, по овцам. Киргизский чувлук по ветру. Бей в чувлук!
 По юртам телеги. Грохочут. Небо грохочет, ветер грохочет.
 Камыши горят. Кровью горят бороды.
 — Выживем!
 — Выйдут!
 Травы горят. Небо в дыму.
 — Траву! ..
 — Не уйдешь! ..
 — Микитин! ..
 — Ми-ки-и-тин! ..

Гарь в земле. Бегут киргизы, бегут. По котловинам, в степи...
 — Бисмилля! .. Бисмилля! .. Уй-бой! ..
 — Карагым! .. Ченымау! ..
 — Бей! ..
 — Крой на мою голову! ..

Из камышей с поднятыми руками офицер и солдаты. В камышах — дым, треск.

К озеру на телеге Никитин:
 — Товарищи, не трогай-и! ..
 Офицер впереди, офицер впереди всегда. Раз ты впереди — получай!
 — Бра-атцы! ..
 Топором в рот. На топоре зубы. На земле офицер.
 Чужие земли раздавать? ..
 На документе — поручик Миронов. И еще в кобуре наган. Сгодится. Никитин на телеге:
 — Расстрелять! .. Кто тут смел?
 Нет никого. Степь. По степи киргизы. Киргиз надо догонять.
 На коленях солдаты. Руки вверх.
 — Э-ей! .. Конной! ..
 Какие конвои? Степь горит. Камыши горят. Треск на небе. Облака горят.

В топоре рука...
 — Кро-ой...
 Эй, земля хмельная, убийца! Лошади хмельно мечутся. Давай лошадь.

Не эту, так другую.
 — Куда, Ефимыч?
 — Поеду. Все равно!
 Конечно, все равно: раз небо горит. Раз озеро горит.
 Лошадь боится синебородого — несет. Топор за поясом, лошадь за поясом.
 Все равно...

— Листра-ат Ефимы-ыч!.. Батюшка! С нами!
 Это камыши! Эх, камыши, так камыши! Жги, бей!..
 Пала лошадь, еще есть.
 Гони!
 Багровая, звонкая степь. По степи скачут. По степи палы — огни
 в траве, пурпуровые языки в небо...
 Лошади нет под собой, лошадь на земле стучит. Синебородый по го-
 рячему ветру!
 — Э-э-эй!..
 — О-о-ой!..
 Ой-бой!..
 Убивать, так убивать. Жечь, так жечь. Всех убивать, все жечь.
 — Кро-ой!..

Медленно, спокойно шли длинные фургоны по следам. Лежали там
 ровно сложенные кошки, меха, седла. Гнали четырехугольные, крепкие и
 многочисленные люди свои крепкие, четырехугольные жилища — стада. Ло-
 шадей сгоняли, овец. Медленно, неторопливо. Ночь длинная, зачем уставать.
 Волки огня боятся. Торопиться не стоит!

Федор Васильевич ГЛАДКОВ

Автобиографическое письмо

Родился в 1883 г. в деревне Чернавке, Саратовской губ., Петровского
 уезда, в бедной крестьянской семье. До 9 лет жил безвыездно в деревне.
 К этому времени выучился грамоте у старообрядческого начетчика (наша
 семья была старообрядческая). От бабушки и бродячих проповедников на-
 слухался апокрифических сказаний. Красоты музыки познал в старинных
 песнях, духовных стихах, причитаньях и пригудках. Большое влияние имели
 на меня бабушка (крепостная) и мать, которые хорошо умели плакать и рас-
 казывать.

С 9 лет — на чужой стороне: то на рыболовных волжских и каспийских
 ватагах, то на сельских работах на Кавказе с отцом и матерью. С 1895 г.
 прочно укреслился в Краснодаре, где отец работает на паровой мельнице,
 а мать на полевой работе. Очень хочу учиться, очень много читаю: кроме
 лубка, успел прочесть всех классиков. Опынялся Лермонтовым, Достоев-
 ским и Толстым. Равнодушным остался к Пушкину и Гоголю. Хотел по-
 ступить в гимназию, но не приняли: сдал экзамены мальчиком. Вместо
 гимназии, отдали меня в науку в аптекарский магазин мальчиком. Не
 выдержал — бежал. Попал в литографию, тоже бежал. Наконец, попадаю
 мальчиком в типографию. Проработал с полгода и опять бежал. Гнала
 тоска по школьной науке. По своему упрямству добился места на учениче-
 ской парте городского училища. Окончил школу в 1901 г.

Школьная полость моей жизни совпала с длительной безработицей ро-
 дных. Помогал им грошовым релитературом и копеечным гонораром газет-
 ного хроникера, начинающего беллетриста. В то время мне было 17 лет.

¹ Этот отрывок взят из повести «Цветные ветра», которая рисует картину парти-
 занской борьбы в Сибири. Появилась эта повесть в 1922 г. отдельным изданием в Петро-
 граде в изд. Эпоха, стр. 85. Характеристика творчества и оценка этой повести дана мною
 в 1922 г. в журнале «Современник» 1922 г., кн. I, и А. Воронским в журнале «Красная
 Ньва» 1922 г.

Результатом отчаянных лишений и хронического голодания (питался в об-
 зорках Старого базара), я опасно заболел и пролежал в больнице месяца
 два. Не успев выйти из больницы — отца схватили за сбыт фальшивых монет
 и посадили в тюрьму, а через полгода угнали в каторгу в Забайкалье. Сле-
 дую за родными в Сибирь. Служу учителем в глухой челдонской деревушке.
 В 1905 г. отец выходит на поселенье. Покупаю ему избу и все необходимое
 для крестьянства и еду в Москву без гроша денег в кармане, с одним роман-
 тическим стремлением — учиться в университете. Раздавались первые удары
 революции. Вместо Москвы, попал в Тифлис, где поступаю в учительский
 институт. Но через полгода держу экзамен экстерном. В то же время
 втягиваюсь в революционную работу. Перелетаю на Кубань. Работаю
 в с.-д. кружках. Спасуюсь от ареста в Забайкалье, где попадаю в лапы жандар-
 маров. Три года — ссылка на Лене. Потом опять на Кубани, где активно
 провел всю гражданскую войну, как коммунист. Начал писать еще в школе
 с 17 лет. Печатались в местных газетах. Знал хорошо быт рабочих и бояс-
 чекский. Рассказы мои имели большой успех. Завязал переписку с Макси-
 мом Горьким, который отнесся ко мне очень внимательно и тепло. На меня
 он имел огромное влияние. Сердечно отнесся ко мне также Короленко.
 Переписка с ними, с небольшими перерывами, продолжалась до последнего
 времени. Первый большой рассказ был принят в журнал «Заветы» в 1913 г.,
 но в 1914 году журнал был закрыт. Повесть была передана в «Современ-
 ник», но он был закрыт. Повесть, под заглавием «Изгой» (с сокраще-
 ниями), была напечатана только теперь в «Наших Днях». В 1917 году в «Ле-
 тописни» печатается «Пучина». Остальное относится к истории последних
 дней.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ФЕДОРЕ ГЛАДКОВЕ

Ф. Гладков — автор пьес «Ватага», «Бурелом», рассказов «Пучина», «Волки», повести
 «Огненный конь», превосходного рассказа «Трудобой» — связал свое творчество с напря-
 женной, полной движения жизнью революционной России. Старый партийный работник,
 отбывший три года ссылки на Лене, он активно участвовал в гражданской войне
 на Кубани и всю остроту своих глубоко выстраданных переживаний положил в основу
 своих лучших произведений: «Огненный конь», «Волки». После Всеволода Иванова — это
 лучший изобразитель кровавых эпизодов гражданской войны. Если создатель сибирской
 революционной эпопеи Всеволод Иванов увековечил, воспел партизанскую Сибирь с ее
 бескрайней ширью, с ее цветными ветрами, с ее былинными людьми, точно востановил
 из древней песни, то Федор Гладков показал нам в своих повестях и рассказах трагиче-
 ского лицо новой жизни, рождающейся в муках родов. Не упоением в бою, не буйством
 бытия, а глубоким раздумьем веет от всех его произведений, и это раздумье даже расхо-
 ливает читателя.

В своих метаниях по необъятной России автор «Огненного коня» «перелетел»
 с Лены на Кубань, из величано-сурового Забайкалья — в тот край, «где все обильнее
 дышет», для того, чтобы в своем сжатом пейзаже, полном метких, запоминаемых штрихов,
 в диалоге, исполненном драматизма, в смертельных схватках братьев-врагов — развернул
 трагическое в борьбе, вскрыл психологию людей-героев, людей-вожков, показать
 стремительный бег «Огненного коня». Если Всеволод Иванов переносил свои
 растущие повествования истинными вистантами, развертывая перед вами широкое поле,
 любясь, упиваясь красками, медленно по существу о том, что происходит так быстро,
 и если В. Иванов уходит все существом своим в бескрайнюю ширь, то Федор Гладков
 не повсюду, а драматизирует. Его «Огненный конь» не повесть, а рассказанная драма,
 которой место на сцене перед большими массами. Не вишир, а глубоко глядит художник,
 в «пузыли» исторических событий, не умея любоваться «Цветными ветрами».
 Самый пейзаж у него, часто подчеркнуто-идиллический, только резко отенит трагиче-
 ский и ожесточенный борьбу. Его интрига притягивает коммарио-бурное в жизни,
 и стиль его — разрывчатый, лишенный отчужденных резких линий — напоминает порою
 резк рядового казака Гмыри: «бунил угарю Гмыря, бестогово и сумбурно, и слова
 его необычные и исковерканные, похожие на загадки, были бредовыми, и от этого каза-

лись заовещаним, несущими жуть. Андрей Гузья смотрел на него с неубывающей тревогой и, измученный, все силился найти для себя «какую-то точку опоры». Эту точку опоры трудно найти порой и в напряженных до жутки произведениях Ф. Гладкова. Только на пейзаже его, шевченковский-идиллическом, отдыхает на миг душа читателя, измученная бредовым и кошмарным, и читатель невольно бессознательно длит впечатление, получаемое от нескольких штрихов, брошенных мимоходом: «От хаты к хатке, в уютно, черной палатой брошена тень. Там — утроба — зеленая плав, дымная река. Тут — черные куски ночи у хат. И на той стороне — хаты — снежные комья». Вспоминаются Н. Гоголь, Т. Шевченко, что-то далекое и древнее; встают за курганами призраки и Запорожской Сечи, и Скифской Руси. Звучит южная красочная речь, и местный колорит этой речи так непохож на думные тажикские слова Героса Всесоюда Иванова с его земляными людьми, с его зеленоборлыми мужиками. В центре внимания художника заочная борьба Кубань. Здесь сошлись в смертельной схватке старое и новое казачество, старая и новая правда. В сборнике «Пущина» не даром занимает центральное место борьба вчерашних друзей детства и соратников, «побратимов», как выражаются славяне, бывшего казачьего офицера Гузья и рядового казака Гмыри из одной и той же станицы. Художник всем сердцем на стороне новой правды, но он с изумительной объективностью и глубиной рисует полубезумные, кошмарно-бредовые переживания Андрея Гузья, переживания, над которыми титует, как рок, власть среды с ее старой правдой. Смертельная схватка двух друзей-врагов в повести «Огненный конь» получает глубокий символический смысл и освещает, как яркий проектор, все поле гражданской войны, весь ее трагический героизм. При ярком свете встают из пущины и суворовские метанья, как в бреду, Андрея Гузья, и каменная твердость его закаляющего врага-друга, Гмыри. В смертельных объятиях задухи Гмыри — сын революции — своего друга, изменившего ей — «такова година». «В жмурки играет душа» — говорит один из персонажей повести. Это «игру в жмурки» над пропастью, над самой пущиной изображает художник. Он выбирает моменты нарочито жуткие, когда человек встает в свой последний час во весь рост и в своей безумной решимости, и в застывшем ужасе, и в самоубийственном ожесточении. Видно, что он наглядялся на этот последний час человека. Этому последнему часу посвящена глава «Присноподья» в его повести «Огненный конь».

У Федора Гладкова серьезное отношение к жизни с ее проклятыми вопросами. Ему предстоит преодолеть влияние Леонида Андреева и Ф. Достоевского и противопоставить кошмарно-бредовому великую силу беззаветного энтузиазма, которому даю двигаться горами. Пожелаем ему сил такого энтузиазма, озаренного светом выстраданной мысли.

В. Львов-Рогачевский.

ТРУДОБОЙ

1

... Горы поют оркестрами кирок, лопат и молотов. Рельсы четыремя струнами натягиваются на каменном грифе. Они рождаются там, внизу, в пирамидах каменных отвалов, среди отдалой тишины железобетонных корпусов завода, и взлетают в высь, в седловину горного перевала, в разрез ступенчатых массивов — великой стройки минувших циклопических эпох.

Чувствовал не каждого отдельного человека Глеб, а внутреннюю лавину мускульного движения масс за собою и вперед себя. Купаясь в поту, — рубаха прилипала к телу, как пленка, — по-бычи выворачивал киркою цементный сланец и шпат. И не сознанием, а интуитом чувствовал Глеб, что животная сила взрывалась не в нем, а вливалась в него через грохот земли — через камни и рельсы — от этой огромной толпы, муравьиной гирляндой в волнах, со стонами и криками, идущей через него, снизу, от труб и корпусов завода, от каменных отвалов в дымах и огнях скрупулы, — вверх, к обелискам электропередачи, к колесам, готовым к полету.

Стал в передышке, опираясь на кайлу, и увидел солнце и склоны гор, кратерной воронкой стекающие вниз, в море, небесно голубеющее в чаще облачных гор. Белые клубящиеся облака перекатываются в сини, и алые маки огненными вспышками порхают по зелени гор. И всюду — пламень: это ку-

сты скумпны полыхают солнцем, и цветы их выжаты опаловым дымом. А внизу трубы завода дрожат гигантскими стеклянными цилиндрами, и молчит холодный завод пыльными покнутыми корпусами.

Не это важно, — а важно вот это: прибойные волны труда муравейно собранных масс. Вот они перед ним, и их нельзя счесть и ощупать каждого в отдельности, нельзя поглядеть каклому в лицо. Алыми вспышками летают маки в зелени, среди раскаленных камней, опаловыми кострами дымится скумпня. И толпы людей — живые цветы. Красные колышутся повязки: это — женщины, как горные маки. Играют белые, синие, коричневые рубахи и куртки. Вот оно то, о чем думал он так недавно, что хотел он создать в тоске по труду.

Технорук, инженер Клейст, сухой и мосластый, опираясь на толстую палку (автор проекта по сооружению колоссального бремсберга), сам лично руководит массовыми работами, и юркие техники и десяткики постоянно подруговодит к нему, надрываясь от усталости, и требуют указаний. А он, сутубегают к нему, надрываясь от усталости, и зорко глядя мимо них, бросает никому не слышные фразы.

Инженер Клейст... Глеб смотрит на него, срываясь на смех... Инженер Клейст — преданный спец Советской Республики... тот инженер Клейст, который когда-то предал его на смерть и на муку. Рабочий Глеб Чумалов способен быть другом инженера Клейста...

Он останавливается недалеко весь размах горных работ, и в глазах его несколько раз внимательно озирает весь размах горных работ, и в глазах его Глеб видит гордость и вспышки волнения. Взглянули друг в друга, и лицо инженера Клейста дрогнуло от смутной тревоги.

— Товарищ технорук, под какой-то учет берете вы нашу работу? Ваши чертвые чертежи — в преждевремени на месяц труда, а мы грохаем разом... Ядовитые люди!..

Инженер Клейст натужно улыбнулся и, сохраняя привычную важность, разрывава деловое выражение, сказал строго:

— Да, да... С таким размахом работы можно делать чудеса. Но это — незаконная трата сил. Здесь нет планомерности и организованного разделения труда. Энтузиазм, как ливень: он непродолжителен и вреден.

— Знаменитый факт, товарищ технорук... Энтузиазмом мы бьем... и оживим всю эту махину... а тогда учите нас процессу производства. Инженер Клейст встретил ирающий смех в глазах Глеба и зябло дрогнул. Опираясь напалку, пошел в гору, к горящим обелискам электропередачи. Нестерпимо пахло солнцем — каменным накалом и женой травой. Во рту и глазах горело пылью.

В горах звонили колокола. Хорошо. Все — огромно и беспредельно. Солнце — живое, как человек. Оно — близко, и бурно насыщает кровью каждую клеточку тела, и кровь — живая, поющая солнцем.

Масса, тысячи рук, слетенных в тысячах взмахах, в реве лопат и молотов, тысячи тел в чешуичатом гигантском движении одного тела... Живая человеческая машина, идущая в недра камней, в кристаллы шпатов, потрясающая глубины кембрийских веков.

В высь... Железный путь к солнечным вершинам... Четкие линии рельс струятся по ребрам шпал в пропасть, на дно разрабтоток, и вверх, в паутинные члесты электропередачи, к колесам в голубых обелисках. Пройдет час — напрягутся железные струны канатов и лягут на солнце раскаленными нитями, и медными трубами запоят вагонетки — и вверх, и вниз, и вверх, и вниз...

Шла к нему Мехова в алой повязке и смеялась. Тащила за собой лопатку. Играя камнями, смеялась с ней вместе и лопатка.

Лухова, предсовпроф, в черном пламени волос, стоя на каменном устье, между обелисков, в блузе без пояса, с открытой грудью. Вот-вот он призвонно выростит руки вперед и крикнет... И горы и воздух загремят перекатами в глубинах и далах.

Мехова смеется, и смеется у ней в руках лопатка, играя камнями.

— Ой, как я устала, товарищ Чумалов... Поддержи слабую женщину...

Бросила руку ему на плечо и оперлась грудью на грудь. И дышала со стоном — не успевала дышать. Задыхалась и вскрикивала от смеха.

Он опирался на кайлу, она — на его грудь, и оба смеялись друг другу в лицо. Это солнце смеялось в золотых нитях, это смеялась кровью земля.

Глеб подхватил ее под мышки и полным взмахом поднял над собою. Защевелились и треснули косточки в руках, и была она близкая, такая доступная и горящая, как алый вот этот мак. И опиралась она на его грудь так доверчиво, без дурманной игры, а мускулы ее под его руками упруги и насыщены кровью — ее мускулы сильные и готовы к борьбе. Это почувствовал Глеб, а увидел в глазах ее тот огонек, какой упрямо горел в глазах жены Дашин — новый для него, невиданный ранее в бабе. Не пошла Даша покорно на его насилие — не поидет и Поля Мехова, эта девушка без женской игры.

От внезапного взлета она вскрикнула, рванулась из рук и прыгнула на камни.

— Ты сильный, Чумалов, мужик, но ведь неэкономно тратить свою силу на игру с женщинами. У тебя есть жена, Даша, которая тоже имеет право на долю твоей силы...

— Она, чортова Дашка, не хочет признавать мою силу.

— Не думаешь ли ты, что я из таких, которые твою силу хотят признавать и ей подчиниться?

— Будь они прокляты, эти бабы... Платок они оборотом свернули на бескозырку — узелок с подбородка на затылок, а волосы все выдрали гребенкой. Почему эти юбки, коли нужно юбки разорвать на штаны?

— Ага, ты хочешь, Глеб Чумалов, чтобы женщина оставалась для тебя куклой со всякими атрибутами женственности? Нет, милый мой, тебе придется познакомиться с новой бабой, с советской. Ты ее проморгал, и она оказывается сильнее тебя: она научилась бороться сразу на двух фронтах — и против буржуазии и против мужиков... Тебе придется, дорогой товарищ, перековать свой черепок и уложить мозги в новом порядке...

— Пущай так... Мозги мои — хорошие мозги, — то я знаю... И баба наша — знаменитая баба... Но баба-ж — всегда баба: на какого чорта она лезет в мужика?

— Ты ошибаешься, Глеб: не в мужика лезет баба, а спорит с ним по вопросу об организаторской роли женщины... Смотри, какая дерзость!..

Сильным упором ног, с кайлой на плече, шла мимо Даша. За нею — маковая толпа женщин в смехе и криках (бабы в толпе это — птицы в полете). Они шли к электропередаче для штокки путей.

— Вот она, Дашка, — знаменитый поведарь, а была когда-то только жена. Он схватил ее на перепутье в обнимку и прижал к себе. Она изумленно взглянула на него, как чужая, и под руками его не дрогнула бабой. Опять не узнавалась Даша: ребра ее были крупны, и мускулы упруги и тверды, как у мужика.

— А ну, не баловаться, товарищ Глеб. Не точи языком, коли не хочешь отстать от массы.

Мехова засмеялась, и в глазах ее заиграли ручейки.

— Твой муж, Даша, сделал попытку поиграть со мною в любовь...

— А то-ж — его дело, коли он находит для этого потребность и время.

И пошла, не оглядываясь, с кайлой на плече, в цветущей гуще бабьего смешливого перекалка.

— Вот, чортова баба, — выиди?...

— Она тебя очень любит и гордится тобою, товарищ Чумалов. Даша — сильная женщина, настоящая большевичка, и я ее очень люблю.

— Знаменитая любовь, в какой-я я ни бельмеса не понимаю... Такую любовь с наскоку не наркнешь: ее надо дискуссионировать, как экономическую политику.

В глазах Меховой играли ручейки.

Глеб отошел от нее на шаг и вскинул на плечо кайлу, круго повернулся и мускульным шагом пошел в толпу, грохочущую взмахами кирок и молотов.

— Хо-хо, товарищи!..

Савчук в головке строительных рабочих пришивал рельсы шипами к шпалам, — грохал молотом в пьяном припадке взбешенного трудом человека. Кровью набухло лицо, кровью горели белки, и толстые жилы на руках и на шее узловатыми веревками оплетали мускулы под кожей в потоках пота.

— Бей, Савчук, чортов бондарь!.. Готовь свои пилы в бондарне — пущай запоят они невестами...

— Бьем, идоловы души!.. Найду огня для завода, подлый Глеб...

Коли растравил, иди, проклятый, в головке...

— Бита!.. Товарищи, трудобойо — ура!..

Взмахнула кайлою, зарорал всею грудью, и масса взорвалась кайлами и лопатами и в реве и гуде заволновалась, грозно оцетинилась, как армия, оружием.

— ... рра—а!.. рра—а!..

И с высоты видел Глеб, как утробный потрясающий рев взрывался над толпами тысячами кирок, инструментов и рук и могучей грузной волной катился вниз, на дно горы. Люди там были маленькие, как муравьи. Они тоже там махали руками, кидали вверх шапки, черненькие капельки — и, вероятно, тоже кричали.

Мехова огромными глазами глядела на Глеба.

Канаты лежали змеями на блоках и струнно гудели металлом. Колеса крылато насыщались электрическим полетом.

Красноармейцы сторожевыми птицами опирались на винтовки в седловине перевала. Над ними и мимо них стекали вниз зеленой пеной кустарики и туя. Винтовки и шлемы — ядрены и чутки, и зорко смотрели товарищи красноармейцы на камни и в дремучие провалы по ту сторону гор.

Утомленный, выбыл из строя Сергей, интеллигент, член партии, ответственный работник. С набухшим от крови, искаженным лицом, сутулый, с дрожью в конечностях, отошел к Меховой, свалился около ее ног на камни.

— Ну, что, милый интеллигент?... Вы ранены... Не скажете ли вы, что не всегда сладки корни коммунистического труда?

И Мехова ласково потрела его за рукав.

А улыбка его засветилась весело, по-ребячи, и с носа и подбородка огненными капельками скатились на руки пот. Взял руку Меховой и пожал по-дружески, крепко.

— Хочу передохнуть, Поля... Сел вот и — чувствую, — нехорошо... Работают все, а я отдыхаю... нехорошо...

— Вы слышали, Сергей? Глеб назвал все это трудобоем. Хорошее слово... Рабочий создает новые слова, потому что дает новые формы труда... Да, Глеб — новый человек... Он живет такой громадной силой на-пряжения, что ее хватало бы каждому из нас на 200 лет жизни.

— Вы видите, Сергей? Он умеет остаться в тени, но всюду чувствуется его сила. Этот бремсберг — его создание. И я знаю, что эта заводская громадина будет им пушена в ход. В республике это — одно из величайших со-оружений...

— Глядите, какой размах, Поля!.. Здесь вдыхаешь не воздух, а це-лый мир... целый мир!..

Поля загорелась восторгом.

— Мы — на высотах, Сергей, и с высот так широко горизонты... И наши высоты, это — наше великое горение, наше счастье, наши страдания... Отсюда так больно знать наши ошибки, кровь, нелепости, жертвы и нечеловеческий героизм... В этом — наше обречение и наш полет. С этих высот идеал так безграничен и так переносно тяжел. Какое величайшее счастье быть живыми частями рабочего класса!..

Не видела Сергея — видела что-то другое, необычайное, чего не видел Сергей.

— Но страдания, Поля... Чем ни выше и дальше, тем больше страда-ний. Чем ни больше побед, тем острее и глубже страдания. Почему это? Это — трагедия. И в этом обречении — закон: без боли — нет силы, без трагедии — нет высот... Вот и новая грань — нэп... мучительная грань...

— Что такое нэп, Сергей?

Поля осела и растерянно посмотрела на Сергея. Он уже не раз видел ее испуг и тревогу при этом слове. В нем была ее боль, и боль приводила ее в сматнение.

— Что такое нэп?.. Я чувствую, что в этом есть что-то позорное и страшное... какая-то паническая вертушка... Ведь все было так понятно и просто. И вдруг — запутанный узел, неленая чехарда, жуть... Я не могу говорить об этом.

Смутились и Сергей и жалко улыбался.

— Мы должны перейти этот страшный перевал, Поля: мы должны только побеждать. Вниз и вверх, вниз и вверх... На высотах больше скал и пропасти... Много вопросов, Поля... очень много, и каждый вопрос тре-бует своего ответа. Пропasti и высоты, — это одно и то же...

Поля смотрела на толпу и искала Глеба. Прошла мимо Сергея, вверх по склону горы, к головной артели рабочих, сбивающих стальные рельсы в по-следних звеньях.

Играющий конницей пробежал мимо Сергея заводской комсомол с ви-гом и хохотом. Подхваченная потоком, Мехова исчезла в пыхающих крас-ных повахках.

Лопался воздух далеко, за вершинами, и осколками падал на землю. Сначала не было слышно выстрелов за грохотом работы. Работа к концу всегда напряженно-пьяна: последние удары — всегда разящи, метки и раз-машисто сильны, и последние усилия мускул превращают сознание в напор. И когда с электропередачи взрезался в массы тревожный крик Лухавы, пе-релые ряды смешались, в испуге и изумлении посмотрели вверх. Красноармейцы суетились у перевала: прыгали в перебежке, ложились в камнях и стреляли торопливо, вразброд, без команды.

Лухава поднял обе руки и кричал до надрыва:

— Товарищи!.. Спокойствие... Работа идет... Все — на своих местах...

Стрельба взрывала воздух, и он осколками падал на землю. Работы остановились, и тысячи людей от вершины до дна осели лавиной. В центре началась паника: лопнули скрепы, будто взорвались камни, и толпа неудар-жимым потоком понеслась вниз, падая, кувыркаясь в животном реве. Бе-жали и вправо и влево отдельные кучки и одинокие фигуры, падали, катились снопами, опять поднимались, останавливались и опять бежали.

Глеб вскарабкался вверх на несколько махов, затряс кайлой над шлемом.

— Товарищи, бей!.. На месте, чортвы люди!.. Остановим там это дикое стадо — передай до последнего вниз... Бей кайлой глухого и труса... Товарищи коммунисты, — ко мне...

И головной отряд рабочих простроя хлынул по шпалам и камням к Глебу, а за ними волнами побежали другие. И вниз протяжными криками песни запели по одному и хоровым воем звующие голоса:

— Сто-ой!.. о-ой!..

Люди и вправо и влево катились вниз, кувыркались и брызгами разле-тались в стороны, в кустарники и скалы.

Грохотали выстрелы, будто лопались камни в горах. Солнце покрылось пылью, и воздух стал тусклым и огненно красным.

Глеб бросил кайлу, и лицо его стало твердым и угластым.

— Сбегай вниз, Савчук, и ты, Громада, и ты Дашка... и ты, и ты... Ставь на места... Организуй работу... Бери за жабы — и в хвост и гриву, идолово стадо... Перетрусил комариного лета...

И Савчук, и Громада, и Дашка, и еще и еще — камнями запрыгали вниз.

— Товарищи коммунисты, ко мне!.. Шагай чортвы души, живее!.. Товарищ Лухава, продолжай работы. Бери винтовки, товарищи, кроем на бандитов... Шутанем их горохом... Катая винтовки на электропередаче...

И сам первый побежал за винтовкой. За ним побежал головной отряд из коммунистов, а за ними — артелью беспартийные рабочие.

На остоях работали металлисты и электрики — работали спокойно и строго, только в глазах угарно мерцали угольные тревоги.

Разбирали винтовки и патроны, чекдали замками, давили и буторили друг друга, скалили зубы и смеялись. Рубахи — мокрые на спинах. Умыва-лись потом, стряхивали капли пальцами и вытирались рукавами. Беспартий-ные рвались к винтовкам, а их отшивали. Молодой парень с синим бритым черепом, свирепо задыхался от злости.

— Не махай махалка!.. Не задавайся на три копейки!.. Я, может, ждал этого хваста однажды сорок разов... Пешка!.. Я не позволю... Крою, товарищ Чумалов. Это — Митька-забойщик, заводской гармонист и мешечник.

Размахивая руками, он пробрался вперед и вцепился в винтовку.

— Вот она, матаня... Крою, товарищ Чумалов!..

Выстрелы грохотали и за вершиной и на вершине: одни — далеко, дру-гие — близко.

Электрик Басов шлепал нижней губой без подбородка и срывался на пискливый смех.

— Эрькапе... Лютая тактика!.. Я ей не сочувствую на основании красного террора...

Кто-то из рабочих быком промчал:

— Ы-ы... губошлеп!..

— Товарищи... стройся!.. Равняйся знаменито!..
... Сергей смотрел на вершину, на отряд рабочих, который уходил в бой с Глебом, слушал выстрелы и мучительно морщил лоб, только лысина, как прежде, горела улыбочкой на солнце.

Лухава подошел к нему и с острой усмешкой положил ему на плечо руку. Глаза и волосы его искрились черным огнем.

— Ну, что Сергей?.. Не стой Сократом, — не время познавать са-мого себя...

— Почему Чумалов исключил меня из отряда? Я буду протестовать... Разве я мог бы стрелять хуже других и мог бы хуже других умереть?..

— Ты нужен для работ. Видишь, я в том же положении, как и ты. И Лухава игриво высекла огонь из глаз.

— Можешь слушать эту музыку. Такой симфонии — музыки труда и битвы — наши предки не слышали никогда.

Сергей улыбнулся, и морщины смахнулись с его лба.

— Да... Мы живем не годы, а дни, и дни — целые эпохи. Чтобы пережить эти дни человеку XIX века, ему нужно было бы зарядить себя на 200 лет. Земной шар движется с бешеной быстротой... Чем кончится это движение колеса истории? Оно не разлетится вдребезги, Лухава?

Лухава худой и высокий, взрагивал от молодого задора.

— Земной шар только еще начинает развивать свою скорость. Он раскрасился докрасна и расплывится в коммунизм... а там видно будет... Оставь свои вопросы: они глупы и надоедливы, как всякие вопросительные знаки... Пойдем со мною наводить порядок.

3

Поля и Глеб бежали с винтовками на вершину. Враспынную, гремя за-творами, перебегали и тут и там рабочие, смешно приседая и ползая на чет-тырках. Удушливой гарью перехватывал горло знойный воздух, до огня на-каленный солнцем. Пахло перегорелой травой и камнями. Поля карабка-лась по камням около Глеба. Он чувствовал ее мягкое плечо и острый запах женского пота.

— Зачем пошла? Эта знаменитая игрушка стоит мозгов.

— А почему же мне не пойти? Почему ты можешь итти, а я нет?

— Я знаю, как ходят в этом разе... У тебя еще ноги приросли к юбке.

Поля сорвалась на смех.

Вперед, в разных местах, перебегали красноармейцы и рабочие, оста-навливались и стреляли с коленки. Очень далеко — в море ли, за горами ли — пели сирены.

— Это — пули... Я их уже давно не слышала...

Глеб шел с винтовкой на-изготовку, с ним рядом — Мехова тоже с вин-товкой. На лице у нее только один глаз. Красную повязку сорвала и су-нула в карман. Длинные кудри горели золотыми стружками на солнце.

Уже не рабочий был Глеб с кайлой в руках, а опять боевой красно-армеец-военком. Коротко и четко дал дело отряду — зайти с левого фланга и в тыл бандитам и выбить их из лесочка на лысину под удар красноармейцев на перевале. Сам, на виду у обоих отрядов, с вершины будет руководить боем.

— Слышишь, Глеб? Они — рядом: стреляют из-за вершины... Они были уверены, что будет паника... Без сомнения, в этом была их цель... А потом на виду у всех разрушить бремсберг...

Глеб не ответил и, в дюжм упоре, браво шел на крутизну. Мехова не отставала от него. Юбку подтянула выше колен.

Вспомнил Глеб... Оглянулся. Работают... Кивнул шлемом и трепанул Полю за кудри.

— Глади — круто ущемила за ребра братва... Ставят загоном на место... Знаменитая работа: бьем на два фронта. Крой, идоловы души!..

На лице Поли были только одни глаза.

Куполом горела вершина, и железный треножник — геодезический знак — строило горел красной ржавчиной на ее темени, как древний алтарь.

На четвереньках вползали на острую грань горы, где за гранью широким отложьем, в рощах и перелесках, в лощинах и взгорьях воздушно катились длинные даги, к другим сизо-лиловым хребтам, к тучам, ко льзам, осевшим на горизонте.

Легли у треножника. Легли и — сразу не стало высоты. Не было вы-соты и грани — под руками были плиты и щебень. Пахло травой и серным накалом цементняка.

— Я ничего не вижу, Глеб... Где они?

И Поля поднялась на колени и потянулась к треножнику.

Тянькнула железным жывком натянутая струнка.

Рваком дернул за юбку Глеб, и у Поля мягко хрустнула и лопнула на боку гнилая скрепка. Поля засмеялась и села около Глеба.

— Крючок оборвал... битог...

— Сиди лягушкой... ну? Пришют — не узнаешь... Я чувел тер-петь не могу...

И выпучил на нее набухшие белки, а зрачки огнились каплями крови. Сказал, а сам на чetyрках пополз за треножник.

От вершины, вправо, в глыбах развалин, — стена из голубых и желтых пластов. Развалины циклопических стен и кучи рассыпанной кладки. И в них и между ними — зеленые охапки кустарников — туи, кизила и ши-повника.

Глеб зорко вытянул шею и распластался на брюхе.

В кучах камней, мызгая в щелях развалин, с ружьем наизготове, хищно крася зарганный казак без пахахи. Когда приседал или прислонялся к кам-ням — таял, рассыпался в невидимку.

— Я его сейчас застрело, Глеб... я не выдержу...

Дрожали руки у Поли, а на лице был налет серой пыли.

— Только бахни — пришью на месте...

Поля оскалила зубы.

Глеб пополз по камням к кучам развалин, скрываясь в кустарниках А потом увидела Поля, как Глеб побегал горбуном в расселинах глыб. Стал неслышай и серый: камни тоже окрасили его в невидимку.

Казак остановился, дернул испуганно головой и вскинул винтовку. При-сел и опять рассыпался.

Сердце ли билось у Поли, или далеко, в лесу, бухали выстрелы, — дро-жала гора, и в недрах ее, глубоко, взрывались породы.

Успел убежать, или заметил и ждет? Подлутит, или убьет Глеба?..

Зубы дробно стучали у Поли. Сжимала до боли челюсти, а зубы все-таки стучали, и скрипели мускулы под ушами. Вскочить. Побежать. За-кричать до надрыва и слепо стрелять, бить с пылью, с гарью, с огнем...

Выстрела она не слышала, только гулко осел на нее воздух и с гулом ринулся с вершины в пропасть, и обломки скал зазвенели разбитыми пли-тами. И в звоне камней звериным оскалом зарычал хриплый голос и задох-

иногда будто вшовой. Это — не Глеб: так Глеб не может кричать. Хрипели и захлебывались звери, и плиты звенели разбитым стеклом.

Мехова с винтовкой широкоими замахами ног побежала в скалы, туда, где был Глеб. Не было его следов, но они горели под ее ногами. Гармонные пласты перед нею взорвались щебнем и пыль вспыхнула пламенем. Брызги каменной приснутой ей в лицо и обожгли щеку и лоб.

У скалы, ломая кустарники, извивались в волчьей схватке Глеб и казак. Под ногами Поля дребезгом звякнула брошенная чужая винтовка. Выгибая спину, Глеб выворачивал лопатки и, с распухшим от напряжения лицом, рвал винтовку из рук казака.

С безумными, выдавленными глазами, обмозженный пеной и слоной, казак в медвежьем упоре вертушкой крутил винтовку, и видно было, как мускулы его натягивались и прыжились буграми под чекменем. Он задыхался и хрипел в натузливой матерщине, тащил за собою Глеба под откос — в каменную бездну, изрезанную ребрами и ступенями пластов. Пули вонзались позади них в плиты и щебень и взрывали их дымом и брызгами.

И в то время, когда Мехова нацелила прикладом в голову казака, Глеб правой рукой обхватил его шею и в железном усилии прищемил его голову лицом к ложу винтовки, а другою сковал его руку выше кисти и сломал наотлет. Болью и яростью заскрежетал казак, взвизгнул и забился в руках Глеба в последних порывах. И до дрожи во всем теле. Глеб стянул туже узел на шею. И утром поняла Поля: пройдет еще миг, и Глеб надорвется, и оба они прохнут в пропасть. Теряя сознание, Поля сразу же ударила прикладом в бок казаку. Он обмяк и замычал оглушенной скотиной.

— Не могу — каюк... Иду до сдачи... Ваша взяла...

Рука Глеба соскользнула с шеи казака и сковала другую его руку. Дремучими кровавыми глазами пойманного зверя казак смотрел на Глеба, и в них чернела смертельная ненависть и жуть. Из носа и рта тянутой слюзью стекла вместе с слюною кровавая жижа. Мызгая белками и дергая сожженной башкой, он захлебнулся слоной и кровью и, дыша затравленным зверем, опять промывчал хрипло, утробой:

— Пусти ж... Я ж ничего не могу... Каюк...

Поля стиснула плечо Глеба и рванула назад.

— Возьми руки, Глеб... Разве не видишь — мишень?.. Торопись!.. Глеб взглянул на нее через плечо непонимающими глазами и выпустил руки казака. Грудь надувалась, рвала гимнастерку и подбрасывала плечи к ушам. Шлепнул ладонью по кобуре, но револьвера не было.

Истерзанный борьбою, казак хрипло брызгал липкой кровавой слюзью. Взявзвизнул, оскалив кровавые зубы, и змеиным изгибом прыгнул к обрыву.

— И-их, бисовы души, подлюки, взяли казака на кочерыжку... Ловите казака на полете... И сразу же услышал стеклянные взрывы плит в скале в брызгах щебня и пыли. И, нагнувшись над землею, побегал за кучи камней, а Поля шла спокойно и молча, как слепая.

Глеб подбежал к утесу и на мгновение увидел, как тело казака кувыркалось далеко внизу по камням, шлепалось о выступы плит, вертелось в воздухе, опять шлепалось и отшибом швырялось в разные стороны.

Сильная рука дернула его от обрыва назад: на лице Поля были только одни глаза.

И сразу же услышал стеклянные взрывы плит в скале в брызгах щебня и пыли. И, нагнувшись над землею, побегал за кучи камней, а Поля шла спокойно и молча, как слепая.

Глеб рванул ее за юбку и уложил около себя. Она покорно легла рядом с ним и в изумлении смотрела на него с оскаленными зубами. На лице — мелкие капельки крови.

Он вскочил на ноги и в размахе поднял над нею кулак.

— Бахну вот, как... как вредную гадоку...

Поля не отрывала от него оскаленной улыбки. Хищно вскочила и ударила его винтовкой по руке.

— Убери руку, болван... Собери свое оружие — растерял по дороге...

И пошла на старое место к треножнику на вершине.

... Из лесочка бежали врассыпную люди, спотыкались, стреляли, падали, кувыркались... Грохот выстрелов, пыль, огонь и рев за вершиной, где лежала цепь красноармейцев. Поля целилась, стреляла. Винтовка больно била в плечо, а она, угарно, в бурном восторге, шелкала замком, целилась и опять стреляла.

И смутно помнила, как мимо нее пробежал через вершину Глеб, и глумливыми вздохами рычала из-за горы его боевая команда.

Струнно пели колеса на электропередаче, и чугунные их спицы взмахиwały черными крыльями в разных наклонениях и пересечениях. Стальные канаты паутинно наматывались и разматывались на желобах пузатых ободов. Электромонтеры, рабочие и комсомольцы в головке с бронзовым Лухава и инженером Клейстом, в немом очаровании смотрели на электрический полет колес и слушали всекресную музыку машин. Не новый ли храм сооружен на высотах, не новый ли алтарь пылал огнем труда в поющем хоре электромоторов?..

Лавина человеческих масс, стекающая вниз на версту глубину, по шпатам и сланцам, изгрызленным ветрами и ливнями, по ребрам плит и отечкам брекчи, — кипела, волновалась, ревела бурливой утробой, умноженной на тысячи, колыхалась в судорогах сплетенных мускул, и спазмы мускульных волн потрасали толпы, как тело гигантской сколопендры. От самой электропередачи до дна, где громоздились пирамиды каменных отвалов, водоподат толп пословался на два потока, и в середине пепельно-огненной дорожки натягивались до звона на бесчисленных ладах четыре горящих струны. Не эти ли горящие струны пели металлической музыкой хором и насыщали недра гор необъятным животным содержанием?

И между этими людскими потоками, далеко внизу, ползла по струнам, вцепившись в змеиную нить каната на блоках, играющих флейгами, кубическая, усеченная снизу, черепаха.

— ... ppa-al! ... ppa-al!

И будто не рев это был тысячных толп, а вой бури в кратерном растробе горных сиреневых взлетов.

Нестройной толпой сходил по ступенчатым пластам с перевала отряд рабочих с винтовками. Красноармейцы попережку зоркими птицами занимали свои прежние места. Впереди отряда шли Глеб и Мехова. За ними несли на ружьях тело товарища.

Отряд спустился к машине и побросал винтовки. Их лица были пьяны и залепаны потною грязью. Тело товарища, с кровавым шматком вместо головы, положили на бетонную площадку, в ногах толпы. И стадом, напирая друг на друга, с разноголосым криком, толпа бросилась к отряду и захлестнула его банным хоромом. Врываясь хохотом и рычаньем, толпа смяла рабочих, схватила кого-то, проглотила и выбросила. Глеб... Болтая руками и ногами, он чуелом взлетел в воздухе и опять упал в гущу толпы. Подхваченный ревом и хохотом, упруго опять взлетел над головами и пальцем рук... и опять... и опять...

Около труп — другая толпа, молчаливая и строгая, с болью и страданием в лицах. Уже в этой, залитой кровью, голове нельзя было узнать Митьку-гармониста с бритой башкой, который нахрапом зацапал винтовку и затесался в отряд коммунистов.

Тут же, в месиве толпы, комсомолки перевязывали раны товарищам. — Побанился, братва, а рожки краше пороса... Землю роют, черти... — Хо-хо, пахари! Всех покроем... вдрызг к чортовой матери!... И один голос захлебывался от радости:

— Капут-алаур!... Кончал бандитов... Дядя, пой Интернационал... Крышка!... Бабы, до чего же я зарез имею до женской организации!... Их, подавай сюда ко мне женотдел!... Шкуру спущу!...

Подходили новые толпы, кричали ура. Опять качали Глеба. Застывали около трупа парня и мычали от боли.

Мехова толкался в толпе и все кричала до надрыва:

— Товарищи!... Товарищи!...

И на лице были только одни глаза.

К Глебу подошел инженер Клейст и, с судорогой на щеке, дергая головой и сохраняя привычную важность, пожал ему руку.

— Вы — особый человек, Чумалов. Я чувствую вашу силу и самоотверженность... и уверен, что дело нашего строительства пойдет упорно и поступательно.

Товарищ технорук, да... то дело пахнет кровью... Знаменито пойдет, товарищ технорук... Смотрите, разве не пошло в прок ваше техническое задание?

Инженер Клейст дернул головой и важно отошел в сторону.

А Даша прошла мимо и не сказала ему ни слова, только посмотрела на него крепко и внимательно тревожными глазами. Сурового узелка бровей не было над переносьем. И в этих глазах увидел Глеб прежнюю Дашу. Нет, это был призрак, вспыхнувший в миге: это — не Даша... та Даша умерла вместе с цветочками в окнах и домашним уютом.

Тут — иное. Самое главное — вот: массы... грохот труда... крылатый полет колес... Ночью завод открыл глаза электрическими лунами, и потухшие люстры лампочки в квартирах рабочих зажгли свои путаные нити. Черными иррадирами с серебром идолами стояли дизеля. Огромными кристаллами расцветали в холодном храме запустения, готовые к взрыву. А теперь они там, в машинных корпусах играют кобзарным зумом, вихрем летят маховики и колоколами звенят бесчисленные молоточки, рычаги, шестерни и стаканчики. Завод... Он уже дрогнул, уже подземно гудит в недрах его скрытая сила, и глядит он на него глазами с тоскою, как человек. И массы... массы, которые призвали к жизни горы, умершие в ослеплении и плесени... Трудобой. Удары тысячей рук. Бремсберг, гремящий живым железом. Вон там, из трубных жерл, закружаются черные облака, и воздушные черепахи залетают на пирсы и сюда, на высоты, пожирать сланец в каменоломнях. Козы... зажигалки... мышинный писк подпилков... воры и мордобой... Сожми зубы, Глеб, напряги свои мускулы до боли... Твой череп крепок, и воля твоя пусть будет стальной спиралью... Потому что много у тебя, Глеб, впереди великой борьбы, много еще неизвестных подвигов, мук и свершений.

Лухавя стоял около машин, что-то кричал вниз и размахивал руками. Грохнуло железом и звянуло в колесах. Они дрогнули и остановились. Глеб сбегал ступнями вниз, под машины. Большая, покрытая серебристо-пылью тленья, стояла вровень с площадкой вагонетка-платформа, пахло от нее плесенью дна.

Опять выбежал наверх и привычным военным зыком крикнул в толпу:

— А ну, несите труп товарища на вагонетку. С чеством спустим вниз... Пушай глядят... все, которые там, до конца... Окропим нашей кровью

этот бремсберг нашего коммунистического труда...

И труп подхватили много рук. Осторожно и молча спустили по ступеням и положили на вагонетку, а рядом — винтовку и кайлу.

Глеб вышел на устои, стал между голубыми обелисками, снял шлем и широко взмахнул им над головою.

— Ход вниз! Пушай веселее...

И вагонетка под шум колес поплыла по рельсам, будто птица летела по воздуху, воздушно и плавно.

Опять Глеб широко взмахнул над головою шлемом.

— Товарищи, слушай!... Жертва труда... Трудобой... Общим упором... Завод... Загремит огнем и машинами... То дело — за нами... Победой... Победа рабочих рук... Грянем, братва!...

И он первый зашел, размахивая руками. Подхватили дальше, нестройно, ревом... ниже, глубже... разрывались горы от рева, закружились, завьюжились воздух. Дрожали горы от землетрясения. И вагонетка пыла и колыхалась (в воздухе, как малая птица в буре и потрясающем громе.

Федор Гладков.

(Взят этот отрывок из журнала, «Рабочий Журнал» кн. I. Этот отрывок из романа 18 печ. листов, который принят «Красной Новью»)

Алексей Силыч НОВИКОВ-ПРИБОЙ

Родился 12 марта 1877 г. в селе Матвеевском, Тамбовской губ. Отец — из кантонистов николаевской эпохи, прослужил 25 лет на военной службе. Мать полька была привезена отцом из Польши. Кончил А. С. церковно-приходскую школу. До службы занимался земледелием. Во флоте впервые познакомился с тюрьмой: сидел в предварилке. Начал писать в 1905 году, познакомился с тюрьмой: давал в местный русский журнал заметки. Выпустил две книжки о Цусимском бое, обе конфискованные. Выпускал в книгоизд. писателей в Москве в 1919 г. «Морские рассказы». В 1922 г. вышла 2-я кн. «Море зовет»; в изд. СПб. Рассвет «Две души» в 1922 г. В сборнике «Вехи Октября» напечатана в 1923 г. повесть «Подводники».

ПОДВОДНИКИ.

Тихое утро. Небо — голубая бездна. Море — отполированный хрусталь. Неподвижный воздух накаляется зноем.

«Мурена» идет ровно, послушно огибает суда. Выходим за каменный мол. Начинается поле минного заграждения. Приходится идти по фарватеру и постоянно поворачиваться то вправо, то влево.

На рубке стоят офицеры. Командир, как всегда, серьезен и сосредоточен. Старший офицер Голубев улыбается утреннему солнцу. Минный офицер почему-то часто оглядывается на берег.

Кругом столько света и блеска, а в измученной душе моей глухая полнота. Я стою на верхней палубе и не слышу, о чем говорят другие матросы.

Одна мысль занимает меня, мысль о Полине. Как это все случилось? Почему она решила отравиться? Не могу найти успокаивающего ответа. Надрыт в груди останется надолго.

«Мурена» острым фор-штевнем разворачивает хрусталь и все дальше уходит от гавани.

Начинаем приготовляться к погружению — задриваются люки.

Я спустился внутрь лодки.

Пахнет жареным луком. Это камбузный, Тюлень, что-то готовит на своей электрической плите. После вчерашней пирушки он распух, точно от водьяки, глаза кровью налиты.

— Как дела?

— Дела, как сажа бела, и сам чист, как трубочист. Башка трещит, точно в ней дизеля поставлены. А опохмелиться нечем...

Камбузный Тюлень вдруг завернул художественно-забористую ругань. Оказалось, что он по ошибке бросил перец в компот. Засуетился, схватил кастрюлю, но тут же столкнул на пол жаровню.

— Уйди, пока не огрел чем-нибудь по башке! — кричит на меня и еще пуще ругается

Матросы смеются.

Прохожу за непроницаемую перегородку, в свое носовое отделение.

Зобов мрачен и часто глотает воду.

Залейкин стоит перед зеркалом и той же щеткой, которой он чистит сапоги, прилаживает маленькие усики и прямой пробор на голове. Поучает команду:

— Если хочешь иметь хорошую жену, то выбирай ее не в хороводе, а в огороде...

Смех других меня только раздражает.

Тоска, словно короед, дырявит сердце.

Гул и стук дизелей точно оборвался. Лодка движется при помощи электро-моторов. Балласт принят частично. Идем в позиционном положении, имея самую малую плавучесть.

В тишине слышен сердитый шопот:

— Анафема! Людей хочешь чадом отравить!..

Я догадываюсь, что это кто-то обрушивается на кока.

И опять тихо, как в пустом храме. Только из машинного отделения доносится дрожащий ритм моторов.

Лодка, герметически закупоренная, продолжает свой путь. По переговорной трубе долетает до нас распоряжение увеличить балласт концевых цистерн.

Засвистел воздух, яростно захрипела цистерна, глотая соленую воду. А вслед за этим в лодку ворвался другой шум, — шум грохочущего потока. С ним смешался крик, вой людей. Предчувствие разразившегося бедствия встрепало душу, как шквал птичьих перья. Но ничего нельзя разобрать. В носовое отделение, за непроницаемую перегородку, врываются несколько матросов и старший офицер. Мокрые все, с искаженными лицами. Торпливо задривают за собою железные двери, точно от напавших разбойников. А за нею раздаются выстрелы. Кто кого бьет? Почему?..

Я застыл на месте, раздавленный катастрофой. У других — втянутые в плечи головы, точно в ожидании неизбежного удара. Встрепанным сознанием чувствую, как уходит из-под ног палуба. Это «Мурена» опускается в бездну. Все быстрее и быстрее. Проваливается в пучину, словно брошен-

ный кусок железа. Я набрал полную грудь воздуха и не дышу. А вода продолжает врываться внутрь лодки, грохочет и рычит, как водопад мощной реки. Увеличивается тяжесть нашего суденышка. И сам я будто наливаюсь свинцом. Ноги прилипли к палубе — не сдвинуть их. Ах, скорее бы прекратился этот оглушительный рев потока! Он разламывает мозг, путает мысли. Я ничего не могу сообразить. Мне кажется, что гибнет мир, с треском и гулом проваливается куда-то земля...

Толчек под ногами. Лодка на дне моря. А через несколько минут в носовом отделении водворяется могильная тишина.

Вопросительно смотрим друг на друга безумными глазами.

— Ничего, ничего... Не волнуйтесь... Сейчас разберемся, в чем дело...

Старший офицер старается успокоить нас, а у самого прыгают пошившие губы.

Светло горят электрические лампочки, словно ничего не произошло. Это дает возможность хоть немного прийти в себя.

— Как это все случилось? Кто знает?

— Я, ваше благородие! — торпливо отзывается комендор Сорокин, словно от его сообщения зависит спасение лодки. — Это все камбузный Тюлень натворил. Он жирный соус пролил на плиту. Угар пошел. Кто-то начал ругаться. Тюлень испугался, что ему от командира попадет. Бязя да и открыл самолично люк над камбузом. Он, верно, думал, что лодка еще не скоро начнет погружаться, успеет, значит, выпустить угар...

— А я видел, как минный офицер на месте уложил его, — поясняет другой.

— Там друг друга расстреливали и сами себя...

Посмотрели на глубомер — девяносто восемь футов. Над нами целая гора воды. Сидим крепко в проклятой западне. За перегородкой — тридцать слишком трупов наших товарищей. Очередь за нами. Нас десять человек приговоренных к смертной казни. Железная перегородка не выдерживает тяжести напавшей воды, — выгибается в нашу сторону, вздувается парусом. В перекосившихся дверях появляются щели, дают течь. Никакими мерами нельзя остановить ее. Это мстит нам море. Оно изменчески и подло просачивается в носовое отделение, чтобы задуть нас, — задуть податливой массой, мягкими лапами, медленно, с холодным равнодушием.

— Как же теперь быть, ваше благородие? — спрашивают старшего офицера. — Значит, конец нам?

— Не нужно отчаиваться. Подождите. Что-нибудь сообразим...

Кто-то вспомнил Гололобого. Нет, не кок, а он виноват. Зачем он женщину привел на «Мурену»? Его кроют не только матросы, но и старший офицер. А комендор Сорокин, всегда желчный и вспыльчивый, потрясет кулаками и кричит:

— Будь Гололобый здесь, мы бы из его брюха сделали Бахчисарайский фонтан!..

Зобов сурово обращается к старшему офицеру:

— За что гибнем?

— Братцы! Я сам — только пешка в этой дьявольской игре. Не время об этом рассуждать. Давайте лучше подумаем, как спастись...

Море напирает на нас. Переборка трещит по швам. Сейчас будем смяться, раздавлены, превращены в ничто...

Матрос Митрошкин зариддал.

— Замолчи! — кричит на него старший офицер. — Ты — не девченка, чтобы слезы распускать. Будь матросом до конца...

Митрошкин вытягивается и моргает слезящимися глазами.

Голубев окончательно оправился. Все смотрим на него. Он опытный подводник и знает лучше, чем кто-либо из нас, что нужно предпринять.

— Прежде всего, братцы, нужно дать знать наверх, в каком положении мы находимся. А сделать это можно очень просто: отнимем от мины зарядник и выкачаем из нее воздух; затем вложим в нее записку. Если такую мину выбросить через аппарат, то она сейчас же всплывет. Здесь постоянно ходят суда. Кто-нибудь непременно заметит ее.

— Верно, ваше благородие, правильно...

Далеким маяком загорелась надежда.

Через несколько минут все было готово. Мина шмыгнула из аппарата, понесла весть в отрезанный для нас мир, весть из могилы.

Проходит острота жуткого состояния. И хотя вода прибывает, начинает заливать палубу, но на душе становится легче, точно чьи-то невидимые когти, что держали нас в тисках, ослабевают, разжимаются. Растет смутная надежда, что мы можем еще спастись. Об этом между нами идет разговор. За нашими маневрами безуслвно следили с мостиков всех кораблей. А наше длительное исчезновение с поверхности моря вызовет подозрение на базе. Там сразу догадаются, в чем дело, и вышлют легкие суда на розыски нас. Поймают мину, прочтут записку. Сейчас же будут пушены в ход все средства, чтобы извлечь нас со дна моря: тралеры, водолазы, спасательное судно. И снова солнце глянет нам в лицо.

Залейкин вдруг что-то вспоминал: срывается с места и лезет под рундуки. С поспешностью выхватывает футляр с дувражкой. Гармошка, радость его и гордость, оказалась подмоленной. Он ругается матерно.

— Хорошо, что мандолину повесил над голову, а то бы и этой конец.

Залейкина хоть к чорту на рога посади, он все равно не уймется и будет петь песни.

Из нашего кубрика можно выбраться только двумя путями: или через носовой люк, или через минный аппарат, как когда-то спасся с английской лодки лейтенант Ракитников. Обсуждаем этот вопрос. Выводы у нас получаются очень печальные. Чтобы выбросить человека из минного аппарата, нужно страшному давлению воды противопоставить еще большее давление воздуха. А это означает неминуемую гибель. Поднимаем головы и жадно смотрим на носовой люк. Как его открыть? А потом — такая тяжесть над нами! С остервенением хлынет море внутрь лодки, разорвет наши легкие, прежде чем мы выберемся отсюда. При одной мысли об этом давится разум.

Решено твердо ждать помощи извне.

Старший офицер приносит из своей каюты три бутылки хорошего коньяку.

— В поход себе приготовил. Люблю хватить в критические минуты.

— Благодетель вы наш, — радостно взвизгивает Залейкин. — Ведь это теперь для нас вроде причастия...

Только Митрошкин отказался от своей порции. Разделили коньяк на девять человек и выпили залпом, чтобы лучше ударило в голову. Жаль, что нельзя добраться до казенной водки, — она осталась за перегородкой.

— Эх, повеселимся напоследок! — говорит Залейкин и достает свою мандолину.

Зазвенели струны, рассыпали веселые звуки. Подхватывает высокий тенор:

У моей у милочки
Глазки, как у рыбки...

Оживают лица, заораются глаза. Вода на палубе — выше колен. Не важно! Я чувствую, что и во мне просыпается какая-то удаля. Пусть поживает теперь смерть. Я плюю ей в костлявую морду и скажу:

— А теперь души всех!

Мы забрались на рундуки и сбились в одну кучу. Только один Митрошкин держится в стороне. Он украдкой крестится и что-то шепчет. Над ним издается Зобов:

— Брось, слышь, ты эту канитель. Ты только подумай — до поверхности моря далеко, а до неба еще дальше. Не услышит тебя твой бог, хотя бы ты завыл белугой...

— Оставьте его в покое, — советует старший офицер.

Мандолина сменяется граммофоном. Под звуки рояля баритон напевает знакомые слова:

Обойми, поцелуй,
Приглуби, приласкай...

Все слушаем эту песню урюмо. Она звучит для нас какой-то насмешкой. Там, наверху, в живом мире, лучистое небо разливает радость. Всюду блеск и трепет жизни. Может быть, в этот момент кто-нибудь смотрит с берега на море, любуется игрою красок и грежит о любви и счастье. И не подозревает, что под глубокою поверхностью вод, под струящимся золотом, на глубоком дне, в тяжелых муках корчится душа людей. Вода продолжает прибывать. Залитые ею аккумуляторы перестают работать. Электрическое освещение постепенно слабеет, гаснет. Воздух плотнеет, становится тяжким. Мы ждем не горячих поцелуев возлюбленной, а холодных объятий смерти.

— К чорту эту пластинку! — кричит старший офицер. — Поставьте что-нибудь повеселее!

Завертелась новая пластинка. Женщина цинично поет про шоффера-самца. Эта похабщина вызывает хохот...

Прошло несколько часов мучительного ожидания.

Электричество погасло. Пустили в ход Юнгеровский аккумулятор. Это небольшой ручной фонарь. Свет от него слабый, как от маленькой свечки. Кругом полусумрак.

Вода дошла до высоты рундуков и остановилась. Давление на непроницаемую перегородку с той и другой стороны уравнилось. Но воздух настолько уплотнился, что больно стало ушам, и начал портиться.

То и дело поднимаем головы и жадно, как звери на добычу, устремляем взгляды на носовой люк. Спорим, горячимся. Зобов доказывает, что этим выходом нужно воспользоваться немедленно, пока не истратили свои силы.

— Мы, как птицы из клетки, вылетим отсюда вместе с воздушным пузырем. Только бы люк открыть.

Его поддерживает комендор Сорокин, страдающий легкими.

Другие возражают:

— Может, вылетим, а только куда прилетим? К чорту в лапы?

— Лучше подождем.

Больше всех настаивает на этом старший офицер.

— Стойте! Тише! — кричит электрик Сидоров.

Голова его запрокинута, а правая рука поднята вверх.

Напрягаем слух. Где-то и что-то гудит. Все ближе и ближе. Над головою различаем шум бурлящих винтов. Ясно, что проходит какое-то большое судно.

Взрыв радости и надежды выливается в крики:

- Нас ищут!
- Сейчас выручат!
- Спасены!

Старший офицер поворачивается к Зобову и заявляет.

— Я прав оказался. Погода тихая. Мина с запиской не должна далеко уплыть. Нас скоро найдут...

Зобов отвечает на это:

— Да не скоро выручат...

Спустя несколько минут, опять раздается гул винтов.

Еще больше утверждаемся в мысли, что теперь будем спасены.

Даже Зобов как будто начинает верить в это. Он запрокинул голову и смотрит на носовую люк. Кудряки его, величюмо с детскую голову, крепко сжаты, здоровые зубы оскалены. Рычит разъяренным львом:

— Эх, вырваться бы отсюда! Только бы вырваться!

— Я знаю грандиозные замыслы Зобова, понимаю его. Пламенем гнева загорелась грудь. Я откликаюсь:

— Дружба! Мне с тобой по пути — одним курсом...

В лодке не действует ни один прибор, ни один механизм. Все части ее давно похолодели. «Мурена» стала трупом. От соединения соленой воды с батарейной кислотой выделяется ядовитый хлор. Ощущается неприятное царапанье в горле, шкотание в ноздрях. Но мы упорно ждем спасения. В жутком полусумраке, издерганные, подбавляем себя разговорами, шутками. Больше всех в этом отношении отличается Залейкин.

— Эх, братва! Уж вот до чего жаль мне свою женку!

— До сих пор ты как будто холостым считался, а? — спрашивает Залейкина.

— Это я наводил тень на ясный день. Иначе — пред любовницами разоблачили бы. А на самом деле я давно обкручен. Да и бабенка же у меня, доложу я вам! Надставить бы ей хоть на один вершочек нос — была бы первая красавица на всей земле. Люблю я ее, как дождь свинью. Она тоже меня любит, как кошка горчицу. Словом, только в раю такую пару можно найти. И жизнь у нас проходила, можно сказать, только в одних радостях...

— Как же это ты наладил?

Залейкин, как всегда в таких случаях, рассказывает и не улыбнется.

— Очень просто. Один день я запущу в нее полено и не попаду — она радуется. На другой день жена ахнет в меня горшком и не попадет — я радуюсь. Каждый день была у нас только радость. Вот!

Судорожным хохотом мы заглушаем свою тревогу, смертельный страх. Я думаю, что если существует бог, то он наверняка улыбнулся, когда зачат был Залейкин.

Не успели затихнуть от смеха, как от носа посылались испуганный шопот:

— Тише, братцы! Слышите?

Старший офицер поднимает фонарь. В стороне от нас, к носу, в полутьме, маячит согнутая человеческая фигура. Это ползет к нам по рундукам Митрошкин. Он останавливается и показывает рукой к корме.

— Слышите? Царапают ногтями... Шепчутся... Живы они, живы...

— Кто живы? — мрачно спрашивает Зобов.

— Наши... Просят, чтобы пустили их в носовое отделение...

Митрошкин, не похожий на самого себя, ежится и в страхе закрывает рюками лицо.

Все невольно открываем рты и прислушиваемся. Мертвая тишина. Не слышно даже дыхания. Хоть бы какой признак жизни донесся до нас из отрезанного мира! И есть ли где жизнь? Кажется, вся вселенная находится в каком-то оцепенении. Слабо горит свет, а между рундуками мертво поблескивает черная вода. Лица у людей неподвижны, как маски. Глаза холодные, пустые. Наш ручной фонарь это — лампада в склепе.

В душу просачивается ужас, знобит.

— Ха! Вот чорт! Взаправду наугал! — смеется Залейкин.

Начинается нелепый гадеж. Говорят все сразу, нервно смеются, лишь бы только не молчать. Тишина для нас тягостна, невыносима. Мы можем сойти с ума.

Воздух портится. Дышать становится труднее. В голове шум.

— Граммофон! — командует старший офицер.

— Граммофон! — разногласно повторяют и другие.

Из большой красной трубы, словно из пасти, выбрасываются звуки оркестра, а за ними, как удав, медленно выползает здоровенный бас Шалаяпина. Он громко воевзвещает о королевской блохе.

Блоха! Ха-ха-ха!..

Грохочет дьявольский хохот, точно кто бревном бухает по железным бортам лодки.

Один из матросов повторяет за Шалаяпиным:

Блоха! Ха-ха-ха!..

Его смех подхватывают еще несколько человек. Становится и жутко и весело.

Звуки оркестра пронизывают уплотненный воздух, испуганно мечутся на большом пространстве. Их оглушает грозный бас:

Призвал король портного.

Послушай ты, чурбан!

Из бархата дорогого

Ты шей блохе кафтан...

Грянул неистовый смех. Вместе с Шалаяпиным и мы все повторяем:

Блоха! Ха-ха-ха!..

Буйное веселье охватывает нас, как зараза. Ничего не слышно, кроме судорожного смеха. Залейкин задирает голову и будто клохчет. Старший офицер держится за живот, трясет плечами, гибается, точно от боли. Зобов качается с боку на бок, как мятник. Командор Сорокин дрыгает ногами. Некоторые катаются на рундуках, деграются, корчатся, как в падуей болезни. У меня от смеха расширяет грудь, трясется внутренности. Мелькают на бортах уродливые тени, маячат предметы. В ушах треск от грохочущих голосов. Давно уже молчит граммофон, не слышно Шалаяпина, а мы наперебой повторяем его слова: «Блоха! Ха-ха-ха!»... И опять неудержный шквал смеха потрясает наши тела. Содрагается вся лодка...

Я пытаюсь остановить себя и не могу. Из меня фонтаном бьет хохот. Я на время отворачиваюсь, зажимаю уши. Вдруг страх перехватывает мне горло. Я стою на коленях и с дрожью смотрю на других. Мне начинает казаться, что люди окончательно обезумели. Трясутся головы, оскалываются зубы, слезятся прищуренные глаза. Фигуры ломаются, точно охвачены приступом судороги. У некоторых смех похож на отчаянные рыдания. Мысль, что это происходит в дне моря, в стальном гробу, царапает нервы, комкает

сознание. Я не знаю, что предпринять. Дергаю за руку старшего офицера и кричу:

— Ваше благородие! Ваше благородие!

Он смотрит на меня непонимающими глазами. На лице смертельная бледность и капли пота. Тупым взглядом обводит других и орет на своем голосом:

— Замолчите! Я приказываю прекратить этот дурацкий хохот!..

Страх и недоумение в широко открытых глазах.

Над головою что-то заскрежетало, точно по верхней палубе провели проволочным канатом. Потом что-то треснуло и опять раздался тот же звук.

Нас нашли!

Ура!

Проходит еще несколько часов.

Нас не выручают. Напрасно мы напрягаем слух: никаких больше звуков. Ждем впустую.

Воздух портится все больше и больше. Отравляемся хлором. У людей желто-землистые лица, синие губы, помутившиеся глаза. То и дело чихаем, точно надохались табачной пылью. В груди боль, одышка. Мы дышим часто, дышим разинутыми ртами, сжигаем последний кислород. Наступает вялость. Сердце делает перебои. В голове шум, как от поездов, — плохо слышим.

Командор Сорокин совершенно обессилел. Он отполз от нас. Лежит на рундуках и стонет:

— Не могу, братцы, больше ждать... Мочи нет.

Временами мне кажется, что это только тяжелый сон. До смерти хочется проснуться и увидеть себя в другой обстановке. Нет, это леденящая действительность! Как избавиться от нее? Жажда жизни потрясает душу. Я завидую всем морским животным. Они находятся вне этой железной западни. Море для них свободно. Если бы можно, я готов превратиться в любую рыбку, только бы жить, жить...

Залежкин пробует шутить. Не до этого. Кружится голова, тошнит. В тело будто вонзаются тысячи булавок. Это терзает нас проклятый хлор. Он забирается в горло, в легкие и дерет, точно острыми ногтями.

Душа ежится от приближения грозного и неизбежного конца. С каждым ударом сердца, с каждым вздохом слабеет мысль, мутится разум.

— Ой, тошно... стонет Сорокин — погибаю...

Решаем еще немного переждать — пять, десять минут.

В довершение всего у нас истощается энергия в ручном фонаре. Чтобы сберечь ее, мы выключаем на некоторое время свет. В один из таких промежутков наступившего мрака я отчетливо и ясно почувствовал знакомый запах женских волос. На мгновение засияли передо мною васильковые глаза Полины. В мозгу прозвучал ласковый голос:

— Приходи сегодня...

Вдруг — выстрел!

А вслед за ним громкий голос:

— Свет дайте!

Стираю со лба холодные капли пота. Оглядываюсь.

Зобов высоко держит фонарь.

Все точно оцепенели в своих позах, смотря в одно место.

Между рядами рундуков, в черной воде бултыхается покочившийся с бою Сорокин. Он размахивает руками, падает, поднимается, хрипит, фыркает. Во все стороны летят брызги. Можно подумать, что он только кунается. Но почему же лицо обливается кровью? Сорокин мотает головою,

ахает, точно от радости. На мгновение скроется в воде и снова страшным призраком поднимается над нею...

В душе моей раскрылись бездны, а в них закружились мрачные циклопы. Я приблизился к грани, за которой начинается безумие. Еще момент — и я покатылся бы в черный провал. Меня встряхнул знакомый голос.

— Братва!

Я оглядываюсь.

Зобов потрясает кулаком и кричит:

— Не будем больше обманывать себя. Пока нас выручат отсюда, будет уже поздно. С нами начинается спасрава. А у нас есть средство спастись...

Эти слова огнем обожгли мозг.

— Какое же средство? Говори скорее.

Потянулись все к Зобову.

Он похож на сумасшедшего. Глаза вылезают из орбит. Торопится, давится словами.

Едва уясняем его мысль. Наши капковые куртки имеют плавучесть. Каждому нужно одеться. Воздух у нас сильно сжат. Стоит поэтому только открыть носовой люк, как сразу мы вылетим на поверхность моря, как пробки.

Старший офицер добавляет:

— Если уж на то пошло, то нужно еще открыть баллоны с сжатым воздухом. Это облегчит нам поднять крышу над люком...

Вдруг с противоположного борта раздался отчетливый стук. Все обернулись, замолчали. Стук повторился.

Зобов одним прыжком перемахнул через воду, с одного ряда рундуков на другой. Мы кинулись за ним с криком:

— Спасены!

Кто из нас не знает азбуки Морзе? Старший офицер суфлирует Зобову, а тот английским ключом выстукивает его слова по железу корпуса. И уж нет больше очумелости. С напряжением прислушиваемся к диалогу:

— Кто там?

— Водолазы.

— Что думаете предпринять?

— Будем пока подводить стропы под лодку. А когда явится «Мудрец», поднимем нас наверх.

— Где же «Мудрец»?

— Он в пути из порта N.

— А когда явится?

— Часов через двенадцать.

— Будет уже бесполезно. Наша жизнь исчисляется минутами.

Водолазы продолжают еще что-то выстукивать. Конечно. Мы не слушаем. Единственное наше спасательное судно «Мудрец» придет не скоро. Больше никто не может нас выручить. Мы, как приговоренные к смерти, ждали помилования. От кого? От случайности. А нас бросают на растерзание бездушным палачам: испорченному воздуху, ядовитому хлору, морской воде...

Минута безнадежного отчаяния, развала души.

Мы на эшафоте.

Петля на шею затягивается.

Наступает хаос, тьма.

И не только мы, а все человечество провалилось в бездну.

Но бывает, что умирающий вдруг вспыхнет последней дерзостью. То же случилось и с нами. Зобов возбужденно крикнул:

— Рискнем, братва!
Дружно бросил ему в ответ:
— Рискнем!

Мы теперь готовы на что угодно. Действуем по определенному плану, одобренному всеми. Прежде всего, тряхнули жребий, в каком порядке должны вырваться из лодки. А потом каждый наспех обмотал себе белем голову, уши, лицо, оставляя открытыми только глаза. Это предохранит нас от ушибов о железо и от давления воды. В люке отвернули маховик. Крышка теперь держится только тяжестью моря. Остается пустить из баллонов сжатый воздух. Это должен выполнить последний номер нашей очереди — электрик Сидоров.

Залейкин и в этот страшный момент остался верным самому себе: он едва жив, но привязывает к груди свою мандолину.

Не принимает никаких мер к спасению лишь один Митрошкин. Он держится в стороне и тарашит на других бессмысленные глаза.

Все готово. Электрик Сидоров уползает от нас по рундукам в темноту, в самый нос, где находятся клапаны воздушных баллонов. Слышно, как плеснулась под ним вода. А мы стоим уже в очереди. Я иду третьим номером. За мною — старший офицер. Еще через человека назад — Зобов. Слабо горит фонарь, прикреплённый к верхней палубе окон люка.

Минный машинист Рябушкин, идущий за головного, колотится весь, дрожит, растерянно оглядывается.

— Не могу... Боязно очень...

К нему кинулся Зобов, отшвырнул его и заорал:

— Болван! Становись на мое место!

В развороченном сознании бьется одна лишь мысль: удастся ли пробиться через толстый слой моря? Не будем ли раздавлены громаднейшей тяжестью воды? В груди что-то набухает, распирает до боли ребра. Только бы не допнуло сердце. Самый решительный момент. Игра со смертью. Это последняя наша ставка. Идем ва-банк...

— Пуская воздух! — громко крикнул старший офицер.

— Есть! — откликнулся из мрака Сидоров.

— Понемногу открывай клапан!

— Есть!

Во всем носовом отделении забурилась вода. С шумом полетели брызги. Воздух сжимал нас мягким прессом, все сильнее давил на глаза, выжимал слезы, забивал дыхание. Клокотание воды увеличивалось. Мы как будто попали в кипящий котел.

Зобов с решимостью начал открывать крышу в люке.

Я плохо отдаю себе отчет, что произошло в следующий момент. Помню только, как что-то рывнуло, хлестнуло в уши, оглушило. В глаза ударило мраком, ослепило. Я остановил дыхание. Кто-то схватил меня беззубой пастью, смял в комок, выплюнул. Я полетел и завертелся волчком. Потом показало, что я превратился в мину. Долго пришлось плыть, сверлить воду. В сознании сверкнула последняя вспышка и погасла.

Через сколько времени я очнулся? Не знаю. Надо мною развешен голубой полог. Новенький и необыкновенно чистый. Но зачем же на нем белая заплата? И почему она так неровно вырезана? Черная борода склоняется ко мне. На плечах серебряные погоны. Откуда-то рука с пузырьком протягивается к моему лицу. Что-то ударило в нос, разорвало мозг. Я закрываю глаза, кручу головою. А когда глянул — все стало ясно. Паровой катер, небо, белое облачко, солнце с косыми лучами. Я раздет, повязка

с головы сорвана. Меня переворачивают, растирают тело. Досадно, что мешают смотреть в голубую высь. Она ласкова, как взгляд матери.

— Выпей, — говорит доктор и подносит подстакана коньяку.

Горячие струи разливаются по всему телу. Состояние духа самое блаженное. Хочется уснуть. Но меня беспокоит мысль, не начинаю ли я умирать? Быть может, это только в моем потухающем сознании сияет небо? Сейчас очнусь и снова увижу себя в железном гробу. Нет, спасен, спасен! Я вижу катера, лодки, миноносцы ходят по морю. Переключаются голоса людей. На самой ближней шлюпке несколько человек держат электрика Сидорова, а он вырывается и громко хохочет: «Блоха! Ха-ха-ха».

Со мною рядом сидит Зобов. С ним разговаривает доктор:

— Восемь человек всего подобрали. Значит, только одного не хватает?

— Так точно — одного.

Глаза мои невольно смыкаются. Я знаю, кто этот один, но не могу вспомнить его фамилии. С этой застрявшей в мозгу мыслью я засыпаю.

А. Новиков-Прибой.

Москва.
1922 — 23 г.

(Этот отрывок взят нами из повести бывшего матроса А. Новикова-Прибоя, напечатанной в Сборнике «Бези Октября». В. Л.-Р.)

А. АПОСЕВ

БЕЛАЯ ЛЕСТНИЦА¹.

Против Зимнего Дворца, из багровых, высоких домов, расположенных большим кругом на площади, смотрели придворно-лестные окна и плакали дождевыми слезами. Плакали, должно быть, о прошлом.

В прошлом дворец был пуст, и только изредка наполнялся волнами ослепительного электрического света. А в домах, против дворца жили откормленные лакеи в ливреях. В конюшнях — лошади, у которых бедра, на-тертые скребницей, лоснились и белтели, как пожарная каска.

А в центре между дворцом и полукругом домов поднималась колонна, на которой ангел изо дня в день, из ночи в ночь, в безудержном порыве бесконечно стремится к небу, неся с собой крест, — знак того, что жизнь казнит и распинает миллионы и миллионы людей. Если в сумерках пристально посмотреть в силуэт этого креста на свинцовом небе, то покажется, что не дождинки струятся с него, а каплют капельки крови.

Против дворца, в одном из домов, помещается теперь Военный комиссариат.

Унылый дом.

На белой лестнице тускло горят люстры, покрытые пылью. И самый старый человек здесь, оставшийся от старого режима, бывший конюх Клим, имеет такой вид, будто его протаскивали через медные трубы, отчего лицо его помялось и под глазами набухли синие мешки. Вся свою старую одежду он залеп в скучные сундуки, на которых спит теперь его жена, а сам оделся в саплатскую стеганую безрукавку, солдатские штаны и солдатские сапоги, почему и приобрел вид обиженного человека.

Вышел Клим на белую лестницу, спускающуюся двумя разводами, и его стелющиеся взоры упали вниз на площадку. Там, как раз в центре, из впадины стены выходил весь бронзовый, в человеческий рост, император Петр I в ботфортах, со шпагой.

Клим видел его здесь десятки лет. Десятки лет Петр I своим твердым шагом, заломив в припадке какого-то иступления голову назад, выходит из стены. Десятки лет не нравился Климу бритый, развоенный подбородок Петра. Не нравился, потому что у беса копыто тоже развоено.

У Клима мелькнула неясная мысль: посадил он нас всех на болото, а в том болоте Русь-то и завязла, а все потому, что ташил нас через чухонские кочки в Голландию, — в Амстердам.

Кашлянул Клим, чтоб не было страшно от тишины на белой лестнице, и стал спускаться. На площадке, где была бронзовая статуя Петра, стояла железная скамейка.

Клим сел. Сел и увидел перед собой на верхней площадке бронзового, влитого в стену, сухого Суворова. Бритое лицо, и в складке губ есть что-то, напоминающее пятачок свиньи. Лицо Суворова лоснилось, как умывое, в морщинах около губ, сдавленная, проглоченная усталость.

И Клим подумал:

«Калил солдат на итальянском солнце и клал русские души на австрийской земле, — не стеснялся».

А с левой стороны той же стены, в самом темном углу прирос толстый спиной к нише, тоже застывший в бронзе, кривой, рыхлый Кутузов. Толстой рукой указывал на что-то, — кажется, на свой пыльный носок сапога.

Воротник душил его шею и вздымал его бритые щеки вверх к ушам. И про Кутузова подумал Клим:

«Тоже хорош: подкачал нас под Москвой. Отдал ее французу на разграбление. Тебе бы хорошо на медведя с рогатиной ходить, а ты Москву...»

Закрыв Клим глаза рукой и хотел-было замачывать старую деревянную хороводную песню: «Как по морю, морю синему, по синему, по Хвалынскому», но вспомнил, что внизу часовой красноармеец услышит, и замолат головой тихо, тихо, как качается большой круглый маятник на старых стенах чахал.

Потом еще раз кашлянул Клим и встал. Перед ним на двух белых колоннах вдруг встали бюсты неизвестных ему бронзовых лиц, с львиными кудатлыми париками на головах, с орлиными носами, совиными глазами, с отвисло-капризными губами.

Эти люди XVIII века назойливо вылезали из белых колоннок и лезли с какой-то странной претензией на глаза Климу. И про них подумал Клим: «Ишь, вы, Вольтеры, хорошо танцевали и лакомились». — Все бронзовые: и Петр, и Суворов, и Кутузов, и эти «Вольтеры» стояли вокруг Клима и будто не пускали его. За что?

И вспомнил Клим, что никогда, никогда раньше он не осмелился бы так непочтительно думать по господ, чьи белые косточки лежали теперь в сырой земле, по тех царей и вельмож, которые в каменных, светлых дворцах превращались в бронзовых людей, неподвижно стерегущих белые лестницы. Теперь все они, мертвые, бронзовые, показались теми шерберами, что стерегут вход в запретное. А запретное-то перестало быть запретным, потому что солдатские сапоги проторили вход в него, испачкали белые лестницы дворцов, не испугались бронзовых старожил.

И вдруг почувствовал Клим, что сам не может двинуться с места, что старые мертвечи приковали его к полу, потянув изо всех сил за старые жилы

его старческое тело вниз — в землю, что сам он превратился в холодную, бескровную статую, закованел, окаменел на месте.

И белая лестница с тусклыми, пыльными лострами была наполнена расположенными правильно по стенам бронзовыми людьми, посреди которых застыл в оцепенении старый слуга старых отживших господ.

— Дремлешь, старина, смотри, не упали, не клюнь носом, — крикнул снизу часовой красноармеец, наливавший себе из жестяного чайника чай в стакан, стоявший на ступеньке белой лестницы.

Старик встряхнулся, зашатался, схватился за перила лестницы, сплюнул и быстро-быстро сбежал вниз в швейцарскую, ощущая за спиной легкий холодок, будто кто-то мертвый гнался за ним.

С тех пор Клим никогда не задерживался на белой лестнице.

А белая лестница попрежнему хранила свою неизъяснимую тайну, и старый Красный Дворец на площади мигал своими окнами и смотрел на площадку пустыми, гаснущими глазами.

А. Аросев.

Петербург 1918.

Из книги «Белая Лестница». Рассказы, стр. 158, изд. «Круга», Москва - Петроград, 1923.

Н. Н. ЛЯШКО

Родился в 1884 г. в г. Лебеляни, Харьковской губ. Родители — отставной солдат-портной и крестьянка. Окончил церковно-приходскую школу. С 17-ти лет начал работать: служил мальчиком в кофейной, учеником на кондитерской фабрике; с 15-ти лет поступил на завод в токарный цех. Работал на заводах Харькова, Николаева, Севастополя, Ростова, одновременно был в степи пастухом. Продажал учился на рабочих курсах, в воскресных школах. Принимая активное участие в революционном движении и с 1902 года состоял членом Р. С.-Д. Р. П. Содержался в тюрьмах неоднократно (в Ростове, Харькове, Москве, Севастополе, Черкасах, Пятигорске, Кадникове и др.). Два раза ссылался; отбывал наказание в крепости. Писать начал в 1904 г., но вскоре, после напечатания первых рассказов в «Донской Речи», «Полтавщине» «Южной Неделе», бросил. Редакторы, с которыми он встречался, не сумели чутко и внимательно подойти к молодому художнику. Вторично начал писать после революции 1905 и 1908 г. Печать свои вещи с 1911 г. Впервые выступил в «Нашем Журнале». За 12 лет много работал над техникой своего творчества. Это очень заметно, если сравнить его ранние произведения и позднейшие. Печатался в журналах, сборниках, газетах. В Москве: «Наш Журнал», «Путь», «Эхо», «Огни», «Сподохи», «Кузнница», однодневная газета «Кузнница», «Творчество», «Горн», «Общее Дело» и т. д. В Петрограде: «Северная рабочая газета», «Наше дело», «Заветы», «Новый журнал для всех», «Русские записки», «Луч» и т. д. Является с 1920 г. активнейшим участником группы «Кузнница» в Москве. Вместе с М. Волковым и М. Герасимовым создал издательство «Кузнница». С 1923 г. избран в товарищи председателя «Кузнница». Н. Н. Ляшко выпущен ряд небольших книжек: «Весенний день», М. 1921 г., «Лыбино на солнце», М. 1921 г., «Ворова мать», М. 1922 г., «Крепущие крылья», М. 1922 г., В 1922 г. «Кузнница» выпустила том его рассказов под заглавием «Железная тишина» (190 стр.). Этот том переиздан «Кругом» в 1923 г. В 1923 г. «Кузнница» выпустила новый том его рассказов «Радуга» (стр. 167). В 1923 г. Весероссийский Пролеткурат напечатал томик «На реке» (54 стр.).

Лучшие рассказы Н. Н. Ляшко: Голубное дымчание, Крепущие крылья, Лыбино на солнце, Железная тишина, Леся, Лось, С огнем, Степное, «Голубным дымчанием» пропитаны все рассказы Н. Н. Ляшко. Не бурное, мутящее пламя горит в его произведениях, а «огонек» теплится в каждой написанной строке, и этот огонек глубокой любви к страдающему и обиженому художник может пронести неугаемым среди вихрей и метелей. Предреволюционный период до 1905 г. («Крепущие крылья», «Рассказ о кандалах», «С отарой», «Крик лебедя», «Гоним из зач.» срывавшего афиши», «Голубное дымчание», «Ворова мать»), пережитое за двадцать лет участия в рабочем революционном движении и во время скитаний по тюрьмам и отдаленным — вот материал его творчества. Южанин — поэт украинской степи —

Н. Н. Ляшко сумел показать на фоне природы степное — в переживаниях южного крестьянина, но он же, бродящий по лесам севера, в очерках «Крик лебедя», «Никон из замки», — а, в особенности, в очерке «Ляв», — показал красоту северной природы, заглянувшей в глаза и в настроение человека. Реалист по приемам, Н. Н. Ляшко не любит голого быта; он ищет обобщений, и его образы легко переходят в символы. Творчество Н. Н. Ляшко носит печать Украины, и если украинца сразу узнаете по мягкому «г», то у Н. Н. Ляшко, с его мягким лиризмом, и словарь, и синтаксис, и самый медленный темп его ритмической прозы носят печать родной Украины. Многие рассказы Н. Н. Ляшко: «С отарой», «Крепидные крылья» являются отдельными главами большого непансианского романа. В своем раннем очерке «Никон из замки» Н. Н. Ляшко обнаружил серьезный повествовательный талант. Было бы очень важно, чтобы у художника нашлся доуэт для большой законченной вещи. Крылья его таланта достаточно окрепли для этого.

В. Львов-Рогаачевский.

Автобиография Н. Н. Ляшко

1. УМСТВЕННОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

В пору ученичества на кондитерской фабрике и машиностроительных заводах, с детства наблюдавшая любовь к книге, при помощи воскресной школы (Хр. Алчевской, Харьков) и рабочих курсов, стала оформляться: я отказался (при выборе книг) от услуг библиотекариши и пользовался каталогом самостоятельно. К 17 годам после Жюль Верна, Майн-Рида, Дефоз и др. мною были прочитаны: часть Л. Толстого, весь Достоевский, рассказы и повести В. Короленко, часть Чехова, Гоголь, Пушкин, Лермонтов (с ними я был знаком и раньше). Из научных книг на меня сильное впечатление производили книги Рубакина, Лункевича, а впоследствии Тиндаля «Звук», Лапласа «Теория строения мира», «Денежное обращение». К этому времени относится, во-первых, и мое знакомство с произведениями Шпицгагена, Озю, Шевченко и произведших на меня сильное впечатление «Искорок» — Рубакина, и, во-вторых, — с прокламациями, подпольными листовками, а попутно и с живыми участниками подполья. Если не ошибаюсь, летом 1901 г. у меня было первое свидание с представителем харьковской подпольной организации, после чего я стал активным участником подпольного кружка, наполовину состоявшего из сверстников, учеников токарного отделения механической мастерской харьковского паровозного завода. С этого момента на помощь мне приходят Дарвин, Маркс и т. д., с одной стороны, и брат, работавший на том же заводе, его товарищи, старые рабочие, как живые участники быта, — с другой. Было тесно, душно. Придравшись к ссоре с начальником мастерской и мастером, я взял расчет, тайно (иначе мать и брат воспротивились бы) уехал из Харькова и начал так называемую самостоятельную жизнь. Наиболее сильными явлениями до отъезда из Харькова были: а) 1-ое мая 1901 г., впервые виденное мною красное знамя, с которым 2 завода (Бельгийский и паровозостроительный) двинулись к Конной площади; встреча на заводе (Бельгийском) с токарем, который отказался дать мне прокламацию и сказал, что «для этого» я еще мал, б) свидание с представителем подполья и его разговор со мною, носивший характер экзамена; в) 1-ое мая 1902 г. в Харькове на паровозостроительном и речк князя Оболенского (губернатора) перед нами: «бог землю не уравнил — есть долины, горы и холмы, а вы хотите быть равными» и т. д. (в наших требованиях ни слова не было о равенстве).

¹ С 1923 г. Н. Н. Ляшко состоит товарищем председателя «Кузницы». В виду большой работы, совершенной Н. Н. Ляшко для «Кузницы», и значения его, как писателя, — в дополнение к нашей заметке и краткой биографической справке, добавляем автобиографические сведения. См. стр. 305. В. Л.-Р.

2. ПЕРВЫЕ ШАГИ В ЛИТЕРАТУРЕ

Сознание, что писать могу и я, зародилось, вероятно, во мне, во-первых, в воскресной школе, где изредка ученикам задавались работы на темы: «Как я провел воскресенье?» и т. д.; во-вторых, после прочтения мне одним из товарищей, токарем, своей рукописи.

Писать я начал приблизительно в 1902 году, после отъезда из Харькова. Писания мои носили характер записок из рабочей жизни с идеями содержанием. О печатании написанного я не помышлял. Судьба написанного чаще всего была печальной: обрыв, арест — и оно гибло в шкафах жандармских управлений, или в тюрьме начальство отбирало.

Осенью 1904 г., как «малолетний», я был амнистирован и возвращен из ссылки (Олонецкая губерния). Под 9-ое января 1905 г. я уже был в Харьковской губтюрьме, а в марте — воля, и я в Ростове на Дону. Здесь один из партийных товарищей ознакомился с некоторыми из написанных мною в ссылке и тюрьме рассказов и отнес некоторые из них в ред. газ. «Донская Речь». Вещица «В местах не столь отдаленных» была напечатана. Затем было напечатано «В ночную смену» и еще что-то. В конце 1905 г. я перекочевал в Киев и печатался в «Южном Голосе». Один из рассказов, не помню каким путем, попал в «Полтавщину». Посылал я свои вещи и в центр, но оттуда всегда отсечали загадочно и кратко: «недостаточно художественно, не подходит». Исправления моих вещей провинциальными редакциями вначале меня лишь озадачивали, потом начали удивлять, наконец раздражать, и я перестал писать: вышел я, пишу я, но в то же время и не я... «Пишите лучше сами» — решил я.

Однако, в 1908 г. в тюрьме, а затем в ссылке 1909—1911 г.г. (Вологда), я понял, почему мои вещи исправлялись, и ряд лет с остервенением боролся с языком... То, что теперь начинающие получают (в области техники) в различного рода кружках и студиях без труда, в прошлом начинающим давалось с огромным трудом. В деле помощи со стороны развитых людей — мне не везло. «Не до писаний теперь, бросьте» и т. д. — говорили они.

3. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗНАКОМСТВА

В 1907 г., проездом в Петроград, я был в Москве у В. В. Вересаева и А. А. Вербицкой с записками партийных товарищей. Беседы по поводу написанного мною с В. В. и А. А. носили общий характер. Одобряли, говорили, что мне «необходимо овладеть техникой». От этого «в технике» я успеха не делал.

В Петербурге я был у В. С. Миролюбова («Журнал для всех»). Он одобрил мой драматический эскиз (больше я за драмы не принимался, не тянуло) и долго беседовал со мной (единственная в моей жизни беседа: я ушел от В. С., как из бани). Встреча с С. Г. Алексинским, В. Воронским также ничего не дали мне в интересовавший меня области (встречи эти, правда, научили меня относиться к произведению товарищей не вообще, а конкретно, с разбором достоинств и недостатков). В целом, литературные встречи этого периода заставили меня махнуть рукой на живое слово писателя и обратиться к слову печатному. Отзывы о моих вещах В. Короленко, В. Кранихфельда волновали меня, но ни в чем не убеждали.

4. ПИСАТЕЛИ-РАБОЧИЕ И ИХ КРУЖКИ

В 1912 г., после ссылки, я дважды присутствовал на собраниях московского журнала «Народная Семья». То, что я услышал там, а равно нападки на интеллигенцию (на зло, без разбора) со страниц «Народной Семьи» оттолкнули меня от этого кружка. Однако, и пребывание вне близкого по духу литкружка угнетало меня. В половине 1913 г. я начал вести работу среди идейной литературной молодежи из народа до издания идейного дешевого журнала. К осени 1913 г. образовалась группа, и в ноябре на товарищеских началах вышел 1 номер журнала «Огни». Работа в «Огнях» велась закрыто. Но 5 № «Огней» был конфискован; против него было возбуждено преследование по 2 пунктам 129 статьи: меня арестовали и впоследствии присудили к году крепости. В 1918 и 1919 г.г. изредка посещал собеседования Московского Пролеткульта. Из последнего впоследствии вышла группа «Кузница», в члены которой я в 1920 г. и был кооптирован.

КРЕПНУЩИЕ КРЫЛЬЯ

(Отрывок)

Земли касаются красные ресницы нашего праздника. Чтоб ярче был он, мы суетились, горели в последние дни. Чтоб не вспыхнул он, в город введены солдаты и казаки. Он идет, разгорается, дрожит в усталых глазах. А гудки зовут, зовут, как всегда. И зов их — боль.

Ночные сторожа срывают, соскабливают белые листы. Всю ночь с дрожью в руках мы притискивали их к шершавым кирпичам и заборам. Срывайте, срывайте! Они в нас.

Из сонно зевающих домов выходят люди и озираются. Не бойтесь, идите.

С реки плывет гул. Берег в дыму, в пару пароходов и шхун, в пыхтении. Запудренная мельница дрожит. Угольщики шаркают графитными лопатами, пригибаясь к тачкам. Растет шеренга торговков. По мосткам, покачиваясь, сплывают с мешками грузчики в разноцветных, по колени, рубахах. Напруженные жилы, хрипота голосов, дязг весовых цепей.

— Эй-эй! Долой сумасшедшие рубахи каторжных будней!

... Судоремонтный завод проглотил тех, чей разгорается праздник. Из мастерских катятся грохот, дробь и гул. Так, так... Не услышали, не почувствовали...

С тоской вглядываясь в наклеенное на будку грозное предостережение и сажусь подле дремлющего заводского полицейского.

— А-а... ты кто будешь? — Вздрогнув, почти вскрикивает он и пялит на меня сонные, тулые глаза.

— Токарь.

— А-а, токарь... без дела? Я люблю токарей. Хитрая у вас работа. Железо, медь или еще что... ржа на нем, а если токаря дать, что хочешь, сделает... Как стекло будет. Дальний?

Оказывается, мы — земляки. Это радует его. Он оживает и кладет мне на колено руку:

— Вот хорошо-то... Я тебя поставлю на завод... Я могу, не одного поставил. Злешний народ, сам знаешь, не то, что наш. Все норовит насчет этих прокламаций.

Земляк косится на ворота и шепчет:

— Бунтовать сегодня собирались. Сам читал, своими глазами... Чего бунтовать? А жизнь, чтоб легкая. Чувь, одним словом. Переловить бы их... Мутят которые, да с моста при всем народе в воду.

Оборачиваюсь и замечаю: в глазах земляка не тупость, а вера: в жизни все на своем месте; всякий, тронувший, сдвинувший что-нибудь в ней с места — враг... Вот такой, поди, и в мастерской порта донес на меня. От его лица, от слов пышет густыми потемками. Чудак: землячок представляет такими же, как сам. Не поверит, если скажу, что в карманах у меня, под поясом тысячи прокламаций, что я буду разбрасывать их. Рассказываю о родине, рассказываю тягуче, любовно. Я порывисто спрашиваю:

— А тебе не страшно?

— Чего?

— Следить за теми, кто с прокламациями?

— А что ж делать, раз надо... Их только распусти...

— А если убьют?

Лицо земляка сереет.

— Ну-у, убьют... Что ты?

— А ты разве не думал об этом?

— А чего тут думать?

— Ну, а если?

— Чего если? Я к тебе по-доброму, а ты плетешь...

— Испугался? — вставая, смеюсь я. — Надо было раньше думать. Теперь поздно пугаться...

Шея земляка вытягивается. Он сверлит меня глазами, как будто догадывается, кто я, и не верит себе.

— На-днях зайду, — говорю я. — Стерегу, спи.

Он молчит...

... На мосту через железнодорожный путь прячу в карман фуражку и краду в спящих на перроне людей стаю прокламаций. Вижу, как мелькают, разлетаются они, и мчусь по ступеням.

За лавочками и ларями снимаю пиджак, одеваю фуражку и выхожу. У моста сплывают вокзальные жандармы.

«Мечитесь, мечитесь».

... Главная улица — лавка. Торгует, блестит, заманивает. Кто хочет быть счастливым, здоровым, богатым и красивым! Покупайте, покупайте! Не торгуйтесь, платите больше и будете красивее, здоровее, счастливей, богаче. Здесь все продается... Выбирайте, глядите, ослепляйтесь, и вам захочется смеяться. Как халва и вакса, как буза, — банками, фунтами и бутылками продаются ваши мечты. Покупайте!

Если в сердце выцвел смех, в нем родится гнев. Если нет места гневу, родится злоба, отвращение. Да, да... Вы только вглядитесь...

Среди продажных фунтов, банок, аршинов и бутылок мы сегодня крикнем о своем, о непохожем на лавку, где несчастные торгуют счастьем.

Да, крикнем!

По лицам, по платью и палкам узнаю своих родных. Они мелькают среди прохожих, толпятся у книжных витрин, у редакции газеты и афишных столбов. Так, ждите, ждите! В саду мне шепчут:

— Перенесено на вечер.

Силы падают. Сажусь на скамью, но в воображении вертятся станки, машины; в ушах стоит грохот, и сердце дергается. Шагаю.

От фабрики к фабрике, от окон к окнам. Звенит, пыхтит, стучит. Мельгающие ремни ткнут в душе паутину горечи.

Гудки, взрвите, сломайте рассчитанный бег звуков! Прочь молотки, зубила, кронциркули, верстатки! Ведь, праздник, праздник...

На берегу, у амбаров, в толпу грузчиков пускаю ватагу прокламаций. Кто-то сади вписывается в мои плечи:

— А-а, попался...

Но на его руки падают кулаки:

— Пусти!

— Не трогай!

— Как не трогай?

Вот оно, готовься. Жду ударов, криков... Озираюсь, вижу, как расхватают прокламации. Несколько человек, отворачиваясь, выталкивают меня из толпы. Один сипит в затылок мне:

— Уходи скорее.

Оглядываюсь, иду его. Спины, плечи, блеск глаз на бронзовых лицах. Длинные рубахи в пятнах пота. Все свои.

Иду за амбары. Женщины ковыряют иглами мешки и поют уныло.

На улицу бы их, напряжить силой голоса и заглушить шум пролеток, музыку ресторанов и звон денег. Прокричать о боли спин, о грязи и тоске. Светом глаз, миллионы раз дергавшихся от натуги к небу, затмить блеск фальшивых зубов, золота, румян, шелка и камней...

... Тает дневной свет. Деревья тянутся ветвями друг к другу, и улица похожа на ждущий света длинный фонарь. Снуют тени. Тротуары в шорохах. Мостовая в треске и гуле. Света, больше света! Так, ярче!

Глаза спешат к циферблату. Стрелки, дружнее! Взад и вперед прозжают казаки. Впереди, на белой лошади, старик с белой бородой на две стороны. С картины с'ехал, тенью гарцует. Хорошо, хорош...

Сад и сквер запружены. Сюда, все сюда! Не верьте треску колес и цоканью, — замрут. В переулках, во дворах стоят солдаты. Шастают ищейки. Пусть. Отбивайте сердцами за секундной секунду. Близится, скачет!..

Юрка, Крапивин, Голубев, Иваныч, — все здесь. Уже умирает раненый скукой день. Рука в руку. Глаза — в последний раз к циферблату. Еще миг. Насторожитесь, вспомните пережитое, расцветите мечтами... И в небо, за звездами. Вот, слушайте, сейчас грянет... Вот:

— На мостовую-у-у!

Во мне отдается тысячеголосый крик:

— А-а-а-а! — и раздвигает челюсти.

Весь я, всем, что во мне, вонзая крики в ревущие — «Долой» и «Да здравствует»... Мой голос — капля, но капля к капле вверх, вверх по стволу, чтоб зеленоло, смеялось, шумело, спорило...

Рука сжимает руку. Ее напряжение спешит к сердцу. Так, так. Капля к капле, кровинка к кровинке, мысль к мысли, — спавайтесь, спавайтесь. И в ногу, тверже, тверже.

— Долой...

— Ура-а-а.

Впереди, с головы слетает шляпа. Глядите: над нагой головою кровью взвивается красное и прыгает в свет. Выше, выше. Древко — свеча. Вот... С хлынувшего на головы красного на всю улицу, на всю ночь кричит серебряное «Да здравствует»... Эй, чьи руки выжили, дрожь ваших пальцев, блеск стали, искры ваших глаз горят. А к ним наши искры... Ярче, ярче. Тесней! — «Отречемся»... — качаются от тревоги и напряжения голоса и, подхваченные сбоку, сади, впереди, взлетают.

Громче! День, погоди умирать! Чахнет скука, сбывается весеннее. Зеленеет, шумит, спорит. Мы голосами сплетем тебе венки. Оленем помчишься с ним по земле. Погоди, погоди... Видишь, как блекнет короста вывесок?

Швыряет волнами плач. Красное колеблется. Из-за него выступает морда лошади и белая борода на две стороны... Пойте, громче пойте! Голосами глушите его крики...

Впереди сотни лошадиных морд, сотни картузов и рук с нагайками. Наши голоса захлестывают вихрь вскриков, стук копыт. Лошади близко, звякаются нагайки. Красное дрожит, никнет в топот, в рев и треск. Спасайте, спасайте...

Но нагайки секут, свистят, хлещут. Солдаты рядом. Приклад плещит во мне крик, но рука в руке. Рассеивающаяся волна плеч и голов мчит нас вдоль тротуара, и мы разбиваемся о приклады.

Нас вталкивают в переулок, и мы — уже не мы: вокруг чужие, дрожащие. Шипят, поют, бранят. Юрка, Крапивин, это нас, нас! Мы помешали им покупать, продавать, выбирать, млет и шурить.

Сквозь шипящих и испуганных спешим на соседнюю улицу. Через двор проникаем в сад и шагаем к выходу, к месту, где сломалась наша песня. По мостовой катят пролетки, стоит цепь солдат, вереницей едут казаки. Старик впереди. Белый, на белой лошади, гарцует победившей тенью.

— Юрка, конец...

Не смейтесь, не смейтесь, вывески: мы придем в другой раз, в третий — пока приклады не разобьются о наши груди...

(Отрывок из повести «Крепнище крылья», печатанной в сборнике «Железная тишина», изд. «Кузница». Москва 1922, стр. 142).

ЖЕЛЕЗНАЯ ТИШИНА

1

В черной короне заводской трубы торчит шест с паутинными останками красного флага. Водружали его весною, в праздник, под радостные крики и песни. Он бурлил в синеве комочком крови, видный полям, лесу, деревушкам и окутанному мглою городку. Ветер рассек его, оборвал и клочья унес в переизрезанные мертвой насыпью просторы.

Воронье чистит клювы о шест, каркает и спокойно глядит в черный зев, откуда десятки лет ввысь и вдаль неслись косяки дымных птиц.

Стеклопанные крыши мастерских дырвы. Из протемей в небо округло глядят недвижные трансмиссии. Дремлют моторы. Дождь и снег изранили серебряные от бега и об'ятий ремней шкива. Суппорт прилипли к сухим станинам. Суставчатая рука электрического крана заломлена и беспомощно свешивается с разметочной плиты. На постели похожего на гигантский трон

строгального станка развалившимся костяком сереют болты, угольник, планки и таечный плуч.

В гитарах самопочек дрожат запорошенные снегом тенета пауков. Следы резцов на неточенных валах и рычагах заводокла короста застоя. По сверкающим ниткам винтов прошел язык немоты, слизая масло и закругил их ядом ржавчины.

С полуночной стены тускло глядит побуревшая надпись: «Хоть шторы повесьте, душно». Стены не изменяют. Снаружи их изранили плути, снарядами. Сколько веры, тоски, боли, радости и гнева взрывалось в них!

Эй, каменные, помните?

Вон там, в углу, среди револьверных станков и американок, под свист ремней, шелканье собачек и журчание шестерен, тайно шестелело книжками целое поколение. Чует ли оно тоску застуженных колес и рычагов по бегу и теплу мускулов? Налетевшая буря, как семена пахаря, разбросала его по всей земле. Постель запыленного строгального станка не раз служила ему трибуной. С суппорта, словно с ворот, свешивалось знамя с золотым и белым «Да здравствует»...

II

У котельной под ветром гудят котлы. В оскал разбитой рамы зияет разорванная светом тьма. Среди прессов свист. Ржавый пол в алмазах. У окон из снежных курганов выглядывают козлы, ящики и гнупое железо. Ручные горна чуть видны.

В углу, на стене, под буро-красным валом трансмиссии, чернеют пятна. Это — кровь. На валу распято висел слесарь, схваченный болтом муфты, бился ногами по острию винта гидравлического пресса, пока не остановили мотора, и кропил кровью и ключьями мяса стену, пол и пресс. В сумерки снимали его с железного креста. На насхеп сколоченном столе блстели крест и евангелие. В пустоте котлов рыдающе билось заупокойное пение и тонуло в шуме соседних мастерских. Свечи дрожали в окрашенных железом руках.

... Со стены заколоченной кузицы, сквозь жемчужный узор мороза, на котельную глядит седой Мирликийский Николай.

Каждый год, 9 мая, после забастовки, стены кузицы украшались ветками кленов, берез и осин; пол устилался травой с красными каплями клевера. Пели певчие. Сгибались избитые нагайками спины. Их и наковальни, печи, паровые молота и горна осеняли слетавшие с кропила хрустальные крылья брызг.

Было празднично от женских и детских голосов, от улыбок и нарядов. Кузнецы водили по мастерской жен, невест, детей и показывали им свои горна и наковальни.

После молебна от заводских ворот к городку протягивалась живая пестрая стежка. От нее на ходу отделялись точки, через поля пыли к лесу, в долины, и там справляли свой молебен. По просторам катилось звонкое, зывающее к небу «Вставай, поднимайся»...

III

Среди двора, убегающим к литейной ворохом, из-под снега желтеют ржавые бандажи и никогда не дрожавшие пол паром цилиндры.

Электрическая станция — заснувшее, осиротелое, развенчанное сердце завода — прилпоснулась в снега. Сирены — голоса, сзывавшего на труд и бой, плакавшего от боли, нет: снята и бог весть где.

Барьеры у ворот сломаны. В проходной конторе передняя завалена изрубленными в поленья стропилами и козлами. Выломанными и искрошенными костями глядят они на пляшущий огонь и жгут... своей участи.

Дремлют сторожа. Потрескивает в печи, да снаружи доносится звон выдуваемых ветром стекол. Проходная вперила зазеленелые окна в сугробистый двор и бредит. Когда-то она дрожала от ударов паровых молотов, от свивающихся над ней грохотов, гулов, ляза и свиста. Порою железо смолкало в неурочный час. Из мастерских погоками выплескивались говор и крики. Во дворе бурлило синими блузами в пятнах, преобразженными лицами, руками. Дребезжали звонки, скрипели ворота. Везжали казаки; ротаны приходили солдаты, поблескивая штыками. Звучала команда, свистели нагайки. Из мастерской тучами неслись гайки, болты, обрезки. Лошади шархались и испуганно ржали. А в потолки билась тысячеголая песня.

IV

Против завода торчат следы лавчонка. За ними ютится вереница домиков. Рабочие ушли из них в городке заняли дома. Здесь остались старики, вдовы, калеки, да те, кому убогое милее богатого. Они салазками возят из леса дрова, кое-как перебиваются, терпеливо выслушивают насмешки проезжающих крестьян над немьм заводом и хмурятся, когда те сворачивают к заводу, и на зерно, мясо выменивают у сторожей вынутые из окон стекла, куски железа и жести.

В синие сумерки жены сторожей на салазках привозят на завод еду, а обратно увозят вымененное у крестьян и куски распиленных балок и стропил. Им влел со стороны домишек несется брань.

... Ночь слизывает со снегов голубой разлив сумерек. От городка и домишек к заводу подкрадываются тени. В одиночку, стаями ломают заборы, будки, навесы и рвут остатки проводов. Сторожа кричат, стреляют, тени в панике прычутся и ждут. Сторожа мечутся от одной к другой и, обессилев, бредут к теплу.

Завод глядит в зернящееся золотом небо и стонет, охает. Выламываемые из него кости с шорканьем уползают к дороге.

Ветер гонит в расширяющийся пролом забора поземку, через вынутые и выбитые стекла вдвует ее в мастерские и плачет в плену железа, пока не разобьется на-смерть.

Так день за днем... тление, сторожа и тени точат завод.

V

Порою из города выгает автомобиль с красным флажком. Растет, с ревом пронисется мимо домишек и замирает у ворот завода. Мелькают паляхи, шинели и кожаные куртки. Сторожа пугливо суетятся. Прибывшие идут по протоптаным тропочкам в мастерские. Среди стылого железа шаги звучат четко и глухнут. Прибывшие выслушиваются в каменящее звуки молчание, вздыхают и выходят. Двигая полям, все смелее наступающим на завод, слушают бормотанье сторожей о кражах, пишут что-то в книжках, греются в проходной и уезжают.

Сторожа провожают взглядами тающей автомобиль с дрожащей на ветру крапичной крови, перемигиваются и говорят:

— Чудаки, право...

— Да-а...

Раз в неделю давящая завод тишина вздрагивает от грохота, звона и испуганно разлетается. Мастерские играют трелями грянувшей песни железа. Отдыхающее на короне завода вороне шарохаётся и с карканьем улетает.

Сторожа спешат на крики железа в котельную и видят: человек в коротеньком тудупчике, в обшитых кожей катанках изо всей мочи бьет кувалдой в старый котел:

— Бум!... Бум!...

Это Степа, бывший молотобоец. Говорят, он дурачок, но это неправда. Он вкось глядит загадочным единственным глазом на приближающихся сторожей, опускает кувалду и едко спрашивает:

— Испугались?

— Брось, Степа... беспокойство делаешь... разве виноваты мы?

— Беспокойство-о... — передразнивает Степа сторожей. — Вам бы, тихоньким, оборвать завод... ловкачи, — и смеется.

Сторожа кидаются на него и норовят отнять кувалду. Он отбивается ею от них, шмыгает за пресса, котлы и — в окно.

Снаружи ехидно спрашивает:

— И мою кувалду продать хотите?... Ого-го-о-о... воровское место!

Котлы обрадованно хором повторяют его крик — и тихо. А через минуту железо вскрикивает под кувалдой за кузницей. Звуки сплетаются, взлетают с ветром и настораживают поля.

У ворот домишек появляются люди, качают головами и умиляются.

— Опять глушит Степушка...

— Ишь его как...

— Вроде бы настоящая работа пошла...

Но слабеют силы Степы. Кувалда вываливается из рук, и завод сжимает тишина. Степа прячет кувалду и с блаженной усмешкой идет по проложенной ворами тропинке с завода.

На дороге останавливается и, наклонив голову, слушает... Машины, станки, котлы гнетет молчание. Степа вздыхает, ежится и на ходу бормочет:

— Нешто уберешь... куда тут... эва как растащили...

За ним прокопченные едким дымом чугуники стены ползет тоска немого железа. Он чует ее рядом, мотает головою, расплывается и спешит в проходную контору. Бранится со сторожами, грозит им и озабоченно шагает в городок. Топчется там в передней Совета, жалуется всем, всех просит пустить завод и, успокоенный, ободренный, возвращается к себе.

Во сне размахивает жилистыми руками, мечется и кричит:

— Эй, эй!.. Оправку!.. Заклепки сжег!.. Бей-бей!..

(Из сборника «Железная тишина».)

Ю. ЛИБЕДИНСКИЙ

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

(Заметка)

В сборнике «Наши Дни», № 2, помещена повесть Юрия Либединского «Неделя». Об этой повести мне бы хотелось сказать несколько слов.

Послереволюционная литература выдвинула уже ряд безусловных талантов, в том числе несколько переклассных бытовиков. Но среди этих писателей, чрезвычайно подчас интересных, умных, наблюдательных, давших даже новую форму прозы, до сих пор не было «целиком своего».

В большинстве это — люди «сочувствующие», старающиеся идти в ногу с рабочей революцией, часто приклеивающие в начале, в середине или в конце соответствующие восторги или изумления, но «холодные» к революции по существу. В лучшем случае описывающие крестьянскую стихию, в массе же изображающие голодный быт мешанства, чрезвычайно далекого от исторического разума рабочего класса. Трештание крыл революционного гения, то громадное и великое, то бесмертное, что будет жить в веках и веках, ускользало от взора современных беллетристов, было вне поля их духовного зренья.

«Неделя» — блестящее исключение, если не ошибаюсь, первая ласточка. Здесь нет ни криливо-рекламного пафоса, ни символических ходящих фигур, нагромождения «производственных» слов, терминов, обозначений. Все — от начала до конца — быт. Но в этом быту бьется живой пульс великой революции. Вы проглатываете строки этой повести с жадностью, с волнением, с учащенным дыханием. Это «эмоциональное заражение» лучше всяких теоретических рассуждений доказывает высокую художественность работы тов. Либединского. Сюжет ее — жизнь провинциального городка и коммунистов этого городка в период продрозверстки, кулацких восстаний, офицерских заговоров, голода. Напряженный ритм жизни уловлен прекрасно. Разнообразные психологические типы — интеллигент-коммунист, рабочих «переводников», беспартийной учительницы, от религии идущей к коммунизму — мельчайшие душевные нюансы и движения переданы превосходно. Без нагромождения ужасов, без утрировок, без добродетельных прикрас. Вы видите новую жизнь, она развертывается перед вами, точно вы непосредственный участник событий.

Говорят, автор — 24-летний коммунист, красноармеец. Если это так, то еще лишнее доказательство, что перед нами большой талант, молодой, новый, свой, которому нужно помочь стать на ноги. Повесть же «Неделя» нужно немедленно издать особым изданием.

Н. Бухарин.

НЕДЕЛЯ

повесть

ГЛАВА VI

Убили одного тут чекиста, верст за 200 отсюда, и кажется мне, что это связано вместе и говорит об одном, о близком восстании.

— Убили? Как фамилия его? — встревоженно переспросил Стальмахов. — Не Суриков ли?

— Суриков... он, верно, нервничал, провалил работу и себя засыпал. Парень хороший, но плохой чекист. А ты его знаешь разве?

— Мы вместе жили... Ты расскажи подробнее о его смерти... Может быть, только слухи?

— Нет, не слухи! Агентурные сведения... Его живьем в землю закопали... Да это пустяки; ты, вот, Климина найди непременно, слышишь?

Военное положение теперь уж объявить поздно будет, но пусть хоть коммунистическую роту под ружье соберут... Ведь, переберут всех, как цыплят... Ну, иди скорее.

Он крепко пожал руку Стальмахова.

— А с Суриковым-то правда, значит?

— Конечно, правда! Ничего не сделаешь, работа наша такая, ко всему нужно быть готовым, да и он, верно, сам виноват... — И Горных, сутулый, оборванный, с мешком за плечами, пошел прочь и скрылся в толле.

Стальмахов шел домой по кочкам замершей дороги; на душе у него было пусто, и мысли пробегали через нее, как мыши через холодную, светлую комнату.

— Убили... — Сейчас придет домой, и прямо с порога у входной двери осиротевшая мать спросит о нем, о Сергее. И хоть тяжело будет, но придется солгать. Придется потому, что в кармане его лежит записка Сержи Сурикова, писанная с последней станции, перед отбытием туда, в синие степи:

«Дорогой Стальмахов! Если меня убьют — скажи тогда матери, что я уехал в продолжительную командировку на несколько лет. В Германию или в Девиер. Это будет моя последняя просьба. В память нашей дружбы возьми мою фотографическую карточку. Она приложена к старому удостоверению, которое лежит на верхней полке этажерки.

«Живи и работай хорошо.

Сергей Суриков».

«Р. С. Приложенное здесь письмо передай, в случае моей смерти, председателю Ч. К. тов. Климину».

И когда на настойчивый стук Стальмахова открылась входная дверь, он увидел ее такой, какой ждал увидеть: с морщинистого лица низенькой худенькой старушки, поверх очков в почерневшей медной оправе, пылливо смотрят на него добрые голубые глаза.

И услышал вопрос:

— С Сереей не случилось ли чего, письма нету ли, не знаете?

Подумал Стальмахов о том, что Сергей, ее любимый Сереза, нить сербрых лучей, связывавшая безотрадную старость ее с радостной жизнью, погиб ужасной, одинокой смертью, в беспредельных степях, туда к юго-востоку, и непривычная жалость шевельнула его сердце.

— Нового ничего не знаю, Анна Петровна, — ответил он, не глядя ей в глаза.

Посторонилась она, пропустила его мимо себя, и прошел он в свою комнату, где стояли две постели, его и Серезы, убитого в далеких синих степях.

— Самовара не нужно ли вам, Андрей Васильевич? — спросила она, входя за ним в комнату. Она вздохнула и села на стул подле двери. Сереза Суриков... высокий и стройный, чуть-чуть сутулый, темнорусые, золотом отливающие волосы, а лицо... как будто бы самое обыкновенное, лицо молодого красноармейца, красивого деревенского парня. Но изнутри этого лица точно зажжен какой-то огонь, делающий прекрасной каждую черточку этого простого лица, как свеча, превращающая незатейливый китайский фонарик в причудливую красную звезду. Толстый нос, голубые глаза, мягкий улыбочный рот, золотистые волосы на щеках, на верхней губе и на подбородке.

Спокойный, неразговорчивый, как будто бы тающий что-то, приходит он после целодневной работы в Ч. К. Неторопливы его движения, его умные, редко сказанные слова; а мать следит нежно-заботливым взглядом за каждым движением своего Серезы, слушает каждое его слово и избыток своей любви

дарит Стальмахову, уже взрослому, огрубевшему, забывшему о материнской любви и вспоминающему о ней, как о чем-то далеком, далеком.

Стальмахову было жаль ее и тяжело ей солгать, и в то же время радостно, что он еще не солгал, сказавши, что Сереза уехал в Германию.

Не так давно женщина, которая его сильно любила, подарила ему, Стальмахову, на память вазочку. На ней нарисованы были старым рисунком чьи-то любовные мечты... Крутообразные голуби развели облачно-лазурные крылья над голубками... Рассыпаны были голые, пухлые амурсы, а посредине, на облаке, сидели пастух и пастушка, он играл на лютне; хорошо играл, потому что нежно задумчивая улыбка бродила на ее лице; а белянский ягенок ел цветы из букета, который она держала на коленях. Горлышко вазочки было сделано в форме чашечки цветка и по голубому рассыпаны были там звезды золотые и серебряные, а некоторые были из пестрых стекол и искрились маленькими огоньками. Неловкими руками взял он вазочку.

— Деть мне некуда эту баночку, — сказал он, обвел комнату глазами и поставил вазочку на верхнюю полку этажерки. И каждое утро, проснувшись, поднимал он глаза на этажерку и, глядя на вазочку, с насмешливой лаской вспоминал он ее, непонятную, чужую по мысли и по наружности, красивую, пахнущую изысканными духами и так сильно полюбившую его, не-образованного рабочего, который не умел говорить любовных слов и у которого лицо изъедено оспой.

Она была артистка и из города вскоре уехала. Он тоже уехал на работу в деревню. И когда, после долгого отсутствия, вошел в комнату свою и стал искать глазами вазочку, увидал, что стоит она на столе, что у нее отбита часть горлышка и что покрыта она теперь грязными чернильными пятнами.

Оказывается, что Сереза Суриков, не подозревавший, что для Стальмахова эта вазочка — память о любви, налил в нее чернила. Стальмахову было очень неприятно, но он, ни слова не сказав Серезе, вылил из нее чернила и теперь поставил ее с другого края этажерки так, чтоб не видеть ее по-теменьшую, грязную, с тонкой трещиной, искажающей нежную улыбку пастушки.

И теперь, всегда, когда ему что-нибудь дарили на память, фотографию или безделушку какую-нибудь, вспоминал о вазочке и брал неохотно. Даже письма, которые он получал от товарищей, почему-то терялись.

И сразу проснулась ненависть. О, сволочи, сволочи! Этого кудрявого мальчика, такого умного, совестливого и безмерно преданного партии, живьем зарыли в землю.

Мести, мести! Но мстить было некому. Злоба клокотала в нем, и он сжал кулаки. Вдруг вспомнил то, о чем просил его Горных, и энергия ненависти сразу нашла себе выход. Да, он отыщет Климина и убедит его быть бдительным! И завтра же будет просить партком о том, чтобы ему дали отряд, и тогда он пойдет громить бандитов. А пока, во что бы то ни стало отыскать Климина! С этой мыслью он вышел из квартиры.

Климин в дверях парткома лицом к лицу столкнулся с входящим Стальмаховым, и сразу его поразило возбуждение и злость, игравшие на этом, обычно таком спокойном, лице.

— Что с тобой? — спросил Климин, здороваясь со Стальмаховым.

Стальмахов рассказал о своей встрече с Горных и передал все его опасения.

Они тихо шли по пустой улице, на которой только дети, собаки да куры, копотившиеся в подворотнях.

— Откровенно скажу, Стальмахов, не знаю я, чего от меня хочет Горных, — раздраженно сказал Климин. — Все предварительные от меня зависящие меры приняты, наряд комроты усилен... Караулов дал знать батальону, чтоб они держались настороже... С другой стороны, у Горных никаких данных нет. А из-за предчувствия одного чекиста останавливать важнейшую хозяйственную работу я во всяком случае не буду. И без того приходится столько работать, обо всем думать и предусматривать каждую мелочь. За всех приходится делать, до того наши товарищи не умеют работать. Делают все медленно, мешкают, а положение такое, что каждую минуту нужно ценить и использовать. С Зиманом работать — мука, его никак не раскачаешь. А тут еще Горных со своими опасениями и подозрениями... Вообще тошно мне сегодня, Стальмахов... Послал я чекиста одного в степи с важным поручением, а его бандиты убили, и вот не могу простить себе, зачем я его послал? Не годился он для такой работы, слишком уж нервный. Интеллигент...

— Я знаю его. Он мой товарищ был. На одной квартире жили. У него ведь мать осталась. — Голос Стальмахова звучал все глуше и глуше. — Он мне со станции прислал записку и, в случае своей смерти, просил передать тебе это письмо. Возьми.

Прошло несколько тихих минут, пока Климин быстро пробежал глазами письмо, кончил и бережно сложил его.

— Слушай, Климин... Завтра я буду проситься в парткоме против бандитов. И ту сволочь, которая убила его... Да я с нее шкуру сдеру. А сейчас прошу тебя... Прочти мне это письмо, оно слово Сергея для меня дорого. Буду слушать и представлять его.

— Прочту, — ответил Климин. Они сели на низенькую скамейку.

ГЛАВА VII

«Дорогой товарищ Климин! Сейчас я на станции Н-ск. Глебов ушел за подвохой, его нет уже часа четыре. Станция маленькая, и я совершенно один. Пересмотрел старые, еще довоенные, рекламные и объявления, не гармонирующие с жизнью теперешней, полюбовался чудесным плакатом на тему о подвиге транспорта, потом забрел в отделение Орточека, и, при виде пера и чернильницы, у меня появилось желание — мысли, которые бродят сейчас в моем уме, переживания, которые тревожат сейчас мою душу, откровенно рассказать вам. Почему вам, тов. Климин, вы, верно, поймете. Вспомните, как в Политотделе Н-ской дивизии, вы, старый член партии, начли, терпеливо часами беседовали со мной, тогда беспартийным, самоуверенным мальчишкой, голова которого была забита всякой интеллигентской дребеденью. Вы терпеливо выслушивали мои нелепые рассуждения, ловко вышибали из-под меня почву, потом натаскивали меня на марксизм, терпеливо рассказывали мне азы классового боя и социализма. В партию я вступил уже в полку, позднее, но в существующий коммунистический партия сделала ваши уроки. А когда вы ушли в Ч. К., я, по ликвидации фронта, пошел к вам работать. И под вашим руководством я стал настоящим революционером и коммунистом. Вы для меня были идеалом коммуниста. Оттого я не пишу ни матери, ни другим товарищам, знавшим и любившим меня, а именно вам, моему начальнику, в кабинет которого в рабочее время я не могу войти без доклада.

«Это письмо вы получите только в том случае, если меня убьют. А в том, что меня убьют, я почти не сомневаюсь. И это хорошо, потому что мне с жизни делать больше нечего, я не человек, а только скорлупа человеческая,

и теперь в моей душе совершенно пусто. Так пусть я хоть умру с пользой для коммунизма.

«Но чтоб вы меня поняли, я расскажу все по порядку.

«Помните, как в прошлом году, после того, как раскрыли заговор по всему краю, мы ездили расстреливать пятерых белогвардейцев.

«Была морозная зимняя ночь, с колдовской луной, окруженной кольцом. Наш грузовик быстро бежал по блестящему, отполированному полозьями тракту. С нами был Лежавин. Он волновался, так как первый раз был на расстреле, держался неестественно весело и оживленно и разговаривал то с вами, то со мной. Вы, как всегда, деловито и исчерпывающе отвечали, но в ваших ответах была еле уловимая интонация: «мальчик, не притворяйся тебе не по себе». Я отвечал ему односложно. Мне не хотелось говорить; я слишком устал за день и отдыхал в безмолвии этой синей, слегка морозной ночи...

«Порой я оглядывался в кузов, видел «их», видел настоящие лица ребят, вспоминал, куда мы едем. Стачивольно неприятно. Но ведь я участвовал не в первом расстреле.

«Мы в'ехали в монастырский лес, в сборище волшебных деревьев, заиндевевших, похожих на предсмертные мечты замерзающего. Иногда деревья ступались и видны были зачарованные лица полян. На одну из таких полянок мы прошли по узенькой тропинке. Там была старая, заброшенная каменоломня, зимой заваленная снегом и все же кажущаяся глубокой, черно-синей ямой.

«По дороге все молчали.

«Они» вели себя хорошо и тихо ждали смерти. Я как-то не задавался вопросом, о чем в последний раз думают эти люди, казалось, такие безучастные ко всему. Я все уже заранее принял в те минуты, когда просился у вас на работу, в Ч. К. Заранее знал все, что будет; отвратительные минуты, когда делились в беззащитную кучку людей. Но все это скоро кончится, и после гулкового зала, от которого ближние березы уронят снежную пыль, пять человеческих тел упадут глубоко, глубоко в черноту каменоломни, а мы поедем обратно и опять будем слушать колдовскую зимнюю тишину.

«Но вышло не так, как я ожидал... Вполголоса вы сказали им:

« — Раздевайтесь, граждане.

«Они переглянулись. Один скинул полушубок. Другие последовали его примеру.

« — Нет, совсем раздевайтесь, — сказали вы и добавили, как будто для нашего сведения, — нагишом будем расстреливать...

«Ребята угрюмо молчали, и в их молчании чувствовалось, что они с вами согласны, что они вас понимают и готовы расстреливать нагих людей. Было очень тихо, и только издалека, с дороги, могуче гудел мотор нашего грузовика.

«Тогда они стали протестовать. Вы помните их протесты? Один говорил, что человеку нужно облегчить смерть; другой — что это издевательство, а старый учитель-черноотенек, высокий, с продолговатой, седой бородкой и покатыми плечами, вдруг жалобно, по-детски заплакал, сквозь слезы он говорил, что это «не хорошо» так делать, что у него инфлуэнца. Я знал, что он служил охранке, выдавал своих учеников и за это получал ордена, знал, до какой степени велика его ненависть к нам, и все же не стоило мне стоить трести мелкой дрожью, словно это меня заставляли раздеваться... А тут еще дрожавший голос Лежавина говорил всем:

« — Тов. Климин, не надо так делать. Не надо издеваться над ними, зачем? — в его голосе слышались слезы.

«Кто-то из ребят злобно выругал его. Вы сказали:

«— Но к чему же, чтоб гнбла одежда? Ведь, в это белье и платье можно будет одеть кого-нибудь полезного республике. Через минуту им эта одежда нужна не будет, — и добавили тихим шопотом, обращаясь к Лежавину: — не вносите дезорганизацию. Идите к автомобилю и ждите нас.

«Тогда они поняли, что нет исхода... Садись на пни, стаскивали с себя сапоги и брюки, скидали нижнее белье. У тех, которые были в прозрачной тени деревьев, тела казались зеленовато-темными, какими они кажутся сквозь прозрачную, озерную воду. У других лунный свет делал тело белоголубым... Ах, как все это безмолвно и непонятно, как в страшном, неуютяющемся сне, в каком-то морозном кошмаре.

«В эти места я не раз ходил летом. Мне хорошо была знакома старая, раздвоенная сосна, у которой мы стояли. Я знал каждую ее ветку. Я узнал сделанные топором большие засеки на нижней части ствола.

«Я люблю эту сосну, но она мне казалась странно-чуждой и враждебной. Такой чужой и враждебной бывает мать в те страшные минуты, когда ее видишь в кошмаре, чужой, безжалостной, равнодушно-спокойной к тебе, к твоим протянутым рукам, к твоим мольбам о помощи. Вид этих людей, раздвевшихся на морозе, вызвал вдруг перед моим воображением картину купания на берегу озера в жаркий солнечный день. Ассоциация дикая, но я чувствовал, что мои мысли путаются, и хорошо, что гулкий залп разом снял эти чары.

«Вы помните меня это утро расстрела? Я с увлечением участвовал в работе Ч. К. и гордился этим участием! Я легко подписывал заключения на следственных протоколах и без малейшего содрогания сам приводил в исполнение смертные приговоры. И все это потому, что я твердо знал, да и теперь знаю, что это кровавый путь, но путь единственный из того ужаса, который царил над жизнью людей на земле. Я жалел людей, страдал их страданиями, но знал, что только через смерть врагов революции возможен путь к коммунизму. Оттого я был так беспощаден. Я свою великую жалость переплотнотил в великую ненависть. И я думаю, что так делает каждый коммунист.

«Настанет время, и я надеюсь, что оно скоро настанет, и эта великая человеческая жалость сделает прекрасной жизнь людей на земле. Тогда страдания ближнего будут больно ранить человека. К чужому организму, к этому прекрасному человеческому телу, которое устроено так же, как и мое и как ваше, которое так же мучится и страдает, будут относиться с величайшей бережливостью. Это будет так! Но сейчас эту жалость нужно революционать в ненависть. И до этого расстрела я умел это делать.

«А тут, точно кровь этих нагих белогвардейцев мне в душу брызнула! Все вспоминаются мне они, раздвевющиеся при свете луны, их дрожание нагие тела, грохот выстрелов и стоны... Эти ужасные стоны, раздающиеся из каменоломни! Стоны теряющего себя, умирающего тела! Вы, может, назовете это мягкотелостью, но знайте — когда они раздвались, я вдруг ясно, ясно представил себе, что это я раздвеваю, что мое тело хватается мороз, что мои мускулы и кости нижут пули и что я стону ужасным надрывающим стоном.

«Я разучился подписывать заключения на расстрел... Допрашиваешь, а сам смотришь в эти живые глаза, на эти руки, следишь за игрой морщин на лице и ни на минуту не забываешь, что перед тобой враги, и все же думаешь: неужели моя рука пошлет этот организм на смерть?

«Предел ненависти для меня перейден. Но уйти из Ч. К. я не хочу, потому что считаю работу чекиста самой революционной и необходимой в настоящее время.

«Так пусть же лучше смерть... И когда я буду страдать перед смертью — непременно буду помнить о том, что я сам мучил и расстреливал.

«А может быть, это, правда, мягкотелость! Может быть, на той работе, которая мне сейчас предстоит, я закалюсь и опять стану стойким и сильным. Пусть же эта командировка будет моим искусом.

«Для коммуниста каждый день — испытание — искус, так как во всех нас сильно тяготение к старому.

«О нас, о молодых коммунистах, и говорить не приходится... Мало у кого хоть голова наружу, а большинству этот старый мир через голову перекрестивает, затемняет слух и взор и мутит мозги. Поэтому всегда за собой следить приходится. Не свернул ли с правильного пути? Не путаешь ли чего? Не становишься ли обывателем? И я не хочу стать слезливым толстоцея-интеллигентом... Так пусть же будет искус физически: страданий, тяжелой нервной работы, может-быть смерти. С этой работы я или вернусь перерожденным и укрепленным, или совсем не вернусь.

«Но буду знать, что если я, ослабший, выбыл из строя, то такие как вы, — корень и ствол партии, остались, что борьба продолжается и коммунизм будет на всей земле.

«Живите и работайте хорошо.

С. Суриков».

(Отрывок из повести Ю. Либельнского «Недсяя», напечатанной в худ. альманахе «Наши Дни», № 2, 1922 г. и выпущенной отдел. изданием).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Лирика

ГРУППА ПЕТРОГРАДСКИХ ПРОЛЕТАРСКИХ ПОЭТОВ

ПРОЛЕТАРСКИМ ПОЭТАМ

*Поэтов ярче, и счастливей, и бессмертней нас—
Наша планета еще никогда не роздала...
Нашими устами песнь несметных масс
Величьем небывалым впервые зазвучала.
Мы—вестники Грядущей новой Красоты,
Мы—Поступь, мы—Дыхание иных Веков Прекрасных...
Мы—сердце, мозг трудящихся, их лучшие цветы,
Мы—смиренность Мирозда, Трудя стремлений властных.
Мы выжили первыми, и первыми смело подем—
На зов иных времен, сомкнуто-тесным строем...
Гневущих лет наследие сжигаем Творческим Огнем,
Узорные, Светлые Здания Грядущего строим.
Мы первыми стали на страже у главных Дверей,
Измена наши будунь в дружих повторяться...
Никто не минует проложенных нами Путьей,
Тайком никому мимо нас не пробраться.
В царство Грядущего, как лучшие из всех,
От масс достойно избраны их Первыми Депутатами...
Вселенная примет и признает только тех,
Которые к Ней явятся с нашими Мандатами.*

Илья Садофьев.

(Стихи взяты из сборника Илья Садофьева «Динамо-стихи» 1918, Петр. Прол., стр. 19).

КОСМИСТЫ

Петроградская группа. Петроградский Пролеткульт в годы 1918—21 до НЭПа собрал большую группу пролетарских поэтов и беллетристов. Ядром этой группы явились уже выдвинувшиеся до революции, в годы 1910—17, писатели-рабочие: Самобытник-Машуров, Илья Садофьев (Аксено-Ачкасов), А. Гастев, А. Пономорский, А. Крайский, Бердников, П. Рыбачин, П. Арсенин, беллетрист П. Бесселько. К ним явились присоединившиеся молодые: Дмитрий Мавзин, Митих, Ем. Панфилов, Инносентий Оксенов, Веснина и много других. Органом петроградской группы явился журнал «Грядущее», прекративший свое существование после 1921 г. Уже до 1921 г. в поэзии Илья Садофьева, в его «Динамо-стихах», в его поэмах «Ко вселенной», «Всемирный товарищ» была выдвинута идея «вселенности» — идея космизма. После 1921 г. старая группа выступает самостоятельно под именем «космисты». Это название было выбрано неудачно. Оно было вовсе не характерно для движения пролетарских поэтов-интернационалистов, стоящих на почве реальной, исторической действительности. В последнее время петроградская группа выдвигает знамя классичности. На путях к новому творчеству петроградские поэты, по признанию кри-

тика Л. Свенцицкого (Мечиславцева), успели пережить периоды Тредьяковского, Ломоносова, Державина и ныне встретились с поэзией А. С. Пушкина и выдвинуя лозунг: «не наезд к Пушкину, а к сознательному критическому принятию пушкинской стихии в свое творчество».

По словам пролетарских поэтов, «ответать им дано:

Пьяно ли в пушкинском стакане
Индустриальное вино».

Поэты стремятся уйти от абстрактного к конкретному и хотят в живом человеческом потоке человеческое лицо разглядеть, противопоставить алгебраическому человеку живую историческую личность. Петроградские поэты зовут не к рабскому копированию, не к протоколу, не к натурализму, а к синтетическому соединению реализма и символизма.

Вечерние космисты, видимо, отходят от своего неопределенного и расплывчатого космизма. Они говорят в № 24 «Литературного Еженедельника», стр. 11: «От космизма к реальной действительности, от ломоносовской стихии к Пушкину, как величайшему символу максимального выражения личной и социальной стихии—таким нам дальнейший путь. И когда мы пойдем, что без пушкинского начала мы осуждены на бессение, когда примем его стихию и растворим в своем творчестве, тогда наша поэзия станет великим стимулом жизни, тогда она пойдет не только под знаком отвлеченного космизма, а под знаком живой человеческой личности».

К ядру петербургской группы примыкают кандидаты и сорениователи. После четкого круга насчитывает около 20 человек. По подсчетам группы устраивает в Петрограде теоретического характера беседы и обсуждение новых произведений сочинен. Эти вечера носят закрытый характер. Кроме того, «космисты» устраивают вечера публичные с приглашением гостей и с участием других групп поэтов. Наконец, петроградские поэты устраивают свои выступления на зовах и в высших учебных заведениях.

С 1921 г. участники группы ведут литературный отдел в «Петроградской Правде». В «Красной Газете» с 1922 г. им предоставляли и «Литературная страничка», а с 1923 г. они же принимают активное участие в «Литературном Еженедельнике», а позднее в журнале «Зори». С 1923 г. группа вступает в период синтетических исканий.

Социальный состав группы на ¼ пролетарский; партийных в группе 60%. Наиболее талантливыми представителями группы являются Илья Садофьев, А. Гастев и А. Крайский.

В. Львов-Рогаевский.

Ф. И. КАЛИНИН О ПОЭЗИИ А. ГАСТЕВА

*Путь пролетарской критики и «Поэзия Рабочего Удара»
А. Гастева*

Пути развития буржуазии и пролетариата несомнестимы. Эта истина каждому мало-мальски развитому рабочему давно известна. Однако, на деле часто допускаются компромиссы, при чем люди даже не замечают противоречия со своим основным положением. Например, оценку художественного произведения, в особенности с эстетической стороны, нередко от лица пролетариата, дают сделать специалисту, не стоящему на классовой точке зрения. Такого рода компромиссы вредны и свидетельствуют о далеко неполном освобождении от буржуазных влияний. Не только разбор художественного произведения, но всякий разбор и исследование в любой области жизни не должны, по крайней мере, без строгого контроля, нами доверяться представителям идей других классов. Если мы вспомним основное, характерное направление буржуазной литературы последнего времени в области художественной и философской, то нам придется охарактеризовать его, как банкротство буржуазного сознания в развитии исторической перспективы. Буржуазия и ее идеологи, наемные и не наемные, не находили оправдания в расширении прав развивающегося разума. На этом пути получившиеся результаты и вы-

¹ Статья была помещена в № 4 «Прол. Культуры» за 1919 г.

воды не сулили им ничего хорошего. Они вели к краху капиталистического общества, чего допустить и желать буржуазные идеологи не могли. Это побуждало их искать выхода в тумане всякого рода мистических теорий, в разнообразных изощренных формах теософии, оккультизма, примитивизма, интуитивизма и т. д. Сознаться в крахе своего положения и строя буржуазия не могла, — все силы души противились этому. Вместо этого она объявила бессилие человеческого интеллекта (рассматривая его при этом не как конкретное, присущее тому или иному классу, а как нечто отвлеченное, в основе своей одинаковое для всего человечества), который будто бы неспособен преодолеть целого ряда стоящих перед ним препятствий. Интеллекту они стали противопоставлять интуицию, догадку, переносили центр тяжести на эти стороны человеческого познания, чтобы опереться на то, что не поддается учету, что непонятно и продолжает быть невыясненным и загадочным; верные своей природе, они и эти стороны, отрывая их от познания в целом, извратили, представили в ложном, загадочном и мистическом виде.

Если буржуазия, отмахиваясь от предстоящего краха капиталистического строя и своего господства, придумала для себя мир приятных грез и фантазий, через призму которых она хочет навязать и нам рассматривать все события и явления мира, то пролетарят должен с беспощадностью разоблачать этот мираж. В лице наиболее хитроумных своих представителей Берсона и Бутру буржуазия провозгласила капитуляцию человеческого разума, заявила, что 25 веков его развития привели в тупик, а как способ, выход из этого тупика рекомендовала подчинить «бессильный разум» интуиции в их мистическом толковании. На это мы, рабочие, отвечаем: — вы, господа хорошие, безнадежность перспективы своего положения в развитии общественной жизни приняли за бессилие разума вообще. Это ваше дело, как вам заблагорассудится, так и двигайтесь по избранному пути. Нам с вами не по дороге. Наше положение и основанное на изучении его убеждение говорит нам, что сила организованного сознания постепенно развивается и поднимает себе интуицию-догадку. Интуиция, или, вернее, подсознание, есть только склад-хранилище накопленного опыта, и наша задача по отношению к этому хранилищу — научиться при помощи сознательных усилий воли пользоваться им в нужной работе и в нужный момент. Область случайного если мы и не изгнали еще, то уже приступили к выполнению такой задачи. Творчество по чистому вдохновению постепенно отходит в область преданий. В наш век творцы во всех областях ставят себе сознательно определенные цели и планомерно, рассчитано их осуществляют. Область изобретений переносится в фабрику. В Америке и Германии существуют фабрики изобретений, где изыскания производятся по точно разработанному плану коллективным способом, и вместо личного усмотрения регулирует работу творчества коллективно-выработанная система.

Рабочий класс должен установить свои пути и свою оценку в какой бы то ни было области. И если иные товарищи нам говорят противное, то это признак непонимания положения и задач пролетариата.

Все зависит не от того или иного количества знаний фактов (их можно при упорстве труда всегда приобрести), а от того, в какой связи рассматривается данное общественное событие или явление, с какой позиции производится его оценка. При исследовании законов общественного развития, Маркс подходит с точки зрения рабочего класса, как производителя. Этот способ исследования дал ему возможность создать научный социализм, в корне изменивший взгляд на общественное развитие. Религиозный человек ставит бога в центре мира, а человека на земле, как существо, для которого создана вся природа; и в зависимости от этого он рассматривает и строит свои отно-

шения к общественной и мировой жизни. Техник-материалист будет все рассматривать с точки зрения комбинаций материальной энергии, ее соединения и разделения. Результаты такого построения дают ему возможность понять природу и поставить самого себя в такую связь, которая дает нам больше результатов в преследовании его практических целей, позволяет сделать соответствующий этому выбор пути или комбинацию. То же самое в выборе средства определить мотивы и формы пролетарской литературы. Все зависит от способа подхода, с какого положения будем ее рассматривать.

В поисках формы и содержания рабочей литературы, также и оценки, рабочий критик прежде всего должен подходить к делу сознательно и организовано. А это значит: он должен исходить из существа природы пролетариата, его положения в обществе, глубоко осознать это положение в капиталистическом строе и подметить пути развития. Пролетарский писатель должен понять связь своего класса с современным состоянием общества и отчетливо уяснить его открывающиеся перспективы.

С каждым днем революция все больше и больше выдвигает рабочих писателей, и близок уже день, когда рабочий-писатель станет обычным явлением. Большинство рабочих-писателей выступают как поэты. Преобладающим мотивом их творчества является отражение современной революционной настроений. Основных, положительных пролетарских мотивов, в которых бы отмечались внутренние пружины рабочего социалистического движения, почти нет совсем. И это понятно. Для того, чтобы изобразить со всей силой художественного выражения основное развитие жизни, формы, в какие она начинает выливаться, борьбу старых пережитков, их живучесть, предсмертные судороги, и ясно нарисовать картину, как все-таки новый тип жизни, вопреки преградам, пробивается сквозь рутину и косность и встает перед нами в ярких чертах мощного прообраза социалистического строя, организующего наши волевые усилия в единый могучий порыв к достижению конечной цели, — чтобы уметь это изобразить, надо не только быть художником, но, кроме того, хорошо знать хозяйство, законы его развития, и вполне владеть марксистским методом, который дает возможность вскрывать все наслоения и плесень буржуазного флера.

Другой основной мотив пролетарского творчества — изображение психологии передового рабочего. Перед рабочими писателями стоит задача изобразить формирование пролетарской психики, ее столкновение и борьбу с буржуазными пережитками; провести сознательный тип рабочего борца через вековые слои тины, сползившей на путях буржуазной культуры, показать временные поражения и сомнения, ошибки и снова приливающие порывы к движению вперед; показать, как неудачи и поражения расширяют опыт и с еще большей силой толкают пробивать путь к намеченному самому ходом общественного развития идеалу, — все это требует от рабочего писателя и ясного понимания объективных классовых условий, и умения тонко анализировать душевные переживания, в связи с общественным бытом и обстановкой. Задача эта сложная, — она предъявляет рабочему писателю требование владеть методом и самостоятельно до конца мыслить; только это даст возможность и отчетливо, осознанно чувствовать. Если и можно чувствовать, не вполне понимая, то это чувствование ясно для других изобразить нельзя. Изображаемое, в конечном выражении, всегда подвергается контролю сознания.

Обыкновенно рабочему писателю удается более или менее легко изобразить психологию малосознательного рабочего. Психология передового пролетаря сложна, она находится в тесной связи и зависимости от общественных процессов развития, которые протекают внутри отживающего строя

— То-то родится в усилиях железных! То-то взойдет и возвысится, гордо над миром взвоет, вырастет новый, сегодня незнаемый нами—красавосхищение, первое чудо вселенной, бесстрашный работник, творец-человек.

В прекрасном произведении «Башня» А. Гастев ярко и сильно рисуется неуклонное стремление вперед. Зарождаются сомнения, неизбежны падения, могилы, но работники проходят один за другим, строят и пробиваются вперед через сомнения и падения, все выше и выше вперед. «Пробивай своим шпилем высоты, ты нам дерзостный башенный мир».

«Сильнее слов», «Железные пульсы», «Рельсы», «Мы посягнули», «Кран», «Ворота», «Мы растем из железа» — все эти оригинальные и сильные вещи будут читаться рабочими и вдохновлять поэтов и художников, давая им сильные образы, как стимулы для нового творчества.

В поэзии А. Гастева нет места личному «я», духу индивидуализма: машина, балка, зубило — не говорят, кто их произвел. Их произвели безвестные работники. В один кусок зубила вложены усилия десятка и сотен работников. Начиная с шахт, где добывается руда при помощи всевозможных приспособлений, железных дорог, домов, фабрик, — все это принимало участие в производстве зубила. Тут нет места «я». Здесь только одно многолюдное, безмерно-большое, неподдающееся учету «мы», и это «мы» вдохновляет пролетаря, совершенствует его и выковывает «работника-творца-человека».

Глубокая по замыслу, сильная по отдельным моментам выражения, но не особенно разнообразная по содержанию, поэзия А. Гастева разнообразна по форме. Форма далеко не совершенна и неровна. Видно, что он писал не специально, а между прочим, чтобы отделиться от того или иного образа или мотива. А. Гастеву нужна серьезная работа. Формы своей у него нет. По содержанию поэзия А. Гастева подлинно пролетарская, а форма заимствована у буржуазных писателей, — есть у него и символика, и импрессионизм, формы смешанные, реалистическая и бытовая. Лучшее произведение — «Мы растем из железа» — по содержанию будучи совершенно самостоятельным, по форме — уитменовское. Буйная стихийная сила аморфного анархистствующего мелко-буржуазного демократа Уитмена по своей основе радикально расходится с пролетарским представлением мира. Пролетариат это такой класс, который знает, чего он хочет. Всему неопределенному он противопоставляет строго сознательную организованность. А. Гастев своими произведениями показал самую основу, внутренние кровеносные каналы индустриального машинизма, которые развиваются с неумолимой последовательностью и дисциплинируют волю живых работников, приучая их сотнями, тысячами делать движения в один момент.

Форма, содержание которой дается внутренней жизнью производства, должна быть такой жестройной и неумолимо точной, как логика механизма машин, которая подчиняет и перерабатывает по своему целеустремлению действия пролетариата. Пролетарская форма должна вполне соответствовать той строгой научности, точности и организованности, на основе которой развивается борьба пролетариата. От прошлой и настоящей эпохи пролетариат берет только материал, использует отдельные приемы, способы изображения того или иного действия или описания предметов; а построение целого должно быть организовано самостоятельно, в полном соответствии с новым классовым содержанием психологии, хозяйства, быта.

А. Гастев закладывает фундамент пролетарской поэзии. Пусть в некоторых частях она несовершенна. Форма еще не своя, но материал ее прочен и будет служить стимулом и отправной базой дальнейшего развития рабочей литературы.

Федор Калинин.

(Статья взята из № 4 «Пролетарской Культуры» за 1919 г.).

АЛЕКСЕИ ГАСТЕВ (И. Дозоров)

МЫ РАСТЕМ ИЗ ЖЕЛЕЗА

Смотрите! — Я стою среди них: станков, молотов, вагранок и горнов и среди сотни товарищей.

Вверху железный, кованный простор.

По сторонам идут балки и угольники.

Они поднимаются на десять сажен.

Загибаются справа и слева.

Соединяются стропилами в куполах и, как плечи великана, держат всю железную постройку.

Они стремительны, они размашисты, они сильны.

Они требуют еще большей силы.

Гляжу на них и выпрямляюсь.

В жилы льется новая железная кровь.

Я вырос еще.

У меня у самого вырастают стальные плечи и безмерно сильные руки. Я слился с железом постройки.

Поднялся.

Выпираю плечами стропила, верхние балки, крышу.

Ноги мои еще на земле, но голова выше здания.

Я еще задыхаюсь от этих нечеловеческих усилий, а уже кричу:

— «Слова, товарищи, прошу слова!»

Железное эхо покрыло мои слова, вся постройка дрожит нетерпением.

А я поднялся еще выше, я уже наравне с трубами.

И не рассказ, не речь, а только одно мое железное я прокричу:

«Победим мы!»

(Из книги «Поэзия рабочего удара», стр. 7. Изд. Петр. Прол., 1918).

Г У Д К И

Когда гудят утренние гудки на рабочих окраинах, это вовсе не призы к неволе. Это песня будущего.

Мы когда-то работали в убогих мастерских и начинали работать по утрам в разное время.

А теперь утром кричат гудки для целого миллиона.

Теперь мы минута в минуту начинаем вместе.

Целый миллион берет молот в одно и то же мгновенье.

Первые наши удары гремят вместе.

О чем же поют гудки?

Это утренний гимн единства!

(Из книги «Поэзия рабочего удара». Изд. Петр. Прол., 1918).

САМОБИТНИК-МАШИРОВ

БИОГРАФИЯ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧЕСТВА

Чуткая, отзывчивая, то закипающая негодованием и скорбью, то возмущаемая предчувствиями, то, наконец, уверенная в конечной победе эксплуатируемых «борьбой мирового труда» и призывающая к постановке, к «трезве грядущей», муза Самобитника — светлая муза и не даром она указывает протектарату путь в «светлый храм волевой жизни». «Смысл движемся вперед» — восклицает поэт и неоднократно рисует в пленительных образах, без вычура, которыми шеголяли поэты конца распада буржуазного общества, а любимо и просто — этот «светлый мир чудесный», этот «остров волевых грез» (где «безмертен труд»), этот «светлый храм волевого храма», у входа в который биссудит золотом слова: «всем трудящимся свобода, всем трудящимся права» — этот протектарский «грядущий рай». Поэт горд своим протектарским мироощущением. И он вправе гордиться: о своей «неизменной верности протектарскому обету» он говорит даже в особом стихотворении. А вот его краткий, но зато знаменательный, биографический очерк.

Алексей Иванович Маширов, выступивший еще в 1912 году в рабочей печати (в газете «Правда»), под псевдонимом Самобитник, родился в 1886 году в Петербурге. Родители поэта, разорившиеся мелкие ремесленники, терпя лишения, вынужденные были отдать мальчика в ученье на фабрику металлических изделий в то время, когда поэту едва исполнилось десять лет. Тяжелые условия и беспросветная темнота, которые тогда царили на остальных фабриках, не только не исковеркали молодую душу, но вскоре заставили пытливого юношу приздуматься над своим положением и искать выхода. И выход был им найден в революционном движении рабочих, которое тогда уже начинало разгораться. В 1903 году поэт сходит с некоторыми развитыми рабочими, которые помогают ему оформить свое сознание, и принимает участие в партийной работе, помогает организации нелегальной типографии. События 1905—6 годов были боевым крещением поэта. Еще ранее, за участие в выборах в комиссию Шлядовского, его расценивают с фабрики, и поэт скитается по малым заводам и мастерским в качестве слесаря, шорника, бронзошника, гравера, а то и просто чернорабочего. В эпоху реакции 1908—9 годов поэт поступает в классы Лиговского Народного Дома, где одновременно проходит курсы и организует учащих рабочих. И там же, в товарищеских кружках и журналах было положено начало его первым литературным трудам. В 1914 году, в самый разгар военных репрессий, поэт, вместе со своим товарищами по курсам, стоит уже на передовом посту рабочего движения, покровителем партии по организации и налаживанию партийную работу. Первые прокламации и листовки за время войны были написаны и отпечатаны им со своими товарищами. А после неоднократных в течение своей деятельности арестов поэт, осенью 1916 года, был, наконец, выслан в Сибирь, откуда и возвратился в революцию 1917 года...

Таким образом, товарищ Самобитник является певцом не только протектарских радостей, страданий и надежд и притом одним из первых по времени, но он сам — и кость от кости, и плоть от плоти рабочего протектарата — и русская литература, несомненно, становится богаче с выходом в свет этой небольшой книжки его. Читатель обратит внимание, конечно, также на цельность и искренность шатростный поэт — и надо ли говорить о гармонии его стиха и выдержанной колоритности слова.

Протектарская поэзия нашего времени начинает, по силе выразительности, бескускусственной художественности приема и мелодичной и своеобразной пленности стиха уже соперничать с поэзией предьидущих десятилетий и, может быть, даже превосходить уже во всем случае, определенностью мироощущения и какой-то обязательностью протектарского оптимизма, даже сквозь заневу надвигающихся туч продажджающего видеть, не сомневаясь ни на минуту в его существовании, «остров светлый волевых грез».

М. Чупосов.

(Предисловие М. Чупосова к сборнику стихов Самобитника «Под Красным знаменем» в изд. Петр. Прол., 1919 г.).

* * *

Не говори в живом признаньи
Мне слово гордого — «поэт».
Мы первой радости дыханье,
Мы первой зелени расцвет.
Разрушив черные окна,
Мы жаждем миром опьянеть.
Еще не нам, не знавшим солнца,
Вершиной гордою шуметь.
Еще неведомой тревогой
Полна восторженная грудь,

Еще вдали чертою строгой
Едва намелится наш путь.
Но будет миг, порыв созреет,
Залещет солнцем наша цель —
Поэта мощного взлетел
Рабочих песен колыбель.
И он придет, как вождь народный,
Как бури радостный раскат.
И в песне пламенной, свободной
И наши песни прозвучат.

З А В Е Т

Нужно быть прямым, суровым
И стойким до конца.
И, как боец, могучим словом
Воспламенить сердца.

Нужно знать, что даром не дается
Над темной жизнью власть,
Нужно знать, что, может быть, придет
Сраженным в битве пасть...

Нужно быть бесстрашным коммуна-
ром,

Нужно даль бесстрашным взором
мерить

Час битвы — впереди...
И перед вражеским ударом
Не отклонять груди.

Сквозь грозные года,
И, умирая, беззаветно верить
В бессмертие труда.

С К Е П Т И К У

Хоть следы тяжелой муки
На лице твоём усталом,
Хоть твои немеют руки
В смертной битве с капиталом.
Не смотри с тоскою жгучей,
Верь: проснется Запад сонный...
Нарастает шквал могучий,
Грозный, революционный...
Продержись еще немного
В грозном пламени пожара —
Грядет братская подмога
Со всего земного шара.
Не к лицу тебе, товарищ,
Сыпать жалкие упреки:

Мир еще в дыму пожаращ,
И не все промчался сроки,
Чтоб тростник качнулся гибкий,
Будь, как буря, непреклонный,
С иронической улыбкой
Не смотри на Запад сонный...
Он, израненный, избитый,
Плечет огненную кровью...
Не насмешкой ядовитой, —
Обогрей его любовью.
Обогрей родные груди
Ярким пламенем востанья.
Там давно испили люди
Чашу горького страданья!

П Р О Л Е Т А Р И И

Крепкие руки, хлеб да вода,
С skarбом убогим мешок неизмен-
ный —
Вот он, творец мирового труда
И гражданин всей вселенной!!
С этим именем он версты идет...

Ночи несется в вагоне трясащем,
Через моря, океаны плывет —
С пламенем в сердце могучем.
Может быть, в вечном пути за трудом,
Жить на чужбине ему придется:

1 Все стихи из сборн. «Под Красным Знаменем» Самобитника. Изд. Петр. Пролеткультула 1919 г.

Станет родимым скитальческий дом,
Родиной даль назовется...
В шахтах, заводах чужих городов
Грезы о детстве растут без цели...
И не увидит во веки он вновь

Места своей колыбели!
К грозным лишениям готовый всегда
С силой в могучих руках неизменной.
Вот он, создатель земного труда
И гражданин всей вселенной...

«Литер. Альманах». Петр. Промет. 1918.

П. АРСКИЙ

ВОЛЯ КОЛЛЕКТИВА

Мы не одни — в потоке стройном...
Мы в вихре солнечных огней,
Созвездьем радостным и знойным, —
Горим в тумане мертвых дней.
Мы, разнося грозу и пламень,
Зовем к восстанью, к мятежам...
Огонь, вода, железо, камень, —
Все, все подвластно в мире нам.
Свободны мы, как ветер в поле,
Не будем в рабстве никогда,
Огнем великой нашей воли
Горят стальные провода.

Мы — страсть, мы — сила, мы — движенье,
Мы — буйство хмеля, мы — порыв...
Царит над всем, без исключения,
Могучий грозный коллектив...
Мы миру свет и откровенье
Несем из глубины веков...
Мы — светлый гимн освобождения
В честь обездоленных рабов...
Темниц разрушили мы своды
Затем, чтоб видеть блеск полян...
В союзе с нами все народы,
Семья трудящихся всех стран!!

Из журнала «Грядущее» № 6, 1918 г. Изд. Петрогр. Пролеткульт.

СВЯТЕЛИ СОЛНЦА

Мы сеем солнце... мы сеем солнце.
Мы сеем солнце! Мы — звездный град...
Мы сеем солнце... огни-червонцы...
Огни-червонцы... горят, звенят...
Мы сеем солнце... Костры-стожары
Мы зажигаем во тьме, в ночи...
Мы сеем пламя, несем пожары,
И там, где бездны, мы льем лучи...

Мы сеем солнце, святое дело...
И чтоб нам радость была света,
Мы сеем огненные стрелы
И их вознаем в твердою зла...
Мы сеем солнце... Мы, как зарницы...
Мы золотой, мы светлый дождь...
Весь мир оденем мы в багряницу,
Весь мир... О, солнце! Ты — наш вождь!

Из сборника «Песни Борьбы» 1919 г. Изд. Петр. Пролет.

Я. БЕРДНИКОВ

НАШ КОЛОКОЛ

В грозном пламени пожара,
В бурном хаосе кипучем,
Непокорный темным тучам,
Он гудел
Гулom мощного удара,
Гимном бодрым, словом жгучим
И певучим:
В душевной мгле, как узник пленный,

Людам — братьям, всей вселенной,
Он вещал иной удел:
И теперь, поправ невзгоды,
Всех питомцев дикой тьмы
От цепей и от тюрьмы
Он зовет во Храм Свободы,
Чтоб душой воскресли мы...

Из сборника «Цветы сердца» 1919 г. Изд. Петр. Пролет.

ИЛЬЯ САДОФЬЕВ

ПОЭМА ИЗ ПОЭМ

На площадях, на улицах, под блуза-
ми, шинелями,
Реет шелк и ситец цвета крови алой...
Марсельеза плавает над людными
тунелями...
Речи... Пенье... Праздник в мире не-
бывалый...
Массовым движением цепи разби-
ваются,
Сжигаются сознанием Эла и Тьмы
рассадники..
Судорожно корчась, в Лету погру-
жаются
Поэмы о покорности Року, Медным
;Всадникам.

Восстаньем, Революцией, под звуки
марсельезы,
Коллективно создана — Поэма из Поэм.
Вписана в Историю Кровью и Же-
лезом:
Советская Республика — Поэма из
Поэм.
Советская Республика — рабочих масс
создание,
Как Солнце животворное, в грудь
радость — хмель лила..
Земля к Ее рождению, с начала Ми-
рождения,
Миллиарды лет готовилась, под солн-
цем каруселила...

Из сб. «Динамо-стихи» (стр. 13). Изд. Петр. Проа. 1918.

У ВРАТ ГРЯДУЩЕГО

На праздник революции —
В Мире небывалый —
Припелдись нахохленные и заспан-
ные лица,
С ворохом ржавых книг:
Учитель словесности,
Поэт любви и соловьев с душой
выхолащенной,
Жирный монах, предложивший надеть
вериги
И каяться...
Из-за них выглядывали Литературные
Знаменитости...
И, пробежав несколько глав Поэмы
из Поэм,

Пешеходы, дома и улицы демонстри-
ровали —
Смешением формы и размера...
Автомобили немолчно кричали:
«Скопцы!»... «Скопцы!»...
Убедительно зазвучал голос устрои-
телей праздника,
Властный голос окраин:
«Слепцы!»...
«Поймите, что все то, что замкнуто
вами —

Все хором
Поучительно,
Возмущенно и злобно закричали:
«Это не Поэма, а Повесть!..
Скверная, грубая, неряшливая!..
Безграмотная и бесформенная!..
Авторы не знают законов стихосло-
жения...»

В условную, беззубую, мертвую догму
И размерную, ритмичную форму —
Уже не живет...
И что создается по старым законам,
Тотчас умирает...
Мы, восставшие, разбившие рабства
оковы,
Признаны разрушить и старые догмы,
И формы...
Ибо созданная нами Поэма,
Сама — Жизнь...
Новая, Лучшая, Светлая Жизнь,
Дары которой вы не вкусили,
Красоты и Величия не в силах были
почувствовать,
И, не поняв, не оценив Ее глубины и
значения —
Назвали скверной повестью...

Размера и ритма...»
.....
Солнце на крикунов глядело презри-
тельно,
Трамваи, пролетки дразнили нару-
шением ритма,

О, если б несносный желудок
Набить белым хлебом!
«Худо, хлопец, худо,
Хиба красти треба!»
В магазине базарном мальчик
Нос ввалил в стекло.
Бачу, хлопец, бачу,
Це гарный буде ракло.
«Бабы, куда спешите вы,
Посмотрите товар человека,
Купите, купите халвы
У грека!»
Угрюмый хохол с тачанки
Слез напоить быка —
С соломы со сметанкой
Пропали три горшка.
— «Це город, це слобода,
Слобода, чтобы красть.
Ой, шкода, в сердце шкода
Хиба ж це совитска власть».
«Ишь в городе, как в хате,
Ругается дурак!»
«А вам что, деньги платят
За гавканье, аль так?»
«Чего вы не гоните мух? —
Бормочет еврейка, склоняясь низко, —
«Вы знаете, есть слух:
Большевики близко».
На солнце сахару горы
Горят, как вечный снег.
Ой, не закрыть ли взоры,
Голодный человек!

II

Поручик в перчатках белых
Бросает накрашенной даме:
«Ты винограду с'ела б,
Мы кутим, деньги с нами».
Казак хватил хмельного,
Кричит: «давай мне даром!»
Молчит торгош, ни слова
Вдруг брякнет: «за амбаром».
И сапогом солдатским
Толкает хлебы в грязь,
Ругается кабацки
Торговец возмутясь...

III

А за углом у чайной,
Под громким названием «Прибоя».
На перекрестке трамвайном
Повешены рабочих трое.
Солнце мертвые лица
Ласкает красной грезой,
Глаза из-под черной ресницы
Льют кровавые слезы.
Чиновник казенной палаты
Обнял столб руками,
Пьян он, в плаще полосатом,
С большими усами.
«Повисли, милашки, награда...
На вид-то вы неказисты...
Коммуна... так вам и надо.
Эх, вы, коммунисты!»
Старушка в теплом бурнусе
Шепчет и слезы душит:
«Господи Иисусе,
Упокой убиенные души».
Трактор шумит, как пчелы,
При тусклом, сальном свете,
Шагает поп неселый
А рясу треплет ветер...
«Висите, что ж — висите,
Дождались, поделом!
Мы скоро Красный Питер
С Москвою заберем».

IV

А в переулке длинном,
В час ночи краткий,
Работают машины
И шелкают верстатки.
Едва во тьме мерцает
Огонь над пыльной кассой:
Газету набирают
Мятежно гневной массой:
«Зажжем огни восстаний...
В сердцах незрячих...»
А рядом у жуткого здания
Филеры маячат.

(«Чугунный улей», стр. 52. Вятка, 1921 г.).

ГЛАВА ПЯТАЯ

Лирика

ГРУППА «КУЗНИЦА»

ПОЭТАМ КУЗНИЦЫ

*Жизнь рабочая, ты ли сладка!
Всех уцелил пути твои уже:
За пятак покусали с лотка
И обед, и скудный ужин.
И кому, как не нам, знакома
Дней голодных звериная лютя?
Ночь глухая была нам домом,
И земля — материнская грудь.
Но отрепья бродяги светлее
Желтых лап ожиревших гусей,
И от Сены до Енисея
Есть следы от наших ступней.
И в стихи загляделись страны:
Вот — Чикаго бетонная мощь,
Вот — отлетная грусть океана,
Перезвон корабльных рош.
Вот идет пастушок с отарой.
Песнь тиха, а степь — широка...
Вот железно цветет под ударом,
И на руль налегает рука.
Мы из бездны былого встали
Огнерулою бурей стихов,
Но струится в шлифованной стали
Лепестковая нежность слов.
За грядою Карпат и Алтая
Слышен молота песенный бой —
Это спорит жизнь молодая
С шепелявой старухой-судьбой...
Пролетарии и пророки,
Мы пришли в предрассветной мгле
Раскаленные выкопать строки —
Светлый гимн грядущей земле.*

Влад. Кириллов.

ДЕКЛАРАЦИИ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ «КУЗНИЦА»

I ДИАЛЕКТИКА

Всякое явление в процессе развития таит внутри себя зародыш своего же обратного отрицания. Этот закон противоречия пронизывает красной осяю как всю природу в ее бесконечном разнообразии движения, так и жизнь человеческого общества со всеми его надстройками.

II СКАЧОК В ЦАРСТВО СВОБОДЫ

Рабочий класс в капиталистическом обществе есть противоречие этого общества. Фактом своего существования он отрицает его, развитием подталкивает изнутри и, сорвав в его недрах, разрывая железное кольцо старого строя. Обездоленные множества, объединенные в процессе труда и борьбы за переустройство основ жизни, своим напором переосоздают и свою психику.

III ДИНАМИКА ФОРМ

Пролетарская революция, обусловленная факторами экономических и политических, разбивает старые формы общественной жизни. Революционное разрушение хоронит системы отживших идеологий, чувств, представлений. Новая психика зашевеливается в новых формах общественной деятельности, общественная деятельность оттаивается в ее художнике в новые формы искусства.

Так смена форм общества определяет формы искусства.

IV ИСКУССТВО, КАК ОСОБОЕ ОРУДИЕ

Пролетариату искусство так же необходимо, как армия, транспорт, фабрики и заводы. Далекие горизонты новой эпохи, беспредельные перспективы деятельности, невиданный панорама революционного быта стоят перед волею искусством. Освобожденное от служения чужим забавам и эксплуатации буржуазным классам, оно делается особым, зримым орудием организации гражданского коммунистического общества.

V СТИЛЬ — ЭТО КЛАСС

Художник, окристаллизовавшийся дореволюционным бытием, бессильны оформить творческий материал, вывернутый землетрясением Октябрьской революции. Для глыб грандиозных событий, созданных с любовью и энтузиазмом множества художников собственного мировосприятия, мироанга. И нет соответственных орудий обработки, словесной техники, стиля. Стиль вообще — это не только внешняя маска произведений, за которой таится дух содержания; не только померк класс, где все открыто и ничем не скрыть нельзя; это — живая подобие сравненных, органически законченных множеств классов. Буржуазные и мелкобуржуазные писатели в прошлом не имели связи с пролетариатом, чужды его практике, его устремлениям, его идеологии. А стиль — это класс.

VI ОСУЖДЕННЫЕ ИСТОРИЕЙ

Символизм, футуризм и имажинизм, как литературные течения, — одногубные выскоренцы капиталистического строя.

Символизм был порожден страхом упадочного буржуазного общества перед революцией завтрашнего дня. Он всегда знаменует оборону, защиту и никогда — нападение. Он, как иннок в келье, одновременно ненавидит и благоговит.

Футуризм вырос из крайнего, гипертрофического развитого и в последнем счете сломившегося интеллигентского индивидуализма. Футуризм — значило — смертизм будущей мертвицы. Для него нети вперед — ттти к собственной гибели, стоя на месте — значит окопаться в крепости техницизма и вешской заумности. Отступать — некуда.

Имажинизм — явление последних предсмертных конвульсий старого мелкобуржуазного общества (1918 г.), у которого оставалось времени только на аналогию, бессвязную образования происходившему.

Вчерашнее искусство слова выродилось во всеобщее уродство и бессильно кончилось рабочего класса, как рука трупа — жжать руку живому.

VII ИСКУССТВО МЕРТВЕЦКОЙ

Техника искусства, его изобразительные средства давно уже сделали самоцелью у художников предсмертной агонии капитализма. Пишутся громадные поэмы исключительно, чтобы вывить «ритм»; делаются стихотворения ради «небывалой» рифмы; извергаются фонтаны строк, вызывающие «аллитерацию», «образ» звука; строятся пьесы — удивить трепаном образного языка. Дробятся размеры (вмб, хорей и т. д.), дробится строчка стиха на 1/2 строчки, 1/3 строчки и т. д. Слова дробятся на слоги и пишутся один под другим, слоги делятся на отдельные буквы. Мир, из которого черпается литературный материал, — это неслащавый куауль индивидуализма, близкого к умопомешательству, порнография, физиологические отправления, плохо прикрытые революционной фразой, барковщина «серапионов», бессмысленные выкрики «слов с чужими брехмами» и т. д. Искусство старого строя вступило в фазу окончательного распада. И мы подымаем тяжелый рабочий молот — заколотить наглухо дверь этой кутюки «крякни»: мы биваем последний гвоздь в крышку этой раскрашенной гробницы искусства.

VIII КРАСНЫЙ ФЛАГ В ПУСТЫНЕ

Нэл, как этап революции, оказались в окружении искусства, похожего на искусственные горюла. Художник — обезьяна как бы предразвивает своего предшественника, создающего влохоненно и в соответствии со своим временем непосредственно необходимые. В наши дни неуживо, пустое подражание, холодное жонглирование порождения формами ставится в задачу дня — ожинить упадочным техницизмом, вколотить жизнь в мумию искусства. На все это отпускаются средства. Ведется агитация. Рабочая молодежь, прорвавшаяся к знанию и художественному творчеству, в недоумении. Белинских нет. Над пустыней искусства — сумерки.

И мы возвышаем свой голос и подымаем красный флаг платформы — декларации пролетарского искусства.

IX ПРОРОСЛЬ В ОКТЯБРЕ

Искусство восходящего к власти пролетариата есть отрицание упадочного буржуазного искусства. Пролетариат в прошлом не имел собственного художника, а стоял перед глазами художника сочувствующего. И давно уже из недр капитализма проросла ялая поросль. Возникают его ростки во всех странах: Англии — Эллиот, Морис, Томас Гуд; Франции — Делоп, Готье, Жюль Ромэн, Верхари; Бельгии — Менье, Экю; 22*

мать в свою среду и обработку. И, в первую очередь, писателей из крестьянской среды. Ядро «Кузницы» крепко. «Кузница» углубляется и расширяется—молотом у диктатуры пролетариата хватит на всех.

XVII

УДАРНЫЙ ОТРЯД

Обединение рабочих писателей «Кузница» есть единственное обединение, стоящее впереди на программе революционного авангарда рабочего класса и—РКП. В деле укрепления диктатуры пролетариата и осуществления рабоче-крестьянской демократии в путях к коммунистическому обществу,—оно осознает себя ударным отрядом на передовых позициях идеологического фронта.

XVIII

О МЕЖДУНАРОДНОЙ «КУЗНИЦЕ»

Группа «Кузница» в организационной и творческой работе сплачивает ряды рабочих писателей всего СССР и выковывает основное ядро единого пролетарского искусства в целях международного обединения кузнецов рабочего искусства всех стран.

XIX

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Буржуазное искусство выродилось во бессоборное уродство и бессильно коснулось рабочего класса, как рука трупа—пожать руку живому. Мы поднимаем тяжелый рабочий молот—бить последний гвоздь в крышку этой гробницы искусства.

Смена форм общества—меняет формы искусства. Мы провозглашаем искусство как здоровый, согласованный с самим собой и окружающей социальной средой, организм. В нашем понимании художественное творчество—функция общественной идеологии, классовой психики вообще. Пролетарское искусство, охватывая трехмерную площадь творческого материала в соответствующую классу ясную, точную синтетическую форму, проводит сквозь него линию устремлений к конечным целям пролетариата. Труд и борьба за организацию коммунистического общества—первооснова рабочего класса и первооснова нашего творчества.

Бытие определяет форму и само показывается и определяется через нее. Содержание углубляет изобразительные средства и само разлагается и изображается ими. Стихи 1) ритма, 2) композиции и 3) смысловая—должны быть единым органическим целым; 1) картина, 2) пафос и 3) звуковой произведения должны составлять единый органический образ. Стиль—это класс. Художник—функция этого класса и его творчий медиум, и творчество—практика пролетариата.

Обединение рабочих писателей «Кузница» стоит на точке зрения РКП и осознает себя ударным отрядом на передовых позициях идеологического и художественного фронта. Группа «Кузница» в своей творческой работе сплачивает ряды рабочих писателей всего СССР и выковывает ядро кузнецов пролетарского искусства всех стран.

Председатель «Кузницы»—Ив. Филинченко. Заместитель—Н. Лянцко. Секретарь—Г. Санников. Члены правления—Г. Айкуня, В. Кириллов.

(Из № 186 «Правды» за 1923 г.).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В последние время в группе пролетарских писателей «Кузница» образовалось ядро в составе писателей: Филинченко, Якубовского, Санникова, Лянцко и др., деятельность которых ведет к прямому нарушению принципов «Кузницы», провозглашенных в начале 1923 г. Эти нарушения обусловлены следующим: 1) в отказе от связей с крестьянским крылом «Кузницы», привадем к исключению из ее состава ряда писателей этого направления; 2) в перенесении главного внимания на идеологическую борьбу за пролетарскую культуру в ущерб прямым производственно-творческим задачам «Кузницы»; 3) в создании обстановки внутри «Кузницы», исключающей возможность дружной товарищеской работы, и полной оторванности указанного ядра, выходящего руководящим, от остальной писательской массы.

Находя указанные уклоны в деятельности «Кузницы» вредными и не отвечающими общему положению вещей в стране, мы, нижеподписавшиеся, заявляем о своем выходе из «Кузницы».

В. Александровский, В. Кириллов, Мих. Герасимов, П. Низовой, А. Невзоров, Н. Степной, М. Сивачев.

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ О ПОЭТАХ «КУЗНИЦЫ»

Отрывок из статьи

Определенным литературным теснением, «школой», пролетарская поэзия стала преимущественно в среде писателей, сгруппировавшихся вокруг журнала «Кузница», где заняли наиболее видные места В. Кириллов, М. Герасимов и В. Александровский.

В. Кириллов начал писать еще до революции, но нашел свою дорогу, как поэт, 1921 г.). Наиболее сильные стихи Кириллова написаны в начале пятилетия 17—22 г.г. Это—те, о которых сказал сам автор: «Я подслушал эти песни... в шуме фабрик, в криках стали, в злобном шелесте ремней...» Тогда же удался ему песни борьбы, как, например, прекрасное стихотворение «Матросам». В позднейших стихах, которые появляются все реже, Кириллов уже не достигал той же силы (лучшие—«Красный Кремль»). Проблемы формы, повидимому, мало интересуют поэта, о чем надо пожелать, так как он мог бы в этом направлении сказать новое слово.

Особенно широко раскинулись поэзия М. Герасимова («Вешние зовы», 1917 г., «Моя Лия», 1918 г., «Завод весенний», «Железные цветы», «Четыре поэмы», «Электрификация», «Черная лена», 1921 г., «Негасимая сила», 1922 г. и др.). За пять лет Герасимов вырос в большого писателя в общем смысле слова, ставшего себе чисто литературные задачи, ищущего правильных методов их разрешения. В начале деятельности Герасимова критика ценна в нем «умение выражать коллективные чувства», «обобщать картины фабрики» и т. д.; ныне все это пошло лишь как один из элементов в поэзию Герасимова, которая явно расстег и которую, поэтому, оценивать сейчас трудно. В противоположность Кириллову—Герасимов значительно занят вопросами техники и является в наши дни одним из мастеров свободного стиха, легче, конечно, вмещающего настроения современности, чем традиционные метры.

Менее определенен В. Александровский («Востанис», «Север», 1919 г., «Утро», 1921 г., «Солнечный путь», «Роспись огней», 1922 г. и др.). У него еще много от старого; рядом со свободными стихом Верхарна, у него viable перемены Некрасова и т. п. Пережки у Александровского чисто субъективные темы, и в своих песнях любви он доходит до пафоса романсов. Но в лучших произведениях Александровский, несомненно, поэт; «пролетарские» темы у него разработаны сильнее других: образ сознательного рабочего, будущая роль пролетариата, значение Октября, интересная поэма «Москва» и т. п.

Из молодых сотрудников «Кузницы» особенное внимание останавливает Вас. Казин («Рабочий Май», 1922 г.), поэт, обещаящий много. В стихах Казина, обладающего подлинным чутьем ритмов, замечаются самостоятельные художественные подходы; он оригинал, своеобразно обединяет рабочие процессы и картины природы; он органично чувствует и изображает город в его интимной жизни (стихотв. «Армоника» и т. д.). Интересен по своей молодой смелости Ив. Филинченко (стихи, 1921 г.), тоже несомненно одаренный. Заместителями участниками «Кузницы» были еще Гр. Санников («Лира», 1921 г.), С. Образцов («Сланг», 1921 г., «Взмах», 1921 г.), С. Родов («Мой север», 1918 г., «Перебежка зарницы», «В урбане», 1921 г.). Там же печатали свои стихи Н. Подстас, Я. Тисленко, Дороговецко, П. Шапов, Н. Дегтярев и др. В «Кузнице» появлялись и новые стихи Е. Немаева.

(Из статьи Валерия Брюсова «Вчера, Сегодня и Завтра русской литер.», «Лепталь и Рев.», 1919 г., кн. 7, стр. 14—65).

Михаил Прокопьевич ГЕРАСИМОВ

Автобиографическое письмо

Из крестьян Самарской губ., Бузулукского уезда. Родился в сентябре 1889 г. в железнодорожной будке Самаро-Златоустовской дороги, около города Бугуруслана. В детстве мне казалось, что Еруслан Лазаревич тоже из Бугуруслана. Отец — железнодорожный рабочий, грамотный. Мать — крестьянка из мордвов, неграмотная, служила переездной сторожикой, получала 3 рубля в месяц. Я любил с ней встречать поезда, одной рукой держась за юбку (страшно было), а другой держа зеленый флажок навстречу надвигающемуся чудовищу. Вечерами паровоз нависал надо мной глазами, набухшими огнем, скрежетал железом, фыркал искрами, и я тонул в клубах пара. Когда это огненное видение с бесстрашными людьми на нем уносило в даль, я с тихой дрожью приникал к рельсу ухом, ловил ответную дрожь металла: она шептала о чудесных странах и городах. Любил я степь вокруг, простреленную рельсами. Курганы ласково кивали мне чубами серебряного ковыля. «Я на заволжские курганы люблю забегать в закатный час, пока белесые туманы еще не сплелись глаз». Летом, с 9 лет работал на железнодорожном полотне, одернивал насыпь у моста, полон трау. Учился в Кинельской двухклассной школе, а потом в Самарском железнодорожном техническом училище, где в 1905 году вступил в Р. С.-Д. Р. П. Печатал на ректорате прокламации, выступал на митингах. С осени 1906 до весны 1907 г. сидел в самарской тюрьме. В одиночке усиленно занимался самообразованием, читал все, что подвернется, по выходе работал исключительно в партии, жил с братом на конспиративной квартире. Осенью 1907 года квартира провадилась, арестовали с оружием и бомбами. Я ускользнул и пришлось эмигрировать через Финляндию за границу. В Гельсингфорсе жил три дня на одной квартире с Владимиром Ильичем, который пробирался на Таммерфорскую конференцию. Во Франции — город Нанси, поступил на доменные печи, разгружал руду марганцевую и магнитного железняка, красные куски, похожие на мясо. Потом перебрался в Бельгию, в шахты около Льежа (Соренг), катал вагонетки, долбил забойщиком большие глыбы. Здесь же работал на паровозостроительном и пушечном заводе (Джон Кокриль). Гидравлические прессы сдавливали глыбы железа как воск, резали раскаленные балки как масло. Обожженные, в клубах газов и пара, мы шныряли тут, и часто приходилось смачивать одежду, чтобы она не вспыхнула. Все это меня поражало. Здесь же я узнал, что солнце в значительной части состоит из жидкого газа. Космическая связь. Работал шахтером около Монса также на лесопрокатном и котельном заводе, где видел створешего рабочего... «В листах багрового железа читаю зов в межзвездный путь, плеснул из знойного разреза чугун разжиженный, как ртуть. Внезапный крик. Один распятый лежал на золотом листе, земистым пламенем объятый, горел на огненном кресте»... Научившись понимать по-французски, с черной работы перешел на слесарную. В Париже сначала мыла окна в ресторанах, затем работал на автомобильном заводе у Рено слесарем. Работал электромонтером по установке и починке электрического освещения в квартирах и магазинах (Мэзон Фай и Репар). Париж был прекрасной академией; его дни и ночи, заводы и Лувр, притоны Монмартра и центральных рынков, Люксембургский музей — все это накладывало глубокую печать на меня, а также на кружок рабочих писателей в клубе на Рио Рейн де Вьянш, где были покой-

ные товарищи Ф. И. Калинин, Бессалько, а также А. В. Луначарский, А. Гастев и друг. С 1913 года переписывался с Максимом Горьким на Капри, обходящие письма. Рейсы морские: по Средиземному морю, по Северному, Балтийскому, Атлантическому и проч. в качестве коচেга, масленщика, угольщика. Рейсы пешеходные: Брюссель, Париж, Лион, Марсель, Ницца, Генуя, Флоренция, Вена, Триест, Венеция, Рим, Неаполь, Тироль, Альпы, Сен-Готтардский перевал. Кроме России, сидел в тюрьмах, недолго — во Франции, в Бельгии, в Италии (Венеция — везли на гондоле). Хуже всех — в красной Франции (Пассажа таба).

С начала европейской войны служил волонтером во французской армии, во 2-м иностранном легионе. Участвовал в боях на Марне, в Шампани, Аргонне. Был контужен около Реймса (форт Стен-Тьерри). Осенью 1915 года вместе с другими волонтерами был выслан в Россию за неподчинение властям и пропаганду против войны. Весной 1916 года арестовали: сидел на гауптвахте в Самаре, а потом отдан под надзор в 4-й запасный саперный батальон. С 1917 года занимал ряд ответственных постов: председателя совета военных депутатов, зампредгубисполкома, губвоенкома, командующего фронтом, члена ВЦИК 1-го созыва от межрайонцев, председателя самарского пролеткульта и др. Являюсь председателем группы «Кузница» и ее основателем в феврале 1920 г. Писать начал в 1913 году. Первые печатные вещи были помещены в большевистском петроградском журнале «Провеснение» — рассказ «Хризантемы» и стихи о заводе. Имею книги: «Вешние зовы», изд. «Парус», Пгт. 1917, «Монна Лиза» — изд. Моск. Пролетк. 1918, «Завод вешенный» — Моск. Пролетк. 1919, «Цветы по огням» — рассказы — Моск. Пролетк. 1919, «Железные цветы» — Самара 1919 г., «Четыре лозы», изд. Петр. Пролетк. 1921 г., «Электрификация» — Изд. П. 1922 г., «Негасимая сила», изд. «Кузница» 1922 г., «Электрпрозама», изд. «Кузница» 1923 г., «Железное цветение», Гиз. Москва 1923 г., книга первая.

Печатался: «Провеснение» 13—14 г., сборники «Вечера» — Париж 14 г., Сборник пролетписателей, изд. «Парус» 14 г.; журналы: «Летогпись», «Горы» Моспролеткульта, «Пролетарская Культура», Сборник пролетписателей, изд. «Прибой» 17 г., «Зарево заводов», «Самара», «Завод отекрился» Моспролеткульта, 18 г., «Грядущее», изд. «Творчество» — Москва, «Кузница», «Творис», «Красная Новь», «Художественное Слово», «Временник Лито Наркомпроса», «Молодая Гвардия», «Красная Нива»; альманахи: «Октябрьские Вехи», «Недра» и многие другие.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧЕСТВА М. ГЕРАСИМОВА.

Родился М. Герасимов в степи. Воображение его питалось перерезанной железной дорогой простором, его раздумьем и сказками. Все смутно, неопределенно. Поражают случайности. Примеры неожиданного счастья растут веру в горькую и добрую долю... Темные силы, нечистый дух, играющий людьми, реет над детским и юношеским сознанием. Кинутый на завод, М. Герасимов идеализирует степь:

«Где Разин, да степные птицы
Кружились вольно над рекой,

Теперь чужные темницы
Воздвигнаны собственной рукой».

Недовольство жизнью углубляет сознание, а углубленное сознание ведет рабочего к действию, действию — к страданиям. М. Герасимова ищут

жандармы. Место стени, ее заводов занимают города, где все камень, все на камне. Отрыв от просторов рождает приступ горечи:

«И труб заводских частоколом
Мои мечты обнесены,
Фонарь гулавым ореолом
Играет в кирпичях стень».

Обостряется борьба за место в жизни. Следы этой борьбы в песнях указывают, что при столкновении с тяжелой индустрией пролетарий ощущает гнет железа, машины и почти ненавидит их. Иное отношение к ним зарождается в нем лишь после того, как он осознает мир.

Бытовые условия ускорили рост М. Герасимова: он вынужден был покинуть родину. Общение с цивилизованными странами расширило в нем поле борьбы со стирающим волю отдельной личности хаосом и вызвало боль. В одном из стихотворений поэт сознается, что с чужбины его:

«И Вога милая зовет,
Дома мешанского поселка,
Самарский трубочный завод»...

Он знакомится с доступными парню сторонами цивилизации. Но это не захватывает его:

«Гляжу на меркнувший закат:
Полоска света уже, уже
И скрылась вадуг за черный плат.
Мне не увидать больше счастья
Небес привнетной бирюзой
В часы осеннего ненастья...
Я буду вешней ждать грозы».

Лишь вешняя гроза, буря, т.-е. революция на родине, даст ему крылья. Однако, мечты о революции, о свободе похожи на сон: жить ими нельзя. Голод бросает поэта в шахты Бельгии, в автомобильный, рельсопрокатный, металлургический заводы Франции, Италии, Австрии, а попутно и в тюрьмы этих стран. В эту пору в нем зародилось то, что впоследствии стало одним из основных отличительных признаков пролетарской поэзии: и надежде и природы трудовыми процессами:

«Блауждали тучи, как минеры,
По шахтам грифельных высот,
А звезды-лампы в кучах сора
Коричнев озирали свода».

В жизни рабочего поэт увидел Голгофу с железным накаленным крестом:

«В листах багрового железа
Читая зов в межзвездный путь.
Блеснула из знойного разреза
Чугун разжиженный, как ртуть.
Внезпанный крик. Один распять
Лежал на золотом листе,
Змеистым пламенем обжатый,
Горел на огненном кресте».

Сквозь ощущение того, что трудовая единица — ничто, что ее ждуг крестные муки, пробивается сознание, что единица есть волна трудового океана, изживавшегося под бичами и идущего к свободе и творчеству. Единица — капля труда, дающего смысл и глубину замыслам человеческого гения. Уверенность в этом зреет:

«Не нам ли на горе Синай
В неопалимой купине,
Как солнце, красный стяг, синя
Явился в буре и огне?»

И переходит в радости:

«Как сладко нить цветущиммаем
Животворящую грозу!»

Тайна жизни разгадана. Путь к ней лежит далеко от захоженных путей. Поэты, мыслители, художники искали выхода из тупиков в разгадыва-

нии вечных вопросов любви, смерти и т. д. Пролетарий пришел к разгадке, оконувшись в купель чугуна:

«От хат соломенных сушений,
Где жизнь смиреннее горла,
На грозный зов сиренных пений
Пришли в стальные горюла.
Был каждый в плямя горна брошен,
Кипящей сталью опасен,
Кандаляным звоном обострожен,
Железным пеплом опылен».

Обрызган искрами металла,
Крещен в купели чугуна,
И вот остальной стала
Златосоломая струя».

Путь рабочего поэта помрачает эстетов, ибо на нем нет ни дьявола, ни стражи при дверях тайн, ни ликов любви, смерти, ревности и т. п. Поэт подошел к лику труда во всех проявлениях его. Поэт потянулся к выпрямившему его миру металлов, перенял от него прямоту, упругость и почувствовал, как от металлов в мускулы вливается сила:

«Завод — как водопад жестокий:
Струится медь, чугун, руда,
Электропламенные токи
В стальные мускулы труда.
Люблю я зарево загарнок,
В нем небо звездное ясеней,
Люблю куски стальных болванок,
Меж валцов превращенных в змей».

Труд, современная машина — не предметы слепой любви, не идеал поэта, а лишь наметк на возможное. Рабского, абсолютного, предельного нет и в помине: все связано с ростом коллектива.

Стихи о железе — равных им нет ни в русской, ни в мировой литературе — подтверждают это:

«В железе есть стоны,
Кандаляные звоны
И рваные пузы
Жужжаньем плеснуди
На гранях земных рубящей.
В железе есть зовы,
Звянящие грозовы,
Движение чугунное масс».

В этих стихах вскрыты все свойства железа, его добро и зло. Это преобразенная поэтом история железа. Железо — в крови, железо — орудие насилия, смерти, железо — кандалы, ошейник; но оно — и машина, освобождающая пленные глаза. Оно выпрямляет спящих способом производства. Через мир железа — в грядущее. Слияние рабочего-поэта с металлами шокирует эстетов, загов проворства рук, влюбленных в бирюльки. Слеплене поэта-рабочего им непонятно: почувствовал силу железа, коллектива, он уходит в преодоление гнета и сам изменится. Ласковые песни уступают железным:

«В сады железа и граниты.
В аласы каменных домов
Пришл я, неснанны обитный,
На зв торжественный гудок.
Я раздуржился с ветром волн,
Забыл безудержный размах
И ширину родных раздолий
И землю мягкую в цветах.
Я променял на камень жесткий
Шелка бюкающих трав».

И далее

«Кипит мартовские нечи,
В глаза бросает пыль руда,
Зажег я бронзовые свечки
Над книгой жизни и труда.
Смейей, смелей руби, зубило,
Пой под мозолистой рукой,—
Я чую ключ могучей силы
Под кожей черной и сухой».

Здесь уместны слова А. Гастева:
«Кончено, довольно с нас песен благочестия. Мы поднимаем свой заклад, и пусть играет наша музыка».

Рабом, каторжанином капитализма, разбиты цепи. Он осознал силу труда:

«Я не нежный, не тепличный, Не надо меня ласкать»...

Поэт обрел свое. Задачи его стали шире, огромнее. Перед ним подурмяненная, сторонящаяся самого ценного в себе, меркантильная культура. Она жалит, отравляет поэта и растит в нем злейшего врага. В ее музеях, школах, храмах он черпает знания для борьбы с нею. А колесо эксплуатации и обмана кружится, калечит жизни. Рев его заставляет поэта кричать от боли, распыляет его на острие мучительнейших противоречий: в окопах, в культурном стане, уничтожающем другой культурный стан, поэт видит:

«К валам прилики вереницы
Измученных солдатских лиц:
Они—как поздние станцы
На юг не улетевших птиц.

И те, кто ранены печалью.
И те, в ком знобно бьется кровь,
В поля, иссеченные сталью,
Влекут распятую любовь».

В снаряжном заводе душа его корчится на огне мук и не стораец лишь потому, что была в купели чугуна:

«Я плаваю белый алюминий
К сварядам пушек и мортир,
Он молнией прорежет стальной,
Завьюженный железом мир.

Вонзится там в живое тело
Таких рабочих, как и я...
Кипит, мой алюминий белый,
В лицах направится струя».

Убивающие друг друга рабочие обратят оружие против угнетателей. Вера в это перенесла много испытаний. Мировая бойня затмила «мирные ужасы». Пустым звуком, игрушкой сильных мира стало то, чему поэт верил, перед чем преклонялся, — Свобода. Эта глубочайшая трагедия миллионов рабочих отображена М. Герасимовым в поэме «Монна Лиза».

«Всю жизнь улыбка Монны Лизы
Был опьянен, заворожен,
Она сквозила в звездных ризах,
Где взор из дымов вознесен.
Целая улыбка Монны Лизы
В горных и отблесках машин,
А голубь голубой и синий

Плескал на лестках души.
Вся жизнь, вся в бронзовом загаре,
Вся смехострунный хоровод,
С игрою глаз призывно карих
К нам поступила на завод.
Тебе, как маю, были рады
И пенсем твоим пылям».

Но гибли рабочие, убивая друг друга. Именем свободы, пьянившей; глядевшей из машин и пламени, творилось безумие:

«Но вот чугунные снаряжы
Твоей рукой зарыжены
Вывол, ремней гудящих струны
Напены грозные поют.
А там возлюбленных и юных

Твоя гранаты бьют и бьют...
Нет, я не мысло, не поверю,
Чтоб ты пережилась задруг
И чтоб была служеньем зверю
Дрожь этих стебельковых рук».

Во имя свободы разрушались города и крошились тысячи жизней. Это опрокидывает в сознании поэта теоретические построения о мирной смене господствующих классов. Нет сил жать, терпеть, подкашивает усталость:

«Заводы, заводы, заводы,
Когда перестану вас петь?

Хотел бы любящим претечей
В благословенный мир глядеть»...

Но — тянет в сады железа, к купелям чугуна. Труд сметает с поэта жажду покоя, как пыль, и он славит коллектив:

«Его шагов стальную силу
Ковали долгие века,
Его порыв не угасиая
Войны кровавая рука».

Боль, раны, скорбь, братские могилы, но шире шаг, шире шаг к подмной Монне Лизе — Свободе:

«Пусть сунит огненную гарью
Росинки звезда до испых глаз,
Заря знамен над дымною далью
Таинственно плеснула в нас.

Вот солнце красный марш запело,
Звенит дунистой тетивой;
Стрижей мелькающие стрелы
Поют над каждой головой».

Монна Лиза, которой, как маю, были рады, наконец пришла. Поэт вновь на родине... Казалось бы, вот предел, лагерь, мель и угасание поэтического волнения. Но Монна Лиза России в блокаде, в тисках, — ей мало одной страны. В «Итальянской поэме» поэт поет о судорогах Запада, в полове страны которого ему привелось сидеть в тюрьмах:

«Пожары, пожары,
Пожары,
Радио нервно дрожало,

Эйфель на цыпочке встал,
В стожары
Вонзая прожектора жало».

Монна Лиза над всем миром — вот предел, вот цель. У М. Герасимова все мотивы — от любви до скорби — пронизаны, насыщены тягой к этой цели трудового коллектива, его бунтом, муками, печальми и победами. Борьба роде личною любви и ее атрибутов, рождение и перерождение могучее смерти и предсмертных судорог, знание прекрасное притворного незнания и преклонения перед тайнами. Поэта волнует не смутное, распыляющее, перед чем кликуши профессионально колотятся о землю и лепечут истерический вздор, а реальная сила человеческого гения, труд, которые «сдвинут рогину-землю». Он не измеряет жизни в целом своей жизнью. Миллионы поражений и побед, радостей и мук впереди, но свет Монны Лизы зальет мир. Вера в это поэта основана не на предчувствиях, а на знании, песни его овеяны здоровым, взрожденным силой металлов, железным звоном.

Н. Ляшко.

ДОРОГА

Солнце звенело золотом
В синем, как море, небе,
Цикадами под молотами
Трескуче пел шебень.
То щебетал булыжник:
Колоди — я, Жан, Фриц,
На шоссе на дороге рыжей
От Монблана до Ниццы,
Кремневых брызг так жгучи укусы,
Жужжание странно.
Даже луна пряди русые
Прикладывала к нашим ранам.
Кожа под южным зноем
Лопалась и взрезалась,
Сочилась синим гноем
От пыли и пота глаза.
Особенно у Фрица
Северная голубизна плакала,
За длинными ресницами —
Из родника проступало и капало.

Но мы колоди и пели,
Мели бородами пыль,
Рвал космы за нами на мли
Пролетающий автомобиль.
Скрежетал булыжник,
Пшестеливались черепа.
Машины плевали в нас бензином,
Харкали резиновыми губами шин.
В лимузинах летели лэди —
Плескала взволнованная вуаль.
А мы шаркались, как медведи
На четвереньках,
Измученно глядели в даль.
Они в газолинном тумане таяли,
Жималося сердце холодком стран-
ным.

Пыль мошкарвоыми стаями
Опять прилипаля к ранам.
Так ежидневно, утро и вечер
Встречали коленапреклонно;

Не хранил Ронский глетчер
 Наши тела воспаленные.
 Мы не были набожны —
 Молитвы и гимны не пели,
 Клапаясь камнями дорожным
 Наша маленькая артель.
 — Ничего, мы выживем,
 Поручкой — молоточная сталь...
 Курилась пыль ладаном рыжим
 Пред ледяным иконостасом Альп.
 Вспыхивал бисер пота
 На наших склоненных лицах,
 Такая была работа
 На шоссе от Монблана до Ниццы.
 За столом из щебня и сора,
 Прожевывая козий сыр,
 Фриц рассказывал о мире древнем,
 О мамонтовых пещерах.
 — Да, жили тогда похуже
 Ледниковые-то жители,
 Не было у них огня
 И никакого оружия,
 А вот, выбились же в люди.
 — Вон с Монблана телескопы
 и трубы
 Ловят,
 Приближают теперь миры...
 Его упрямо сжатые зубы
 Скрипели железным порывом.
 — А еще раньше мы были рыбами
 И не думали, что будем рабами...
 Отель над ледниковой глыбой

ДЕТСТВО

О, детство,
 Солнечное детство —
 Золотой весенний ливень!
 Что может быть тебя чудесней,
 И ароматней, и счастливей?
 Обвитый материнской песней,
 Облит степным журчаньем птиц,
 Я помню — первое сознание
 Мелькало всплывками зарниц.
 В лицо дышали росы ранние,
 И зори улыбались мне.
 Я слышал мудрое звучанье
 Копыт, сверкавших на гумне.
 Золотыми ресницами,
 Щекоча и маня,
 Целовали меня,
 Рыванов колыбели звонкие

Строго сверкнул очками.
 — Они живут там, эти туристы,
 А мы — у подножья,
 Конечно, им нужен воздух чистый
 И доброе питание тоже.
 Вдруг мамонтом чутунным
 Автомобиль сорвался, как обвал:
 Фриц на оборванных струнах
 Простуженный крик оборвал.
 Дорога, кровь облитая,
 Все так же дымилась и пела.
 Не знала леди белая,
 Чем спаяны гальки и плиты.
 Ни кто не пришел оплакать
 Раздавленного,
 Лишь облака плескались, ласкаясь,
 Цвела синева, на скалах
 Снежные слезы капали.
 На границе вечного снега,
 У дороги Ницца — Монблан,
 Под щебнем в овраге
 Лицом на восток,
 Схоронен товарищ Фриц.
 Пенилось ручьево пение,
 Рыдал глетчерный поток,
 Упорно ждали мы восхождения
 Красной звезды с востока.
 Трещат кремневые выстрелы.
 В глазах, сочавшихся гноем,
 Вспыхивают искры.

Качали снопы и ребят.
 С вожжами в цепких ручонках
 Я сразу засыпал на возу.
 Не грешил о феях —
 Снилась родная скотина...
 Отец веял и веял,
 За спиной трепыхались крылья.
 С растрепанной бороды мякина
 Курилась цветочную пылью.
 И я, крылатый,
 Хватал лопату
 За душистый липовый черенок.
 Журчало зерно и солома
 Ручейком у босых ног.
 Отец из всей силы
 Вскидывал
 За облачком облачко,
 Выше всех птиц.

Казалось, небо цедело
 Золотой дождь пшеницы.
 Он веял до черной ночи,
 О хлебе думая всласть.
 Взброшенные зерна
 Вспыхнули звездами в небе
 И не хотят на землю упасть.
 О, сумерки ранние,
 О, кувырканье в траву!
 Месяц рожками бараньими,
 Играя, бодал синеву.
 Ночное в лугах поемных,
 Песен пьяный мед,
 Пьем учащенным дыханьем
 И душистый лошадиный пот.
 О, детство,
 Солнечное детство —
 Телый весенний ливень!
 Что может быть тебя ясней,
 Прозрачней и счастливей?
 В окопах кажется печальной
 Осенний златокудрый лик,
 И золото березки дальней,
 И тихий лепет павилки.

Жужжанье-шелест мушки синей
 На светлом остром штыка.
 И аромат могильных пиний
 Как будто летясы свыскока.
 Над разоренной долиной,
 Над кланью знакомых мест
 Я вижу — плавно журавлиный
 Колыхнется в лазури крест.
 Ласкающим близоруким
 Далекой матери родной,
 Их крик преображенным пенем
 Растет и тает надо мной.
 Кровавый клен мне шепчет — «ми-
 лый».

Он тихой грустью озарен,
 Над незаспанной могилой
 Листовой осенней плачет он.
 Оковы-скорбы в пустынном поле,
 Чего морщинистое нив.
 Я не могу смотреть без боли
 На змеевидный ваш извив.
 (Из книги «Завод весенний», изд. «Куз-
 ница» 23 г., 2-е изд.)

Ш А Х Т А

Спустились... Ночь, глухая темень,
 Могильно-гробовой покой.
 Но вот кровотокающий кремнь
 Звездой брызнул под киркой,
 В глубоких шахтах наши взоры
 Огнями черными цвели,
 Просачиваясь в пыль и поры
 По жилам угольным земли.
 Стучим, а по телам вспотевшим
 Тьма лижет углем и кремнем,

То брызги злобно, в раны в'ешивши;
 Хлестали каменным ремнем.
 Нас с углем изрыгнула шахта,
 Ночь — как под землей лень, черна;
 Заря заканчивала вахту
 У затухавшего горна.
 Блуждали тучи, как минеры,
 По шахтам грифельных высот,
 А звезды-лапы в кучах сора
 Корявый озарили свод.

(Из книги «Завод весенний», стр. 8).

* * *

Шампань!
 Я не могу без боли
 Глядеть на пыльные сады,
 Где спят теперь на взрытом поле
 Солдат недвижные ряды.
 Все виноградники Шампани
 Гигантской срезаны косой,
 Растроптаны в кровавой брани,
 Омыты красною росой.
 Я слышу, как победно пули
 Напеты жуткие поют
 Живым, которые уснули,
 Средь мертвцов найдя приют.

Где раньше золотые гроздьи
 В пьянящей радости цвели,
 Теперь — разброшенные кости
 Ржавеют по лису земли.
 Но все пройдет, и скоро, скоро
 Вновь зацветут холмы, леса,
 И башни Реймского собора
 Вонзятся в небеса.
 Как призрак, сумрачный и странный
 Храм снова тяжело бросит тень
 На незалеченные раны
 Подбитых сел и деревень.
 (Из книги «Завод весенний», стр. 22).

В КУПЕЛИ ЧУГУНА

От хат соломенных селений,
Где жизнь смиреннее горла,
На грозный зов сиренных пеней
Пришли в стальные города.
Был каждый в пламя горна брошен,
Кипящей сталью опален,
Кандалным звоном обострожен,
Железным пеплом опылен.
Обвешан факелом завода,
Его зарницей озарен,
Обласкан музыкой приводов
Ординой дробью шестерен,
Обрызган искрами металла,
Крещен в купели чугуна,

И вот осталенною стала
Златосоломная струна.
Как сон, смиренная забыта
Преклонновынная межа,
Душа горящая облита
Звенящим валом мятежа.
Завод—как водопад жестокий:
Струится медь, чугун, руда,
Электропламенные токи
В стальные мускулы труда.
Стал каждый пламенным баяном
Кующих звонов, красных струн,
Грозиво вскрыленным титаном,
Зари Грядущего — трибун.

{«Завод весенний», стр. 40}.

КОЧЕГАР

Я — кочегар в утробе судна,
В чугунном чреве, у турбин,
Где зной форсунок, дымно, нудно,
Где пар — мой раб и господин,
В коралловых извилах шлака,
В стальных клещах колосников,
Где даже черный камень плакал,
Я жил закован в сталь оков.
Немолчно в ветряжные трубы
Свобольный ветер трубит в рог,
Целует высохшие губы
То нежен, то призывно строг.
Кругом в лазоревом пространстве,

В кипучих искрах пенных вод,
Легки от беспечальных странствий
Дельфины волят хоровод.
Ночами фосфорятся струи,
Пронизывает страсть, как ток.
В волнах, в каютах поцелуй,
Весь мир любовью изнемог.
А здесь — на согнутые спины
Зсвалили уголь, шлак и сталь,
О, еслиб, как в волнах дельфины,
Без кочегарок и турбины,
Умчаться в моревую даль!

{«Завод весенний», стр. 63}.

ЧЕРНАЯ ПЕНА

Какая боль!
Какая боль!
Бульварным фонарем качается
Голова моя,
Зияя неостекленными ранами.
Я вижу ушербное солнце мая;
Тучами роящаяся
Белая моль туманов
Его источила,
Подлинная позолота,
В подмосковные болота
Вытекла светлая сила.
Снегом осыпаются цветы лип
К моим ногам.
Истерично всхлипывают
Шины машин.

Их прободают ломовые рога.
Бесстрастным, полярным бураном
Снежно и жутко клубятся
На Страстном бульваре
Белые дамы и проститутки.
Белые в белом
И другие твари
Расфунтили душу и тело.
Врагов жеребьиное ржанье
Мне нервы измяло и режет.
Флаги — облезли —
Пущовое с'еди иней и ржа.
Укорами звякают льдышки шпор.
Изморозь в майской тени
Под москворецким мостом,
Там голодный

С лицом свинцовым
Дрожит опадающим лохматым ку-
стом.

Из битых окон тянет норд-вестом.
Сумеречником врываю в театр
Первый Р. С. Ф. С. Р.
Вздрагивает занавес
Увидшим парусом.
Фонарем вздергиваю голову
Над верхним ярусом,
Зорко врываюсь белками света.
Жутко следить
По следам проститутки!

На галерке
Встаю на дыбы лучей —
В партере тоже нагромождены
Белые глыбы
Придворно совбурских дам
В переливных шелках,
А в ложах трофеи —
Увязли в сугробах
Кожаные галифе и значки.
Зрачки округлив,
Из-под ершистых бровей
Выбрызнув жгучие угли.
Кричу, синевлазый и грубый,
Зубами язгнув
И током напряжив вены:
Забинтуйте карминные губы,
Они, как язвы,
Пошло сочатся прошлым!
В утесах стульев и ребер
Черною пеною вскипает душа.
Разбейте сосульки бриллиантов
в ушах!

Певцы труда и поэты,

И ты, солнце,
Солнце из синего плеса,
В медной пыли,
Где ты?
Задужи их огненными косами,
Яснозоркое,
Красной рудой опали!
Это я, синевлазник профсоюза,
Кричу с галерки,
И кто заглушит крик железный?
Электричество вздрагивает и тух-
нет;

Ухнув,
Снежные глыбы партера
Проваливаются в черную бездну.
Но не тухнет
Нервов моих пожар.
Выскакиваю на бульвар —
И опять ночью мал
Разбитым фонарем
Качается голова моя.
Жутко во тьме
Рублями звенят поцелуй.
Льнет проститутка
Блудить с моей музой —
Днем она стучит на ундеруде
В Гувузе.
Тьма лижет глаза
Черным языком,
Но я и ночью вижу.
Люди, люди,
Опять проросло
Пошлое клеймо,
Выжженное прошлым
На лбах,
А рабочих поэтов распяли
На фонарных столбах!

{«Негасимая сила», стр. 61}.

МЫ

Мы все возьмем, мы все познаем,
Пронизем глубину до дна.
Как золотым цветущим маем
Душа весенняя пьяна!
Нет меры гордому дерзанию:
Мы — Вагнер, Винчи, Тициан.
Мы новому музею-зданию
Возвижем купол, как Монблан.
В кристаллах мрамора Анжело,
И все, чем дивен был Парнас,
Не то ли творческое пело,

Что током пробегает в нас?
Воспитывали орхидеи,
Качали колыбели роз,
Не мы ли были в Иудее,
Когда любви учил Христос?
Мы — клады камни Парфенона
И исполнивших пирамид,
Всех сфинксов, храмов, пантеонов
Звенящий выселил гранит.
Не нам ли на горе Синая,
В неопалимой купине,

Как солнце, Красный стяг, сияя,
Явился в буре и огне?
Мы все возьмем, мы все познаем,

Пронизем неба бирюзу.
Как сладко пить цветущим маем
Животворящую грозу!

(«Завод осенний», стр. 48).

Владимир Тимофеевич КИРИЛЛОВ

Автобиографическое письмо

Родился в 1890 г. Крестьянин Смоленской губ., Духовщинского уезда. Отец — приказчик в книжном магазине в Смоленске. Детство провел в деревне до 8 лет, учился 2 года в начальной школе. С 9 до 11 лет работал учеником в сапожной мастерской. Позже стал матросским учеником Черноморского флота. 16-ти лет был арестован и отправлен в ссылку в Вологодскую губ., в Усть-Сысольск.

Ссылка была моей настоящей школой. Там же начал писать стихи. Выступал в печати в 1913 г. Сотрудничал в рабочих дореволюционных изданиях, в «Правде» и других газетах. Первая книга — «Зори грядущего» — вышла в 1918 г. в Питере. Был за границей.

ДВЕ СТИХИИ

Владимир Кириллов прогремел на всю Советскую Россию своими известными стихами: «Мы», «Железный Мессия». В 1919 г. его строки «Во имя нашего Завтра сожжем Рафаэля» были у всех на устах... С тех пор много и воды и крови утекло. Позднее тот же В. Кириллов писал: «Он с нами лучезарный Пушкин, и Ломоносов, и Колчов».

От первого своего сборника «Зори грядущего» до I-ой книги стихотворений, которая вышла в изд-ве Мосполиграф в 1924 г. (145 стр.), он прошел большой путь, возмужал, окреп и многому научился и многое пережил.

Но уже в первых его сборниках нерешительно, робко и застенчиво заглядывали в сердце нежные и грустные глаза поэта. Читатели и не замечали, что у автора «Железного Мессии» в его творчестве — две стихии: с одной стороны — боевая, агитационно-программная, кричащая публицистика в стихах и в статьях риторических, отвлеченных, оторванных от быта, а с другой стороны — «лепестковая нежность слов», в которой слышится ясно «сердца перебой» и струится «сладкий дух акаций». «Белый и голубой», с его дубы и мечтами, порой слишком чувствительный, сентиментальный, жадно впитывает он в ослепительном мире «зудливые, цветы и узоры и пенные заоблачных лир» и живет в «лазоревом саду». Правда, в годы грозы и бури этот лазоревый сад часто меркнет и заоблачные лиры уступают место звонам «крававых мечей», но счастливи и дома поэт только в ослепительном мире, там, где поют волны и загораются цветы.

Боевой риторизм и газетная фразистость — это внешний, временный налет в его поэзии. Он влечется к ясности и простоте, ближе к земле с ее красками и запахами, с ее болями и радостями. В его творчестве все чаще и чаще встречаются за последние годы «правдивые, простые строки о первых бурях бытия». Если в его риторических стихах слышались отзвуки К. Бальмонта, Северянина («Мы»), то в его правдивых и простых стро-

как вы сразу узнаете влияние А. С. Пушкина даже там, где поэт вспоминает о М. Ю. Лермонтове, которого так любил в детстве. Но не усадебным миром, не «праздной негой» веет от этих новых стихов, а трудовой жизнью и пламенным порывом к подвигу.

В лирической повести В. Кириллова даже слишком явно выступает пушкинское, его «стиха ямбические волны», слишком чувствуются отзвуки «Евгения Онегина». Но, несомненно, поэт сумеет овладеть методом Пушкина и преодолеть полосу подражания стихам Пушкина.

Две стихии вносят некоторую разорванность, нестройность в творчество В. Кириллова. Но ясно, что поэт ищет цельности, стройности и невольно пришел к гармоничному Пушкину.

Знакомство с новым бытом трудовых масс дает ему огромный материал. Осердечивая свои образы, поэт научится избегать излишней сентиментальности и находить меру вещей.

В. Львов-Рогачевский.

О ДЕТСТВЕ, МОРЕ И КРАСНОМ ЗНАМЕНИ

Лирическая повесть

ПРОЛОГ

Тяжелый груз воспоминаний,
Душа, исторгни до конца,
О годах горестных скитаний,
О зорях отчего крыльца.
Вскипает жизнь... и кубок полный
Вспенен величьем давних дней.
Стиха ямбического волны
Качают челн мечты моей.
Исполнились молчанья сроки,
И вот, пою, слагаю я
Правдивые, простые строки
О первых бурях бытия.

Вам, опаленные страданьем,
Вам, не забывшим звон оков, —
Былого глужее дыханье, —
Суровая игра стихов.
Пусть песнь моя, — в ней ваши раны,
В ней вы и я, но боль одна:
Так в малой капле океана
Жизнь океана нам дана.

I.

Деревня в семь дворов убогих
Сбежала к речке. У окна
Лежала древняя дорога,
Смоленскою звалась она.

За речкой — холм в мохнатых елях
С погостом сумрачным. Кресты
В зеленых зарослях белели,
Тревожа детские мечты.
Окно открыто. Вечереет.
За рошею укрылся день,
Приятною прохладой веет,
Дорогу обнимает тень.
Сияют зоревые ризы
Над крышами понурых хат,
Влади — туман молочного-сизый,
Мычанье и бляенье стад.
Мать напевает заунывный
Напев: «кремнистый путь блестит»,
А в небе хорошо и дивно
«Звезда с звездой говорит».
Телега прогрохочет мимо,
Поднимет пыль — и вновь покой,
И вспомнится: отец любимый
Давно не приезжал домой...
Мой дядя — унтер бородатый,
Мой первый добрый поводырь,
Напевом оглашая хату,
По вечерам читал псалтирь.
Мы с ним прогуливались в праздник
К обеде в ближнее село.
Он звал меня: «шалуни», «проказник»,
Был строг, но было с ним тепло
И весело. Бывало, садям
На пол-дороге отдохнуть,
Достанет табакерку дядя,

Вдохнет и крикнет во всю грудь.
 Потом расскажет про походы,
 Про службу царскую. Спойет.
 А в поле зеленеют всходы
 И колокол звенит, зовет.
 На мне узорная рубашка,
 А в теле — легкость мотылька.
 Букашка, розовая кашка
 И золотые облака —
 Все сердце детское пленило
 Непостижимую игрой
 И грезы резвые поило
 Святою, чистою росой...
 Прошли года. Давно устала
 Моя душа под ношей лет.
 Ах, не сияет, как бывало,
 Весна и розовый рассвет!
 И солнышко — не божье око,
 Ах, я узнал — там пятна есты
 И звезды в синеве глубокой
 Не подают святую весть...
 Избы вторая половина
 Была таинственно-чужой,
 Окно с решеткой, паутина,
 В углу чуть видимый святой.
 В вечерней золотистой пыли
 Я помню перезвон оков, —
 Сюда с конвоем привели
 Мне незнакомых мужиков.
 Солдаты-усачи кричали,
 Был важен вид их боевой,
 Их сабли острые сверкали,
 Как полумесяц молодой.
 Со мною, — отдохнув с дороги, —
 Играли, запускали змей,
 Шутя мне замыкали ноги
 В замки бранных цепей.
 А на крыльце до темной ночи
 Звенела ливенка, Солдат
 Уныло пел: «Сгубили очи,
 «Коробушку», «Зеленый сад»...
 И вот, однажды, в полдень хмурый
 Вновь крики, теньканье цепей.
 Босых, в грязи дорожно-бурой,
 Промокших привели людей.
 Вдруг у крыльца худой, несчастный,
 Упал, как скошенный мужик;
 Полоска крови ярко красной
 Текла на землю. Тихий крик,
 Вернее — стон глухой, подпольный
 Я услышал, и сжалась грудь,
 Я понял — это очень больно,
 Я понял — страшен этот путь...

Вот помню. На рассвете алом
 Стук за окошком. «Наконец!..» —
 Вскричала мама. Побежаа
 Встретать. И вот вошел отец.
 Какой веселый, звонкий голос!
 Голубоглазый, молодой!
 Волнистый разметался волос...
 От радости я сам не свои.
 Поцеловал нас и подарки
 Достал. «Вот маме, вот тебе», —
 Конек, гармошку, пояс царский, —
 И стало радостно в избе...
 И дни, один другого краше.
 Летели в голубую даль,
 Довольства круговая чаша
 Была прозрачной, как хрусталь.
 Но позже я узнал, что радость,
 Как солнышко — не божье око,
 Людского темного разлада
 Узнал я прозу. Хмурый день
 Стоял с утра. По небу плыли
 Отрепья мокрые оnoch.
 В избе тревожно говорили
 Отец и дядя. Сумрак туч
 Все набухал, и вот взгрелась
 Гроза, семейная гроза.
 Кричал отец, лицо бледнело,
 Я не узнал его глаза.
 Слова взрывались картечью,
 Все жарче разгорался спор.
 Вот он вскопчил, и у запечья
 В его руках блеснул топор.
 Что совершится, мы не знали,
 Я в страхе к матери припал.
 Отец стоял, глаза сверкали,
 Вдруг — повернулся, побежал
 Во двор, затем в калитку сада,
 А я вослед за ним бегом,
 На миг мы повстречались взглядом;
 Но вот с размаху топором
 В ствол яблони моей любимой
 Ударил гусак. Брызнул сок...
 Я плакал, жалостью томимый,
 Но сделать ничего не мог.
 И яблоня, как я, дрожала,
 И вместе мы издали крик,
 Когда сраженная упала,
 Как тот закованный мужик...
 Здесь память обрывает нити,
 И не найти знакомых вех,
 Последующий ход событий
 Забвенья заметает снег...
 Лишь помню, в полдень воз горбатый

С узлами, сундуком и мной
 Отчалил от родимой хаты!
 В туман промозглый и седой...
 Смоленск, какой чудесный город!
 Хотя бы потому, что мой.
 Днепровские крутые горы
 Забылись в роще золотой.
 Он околдован мягою дивной,
 Стеною древней окружен,
 Ах, как любил я перелинный
 Его вечерний перезвон!
 Мне нравилось морозным утром
 Смотреть, как дымные столбы
 Отвечивают перламутром,
 А ветер чешет их чубы.
 Любил солдат, идущих в ногу,
 Когда военный марш гремит,
 Пожаров гулкую тревогу,
 Блистанье касок, звон копьев...
 Здесь все овеяно чудесным
 И несказанно дорогим,
 Как будто в мире неизвестном
 Бродил я — некий пилигрим.
 О, детство, дай хоть раз умыться
 Твоей свежательной росой!
 Но разве может повториться
 Тот час чудесный, миг святой,
 Когда впервые вывел грифель
 Таинственно-премудрый Из,
 И темные иероглифы
 Вдруг просияли, как алмаз?
 И первой дружбы дуновенье
 За партию и на реке,
 Стыдливые прикосновенье
 Руки взволнованной к руке...
 Но дальше, дальше, волны-строфы,
 Плыли, напевная ладья,
 Туда, где огненной Голгофой
 Блеснула книга бытия.
 Не для восторгов умленья
 И упоенья красотой
 Я воскрешаю гусак, виденья
 Моей Аркадии златой,
 Но в час мучительный отплыть я
 Хочу еще единый раз
 В той бухте голубой побыть я,
 Где плавал детский мой баркас,
 Где в предвечерней синей дреме
 Забылась улица. Забор
 Скоился на бок. Серый домик,
 Над окнами резной узор.
 Вот полночь. Я лежу в постели,
 Но глаз не закрывает сон,

За окнами пожар метели,
 В трубе не затихает стон.
 В синири лампады алой
 Мать дождю молится в углу,
 А домик наш — кораблик малый —
 Плывет в бушующую иглу.
 И снится, матери моления
 Приятны деве неземной,
 Она извобит от крушенья,
 Укроет ризой золотой...
 Орел... Здесь мы опустим парус.
 Стой, детства розовый баркас!
 Еще один заложим ярус
 Сей скоробной повести. Не час,
 Не день, а много боле
 Нам здесь назначено пребыть.
 Прощай, возлюбленная воля!
 Рука суровая судьбы
 Мне указала жребий темный.
 Что ей милденческой души
 Крик иступленный, затаенный
 И слезы жгучие в тиши!
 Прощайте, дорогие книги
 И добрый красный карандаш,
 Прощайтесь золотые миги,
 Прощайте, я уже не ваш.
 Окончено мое ученье,
 Пусть не осидил буквы Ъ,
 В кожевенно заведенье
 Я отдан сапоги тачать...
 Здесь мало спали, мало ели,
 Лишь зуботычин и линков
 Давали волю, не жалели
 Их для взвешоренных «щенков»:
 Так валер хозин нас любезно;
 Он добрый был — свидетель бог —
 Доказывая, что полезно
 Трести за шиврот и чубок.
 И правда, спорилась работа:
 Часов шестнадцать, — не солгу, —
 Стоял тяжелый запах пота
 И дробный, монотонный гул.
 О, Тейлор, благородный янки!
 Твоя система — никуда,
 Здесь просто поднимали «банки»
 Производительность труда...
 Едва ленивого рассвета
 Прольется в зимнее окно
 Молочный свет, — мы все одеты
 И за работу дано.
 Наш Петя, певчий голосятый,
 Тряхнет курчавой головой,
 И звук протяжный и волнистый

Прольется сладостной тоской.
 О, песня русская, до боли
 Ты сердце трогашь! Бог весть
 Как без тебя судьбу-неволю
 Народ наш мог бы перенести...
 Под эти песни забывали
 Гнет безысходный и глухой,
 На вольных стругах уплывали
 С ватагой Разина лихой.
 Ах, не спроста у красных башен
 На плахе сгинул атаман:
 Казалось, мир не так уж страшен,
 Когда грозой гремит Степан.
 И с песней было нам сподручней,
 Была нам песнь, что отчий дом:
 Казалось, сам Ивашка Ключник
 Стоит, поет за верстаком...
 Но «песнь»—все песня, а жизнь—все
 жизнь».
 За светом тьма еще постылей,
 Блещат сапожные ножи,
 Натруженные ноют жилы.
 А за окном гремит, звенит
 День торжествующий, лучистый,
 Мелькают книжки и ремни,
 Шагают важно гимназисты,
 О, как хотелось бы и мне
 Туда за ними в путь широкий!
 Но жизнь иная, как во сне,
 Шумела за стеной высокой...
 Мне нравилось богослуженье
 В соседней церкви Покрова,
 Молитвенное песнопенье
 И фиомиа синева,
 Риз золотое колыханье,
 Мерцанье голубых лампад,
 Толпы горячее дыханье
 И запах дегтя и помад...
 Ведь как-то надо было жить,
 Чему-то верить и молиться,
 Чтoб эту муку выносить
 И не погибнуть, не разбиться
 О камни острые преград.
 И я искал самозабвенья
 В мерцании голубых лампад
 И торжестве богослуженья...
 Любил я «житие» святых,
 Их путь тернистый и суровый,
 В мечтах наивных и простых

Я удалился в бор сосновый.
 Там ставил сруб, пещеру рыл,
 Влачил тяжелые вериги,
 Слезами детскими кропил
 Суровые странички книги.
 Я верил искренно и свято:
 Всех, кто обижен и убог,
 Христос поруганный, распятый
 В своей звездный уведет чертог.
 Весна, она во всем права...
 Виною черемух ветвет,
 Кому обидно, что трава
 На тротуарах зеленеет,
 Чтo столько медлит уходить
 За крыши пестрые строений
 И что в груди звенит, гудит
 И чашу жизни радость пенит?
 И только вечер на крестах
 Затеплит алые лампады,
 Обвеет жаркие уста
 Желанный отдых и прохлада.
 И заливаются гармонь
 В вечернем, узком переулке,
 И девки фыркают «не тронь»,
 И брызжет смех живой и гулкий.
 И даже важный гордовой
 Не избежал весны полона:
 Присев на тумбочке, с тоской
 Внимает песенному звону...
 Но, нелюдимый и чужой,
 Я убежал на берег вешний,
 Чтoб погрузить часок-другой
 О жизни вольной и нездешней.
 Там книгу, пахнущую кожей,
 Читал, пока закат сиял.
 Был Лермонтов всего дороже
 В те дни... Я с дрожью открывал
 Стихов страничку за страницей,
 О, как хотелось мне тогда
 Быть ватерком, волной и птицей!
 Я узнавал, как мир широк:
 Есть синь морей и радость битвы,—
 Живые звуки звонких строк
 Мне стали сладостней молитвы.
 Бежим—звенела мне струя,
 Легим—ласкался ветер южный,
 И вот, десятилетний, я
 Бежал, покинув плен недужный...

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

М. Герасимову

Черных дней оборви причалы
 И парус мечты подними,
 Мореходец морей небывалых,
 Все сиянье к груди прижми,
 Дальный гром, пространств литур-
 гию,

Голубых созвездий созвон...
 С ног упали пути тугие
 И веков опрокинут сон.
 Только нам доступно исканье—
 Мир былой облысел и зачах,

Непокорное брызжет сиянье
 В наших жадных, звериных зрачках.
 Будет праздник, чудесные страны
 Забредут к нам в сети стихов,
 Евангелия и кораны
 Создадим из электро-слов.
 Смейтесь, песни, гимны, звените!
 Жгите дней былых бурелом,—
 Это мы сегодня в зените
 Созвездием Лирь встаете.

(Из 1 кн. сб. «Недра».)

ЗАРУБЕЖНЫМ БРАТЬЯМ

Мой зарубежный товарищ и брат,
 Бедный, усталый солдат,
 Ты, в крови утонувший по груди,
 Оглушенный гулом гранат,

Слушай:

Надо радость миру вернуть,
 Вольною грудью вздохнуть...
 Разве я тебе враг,
 Я, чье богатство лишь пара рук,
 Изнуренный от рабских мук,
 Разве я тебе враг?
 Смотри, во что превратился мир:
 Он весь—израненный труп.
 А война, касаньем страшных губ,
 Пьет кровь людей, как вампир.
 Красной стала в колодах вода,
 И в небе сочится кровь.
 Гибнут в огне города,

И смешным стало слово «любовь»...
 Но светлый уж подан знак,
 Чтo ужас идет к концу;
 Возьми в руки алый стяг—
 Он больше тебе к лицу.
 Еще молот возьми стальной!
 О, брат мой, довольно страдать,
 Надо позорную цепь разорвать,
 Сковавшую шар земной.
 И пусть не будет в просторах земли
 Нищих и жалких калек.
 Смотри, из туманной дали
 Грядет к нам пленительный век...
 Перестань же колоть, убивать,
 Отвергни черный обман:
 Нам, угнетенным всех стран,
 Вся земля единая мать.

(«Грядущее» 1918 г., № 3).

СТОЛИЧНОЕ

В час, когда рассвет весенний алый
 Трепетал над пышною Невой,
 Девушка продажная устало
 Шла домой, не взятая толпой.
 Ясным утром вся она казалась
 Странно-хрупкой, утомленно-бледной,
 А в глазах потухших отражалась
 Повесть жизни сумрачной и бедной.
 Я с цветами шел, но был я тоже
 Одинокий, без друзей и мста.

И подумал с горечью: быть может,
 Ты могла-бы быть моей невестой...
 Отдал я цветы ей, и до боли
 Мне ту девушку вдруг стало жалко;
 Ведь сама она была давно ли
 Чистой и нежною фиалкой?
 Я пошел,—она взглянула строго,
 Был непонят этот луч участия—
 Девушкой обманутой, убогой,
 Не видавшей радости и счастья.

(Стихотворения, стр. 37, изд. Биба. Петрогр. Пролеткульта).

М Ы

Мы, несметные, грозные Легионы Труда—
Мы победили пространство морей, океанов и суши,
Светом искусственных солнц мы зажгли города,
Пожаром восстаний горят наши гордые души.

Мы во власти мятежного, страстного хмеля,
Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты...»
Во имя нашего Завтра—сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, распотчем искусства цветы.

Мы сбросили тяжесть наследья гнетущего,
Обескровленной мудрости мы отвергли химеры —
Девушки в светлом царстве Грядущего
Будут прекрасней Милосской Веныры.

Слезы иссыкли в очах наших, нежность убита.
Позабыли мы запахи трав и весенних цветов.
Полюбили мы силу паров и мощь динамита,
Пенье сирен и движенья колес и валов.

Породнились с металлом, душою с машинами слиты,
Мы разучились вздыхать и томиться о небе,
Мы хотим, чтобы все на земле были сыты,
Чтобы не было слышно ни стонов, ни воплей о хлебе...

О, поэты-эстеты, кланите Великого Хама,
Целуйте обломки былого под нашей пятой.
Обмойте слезами руины разбитого храма,
Мы вольны, мы смелы, мы дышим иной красотой.

Мускулы рук наших жаждут гигантской работы,
Творческой мукой горит коллективная грудь,
Медом чудесным наполним мы доверху соты,
Нашей планете найдем мы иной, ослепительный путь.

Любим мы жизнь, ее буйный восторг опьяняющий,
Грозной борьбою, страданием наш дух закален.
Все—Мы, во всем Мы, Мы—пламень и свет побеждающий,
Сами себе Божество и Судья и Закон.

ГРЯДУЩЕМУ ПОЭТУ

Иных времен могучий светлый гений,
Поэт восторженный грядущей кра-
соты,
Крылатый бог певучих вдохновений,
Тебя приветствуя, поют мои мечты.
Склоняюсь над книгою в вечерний,
тихий час,
Внимая трепетно седой, далекой
были,
Услышишь ты бессмертно-внятный
глас
Тех, что в веках минувших опочили.
Мечтою творческой ты воскресишь
виденья

Дней, обгаренных кровью баррикад,
Восторги бить, победы достижения
И ужасы падений и утрат.
Я знаю, многое из мрака наших лет
Твой чуткий слух невольно оскор-
бит,
На многое ты не найдешь ответ,
Что нас теперь волнует и томит,—
Но есть одно, предчем склонимся ты,
Исполнен радости и жгучего вол-
нения,
Чему отдашь ты лучшие цветы
Певучих грез, восторгов вдохно-
веня:

То—страсть мятежная, то—буйство
гордых сил,
Что смерти час с улыбкою встре-
чали,
Что над гнетущим сумраком могил
Венки бессмертные грядущему спле-
тали;
То нашей мысли дерзостный полет,
То пламень дум, не знающих оков,
Огонь мечты, сжигавший темный
лед
И позором, кровью отмеченных веков.
Поэты, вы поймешь, с каким безумством
мы

Бросались в вихрь борьбы жесто-
ченной,
Чтобы скорей сорвать покровы
тьмы,
Приблизить день, любовью озарен-
ный...
Как счастлив я, что мне дано уку-
сить
Из чаши дней, покрытых вечно
славой,
И в песнях огненных восторженно
излить
Их думы гордые и трепет велича-
вый!

(Из книги «Стихотворения 1914—1918», стр. 24, изд. Петрогр. Пролеткульта).

В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

(род. в 1897 г. в Смоленск. губ.)

В ГРАНИТЕ]

С. Обрадовичу

Мертвое золото льна,
Сонную синь равнины
Променял я на страстную дрожь
машины,
На напевный звон чугуна.
В темный омут души моей
Полдни весен плеснут зноем...
Было радостно жадным запоем
Пить кочующий гул площадей...

Ты пришел на весенний гром
Звенья песен чеканить в граните,—
Неразрывные проволоки нити
Нашу страсть связали узлом.
Мы с тобою сюда принесли
Зерна солнечного задора,
Чтобы выместишь песнями город
Наши братья и сестры могли...
(«Россыпь огня», стр. 24, изд. «Куз-
ницы», 1922 г.)

Б У Д Н И

Не для тех, чье сердце—камень,
И не тем, кто под солнцем зачах,
И хочу простыми словами
Рассказать о простых вещах.
Есть жизнь такая паршивая,
Такая обденная и нелепая,
Подойдешь к ней — и станет то-
скливо,
Как собаке в февральскую непо-
годь.
Эта жизнь, как и всякая, упряма,
Как и всякая — бьется наружу,
Но кто перед этой помойною ямой
Не испытывал ужаса?

О, проклятый, позорный жребий!
Так и хочется головой о гранит!
Ведь, правда же, странно, что солнце
на небе
Кому-то о счастье звенит...
Я знаю то, что знаете и вы:
Растаивают дни, как дым от папи-
росы,
Но кто не видел на улицах Москвы
Расклеенных афиш о половом во-
просе?
Когда от диспутов распухнет голова
В Политехническом ли, в Доме ли
печати,

Кого затрогивают звонкие слова,
Бросаемые кстати и некстати?
О, как мораль им новая знакома!
Того гляди, что вылезут из кожи,
Как будто бы декретом Совнаркома
Вот эту жизнь возможно уничто-
жить?

А эта жизнь не только на Твер-
ском
Глядит из глаз слепых и полупья-
ных,
Она ползет в правление, в местком,
Вцепившись в подол барыньки ру-
жьяной.

И вот такая сволочь за столом
Вас окунет в свою блудливость
взгляда

И будет лаять длинным языком
О том, что вы нарушили порядок.
Ее прием от трех до четырех,
И как войти вы смели без докладца?
И этот пошлый выученный брех—
Единственная в устах награда.
В четыре подадут автомобиль,
А вы стоите молча от испуга,
Пока не бросите в поднявшуюся пыль
Пятиэтажную забористую ругань...
Я знаю, есть другая жизнь и люди,
Животворящие великую мечту,
У них чахоткой выроданы груди,
Они—как часовые на посту...

Есть люди с поразительным тер-
пением—
Без кражи, Сухаревки и пайка;
Они, уверовав в свое преображение,
Не отрываются от ржавого станка...
Есть юноши и девушки у нас:
В глазах весна, а на плечах вин-
товки;

Они на лекции бегут в свободный
час,
Шатаясь от усталости и голодовки.

А здесь—стена из кумовства и лжи,
Здесь на любовниц тратят мил-
лионы,

Отсюда честность в ужасе бежит
Опять туда, где голод, кровь
и стон.

Что ж удивляться слабости иных,
Что не выдерживают люди часто,
Не прошибают лбом стены
И не берут рабочий заступ?
А таких не один и не сто
Приходящих и бьющихся долго,
Уходящих с разбитой мечтой
От великой работы и долга.

Я знаю то, что знаете и вы,—
Что впереди преграды и преграды,
Но, не теряя солнечной канвы,
Мы добредем туда, куда нам надо...

1921 г.

(«Россынь огнеи», стр. 49).

Сергей Александрович ОБРАДОВИЧ

(Родился в 1890 г. в Москве, в семье ремесленника. Начал писать
в 1906 г.)

ЛИРИКА В ГРАНИТЕ

А. Неверов о поэзии С. Обрадовича

Ночевала тучка золотая
На груди] утеса-великана.
Дермонтов.

Рожденная Октябрем, пролетарская поэзия, по существу своему, пре-
имущественно — боевая, ударная, полная революционного гнева. Но она же,
выросшая в гражданской войне, не атрофировала в себе и простых человече-
ских эмоций, не утратила органов восприятия тех звуков, которые дают
всякому поэтическому творчеству его человеческую сущность — лирику.

Бунтари, восставшие на прошлое, ведущие на баррикады в бой, проповеду-
ющие разрушение старого мира, в туманностях прозревающие новые миры,
пролетарские поэты, перефразируя слова Вл. Кириллова, в то же время видят
чуждое в каждом взоре, в сиянии звезд и дуновении роз. Биенье человече-
ского сердца они соединяют с движением солнца, с кружением планет.

Своей личностью, вкованной в гранит городских площадей, отли-
чается талантливый поэт из группы «Кузница» Сергей Обрадович (см. его
книгу «Город», изд. писателей «Кузница», 1923 г.). Труженик с дет-
ского лет, житель городских окраин, «обожженный Октябрьским гневом»,
вместе с другими пролетарскими поэтами «трубит рупором восстания», уйдя
из тихой гавани в огонь борьбы. В его революционно-боевых звуках есть
еще некоторая ненайденность высшей художественной формы для более твер-
дого и четкого выражения революционной воли, ведущей на баррикады, но
нет у него и самого опасного для всякого поэтического произведения — это
холодной риторики, книжной выучки, безжизненной напыщенности, шагаю-
щей на хорошо сделанных ходулях. В художественных претворениях своих
чувств, налитых гневом и криком победы, Обрадович не везде одинаков, но
эту художественную неодинаковость испускает и оправдывает внутренняя
зволнованность, та сумма тяжелых переживаний в прошлом, которые и его
заставляют крикнуть голосом бунтаря, не желающего сменить «борьбу и
радость достижения на тишь степную». На поэтических произведениях Серге-
я Обрадовича лежит печать глубокого раздумья, глубоко запятой грусти,
которую он как бы стыдится показывать в дни боевых революцион-
ных ударов, но которая так скромно и искренно, помимо его воли, выби-
вается застенчивым подснежником. И это для Обрадовича — не случайно,
не временно: в этом его основная поэтическая сущность. Проведший дет-
ство на помойках, около чертополоха, рожденный осенью в глухую ночь,
когда пел и плакал пьяный отец и мгла была черной плахой, поэт очень рано
почувствовал в себе протест против социальной неправды, не давшей ему
светлых дней. Уже потом, подрастая и осмысливая мир, он собирался, как
пеленки, сорвать со своих плеч отцовскую ношу, бросить крик в беззаборную
синеву. Обращаясь к черному Спасу в переднем углу, поэт горячо говорит:

О, ненавидел тебя я,
Черный, угрюмый Спас:
Лишь пред тобой родная
Плакала в поздний час!

Здесь, в четырех коротеньких строчках, показана целая трагедия
матери, погибшей в старых бытовых укладах жизни, из которых не было
выхода кроме как к угрюмому Спасу, перед иконописными глазами которого
изо дня в день и проходила эта трагедия женщины-матери, женщины-работ-
ницы, выброшенной городом капитала на грязную, пьяную окраину. Часто,
охваченный тоской тяжелой жизни, где сквозь угар и ругань виделся только
образ застывших мук, поэт уходил в поля, и там его сердце сонным покоем
ковала земля. Но чувство протеста не умерло в нем, не убила его полевая
тишина. Всему «есть срок. Смят бурей, на панель падет росток — и вздрог-
нет с болью город. И чад рассеется и стихнет гуд».

В трудовой колымбели
К сроку в набатный звон
Юные думы созрели.

Сергей Обрадович любит город труда, любит завод и фабрику, токаря
и ткачуку, фонарщика и плотника, пишет для них задушевные стихи, полные
живого, непосредственного чувства весенней радости. В своей несколько

преувеличенной любви к городу он даже отрывается от деревни, глядящей на него убогими глазами; но не верьте его искреннему самообману. Он так же крепко носит в себе вековую скорбь от вековых морщин глухих деревень, как и знакомую с детства печаль городских подвалов. Только человек любящий и глубоко чувствующий мог написать такие волнующие строки:

Лачуги — странички убогие
На лежачем пути,
Застыли средь сугробов вдоль дороги,
Раздумывая, как пройти.

Поэт не преувеличил современной деревни. Она еще стоит на пути и думает, как пройти в город, где «синеглазая окраина на злую силу меч куёт». Но и у нее «в борьбе необычайной есть проба ж д е н и е» (курсив Образовича).

Когда просматриваешь книгу стихов Образовича, все больше убеждаешься в его внутренней раздвоенности между лириком одиночного раздумья и «стальным» певцом городских площадей. Его революционный удар менее выделяется с своим звуком из общего удара пролетарских поэтов, нежели чистый непосредственный звук его лирики. Если в стихах других пролетарских поэтов чувствуется иногда безудержный бег в самую гущу революционной битвы, если в них также преобладает радостный крик прозреваемого будущего, идущего на смену старому, то у Образовича — опять-таки момент размышления, момент более спокойного анализа совершившегося, пройденного. Вот, например, твердые, массивные строчки из стихотворения «Кронштадт»:

Но призрачную тишь еще не раз расколет
Зов Совнаркома, и в тревожный час
Еще не раз за подписью Раскольникова
Получит военмор приказ.

Даже описывая революционные бои в Москве, Образович исходит из момента наблюдения, из пересказа о том, что было, и спасает его от холодной рассудочности только внутренняя боль, которую он носит в себе, та глубокая человеческая скорбь, которой не видел иконописными глазами черный, угрюмый Спас.

За годом год и бои, и позора.
Скля смутные твои битвы,
Звенели золотом соборы,
Чернели виселицы, кнуты.
Сочилось небо жуткой рваной раной
Над обессиленной Москвой;
Как призраки, дома во мгле туманной
Топаются ушей пустою...

В стихах, посвященных городу, поэт не однажды посылает горький упрек городу прошлого, где было только «детство тусклое в лохмотьях и рахите, и плесени цветение в углу, и чей-то бледный взор, и чей-то крик в граните сквозь копошащую мглу». Но, когда город рабочих восстаний «октябрьскою страницей двадцать пятой» открыл книгу нового Бытия, когда поэт почувствовал мощную силу рабочих окраин, вскидывающих «грядущему мост», он, отойдя от своих размышлений, радостно воскликнул в революционном порыве:

Кренчает, братцы, сила,
Еще разок натрем.
Жар-птица мир накрыла
Пылающим крылом.
Отравленный тоскою
Сомнений и тревог,
Откликнись, кто душою
В дороге изнемог.

Этот призыв к радости после черных дней особенно характерен для Образовича. Немножко скептик, он не верит в долгую, постоянную радость и встречает ее случайно: или на запыленной окраине в голубой весенний май, где девушка-работница с толпой под знаменем шла впереди с песней и с вездикой ранней на груди, или в мастерской молодого токаря, где «журчат ручьями, переключаются ремни».

Короток день: промелешат, как мыши,
Часы вечерне и сентябрь.
Сойдутся сумерки толпой неслышной
И робко встанут у дверей.

Борьба еще не окончена, радость еще только ласточкой бьется у раскрытого окна, и рабочий в сумеречный вечер, покидая дремлющий завод, «с голубиной лаской встречи любимую ждет у ворот». А завтра по дороге в бой будут они с своей подругой вспоминать и вечер, и апрель, над блузой стихшее монисто и отзвучавшую капель. Завтрашний день увидет молодого токаря на баррикады, заглушит в нем музыку любви криком гнева, и увидим мы его уже не у заводских ворот и не в мастерской, где «магнитные огни цветут», а с крепко сжатым винчестером в мертвых руках. Снова тяжелая боль, сочащаяся рана, да

Над ребрами баррикад —
Спокойно каркающий ворон.

(Стих. «1905 г.»).

Коротка, недолга весенняя любовь, коротка, недолга радость, и эту вот недолгость, эту короткость, уходящую и рассыпающуюся, как хрустальный звон, и несет так тонко чувствовать, непосредственно передавать Сергей Образович.

... Звенит и брызгают лучами
В окне воркующие дни...
... Звенит червоный лист осины
Дорожными дагами бубенцов...
... Малиновыми перезвонами
Звучит лучистая игла...
... Вечер смуглолицый
Подковой луной прозвенел...

Звон звезд, шепоты простора, чуть слышное вздрагивание сонного города, переклик ручейков, взволнованное кипенье дум и ночь, роняющая на черную дорогу первую звезду, — все пережитое, вошедшее через сердце, берегущее короткую радость, — более раскрывают в Образовиче его сокровенное, его собственное видение мира, ибо во всем этом его сущности, его настоящее лицо художника.

А. Неверов.

(Из журнала «Прожектор», № 12).

А Т А К А

Стих горю в корчах за окном.
 Ночь. Госпиталь в бреду ночном.
 В атаку мы пошли с утра...
 Чуть розовели облака.
 Доверчиво ласкали взоры
 В короне снежной вражки горы.
 Перекрестила грудь рука.
 В атаку мы пошли с утра...
 Пел жаворонок о весне...
 Сжимая судорожно штык,
 В тумане, как в бреду, шагая,
 Невесту вспомнил я. Лаская
 Воспоминанья и мечты,
 Пел жаворонок о весне.
 Журчал ручей. Цвела земля.
 В тумане целью шли вперед.
 И враг заметил: зазвенели
 Осенним журавлем шrapнели,
 Затарааторил пулемет,
 И задымилась земля...
 Казалось, поле было бездной,
 И в вихре бега, сквозь огонь,
 Хрипело поле в дымном вязе,
 И кто-то в жуткой красной маске
 Тянул молящую ладонь
 Из огненной и черной бездны.
 И задыхаясь, извиваясь,
 Рвал и глушил звериный крик
 Летит молитв, воспоминаний,
 Все, что в удушливом тумане
 Искрилось в памяти на миг.
 И задыхаясь, извиваясь,
 Не знаю я... не помню я—
 До «них» я первым добежал,
 И первым был у пулемета,
 С разбега штык вонзил в кого-то

И близко кто-то простонал...
 Не знаю я... не помню я...
 Все пережил, как черный сон...
 Очнулся... ранен... Встать не мог...
 Мне шею жали крепко руки;
 Перед лицом застыло в муке
 Лицо его... В глазах упрек...
 Все пережил, как черный сон...
 В глазах—упрек... лицо в крови...
 И с ним я до второй зари
 Лежал средь трупов позабытый,
 Его руками перевитый...
 Товарищ! вот он! вот! смотри!!!
 В глазах—упрек... Лицо в крови...
 Все тот же тусклый взор и бред...
 Кровь на руке и на штыке.
 И на руке, сквозь кровь, мозоли
 Труда, и будней, и неволи,
 Всего, что и в моей руке—
 Тяжелой черной горстью лет...
 Атака за атакой вновь...
 Вновь саван строчит пулемет...
 Пожары веют дымной гривой.
 Вновь окровавленным разрывом
 Шrapнел лазурь глухую рвет.
 Атака за атакой вновь!
 Смотри: в огне—как вихрь она!
 И взор ее и дик, и пьян...
 Земля в крови... В руке послушной
 Все ближе штык над язвой ран...
 Эй! Бей отбой! Так болно!!
 Душно!!!
 Душно
 За вздрагивающим окном
 Металась ночь в бреду больном.
 (Карпаты 1916—17 г.г., из книги «Го-
 род», «Кузница» 1923 г.)

ИЗ КНИГИ «ГОРОД»

В полночь осенью мать родила,
 Пьян отец был, — и пел, и плакал.
 Осень трезвошила во все колокола,
 Мгла была черною плахой.
 Заворчался сонный дом:
 Был мой крик торжествующе-звон-
 нок.
 Говорят—смеялись жильцы с отцом,
 Как срывал я тряпье пеленок.

Не качали ручьи полей,
 Не от солнца я, не от бора:
 Как запыленный воробей
 Билась жизнь моя под забором.
 И лохматый, цепкий, всегда наго-
 тове,
 Недоверчиво и зло
 Долго на жизнь мою хмурил брови
 С помойки чертополох.

Я шептал ему, что отцовскую ношу
 Как пеленки с плеч сорву,
 И крик из гранита брошу
 В беззаборную синеву.

Он в туманах сгнил и зачах;
 Жизнь моя затерялась в толпе,
 Жизнь моя затерялась в ночах,
 Чтоб о солнце звенеть и петь...

(Стр. 11).

* * *

Вспомнилось...
 Сумрак. Угол.
 Плесень. Верстак. Паук.
 И сквозь угар и ругань—
 Образ застывших мук.
 О, ненавидел тебя я,
 Черный угрюмый Спас:
 Лишь пред тобою родная
 Плакала в поздний час.
 Улица—зверь многоногий—
 Жутко урчит с утра;
 Ночью вползает с дороги
 В окна безглазый страх.
 Часто, охвачен тоскою,
 Я уходил в поля:

Сонным ковала покоем
 Сердце мое земля.
 Ранней зарей из подвала
 Вызвал заводский гуд:
 Каплями—потной и алой—
 Благословил я труд.
 Ржавыми шестернями
 Жалобы той же тоски,
 Долгими тусклыми днями
 Мерила жизнь гудки.
 Но в трудовой колбасели
 К сроку в набатный звон
 Юные дуны созрели.
 Там и мой стих рожден.

(«Город», стр. 36. 1918 г.)

СТИХИ О ГОЛОДЕ

1918

Трава, как плесень в мостовую
 улиц.
 С утра, с дрожачими ладонями,
 С изгладанным цынгуо ртом,
 Поступью жуткой разгудивая,
 Проходит голод городом.
 А вокруг—двери с петель сорваны,
 В черных язвах окон копошащейся
 вошью тиф.
 Над городом дни, как зловещие
 вороны
 Над умирающим в пути.
 В небе схваткой костенеющей
 Над заводским ржавым корпусом
 кран.
 Как вцепившиеся в тучу клещи,
 Чтоб солнце выдрать окраинам.
 По ветру с утра рудой
 митингуешого

Бьется со стен полусодранный
 плакат.
 Кто-то на углу брызжет яростью
 в Грядущее,
 Кто? любимая? друг? брат?
 Кто-то безумный, кому-то мстящий,
 С хохотом и злом
 Солнце, в лужике искрищеяся,
 Затаптывает сапогом.
 И слышу—сквозь крик базарный
 и грубый,
 За стеной, беспечный, как ручей
 и весна,
 По складам читающие губы
 Разучивают Интернационал.
 И вечером, за разобранным забором,
 За худым окном, не так страшна
 С голодом и городом
 Шамкающая тревогой тишина.

(Из книги «Город», стр. 98).

ЗАВОД

Полгода, скованный покоем
И холодом бетонных стен,
Молчал с глубокою тоскою
Над ржавчиной железных тел.
В тумане дней тревожных брошен,
Застыл, подслушивая, как
Октябрь промокшего подошвой
Волочился на площадях.
И дни брели глухой походкой
По настороженной земле.
Манометр цепенел над топкой
На холодеющем нуле.
Лишь тишь машин, заводской
лишь гулу

Прохаживаясь не спеша,
Будили стуком колотушек
Полуночные сторожа.
Зимой же вьюга, снежным комом
В забитые ходы стуча,
Рвала приказы Военкома
С морщинистого кирпича.
Стоял суровый, многодумный,
Покорный году, нем и глух...
Все чаще над станком бесшумным
Стальные сети вил паук.

ОГНЕННАЯ ГАВАНЬ

Нам—город—огненную гаванью,
Где мысль—под выпелом борьбы.
А сердце—кораблем толпы
По окровавленному камню.
В ту гавань сердце билось ошупью
На шорох предгрозовых слов.
Надежда лодчаном и веслом
Была бездонной дикой ночью.
И вот— в толпе. Над пенной
площадью—
Знамена... зарево... заря...

II.

И вот, однажды, в день весенний,
Запоры сбросила рука,
И, с свистом взвизг, приводы вспенил
Победный бег маховика.
Полгода голодом и мором
Был обессилен, мертв и... вдрут
Гудят моторы за мотором
Под взмахами сердец и рук.
Вновь огненные рельсы режут
Зубами пил и там, и тут.
И там, и тут под крик и скрежет
В поту, в чалу, куют, куют...
Чугунные дрожат стропилы:
Был с каждым взмахом крепче
взмах;

И о победе пели пилы,
И над вагранками меха
Подлакивали впопыхах.
Вновь полон неумным звоном,
Над знойным гулом площадей
И над вздыхающим бетоном
Был улыбающийся день.
Раскованный рукою жаркой,
Завод, сжигая немощ лет,
Встал торжествующий и яркий
Весенним солнцем на земле...

(«Город», стр. 139).

(«Город», стр. 145).

ИВАН ФИЛИПЧЕНКО

Род. в 1887 г. в семье крестьянина Саратовск. губ. Балашевск. у. Много занимался самообразованием, посещал университет им. Шанинского. Много читал поэтов, начиная с Ломоносова и кончая Горьким, Бальмонтом, Брюсовым, Верхармом, Уитменом. Писать начал с 1910, а печатать с 1913 г. В тюрьме сидел в Ростове-на-Дону и в Царицыне в 1908 и 1909 г.г. Работал в переплетных мастерских с 1907 по 1912 г.

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ О КНИГЕ «ЭРА СЛАВЫ»

Автор «Эры Славы» позаботился сам представить себя читателям. Эпиграф к книге: «Класс мой великий, пролетариат мировой, алый», посвящение: «Себя коллективу», первая же страница, где объявлено: «Это — двери в храм Великой Демократии», наконец признание: «Я — простой рабочий» и т. п. — все это освобождает от обязанности рекомендовать молодого поэта.

Но читатели на тех же первых страницах найдут и иные, более ответственные признания:

Я не только Иван Филипченко, я — пролетариат,
Я святого безумья буйный и дерзкий набат.

Поэт говорит о своей книге: «запомни эту библию библий», и еще: «моя книга тебя всемогущим, всеущим и вечным сделает», и о себе самом кесть у меня сердце Прометея, грандиозный пожар святого безумья» и т. д. Такие заявления автор предисловия должен обойти молчанием: пусть пролетариат сам решает, признает ли он Ивана Филипченко своим воплощением.

Наша задача — скромнее. По нашему убеждению, прежде чем быть поэтом пролетариата, надобно быть вообще поэтом. И мы читали стихи Ивана Филипченко именно как стихи, искали в них прежде всего — поэзию.

Многое в стихах «Эры Славы» напоминает хорошо и издавна знакомые страницы. Так, в ряде стихотворений слышится голос Уота Уитмена (слова: «Слава тому, кто на стройке...», стр. 26, перечни: «Города прекрасной Европы, Нового Света, Америки», стр. 50—51 и др.); в других — голос Эмиля Верхарна («Города», стр. 86, «Биржа Труда», стр. 100 и др.); в третьих — отголоски Ницше («рабочие сверхчеловеки», стр. 12, Заратустра, стр. 140 и др.), А. Фета («святое безумье», стр. 8, 10 и др.), К. Бальмонта (пимны стихиям), А. Блока; еще в других перед читателем — привычный арсенал поэзии романтической и старо-классической, вплоть до образов из греческих мифов (Прометей, Олимп, фурии, Иллада, Одиссея) и библейских легенд (Голгофа, Хорив, видение Езекииля). Наконец, и самая форма стихов Ивана Филипченко носит несомненные следы влияния тех же поэтов, — все равно, непосредственного или полученного через вторые руки, — а также Андрея Белого и некоторых из наших футуристов.

Однако, все это отнюдь не должно быть поставлено в укор молодому поэту. Иного пути к новому, как от старого — нет, хотя бы через отметание этого старого. Все мы непременно чьи-нибудь «ученики» и только через ученичество становимся сами собой. Всякая культура, в том числе рождающаяся, пролетарская, должна быть связью настоящего с прошлым, ибо культурный народ тем и отличается от дикого, что сохраняет опыты прошлых веков. Новое поколение поэтов, которое хочет создать «храм Великой Демократии», может это сделать при условии, что усвоит себе до-

стижения поэзии старой: оно возьмет из нее — пригодное, отбросит — лишнее, но раньше всего должно овладеть — сделанным, чтобы не искать вторично — уже найденное. Поэтому Иван Филиппенко был прав, избрав своими образцами поэтов, достигавших в свое время вершин словесного творчества.

Пусть молодой поэт заблуждается, переоценивая совершенное им; такое самообольщение юности, возможное принимающей за исполненное, вызывает скорее сочувствие, чем укор. К тому же, в признаниях случайных, рассеянных там и здесь, молодой поэт уже иначе смотрит на свою поэзию. Эта книга — «отдельные звуки единой симфонии, мною творимой», пишет он; в другом месте: «Я былинки сложду, я сказанья скажу», и еще: «Одиссею спою, Илиаду». Может, благогазнее было бы Ивану Филиппенко, в своей первой книге, везде довольствоваться таким будущим временем. Но «благогазнее» не к лицу молодости и силе, и все гордые заявления молодого поэта должны принимать как обещания, которые будут впоследствии оправданы. Не забудем, что «Эра Славы» — книга начинающего; когда она окажется первой в ряду других, многое, что в ней сейчас кажется неубедительным, станет, быть может, необходимой частью целого. О заложенном фундаменте правильно судить можно будет лишь тогда, когда будут возведены стены и закончен купол.

Важнее обещаний то, что уже выразилось в творчестве автора. Есть такая, почти неопределимая словами, печать на стихах, которая позволяет утверждать: это — стихи поэта. Такой печатью освящены страницы «Эры Славы». Там — картина природы, взятая не банально; здесь — энергичный стих, никем не подсказанный; тут — мысль, нашедшая свое полное воплощение в слове; тут — самые звуки слов, являющиеся верным дополнением образа: всего этого достаточно, чтобы оправдать первую книгу поэта. Конечно, пророчествовать о будущем — дело мудреное. Быть поэтом значит — иметь перед собою открытый путь; от самого поэта зависит — развить свой дар, выполнить свои обещания, стать воистину «поэтом пролетариата». С другой стороны, за свою 30-летнюю литературную жизнь мы немало видели на небосводе русской литературы быстро и ярко вспыхивавших звезд, которые потом столь же быстро погасали и только долго тлели бледным ответом... Хочется верить в лучшую судьбу молодого поэта, тем более, что его первая книга позволяет это. Пушкин приводит восточную посылку: «Благослови день, когда встретишь поэта». Тем более радостен день, когда можешь приветствовать первую книгу нового поэта.

Валерий Брюсов.

Декабрь 1918.

(Из заметки В. Брюсова, помещенной «как предисловие» в книге И. Филиппенко «Эра Славы».)

СЕБЯ КОЛЛЕКТИВУ.

Класс мой великий, пролетариат мировой, алай, с любовью тебе эта книга.

Ты открыл страницу,
Это двери в храм Рабочей Демократии
И мое жилище, поэта Ее, провидца, витии.
Так войди, товарищ,
Мы оба свои, лиц вечных светлые лица.

Эта книга —
О Демократии Грядущей вселенской,
О сегодняшнем пролетариате багряного сдвига,
Кто поклялся клятвою Ленской,
Кого скоро весь мир назовет властелином
Со взором орлиным.

Ты не мало знал
Великих искусников слова —
Поэтов любви, человеческой скорби,
Обличителей пламенных рабской горби:
Певцам всех стран эти чувства песен основа.
Но мои поэмы — Демократии,
О Ее труде, величьи и мощи суровой,
Беспредельной, как дали самой России.

1918.

ТКАЧИ.

Как солнца мечевидные лучи
Весною вечно землю в зелен рядят,
И лес листвою, какой был убрал прадед,
Так мир людской вы радите, ткачи.
Вы — человечества святые ловкачи.
Травую тканей крася дней години,
Как пауки, вы ткете паутины
Под сводами, во тьме углов, — ткачи.
И цвета юда зданья, точно туши,
В три этажа запрятав потроха,
Метнули горла ввысь в агонии коклюша
И судорог:

— Кха-кха, кха-кха.

То фабрики, где сотни тысяч рук,
Как ветки на стволах в минуты бури,
То ткацкие места железной хмури
Станков стальных...

— Тук-тук, тук-тук.

Они огородили города,
Как сумрачная, грубая орда,
Стеною зданий, частоколом труб,
С дыханьем черным по заре заката
И криками благого мата
Их дымных ртов без губ.
И дни и ночи светятся их окна,
И дни и ночи тянут там волокна,
Там нити тянут, нити ткут.
Ряды станков, станков железных табуны,
Станков стада,
Дрожат они, дрожат, как от слепней весны,
Нервно машут членами туда-сюда,
Под странный вой, жужжанье, звонкий перестук.

Тук-тук, тук-тук,
 Тук-тук, тук-тук,
 Тук-тук, тук-тук.
 О, табуны, вам холки, спины
 Покрыли бархаты, парчи,
 Шелка, атласы и муслины,
 Как попоны, епанчи!
 Их склоненно,
 Их бессонно
 Ткут ткачи, ткут ткачи.
 Вот они —
 Эти толпы молчанья, суровости,
 Над станками склоненные ночи и дни,
 Тканям рассказывают свои повести,
 Ниткам нашептывают свои сны,
 Ниток руками касаясь,
 Каждой, точно струны,
 С каждой бережно маясь,
 Как с бороздой новины.
 Точно сеятель в борозды вспаханной пашни
 Из лукошка бросая пшеничные зерна,
 Так в нитки и ткани невзгоды вчерашние
 Бросайте из сердца, из жаркого горна.
 И ткани зашепчут на белых плечах пресыщенных,
 Драгоценные ткани муслинов, шелков и парчей.
 О доле ткачей,
 Над станками склоненных.
 Будут шептаться, шелестеть, раздираясь, кричать,
 В вихре бального танца, за молитвой во храме.
 В час раздумий, страсти на полных кроватях.
 Будут сердца раздражать,
 Будут жутко рыдать,
 Не давая уснуть в обнаженных объятьях,
 Шевельнуться, как в тягостной раме.
 Будут плечи крутые давить
 И прекрасные, зноем палящие чресла,
 И груди, бесстыдно поднявшиеся надобы, любить.
 Ни одна, ни одна не исчезла
 Ваша капля
 Крови и пота,
 Боли, заботы, —
 И стоит, как в воде над жабами черная цапля.
 Знаю, в каждом селе, деревне и хате
 Стучат и стучат
 Станков деревянных несметная рать,
 Ткут грубые ткани без найма, оплат —
 Для себя и своих.
 И часто у этих ткачей и ткачих
 Из пальцев, порезанных нитками,
 Струйками жидкими
 Капают кровь на полотна,
 Так невинно и так беззаботно —
 От поры до поры.

И гудят города, как миры,
 Дымно-красными горлами труб,
 С раскрытыми ртами без губ,
 Стучат бесконечные села, деревни и хаты, —
 И эхо, как птицы, крылато,
 Кружит над страной,
 Над всей землей,
 Как над великой фабрикой бога.
 И как много, как много
 Уж выткано тканей на все нужды, запросы!
 Куда их, куда?
 Отовсюду и всюду влачатся обозы,
 Бешено мчатся ветрами в полях поезда,
 Кладовые горят сверканьями тканей,
 Батистов, атласов и ситцев простых
 Для желаний живых,
 Может быть, для великих желаний.
 И чем мы стремительней ткем,
 От алой зари до зари алее,
 Тем будем оборванной, будем голее,
 Тем скорее нам безработицы лом
 Поломает спины,
 Тем скорее умрем
 У недвижной машины.
 Ткачи, ткачи,
 Мои вы товарищи!
 Занимаются зарева, далее пожараща, —
 То встает наше Завтра, бросая по небу лучи
 Как медные трубы.
 О, взвеем на наших знаменах эти ткани,
 О, развеем на всех перекрестках,
 Путь и дорогах каменистых и жестких,
 Да итти Ему было бы любо.
 Расстелим заране
 На версты и мили
 Все, все, что скопили.
 Вижу наше Завтра, как пурпурный флаг,
 Вижу Его первый шаг,
 Разбег, размах без запинки, сомнения и риска.
 О, как близко оно, как близко!

(«Пролетарский сборник», книга первая).

Г. САННИКОВ

Из г. Ярацка, Вятской губ. Род. в 1899 г. Отец ремесленник—санник. Окончил городское уч., дополнил знания самообразованием. Слушал лекции в ун-ве. им. Шанни-ского по историко-филол. циклу. В отрочестве увлекался поэзией классиков—Пушкиным, Лермонтовым, Баратынским, Некрасовым, Тютчевым. Писать начал с 15 лет, а печататься с 17 года. Участв. в револ. движ. в 1916 г., в РКП с марта 1917 г. С 18 по 21 г. был в Красн. армии. Окончила литерат. студию пролеткульта в моск. прол., под руководством Андрея Белого. В своем творчестве он обнаружил склонность к литературным и оригинальностью и самостоятельностью не отличается: так, например, его «Поэма о собаке» — пересказ рассказа Н. Н. Ляшко, его поэма «Лешинида» — пересев «Ночного смотря».

Революционный марксист мог бы дать больше, чем подражание балладе, говорившей о том, как «в двенадцать часов по ночам из гроба встает император...» Гробовой подкол возмущал даже современников Жуковского, которого называли «лядьякой ведем и чертей»... Лермонтов в своих балладах пошел по следам Жуковского. Ну, а Санников—по следам обоих. Вместо живого образа вождя он, подобно зидорского, вымывает призрачную тень. Феодално-средневековую форму нельзя находить счастливые выражения образов пролетарской революции. Для монументальных тем автор «Кукушки» пока не дорос. Зато в небольших своих стихотворениях он умеет находить счастливые выражения и образы; этому его научили имажинисты с их подчеркнутой образностью.

КУКУШКА

Кукует в кузнице кукушка
И по чугунному станку
Кует унылую чашку—
Ку-ку, ку-ку...
Лучится утро чистой сталью,
Звенит и вторит молотку.

И тонет звук в глубокой дали—
Ку-ку, ку-ку...
И скучу звонкая подружка
Хоронит в кущах на току...
Кукует в кузнице кукушка—
Ку-ку, ку-ку...

1919 г.

ЛЕБЕДИНЫЙ ПУТЬ

Не забыть лебединого дня
И заводских гудков молитвы.
Ты по первому снегу меня
Провожала к метельным битвам.
Трубы клубили дым,
Унося к высоте синевой.
А над городом голым, седым,
Лебедий хлопья ваты.
Закоптелые крыши домов
Покрывались саваном белым.

Ты меня без прощальных слов
Провожала к подвигам слезам.
И мой путь был далек и тих,
Пропадал в синеве мороза.
Почему же в очах твоих
Измученно блеснули слезы?
Не забыть лебединого дня
И заводских гудков молитвы.
Ты по первому снегу меня
Провожала к метельным битвам.

Н. ПОЛЕТАЕВ

(Родился в 1889 г.)

ДВЕ ЖЕНЫ

Бывает:
Заплет человек,
И такая кутерьма подымается
У него в голове,
Что в отчаяньи, по пьяной злобе,
Лампой морду жене разобьет
И сидит в темноте, как в гробе,
И еще отчаянней пьет.
И в такую страшную минуту,
Когда смерть все видней, ясней,
Варуд все муки его минуют,
Варуд приходит черед весне.
В эту жуть, пропахшую водкой,

В фосфорирующую эту гниль
Входит другая робко,
Зажиная во тьме огни.
Будто пыль цветочная летом,
Будто на море яркий день,
Таким теплом и таким приветом
Ясные глаза на жестком льде.
И волосы его перепутанные
Расчесывает золотым гребнем,
И в глаза его перепутанные
Сматривает целебно.
И вот взял бы он, скомкал бы, бро-
сил бы

Эту солнечную благодать
Золотой цветочной россылью
На лохмотную свою кровать.
Да уж очень легка, бесплотная,
Да уж очень ярка она,—
Не такая, как крепкая, потная,
Заутюженная его жена.
И под утро, похмельем скомканный,
Не похожий ни на что на свете,
Он словами самыми громкими

Говорит ей о хлебном лете.
Он о ржах говорит сверкающих,
О своем говорит могуществе,
Будто солнце горит играющее
На оборванном его имуществе.
И до вечера, пока не свалится
Вновь в свои обманные сны,
Он целует корявые пальцы
У настоящей своей жены.

ДОМОЙ

Жарой и камнями измученный,
Я вдруг обрадовался так:
Навален лист сырими кучами
И тротуары все в цветах.
Наш переулочек словно в золоте.
Домишко драный вырос вдруг,
Он будто выравнялся в холоде,
В борьбе с привычной этой сыростью.
А вечер загремит гармоньями.
Собачьей гавкнет переключкой.

А я спросонья, будто в тон ему,
Ожгу сырую темень спичкой.
Люблю я с детства дрожь осеннюю
И темень в нашем переулке,
Когда, брызгливый и рассеянный,
Дождь—слезливо барин на прогулке.
Всему здесь—как ребенок—радуюсь.
Привык я жить на крепком сафуре.
Люблю я золоту и радость
На каждом кривобоком дереве.

ПЕСНЯ О СОЛОВЬЯХ

Апрель окреп и потонул в лучах
И бьется голубем ко мне в подвал,
А я хочу вам спеть о соловьях,
О соловьях, которых не слышал.
Но только двор и синевы кусок,
И грязь цветет, и в золоте ручьи,—
По ним мальчишкой гнал я корабли,
Гнал на коденках, не жалея шек.
И ночью плыл большущий мой

И под этою под синевой
Только рожь—золотым ковром.
И потом, когда волосы мать
Расспила дождем по плечам,
Золотилась рожью кровать
И подвал обивался в лучах.
Вырос я и послушен гудку,
Только ночью жгут губы дня маяту,
Да вверх по тому же кусту
Звезды горсткой сверлят темноту.
На двор ея? Нет, в темном пахучем
саду;

А я в песках, я на коне скакал,
И утром плесень—солнечная рябь,
И утром не гудок гудел, а выл
шакал.
Послушно шли большие на тот вой,
А я к ручьям на двор, на грязь
в цветах.
Но это все опять о мостовой...
Ведь я хотел вам спеть о соловьях.
Это раз, но было со мной.
Синева разгорелась кругом,

Полон он соловьев и гремешего сна.
Я в доспехах сверкаю, я рыцарем
с нею пройду.
Не помойкой—розами душил весна.
Вот почему, когда в окошко сеть
Втнула голубя ко мне в подвал,
Мне хочется о соловьях вам спеть,
О соловьях, которых не слышал.

ДОЖДЬ ИДЕТ

Пусть дождь идет. Пусть листья
мокнул зябко,
На мостовой желтея в смутной
сне,—

Уйду в подвал, чтоб там в дыму
и тряпках
Сплетать венки из песенки весне.
А дождь идет, идет и ваксит шляпы

Седеет в брызгах сбитый тротуар.
Уйду в подвал. Его гнилые лапы
Так ласковы и так пахуч угар.
Как дорога мне, как цветиста
плесень

На потолке и по углам дыры!
Я помню, здесь мальчишкой
куралесил.

Вон самовар, он пел мне про мира.
Он распевал, а я с княжной Мери
В горах, в черкеске, с саблей, на
коне.

Он пел и пел, а я с Жюль Верном
море мерил.

С расколбиками жарился в огне.
Вон там, в углу, где запах от
лохани,

Где пол гнилой—цветной и мягкий
мох,
Кириллов по ночам глухие брани
Со смертью вел, немой и черный
бог.

Как поблднели, потускнели лица
Божков моих! При лампе оживут.
То не метель, что за окном

кружится,
Метель тиха и надрывает грудь.
.....
.....

Все дождь идет и все в груди
колотье,

А люди вьзнут в паутине злой.
Уйду в подвал, зарюся в лохмотья
И буду бредить, буду жить весной.

В. В. КАЗИН

Родился в Москве, в семье ремесленника-водопроводчика, в 1898 г. Окончил реальное училище и литер. студию Моск. пролетк. под руков. А. Белого. Писать стал с 1914 г., печатать с 1916. С 1917 г. участвует в Комс. движении.

* * *

Стучу, стучу я молотком,
Верчу, верчу трубу на ломе —
И отговаривается гром
И в воздухе и в каждом доме.
Кусая ножницами я
Железа жесткую краюшку,
И ловит подо мной струя
За стружку другую стружку.
А на дворе-то после стуж

Такая же кипит починка!
Ой, сколько, сколько майских луж—
Обрезков голубого цинка!
Как громко по трубе капель
Постукивает молоточком,
Какая звончатая трель
Гремит по ведрам и по бочкам!

(«Рабочий май», стр. 7)

КАМЕНЩИК

В. А. Александровскому

Бреду я домой на Пресню,
Сочится усталость в плечах,
А фартук красную песню
Потемкам поет о кирпичач.
Поет он, как выше, выше
Я с ношей красной лез,
Казалось, до самой крыши,
До синей крыши небес.
Глаза каруселью кружило,

Туманился ветра клич.
Утро — тоже взносило,
Вносило красный кирпич.
Бреду я домой на Пресню,
Сочится усталость в плечах,
А фартук красную песню
Потемкам поет о кирпичач.

(«Рабочий май», стр. 10).

НЕБЕСНЫЙ ЗАВОД

И высок, и широк
Синекаменный завод.
Чу! Порывистый гудок
Пыльным голосом зовет.
И спешат со всех концов
В толстых блузах закопченных
Толпы мощных кузнецов,
Ветровым гудком сложенных...
Все темней, темнее высь.

Толпы темные сошлись
И проворно
Молний горна
Душным жаром
Разожгли
И раскатиستم ударом
Ширь завода потрясли.

(«Рабочий май», стр. 11).

* * *

Живей, рубанок, шибче шаркай,
Шушуйкай, пой за верстаком,
Чеши тесину сталью жаркой,
Стальным и жарким гребешком!
Ой, вейтесь, осыпайтесь на пол
Вы, кудри русые, с доски!
Ах, вас не мед ли где закапал:
Как вы душисты, как сладки!
О, помнишь ли, рубанок, с нами
Она процокала спеша,
Потраживая кудрями
И пышно стружками шуруша?
Я в то мгновенье острой мукой

Глубоко сердце занозил,
И после тихую разлукой
Тебя глубоко запылил.
И вот сегодня шум свиданья —
И ты, кудрявьясь второпях,
Взвиваешь теплые воспоминанья
О тех возлюбленных кудрях.
Живей, рубанок, шибче шаркай,
Шушуйкай, пой за верстаком,
Чеши тесину сталью жаркой,
Стальным и жарким гребешком!

(«Рабочий май», стр. 16).

ГАРМОНИСТ

Было тихо. Было видно дворнику,
Как улегся ветер под забор
И позывал... И вдруг с гармоникой
Гармонист вошел во двор.
Вскинул на плечо ремень гармоника
И, рассыпав сердце по ладам,
Грнул — и на полонкиках
Все цветы поплыли по лугам.
Закачались здания кирпичные,
Далью, далью опьянясь,
Ягодами земляничными

Стала сладко бредить грязь.
Высыпал народ на подоконники —
И помчался каждый, бодр и бос,
Под трезвонами гармоники
По студеному раздолью рос.
Почталов пришел и, зачарованный,
Пробежав глазами адреса,
Увидал, что письма адресованы
Только нивам, да лесам.

(«Рабочий май», стр. 20).

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ

(Род. в 1896 г.)

ЗА ФУРОЙ

Поголубел дымок весенний,
Льет ливень солнечный в овсах,
По небу баржи с синим сеном
Плывут в лазурных берегах.

Шагаю медленно за фурой,
В сусальном золоте шоссе;
Давно у лошадей понурых
Тоскуют ноги по росе.

Порой попутно тянешь грудью
Бальзам пахучих тополей;
Клубком свернувшись, ветер трубит
В пробор причесанных полей.
На долгих нотах телеграфа
Крючками виснут воробы;

Весь путь колеса будут ахать
Под скрип раскачанной бады.
Вдаль — далеко к заводским
трубам
Шоссе протянута рука...
А солнцем мазаные губы
Целуют пряди ветерка.

(«Весенний сплав», стр. 8).

ВЕСЕЛЫЙ СТОЛЯР

Смеюсь, пою, играю
Над грудью верстака;
Рубанок мой икает,
Танцует вскользь рука.
А лак в жестяной кружке
Весь в искорках луча,
Баранчиками стружки
Повисли у плеча.

В головке забубенной
И дымки грусти нет,
На смежной спинке клена
Лежит стола скелет.

Прилаживаю ножки,
Кладу медовый клей,

На окнах солнца рожки
В отливке хрусталай.
Смолистою сосною
Пропах избы навес:
Как будто за спиною
Стоит дремучий лес.
О планках сердцу мнятся:
Белей, чем милой грудь.
Топор взлетает птицей
В махорочную муть.
За дверью эхо стука
Окликивает дом...

Какая к чорту сучка —
Хожу весь ходуном.

(«Весенний сплав», стр. 12)

В ПАРИКМАХЕРСКОЙ

Замутился белым облаком
Фартук в дымных зеркалах;
Отлетает волос проволокой,
Нарастая на ухах.

И порхают пташкой ножницы,
Соловинный льется щелк;
Показалось, будто в рожице
Вечер синий приумолк.

На спиртовке рыжым месяцем
Огонька загнутый рог,
И о стрижках ясно грезится
Под ногами мягкий мох.

А за дверью что-то взвизгнуло —
Путь трамвайный не далеk,
И машинка к уху прыгнула
Лягушонком на пенек.

На душе весна, проталинки;
Волос бережно мету:
Для сукна пойдет, на валенки,
Руки сильные спрядут.

Эй, косматые, за фартуки!
Приближайтесь на зов!
Родила меня на фабрике
Мать художником голов.

(«Весенний сплав», стр. 13)

ПИРУШКА «ДЕСЯТИ»

(Группе «Твори»)

К нам, кто сердцем моюл,
Ветешь веков долой!
В. Кириллов.

В часы, когда недужат камни
И хлещет дождь о космы фонарей,
Я жду друзей... Стучат в глухие
ставни;

Навстречу прыгнула обрадованная
дверь.
Всех десятеро тут... Удары по
железу

В их песнях слышатся и запах
кирпичей.
Поют — как трактор землю режет,
Скользят лучи и пыль на плотность
их плечей.

О жаркой зелени пахучей нефти,
О черном золоте подземных

теремов,

О цинке, стали и глазах невесты,
Как прется на поля толпа седых домов.
Что в глубине души теснятся годы,
От частых гроз лица смуглее медь.
Их десятеро тут, но целые народы

Сквозь их глаза на мир должны
глядеть.
Они поют о белой роше пара,
Клокочущей в бока гудящие котлов,
В их песнях слышится дробь ударов,
И нежность грубая здоровых слов.
У каждого в груди — пылающие
домны.

Огромный голод — жить: не завязать
в узле.

Они поют ненастной ночью темной:
Тепла и солнца много на земле.

(«Весенний сплав», стр. 24)

ПО УЛИЦЕ

Пригульни, душа, немножко,
Весенеет синемуть.
Растяну свою гармошку,
Застелю трамвая путь.
Ей, трамвай, — весну бы vez ты;
Мокрядут синие льды,
Замеялись на звезды
Серебристые лады.

Алый мех в руках пылает.
Пру, шатаясь, на огни.
Ноги так и подминает
Дробь рассыпать о гранит.
Вскину голову на вечер,
Месяц выкатит глаза.
Без стеснения первым встречным
Разливные голоса.

(«Весенний сплав», стр. 46)

ГОЛУБЬ

Маленькому другу

Девятнадцатый год, месяц летний;
Помню, голод желудок жег.
Ел сухие, как камень, галеты
И жалеть никого не мог.
А напротив пустая стройка,
Мастерские ушли на врага,
В моей комнате тощая койка,
На столе со шнурком наган.
Подо мной этажи, ворота
И, как бочка, узкий двор,
Там убили на днях кого-то,
Красным был под ногами сор.
Только голубь, ручной и бойкий,
Ворковал на карнизе моем
И летал над пустою стройкой
На соседние крыши днем.
Помню: глаз наметнет на окошко,
Тонким клювом звенит о стекло,
И рука моя вынесет крошки;
Пахнет гарью, а в сердце светло.
Он такой голубой и кроткий,
Голубь синий, как неба край;
Станет утро таким кротким,
Точно сон, промелькнет игра.
Что нам день, другого колючей...

Друг за друга, рука за крыло.
Я на площадь, а голубь в тучи,
В растворенное настезье окно...
Воротился с дежурства рано,
Еще солнце карниз не некло,
Голубь прыгнул ко мне из тумана,
Как на ветку, на плечи — легко.
Вдруг почувал, намокли руки,
Весь окрасился кровью пух...
А внизу, на дворе, было глухо,
И от дыма шел горький дух.
Посмотрел, а на крыше мальчишка,
Монтекресто прикрыла нога;
Я поднял и оставил на вышку
Мой утрюмый и черный наган.
Вижу: мальчик, как солнце, рыжий,
Веснушат, худощав, как лист;
Крикнул я ему: ешь, бесстыжий!
Бросил голубя в темный низ...
А теперь ни в грош разлука,
Никого не жду у окон;
Только крыльями сизого друга
Вечерами цветет небосклон.

(Из сборника «Недра». Кн. 2.
изд. 1923 г., стр. 171).

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Лирика

ГРУППА «ОКТЯБРЬ»

ЗАРОЖДЕНИЕ ГРУППЫ

Вечером, 7 декабря 1922 года — группа пролетарских писателей, собравшись в помещении журнала «Молодая Гвардия», постановила создать группу «Октябрь», ставящую целью проведение коммунистической линии в литературе и укрепление Всероссийской Ассоциации Пролетарских Писателей¹. В группу вошли вышедшие из «Кузницы»: Семен Родов, Сергей Малашкин и Алексей Дорогойченко, члены группы «Молодая Гвардия»: Артем Веселый, Александр Безыменский, А. Жаров, Шубин, Н. Кузнецов, члены группы «Рабочая Весна»: А. Соколов, Исбах, Иван Дорониин, «дикие» — вне групп: Юрий Либединский, Г. Лелевич и А. Тарасов-Родионов. В дальнейшем состав группы несколько изменился (четыре товарища вышли, около десятка вступило), но основное ядро осталось то же.

Первым делом группа приступила к выработке идеологической и художественной платформ.

(Из хроники № 1 журнала «На посту».)

МАТЕРИАЛЫ ПЕРВОЙ МОСКОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЛАТФОРМА ГРУППЫ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ «ОКТЯБРЬ».

Принята по докладу тов. Сем. Родова «Современный момент и задачи пролетарской литературы» в качестве платформы Московской Ассоциации Пролетарских Писателей.

§ 1

Эпоха социалистических революций, являющаяся переходом от классового к бесклассовому, коммунистическому обществу, началась Октябрьской революцией, установившей в России диктатуру пролетариата при системе Советов, что только и дает пролетариату возможность стать организатором и переустроителем общества во всех отношениях.

§ 2

Оформив в процессе классовой борьбы революционно-марксистское мировоззрение в области экономики и политики, пролетариат в остальных областях еще не вполне освободился от многовекового идейного воздействия со стороны господствовавших классов. Ныне, по окончании гражданской войны и в процессе углубления борьбы на экономическом фронте, выдвинулся фронт культурный, особенно важный в условиях НЭПа и начавшегося идео-

¹ В настоящее время ни Сергей Малашкин, ни А. Дорогойченко, ни Артем Веселый в группе не состоят.

логического наступления буржуазии, в связи с чем перед пролетариатом встает, в качестве первоочередной, задача строительства своей классовой культуры, а, следовательно, и своей художественной литературы, как могущего средства глубокого воздействия на чувственные восприятия масс.

§ 3

Пролетарская литература, как движение, только в результате Октябрьской революции получила необходимые условия для своего выявления и развития. Однако, культурная отсталость русского пролетариата, вековой гнет буржуазной идеологии, упадочная полоса русской литературы последних лет и десятилетий перед революцией, — все это вместе взятое влияло, влияет и создает возможность дальнейшего влияния буржуазной литературы на пролетарское творчество. Кроме того, на нем не могло не сказаться и влияние идеалистической мелкобуржуазной революционности, обусловленное стоявшей перед российским пролетариатом параллельной задачей завершения буржуазно-демократической революции. В силу этих условий пролетарская литература до сих пор неизбежно носила и часто носит эклектический характер как в области идеологии, так, следовательно, и в области формы.

§ 4

Между тем, с началом планомерного социалистического строительства во всех областях методами НЭПа и с переходом РКП(б) от агитации к систематической и глубокой пропаганде в широких пролетарских массах, выявилась необходимость и в пролетарскую литературу ввести определенную систему.

§ 5

Исходя из всего вышесказанного, группа пролетарских писателей «Октябрь», как часть пролетарского авангарда, проникнутая диалектико-материалистическим мировоззрением, стремится к созданию такой системы и считает достижение этого возможным лишь при условии создания единой художественной программы, идеологической и формальной, которая должна послужить основой дальнейшего развития пролетарской литературы.

Полагая, что такая программа окончательно оформится в процессе практической творческой работы и борьбы на идеологическом фронте, группа «Октябрь» при своем возникновении в основу своей деятельности кладет следующие исходные положения.

§ 6

В классовом обществе художественная литература, на-ряду с остальным, служит задачам определенного класса и только через класс — всему человечеству. Отсюда, пролетарской является такая литература, которая организует психику и сознание рабочего класса и широких трудовых масс в сторону конечных задач пролетариата, как переустроителя мира и создателя коммунистического общества.

§ 7

В процессе распространения и укрепления диктатуры пролетариата и приближения к коммунистическому обществу, пролетарская литература, оста-

ваясь глубоко-классовой, не только организует психику и сознание рабочего класса, но и все более влияет на остальные слои общества, этим самым выбивая последнюю почву из-под ног буржуазной литературы.

§ 8

Пролетарская литература противопоставляет себя буржуазной как ее антипод. Буржуазная литература, обреченная вместе со своим классом, старается затушить свою сущность отрывом от жизни, уходом в мистику, в область «чистого искусства», в форму, как самоцель и т. д. Пролетарская литература, наоборот, кладет в основу творчества революционно-марксистское миропонимание и берет творческим материалом современную действительность, творцом которой является пролетариат, а также революционную романтику жизни и борьбы пролетариата в прошлом и его завоевания в перспективе грядущего.

§ 9

В связи с ростом общественного значения пролетарской литературы, перед ней встает основная задача создания широких полотен, монументальных произведений с развернутым сюжетом, главным образом, из жизни пролетариата. Группа пролетарских писателей «Октябрь» считает возможным выполнение этих требований лишь при условии, когда на-ряду с лирикой, господствовавшей последнее пятилетие в пролетарской литературе, в основу будет положен эпический и драматический подход к творческому материалу. В соответствии с этим и форма произведений будет стремиться к наибольшей широте, простоте и экономии художественных средств.

§ 10

Группа «Октябрь» утверждает примат содержания. Само содержание пролетарского литературного произведения дает словесно-художественный материал и подсказывает форму. Содержание и форма — диалектические антитезы: содержание определяет форму и художественно оформляется через нее.

§ 11

Разнообразие форм классовой борьбы в переходный период требует от пролетарского писателя разработки самых различных тем, что ставит его перед необходимостью всестороннего использования художественных форм и приемов прозы и поэзии, созданных предыдущей историей литературы.

Поэтому группа не пойдет по пути увлечения какой-либо одной художественной формой и размежевания по формальному признаку, по которому до сих пор размежевались буржуазные литературные школы, что по существу является перенесением идеализма и метафизики в процесс литературного творчества.

§ 12

Считаясь с тем, что литературные школы декаданса раздробили на составные элементы единые по существу художественные формы, созданные в эпохи исторического восхождения господствовавших классов, и продолжают

это дробление до мельчайших частиц, выделяя какой-нибудь из этих элементов в самодовлеющий принцип, а также считаясь с фактом влияния этих школ на пролетарское творчество и с опасностью их дальнейшего влияния, — группа «Октябрь» в принципе отвергает:

а) вырождение понятия творческого образа в самодовлеющий раздробленный живописный орнамент (имажинизм)

и стоит за единый, цельный динамический образ, развивающийся на протяжении всего произведения, в зависимости от его общественно-необходимого содержания;

б) отвергает выделение слова-ритма, как такового, в самоцель, в результате чего художник часто уходит в область чисто словесных, не имеющих общественного смысла упражнений, выдавая их за настоящие художественные произведения (футуризм)

и стоит за цельный ритм, организованно-развивающийся в зависимости от развития содержания художественного произведения в едином творческом образе;

в) а также отвергает фетиширование звука, возникшее в период упадка буржуазии и выросшее на почве нездоровой мистики (символизм)

и стоит за органическое слияние звуковой стороны художественного произведения с творческим образом и ритмом.

Только беря предмет художественного произведения в целом, в его конкретном значении и в процессе закономерного развития, можно достигнуть исторически наивысшего художественного синтеза.

§ 13

Таким образом, задачей группы является не культивирование форм, существующих в буржуазной литературе или эклектически привнесенных отсюда в пролетарскую, а разработка и выявление новых принципов и типов формы путем практического овладения старыми литературными формами и преобразования их новым классово-пролетарским содержанием, а также путем критического осмысления богатого опыта прошлого и произведений пролетарской литературы, в результате чего должна создаваться новая синтетическая форма пролетарской литературы.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ГРУППЫ «ОКТЯБРЬ»

Уважаемый тов. редактор!

Проим печатать на страницах вашей газеты следующее:

1

Группа пролетарских писателей «Кузница», образованная в начале 1920 г., в последнее время обратилась, по нашему убеждению, в немногочисленный замкнутый кружок товарищей с интересами, далеко не совпадающими с задачами развивающейся борьбы пролетариата на идеологическом фронте.

Ввиду того, что при таком положении «Кузница» является организацией, возмущающей развитие свежих, молодых сил пролетарской литературы, — часть нижеподписавшихся заявляет о своем выходе из «Кузницы» и вместе с другими пролетарскими писателями, подписавшими настоящее заявление, образует группу пролетарских писателей «Октябрь», каковая ставит своей

ближайшей целью укрепление коммунистической линии в пролетарской литературе и организационное укрепление Всероссийской и Московской Ассоциации Пролетарских Писателей.

Сергей Малашкин, Семен Родов, А. Дорогойченко, Геннадий Корень, А. Безыменский, А. Тарасов-Родионов, А. Жаров, Ю. Либединский, Артем Веселый, А. Соколов, Исбах, М. Кузнецов, Г. Лелевич, Г. Шубин и Иван Доронин

2

Считаем своим долгом перед партией и Советской властью заявить, что никакой ответственности за идеологическое направление и практическую деятельность издательства писателей «Кузница» — нести не можем.

Сергей Малашкин, Семен Родов, А. Дорогойченко.

7 декабря 1922 г.

(«Правда», 12/XII 1922 г.).

ПРИВЕТСТВИЕ АНРИ БАРБЮСУ

Группа пролетарских писателей «Октябрь» радостно приветствует ваше выступление в ряды коммунистической партии.

Все мы — члены РКП(б). Нам бы хотелось особенно подчеркнуть, что никогда, ни при каких обстоятельствах художник слова не может быть более полезен рабочему делу, чем будучи в рядах пролетариата. «Независимость» от партии рабочего класса есть почти всегда отрав от нее, отрав от питающих соков культуры, носителей будущего. Мы, писатели-пролетарии, писатели-коммунисты, делаем работу партии в области художественной литературы. И если партия (т.-е. дело рабочего класса) потребует борьбы на других боевых постах или нашей смерти на баррикадах революции, — мы пойдем и выполним этот приказ. Коммунизм — прежде всего. Все остальное — потом.

Привет вам, рядовому борцу в рядах партии рабочего класса!

Привет вам, передовому борцу рабочего класса на фронте пролетарской литературы!

Группа пролетарских писателей
«О к т я б р ь».

ДА ЗДРАВСТВУЕТ УИПТОН СИНКЛЕР!

(Протест пролетарских писателей Москвы против ареста У. Синклера).

Соратнику по борьбе за рабочее дело, товарищу по литературной работе, к лассу которого чутко прислушиваются миллионы пролетариев, — Уиптону Синклеру, брошенному в тюрьму хищной американской буржуазией, — шлюет свой привет пролетарские писатели Москвы.

Все махинации и бешеная ненависть врагов бессильны устранить того, с кем сочувствие и поддержка рабочего класса. Победа за нами!

Из свободной России пленнику буржуазии Синклеру крепко пожимаем честную руку писателя.

Московская Ассоциация Пролетарских Писателей.
Группа пролетарских писателей «Октябрь».

ОБ ОТНОШЕНИИ К БУРЖУАЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ГРУППИРОВКАМ

Тезисы доклада Г. Лелевича, принятые на 1-ой Московской Конференции Пролетарских Писателей.

1. Необходимость максимального закрепления политических командующих высот пролетариата в условиях идеологического наступления буржуазии требует внесения полной ясности в вопросы художественной политики пролетарской партии и пролетарского государства, с одной стороны, и пролетарских литературных организаций, с другой.

2. Основным критерием для оценки литературного течения или литературного явления может служить только их общественное значение. Общественно полезной является в наше время только такая литература, которая организует психику и сознание читателей, и в первую очередь читателей пролетарских, в сторону конечных задач пролетариата, как творца коммунистического общества, то-есть литература пролетарская. Всякая иная литература, иначе воздействующая на читателя, в той или в иной мере содействует возрождению буржуазной и мелкобуржуазной идеологии.

3. Явно-буржуазная литература, начиная от эмигрантских погромных писателей, типа Гиппиус и Буниных, и кончая внутри-российскими мистиками и индивидуалистами, типа Ахматовых и Ходасевичей, организует психику читателя в сторону поповски-феодално-буржуазной реставрации. Эта литература является отрядом классовых противников пролетариата, и деятельность ее в Советской России, с точки зрения пролетарской революции, ничем оправдана быть не может.

4. Мелкобуржуазные группы писателей, «примещающих» революцию, но не осознавших ее пролетарского характера и воспринимающих ее лишь как слепой анархический мужичий бунт («Сералиновы» и т. п.), отражают революцию в кривом зеркале и неспособны организовать психику и сознание читателя в сторону конечных задач пролетариата. Поэтому положительного воспитательного значения для рабочего класса они иметь не могут. Но вместе с тем, они способны сыграть некоторую роль в деле притупления вражды к революции со стороны колеблющихся мелкобуржуазных кругов и внедрения в сознание этих кругов мысли о необходимости делового сотрудничества с правящим пролетариатом.

5. Эти характерные черты литературных группировок дают возможность наметить правильную тактику по отношению к ним. По отношению к буржуазным группам — ни о каком сотрудничестве не может быть и речи, тут — открытая классовая борьба. По отношению к мелкобуржуазным «попутчикам» возможно известное сотрудничество.

6. Но сотрудничество это может привести к благоприятным для рабочего класса результатам лишь при том условии, если будет осознано, что попутчики не воспитывают пролетарские массы в нужном нам направлении, а в лучшем случае, лишь идеологически разоружают наших врагов. К тому же, мелкобуржуазная природа попутчиков делает их не всегда надежными даже в этом деле. Следовательно, сотрудничество с ними разумно лишь в форме использования их как вспомогательного отряда, дезорганизующего противника, при чем необходимо постоянно вскрывать их путанные, мелкобуржуазные черты.

7. Поэтому, считая, что со временем пролетарская литература явится единственной серьезной силой в области художественного слова, следует признать, что уже сейчас интересы идеологического фронта требуют приобретения пролетарской литературой руководящего влияния в основных литературных партийно-советских органах печати. Только при этом условии возможно использование с выгодой для революции вспомогательных сил «попутчиков» точно так же, как в политической области только командующее положение пролетарского авангарда — РКП(б) — позволило использовать сменеховство в интересах пролетарской диктатуры.

8. Таким образом, единственно целесообразны следующие тактические лозунги: главной опорой пролетарского авангарда в области литературы является пролетарская литература; для дезорганизации сознания противника используется литература «попутчиков», как вспомогательная сила, при чем постоянно вскрываются их мелкобуржуазные черты; все время ведется борьба со всеми видами буржуазной литературы.

9. Вопрос об участии пролетарских писателей в органах печати, в которых сотрудничают представители буржуазных и мелкобуржуазных групп, решается, на основании настоящих тезисов, правлением Ассоциации в применении к каждому органу в отдельности.

А. ДОРОГОИЧЕНКО

ТО ОКТЯБРЬ, ИЛИ МАЙ?

Мировому Октябрю.

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Знамена... знамена... знамена... | Лица, лица расцветились — |
| Дети... Цветы... И победные песни... | Розы да левкои: |
| И в тесной гурьбе—да не тесно! | Все во всех влюбились, |
| И город, в кого-то влюбленный... | Оттого легко им, |
| И вот — | Ой, легко и просто! |
| Плывет... | Что со мной сегодня? |
| Плывем мы в нем: | Я какого роста? |
| Череда за чередой—рабочих, | Маленький? Большой я? |
| За грядой гряда—рядями. | Будто хобот меня поднял |
| Знамена полощут, знамена пророчат: | (Над такою кручей!), |
| «Во имя единства на праздник борьбы! | Поднял и обрушил |
| Победа за нами... за нами!» | Кучею текучей. |
| А сердце — по ребрам | Вижу огневое: |
| В биении добром | Море или суша? |
| Под рокот гурьбы: | Рвы? или выгон? роща? |
| — Да, да... | Поле или площадь? |
| А знамя мое все поет и рожочет | Площадь или поле? |
| И бьется в руке у меня, | Может—город, сине море? |
| И рвется в простор мое знамя, | Площадь—просто остров? |
| По ветру звеня, | Ой, не все равно ли! |
| В просторы мая, | Ну, и что же проще, |
| За солнцем мая, — как блесна. | Что родней, милее |
| Взлететь! Трепыхаться, как знамя! | Спелого и спелого |
| То октябрь? Или май? | Вечного течения?! |
| То ли осень — весна? | Лейтесь, солнечные дети, |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Морем синей-синей блузы той— | И запах фиалок лесных... |
| Это нам, ведь, солнце светит | И в плеске знамен непослушных — |
| Неумолчной музыкой. | Любовные зовы весны. |
| Октябрь! И стало мне душно... | |

(«Земные небеса», стр. 9. Изд. «Моск. Раб.», 1923 г.)

КАК Я ЖАТЬ УЧИЛСЯ

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Лет мне, может быть, уж девять, | Жну. |
| Летом это. Жали рожь. | И вот — |
| Дали серп: пора и мне, ведь! | Солнце, солнце, что со мной? |
| — В горсть возьми, сожми... пониже... | (Ах, жара — дышать уж нечем!) |
| Ну, а там и сам поймешь! — | Ровно дед с небесной печи |
| Тятке некогда, я вижу: | Слез... в горсть меня берет. |
| Серп зубастый с легким хрустом | Сжал... мне больно... ой! |
| Подрезает матку-рожь. | Завертелось все кругами, |
| Смотришь — уповод и пусто. | Все кругами пред глазами. |
| Только жнива — колкий еж... | Замотали головами |
| Разломило поясницу, | Мальвы красные с межи... |
| Руки ноют у жнеца, | — Ляг, ступай коль, за скирдами: |
| Да сбегают вереницей | Тряпкой палца завяжи! |
| Капли с черного лица: | |

(Из сб. «Земные небеса», стр. 12).

ЛЕЛЕВИЧ (Л. Могилевский)

СПЯЩИЙ ЗАВОД

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Исхудалые пальцы труб | Их какой-то Иуда продал |
| Заломлены в немом отчаянии. | Фарисеям базарным, верно? |
| Глотки гудков не ревут поутру, | На лице завода лежит |
| Птицы дыма давно растаяли. | Душный платок с хлороформом. |
| Глаза окошек глядят | Где же тот, чей один нажим |
| Зрчками разбитых стекол. | Сотрясал рычаги и горны? |
| Хохотали из этих окон? | Где рабочий? В какой мгле |
| Кориор... тучь, как в гробу... | Он ищет нужды предела? |
| В углах пауки застыли... | В желтый армяк ржаных полей |
| Дальше, ноги обув | Он одел усталое тело. |
| В серые туфли пыли! | О, когда же опять его рука |
| На черном теле колес | Пошеплет меха и молот? |
| Кровавые пятна ржавчины. | О, когда шестерен ударит раскат, |
| А давно ли любое, блестя, неслось, | И горн станет снова золотом? |
| Объятыми ремней схвачено? | Мощный завод непробудно спит... |
| И что же я их не видал, — | Братья! Гиганта разбудим! |
| Где гадюки — привидные ремни? | Будем опять наслаждение пить |
| | В творческом блеске и гуде! |

(Из сб. «Набат», стр. 18. Изд. Гос. Изд. Гомель. 1921).

ПОВЕСТЬ О КОМБРИГЕ ИВАНОВЕ

I
Он был лихой кавалерист,
Владел и шашкой и винтовкой.
А как на митингах речист!
А как искусен в джигитовке!
И на фронтах — страшной грозой...
Сам командзеп ему за это
Поднес с цепочкою часы
От Петроградского совета.
Спросите всех его бойцов, —
Ответит каждый, как по книге:
«Ей, ей, товарищ Иванов
Прекраснейший из всех комбригов».
Идет к концу двадцатый год...
Добив барона без пощады,
В местечко зимовать идет
Неустрасимая бригада.
Местечко ходит холодною,
Храпят на водопое кони,
В домах — постой, в домах — содом,
И шумный говор в ржаньи тонет.
Настали мирные деньки.
Красноармеец, не зевай-ка!
Морозы зимние легки
Вдвоем с квартирною хозяйкой.

II
Комбриг, товарищ Иванов,
На зиму стал в квартире знатной:
Кровать с периной, вдоволь дров,
И на столе альбом занятный.
Хозяин, пухлый, круглый поп,
Хотя сторонкой и ругался,
Но лишь комбрига встретит — стон!
Мгновенно в три дуги сгибался.
Закусит — поп несет запить.
Умылся — с полотенцем мчится
И нежно просит защитить
Его добро от реквизиций.
Комбриг в ответ ему сопел,
А сам порой совсем не гневно
На дочь поповскую глядел —
Олимпиаду Алексевну.
И впрямь — девицей хоть куда
Была задорная поповна,
Умна, красива, молода.
Как избежать тут дел греховных?
Сперва наш доблестный комбриг
По вечерам за чашкой чая

O разных схватках боевых
Рассказывал, не умолкая.
Потом ей книжки стал давать...
И вот, Бухарин и Богданов
Поповну стали увлекать
Сильней чувствительных романов.
Попа совсем бросает в жар,
Когда холодной зимней ночью
Комбриг вздувает самовар
В прихожей темной с милой дочкой.
Комбриг, смотри! Сильнее дуи,
Иль пропадет твой труд задаром.
Как сладок первый поцелуй
Над нераздутым самоваром!

III
Бежали дни быстрее часов,
Еще быстрее бежали ночи.
И вот, поповну Иванов
Назвать женой своею хочет.
Внимая сладостным речам,
Она кивает восхищенно,
Но пусть он с ней поедет в храм
И обвенчается законно.
Взвесился красный командир —
Про храм и слушать не желает,
Готов искать других квартир...
Она, рыдая, убегает.
Две ночи думал удалец.
На третью ночь, душой воспрянув,
К утру придумал, наконец,
Хитрейший из хитрейших планов.
На утро белое, как снег,
Везде пестрело объявление:
«Доклад о боге. Вход для всех.
Попов зовем для возраженья».
И ночью в клубе у реки
Пришедшим негде поместиться.
Пришли седые старики
И разоlette девицы.
Вот на трибуне — сам комбриг
Гремит, пугая оппонентов,
Красноармейцев удалых
Раскатные аплодисменты.
Доклад был ярок и красив,
Как выстрел — каждая тирада,
И слушала, глаза раскрыв,
Вся бледная Олимпиада.
Он кончил, и набитый зал
Дрожит от хлопанья и криков.

И тщетно пошк выступал,
С испугу сделавшись заикой.
Домой уходит Иванов.
За ним — победа безусловно,
К нему прижалась без слов
На все согласная поповна.
Назавтра с горестным отцом
Она поссорилась дома
И записалась с удалцом

В отделе актов Исполкома.
Когда же юная весна
Сорвала зимние преграды —
Стряхнув с себя оковы сна,
Далеко двинулась бригада.
И с веренище бойцов
Повмчались вместе в путь безвестный
Комбриг товарищ Иванов
С своей комбригшею прелестной!

(Из сб. «Под пятикрылой звездой» 1923 г.
«Моск. Раб.», стр. 21).

БАЛЛАДА ОБ АГИТАТОРЕ

Окончив бурный митинг на заводе,
Где он толпу, как старый корячий,
вел,
Сквозь тьму и вой осенней непо-
годы
Глубокой ночью он домой пришел.
Издерганный, голодный, утомленный
Он на кровать свалился сам не
свой.
И вдруг звонок тревожный теле-
фона
Захохотал над сонной головой.
В ряду казарм, не удержав ни
пункта,
Ему звонит дрожащий военком,
Что взвился флаг бессмысленного
бунта
Над темным и обманутым полком.
И по глухим заснувшим переулкам
Его промчал с хрипением мотор
Туда, вперед, навстречу залам
гулким,
Туда, где бунт ползет из тайных
нор.
И вот казарм туманные громады
Блеснули жутко бельями огней...
Он видит море шашек и прикладов
И чей-то труп внизу у ступеней.

Один прыжок за стол окровавлен-
ный —
И полилась прерывистая речь...
А вокруг мятеж слепой и разъярен-
ный —
И головы, отхваченные с плеч.
И, торопясь, привычный агитатор
Метал слова в мятежную орду,
И кто-то речь покрыл похабным
матом
И плюнул пулей в красную звезду.
И выстрела грохочущие звуки
Вдруг оборвали жаркие слова.
На липкий стол с глухим зволящим
стуком
Пробитая упала голова.
Но это недосказанное слово
Всех обожгло волнущая и дрожа,
И в первый раз прикрикнули сурово
Бойцы — на атаманов мятежа.
И в день, когда над черным ката-
фалком
Прощальных флагов реял красный
шелк,
За гробом шел, забыв свой ропот
жалкий,
Под красным знаменем мятежный
полк.

(Сб. «Под пятикрылой звездой» 1923 г. «Моск. Раб.», стр. 65).

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

ГОРОДОК

(Поэма)

— Что ж она, Россия? — говорил Триунов: — государство она — беспременно уездное. Посчитай-ка, губерских городков — десятка три-четыре. А уездных — тысячи, поди-ка! Тут тебе и Россия!
(М. Горький).

У висящей сердце живое. Это я: Рабочий, мне имя.

Конешно, Рим, должно быть, хороший город, но уж никак не лучше нашего Владимира.

(Подслушанные слова).

О, чем непохож он, ну скажем,
на Рим?
Кто врет, что он в мир невзначай
заверстан?
Давно ль подслеповатые, хромые
фонари
Отмеривали улицами только версты?
Давно ли город был — сплошной
козловый вал,
Где свиньи с козами вели свою игру?
Давно ль у голых улиц ветер обведал
Зеленоволосатую нетоптанную
грудь?
А ныне: улица — так в каменной
накидке
(Асфальтовой каемки полоса),
И электрические нитки
Домишки ввели в волоса.
Запели провода, подтягивая грам-
мофонам,
Умеющим хрипеть хорами хоть
весь день.
Послышалось «алло» слепцу у теле-
фона
Такой же барышни, как и везде...
А грязи не найдешь — весь город
осмотря.
Ну, разве на базаре — если мокро...
О, чем же непохож наш городок
на Рим?
В нем даже есть кинематограф.

Часть первая

I

Когда заря, выпячивая розовые
губы,
Целует домики в стекольные глаза,
Кирпичные мальчишки — трубы
Уже дымят махоркой в небеса.
Под черепной коробкой крыши
Уже ворочаются ситные мозги.
В руках какой-нибудь Маланы иль
Ариши
Снуют ухваты, противни и кочерги.
Вот из домов, без дела и с делами,
Спешит с корзинной млад и стар,
Домовым представителем в парла-
мент —
Раскинувшийся площадью базар.
Какая сутолка! И сколько здесь
наречий!
Взволнованы, наверно, сто из ста
Последней политическою речью:
«Дороже на копейку сахар стал!»
А вот ученики, питомцы немца
Лерха,
Плетутся подремать еще часок-
другой.
А вот присутственная ржавчинная
перхоть,
На голове заведомо больная.

Идет рассеяться, чтоб с жизнью-
замарашкой
Копейки или тысячи считать,
Чтоб в счетах будней быть заез-
женной костяшкой,
А смерти оплатить грошевые счета.
... Но обет одиннадцать — и улицами
пусто.
Ни пиджаков, ни кителей.
Лишь громко бьется сердце, полное
капустой,
Скрипением — гономом повозок и
телег.
Двенадцать. Час. И два. Опять
на миг движение.
Веселая волна на улицы легла,
Ликуя, пронеслась, растаяла в мгно-
венье
И важно разлеглась, по капле,
у стола.
Священнодействие обеденного
часа —
Молитва человек и вещей!
И город молится над чашкой жир-
ных щей,
Крестьясь куском поджаренного
мяса.
После обеда — сон. А после сна —
закуска.
После закуски — чай и ужин не-
далек...
Желудок, алчный пес, на каждый
час науськан,
И через каждый час — очередной
прыжок.
Отужинав, идут на Пушкинский
иль в «Липки».
Флиртует молодежь впопад и не-
впопад,
Влюбляется, живет — покамест пла-
стырь липкий
Не слепит двух из них под треш-
ничей попа.
А рядом старики судачат о соседях,
Калачик толстых рук на животе
держат,
Толкуют о былом, о прежних
вкусных снедах
Иль критикнут сплеча политику
держав...
Но поздно... Городок — не жалует
безделья.

Пора и на покой. Спи, спящий,
мирно спи...
И время вяжет вязь над пуховой
постелью,
Считает каланча удары мерных спиц.
— Одиннн.
Деннн...
Одиннн...
Деннн...
Одиннн...
Деннн...

II

Война... война... война...
Как будто бы под топором палача
Стоит городок, сутулясь.
Вдруг... — одинннн!... брякнула
каланча...
И поперхнулась.
Это у времени сломалась спица...
В ткань живую врезались ножницы...
Городку не спится,
Городку не вещей!
Душным вечером знойного июля
Собрал толпу — и какую еще!
— Заплачу ли я, запою ли? —
Выстукивал ногами тоскующе...
Прибыл от жизни страшный пакет
С приказом итти на дерзание.
Застыл городок в ночном колпаке,
Разглядывая невиданное послание.
И вдруг заерзал, завозился
(Проснуться пришла пора!)
И криком — урррраа!
Вцепился
В волосы прилизанному вчера.
Похожий на пруд при дороге не-
топтанной,
В который пустили камнем,
Бродил городок по городу растре-
панный
С портретом и трехцветным знаме-
нем.
Валили мальчишки валом,
Гурьбой впереди выступая гордо,
А многих так и подмывало
Вцепиться портрету в расчесанную
бороду...
И так бродили до света,
Зачем-то по улице рыская...
... Волком, волком завывало где-то
Глупое сердце материнское.

III

Где-то там
Тараторит
Барабан,
Разговоры разговаривает глухо...
Кто повторит,
Кто почует сердцем, а не ухом
Бережливый душу тарарам?
Война миллиардами рук
Гремит барабанной трелью.
Война для невиданных мук
Хватает людей шинелью...

(Отрывок взят из сборника «Под знаком Комсомола», 1923 г., изд. «Мол. Гвард.», стр. 79).

ПАРТБИЛЕТ

Есть старенькие, старенькие мамы...
Пусть мы в борьбе сжигаем наши
дни —
Они вдруг в памяти, наполненной
громами,
Мелькнут, как чуждые, но теплые
огни.
И вспомнится тогда не мать сан-
кюотов.
Несущая сама винтовку и плакат,
А та, кому страшней, чем сто пере-
воротов,
Что непослушный сын
Не выпил молока...

Мама —
Она не становится хуже,
С соской ли ты, с бородой ли.
Вечно в глазах ее мечется ужас
Перед сыновней долей.
Мама —
Она постоянно грустит
И убивается вечно.
Ей не понять, что иные пути
Сотнями солнц рассвечены.
Помню, как много доставил ей мук я
В дебрях мальчишеских лет.
Помню, как с братом из детского
лука
Расстреливал царский портрет.
Помню, как я объявил голодовку,
А голодать мне лишь час пришлось.
(Так я впервые провел забастовку
За пачку отобранных папирос).

Покой огнестрахов паля,
Грохочет нерадостной вестью...
Ах, кто же в шумящих полях
И серп и плуг разневестил?
Кто, зданья сметая прочь,
По странам пятой зашаркал?
Кто сделал морозную ночь
И мерзлую землю жаркой?
Вопрос никуда, никому...
Зачем же нам ждать ответа,
Когда не бывать тому,
Что было прошедшим летом?..

Помню: я вырос — а мама рыдала:
— Мальчик за книжкой — ночи не
спал...
Но успокоилась тем, что читал я
Трезвую книгу —
«Кап и т а л».
О, мама, мама! Где твои примочки?!
От трезвой книги протрезви скорей.
Ведь становился я от каждой строчки,
От слова каждого пьяней.
А вот теперь за повод дней берусь я,
За повод дней, что раньше нас
влекли.
Иду на мир — и на тебя, мамуся,
Я, пьяный радостью властителей
земли.
Но с тех же пор... как ноет грудь
и плечи!
Я, бывший мальчиком самой весны
резвей
И пьяный юностью, простою, чело-
вечей,
От строк безжалостных навеки про-
трезвел.
И вот умею я все видеть так, как
надо,
Лучами глаз своих пронзить любой
покров,
Провидеть в фабрике — веков грядущих
радость,
Увидеть в золоте — сочащуюся кровь.
Я знаю: не один за повод дней бе-
реть я.

Тьма тем фабричных рук их к солнцу
повели.
Иду, иду на мир — и на тебя, мамуся,
Я, трезвый мудростью властителей
земли...

И вот недавно
Заехал к маме
Из нового, ячийкиного дому.
Мильными, старческими глазами
Глянул в глаза мне тихонький омут.
Те же, все те же здесь радости, беды:
— Хлеб вздорожал, и посуда, и нитки...
Только подчас мой отец за обедом
Говорит о высокой политике.
Мама вновь: молоко, яички...
Только буркнет мельком иногда:
— Знаешь, сын? Я сама большевика:
Коммунисткой же быть... никогда! —
Или вдруг просияет надеждой.
В уголке где-нибудь сидит
Над моею драной одеждой, —
Бубнит:
— «Капитал» ты читал — не нажил,
Да и не наживешь, поверь...
Но дорога тебе не одна же?
Побыл в партии... будет теперь...
Приезжай к нам, сыночек милый.
Убил ты ведь лучших семь лет.
Приедешь — варить будешь мыло...
Брось... билет! —
...И однажды, при помощи брата,
Выкрала мой партбилет
И, его в закоулочок запрятав,
Расцвела, как маков цвет.
Я же, дерзкий, голову старую
К мощной прижал груди.
— Мама, ты слышишь ли эти удары?
Что там гулит? —
Я глядел ей вслед ушедшей.
Ну что ей увидеть, слепой?
Наверно, сочтет сумасшедшим...
Пьяным собой...

Не понять ей, старенькой маме,
Пятнышку в нашей борьбе,
Что ношу партбилет не в кармане —
В себе.

А. ЮРИН

МОЙ СТИХ

Мой голос груб. Он огрубел в по-
ходе,
Когда шагал я с вами в третьем
взводе,
Когда до жгучей боли
Я натирал кровавые мозоли,
Когда, полубосой,
Усталость ног я охлаждал росой.
Наш эшелон — изрешетившая шрап-
нель,
В свинцовую метель —
В свинцовую метель
Впиалась в мой стих.
Это — не песня. Это — отраженье

Движенья, и движенья, и движенья
По всем путям колонн густых.
В моем стихе — обозов скрип,
В нем хрип
Героя, павшего во ржак,
В нем светит загорело
Отблеск тела
Сквозь дыряв изорвавшихся рубах;
В нем шаг тяжелой роты
И клекот пулемета;
В нем звук вечернего сигнала
Пред сеньем «Интернационала»
В поглубошей мгле
На площади, в селе.

«Сборник «Под пятикрылой звездой». Москва, 1923 г., стр. 17).

СЕРГЕЙ МАЛАШКИН¹

Род. в 1891 г., начал печататься с 1915 г.

Стыхали ль вы, как, дик и строг,
Ноябрьский ветер трубят в рог.

Э. Верхарн

В Е Т Е Р

В этот вечер
Ветер,
Разрывая паутины тонкие волокна,
Шумно в дом мой тихий,
В плотно вставленные окна,
Бьется,
Вьется,
Шепчет красно-желтою листвою:
«В поле
Из неволи
Выходи плясать со мной!»
В этот вечер
Ветер,
Облетев, как ворон, все оплаканные
села

И омаенные нивы и родные доли,
Шумно вьется,
В окна бьется,
Шепчет красно-желтою листвою:
«Всюду гады из расселин,
Мрака, гнили, серой плесни,
Вышли радостно на зелень,
Кверху головы подняли
И на солнце, греясь, вьются.
И смеются,
И слагают жизни песни,
Только ты поешь уныло
О Светлане милой,
О весне,
О луне,
О боярской старине».
В этот вечер
Ветер,
Разбудив от сна моря, озера, океаны,

Разорвав и осени тяжелые туманы,
Шумно вьется,
В окна бьется,
Шепчет красно-желтою листвою:
«Эй, поэт! Ты не пой
Песни, петые людьми
Со слезами о любви, —
Лучше пой
Всем, всем, кто не спит,
Всем, кто молотом стучит,
Бьет гранит,
В знойном пламени труда,
Возвизага города.
Лучше пой
Всем, кто в мире,
Крася в колоть небеса,
Все к зениту и надиру,
Буйствуя неукержимо,
На полотна дыма
Приговждает с гулом жизни
Красных фабрик корпуса!»
В этот вечер
Ветер,
Разбудив всю жизнь вселенной
Песней гневной,
Буйно вьется,
В окна бьется,
Шепчет красно-желтою листвою:
«В поле
Из неволи
Выходи плясать со мной,
Песни петь,
В буйстве, в пламени гореть,
К солнцу красному лететь».

(«Мятежи», стр. 125).

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Лирика

«РАБОЧАЯ ВЕСНА»

РАБОЧАЯ ВЕСНА

Кружок рабочих поэтов и беллетристов, состоящих при редакции газеты «Рабочая Москва», 7 мая, в театре им. тов. Сафонова, отпраздновал годовщину своего существования. За это время кружком проделана большая работа, что видно из его отчета (см. газ. «Рабочая Москва» за № 99 (371) от 9 мая — цифровые данные). Раз в неделю регулярно выпускается страничка «Рабочее Творчество». Изданы: книга стихов «Гранитный луг» поэта И. Доронина, автора наименования кружка; литературно-художественный сборник «Рабочая Весна» № 1; сдан в печать и в скором времени выйдет сборник «Рабочая Весна» № 2, издаваемый в кооперативном изд-ве «Московский Рабочий».

По воскресеньям, в свободный от занятий день, устраиваются литературные собеседования, где членами кружка и приходящими со стороны товарищами зачитываются произведения, согласно которых ведутся подробные критические разборы. Надо отметить, что кружок в этом отношении гостеприимен. Его пропускная способность превышает все московские пролетарские литературные группировки, и это — не проходной двор, а интересная мастерская, куда заходят рабочие и работницы, красноармейцы, комсомольцы и т. д., не только Московского района, но и далекой провинции со своими стихотворениями, рассказами, песнями, статьями, каковые подвергаются литературной отшлифовке.

С 1922 года ведется литературно-художественная пропаганда как в Москве, так и за пределами Москвы по фабрикам, заводам, красноармейским частям, советским учреждениям и т. д. И тот, кто наблюдает за выступлением «Рабочей Весны», знает, как охотно воспринимается рабочей аудиторией это настоящее рабочее творчество. Бывают случаи, когда «Рабочей Весне» приходится выступать в один и тот же вечер в нескольких местах; да оно и понятно, почему так близки трудящимся массам произведения членов «Рабочей Весны»: это потому, что в их произведениях, главным образом, бьет содержание, отображающее революция, рабочий быт в простой, доступной художественной форме изобразительных средств (правильную линию в своей декларации взяла «Рабочая Весна»).

Всего членов в кружке около 60 человек. По социальному составу преобладают рабочие, работницы, красноармейцы. В политическом отношении — коммунисты. Но дело, конечно, не в количестве, а в качестве. А такое во всем. Наиболее выявившиеся члены сотрудничают почти во всех периодических газетах и литературно-художественных изданиях РСФСР.

¹ Бывший «Сормовский поэт», Сергей Малашкин — автор книги «Мятежи», ныне состоящий во главе группы поэтов «Железный цех».

В «Рабочей Весне» имеются в полном смысле мастера художественного слова. Любимые темы «Рабочей Весны» производственного характера: «Песнь о лакированном сапоге», «Булочник», «Разговор с фуганком», «У варганки», «Угольщик», «Радио-башня» и т. д. Кроме этого, некоторые члены руководят кружками рабочих корреспондентов и литколлективами. Кружок работает в тесном союзе с группой «Октябрь» и, несмотря на свое краткое существование и ряд препятствий, «Рабочая Весна» успела уже расцвести.

Фабричный.

(Изд. № 1 «На посту»).

ИЗ «ПРЕДИСЛОВИЯ» К 1 СБОРНИКУ «РАБОЧАЯ ВЕСНА»

Настал великий Октябрь, и рабочий класс, вместе с измученной от долгой империалистической войны солдатской массой, сбросил с себя ярмо капиталистического рабства.

Рабочие стали хозяевами страны, и перед ними раскрылись заповедные двери храмов науки и искусства.

Пронулись, всколыхнулись силы, долго дремавшие в недрах гуши трудящихся... Широким потоком хлынули на «свет божий»...

Полились и рабочие песни из уст новых певцов. Поэты эти — плоть от плоти, кровь от крови победоносно вышедшего из борьбы с буржуазией русского пролетариата. Они — детище революции. Революция вспоила и вскормила их...

По стопам Кириллова, Александровского, Гастева, Герасимова, Самобытника и др., славные имена которых ярко горели еще на заре великой русской революции, потянулись вереницы начинающих поэтов. Из их произведений и составлен наш сборник. Имена этих начинающих поэтов по большей части еще не говорят за себя. Стих часто не выдержан и не достаточно отшлифован. Слух иногда режут шероховатости. Рифма хромает.

И не диво... Учиться было ими негде и некогда.

Все они почти — дети фабрики или деревни. С 12—13 лет работали у станка или в мастерской. Долгая утомительная работа рали куска хлеба.

А когда явилась возможность учиться, подоспела гражданская война: надо было с оружием в руках защищать октябрьские завоевания рабочего класса.

Многие рабочие-поэты пролили кровь свою за общепролетарское дело. Многие из них вернулись с гражданской войны калеками, как например Красиков. Красиков лишился обеих ног, но он не унывает: он полон чисто-пролетарской жизнерадостности и живого юмора; он глубоко верит в светлое будущее.

Многие из поэтов нашего сборника и сейчас еще работают у станка или оторвались от него в самом недавнем прошлом — для учебы, партийной работы или службы в Красной армии.

Ознакомьтесь бегло с социальным составом наших авторов, и вам будет ясен характер их творчества.

Иван Доронин — дитя деревни и рабочий славного Тульского оружейного завода, оторванный от станка службой в Красной армии. Его стихи звенят как сталь, которую он только что ковал, и в творчестве его тесно переплетаются лихорадочно кипящая жизнь большого города с затлтыми солнцем деревенскими полями.

Он любит природу, но деревенская тишь его не удовлетворяет, и он хотел бы оживить эти мертвые поля грохотом машин.

Николай Кузнецов — 18-летний юноша, токарь, до последнего времени работавший на заводе «Мотор». Это — «потомственный почетный пролетарий». На фабрике родился он. И он весь фабричный. Фабрика вспоила-вскормила его. Завод — излюбленная тема его ярких, свежих стихов.

Ксения Быкова — с малых лет изведавшая горечь жизни «у чужих» людей, эксплуатировавших во-всю детский труд. К. Быкова родилась в деревне, в крестьянской семье, но она сроднилась с городом, и властелином ее души является город.

Я здесь, я в поле родился,
Но с жизнью города слился,
Я пролетарка — всей душой,—

говорит она.

Александр Андреев — сын садовника, рабочий сцены Большого театра.

Кондрашин — еле грамотный, рабочий авто-ремонтного завода. Корытые, с трудом нацарапанные строчки его стихов почти немисливо разоблачают. Кондрашин не вышел еще из стадии подражания любимым поэтам, а потому в стихах его неустанно звучат колыбельские мотивы.

Было бы утомительно перечислять в отдельности всех авторов нашего сборника. Приведенных примеров достаточно, чтобы содействовать выяснению характера вошедших в сборник произведений.

Цель нашего сборника — дать широким массам рабочих фабрик, заводов и мастерских ряд песен и рассказов, вылившихся из-под пера таких же пролетариев, как они сами, и отражающих собственное настроение этих масс и творческий трудовой процесс.

Надеемся, что цель эта будет достигнута.

(Из сборника «Рабочая Весна» 1922 г., изд. «Моск. Раб.», стр. 1—2).

ИВАН ДОРОНИН

Автобиографическое письмо

Я родился в 1900 г. в Тульской губ., в деревушке-слободке Одоевского уезда. Мои родители — пролетаризированные крестьяне. Отец служил по барским дворам садовником, а мать кухаркой. До десяти лет я стерег гусей, свиней и проч., с 10—11 лет до 15 находился в учениках по садоводству и цветоводству у одного тульского выхжимпота Макеева. Был я там не один... работала до упада... но на 16 году я оттуда ушел и поступил в приборную мастерскую Тульских оружейных заводов, где и работал до 1920 г. Писать начал с 18—19 лет, первые свои стихи печатал в тульских газетах и журналах. В 20-м году меня мобилизовали, и я год находился на фронте. В 21 г. в Москве — лит. студия пролеткульта (по отсрочке В. Р. С. Р.). 22 г. опять в армии. В Москве печататься начал с 21 г. В 22 г. издательством «Московский Рабочий» выпущена книжка моих стихов «Гранитный луч». Теперь работаю над поэмой «Из-под ялики стихий». Первые 5 частей первой книги напечатал в тульском сборнике «Железные Дубравы», а также в альманахе

«Под знаком Комсомола», издания «Молодой Гвардии», — вышел в Петрограде.

Спасибо садам, полям и рекам... Спасибо пламени горнов и машинам заводов... То и другое наложило на меня свой отпечаток, то и другое я ношу в сердце...

И. Доронин.

23.IV 23 г.

ВЕСЕННЯЯ ЛЮБОВЬ

| | |
|--|--|
| Ой, цвети, Цвети, кудрявая рябина, Наливайтесь, грозди, Серце вешним; Я на-днях, На-днях — у дальнего овина Целовалась С миленьким нездешним. Все было хорошо. Так хорошо — И блузы синий цвет, И запах тополей. Он из города Ко мне пришел, Я — с полей. Он сказал: — «Вернусь я к покосу, Будем травы На лугах косить». И все гладил, Гладил мою косу, На руках По ржам меня носил. Ой, вы, ржи, Зеленые вы ржи, Мне бы с вами жить. Озелениться мне бы. Я люблю смотреть, Как ваша жизнь дрожит Под солнечною гладью Неба. Жаворонок, Выше, | Громче, Громче, Выше надо мной. Серце просит, Серце хочет Захлебнуться Майскою волной. Знаю, Скоро На широкой ниве Будет серп мой В золоте звенеть. На деревне Нет меня красивей, На деревне Нет меня дельней. Ну, и пусть Судачут Бабы — дуры, Будто норовлю В коммуны я, — В огороде Лебеду обходят куры, Сплетен лебеду Давно мну я. Ой, цвети, Цвети, кудрявая рябина, Наливайтесь, грозди, Соком вешним; Я намедни, Я намедни у овина Целовалась С миленьким нездешним. |
|--|--|

РАДОСТЬ ТРУДА

| | |
|--|--|
| По гречихам, По кудрявым, По кудрявым, Загорелым, Пролетел трамвай зеленокрылым, | Пролетел И скрылся за овсами, За овсами, Опыневшими от солнца. Ну, и солнце, |
|--|--|

Вот так солнце!
Так и дует,
Так и хлещет,
Так и пялится в зенит.
Золотое море дышит,
Золотое море пенится,
Звенит.
Слышу:
Трактор на пару
Разбивает влопыхах
Чернозема пену.
Эх,
В такую-то жару
Я намедни на лугах
Растрясала сено.
А когда мотор с трубы
Сбросил покрывало,
Я под небом голубым
В озере купалась.
Золотое море дышит,
Дышит,
Рвется,
Рвется,
Дышит,
Мечется из края в край;
Вот и вот
Из берегов
На долину хлынет.
А вязалка,
А вязалка,
Белокрыло гусиной
На волнах играет.
Руки крепки,
Руки цепки,
Косы в синих васильках.
Ой, никак,
Ой, никак,
Я не вылью синь лазури.
В сердце бура,
В сердце бура,
Сердце радость гудит.

1922 г.

(«Гранитный луг», стр. 33. Изд. «Моск. Рабоч.», 1922 г.)

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ

* * *

| | |
|--|--|
| Ну, вот они, такие же, как вчера, Вихрястые березы-раскоряки, Скамеечки у каждого двора, Ленивые, но чуткие собаки... | Рябины и столетние дубы, Тычинники, обмотанные хмелем, Тропинка от овина до избы; Колодезь со скрипучим журавлем. |
|--|--|

Да, вот они и хаты-шалаша,
Вишь, крыши-то соломенные сгнили!
Резвятся, как и раньше, малыши.
Не стукнуть ли в окошко, не

войти ли?

И с жадностью я слушал земляка:
То исповедь, то исповедь иная,
Как музыка, приятна и легка
Речь тихая, певучая, родная.
Мы прежние, но жизнь не такова,
И многое мы миром порешили.

(Из сборника «Рабочая Весна», стр. 4, изд. «Моск. Раб.», 1922 г., сборн. 1).

С. ДОЛНЫКОВ

МЕТЕЛЬЩИЦА

Перекресток,
Стук колеса,
Трамвая кренится уступ;
На повороте — тише ход,
И каждый день здесь на посту
Метельщица поет:
«Уж как ты, моя метла,
Деревенская ветла,
Ты мети, метла, мети
В эту сторону
И в ту —
Чтоб колесикам итти
Тут».
Тысячи ног —
Вчера и сегодня —
Пройдут по ребрам рельс,
Сотни вагонов —

Из города точеные слова
Шарами нам в трясику прикатили.
Осмыслили, что если муравьем
Неведомым работать для себя лишь,
То, может быть, раздавят сапогом,
А дружную коммуны не раздавишь...
А в сумраке — картинки и киот,
Военщина, и Ленин, и лошадка,
Быль новая, хоть старый пере-

плет,—

Не та уж ты, бревенчатая хатка.

(Из сборника «Рабочая Весна», стр. 4, изд. «Моск. Раб.», 1922 г., сборн. 1).

НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ

Род. в 1904 г. Покончил с собой в 1924 г.

СЫН ЗАВОДА

Я не собрал в лугах цветов,
Не знаю солнечной деревни,
Лишь лесни хриплые гудков
Я с детства слышал ежедневно.
Отец и мать тянули ляжку
В плену фабричных корпусов,
А я с ребятами в «орлянку»
Играл на улице босой.

И часто с книжкой рассказов
Любил беседовать в тиши,
Когда нужда сверлящим глазом
Меня искала задушить.
Лень образ матери-бедняги
Исчезнул в сумраке могил,
Завод — ворчливый работяга —
Меня себе усыновил.

(«Рабочая Весна», стр. 31).

II

ПОСЛЕ РАБОТЫ

Призадумался вечер румяный
Над окраиной дымной усталой;
Вышел с завода я пьяный
От грохочущих песен металла.
Загорелись зрачки фонарей,
Я, усталый, шагал не спеша,
А волны приводных ремней
Плескались в моих ушах.
Поработал я нынче здорово,
Мокрой стала рубаха от пота.

Так и тянет прилечь у забора,
Отдохнуть-то мне очень охота!
Спрессовались на улице сумерки —
Стало все мне кругом незнакомо,
И зарницы на западе меркли,
Когда подходил я к дому.
Ночь — в темносинем плаще —
Сменила задумчивый вечер.
А дома, за чашкой шей,
Сладостно ныли плечи.

(«Рабочая Весна», стр. 32, сборн. 1).

III

РАДИО-БАШНЯ

В синеву на полтора метра,
Откуда видны далекие пашни,
До туч гонимых ветром,
Выросла радио-башня.
Сжималось кольцо блокады,
Когда наши рабочие плечи
Поднимали эту громаду
Над Замоскворечьем...

Не беда, что она немного
Эйфелевой башни ниже:
Все же тучи, воздушной дорогой
Пробегая, ей голову лжгут.
Нашей работы упорной
Что может быть бесшабашней?
Когда нас душили за горло,
Мы строили радио-башни...

(«Рабочая Весна», стр. 5, сборн. 2).

КСЕНИЯ БЫКОВА

МОИ ЖЕНИХ

Не юноша нежный с изящным
пробором,
С питанно-холдным барским лицом,
С улыбочиво-томным блуждающим
взором,
Трепещущий, станет со мной под
венцом.
О, нет! Он гигант в распоясанной
блузе,
С лохматой и буйной, как вихрь,
головой,
Сольем наши души в свободном
союзе,
Без бога, без церкви, в наш век
трудоуной.
Пускай не белы и мозолисты руки,
Зато они сильны и тверды, как
сталь,
В глазах его нет ни томленья, ни
скуки, —
Он взором прозрел грядущего даль.

И грудь его бурная пламенем дышет,
А сердце борьбой и любовью горит;
Он счастья в бурях и молниях
ищет,
Он весь — напряженье, металл
и гранит.
Не носит он галстук с большим
бриллиантом,
Расстегнутый ворот и смуглая грудь,
И вместо духов налощенного
франта
Пьянящие капельки пота бегут.
Мы с ним не пойдём на остров
безлюдный
И счастья не станем искать
с фонарем, —
А в городе каменном, шумном,
и людном
В труде коллективном блаженство
найдем.

(«Рабочая Весна», стр. 39, сборн. 1).

НИКОЛАЙ КРАСИКОВ

ПЕСНЯ ИНВАЛИДА

Люди носят сапожок,
Смазывают ваксой...
Мне не надо: нету ног,
И не буду плаксой.
Не завидую друзьям;
Пусть под ручку ходят...
Захочу я погулять,
Костыли проведат...
Я по улице иду,
А собаки лают,
Оттого что костыли
Страшно их пугают.
Много нищих и калек:
Есть чем любоваться,

Так воспитан человек —
Горем наслаждаться.
Прочитал афишу: «бал
Есть в Наркомпочтеле».
— «Эх, и я бы танцевал,
Вы бы песни пели».
На Поволжьи вот живут, —
Моя с краю хата, —
Из соломы хлеб пекут,
Брат хлебает брата.
Ужас... Слезы ничо чем...
Пусть едят друг друга...
Мы танцуем и поем...
Замети все, выюга...

(«Рабочая Весна», стр. 35, сборн. 1).

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Лирика

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ ТКАЦКИЙ РАЙОН

А. ВОРОНСКИЙ ОБ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ ПОЭТАХ

Отрывки из «Литературных заметок». «Красная Новь» 1921 г., кн. II¹

1. Песни северного рабочего края. «Крылья Свободы». Иваново-Вознесенск. 1919 г. Стр. 39.
«Красная улица». Стихи и песни. Иваново-Вознесенск. 1920 г. Стр. 111.
«Сноп». Стихи и рассказы. Иваново-Вознесенск. 1920 г. Стр. 70.

Среди русских северных равнин, пересекаемых лесами, стоит город, в котором много старинных церквей и часовен, но еще больше фабричных труб. Древний посад — и рядом гнезда фабричных корпусов вдоль небольшой и неизмеримо загрязненной реченки Уводи. Есть что-то глубоко своеобразное, я сказал бы — исключительно русское, в этом сочетании осколков старины с сооружениями машинного века, часть которых оборудована не хуже первоклассных фабрик Манчестера.

На всем — пелена безмолвной, незримой, но явно ощутимой, тихой, родной северной печали, и веет старым, недавно казавшимся вековечным бытом. Если перенестись дальше на север, на несколько десятков верст к Волге, то взгляду откроется тихий заштатный городок Плес, одно из лучших мест на Волге, ее жемчужина, — городок, где проводили когда-то время Левитан, Чехов, Шалапин. «Над вечным покоем» — это Плес. И вся губерния обвеяна Плесом, «вечным покоем» русской северной природы.

Губерния — рабочая. В ней живет суровое рабочее племя — северный ткач. Северный ткач молчалив, сосредоточен, его движения медлительны, он — тяжел на подъем. У него холодные голубые глаза. Он вынослив, терпелив, решителен и дисциплинирован лучше питерского и московского рабочего.

Во время русской революции ивановские рабочие десятками тысяч отправлялись на фронт. Они были под Ярославлем, под Казанью, под Уфой, в Сибири, на Дону, в Туркестане, на Кавказе, в Архангельске, в Польше, под Киевом. Бились упорно и крепко. И так же крепко голодали их жены, дети и товарищи в родном краю. Но упорно отстаивали каждую пядь революции и строили новую жизнь, и строили умело и с толком.

Русская революция дала Ленина, Троцкого, но, главное, она дала героические рабочие массы. Среди них видное место занимает голодный сосредоточенный ткач красной губернии, совершивший ряд чудес.

¹ «Красная Новь». Август № 2. Гос. Издат. Москва. 1921 г.

О северном неярком дне и белых ночах, о лесах и переселках, плакучих березках, об убогих деревенках и овинах, о душе, которая тянется к любви и новому будущему, о революции и многострадальной Советской родине нашей, о борьбе со злым черным ворогом, о рабочей околоте и грохоте фабрик, «о миллионах сотканннх аршин» в адском труде, — обо всем этом сложены стихи и песни Иваново-вознесенских поэтов. Мы насчитали в этих сборниках более 25 авторов — певцов рабочего Северного края. Некоторые из них были достаточно известны уже раньше: печатались в толстых журналах, в ежедневной прессе. Таковы Мих. Артамонов, Д. Семеновский, Василий Смирнов. Но большинство из них молоды и даже юны и начали слагать свои стихи и песни во время революции: Иван Жижин, Сергей Семин, Калика Перехожая (Баркова), Огурцов, Сумароков, Ник. Смирнов, Н. Уронов и т. д. В предисловии к сборнику «Сноп» авторы говорят о себе: «многие из нас, прежде чем выйти на ниву слова с серпом поэтического творчества, еще так недавно расстались с реальным, а не аллегорическим серпом земледельца и молотом рабочего». Это в самом деле так. Нам, по крайней мере, известно, что Сергей Семин — простой пастух, попавший с поля в армию и сделавшийся на войне инвалидом; Калика Перехожая (Баркова) — дочь училищного сторожа, Михаил Артамонов — рабочий, Иван Жижин — сын прачки, другие — люди мелкого конторского труда; некоторые, как Тимошин, Н. Смирнов и другие, недавно еще входили в Союз Молодежи. Во всяком случае, это — подлинный рабоче-крестьянский демос. Не все написанное в сборниках одинаково ценно. Есть неровности, промахи, шероховатости. Чувствуется подражательность: Ник. Смирнов подражает Бунину, у Жижина порой ощущается Бодлер, в стихах Семина звучат некрасовские мотивы; но в этом большой беды нет: мы имеем дело с поэтами, недавно выступившими со своими вещами. В целом же у большинства — намечается свой собственный язык, свой подход, сформировывается свое литературное «я».

Совершенно ясно и сложился Михаил Артамонов. Удаля слободских парней, хмельные, привольные полевые песни, колокольчики, бубенчики, гармонь, алье ленты, сарафаны, поцелуи — это душа, первооснова его стихов. Душа рвется к поемным лугам, к летним росным ночам, к милой «девушке-зарянушке» с «очами синими», а фабрика приковала прочно к себе; «люд замолк и угрюм», старый патриархальный быт безжалостно сломлен. Но еще живы и свежи воспоминания о деревенском полевом приволье, о деревенских гульбищах, и тянет к простору, в поле, в лес. Михаил Артамонов — весь еще в прошлом. Он — деревенский парень, попавший в плен каменных стен. Оглушенный, растерянный, измученный, непонимающий, стоит он среди стальных матцк, среди грохота и шума. Поэзия огромных городов, стальных машин, каменных корпусов — ему неизвестна. Города, фабрики он не принимает. Он — коммунист, он за новую Советскую Русь, но потому, что в тайниках души он верит, что новая Русь даст в конце концов возможность тысячам деревенских парней вернуться домой в родимые деревни, к лугам, перелескам, свежему селу, и снова зазвенят разухабистые частушки, разольется гармонь, и будут прыгать через костры «в Купала дивною ночью». Город вызывает у Артамонова тоску, скуку; он только гнетет, выхланивает душу. Стих Артамонова по-деревенски звонок, наивен, свеж, непритязателен, часто похож на частушки, легок и прост, что не мешает ему быть довольно богатым. Он тоже весь от деревни.

Мотивы поэтического творчества Артамонова характерны для литературного облика почти всего поэтического кружка красной губернии. Каждый поэт по-своему слагает стихи и песни, но есть в них одно общее, присущее всем, — в итоге, это песни и стихи деревни, вынужденной стихией обще-

ственного развития двинуться в города, в каменные — «стоюкие корпуса», и еще не понявшей и не принимающей ни города, ни этих корпусов. Это — поэзия текстильных рабочих, ибо на севере ткацк наполовину еще связан с деревней, живет в деревне, и город и каменные корпуса с особой жестокостью дают недавних деревенских парней. А деревня так близка, северные поля и леса совсем на виду, за грязной околицей. На зеленом пригорке — почти бок-о-бок с фабрикой — стоят старинные незатейливые часовенки, а в лесах еще недавно в пещерах спасались отшельники, и из глубины лесного озера вот-вот выглянет старинный Китеж-град. От этой близости острее чувствуется противоречие машинного века, деревня тянет к себе своей непосредственностью, своим северным очарованием. Особенности молодых поэтов северного рабочего края бросаются в глаза при сравнении их творчества с творчеством поэтов тяжелой металлургии. Здесь преобладает рабочий, уже давно порвавший с деревней, забывший о ней; он уже весь городской. Для него рабочий молот, паровая машина, приводные ремни, шум и свист шестерни не только символ угнетения и рабства, но и символ нового будущего, когда человек сознательно подчинит себе стихии природы и общественного развития; наоборот, деревня в его глазах — синоним костиности, невежества, тьмы. От этого различие в тонах, в настроениях, в направлении, в характере. Поэзия Гастевых — это гимны стали, бетону, доменным печам, она скупа к деревне. Деревни в ней нет. В стихах поэтов северного текстильного края мало, очень мало о стали и бетоне, но зато сколько в ней тяги к деревне, любви к ней!

Самый значительный и даровитый из поэтов этой группы — несомненно Д. Семеновский. У него — почти чувственная влюбленность в северную деревню.

Не пойму, но мне всего дороже
Хмурой сляки втретпанный шатер,
Тишина пустынных придорожий,
Облака, да ветряной простор.

Эта влюбленность доходит до благоговейного молитвенного преклонения:

Я молюсь и березкам плакучим,
И деревне на дальнем пригорке,
Птичьей песенке, ветрам и тучам,
И повязанной облаком зорьке,
Отуманенным синим просторам,
И жердам пошатнувшихся присел,
И лесам, что пахучим убором
Хмурый север несмело украсил.

Оттого у Семеновского то-и-дело — церковные сравнения: «кадят луговые цветы», он говорит о «золотых глаголах», об «иконе небес и полей», а свои стихи он называет «канонном ласкательных и сладких песен».

Русской революции и Октябрю Д. Семеновский посвятил довольно много стихов, но и здесь города нет.

Несколько особняком стоит в некотором отношении Иван Жижин. Но и он говорит прежде всего о мучительном плене в «каменных гробах».

И нет мучительнее плена —
Замкнуться в каменных гробах,
Где мертвой силой дают стены
И ржавит душу жуть и страх...

Если город и фабричные корпуса лишили Михаила Артамонова деревенского раздолья, размаха, гармонии, — если Семеновский не находит в городе

выхода своему молитвенному преклонению перед дарами природы, — если Семин полон мужицких дум, то Жижин испытал в городе «жуть и страх» и страшится городского хаоса:

Я спугал все пути и перепутья
В топке, где каждый зверь и человек,
Топит меня толпа злойшей жутью
И зелень зла в оправе пудлых век.

Когда читаешь стихи Жижина, кажется, что время от времени из глубины души у него поднимается едкое отравленное испарение, душат мысли и несут с собой безумие, доится явь и сон и реют кошмары. Жижин знает, что выход из этого плена один: борьба за новое будущее. Во дни наступления Юденича на Петроград он взывает:

Товарищи! Враги кольцом проклятым
Текут на Русь, на мняй наш гранит.
От Гдова на залив и по Олонцу,
Как рой мокриц, их движется орда.
Дадим обет немеркнущему солнцу:
Могила гадам — наши города...

В ряде стихов Жижин воспевает победу труда, но порой чудится, что пережитая жуть каменных гробов вновь вторгается в душу. Подобно глазам гадюки, о встрече с которой с большой художественной силой рассказал в одном из стихотворений Жижин, прошлое каменных гробов продолжает смотреть на него своим стеклянью-синим взглядом.

Дымился ствол. И жгут змеи разбитой
Был недвижим. Рассеялся заряд.
Но мне казалось, что на гнилы взрытой
Еще горит стеклянью-синий взгляд...

Нам думается, что в сборниках поэтов красной губернии есть своя правда, как и в поэзии тяжелой индустрии, талантливим представителем которой является Гастев. В поэзии бетона и стали — сознание, что грядущее будет опираться на чудеса техники и науки, что в свисте приводных ремней — освобождение человека от позорной зависимости, от злого мирового хаоса, — что здесь зреет новая сила — сила коллектива. В полевых песнях Артамонова, в молитвах-песнопениях Семеновского, в мужицких думах Семина, в стихах Сумарокова и других — боль человеческой души, отравленной городом, оторванной от лесов, приволья степей, — тоска искривленного человека по жизни, где нужны не только бетон и сталь, но и цветы, много воздуха, неба, вольного ветра. В этой тяге, в этой тоске и жажде — есть своя правда. На сборниках в целом отпечаток рабочего севера, где рядом фабрики, тяжелый, непосильный труд и тихий простор полей, Плес, овнины, гумна, благоуханные, задумчивые леса. И это очень хорошо, что о своем заветном и родном поют по-своему дети сурового рабочего племени. И поют хорошо.

В последнем сборнике «Сноп» не трудно уловить кое-что «новое». Но это новое хуже старого. Часть литературного кружка, повидимому, соблазнилась лаврами имажинизма. Это не нужно, это лишнее. Выражение «олунен», «красит тротуаром губы» являются неудачным подражанием неудачным вещам. Не этих «тротуаров» не хватает литературному кружку красной губернии. Им не хватает близости к повседневной нашей борьбе, близости к рабочим массам. На это следует обратить внимание, и уже совсем не

стать заигрывать с имажинизмом. Вообще же у авторов сборников есть, о чем слагать стихи, и есть то, что называют данными, есть «искра божия», есть свое. Значительно и заметно выросла и окрепла Калика Перехожая (Баркова), хотя ее творчество становится все более и более интимным. Хороши последние стихи Сумарокова. Попржежму с пафосом пишет Вас. Семенов. Правда, на некоторых сказались наши тяжелые дни, но мы уверены, что дело молодого кружка не будет гложуть, и следующие словесные снопы с каждым разом будут становиться более и более зрелыми.

В последнем сборнике помещены небольшие недурные рассказы Семеновского, Артамонова. Этим делом — рассказами, очерками и т. п. — следует заняться поэтам рабочего севера более серьезно. В нашей литературе есть хорошие стихи, но почти нет хорошей художественной прозы...

ИВ. ЖИЖИН

ДРУЗЬЯМ

I

Мих. Артамонову

Не мудрой, но ядреной яви душу,
Всю жизнь живую сел и деревень
Хотел бы в расписную боковшу
Собрать поэт и бросить в новый
день.

Никто, никто про радости и горе
Нам не расскажет лучше, чем
гармонь.
Мужичья удаль широка, как море,
Кот тлеет под рубахою огонь.

1920 г.

II

Сергею Семину

Прерывают струи знойной жри
Перелесок кружевные шлюзы.
В день погожий пастушок Сережа
Полевых цветов нарвал на Музы.
В уголок свой светленький

и тесный
Васильки принес и медуницы,
Сплел веночек, да такой чудесный,
Для своей красавной голубицы.

1920 г. (Из сб. «Мое», стр. 83, 87. Изд. 1922).

МАРТ

Вот и весна. Проталины. Крики.
Капели.
На окне осока выпустила длинную
стрелу.
А бабушка целый день по дому
бродит без цели.
Кот не знает, где лучше: на окне
или на полу.
— Рамы бы выставить?.. Как
говорила Лизе!..
Нет, ведь, не слушает... Этаким стал,
право, вольный народ!..
— Посмотри-ка, бабушка, вон,
там, на карнизе

Воркуют голуби...
Нет, не видит,
Слаб слухом и кот.
А на алыи капор нашла новые
завязки
И думает: «в светлый праздник
сплываю к ранней в сбор»..
Ах, март! почему твои золотые
краски
Так ярко струятся и в душу и на
мшистый забор?

1913. (Из сб. «Мое», стр. 17. 1922).

КИРПИЧНЫЙ КИТ

В лохмотья ветер о крыши рвется.
Бесстекие окна жутки, темны,
И, как в пропасти колодца,
Коченеет дремно муть тишины.
Звенят в лазури жучек ветрила.
А он—на дне дня кирпичный кит—
Обнажив свои ребра—стропилы,
Непробудно на диких травах спит.
И в нем не грустит стальная прялка
О том, что работа так тяжела.
В паровом котле глупая галка
По весне даже гнездо свила.
Плетутся слухи, что чертенятки
По ночам на людей наводят страх.
А днем детвора играет в прятки,

Хоронясь в худых его корпусах.
Но ни ветер, ни галка смешная
Не чувят, как в мире редет мгла,
Креннет Руси мощь аржаная,
Новой жизни твердеет скала.
И что скоро всемирной сиренью
Расплеснется немеркнущий свет
Пролетарского преображенья
Над бесконечностью грядущих лет.
И облачный куст воду живую,
Как в сказке, на мертвый камень
скропит, —

И, ожив, как бы в даль голубую,
Грохоча, поплывает кирпичный кит.
1922. («Мое», стр. 144. Изд. 1922).

МИХАИЛ АРТАМОНОВ

Род. в 1888 г.

ВЫСЕЛКИ

Посвящая Максиму Горькому

На бледной неба просини,
В тиши родных полей,
От третьегодней осени
Дрожит стоокий змей;
Дрожит и пышет полами,
Бросая дым, патью,
Между полями голыми,
Предав все забытью.
То фабрика-изменница
На Выселки дымит,
То тучью оденется,
То змеем засвистит.
Гудят стальные матицы,
Подпоры этажей,
И эхом гулким катится
Шум в проголи полей...
Не паханы, не ораны
Поля и косяки,
Кружатся низко вороны
На гумнах у реки...
Как время-то изменится!
Где рожь — репейник там;
Всех фабрика-изменница
Взяла по корпусам.

Бывало, над угорами
Гармонь зовет, звеня.
Глаза горят задорами:
Поймай-ка, мол, меня!
Бегут по склону девушки,
Парня ли не догнать?
В горелки, в погорелушки,
Теперь им не играть.
Семик ли правят девицы,
Бережки — ал жаряд.
Где склоны зеленеются,
Гармоники звенят.
И смех влекущий, внутренний
Влечет, зовет игрой,
До самой до заутрени
Не тихнет над рекой...
Колдуют ночи чарами,
Угарами — в семик.
В поеме над стожарами
Вороний слышен крик.
Захлопали, закаркали,
Над выгоном кружась...
— Чего ты ждешь, подарка ли,
Венца ли — все для нас!
Не я ли зори красные

Тоскую и не сплю?
Ой, милая, ой, ясная,
Тебя ль я не люблю?
Вся жизнь моя не почата,
Всю жизнь тебе отдам!
А зори-то, а ночи-то,
Взгляни: колдуют нам...
Ой, ночи, ночи ранние,
Кого вам не смутить?
Жизнь радостей, туманнее,
Теперь ли нам не жить?

Веник плетут и венчики
Бросают в бочаги,
Рвут алые бубенчики
В поеме у реки...
Звенит смех девий около:
Кем буду занята?
Гадают про мил-сокола,
Глядятя в омота.
Кто суженый, кто ряженный,
Скажи, Царь-Водяной,
Кто будет разряженный
Венец держать со мной?
В огумнах в ночьку темную
Кто будет милой звать?
И с лаской неумею
Мне косу расплетать?
Гадают о мил-соколе,
Глубоко ли падет,
Глубоко ли, далеко ли
Венок их проплывет?

Придет ли праздник Троица,
День Духов — средь села
Игра-певун настроится
Шумна и весела.
Ломают парни пряники
И потчуют девье:
Ты милая, хорошая,
Ты солнышко мое!
Возьми, отдавай пряника!
— «Любила бы — взяла!»
Ой, солнышко, ой, красное,
Напрасные слова!

Все взрослые с подростками
В Купала дивью ночь
Стоят над перекрестками —
Сорвать цветок не прочь;
Стоят, колдуя старыми
Поверьями времен,
И слышен за стожарами

Их поцелуйный звон.
Колдуют ночи пьяные,
Дымит росой трава,
И листья те смутяные,
Их пьяные слова.
Ой, вейся, вейся, алая
Ты ленточка-косник!
Тебя ль не сберегала я?
Да развеил чаровник...
Вошел ко мне мой суженый,
Мой ряженный вошел.
Вся жизнь моя разружена,
Он косынку расплел.

Прошло то время вольное,
Былой разгульный взмах.
На фабрику — раздольное —
Попрятаю впопыхах.
Стоят на прежнем гудьбище,
На выселском холму
Глядятя в омота.
Три корпуса фабричные
Стоят, гудят в дыму.
И с этих пор предания
Былой изустный сказ
Стал призрачной, туманнее,
Все гас и гас... погас...
Всех девушек-зорянушек,
Чей облик светел, мил,
Всех корпус горя-фабрики
К себе заполонил.
Парней, что шли с гармониями
В семик весенний день,
Загнал тот змей — угонами
С окружающих деревень.
И старые и малые
Стоят по корпусам.
Ой, снежки, снеги тальные,
Не бегать в поле нам!
Придешь в ночи измученный,
Раздавленный, больной.
Все вместе, но разлучены
За каменной стеной.
Шумит, гремит и охает
И стонет меж полей
На горе нам построенный
Стоокий корпус змей.
Гудят стальные матицы,
Весь люд затих, угрюм.
Рокочет, стонет, катится
Фабричный гулкий шум.
Ой, очи, очи синие!
Понять ли в вас тоску?
На фабрику богиню

Вошла ты ткать к станку.
Коса, что лен расчесанный,
Пленила, обожгла.
Ты взглядами забросана
Ткала, ткала, ткала...
Бежал уток с основой,
Шумели корпуса...
Не свыклась с жизнью новою
Ты, русая коса!
Потухли очи синие,
Туман их заволок.
Все будто в блексти инея
Наряжены в хлопок.
Коса, что лен расчесанный,
К тебе всех привела.

(«Красная улица», стр. 5. Изд. Вознесенск. Губ. Аг. Центропечати. 1920 г.).

ЗЕМЛЯ РОДНАЯ

Земля родная,
Твои просторы
Гудят набатом,
Зовут призывом,—
И голос властный
Зажжет, и скоро,
Огонь великий
По тихим нивам.
Народ, стоявший
Вдали от пира,
Народ, стонавший
В нужде великой,
Расправит крылья.

Ты взглядами забросана
Терпела, но ткала.
Шли целыми оравами:
Контора, мастера.
Пронизана лукавыми
Ты взглядами с утра.
Все ждали, ждали случая
Втоптать бы в грязь тебя!
О, кроткая, могучая,
И светлая моя!
Верь, сгинет тьма нещадная!
Забудь ты скорьбную.
Крепись же, ненаглядная,
На жизненном бою!

(«Земля родная», стр. 50.
Госиздат. Петрогр., 1919 г.).

* * *

Растяну меха гармони,
Да нажму я на баса...
Вы развейтесь на прогоне,
Золотые голоса.
Звонче, звонче, переборы,
Пойте, звонкие лады,—
Выйдет милая на горы,
Прибежит из слободы.
Ой, ты, Волга-крутогорье,
Берега — зеленый сад,—
Разгони шалое горе,
Вороты тоску назад.
Ах, я ласков с милой буду,
Всю ей душу расскажу,
Все-то, все ей раздобуду,
Всех нарядней обряжу...
Все сдается — скрытна стала:
Все-то ходит стороной,

Да грустна, не как бывало,
Да нерадостна со мной.
Все-то, все достану милой,
Принесу моей любви,
Только будь, как раньше было,
Только ласку прояви.
Вижу слободу-заречье —
В окнах теплится огонь,
Я взмахну ремень на плечи,
Трону звонкую гармонию.
Ах, моя гармонь-двухрядка!
Звонки клапаны-ряды!
Я пройду ли вдоль порядка,
Вдоль заречья-слободы.
Знаю: выbehит на горы,
Знаю: встретится краса,
Звонче пойте, переборы,
Золотые голоса...

Ах, гармоника-гармонь,
Разожги в душе огонь!
Жизнь нам светом освети
При беспутнице-пути!
Дай забвенья хоть на час;
Радость мало знает нас...
Белым светом, ворожейбой
Мир тоскующий покрой!
Ах, гармоника-краса,
Подголоски-голоса,

Вейтесь, лейтесь вдалеке
При безрадости-тоске...
Выйду, стану у ворот,
Где тоскует и поет
Медный голос под рукой
С неразвезанной тоской...
Ах, гармоника, гармонь,
Дай хоть ты душе огонь.
При беспутнице-пути
Белым светом освети!..

(«Земля родная», стр. 98).

СЕРГЕЙ СЕМИН

МУЖИЦКАЯ ДУМА

Помолюсь я солнцу огневою,
Поклонюсь кормилице-земле,
Ветеркам и небу голубому
И румяной ласковой весне.
За тебя я жизнь свою с любовьюю
Положу, кормилица-земля.
Я вспоил тебя своею кровьюю,
Окропил слезами я поля.
Много лет тяжелых пережито,
Горьких много выплакано слез,
Лишь теперь обильней будет жито
После трудовых кровавых рос.

Для меня теперь настало время
Развернуться, грудью всей вздохнуть-
И с согнутых плеч невзгоды бремя
Навсегда последний раз стряхнуть...
Помоги же мне, весна-царица,
Пред твоей молюсь красотой,
Награди поля мои пшеницей
И душистой рожью золотой.
Не совсем душа во мне убита,
Много чувств и силы у меня;
Горечь жизни будет мной забыта,
Не боюсь черного я дня.

(«Красная улица», стр. 77)

СЕРАФИМ ОГУРЦОВ

СВАДЬБА

Прозвенело над полями:
— Тына, тына, тына, ты-на! —
Загудорила гармошка
У кудлатого овина.
Разгулялася деревня, захлебнувшись
самогоном...
— Ловко сватают Матрену! — Ловко
сватают Петра...
Песни пьяные полочут над
ромашковым загоном,
Прогуляют нынче долго, до
зарнистого утра...

А гармошка:—тына, тына,—
заливается певуче,
Звонко бубен серебритса и звенит,
звенит, звенит...
У веселого Игната распрелалиса
онучи...
— «Эх, да ну! Игнат Семенич,
пожарче звездани!»
Сами ноги землю роют,
А гармошка: ты-на, ты-на...
Поженили Петьку с девкой
У кудлатого овина...

(«Под знаком Комсомола», стр. 67).

БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ

Толпа гуторит, колыхается,
И тонет день в весеннем звоне,
Глаза лучисто улыбаются,
Басит Шаляпин в граммофоне...
Платки пестреют, словно
цветики
В траве зеленого кургана;
Горит картина на буфетике:
«Весенний вечер» Левитана.
Лубки раскинув и портреты,
Кричит веселый спекулянт:
— «Вот знаменитые поэты!..
Художник Репин и Рембрандт!»
На лик Христа немного
спроса...
Торговки спорятся, кричат;

Портрет — издание Нарком-
проса —

Сияет плешью Ильича...
Оглобли подняты высоко,
Лошадки чавкают овес;
С иконы, с грустною глубокой,
Глядит непроданный Христос.
А день цветет в хмельном
угаре,
Весенним зноем охмелен,
И с грустной жалобой в базаре
Басит разбитый граммофон.

(«Под знаком Комсомола», стр. 68).

Д. М. СЕМЕНОВСКИЙ

Всем нам, всем: цветам, деревьям,
людям —
Для любви раскрыться суждено.
Мы цветем, мы теплимся, мы любим
И, любя, сливаемся в одно.
Я такой же, как побеги мая,
Как подснежник, вспыхнувший
у пня.
Оттого влюбленность молодая
Сладко взволновала и меня.
Вслед восставшим из земли
растеньям,
Вслед зеленой ветке и лучу

Затаенным солнечным цветеньем
Я дрожать и пениться хочу.
Звезды, звезды, счастлив, кто
полюбит,
Чьей душе опять дано цвести!
Лунный свет еще нежней голубит
Каждый камень на моем пути.
Небеса доступнее и ниже,
И в пугливой вешней тишине
Сердце мирозданья бьется ближе —
Может быть, в тебе или во мне.

(«Красная Новь» 1922 г., кн. 5, стр. 81).

Я послан в мир, чтобы сказать,
Что неба праздничная риза,
Леса, холмы и луга гладь —
Великолепней Парадиза.
Я в этот мир несу канон
Ласкательных и сладких песен.
Чтоб этот мир узнал, что он
Неизглаголанно прелестен,

Чтоб человек, блажен и свят,
Дышал дыханьем свободы,
И, украшая жизни сад,
Молился красоте природы.
Я полюбил лицо земли,
Подобный радостному раю,
Живу и на поля мои
Я милость мира призываю.

(«Красная улица», стр. 62).

АННА БАРКОВА

ЖЕНЩИНА

Я — зерно гниющее, страдая,
На закланье я иду,
Кровь души с роптаньем отдавая
За грядущую звезду.
Я была березкою пугливой,
Трепетавшей на ветру,
И цветком, вpletенным прихотливо
В сладострастную игру.
Тяжело израненной рукою
Путь скалистый прорезать;
Я хочу с рыдающей тоскою
К неизвестному воззвать:
Боже, боже, сильными убитый,
О, воскресни для меня!
Я слаба; я ранами покрыта!
Голос дрогнет, зазвеня.
Обреки бессильную, как прежде,
В ласках милого стихать,

Иль предай монашеской надежде
На много жениха.
И враги мне вкрадчиво зашепчут:
— Ты бессилием сильна;
Слышишь, птицы яркие лепечут?
Ты из них одна.
Береги бледнеющие лилии,
Руки нежные свои;
Их законы мира сотворили
Для одной любви.
Но до сердца стыд меня пронзает,—
Пусть я горестно ропщу:
Созревает женщина иная,
Я в себе ее ропщу.
Я — зерно гниющее, страдая,
На закланье я иду;
Я ропщу, но все же умираю
За грядущую звезду.

(Из «Красной Нови», № 3, 1921).

* * *

Не смотрите на меня. Я смешная;
На мне смешной и убогий наряд.
Ах, слышком многое, верно, знает
Ваш насмешливо-хмурым взгляд.
Обручились с мечтаньем покорно я,
И краснеет смешное лицо...

Но часто хочется в заводь черную
С дерзким смехом забросить кольцо.
Потаненным кольцом не хочу я
Приковаться незримо к нему.
Кольцо со смехом в песок затопчу я
И с гневом голову я подниму.

(«Красная Новь». «Октябрь», № 3. Гос. Издат. Москва, 1921 г.).

НИКОЛАЙ СМИРНОВ

МЕЩАНСКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Дед-мороз прохожий, древний
странник,
Рядит окна в кольца серебра.
На божнице кожаный помяник,
Свечка и сухая просфора.
Старый кот задумчиво и мудро
Что-то непонятное ворчит.
Ярко, тихо солнечное утро,
Самовар как песенка звенит.

И дымок от самовара сизый
Вьется нежно, словно кисей.
На буфете — старые сервизы;
Стены — голубая чешуя,
Зеркальце, рушник и безделушки,
Старомодных кресел ряд.
А часы с печальной кукушкой
Заглушенно, ласково гудят...

(«Красная улица», стр. 100).

ВАС. СМИРНОВ

ТАЛЬЯНОЧКА

Эх, пойду-ка я с гармошкой
Мимо дома лапушки,
Не дорогой, не дорожкой,
А лужком по травушке,
Тонко, звонок голосочек
У гармошки новенькой:
У зазнобушки глазочек —
Цветик чернобровенький.
Ты играй, моя гармошка,
Ты играй, тальяночка!

Глянь на улицу в окошко,
Девочка-смугляночка.
Ладно, складно лад в ладочек
Песенка играет.
Ты постой со мной чуточек
У ворот, красавица.
Заливается гармошка,
Разошлась тальяночка...
Нет милашки у окошка,
Где ж ты, смугляночка?

(«Красная улица», стр. 82).

АВЕНИР НОЗДРИН

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ

Краду тать в ночи, поднявши ворот,
Крадусь я городом родным,
А ведь недавно этот город
Меня любил, считал своим.
Родная, милая сторонка,
Пришел семью я увидеть!
Хоть услышать бы плач ребенка!
Хоть колыбель бы покачать!
И как-нибудь до наступленья
Дня жизни шумной, городской

Еще одно я преступленье
Свершу: увижусь с семьей...
Посты мне в городе знакомы,
Я обойду их, прячась в тьму,
С тряпья холодного, с соломы
Семью родную подниму.
А схватят... Тяжкая дорога...
Этап... дорога на гроши...
И я до милого порога
Иду, крадусь, как тать в ночи.

(«Красная улица», стр. 53).

СМЕРТЬ ТКАЧА

Всю жизнь он ткал, сдавал миткаль.
Его обмеривали в штучке...
В его лице жила печаль
Большой, невысказанной муки...
Он умер. Сменщик загрустил
Его, учтя своих дней силу,
И с плачем смену пропустил,
Отнес товарища в могилу.

Ткача несли на миткале,
В грубу лежал он бледный, тощий,
И на пути к сырой земле
Не тяготились смертной ношей.
Но и на этот раз миткаль
Он растянул, пример дал штучке,
А взял с собою он печаль
Большой невысказанной муки.

(Там же, стр. 56).

А. СУМАРОКОВ

ПИМЕНУ КАРПОВУ

Глухой, угрюмый город скучен,
А там уж теплится земля.
Журчащей влагою озвучен,
Иду, куда влекут поля!
Прости, уют! Мне сумрак страшен.
Я ухожу в бескрайний день,
Принять печали темных пашен
В огнях далеких деревень.
Как хорошо, не зная раздумья,
Итти на вкрадчивый призыв
В тоске весеннего безумья
В родной простор безвестных нив!
Звенит, звенит мой древний посох,
Ложатся тени, как мечи,
Клубится вьсь в туманных плесах,
И звезды искрятся в ночи.
Я познаю печаль бездомных
В твоей таинственной судьбе,
Чтоб одиноко в далах темных
Скорбеть и плакать о тебе.

Весенний день светлей, раздольней
Глядит сквозь яркие лучи,
Как над старинной колокольней,
Чернея, носятся грачи.
Звенящей влагою изжале
Раздался снег, и тонкий дым
Над чернью преющих проталин
Повиснул пологом седым.
Поют ручьи, струятся речки,
И с светлой синей высоты,
Как загоревшиеся свечки,
Блестят церковные кресты.
И видят звезды темной ночью,
Как, нарушая шумом тишь,
Сползает тихо к узорочью
Последний снег со скользких крыш.
И счет веду я дням, неделям,
И жду, когда в родной глуши
Весна коснется ярым хмелем
Моей тоскующей души.

(«Красная улица», стр. 105).

ПУШКИН¹

Как хорошо растаять с ночью
 И, не успев ее забыть,
 Еще мутясь от сонных ключев,
 Вдруг утро Пушкиным открыт!
 Мгновение — и блеском чудным,
 И вест звучным блеском дух,
 И упоеньем безрассудным
 Цветет, поет и взор и слух.
 И вот, овея упоеньем,
 Затеплили любовь листы.
 «Я помню чудное мгновенье,
 Передо мной явилась ты»,
 Звонит стыдливый пыл Татьяны,
 Онегина брюзгливый вид,
 Вот в «Подражаниях Корану»
 Восток по-русски говорит.
 Державный ученик победный...
 Стихийный, величавый смотр...
 А вот сорвался, скачет, медный,
 Грохочет медным гневом Петр.
 А вот в небрежном вдохновенны
 У зенья чудеса звучат,
 И вот Сальери, в упоеньи,
 Завистливый подносит яд.
 Подносит яд, но я и сам бы
 Был поднести России рад
 Подобный яд, который ямбы
 Так сладостно струят, струят...
 Звенят, сияют ямбов струи,
 Губам даруют чудеса,
 Как будто сам меня целует
 Коурявый славный Александр.

Василий Казин.

¹ Василий Казин. Художеств. альманах «Наши дни» № 2, 1922 г., 31 стр.

Под кратким термином — классическое искусство — я разумею бесспорно ценные произведения во всех отраслях искусства.

Наше собственное пролетарское или коммунистическое искусство имеется сейчас только в зародыше. Говорить, что все старое искусство лишено всякой ценности, что на земле не было великих эпох искусства, великих художников и великих произведений, можно только по лицемерию или по невежеству.

Полагать, что пролетариат есть голый человек на голой земле, который отказывается от всей прошлой культуры, может только оголтелый анархист, случайно принявший себя за коммуниста и за марксиста. Здесь особенно показательными являются мнения самого Маркса. Мне доставило немалое удовольствие свидетельство Меринга о том, что Маркс «считал безнадёжными идиотами людей, не понимающих значения античного искусства для пролетариата».

Да, мы живем на земле, которая имеет богатую культуру, развивавшуюся несколько тысяч лет. Конечно, мы находимся в совершенно особом историческом моменте; конечно, настоящая заря подлинной человеческой истории занимается только сейчас. Конечно, вполне человеческое искусство возможно только в относительно близком будущем, после решительных побед труда над капиталом.

Но из этого вовсе не следует, чтобы в прошлом не было целых эпох, когда бодро развивающиеся впереди целых наций классы не поражали бы искусства, чрезвычайно близкого по своему духу тому, которое не может не восприниматься радостно пролетариатом-освободителем.

Вспомните, что говорит Энгельс о французской революции или о германском идеализме? Буржуазия в эпоху французской революции шла впереди других классов и вынуждена была некоторое время выражать общечеловеческие политические идеалы. Пусть она выражала их не полным голосом, в несколько искривленном виде, тем не менее лозунги французской революции остаются дорогими и для нас. Пусть германская буржуазия, развертывая в более политически угнетенной обстановке, параллельно с французской революцией идею свободы, отразила ее в своих великих философских системах туманно, идеалистически, — все же Маркс черпал именно из этого источника, и Энгельс с гордостью говорил о том, что пролетариат является единственным наследником великих философов конца XVIII и начала XIX века!

То же относится, конечно, и к искусству. Прежде всего, разумеется, искусство имеет колоссальный интерес во всем своем историческом течении. Популяризация истории искусства, с которой так интересно и так глубоко связана вся история культуры, всегда будет, конечно, одним из прекрасных методов исторического просвещения масс вообще.

На эту сторону надо обратить всяческое внимание. Надо создать большие циклы по истории искусства с использованием в больших городах местных музеев и картинных галерей, а в маленьких — главным образом иллюстраций всякого рода (гравюры, литографии, фотографии) и, в особенности, диалогитивов и давать через такое наглядное, хватающее человека прямо за сердце выражение эпох, как живопись, скульптурные и архитектурные памятники — живое изложение прошлого человечества, конечно, разъясняемого с точки зрения механизма классовой борьбы и постепенного роста того общественного строя, в недрах которого развивается наша революция.

Однако, не надо думать, что только исторический интерес должен руководить органами Главполитпросвета в деле художественной популяризации.

Нет, мы имеем в русской литературе, музыке, живописи и скульптуре, а тем более в общечеловеческом искусстве, громадную сокровищницу высокохудожественных произведений, знакомство с которыми обогащает душу, поднимает настроение, углубляет общественное чувство и т. д.

Популяризовать выдающиеся, или, как я кратко выражаюсь, классические, т. е. беспорные произведения искусства необходимо. Для этого нужно устраивать, как устраиваются и сейчас, спектакли, концерты, экскурсии в музеи, в особенности, хорошо подобранные музейные выставки. Надо, по возможности, сопровождать их лекциями и объяснениями.

По отношению к спектаклям и концертам желательны короткие вступительные лекции. В тех случаях, когда публика организована, т. е. представляет собой слушателей какой-нибудь школы, каких-нибудь курсов, членов какого-нибудь клуба, следует устраивать после таких спектаклей собеседования, — словом, заботиться о том, чтобы массы, не привыкшие разбираться в историческом, формально эстетическом, психологическом содержании принятого, приучались к этому.

Однако, даже и без такого сопровождения, весьма желательного, сами по себе произведения искусства не перинут оказать облагораживающее действие на восприимчивую и жадную к подлинному искусству душу трудящегося человека.

Все это делалось до сих пор, и дело Главполитпросвета заключается в том, чтобы окончательно истребить в театре, на концертной эстраде, на выставке все пошлое, являющееся поделкой под искусство или прямой ему культурно-противоположностью. Но чего не делалось — это расширения круга культурного воздействия художественных центров на жителей маленьких городов и в особенности на деревни. У нас имеется колоссальное движение народных масс к искусству, особенно размножаются театральные кружки, плодятся также и маленькие самостоятельные, очень плохие, глубоко провинциальные труппы и т. п. Не дело, однако, устраивать любительщину, и об этом я буду говорить в третьей главе этой статьи. Еще менее того — скомпрометировать самое искусство и часто искажать человеческие чувства путем его отвратительных суррогатов.

Главполитпросвет обязан завести в центре несколько образцовых развездных трупп, несколько образцовых концертных ансамблей, ряд хорошо подобранных выставок, дающих ту или иную систему художественных впечатлений; губернские политпросветы должны иметь по крайней мере по одной такой труппе, одному такому ансамблю и одному такому комплексу постоянных развозов по уездам и деревням. Конечно, для деревни, где нет постоянных зданий и удобных помещений, где массы особенно неопытны и имеют специфические черты, надо устраивать такого рода кооперативные художественные экспедиции с особым расчетом, принимая во внимание все эти особенности.

Я сказал, что репертуар этой художественной популяризирующей работы охватывает классические, т. е. беспорные произведения.

Я думаю, что люди, которые считают, с футуристической точки зрения — «затхлыми», или с коммунистической точки зрения — «беспольными», скажем, Шиллера, Микель Анджело или Бетховена, Пушкина, Глинку или Бриоллова, — просто не заслуживают никакого серьезного внимания со стороны Главполитпросвета. Но, конечно, найдутся и произведения искусства относительно спорные... Что же, тогда и надо спорить.

Надо выяснить, есть ли это здоровая, художественная пища, имеющая и для нашего времени психологический, воспитательный интерес, или мы имеем перед собой интересный памятник определенной эпохи, важный только как историческая иллюстрация, или, наконец, мнимое произведение искусства, действительно устарелое.

Здесь возникает вопрос о новых произведениях искусства. Вполне возможно, и мы это видим вокруг себя, что художники всех родов искусства будут производить новое вне всякой связи с искусством пролетарским, или искусством коммунистическо-агитационным. Такие произведения никогда не могут быть беспорными. С ними надо ознакомиться, их надо обсуждать; то, что прекрасно, не должно никогда быть запретным, и а priori отнюдь нельзя усомниться, чтобы художники не-пролетарии и не-коммунисты не могли произвести в наше время те или другие интересные художественные произведения. Это особенно относится к тем случаям, когда мы имеем дело с произведениями художественными, не отвечающими вполне нашим агитационным целям, но отражающими тем не менее современность более или менее правдиво или проникнутыми теми или другими революционными тенденциями, в общем более или менее полезными и с точки зрения агитационной; таким произведениям искусства следует оказывать всяческое гостеприимство.

Само искусство сейчас разделено на несколько лагерей, и одно сечение бросается в глаза сразу: так называемое реалистическое искусство, под которое сейчас в общеречии подводят все искусство прошлого, и так называемое футуристическое.

Лично я думаю, что из искусства прошлого дорога к пролетарскому, социалистическому искусству идет не через футуризм, и если оно будет оплодотворено, хотя бы технически, теми или другими находками футуризма, — то, вероятно, не в очень серьезной степени¹. Но это личное мое мнение, которое разделяет, вероятно, многое множество других коммунистов. Из него, тем не менее, нельзя сделать вывода, что футуристическое искусство вовсе не должно быть популяризируемо. Конечно, когда создается иллюзия, будто бы искусство молодых «левых» художников является государственным, когда мы ему особо покровительствуем (что случилось постолюк, поскольку эти художники, более подвижные, более демократические, менее связанные с буржуазией, первые пришли нам на помощь), то получается несомненная несправедливость и ошибка.

Для меня не подлежит никакому сомнению, что пролетариат и крестьянство получают гораздо больше от полных человеческого содержания произведений глубоко идейного, глубоко содержательного искусства лучших эпох прошлого, чем от искусства, которое заранее заявляет, что оно бесценно, что оно чисто формально, и которое доходит, наконец, до пропаганды абсолютной бессюжетности.

Однако же, никто не имеет права пренебрегать решениями самой народной массы в деле школьных направлений; было бы поэтому неправильным становиться в качестве среднего звена между художником, который часто со всею искренностью ищет новых путей, и между массой, которая, может быть, те или другие стороны его исканий и одобрила бы.

Вполне возможно, например, что многое, найденное футуристами, окажется в высокой степени приемлемым в области, где сюжета не требуется, в области декоративной в самом широком смысле этого слова.

¹ Исключение я делаю для худож. промышленности.

Вообще, нисколько не давая привилегий так называемому новому искусству, не следует поднимать на него гонений, чем мы отбросили бы от себя симпатии целых сотен молодых художников, из которых многие идут к нам со всею искренностью, и сделали бы из них каких-то новых мучеников во имя своих идей, за которые они держатся твердо. Все это совершенно зря, без всякой нужды и пользы.

Относительно изобразительных искусств надо здесь сделать пару замечаний: во-первых, именно дело Главполитпросвета снабжать клубы, народные дома, а также места, где вообще собирается публика, — библиотеки, воказалы и т. п., и т. д., — художественными произведениями. Я говорю здесь пока не об агитационном искусстве (вроде плакатов и т. п.), а о настоящих картинах, гравюрах, художественных литографиях, бронзах, гипсах, хороших фотографиях и т. п.

Если мы соглашаемся, что вообще дело популяризации художественных произведений необходимо, то надо обратить внимание и на эту сторону. Главполитпросвет должен взять в свои руки закупку произведений искусств, воспроизведений их и распределение их в качестве украшения для потребностей организованных масс и даже частных жилищ тружеников.

Еще большее значение имеет дело, о котором я упомянул здесь вскользь, потому что оно к обязанностям Главполитпросвета не относится — это работа, пока при нашей нужде осуществимая лишь в бедных формах, о повышении вообще эстетического уровня жизни масс. Без особой затраты усилий можно дать ткани, посуду, одежду всякую, одним словом — человеческую утварь, кончая самым жильем человека, несравненно более изящные, способствующие светлому жизнерадостному настроению людей, живущих среди подобных вещей. Но это дело не Главполитпросвета, а ВСНХ, который должен разрабатывать так называемую художественную промышленность в теснейшем контакте с Наркомпросом и с другими его органами, а именно Главным Художественным Комитетом и соответственным отделом Главпрофобра.

Задачи художественной популяризации в области литературы, пожалуй, наиболее бесспорны. В конце концов никому не придет в голову утверждать, что Главполитпросвет не должен через свои библиотеки распространять произведения великих писателей России и мира. Но здесь действительно имеются некоторые стороны, на которые не обращено достаточного внимания.

Я не буду говорить о чтении, сопровождаемом комментарием, о лекциях по литературе и о т. п. вещах. Частью это само собой разумеется, частью, может быть, пока выходит за пределы достижимости для нас, обязанных направить наши силы на другую, политически для нас более важную сторону.

Тем не менее, чтение классиков русских и мировых мало подготовленными людьми иногда бывает непонятным, подчас даже вредным. Чуждый быт, непривычные мысли встречаются здесь на каждом шагу; бывает так, что произведения вроде «Войны и мира» или «Анны Карениной» вызывают в сердце пролетария только глухое раздражение против врага, не позволяющее ему даже дочитать книгу. Но бывает и так, что те или другие, для нас совершенно неприемлемые, идеи, выраженные в чарующей форме и с огромной силой, словом — художественно выявленная идеология чуждого класса, вносят естественный беспорядок в еще неустоявшееся мирозерцание молодого или еще неопытного читателя.

Разумеется, только правильно налаженная внешкольная жизнь, только клубы, кружки, наличность при библиотеках и читальнях образованных коммунистов, к которым могли бы обращаться со своими сомнениями чита-

тели, и, наконец, как самое главное, но и наименее легко достижимое, правильное школьное образование для всей массы, вступающей теперь в жизнь, — только эти меры являются разрешающими проблему правильного усвоения классической художественной литературы трудовым народом.

Но, по крайней мере, для тех книг этого порядка, которые издаются сейчас и будут еще издаваться Государственным Издательством, надобно прибегнуть и еще к одному в высшей степени естественному приему, именно снабжению таких книг марксистскими предисловиями в начале и марксистскими примечаниями в конце.

Мы издали громадную массу классиков в первый год после революции, издали немало не критически, выбросив их полными собраниями сочинений, и ради дешевизны пользовались при этом готовыми матрицами.

Дело это, конечно, не дурное: хорошо, что выброшено несколько миллионов книг Щедрина, Успенского, Толстого, Гончарова и т. п. Так же точно находящееся под непосредственным руководством Горького издательство «Всемирная Литература» издало уже несколько десятков превосходных произведений писателей разных стран. Но и в том и в другом случае у нас нет удовлетворительных предисловий: они или отсутствуют, или написаны не в нашем духе. Хорошо еще, если эти предисловия вроде того, каким снабжено первое критически проверенное и полное издание сочинений Некрасова. Это, по крайней мере, честная нейтральная статья. Но уже совсем худо, если, например, такой классический в своем роде роман, во многом очень близкий для нас и нужный нам, как «Тильд Уленшиггел» Де-Костера, сопровождается бельгийски-патриотической барабанной статьей, едва-едва не заканчивающейся провозглашением «славы» королю Альберту. Это уж прямо из рук вон.

Разумеется, собрать наши марксистские ряды и распределить между собою писание таких предисловий, которые требуют довольно серьезной предварительной работы, страшно трудно, но надо все-таки это сделать.

Я не возражаю априори против издания (хотя бы за границей) классиков русской и мировой литературы без всяких предисловий и примечаний; конечно, лучше иметь хотя такую книгу, чем никакой; но я считаю весьма печальным, что до сих пор не появилось ни одного капитального классического социально важного сочинения того или другого русского или иностранного гения, с подлинным марксистским освещением. Особенно интересно в данном случае брошюрное издание отдельных повестей или драм для широкого народного употребления. Здесь несколько страниц марксистского предисловия будут иметь огромное пропагандистское значение.

Ограничусь пока этими общими замечаниями о задачах Главполитпросвета в области художественной популяризации. Статью эту, конечно, можно без труда развить в целый трактат о таких задачах, что и необходимо сделать коллективно . . .

А. В. Луначарский.

(Отрывок из статьи «Наши задачи» в журнале «Красная Новь», 1921 г., № 1. Гос. Издат.)

(К вопросу о наших литературных разногласиях).

...Выходящий, под редакцией Б. Волина, Г. Левевича и С. Родова, новый журнал «На посту» предпринял литературно-критический поход, смысл и цель которого заключается в том, чтобы установить в вопросах литературы единую коммунистическую линию, указав надлежащее место попутчикам. В критике своей товарищи весьма решительны и, выражаясь языком одной тургеневской героини, «уж очень строги на счет манер». Строгость «на счет манер», впрочем, дело десятое. Гораздо важнее, что ими допущен целый ряд серьезных промахов и упущений. О них, равно как и об общей позиции журнала, мы поговорим более подробно в ином месте и немного позже, но есть один вопрос, который требует своего освещения немедленно же теперь. Это — вопрос о старом буржуазном искусстве, точнее — о том, как мы, коммунисты, должны его расценивать, какую роль ему отвести в текущей советской действительности, какое место указать в современной коммунистической художественной литературе.

Нам досталось огромное европейское и русское литературное наследие; всякий поэтому поймет всю важность поставленных вопросов. Что делать на этот счет критики из журнала «На посту»?

В № 1 журнала по этим вопросам нет специальных статей, но в разных местах по разному поводу сделан ряд замечаний, звучащих довольно определенно. Так, в руководящей программной статье «От редакции» написано: «Мы будем бороться с теми стародаумами, которые в благоговейной позе, без достаточной критической оценки, застыли перед гранитным монументом старой буржуазно-дворянской литературы и не хотят сбросить с плеч рабочего класса ее гнетущей идеологической тяжести». Из контекста, однако, видно, что речь идет не только об идеологической тяжести, ибо выше напечатано: «прежде всего пролетарской литературе необходимо окончательно освободиться от влияния прошлого и в области идеологии, и в области формы».

Из статьи тов. Вардина — «О полнотрагичном читателе узнает: литература прошлых времен была пропитана духом эксплуататорских классов. Она отражала навыки и чувства, идеи и переживания князей, дворян, богатей, словом — «верхних десяти тысяч». Это, разумеется, делалось не «напрочно», но всегда с «сознательной тенденцией» и т. д. Тов. Левман находит, что «между литературой пролетарской и буржуазной должен быть установлен водораздел. Очистить нашу пролетарскую современность от тех осколков, которые остались по свержению старых идеалов — это дело хоть и трудное, но необходимое». Тарасов-Родионов толкует о старых разнутоженных метрах и ритмах сломанной нами эпохи, а Берсенев клеит наивность тех, кто полагает, что «те или иные буржуазные писатели» могут эволюционировать «в сторону пролетарского строительства жизни».

Справедливость требует отметить, что статья т. Сосновского о Демьяне Бедном звучит по-иному. Читатель, например, находит там такие выразительные замечания: «у нас находятся чудики, считающие, что язык Пушкина, Гоголя, Толстого и Чехова устарел, что этих мастеров слова пора сбросить за борт парохода современности. О, храбрые гимназисты, собравшись с перочинным ножом в Африку на слонов». Направлены эти слова против Лефа, но как будто им можно придать и более широкое толкование: во всяком случае, они, выражаясь мягко, но совсем гармонируют и «не созвучны» утверждениям, отмеченным выше.

Читатель, вероятно, приметил, что во всех этих заявлениях буржуазно-помещичья литература взята под один скобки, трактуется как нечто единое, цельное. Такой же общей, огульной точкой зрения проникнута и вся позиция редакции: в этом нетрудно убедиться, взяв в руки журнал. Верен ли такой огульный подход к старой литературе? Буржуазно-помещичья литература, разумеется, имеет общие черты, свойственные только ей; тем не менее, рассматривать ее исключительно как нечто единое, цельное, значит заранее запутаться в общих фразах, в общих местах, ничего не говорящих ни уму, ни сердцу. Это — в лучшем случае, а в худшем — такая точка зрения должна привести к ряду самых печальных недоразумений и ошибок. Буржуазная литература жила и развивалась вместе со своим классом. Было время, когда буржуазия боролась с феодализмом, когда она была революционна. Тогда и наука и искусство были революционны; после побед был период зрелости, равновесия, полнокровия, здоровья, расцвета; в эту эпоху буржуазия и в области науки и в области литературы дала несравненные образцы творения мысли и чувства; наконец, наша эпоха — эпоха распада, упадка, разложения, умирания буржуазного общества, и этому соответствуют упадок, регресс и контр-революционность и в науке и в искусстве. Различие между литературой буржуазии эпохи Sturm und Drang¹ и литературой последних десятилетий такое же, примерно, какое существует между материализмом Гольбаха и Гельвеция и современной философией Берсона, Кайзерлинга, Шпенглера. Приблизительно такая же дистанция может быть указана и при сравнении нашей эпохи с эпохой зрелости и расцвета буржуазии. Сочинения Гольбаха, Гельвеция, Фейербаха, Дарвина и т. д. до сих пор лежат в основе коммунистического образования. В равной мере не подлежат сомнению благотворная положительная роль Мольера, Бомарше, Гейне, Гете, а из более ранних — Сервантеса, Шекспира и т. д. Взять в общую скобку эту литературу и современных Маринетти и Д'Аннуцио, свалить всех в одну кучу, наклеив ярлык «буржуазный», значит отделиться от серьезного вопроса пустопророчней хлесткой фразой.

Или возьмем нашу русскую литературу. Неверно, что старая русская литература отражала только навыки и чувства богатей, дворян и князей. Она отражала навыки и чувства, например, разночинной интеллигенции, «мушкетного пролетариата», «кухаркиных детей», сыновей лычков, городского бедного мещанства. Можно без преувеличения сказать, что, начиная с 60-х годов, основное русло нашей отечественной литературы тяготело разночинцами. Сказать, что эта литература отражала настроения богатей, или что она была подголоском буржуазно-помещичьей литературы, — мы уверены, — никто не осмелится. Она была направлена против богатей и помещиков. Наши разночинцы писали не только о своих навыках и чувствах; в своих произведениях они главное внимание сосредоточивали на крестьянине, на бедоте, на общих условиях царского строя. Достаточно вспомнить Некрасова, Успенского, Короленку, а из критиков-публицистов — Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Конечно, живописую нашу подальнюю, серьезную, растерявшуюся Русь, призывая к свержению царского строя, наши просветители-народники неизменно окрашивали свои произведения мелkobуржуазными настроениями, ставшими для нашего времени архаическими, но это не может затенить в конечном итоге объективной ценности их художественной и публицистической работы и для нашего времени. Например, Г. И. Успенский, вопреки своему субъективизму, оставил нам до сих пор непревзойденные художественные работы о русском крестьянстве. Даже тогда, когда русская интеллигенция после 1905 г. стала «умнеть», отходить от революции, преемственность и связь литературы

с литературой разночинцев никогда не нарушалась. М. Горький, И. Шмелев, В. Вересаев, Ив. Вольнов, Серафимович, Скиталец отправлялись от лучших заветов шести- и семидесятилет.

Мы ни на минуту не сомневаемся, что все это не хуже нас известно редакции «На посту». Но привычка оперировать где попало словами «буржуазный», «контр-революционный», но общий схематизм, но увлечение хлесткой фразой, но невнимательное и нерешливое отношение к вопросам литературной жизни в прошлом и в настоящем, но размах с плеча там, где требуется уточненное и осмотрительное отношение к вопросу, но развязность, но уверенность, что читатель все проглотит, лишь бы было горячо, — приводит к общим местам и положениям, звучащим твердо и неукоснительно, но, к сожалению, без достаточных оснований, если не считать достаточным основанием — употребление выражение одного урядника — «легкость и бодрость в функции» и героическую решимость блуждать даже в трех соснах. В общем получается «исповедь горячего сердца вверх пятями».

Кстати об уточненности. Выше нами противопоставлялись русские и европейские классики литературе удачного периода буржуазии. Но и здесь уточненность необходима. А то может случиться, что возьмут да и запишут, ну, хотя бы Уэльса или Келлермана, а то и Анатоля Франса по ведомости отъявленных белогвардейцев и контр-революционеров. Мы никак не можем забыть суровых нотаций тов. Берсенева по адресу тех, кто наивно верит, что «те или иные буржуазные литераторы» могут по-своему переходить на сторону пролетариата.

Пойдемте дальше.

Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Тургенев и т. д. были поэтами и писателями класса дворян. Это — несомненно. Значит ли это, однако, что их произведения лишены объективной ценности, что пролетарскому писателю и читателю следует в первую очередь освободиться и в области «идеологии», т. е. содержания, и в области формы от их художества? Это было бы верно лишь в том случае, если бы наши классики были в искусстве исключительными субъективистами, если бы объективный момент в их творчестве совершенно отсутствовал. Но они были воистину великими художниками. А подлинное искусство заключается в мыслении при помощи образов. Такое мышление может быть столь же объективным, как и научное, дискурсивное мышление с помощью понятий. Свой материал такое истинное искусство черпает из действительности. Оно отнюдь не является плодом игры поэтического воображения, настроения, навыков, чувств, оно ничего общего не имеет с субъективной отщепенностью, с идеалистической метафизикой, оно реалистично в своей основе, оно всегда должно быть истинным, т. е. в той или иной мере соответствовать действительности. Художественные произведения не являются точным снимком с реальной или идеальной действительности (действительности завтрашнего дня, но уже данной в своих элементах, в своей потенции в настоящем), но в них даны, зафиксированы ее наиболее типические характерные черты. Поэтому-то и Белинский, и Плеханов, и другие наши учителя не устали твердить, что поэзия есть истина в форме созерцания, что поэт мыслит образами, а не фантазирует по произволу от себя, и что искусство есть та же философия, та же наука, но только в форме созерцания идеи в образе. Оно таким и было у наших классиков. Отсюда их гениальные художественные обобщения: Фамусов, Молчалин, Онегин, Печорин, Собакевич, Назрев, Манилов, Пьер Безухов, Платон Каратаев, Наташа и т. д. Все это непреложные художественные истины, настоящие открытия, часто не уступающие в своей объективной значимости любым научным, добытым путем анализа,

истинами. Правда, наши классики освещали Фамусовых и Собакевичей односторонне; они не показывали их как людей, сидящих на шею крестьян (хотя и здесь следует внести существенные оговорки); но односторонность их живописания остается только тем, чем она есть: однобокостью, неполнотой. Они давали не всю правду, а только часть ее. Но так же постоянно бывает и в науке. Конечно, в художественное произведение, даже в реалистическое, легче привносится субъективная окраска, чем в различные научные отрасли человеческого знания. Но и научные дисциплины довольно сильно отличны в этом отношении друг от друга: математика более объективна наука, наиболее «чистая», но уже в биологию субъективный момент привносится очень легко (вспомним спор вокруг Дарвина); биология, однако, не вырывается за на этом основании из числа точных наук.

Если бы наши товарищи, объединившиеся вокруг журнала «На посту», обратили внимание на объективный момент в творчестве настоящего художника, наши литературные разногласия значительно сгладились бы и в вопросе о попутчиках. В № 1 журнала никаких намеков на то, чтобы этот момент нашими критиками учитывался, к сожалению, нет.

Так как действительность в эпоху, когда жили классики, складывалась не в пользу дворян и уже в достаточной мере обнаруживала свои отрицательные стороны, то наши художники, будучи реалистами в искусстве, не могли не отразить этой отрицательной действительности часто вопреки своим субъективным настроениям. Белинский был прав, упрекая Грибоедова в том, что он в своей знаменитой комедии звал «к китайскому незнанию иностранцев», полагая, что все беды проистекают от того, что русское общество рабски подражает иностранцам. Выводы Грибоедова были реакционны. За всем тем «Горе от ума», дав Фамусовых и Молчалиных, сыграло и до сих пор играет революционную роль. Также и с Гоголем, и с Толстым, и в целом рядом других первоклассных художников. На этих примерах, между прочим, выясняется, как субъективные настроения чаще всего привносятся в произведение. Бывает, впрочем, и так, что самый образ, тип искажается бессознательно или преднамеренно. Тогда получается тенденциозное произведение. Если бы критики из «На посту» имели в виду борьбу с этими волнами и невольными искажениями, или с ложным истолкованием самим автором типов, образов и вообще продуктов своего творчества, мы готовы были бы всемерно их поддерживать. Но они нигде не проводят грани между субъективным и объективным в художественном произведении, отчего у них «идеология» целиком совпадает с содержанием.

Наши классики-дворяне, создавая Маниловых, Собакевичей, Онегиных, окрашивая свои произведения реакционными, подчас, настроениями, сумели тем не менее разглядеть, подметить, уловить, живописать, выявить в них, в этих типах и в образах, не только сословные психологические черты, но и такие, которые общи разным классам и на протяжении разных эпох. Товарищи из «На посту» мечут громы и молнии против тех, кто признает наличие таких черт. И совершенно напрасно. Нет вечных общечеловеческих чувств в обществе, разделенном на классы, если об этих чувствах говорить с абсолютной точки зрения, как говорят идеалисты всех цветов и рангов. Но есть, были и будут общечеловеческие чувства относительно общие, относительно устойчивые. «Господствующая в обществе психология, — говорит Т. Бухарин, — сводится к двум главным элементам: во-первых, к общим психологическим чертам, которые могут быть у всех классов общества, потому что, несмотря на все разнообразие в положении этих классов, могут быть и черты сходства в этом положении; во-вторых, к психологии господствующего класса, которая настолько «выпирает» в обществе, что дает тон

всей общественной жизни, подчиняя своему влиянию и другие классы» («Теория исторического материализма», стр. 242). Правильно и другое замечание Н. Бухарина, что марксисты объясняют эти черты ходом общественного развития, а «не просто тычут в них пальцами», и в этом состоит их отличие от идеалистов и субъективистов, а совсем не в том, что они отрицают наличие таких черт. Объем этих чувств различен в разные эпохи. Он сводится к минимуму в эпохи обострения классовой борьбы, особенно в революционные эпохи, сугубо в такие, как наша. Этот объем расширяется в «органические», относительно мирные периоды. Наши классики жили как раз в эту пору. Классовая дифференциация в области сознания была в России в самом зачаточном состоянии. Народ, т.-е. крестьянство, в общем, покорно сносил иго помещиков. Естественно поэтому, что великие наши художники, принадлежат к классу дворян, отражая этот последний в своих произведениях, умели подмечать и придавать своим типам и образам общие психологические черты, довольно устойчивые. Именно по этой причине Собакевичи, Коробочки, Молчалины и т. д. до сих пор являются нарицательными именами. По этой причине на нас действуют, нас заражают «Илиада» Гомера (процане Гектора и Андромахи и т. д.), «Гамлет» и «Отелло» Шекспира; нашим эмоциям «созвучны» и жертвенные воспоминания Р. Тагора, и «Песня о Гайавате» Лонгфелло, и многое другое. В своей превосходной книге о Толстом, Л. И. Аксельрод (Ортодокс) верно пишет о творчестве великого писателя земли русской: «Великий мастер сумел, оставаясь на почве реальной действительности, воплотить в своих произведениях и те общие черты, мысли и чувства, которые в той или иной форме свойственны культурному человечеству на протяжении долгих исторических периодов» (стр. 16). Прекрасно о секрете гения говорит Анатолий Франс: «Великие писатели не имеют низкой души. Вот в чем их тайна. Они великодушны. У них всеобъемлющее сердце. Они сочувствуют всем страданиям. Они трудятся, чтобы их утешить» («Беседы Анатолия Франса»). С поправками, характер которых оговорен раньше, с этим можно согласиться.

Мир развивается не по Шпенглеру, а по Марксу. Замкнутых культур нет. И когда один класс уступает место другому и один общественный строй сменяется другим, если не происходит «гибели культуры», в том или ином виде и размере от старого к новому передаются экономические и культурные приобретения. Иначе никакого прогресса, никакого поступательного хода «вперед и выше» не было бы.

Итак, буржуазную литературу нельзя заключать в одни общие скобки; буржуазная литература обладает огромным запасом художественных, объективных истин, открытий, наблюдений; буржуазная литература (и дворянская) в лице лучших своих представителей в лучшие времена воплотила общие психологические черты, присущие человечеству на протяжении целых эпох, хотя классовая психология, конечно, преобладала в ней.

Что следует из всего этого?

Товарищи из журнала «На посту» нерушимо уверены, что «разные попутчики неспособны оказать пролетариату и советским гражданам действительную помощь в организации их эмоций (и сторону конечных, т.-е. социалистических целей)». Но попутчиками революции являются не только современные Ивановы, но прежде всего русские и европейские классики. Замахнувшись на попутчиков, наши критики естественно замахнулись и на эту литературу, выдвигая тезис освобождения от содержания и от формы искусства прошлого, без разбора рассматривая это искусство, как одно целое. Но сказать это — все равно, что сказать, примерно, так: так как буржуазия свергнута в России, так как пролетариат у власти, то долой «окончательно»

буржуазную науку: физику, биологию, психологию, химию и т. д.: она творилась мозгом буржуазии, она есть продукт буржуазно-помещичьего строя. Никто, находясь в здравом уме и в твердой памяти, из друзей рабочего класса этого не скажет. Он скажет: чтобы «окончательно» освободиться от буржуазии, чтобы «окончательно» организовать социалистическое общество, нужно, вслед за физической победой над буржуазией, в первую очередь «окончательно» овладеть буржуазной наукой и философией, освободив их от реакционных привесков и от субъективизма буржуазных ученых. Только таким путем будет создана новая пролетарская наука. Особенно ценен в этом смысле период подъема и расцвета буржуазного общества, когда буржуазия была революционна или не реакционна. Сказав так, он будет прав. Но то же самое с некоторыми поправками следует сказать и об искусстве вообще и о литературе в частности. И если наш воображаемый товарищ скажет далее, что другая точка зрения, рекомендуемая прежде всего «освобождением», есть «окончательная» нелепость, неразбериха и путаница, то он окажется по-нашему тоже правым.

Редакция журнала «На посту» направляет свое слово, главным образом, к рабочему и к молодому рабоче-крестьянскому поколению. В редакционной и в иных статьях, раз речь зашла о литературе прошлых эпох, она должна была сказать в первую голову то, что сказал бы наш воображаемый и предполагаемый товарищ и что мы, коммунисты, должны везде и всюду теперь говорить. Вместо этого она предпочла растекаться мыслью по бумаге относительно «освобождения», «сбрасывания», относительно литературы богачей, дворян и т. д. Подобно гоголевскому Хоме Бруту, критики «На посту» чертят вокруг себя волшебный круг, дабы буржуазный Вий не отдал русскую революцию всякой черной нежити и нечисти. Это похвально, но это нужно делать со смыслом: круг-то должен обладать известным радиусом, да и литература Шекспира и Гете, Гоголя и Пушкина, Щедрина и Успенского совсем не похожа на красавицу-ведьму, сцапанную бедного бурсака.

Могут возразить, что редакция имеет в виду отсутствие «достаточной критической оценки». Но нетрудно убедиться, что достаточная критическая оценка, по ее мнению, не в том, чтобы рассматривать буржуазно-помещичью литературу диалектически, в связи с ростом, с развитием, с судьбами буржуазии и дворянства, чтобы заставить прежде всего учиться и впитывать в себя гениальные произведения великих мастеров, а в том, чтобы, смешав все в одну свалочную кучу, предавать всемерно покончить и с формой и с содержанием яковы умеренного искусства прошлых эпох («гранитный монумент»).

Паки и паки не сомневаемся, что редакция таких выводов не делает, если в вопрос будет поставлен более конкретно. Так оно и получается, как только наши критики пытаются спуститься с горных высот общих хлестких рассуждений о буржуазно-помещичьей литературе на грешную землю. Их критика современных литературных направлений, например Лефа, правда довольно тоже однобокая, ведется с точки зрения заветов: с точки зрения формы, господствующей в литературе прошлого. А водораздел между эпохой классиков и эпохой упадка тоже кое-где просвечивает, хотя не четко. Тем не менее декларативные заявления, постоянное жонглирование революционными терминами не оставляют сомнений относительно их позиции окончательного освобождения от идеологии и от формы старого искусства.

«О, проклятое чернело,
Сердце наше несутюло,
И бумага и перо
Сокрушает нас зело».

В чем заключается достаточная критическая оценка с нашей точки зрения, явствует из всего сказанного. А более подробно об этом — у Беллинского, у Чернышевского, у Добролюбова, у Плеханова, у Аксельродов.

Необходимо еще раз подчеркнуть: поскольку следует всеми силами рекомендовать буржуазных классиков, постольку же нужно вести самую нещадную борьбу против буржуазной литературы эпохи упадка; но, повторяем, и здесь следует соблюдать осторожность и не идти по пути рьяных не в меру Берсеневых.

Новое коммунистическое искусство имеет свои темы, свои задачи. Оно обязано выявить нового человека, зреющего в недрах пролетарско-крестьянской гущи. Его коллективизм, его бодрость, его упования, его борьбу, его радости и горе, его поражения и победы — должен новый писатель поставить в фокусе, в объективе своего творчества, не отрываясь от действительности текущего дня, пропитываясь ею насковозь. Но новый человек выпрямился, поднимается в рост свой из старого Адама. Он окружен этими старыми адами. Вокруг него и в нем действительно много нечисти, нежити, черных масок. Обнаруживать этого нового Адама, взалкавшего о новом, о своем рае, творимом по образу и подобию своему руками в мозолях и мозгом предшествующих поколений, можно, только неустанно борясь против этого Адама во вне и в нас. Но в этом деле классическая литература прошлых эпох — один из самых верных наших друзей. О том, как бороться со старыми адами, нужно поучиться у нее. Она много потрудилась в этом направлении. Надо учиться, как создавать Собакевичей, Ноздревых, щедринских героев и т. д., ибо книжка кишит они и по сию пору вокруг нас. Эта литература мало говорила о рабочем и его психике, но она не мало ратовала за такие чувства и за такие навыки, которые непременными элементами войдут в психологию нового человека. Поэтому, до сих пор она — не гранитный монумент, не осколок, т. е. не нечто мертвое, что, как памятник о прошлом, нужно охранять, а нечто живое и действительное, необходимое нам в борьбе и победах. И не венками из лавров и не листьями винограда увенчаны былой современностью головы дворян — Пушкина, Гоголя, Лермонтова и различниц — Успенского и Короленко, а с терновыми венками шли о'ни по пути скорби и мук, именуемого русской литературой.

Несколько слов о форме. Мы глубоко убеждены, что основной формой нового искусства, искусства наших дней остается реализм, т. е. та форма, которой с таким неподражаемым и непревзойденным мастерством пользовались классики буржуазно-помещичьей литературы. Не вдаваясь в подробности, — об этом в другом месте, — заметим здесь, что реализм, в целом, как нельзя лучше совпадает с духом диалектического материализма Маркса — Энгельса. Кажется, это иногда — но не всегда — ясно и для наших критиков. По крайней мере, в декларации «Октября» говорится глухо об использовании старых форм. Правда, декларация помещена как литературный материал, но родственность журнала и «Октября» не только очевидна, но, так сказать, демонстрируется всемерно и всецело вплоть до переэтиканий, весьма схожих с теми, кои вели петух и кукушка в известной басне Крылова. К чему же, спрашивается, все эти разговоры о том, чтобы «окончательно» освободиться от формы прошлого? Сгоряча все это. Словеса лукавства и одно неестественное празднословие.

Новые достижения, переработка, усовершенствование старой манеры, старых форм, конечно, необходимы. Думается, что современное искусство идет к своеобразному сочетанию реализма с романтикой, к нео-реализму, но такому, в котором реализм остается все-таки господствующим началом.

Те новшества, которые собирается вводить кое-кто из литераторов, сгруппировавшихся вокруг журнала, кажутся подчас сомнительными. Так, в рецензии «Рабочая Весна», Тарасов-Родионов, возражая пролетарским поэтам, указывавшим, что у них «рифма хромает», открывает читателю, в чем секрет новой коммунистической поэзии. Оказывается, как раз именно в том, что она выдвигает «в противовес разнутоженным метрам и рифмам сломанной нами эпохи» неразнутоженные стихи, написанные не метрами, не рифмами. Мы, однако, полагаем, что стихи, например, Демьяна Бедного, за которого так хлопочет неутомимый т. Сосновский и который, по справедливому замечанию того же Сосновского, в этих хлопотах особенно не нуждается, свое родство ведут, как заметил опять-таки тот же неутомимый т. Сосновский, от Пушкина и от иных классиков не только в языке, но и в разнутоженности, — от классиков, у которых стихи были прекрасно «разнутожены». Новое, более вольное обращение со стихом и со словами следует приветствовать, но из этого еще отнюдь не следует, что разнутоживать стихи не стоит. Например, т. Тарасов-Родионов написал повесть «Шоколад» стихами «разнутоженными», но «разнутоженности» их местами плоха. Во всяком случае, поэтам из «Рабочей Весны» следует больше прислушаться к советам в духе тех, которые дает т. Сосновский, а не в духе тех, какие «разнутоживают» т. т. Тарасовы-Родионовы, напрасно воображая, что они стоят на каком-то «посту»...

(Отрывки из статьи А. Воронского. Журн. «Прожектор», № 12, 1923 г.)

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ О В. КОРОЛЕНКО И О РУССКИХ КЛАССИКАХ

(По поводу «Истории моего современника»)¹

... В течение многих столетий, на продолжении средних веков и новой истории, до последней трети восемнадцатого века, в России царил мрачная ночь, кладбищенская тишина, варварство. Не существовало ни образованного литературного языка, ни собственного стихосложения, ни какой-либо научной литературы, ни книжной торговли, ни библиотек, ни журналов; не было никаких центров духовной жизни. Гольфстрем Возрождения, омывший берега всех европейских стран, создавая в них, точно волшебной силой, цветущий сад мировой литературы, встряхнувшие мир бури Реформации, пламенное дыхание философии восемнадцатого века — все это пронеслось, не затронув России. Царская империя еще не обладала никакими органами для уловления световых лучей западной культуры, не было вспаханной духовной почвы, на которой могли бы возрасти зародыши этой культуры. Очень немногочисленные литературные памятники тех времен производят теперь своим странным уродством такое же впечатление, как произведения искусства Соломоновых островов или Новых Гебрид; между ними и искусством Запада не существует, повидимому, никакого духовного родства, никакой внутренней связи.

А затем произошло нечто вроде чуда. После нескольких робких попыток создать национальное духовное движение в конце восемнадцатого века,

¹ Статья «Короленко» написана Розой Люксембург в исправительной тюрьме, в Бреславе, в июле 1918 г., и является предисловием «Истории моего современника», переведенной ею на немецкий язык и появившейся в немецком издании в конце 1919 г. Перевод статьи т. Люксембург сделан З. А. Венгеровой.

наполеоновские войны зажгли, как молния, духовную жизнь России. Это вызвано было, с одной стороны, глубочайшим поражением России, впервые пробудившим национальное самосознание в царской империи, а затем победами коалиции. Русская интеллигентная молодежь проникла в результате этих побед на Запад, в Париж, в сердце европейской культуры, и пришла в соприкосновение с новым миром.

Точно в одну ночь, расцвела вдруг русская литература и предстала перед миром завершенная, в сверкающем вооружении, точно Минерва, вышедшая из головы Юпитера, являя самобытную, национальную художественную форму, язык, совмещающий благозвучие итальянского с мужественной силой английского и благородством, как и глубокомыслием немецкого, бьющее через края богатство талантов, сверкающее красотой мыслей и ощущений.

Длинная темная ночь, кладбищенская тишина была только кажущейся, только обманом зрения. Лучи света, проникавшие с Запада, сохранились в виде сокрытой силы; зародыши культуры ждали в земле благоприятного момента, чтобы пустить ростки. Русская литература выступила сразу, как бесспорный член европейской литературы; в жилах ее текла кровь Данте, Рабля, Шекспира, Байрона, Лессинга, Гете. Она нагнала львиным прыжком пропущенное за сто лет и вступила равноправным членом в семейный круг западной культуры.

До чего изумителен такой ритм в истории русской литературы и какую изумительную аналогию с ним представляет новейшее политическое движение России! Это, действительно, способно сбить с толку некоторых наивных доктринеров.

Самое характерное в столь внезапно возникшей русской литературе то, что она порождена была оппозицией против существовавшего строя, проникнута была боевым духом. Это было ее отличительным знаком в течение всего девятнадцатого века. Этим и объясняется богатство и глубина ее духовного содержания, завершенность и своеобразность ее художественной формы и, в особенности, ее творческая и движущая общественная сила. Ни в какой другой стране и ни в какую другую эпоху литература не была такой общественной силой, как русская литература в эпоху царизма, и она оставалась на этом своем посту в течение целого века, пока ее не сменила реальная сила народных масс, пока слово не претворилось в плоть. Литература, художественная литература, завоевала в полуазиатской, деспотической стране место в мировой культуре, пробила китайскую стену, воздвигнутую абсолютизмом, перекинула мост на Запад и явилась туда не только с тем, чтобы брать, но и чтобы давать, не только ученицей, но и учительницей. Достаточно назвать только три имени: Толстой, Гоголь, Достоевский.

(«Красная Новь» 1921 г., № 2, стр. 183).

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Писатели-комсомольцы

МАРШ

(Из поэмы «Комсомолец»)

*Нам не дано имен,
Детям станков и околц!
Имя мое — легион!
Имя мое — комсомолец!
Жизнь моя — крепнувший свод.
Ну-ка,
Взорви, попробуй!
Сердце мое — завод,
Мозг мой — рабфак, учеба!
В схватке: ни шага назад!
Мира немые загадки
Мольбами мыслей прознять
Выродки ленинкой складки!
Армия комсомолят —
Это — даешь — и баста!!!
Надо леса и поля
В руки стальные срабасть!
Надо позиции звезд
Аэропланами вздыбить!
Парус крени, матрос,
За океанские зыби!
Нам не дано имен,
Детям станков и околц!
Имя мое — легион!
Имя мое — комсомолец!*

Александр Жаров.

(Из сборника А. Жарова «Ледоход», стр. 46).

А. К. ВОРОНСКИЙ О ГРУППЕ ПИСАТЕЛЕЙ «ОКТЯБРЬ» И «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

(Отрывок)

... Об «Октябре» и «Молодой Гвардии» было много крику и шуму. Били в барабаны, трубили в трубы. Были всяческие славословия, и некоторые критические статьи больше походили на оды. Утверждалось и говорилось, что в этой поэзии и в этой прозе «закон и пророки» современного художества, ибо поэзия и проза эти — единственно коммунистические и единственно по-настоящему достойные Республики Советов. Происходило это не только потому, что чаемое и ожидаемое принималось за настоящее, но и оттого еще, что недавним руководителям комсомольских кружков, остающимся теперь все больше в горестном одиночестве, надо было учинить суд и расправу над попустителями попутчиков. В действительности, дело обстоит гораздо сложнее. Наша новая коммунистическая интеллигенция, выходящая из рядов Комсомола, начинает завоевывать и занимать некоторые позиции и в науке, и в искусстве. Завоевания эти ни в какой мере еще не являются пролетарским искусством. Формальные достижения еще скромны, а в прозе ничтожны. Что же касается содержания, то тут нужно сказать следующее. Одна часть нашей поэтической молодежи старается «выпрыгнуть» в жизнь и в быт Коммунистической Партии, но делает это пока по-плакатному, по-газетному, по-литинговому. Другая часть тяготеет к темам, выдвигаемым от «нутра», при чем еще тут много, как и следовало ожидать, не оформившегося, находящегося в периоде брожения, неизвестного, неопределившегося. И то и другое указывает на то, что по части органического усвоения коммунизма у нас в рядах нашей молодежи далеко не все благополучно, в чем, разумеется, повинна не она, а наши общие условия. Тревожно то, что в этой поэзии и в прозе, как и вообще во всем современном искусстве, как общее правило, нет рабочего-массовика, он присутствует, но не занимает надлежащего места. За всем тем, поэты и прозаики комсомольцы вносят весенне-звонкую струю в литературу. У них есть пафос строительства; они дают материал для характеристики нашей современной молодежи. Часть из них ударно старается сосредоточить внимание на Коммунистической Партии. Правда, часто это сопрягается с совершенно нелепым и вредным походом против таких писателей, как М. Горький, Всеволод Иванов, Пильняк и т. д. Но в этом повинны больше критики, чем художники...

(Напечат. во 2 книге «Красная Новь» за 1924 г. Госизд., стр. 305).

ПИСЬМО Л. Д. ТРОЦКОГО СОТРУДНИКАМ И ЧИТАТЕЛЯМ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ» ПО ПОВОДУ ГОДОВЩИНЫ ЖУРНАЛА.

Журнал «Молодая Гвардия» занимает исключительное по своей важности место: он встречает у порога пробужденного к сознательной жизни представителя молодого поколения и вводит его в царство коммунистической мысли. В царство это приходится подниматься по ступенькам, — и отсюда вытекает главная трудность в ведении журнала. Нельзя замыкаться в тесном кругу наиболее развитых представителей молодежи, — это привело бы к недопустимому умственному аристократизму; но нельзя и, гоняясь за популярностью, обходить сложные вопросы коммунистического миропонимания. Разрешение противоречия состоит, как мне кажется, в том, чтобы охватывать всю лестницу восхождения, т. е. считаться с молодыми читате-

лями разных уровней развития. Не принижать вопросы до степени отсталого, а соответственным подбором и группировкой статей помогать отсталому подниматься со ступени на ступень. Насколько я понимаю, таков именно метод работы «Молодой Гвардии».

Позвольте несколько подробнее остановиться на чисто литературной стороне дела — на форме. Я говорю не о беллетристическом отделе журнала, а о каждой его странице, начиная с оглавления. На вопросы литературной формы мы в прошлом не приучились обращать внимание, — не до того было. Статьи писались почти всегда наспех, неряшливо, нередко на колене. Поскольку эта неряшливость отражала бешеную горячку тех дней и годов, она сама становилась литературной формой, выражая душу своей эпохи. Но поскольку неряшливость входит в привычку и грозит стать школой писательства, ей надо обвить истребительную войну. Писательство есть искусство, в котором можно достигнуть разных высот, но которое требует величайшего внимания, кропотливого труда и высшей добросовестности к слову.

Разумеется, неоспоримым культурным завоеванием является каждый такой факт, когда полуграмотный вчера пролетарий становится сегодня рабочим корреспондентом. Но это вовсе не значит, будто задачи писательства ограничиваются, с нашей точки зрения, кое-какими, хотя бы приблизительным выражением мысли. Нет, техника писательства есть самостоятельная область, значительная и ответственная. В соответствии с духом всей новой культуры, современное писательство имеет тенденцию к точности и простоте. Но эти качества — точность и простота — не даются от рождения, в том числе и от классового пролетарского рождения, а берутся с бою, постоянной критической и самокритической работой над собственным идейно-словесным материалом. Простота и точность могут пролагать себе дорогу разными путями, в зависимости от вопроса и от индивидуальности автора. Они ни в каком случае не исключают образности и живописности речи. В тех случаях, где образ вытекает из внутреннего развития мысли и лучше всего смыкает два ее еще разобщенных звена, там образ сам становится орудием простоты.

Слов, более или менее близких и сродных, много в словаре, но из них только одно выражает тот оттенок, который в каждом данном случае нужен. Первая и самая важная задача писательской техники состоит в том, чтобы найти это слово — такое, которое не допускает замены. Развить тему в статье — вовсе не значит зашвырять читателя дожиной или сотней фраз, приблизительно выражающих разные стороны вопросов. Когда мысль, не выливаемая автором неряшливо, как это нередко бывает, а развертывающаяся «из себя», добросовестно ищет для себя точного выражения, тогда фраза органически вырастает из фразы, повинуюсь динамике мысли. Тем самым фраза перестает быть «фразой», т. е. бюрократически обезличенным или мешански расщепленным выражением мысли или... ее отсутствия. Писательство есть искусство, дорогие друзья! Не перенимать, не увековечивать обездушенную от времени неряшливость призвано молодое поколение писателей, а изучать, развивать и повышать мастерство писательства. Молодые должны писать лучше стариков. Научиться и научить этому — тоже не мало-важная задача «Молодой Гвардии».

Желаю вам всякого успеха

Ваш Л. Троцкий.

Напеч. в журн. «Молодая Гвардия» 1923 г., № 4—5, стр. 2—4.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» ЗА ГОД.

Тезисы доклада на Всеросс. Конференции РКСМ.

Литературный отдел.

1) Литературный отдел журнала за отчетный период имел чрезвычайно важное, боевое значение. Прошедший год возрождения и роста художественной литературы характеризовался поиском определенных путей, идеологическим оформлением отделных писателей и писательских группировок, объединением сил классовой пролетарской литературы. В последнем процессе «Молодая Гвардия» сыграла своей выдержанной линией, отсутствием шатаний, определенностью позиций в отношении буржуазной литературы и так называемых попутчиков исключительно большую роль.

2) Не связываясь с какой-либо из группировок на литературном участке идеологического фронта, «Молодая Гвардия» ставила и продолжает ставить своей задачей объединение всех революционно-выдержанных писателей вне зависимости от их принадлежности к той или иной художественной группировке (Кузница, Октябрь, Леф и т. под.).

3) В связи с этим на журнал ложилась задача объединения и выдвижения пишущего пролетарского молодняка. Создание группы комсомольских поэтов и писателей (наименовавших себя названием журнала) является лишь первым показателем проделанной и продельваемой в этом отношении работы.

4) Несмотря на идеологическую выдержанность большинства печатавшегося в журнале литературного материала, нужно признать его, — за исключением ряда выделяющихся вещей, — в общем и целом слабым. Его основными недостатками являлись отсутствие художественных произведений, посвященных молодежи, перевес деревенского материала над городским, недостаточное количество произведений молодых писателей.

5) Продолжая и развивая принципиальную линию журнала, все более объединяя около журнала всю нашу пишущую молодежь, отдел ставит задачи: а) обращение особого внимания на материал о молодежи, б) увеличение количества произведений молодых писателей, в) сокращение «деревенского» материала за счет городского, г) введение утопических рассказов, д) печатание переводных произведений революционных писателей Запада, е) привлечение переводных писателей Запада — в отношении организационном и тематическом, ж) переход от чисто бытового материала к материалу романтно-бытовому — как углу зрения при подборе материала с точки зрения формальной.

Л. Авербах.

«Молодая Гвардия» за год. Тезисы доклада на Всероссийской Конференции РКСМ. Введение, стр. 15. «Молодая Гвардия» 1923 г., № 4—5.

ПОД ЗНАКОМ КОМСОМОЛА.

Рабочая молодежь на заводах строит новую жизнь. Молодежь в клубах, фабуавах и рабфаках врывается в знание. А в отдых идет молодежь в читальню и просит книгу, или с деревянных скамеек театра смотрит на сытую барскую жизнь и думает: «Эх, кабы о своем, о заводе». Из закопченной деревенской хаты революция вытасила деревенского парня. И вот сидит парень в сельсовете над «Азбукой коммунизма»!

А тем временем со всех уголков России — из холодного Архангельска, от угольных шахт Донбасса, из Сибири, с Кавказа и Украины — тянутся в Москву к знанию и большому делу комсомольские головы. Багажу только и есть: комсомольский билет да еще твердая вера в рабочее дело и себя.

Приезжают незаметные паренки и в истоптанных сапогах, через всю Москву, пробираются в редакции комсомольских журналов. Там развертывают заветные рукописи, в которых все: и короткий опыт революции, и житье-бытье комсомольца. Не все складно, не все хорошо, но зато во всем — молодая бодрость и крепость.

Издательство «Молодая Гвардия» при ЦК РКСМ выпускает библиотечку комсомольских писателей и поэтов. Эти сборники составлены теми, кто кует свое творчество и учится, чтобы доходить плоды его труда до далеких низов, чтобы шли оттуда новые отряды соратников.

Книжечки изданы просто, но зато их будет много, и они должны дойти туда, где их ждут; и когда в шумной мастерской или в деревенском клубе склонится над такой книжечкой головка подростка, — это будет лучшей наградой тем, кто свою комсомольскую радость и грусть, свою преданность и любовь к рабочему классу вложил в эти строки.

Группа комсомольских поэтов и писателей

«Молодая Гвардия».

НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ

Род. в 1904 г. — ум. 20 сент. 1924 г.

Нам, комсомольцам, выросшим вместе с Кузнецовым, как-то трудно поверить, чтобы этот 20-летний юноша, комсомольски-бодрый, жизнерадостный, мог опуститься на путь слабости и безволия, на путь самоубийства.

Он был сыном завода. Свою поэзию он черпал из Замоскворецкой Даниловки, он ее выковал под гул станков с завода «Мотор», где он вырос и работал.

Колка был круглым сиротой, воспитался он и вырос среди рабочих и работниц Замоскворечья. Его усвоил Комсомол. В Комсомол и его литературу он вошел в 15 лет. Комсомолу рабочей молодежи были посвящены его стихи и частушки.

Я помню его — робкого, застенчивого, с замусоленной тетрадкой стихов и частушек, принесенной им впервые в редакцию «Юношеской Правды». На первой странице своей тетрадки он, тогда еще полуграмотный, писал:

Чтоб коммунистом быть,
Надо перенестись:
Креста на шею не носить
Богу не молиться...

Его напечатали впервые в «Юношеской Правде». И через нее он вышел на литературную дорогу. Он шел, чувствовал, переживал, страдал и боролся вместе с Комсомолом. Не он писал о Комсомоле! Это Комсомол пи-

сал рукой Кузнецова! Он был необычно скромен и невзыскателен в жизни. Он просил нас никогда не объявлять, что он будет выступать на вечере со своими стихами. Он был истинным пролетарием и по бытию и по сознанию.

Последний год-полтора у него не оказалось силы воли одновременно работать и писать. И в этом, скорее всего, корень рокового конца.

Он пошел жить в город. Жажда достижений в области своих литературных знаний, посвятить себя целиком поэзии оторвала его от станка. Он ушел от тех работниц, которые «ласково глядели в мои голубые глаза», из той среды, которая питала его соком поэзии. И, уходя, он потерял ту силу, которая помогает каждому сыну рабочего класса бороться, страдать, побеждать невзгоды и лишения.

Он был нищ и скромен. Он голодал, зачастую стесняясь сказать об этом. Мы, его товарищи, встречая его на наших собраниях, уговаривали его идти обратно на завод. Но у него не хватило силы воли.

Кузнецов ушел от завода. Он потерял свою классовую опору — завод. Его перестали окружать его воспитатели — рабочие-даниловцы.

На завод он не вернулся. А без завода Николаю Кузнецову жить бессмысленно. Он неотделим от завода. Этого молодой, неокрепший Кузнецов не понял. И в этом непонимании корни его внутреннего разлада и надлома.

Он не понял, и в этом непонимании и наша печаль, и наша обязанность предупредить молодых, выходящих из недр рабочего класса поэтов и художников:

— Не отрывайтесь! Не бросайте той почвы, которая питает вас своими жизненными соками!

Ибо Комсомол немислим без завода! И немислимы поэты Комсомола и лучшие его бойцы без завода.

Имя Николая Кузнецова и любовь, которой он пользовался среди молодых рабочих и крестьян, будут всегда напоминать об этом.

Илья Лин.

(Напечат. 24 сент. 1924 г. в Москве в № 213 «Известий».)

ПОТЕРЯННЫЙ ПОДАРОК

Правда, нет ли, — но говорили,
Что, когда на свет я вылезал
Через мать, деревня подарила
Мне полевые синие глаза.

Но не гонял в ночное я коней,
И не гулял с ребятами в лесах;
Я провел все лето на окраине,
Где стоят большие корпуса.

Покалякать навсегда охотницы,
Завсегда лаская и хваля,
Мне в глаза заглядывали работницы,
Вспоминая избы и поля.

Рос я парнем славным и простым,
Телом в городе — в деревне сердцем;

Я любил поля, тропинки и кусты,
Так любил, что даже и не верил.

На заводе говорливом, черном,
Где гремит машинная гроза,
Зацелованный огнями горнов,
Потерял я синие глаза.

Да не долго о потерянных тужил,
Дал завод мне — серые, стальные:
Умер в сердце у меня мужик,
И увидел зори я иные.

На дни и годы жизненных путей
Стал смотреть совсем я по-иному:
Позабыл я избы, запах домолей,
Город шумный стал мне домом.

Напеч. в сборнике «Н. Кузнецов». «Комсомольские поэты и писатели», стр. 22.
«Молодая Гвардия» 1923 г.

1-е МАЯ 1919 ГОДА.

Оживает прошлое в глазах...

Помню, с первомайскими знаменами
Мы шалили стройными колоннами
Несколько лет тому назад.

Было пусто в желудках у мно-
гих,

Только в сердце зато полно,
И лени, бодрость вливая в ноги,
Перекатывались волной.

Но тогда под страхами беды

Были мы на все готовы,

И шетинились рабочие ряды

Стальными глазами винтовок.

И со всеми равным братишкой,

С дрожью голодной в ногах,

И я — пятнадцатилетний пар-
нишка —

Тоже с винтовкой шагал.

Гордостью билось сердце,
Думал: «Не страшна напасть!
Ну, что теперь нам до белогвар-
дейцев,

Если у нас оружие и власть?»

С неба падали пропеллеров

трели...

Было это несколько лет назад,

Кругом сдвигалась гроза,

А мы шли с винтовками и пели.

Напеч. там же, стр. 15.

СЕРГЕЙ МАЛАХОВ

Родился в 1902 г. Порвал с интеллигентско-мещанской средой и связал свою судьбу с рабочим классом. В 1918 г. шестнадцатилетним юношей вступил в РКСМ и организовал первые ячейки Союза в Можайском уезде. Потом активно работал в Уюме. Вступил в партию, отдался партийной работе, не порывая связи с Союзом. В 1923 г. «Молодая Гвардия» выпустила его «Стихи» (небольшой сборник в 21 стр.). В оригинальных своих произведениях молодой поэт выступает, как поэт-рассказчик, обладающий богатым запасом метких штрихов.

В. Л.-Р.

УТРОМ

Прикурнул и сладко похрапываю
В утренней непокойной тиши.
Только слышу спросонок: чья-то
лапа

Ласково волосы ворошит.

Открываю ресницы дремотной
позекой;

Тянется... вспыхивает полоса.

Вижу: солнышко с нежной из-
девкой

Путается пальцами в волосах.
Вспомнил! Вспомнил: доклад о
Боге...

В десять часов у пекарей.
Спасибо! спасибо! товарищ стро-
гий,

Оденусь и побегу скорей.

Кубарем, кубарем. А со стенок
Ленин

Щурится и лукаво глядит.
А солнце уже в разнеженной
лени

На моей постели сидит.

Ух! — прости. А с тобою жарко,
И некогда: надо бежать.

С солнышком по-дружески распрошав-
шись за руку,

Скатываюсь с четвертого этажа.

Напеч. в сборн. «Сергей Малахов». «Комсомольские поэты и писатели». Стихи «Молодая Гвардия» 1923 г., стр. 10.

ВЫВЕСКА

С вечера плечо о плечо:
 Оба мы с голубыми глазами.
 Как вдруг каблуквый счет
 Под ногами нежданно замер.
 Как вдруг сквозь снежную пыль
 Вывеска, и на ней рабочий
 На ладони своей автомобиль
 Поднял и держит молча.
 Я смотрел и видел сквозь вихрь
 Неподвижный машинный кузов,
 И вдруг, кувыркинувшись, затих
 На панелях ветер кургузый.
 И вот ни Москва, ни луж,
 Ни крутящихся снежных простынь.
 И снова я — просто шалун,
 Семилетний курчавый подросток.
 И вот я в церковном дыму,
 И в тяжелом резном китее
 Сквозь ползущую ладоною муть
 Николай Мирликийский смотрит.
 Под ногой его медный паркет,
 Церковь медная в пальцах этих,
 И на бронзовой смуглой руке
 Повисли, качаясь, столетья.

С. МАЛАХОВ О ПОЭТАХ-КОМСОМОЛЬЦАХ

ТРОЕ

В 21-ом на Украине столкнулся с одесскими поэтами.

Попробовал подсчитать: 80 мастеров-акмеистов, человек 150 подмастерьев и учеников, по этой же пропорции поэтов и поэтиков остальных группировок в Одессе человек 500, всего 750 занимающихся — ну, положим, поэзией.

С одним из этих поэтов мне пришлось столкнуться на своем докладе о пролетарской поэзии, когда тот выступил, примерно, с такой речью:

«Город развратил искусство до типа похабной частушки. Только с окраин крестьянской Украины, от свежих истоков народного творчества может прийти подлинное пролетарское искусство!»

А через три месяца я читал в харьковских газетах: «На всеукраинском конкурсе поэтов первую премию взял пролетарский поэт Михаил Голодный». После узнал: Михаил Голодный 17-летний комсомолец, екатеринславский рабочий, почти безграмотный. Это было мое первое знакомство с первым из той тройки, о которой я говорю.

А месяц спустя встретился со вторым. На Подольи, вклиненной между польской и румынской границами, в Виннице, когда я уходил со своего доклада, в дверях столкнулся с оборванной темной фигурой. Вгляделся: равный, шершавый, словно опаленный кожух, сдвинутая на затылок кепка,

И колося голов ржаных
 Полегли под ветром на клиросе.
 Только я увидел: из-за них
 Неподвижный рабочий вырос.
 Дрогнул идол (рука и рукав),
 И скатилась с ладони церковь.
 И повисла беззвонная рука,
 Как пустая звенящая мерка.
 Смотрели: церковный свод
 Рабочий плечом отодвинул,
 Отодвинул и... рухнул тот
 Грохнувшей синей льдиной.
 И, впираясь в синий простор,
 Громяхачущий кожаной броней,
 Надо мною железный шофер
 Голубые простер ладони.
 И уже не машина вновь,
 Не мотор, ветровой скиталец,
 Вся вселенная солнц и миров
 Улеглась в закорюзлых пальцах.

Напечат. там же, стр. 14.

упрямый чуб из-под козырька и острые молодые глаза вразрез, словно насмех всему остальному.

Познакомились: Александр Ясный только что приехал из глубины губернии с самой границы, где шесть месяцев вместе со швами, не раздеваясь, не мяся, с винтовкой наедине, под пулями банд, так же беспощадных и многочисленных, как и вши, по мобилизации Комсомола на проработку, рыскал плечо о плечо с неизменной спутницей — смертью. Рыскал и не забывал писать стихи. Это второй поэт-комсомолец и поэт-гражданин — Александр Ясный.

И еще третий: Михаил Светлов. Эти трое были единственными на Украине в периоде 1918—23 годов (я не говорю о поэтах на украинском языке), кто свое молодое, еще не окрепшее искусство превратил в орудие борьбы и служения героически борющегося украинского пролетариата. Не даром один из них пишет:

Мне — сверкающие крики комсомольца
 Перелить в свинцовые стихи.

М. Светлов.

* * *

Советская Украина. Украина, раздираемая изнутри и снаружи. Украина, бьющаяся под игом германского, петлюровского и денкинского засилья. Словом, героическая Украина эпохи гражданской войны — вот страна, создавшая, породившая и в горниле пролетарской революции закалявшая творчество этих троих поэтов и певцов украинского пролетариата.

Когда предприимчивая семья одесских поэтов слышала поступь белой армии, высаживающейся под прикрытием французских миноносцев на берега Черного моря — она наскоро перелдывала стишки, воспевавшие Красную армию, с изумительной ловкостью рук ставя на место Красной слово «белая». Когда же эта поступь раздавалась в ушах поэтов пролетарских, они уходили в подполье, и номера большевистских газет с их стихами — лучший орден творчеству трех комсомольских поэтов.

Что ж удивительного, что пламя гражданской войны сквозит и опалает каждую строку этих стихов:

Мы пришли окровавить зарю,
 Засыпанный снегом закат.

М. Светлов.

Д-з-з-з...

Шлепнулся первый снаряд —
 Кто-то повис на фонарном столбе,
 Слово Христос на дыбе...
 Бум, бам, бам!

М. Голодный.

Прокашлял хрипло
 Набат,
 Издевно и гневно,
 Тревогу жуткую:
 Эй,
 Кто там?!..

.....

Бум — бах!
Лопнули
Чьи — то оконные стекла,
Чей — то крик...
И — миг...
Кто — то за косы
Волок что-то черное.

А. Ясный.

Но подлинно пролетарское мироощущение всех троих в том, что ни один из них не замыкается в рамки национальной борьбы украинского пролетариата: они певцы пролетарской борьбы вообще, и грандиозный размах всероссийского Октября занимает в их стихах центральное место.

Эх ты, Русь, стальная занобушка,
Советская краля моя...
...Помнишь, Русь? Мы тебя сверхурочными
Отправили к чорту на святцы?

А. Ясный.

Последнее — о старой дооктябрьской национальной Руси, первое — о новой пролетарской: характерен эпитет «стальная».

Необычайно удачно использован Светловым былинный стиль древнерусской песни, чтобы Руси национальной противопоставить пролетарскую Ресейсеррию:

Во саду ль твоём большевики
Поломали звончатые гусли.
...И верю, Русь! Октябрьская ночью,
Стопой разбуженных дорог,
Придет к свободе в лапоточках
Все тот же русский мужичок.

И, наконец, в стихах Голодного полное растворение индивидуальности в коллективном образе мирового пролетариата:

Посмотрите, я всю Европу
Звездой на блузе ношу.

Большое место в стихах всех троих занимает также и Комсомол, который в лице трех рабочих комсомольцев-поэтов нашел своих пламенных певцов.

За недостатком места я не останавливаюсь на иллюстрациях, отсылая интересующихся к книжкам авторов: А. Ясный — «Каменья», М. Голодный — «Сваи» и М. Светлов — «Рельсы».

Отрицательные идеологические черты, порожденные, впрочем, той же обстановкой гражданской войны, особенно резко выделяются в ранних стихах Ясного, но общи частями всем троице. С одной стороны, это абстрактно выраженный уклон, находящий некоторое оправдание, как психологическая инерция Октябрьского размаха (этот уклон изживает себя в более поздних произведениях); с другой стороны (тоже в ранних вещах) — естественная на почве отрыва от социально-производственной связи с пролетариатом анархичность и (отсюда же) кое-где индивидуалистичность настроений с оттенком самолюбования (у Голодного)...

К величайшему плюсу молодых поэтов нельзя не отнести строго выдержанное, пролетарски-марксистское восприятие НЭПа. А ведь это тот самый НЭП, который заставил согнуться головы старших пролетарских поэтов и внес разложение в их ряды (известная история с «Кузницей»).

Все трое во-время сумели изжить восторженно эклектическую инерцию и мистицизм электрифицирования вселенной, а изжив, перестали «звездопадом катиться на Марс» (Голодный) и обратились к грешной земле с ее советскими буднями, чтобы в этих буднях увидеть и показать другим светлые блики грядущего мира...

(Отрывок из статьи С. Малахова «Трое». Напечат. в журнале «На посту» 1923 г., № 4, стр. 181).

МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ

* * *

Я в мир пришел не посторонним:
Взращу я жизненную рожь;
Каскадом бронзовых симфоний
Пришел будить я молодежь.

Тревожно вскрикнула Россия;
Склонилась зарево над ней,
Взметнулись искры золотые
Из-под копыт горящих дней.

И тайну космоса затронув,
Горю, горю я вместе с ней,
Упершись головой миллионный
В немую беспредельность дней...

Стихийный рокот Уитмена,
Эмиль Верхарна медный гром
Я заглушу моей сиреной
И огнекрылым Октябрем.

Под красной палицей Востока
Скатилась мира голова:
В волнах расплавленного тока
Рождались новые слова.

Под посвист палицы Востока
Дремала сонная Нева.
В волнах расплавленного тока
Глотал я новые слова.

Бурлящим валом налетела
На землю зарева Новь,
И прошлого повисло тело
На мачте солнечных миров.

Венчальные снимали кольца
Борьбой развенчанные дни,
Я первый песней комсомольца
Венчал Октябрьские огни.

1921.

Из сборника стихов Михаила Голодного.
Изд. «Молодая Гвардия» 1924 г., стр. 5.

СО СТАНКОМ

Эх, станок, полюбил не на шутку я.
Разве можно ее не любить?
Называют ее проституткою —
Как же быть?
Как же быть?
Очи ее темно-карие,
С ясной звездочкой вместо зрачка,
Заставляют меня, пролетария,
К ней привыкать...

Каждый день, как знакомой сто-
ронкою
Прихожу от тебя домой,
Я любимую, словно ребенка,
Раскачиваю над собой.
А она заливается звонко:
— Какой ты большой!..
Лягу я, а она наклонится,
Полоснет из очей...

Эх, станок, ты лучше любовницы,
Но она горячей!
Я люблю ее, шустрою, смелую,
Неумных страстей комок...

1922.

Знаешь, что?
Мы ее переделаем...
Ладно, станок?..

Изд. «Молодая Гвардия» 1924 г., стр. 17.

* * *

Выйди, милая, родная,
Подле клуба на крылечко.
В жарком сердце солнце мая
Припасло тебе местечко.
Видишь, в небе вечер поздний
Красных зорек радость пролил...
Хорошо под шопот звездный
Говорить о Комсомоле.
Над Юпитером, над Марсом
Звездопадные декреты;
Расскажу тебе о Марксе,
О баянах, о поэтах.

Знаю, многие другие
Целовали подле клуба,
Но за песни огневые
Ты корявого полюбишь.
Звонче будет песня шелкать,
Ой, зарядят щеки вспышкой!..
Выйди, где ты, комсомолка,
Ждет тебя штамповщик Мишка.
Выходи же. Вечер поздний и
Красных зорек радость пролил...
Хорошо под шопот звездный
Говорить о Комсомоле...

Там же, стр. 19.

ПИСЬМО

Екатеринославской организации КСМУ

Вы ждете песен и стихов,
И письма ваши — чаще, чаще.
А в них — рассказы о пропащих
В железных лапах городов.

Да, мы смеемся здесь не так,
Как мы смеялись раньше с вами.
Бывает, заходя в кабаки,
Выходим с темными глазами.

Не по плечам нам дали кладь,
Не по глазам дано нам видеть,
И рано велено нам внимать
Чужим и нечужим обидам.

Все реже тот огонь в руках,
Что жег весну и плавил лето;
В стране Советов в кабаках
Живут рабочие поэты!

Мы часто вспоминаем дом
В знаменах, лозунгах, аншлагах,
Седые тучи над Днепром
И нашу прежнюю отвагу!

Тогда, читая письма, ценим
И боль за нас, и темный страх,
И стыд, что не один Есенин
Поет в московских кабаках.

Тогда грустим по вас сильней,
В мечтах вас обнимаем жарко
И всех... и наших матерей,
Что вместо песен ждут подарков.

Нет, мы к пропащим не уйдем,
Нет, мы всегда еще готовы
Услышать над седым Днепром
И повсест пуль, и дальний гром,
И крик сердец, и запах крови!..¹

¹ Это стихотворение напечатано во 2-й книжке журнала «Октябрь» 1924 г. с таким примечанием редакции: Михаил Голодный — молодой пролетарский писатель-комсомолец, работавший раньше в Екатеринославской организации КСМУ — вместе с другими двумя своими товарищами, поэтами: М. Светловым и А. Ясным, прислал про-

М. СВЕТЛОВ.

ВИХРИ

Между глыбами снега — насыпь,
А на насыпи — рельс линии...
В небе дремлющем сумрак синий,
Да мерцающих звезд чуть видна
сыпь.
Заяц вымыл свой ранний наряд
И привстал на задние лапочки —
Посмотреть, как в небе заря
Разбегается красной шапочкой.
Дальний лязг застучал угрозой —
Вниз по насыпи заяц прыжком,

Увидал: за отцом — паровозом
Стая вагончиков поспешает гуськом.
Зазвенели стальные рельсы,
Захрипел тяжело гулко...
Осмелся
И стань поперек!
... А там, где прошли вихри,
Прижавшись тесно друг к другу,
Рассказывал заяц зайчишке
Про выюгу.

Налеч. в альманахе «Под знаком Комсомола», «Молодая Гвардия», 1923 г., стр. 56.

* * *

Осень в кучи листья собирает
И кружит, кружит по одному...
Помню: о чистилище и рае
Говорил мне выцветший Талмуд.
Старый ребе говорил о мире,
Профиль старческий до боли был
знаком...
А теперь мой ребе спекулирует
На базаре прелым табаком.
Тихо слушает седая синагога,

Как шагают по дорогам Октября...
Видно, вздохами с навеком умолившим
богом
Старая устала говорить.
Знаю я: отец усердно молится,
Замолая сыновние грехи...
Мне ж сверкающие крики комсо-
мольца
Перелить в свинцовые стихи.

Налеч. в альманахе «Под знаком Комсомола». Изд. «Молодая Гвардия», 1923 г., стр. 57.

шлым летом в Москву. По приезде вступил в группу пролетписателей «Молодая Гвардия», но зимою перешел вместе с Светловым и Ясным в группу «Перевал» (организованную тов. Воронским при журнале «Красная Новь»), состоящую из различных элементов и довольно близкую попутчикам.

Редакция помещает «письмо» Голодного, как характернейший документ, ярко показывающий настроенные части литературного молодика, искреннего, но недостаточно выдержанного идеологически и поэтому оторвавшегося от рядов пролетарской литературы и попавшего в обстановку богемы и кабаков. Вместе с тем, протест против теперешнего своего положения и «стыд, что не один Есенин поет в московских кабаках», показывают, что в названных товарищах заложено здоровое начало, которое, если восторжествует, поможет им вернуться в ряды пролетарской литературы.

«Октябрь», 1924 г., № 2, стр. 153.

А. ЯСНЫЙ

СЫНОЧЕК

Загулялся ветер у ворот,
Целовался с черноглазой ночью...
Как у нас здесь в позапрошлый
год
Загубили, расстреляли двух рабо-
чих.

Только месяц, павший за овраг,
Только буйные ребятушки — два
ветра

Увидали: в синей шапочке казак
Снял с убитых серенькие гетры.
Горько плакал по убитым мрак,
Отзвенели по камням шпоры,

Напеч. в альманахе «Под знаком Комсомола». Изд. «Молодая Гвардия», 1923 г., стр. 70.

Укатил домой на Дон казак,
Да вернется, видно, уж не скоро.
Месяц в небе миленькую ждет,
Нарядился в синенький платочек,
Нашептал он милому у ворот,
Что растет у красненьких сыночек.

Кто сказал, что надо быть добрей?
Кто сказал, что так нам будет
лучше,
Мне, кто с детства, как в падучей
На приплюснутых камнях пло-
щадей?

* * *

Когда сумраки мчались, спеша,
Улизнуть под колеса трамвая,
Ее душа
Была шестая.
Тихо щелкнул зловещий курок,
И тоскливо шпоры затенькали.
Красный платок
Терпеливо застыл у стенок...
Горы, горы мои «Жигули»,
Развеселые Стенки Разины!

Пли!!
Сразу...
Эй, ветры, стой.
Стойте, небо, земля, тучи,
Только что вот за этой стеной
Мою любовь замучили.

Напеч. там же, стр. 71.

ИВАН ДОРОНИН¹

Сердце,
Песен солнечные лучи
Лей,

Лей;
Я—рабочий, певец полей,
Я—певец полевой машины.

* * *

В душе,
На черноземах талых
Бушуют радости колосья;
Поля,
Поля,

Для вас
Из городских кварталов
Солнце лучистое,
Сердце принес я.

Напечат. в сборнике¹ стихов И. Доронина. «Комсомольские поэты и писатели»
«Молодая Гвардия», 1923 г., стр. 7.

¹ Автобиографию и стихи И. Доронина, выступающего в разных группах, приводим
в главе «Рабочая Весна», стр. 397.

ПЕСЕНКА

Дым сверкающим разливом
И шумит
И валит,
Блики белками игриво
Прыгают по стали.

Голова в цветах железных,
Голова хмельная, —
В хмеле вижу
Весен бездну
И сама весна я.

И станок,
Станок веселый —
Шестерней играет,
Распахнула душа поля
Солнечного мая.

И шуршат ремни,
Шуршат,
Будто листья дуба;
В нос шибает запах мят
Цементовых срубов.

Электрический зенит
В зеленях пушистых...
Ой, ты
Песенка,
Звени
Медью голосистой.

Напеч. там же, стр. 25.

ЯКОВ ШВЕДОВ

Родился в 1906 г. в крестьянской семье, переселившейся в город. Мать умерла
в городской больнице. Окончил церковно-прих. школу. С 13 лет поступил на завод и
с 14 лет живет самостоятельно, стихи печатает с юных лет. Принадлежит к МАППУ.
В 1924 г. «Новая Москва» выпустила книгу его стихов «Шестеренные перезвоны»
(78 стр.), где в центре — жизнь завода, и не плакатного завода, а живого, кипящего
в работе. В. Л.-Р.

РАБКОР

В редакции визжали телефоны,
Курьеры относили пачками в набор,
А я пришел с далекого Гужона,
Пожокий на других, рабкор.
Года легли тяжелым грузом,
Оставив черточки морщин.
Никто не знал, что в синей блузе
Я много жизни притащил.

Ну, и пускай, что руки позапачканы
(Не по-ученому варила голова), —
Зато принес я в толстой пачке
Рабочим нужные слова...
В редакции визжали телефоны,
И струйка дыма тонкая вилась,
А я пришел крепить с Гужона
Между станком с газетой связь.

«Шестеренные перезвоны», стр. 3.

Из стихов «О ВАГРАНКЕ»

Нынче утром видел, как вагранка
Ниже стлала огненный свой чуб,
Нынче слышал, как кричала за бол-
ванкой:
«Углю, углю дайте чугуна!»
Ой, как в жилах кровь моя кло-
кочет!
Присылайте, дайте мастеров.

Поскорей пришлите, дайте мне ра-
бочих
Заклепать, зашить заклепкой бок.
Присылайте, лавушка неладная
Всю литейку может исхлестать!
.....
Сделать рад бы, да кувалду я
Не могу от голода поднять.

Может быть, вся сплавка будет
скинута
И прольется лавою заря.
Где же знать тебе, что добывать
Деникина
Все уши с рассветом слесаря?
Слышишь, на котлах криливо и
лениво

На обед зовет исчахнувший гудок,
А ты видишь, с красным переливом
На динамо брызжет ток.
Ниже, ниже стался у вагранки
Из трубы приземки чуб,
А она просила и кричала за бол-
ванки:

«Углю дайте... углю чугуны!»...

Налеч. там же, стр. 9.

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

А. К. ВОРОНСКИЙ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ЖАРОВЕ

Александр Жаров очень близок к Безыменскому и по форме и по содержанию. Если Безыменский озабочен самостоятельностью товаров, то Жарова очень беспокоят судьбы нашего червонца:

Вот теперь, теперь,
Когда сердце тревогу тревожит,
Мозг зудит:
Сторожит нашу дверь
Золотой
Простой червонец.

Помимо червонца, «мозги» комсомольского поэта заняты «Бухаринным», Пушкинным, фабзавучем, лекциями, комсомолом, комячейкой. Перо Жарова значительно тверже некоторых его поэтических соратников по Комсомолу, но «Бухарин» и «Маркс» находятся еще исключительно в процессе учебы: органически в юное творчество Жарова они не вошли. Формальные ссылки на «Ницету философии» и «Капитал» еще не дают читателю представления о том, как все это вобрано вглубь, но в бытовом разрезе они представляют интерес: «Бухарин» и «Маркс», действительно, только в одной нашей республике занимают подобающее им место: это наше бытовое, этим мы можем законно гордиться, об этом следует писать даже в стихах. Жаров пишет, что «Александр Сергеевич Пушкин разговаривает» с ним. Это очень хорошо, но, кажется, его стихи больше «разговаривают» с Маяковским. Отдавая должное таланту Маяковского, мы все же думаем, что преклонить ухо к Пушкину нашей поэтической молодежи очень и очень не мешает. Не помешает это и Жарову...

Отрывок из статьи Воронского «О группе писателей» «Октябрь» и «Молодая Гвардия», «Кр. Новь» 1924 г., № 2, стр. 305.

МАРКУС

Говорят, из разбойных армий,
Армий варваров и громил,
Я пришел солнцезлазным парнем
В переломленный надвое мир!
Дождь меня как отец оплакал,
Когда ты увлекал на бой...
Я впервые в читальне рабфака

Познакомился с тобой.
Так отрадно было и лестно
Слушать голос твой, не дыша,
И страницами «Манифеста»
Выверять оброненный шаг!..
Милый дедушка! Дверь на засове.
Крепко стал я на новый путь...

Помоги «Ницету философии»
На лопатки перекувырнуть.
Мозг зудит в черной обложке:
1923 г.

Выстрел к выстрелу — враг упал.
Знаю: надо взметнуть головой мне
Неразрезанный «Капитал»!...
«Ледоход». Стихи. «Молодая Гвардия», 1923 г., стр. 6.

СПРОСОНЬЯ

Утром, над краем моей подушки,
Каждый день, как спросонья встря-
нешь головой,
Александр Сергеевич Пушкин
Улыбается, кудрявый, живой...
Будто с Тверской, с педестала
Он от кого-то услышал мелкомом,
Про Конгресс Интернационала,
Про Свободу, Совет, Совнарком!..
Пушкин, в любимой твоей отчизне,
Где гарцовали Онегин и Ленский,
Светят иначе миллионы жизней...

В дружбе станка и страды дере-
вской!..
Думал ты, что в проклятых и слове
Серп в колосьях, в огне молоток
Над московским заводом возглавит
Мирового восхода Восток?!..
Долго, склонившись к моей подушке,
Когда веет кругом тишиной,
Александр Сергеевич Пушкин
Разговаривает со мной...

Там же, стр. 29.

КОМСОМОЛКА

До четырех — за иглой:
Шьет на армейцев белье.
Радость моя — комсомолка,
Сердце мое!..
Будут дни: синеволюсым вечером
Я рассыплю шелк твоих кудрей.
Буду гладить голубые плечи,
Как мальчишкой гладил голубей!
Выйдут дни: и грубым я не буду,
Выращу соцветья нежных слов,

Переплаваю огневую удадь
В звонкую, крылатую любовь!..
Но теперь —
В работе без умолка —
Ты уйдешь, как только вспыхнет
день...

Радость моя —
Комсомолка,
Друг мой в борьбе и труде.

Там же, стр. 14.

ЛЕДОХОД

Я — делегат небесной рати
И от весеннего ЦЕКА,
Я — солнце — нынче председатель
И на земле, и в облаках!
Вчера работали на поле,
Теперь — с апрелем мы вдвоем
Пришли освободить на волю
Ручьево-реченский район.
Осербренные руины
Лучами всюду запалил...
Неситесь, бронзовые льдины,
1922 г.

Стремясь в расплавленный залив.
Умойтесь волнами разлива,
Пускайся в быстрый ледоход,
Промчитесь стройно и ивово!
Под флагом песен и гребов!..
Дворцы зимы живеи гроните,
С голов отряхивайте снег.
Товарищи, на митинг!..
Первый вопрос —
О весне!

Там же, стр. 5

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

Л. Д. ТРОЦКИЙ О БЕЗЫМЕНСКОМ

Первая небольшая книжка Безыменского есть подарок и обещание. Безыменский — поэт, и притом свой, «октябрьский», до последнего фибра. Ему не нужно «принимать» революцию, ибо она сама приняла его в день его духовного рождения, нарекла его и приказала быть своим поэтом. Вместе со всем новым поколением, Безыменский переживал революцию, пролеживал ее, претерпевал ее в ее героических моментах, в ее лишениях, в ее жестокости, в ее повседневности, в ее замыслах, достижениях, в ее величии и в трагических, а подчас смешных и уродливых пустяках. Он берет революцию целиком, ибо это — та духовная планета, на которой он родился и собирается жить. Из всех наших поэтов, писавших о революции, для революции, по поводу революции, Безыменский наиболее органически к ней подходит, ибо он от ее плоти, сын революции, Октябрьевич.

Ему, Безыменскому, нет надобности «планеты перекидывать, как комья». Ему не нужны космические размеры, чтобы чувствовать революцию. Переливка аристократической блоковщины, с ее мистической (или космической) музыкой восстания, чужда ему. Безыменский умеет и в «отделении милиции революцию найти».

Довольно неба
И мудрости вещей,
Давайте больше простых гвоздей.
Откройте небо! Отбросьте вещи!
Давайте землю
И живых людей.

Безыменский — поэт, подлинный, настоящий. Можно было бы без труда указать те или другие формальные влияния, под которыми находится или находится Безыменский. Да как же иначе? Поэт не рождается голым человеком на голой земле. Формальная полувисимость Безыменского, при его глубокой, внутренней, органической независимости, есть только накопленные технического мастерства. У Безыменского свое художественное мироощущение, глубоко индивидуальное, и в то же время впитавшее в себя короткий — но какой содержательный! — жизненный опыт всей нашей революционной молодежи. В этой неподдельной, нерасторжимой связи с поколением — иным, новым, небывалым — и заключается существо поэтической значительности Безыменского. Через Безыменского мы, старшие, можем не только понять, но и прочувствовать насквозь то новое поколение, которое от нас пошло, но не идет своими путями. Особенно ярко почувствовал я это, читая «Комсомолию», большую поэму Безыменского, не вошедшую в эту книжку.

«Как пахнет жизнь»... Не вся, конечно, жизнь, а тот ее угол, — очень большой, очень значительный, очень содержательный, — из которого вышел и из которого развернулся Комсомол. Первая книжка Безыменского, вместе с не вошедшей в нее поэмой, о которой только что сказано, как бы замыкает определенный период, или, если хотите, определенный возраст нового поколения, нашей смены. Поколение это растет, юноши становятся мужами. У самого Безыменского есть уже стихи, обращенные к сыну, и даже мысли — о внуках. Насколько могу судить, до внуков Безыменскому еще далеко. Но на героической «Комсомолии» поэзия его вырастает в революцию вообще. Есть у Безыменского прекрасная поэма о партбилете:

Не понять ей, старенькой маме,
Пятнышку в нашей борьбе,
Что ношу партбилет не в кармане, —
В себе.

Лучше этого нельзя сказать. Здесь Безыменский весь, свой, наш, поэт революционной, беззаветнейшей партии. Из своей героической «Комсомолии» он пророс в нее, в РКП, молодой поэтической головой. И мы все будем внимательно следить за дальнейшим развитием поэта. Вторая его ступень будет уже — должна! — отличаться от первой. Чтобы подняться на нее, нужна вера в себя, вера в партию, упорная работа над собой. Мы твердо рассчитываем, что во всем этом недостатка не будет. И вот почему мы приветствуем первую книжку Безыменского не только как подарок, но и как обещание.

Л. Троцкий.

2/хI — 23 г.

Безыменский, «Как пахнет жизнь». 1924 г., стр. 3.

ПОЭТАМ «КУЗНИЦЫ»

Хорошо:
Не пели о ножках Милицы.
Воспели идущих по баррикадному
пути.

А вы попробовали
В отделении милиции
Революцию найти?
Хорошо планеты
Перекидывать как комья,
Электорпоэмами космос воспеть.
А вот сумейте
З каком-нибудь предуглеском
Зарю грядущего разгладить!
Трекрасно петь
Революции, как невесте,
Миллионы гимнов и железопсалмов.
А знаете ли вы,
Какие в резинотресте
Окопы рыли
[Против врагов?!
Мешно не видеть
расной Армии,
Не видеть молний
Сктябрьской грозы.

А вот воспойте красноармейца
в казарме,
Во имя Революции добывающего азы!
Вкушайте соки
Культуры грядущей!
(Не меньше моря один глоток!)
А чем вам дорог простой и сущий
Какой-нибудь крестьянин,
Сморкающийся в платок?
Пишите сотни «Поэм о собаке»,
Но дайте одну хоть
О человеке живом.
Возьмите любого Федю на рабфаке,
Который будет
Нашим завтрашним днем!
Довольно неба
И мудрости вещей!
Давайте больше простых гвоздей.
Откройте небо! Отбросьте вещи!
Давайте землю
И живых людей.

Март, 1923.

«Как пахнет жизнь». 1924 г., стр. 26.

ИЗ ПОЭМЫ «КОМСОМОЛИЯ»

Вычерпывая сапогами лужи,
Вреду с подвязанной рукой.
В кармане хлеб (обед и ужин) —
Нетвертка. Рядом с нею — кольт.

Весна — нахал — знакомства ради
Заглядывает через плечо...
Я — с лекции «о белом газе».
Я не весною увлечен.

И вдруг кричу:
— Бери винтовку!
Всю землю надо на ремонт!
Вот сбуду с рук командировку,
А там с ребятами на фронт...
Но я один...
Домишки, уж не вам ли
Я лекцию здесь повторил?
Что скажете на это, мамли?
Ну как, — не плохо говорил?

Но вам наверно вечно снится
Листок охранный для замков:
«Освобожден от реквизиций,
От постояльцев и мозгов»...

Пришел к себе. Копилку ввяз,
Строчу статью о зарплате,
А за стеною, у хозяев,
Поскрипывают души и кровати.

Там же, стр. 58.

ДМИТРИЙ МАЗНИН

ВОЛЧАТА

В мниувшем волчатами были,
Теперь имя их — Человек.
А. Гр — н.
Вся молодежь, под наше знамя!
В один союз! В одну семью!
Н. Фомин.

Где птицы зловещие грубо
На свалках зловонных кричат,
Где, в небо усталобленным ворчат,
С глухим озлобленным ворчат,
Там точит Нужда свои зубы
На диких фабричных волчат.
В предместьях жестокой столицы
Растоптаны чьи-то мечты;
Томятся плененные птицы,
Не зная родной высоты...
Серьезные детские лица
Загадочно странно просты...
Живут молчаливые дети
В подвалах, в чаду и дыму,
Закатые лапой столетий...
Как будто в гнилую тюрьму
Их кто-то весной на рассвете
Волчатами бросил во тьму...
О, светлые детские глазки
И детства беспечного сны!
Но вы, не встречавшие ласки,
Не знавшие в жизни весны,
Для вас ли старушкины сказки,
Заброшенным в клеть без вины?..

.....

Так шли года без перемен.
В плену у черной нищеты
Волчата жили терпеливо,
Смирая скудные мечты.

Но каждый день в дыму предместий
Из-под нависших хмурых туч
Манит настойчиво кого-то
Познашь правды ясный луч.
Он звал призывно, беспокорно
И все смелее проникал
В угрюмый, пасмурный и душный,
Сырой, безрадостный подвал.
А там росли и крепили дети,
И в юных, творческих сердцах
Уже не сковывал желанья
Перед судьбою рабский страх.
Уже глаза искали жадно
В суровых даях счастья нить,
Чтоб жизнью радостной, чудесной,
Отбросив старое, захватить.
Уже они искали сами
К закрытым выходам пути,
Чтобы разбить засовы ночи
И к ноюй жизни подойти.
А дни текли... сверкал все ярче
Луч солнца правды огневой...
И над мучительной загадкой
Так не один мечтал порой:
— Нас много, брошенных в заводы...
Что, если всем в урочный час
Смокнуться в пламенном решении,
В одном потоке гневных масс?
Тогда, к свободе устремившись

ной дружною семьей,
рабский гнет низвергли б грозно
стали б построить мир иной!

теперь расцвели сновиденья
облищей, чарующей глаз,
маячат, горят достижения
овьюю спянных солнечных масс.
го на улицах дымных предместий
нов увидит угрюмых волчат?
оду, всюду разносятся вести:
ар земной зацветет, словно сад.
бывают грустные были
дни борьбы за века без тревог...
ди радость борьбы полюбили
забыли распутья дорог.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

ЕВГЕНИЙ ПАМФИЛОВ

РАБФАКОВКА

Поэма

I

денчик здесь, Юденич рядом:
тнадцать верст и — Петроград;
в красный Питер за снарядом
заостановочно — снаряда.

ород, боль преодолев,
отов был биться, биться, биться;
та же ненависть и гнев
чились в городские лица.
е потому ль и днем и ночью,
вирепе вскидывая флаг,
агал отрядами рабочий,
Красноармеец и рабфак?
И ты, от лекций и от книг,
С косяю точно из кудели,
Швырнув ее под воротник
Неповоротливой шинели,
Верунька, — чем ты не вояка? —
Занятка бросив, как и все,
С опустошенного рабфака
шла без раздумий по шоссе.
интовка ловко на плече,
орту цыгарка — кольца... кольца...
разговор об Ильиче
И про задачи комсомольца.

II

Не приехал нынче ужин?
Переможем. Выход прост:

Путь, намеченный в даях рассвет-
ных,
Безграничен для смелых и прям,
Ведь в туманах былых безответных
Он давно примерился нам.
Все за нами, кто в жизни измучен
Угнетением, бесправьем и злом,
Кто с рождения к страданиям при-
учен
И встречает улыбкою гром!
Знамя алое вспыхнувшей мести
Твердо держит в руке юный брат...
Пусть не будет в лагугах пред-
местий
Озлобленных, угрюмых волчат!

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Библиотека «Юного Пролетария». «В дыму пожаров». 1921 г., стр. 22.

Подруги суетятся замуж,
Соседи перешли в совхоз...
И скоро седенькую маму
Снесли родные на погост.
Отец в отчаяньи и горе:
— Верунька, воротай назад! —
И за письмом спешит другое
В нахмурившийся Петроград.
Но дочку ему:

— Врага сломаем,
Зачеты на рабфаке сдам,
Тогда, наверно, папа, в мае,
Приеду на побывку к вам.

IV

В темноте переоденется
В юбку, кофту — и ухабами
На разведку в тыл Юденича
Вместе с бабами.

V

Словно с дочерью, свылась с вин-
товкой;

Даже стало вначале без ней,
На рабфаке, в стальной голодовке,
Однообразной и скучней.
Схватит хлеба (без хлеба ча-
стенько)

И за книгу — зачет на носу...
А в глаза проскользнет деревенька,
Белый штаб и разведка в лесу.
Где тут клином воьбьется котан-
генс,

Если в памяти вдруг всплывет,
Как английские хищные танки
Штурмовал кулаками народ.
Иль задумается над задачей,
Но в ушах грохотанье и крик —
За врагом отступающим скачет
Неуклюжий, шальной броневик.
Книге есть и другая похоча:
То Петюшка, то Колька
И даже Федот
Лезут, черти, с раскатистым сме-
хом

Целовать
Расцветающий рот.
— Нате, целуйте.

Напечат. в журн. «Звезда». Литературно-общественн., научно-популярный журнал. 1924 г.,
№ 3, стр. 96.

Нате!

Ведь не будешь же с вами скупой,
Если все мы —
Советской поэмы
Молодой
Комсомольский прибой.

VI

Зачеты ближе, ближе, ближе,
За часом час, за мигот миг...
На груду незнакомых книжек
Ложится груда новых книг.
Сначала — эх, и тяжело же!
Но вскоре, как и прошлый год,
Верунька с группой молодежи
Зачеты все-таки сдает.

VII

Ах, сердце, беися неселей,
Чтоб голос был и свеж и звонок;
Мне не забыть учителей,
Не разлюбить парнишек и девчо-
нок!

Прошай, рабфак,
Лукавство глаз,
Улыбок искорки и всплески!
Уже, никто, никто из вас,
Из губ не вывет папироски,
Чтоб, бросив:

— Дай-ка докурю, —
Ворваться на урок последней,
А после:
Краснощечкую зарю
Встречать на Малом или Среднем.
Серчает ветер и мороз,
Но нам с тобой какое дело,
Раз в водопад твоих волос
Вплелось мое стальное тело?
Процвай!
И все ж еще не раз
Врисую я рукой неловкой
В свой безыскусственный рассказ
Твою курчавую головку,
Покуда свидимся с тобой
Не только в заводи учебы,
На площадях совсем иной —
Коммунистической Европы.

ГРУППА «ПЕРЕВАЛА».

Эта группа объединилась в 1924 г. вокруг А. К. Воронского. Она отличается строгим требованием по отношению к поэту, как к художнику слова. Первый сборник этой группы, вышедший под названием «Перевал» (261 стр.), возмещает о задачах группы в следующих строках «от редакции»: «При редакции журнала «Красная Новь» организовалась группа молодых писателей, прозаиков и поэтов. Основное ядро их связано с Комм. партией и Комсомолом. Другая часть беспартийна, но стоит на коммунистической точке зрения, либо близка к ней, являясь органически связанной с рабоче-крестьянской средой. Группа приступает к изданию своих сборников «Перевал», которые должны выходить периодически каждые три месяца.

«Редакция обращается к молодым писателям, родственным по Октябрьской революции и идеологии, с просьбой присылать свои повести, рассказы, стихи, очерки. С особым вниманием редакция относится к произведениям, в которых будет отражаться новый фабричный и заводский быт нашего рабочего в недавнем прошлом и в настоящем, быт, почти незатронутый современной литературой. Рукописи следует направлять по адресу: Москва, Покровка, б. Успенский пер., д. 5, кв. 36, редакция сборников «Перевал», тел. 19-82» («Перевал». Сборник № 1. Госиздат. Москва, 1924 г., стр. 3).

Первый сборник вышел под редакцией Артема Веселого, А. Воронского, Мих. Голодного и В. Казина. В сборник вошло 28 имен, только некоторые из них встречались и в других группах. Все авторы отмечены печатью подлинного дарования. И художественная проза, и стихи сборника радуют свежестью и яркостью. В этой группе выступили беллетристы: Вл. Ветров с колоритной повестью «Кедровый дух», Н. Каратыгина с рассказом «Через борозды», О. Логинов-Лесняк с повестью «Город в овраге», Е. Сергеева с рассказом «Яшка — вязаный нос», В. Герасимова с рассказом «Недорogie ковры», А. Костерин с рассказом «Чеченская песня». Все эти произведения отражают нашу эпоху в художественных образах. Читая их, мы сразу чувствуем, что группе «Перевал» принадлежит будущее. Избегая давать отрывки, мы в нашей книге берем из «Перевала» только стихи.

В. Л.-Р.

ПАВЕЛ ДРУЖИНИН

ДЕРЕВЯННОЕ ГОРЕ

Погляжу-загляжусь во все стороны
Да, прислушався, вздох затаю:
Деревянные сохи и бороны
Деревянные песни поют.
Избыно, овинное, банное,
Вековое — сучки да горбыль...
Деревянное, все деревянное,
Деревянная старая быль!
Вот они — армяковые, гнутые,
Натрудившие полем виски,
В берестовые буты обутые,
Деревянные мужики!..

Тут и деды мои и прапрадеды.
Вся родня моя, кровь моя, пот,
Копопляными жилами прядями
Пророщенные, лапотный род!
Всю их жизнь с аржанами лепеш-
ками,

Без говядины постные щи,
Я и сам деревянною ложкою
По губам у себя протачил.
Всю тоску неизбывную серую,
Что сочила годами земля,
Я пронес с лошадиною верою,

Как они, по великим полям.
И меня черной плетью и венником
Согревала мужичья судьба,
Оттого и гляжу неврастеником
Потому я сутул и горбат...
Оттого и глаза мои выжжены,
На челе моем сумерек тень,

Что любил горячо эти хижинки
Деревянных моих деревень.
И теперь, когда буйная, пьяная
Прокатилась над Русью гроза,
Не потухло еще деревянное,
Застаревшее горе в глазах.

Сборн. «Перевал», № 1, стр. 57.

В. НАСЕДКИН

Город, город!
Странное лицо
У тебя по вечерам
Донные.
Точно скалы,¹
Точно близнецом
Ты встаешь громадой из пустыни,
И звенит от тысяч бубенцов
Воздух
То оранжевый,
То синий...

Облаков
Тоскуют без призора?

(Мне о том не рассказать,
Слушаю — как вырастает город).

Город — пристань,
Вот и корабли,
Переулки,
Улицы
Качая,
У бортов без усталы бурлит
Не толпа ль матросов удаляя,
Чтоб на завтра
Снова
Плыть и плыть
К берегам неведомого края.

«Перевал». Сборник № 1, стр. 64. Гос-
издат. 1924 г.

Не уйти,
Не повернуть назад
К тихим речкам,
К темным косогорам,
О шуршащих вестью глаза
Верят тайнам синего простора,
И не там ли
Дымные воза

И. ПРИБЛУДНЫЙ

ГОРОДУ

(из цикла «Украина»)

Вам — в железо, в гранит закован-
ным,
Заколоченным в пыль, в снега —
Расскажу о краях дикихвинных,
О шуршащих весной лугах.
К вам пришел я из лунной родины,
От курганов, озер и роц,
Где сады стелят пух смородиный,
Где поля — синий мох и рожь;
Где вечерней порою летнею
Врутся песни из гущи верб,
Где стеклянной волнистой лентою

Развернулся певучий Днепр;
Где в венках островерхих тополей
Зреют белые личики хат,
Где и вам, закаленным в копоти,
Было б так хорошо отдыхать.
Вам — в железо, в гранит закован-
ным,
Заколоченным в пыль, в снега, —
Пропою о краях дикихвинных,
О шуршащих весной лугах.

«Рабочая Весна», сб. № 2, стр. 84—85.

¹ Стихи юного поэта И. Приблудного напечатаны в сборнике «Рабочая Весна», а не «Перевал», но этот талантливый темпераментный юноша, находящийся под влиянием С. Есенина, близко примыкает к В. Наседкину и обычно выступает вместе с ним в молодой группе «Радуга». Мы уверены, что он принадлежит к группе «Перевал». В. Л.-Р.

РОДИОН АКУЛЬШИН

ДОБРО

Посвящается Василию Наседкину

Все добро поразвесила Домна
На крыльцо, на рыдван, на веревки;
Расцвели разноцветные маки —
Сарафаны, холсты и платки;
Вот извилистой лентой — тяжина,
На портки мужикам, на рубахи,
Старикам — потемней, а ребятам —
Что по красному желтый уток;
А вот эти, в широкую клетку,
Пригодятся на полог и юбки.
Девять стен с половиною Домна
Наткала перед зимним постом.
На веревке висят полушалки,
Порасшиты углы и середки;
На крыльце кашемировы юбки —
Красный, желтый, жандармовый цвет.
Среди юбок с лиловой отделкой
Сарафан, — по тринадцать копеек
За аршин у разносчика Домна
Закупила лет двадцать назад.
Каждый год она в нем причаща-
лась,

В двадцать лет не запачкала кромки;
Но теперь уж такие не носят,
Дочь-невеста смеется над ним.

Вот вздохнула невесело тетка:
Два пятна на малиновой юбке —
Как на свадьбе у кума гулял,
Брызнул красным вином Митрофан.
На плетне — меховая одежда.
Моль проела рукав у шубейки.
(На базаре в четверг непременно
Надо средство от моли купить.)
Ходит Домна, любуясь приданым;
Вся семья за работою в поле,
Ветерок шелестит полушалки,
Солнце ласково сушит добро.
Сели голуби с краю на крышу,
Воркотню завели, зажурчали,
Стаи ласточек в небе ныряют, —
Значит ведро еще постоит.
На крыльце развалился, как барин,
Кот и веки от солнца зажмурил;
Возле кур увивается кочет,
От наседки цыпленок отстал.
Перед вечером Домна наряды
Уберет, в сундуки поразложит,
Будет ждать у калитки корову
И дозывать белый чулок.
Сборник «Перевал», 1924 г., № 1, стр. 115.

АНТОН ПРИШЕЛЕЦ

Ш В Е Я

На улице дробятся звоны
И волны вешнего тепла, —
А у нее в глазах бессонных
Остановилась игла.
За строчкою уходят строчки,
Шурша душистым полотном;
А луч нащупывает щечку:
Под солнцем лопится окно.
Ах, выброситься бы в эти звоны,
В изломанные тростники!
И к солнцу тянутся безвольно
Ее большие васильки.
Вот скрипнула устало стулом,
Два шага непослушных ног —

И судорожно распахнула
Под солнце узкое окно.
Хлестнули уличные гулы
И цоканье со всех концов;
Веселым ветром опанхую!
И солнцем залило лицо.
Так жадно, жадно задыхалась,
Откидывая шелк волос;
Пьянеющая, грудью вплоял
Впивала терпкое тепло.
И кланялась лучам и ветру
Приветливо... А на столе —
Застыла змейка сантиметра
И платья стачанный скелет.
Сборник «Перевал», 1924 г., № 1, стр. 190.

Б. КОВЫНЕВ

ИЗ ЦИКЛА «ГОЛОДНЫЕ ПЕСНИ»

Каждый день голодный ультиматум,
Каждый день голодная гроза...
Эх, ну, как не выругаться матом,
Не взъерошить дыбом волосы!
Оттого и бешенствуют строчки,
Оттого и в сердце мятежи,
Что вот тут, за пазухой в сорочке
Развелись породистые вши.

Где-то... где-то... пляшут балерины,
У кого-то в сердце васильки,—
А вот я маяю у витрины
И скрипя сжимаю кулаки.
У меня и холодно и тесно —
И в груди невольная вражда;
Но кому на свете не известно,
Что поэтов делает нужда!

Сборник «Перевал», 1924 г., № 1, стр. 122.

Вл. ВАСИЛЕНКО

ТВОРЧЕСТВО

Как погонщик смуглолицый,
Понукающий волов,
Я плетусь за вереницей
Мерно шествующих слов.
И размеры мне не тяжки,
И к перу я приобык,
Но бывает, что в запяжке
Заведется буйный бык,—
И на белой глади луга,
Там, где синяя трава,

Взгромождаются друг на друга
Непослушные слова.
И тогда не до дремоты,—
Не глазей по сторонам,
А старайся под ярмо ты
Втиснуть шею шалунам.
С этой бычьей повадкой
Обессилевши в борьбе,
Засыпаю над тетрадкой,
Как погонщик на арбе.

Сборн. «Перевал», № 1, стр. 257.

ДЖЕК АЛТАУЗЕН

ЯКУТЕНОК

Моему старшему брату

1
Снова машут кудластой дымкой
Убегающие облака.
Я родился в теплой заимке
На золотых приисках.
На пригорке, у самой дороги,
Где солнце всего видней,

Я прожил в родной берлоге
Столько лет и столько дней.
Мой отец, тихий и трезвый,
Смиренье носил в груди,—
В жизни курицы не зарезал,
В жизни мухи не раздавил.
Никто никогда шуткой
Не любил его осмеять.

Он был женат на якутке,
Когда еще не был я,—
И остался смешной и тонкий,
Узкоглазый, плакал с утра —
Этот маленький якутенок
Был мой самый старший брат.
И меня глаза не узкие;
Почему? — я потом узнал —
Оттого, что была русской
У отца вторая жена.

II

Лес и заимку помню,
И холодные вечера.
Каждый проезжий конюх
Заезжал к нам ночевать.
И молодой и старый
Был для нас все равно —
Ложился на голые нары
Или просиживал ночь.
Приходили усталые, липкие,
Разговаривали с отцом,—
И раскалывала улыбка
Это ласковое лицо.
Еще хорошо я помню,
Как любил меня ласкать

Дорогой мой якутенок —
Милый мой старший брат.

III

Это было давно-давно уж...
Так давно, что не видно глазам.
На поляны пришло новое,
Новая прошла гроза.
Это было давно настолько,
Что забыл последнюю весну,—
Гуливанам не ждать попоек,
Поножовщины не вернуть.
Можно бросить теперь ружья;
Некому крови просить...
На плечах носил я стужу
И победу в груди носил.
И наверно от старой заимки
Облаков кудластых нет,
Не осталось бревна на бревне.
Запоздалые ветры тонут,
Рассыпаются по горам...
Не нашел я тебя, якутенок,
Дорогой мой старший брат.

Сборник «Перевал», 1924 г., № 1, стр. 119.

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ¹

ДИКОЕ СЕРДЦЕ

Ветробой

(Отрывок).

$$\frac{\times 2}{2}$$

В огне броду нет.

Радость гудит в Илько.
Шаг пружинит. Ноги веселы. С Фенькой шаг в шаг. Тук-тук.
Внизу море в реве, фырке. Молнья рвет ночь. Ветер рвет грудь. Кровь
мчит в Илько, мчит кровь.
— Где ж?
— Сюда! Скорей!

¹ В области художественной прозы комсомольцев выдвинулся ряд имен: Шубин, Костерин, Рахидо, Герасимова в «Молодой Гвардии», Ветров, Логинов-Лесник, Юдин, Сергеева, Артем Веселый в «Перевале». Здесь за недостатком места мы даем отрывок из повести «Дикое сердце» Артема Веселого, наиболее яркого из всех. В. Л.-Р.

Торопится тропа. Галькой закипела тропа. Собака гагавкнула. Смигнул огонек. Дымком пахнуло. Пинком в калитку. С козла через порог.

- Здорово, Степан!
- Хлеб да соль.
- Милости просим.

Блюдо, рыбы кости, ложка в сторону двинуты. На столе вытертая вельсом лапа Степанова. С лапоть лапа.

- Садитесь, товарищи. Что хорошего скажете?

Оба:

- Ехать надо.
- Торопимся во...
- Перебросишь нас в плавни.
- Помни уговор, Степан.

Огонь качнулся. Степан качнулся. Ветер раскачивает хату. Дует в пазы. По стенам сети переливаются. Скула у Степана сизая, дитая. А глаза с рябью. Зыбкие глаза, как сети.

- Буря злючая, а то б...
- Ты не едешь?
- Дай ялик нам...

Фенька когтит его плечо.

- И паруса.
- Разя у меня ялики? Корята. По тихой воде на них боязно.
- Все равно.
- Слышь?

Ветер толкает хату. Тоненько цвякают стекла. Стучит кровь. Дробен, смутен Степан. Неторопливые слова вяжет в тугие узлы.

- Переждать ночь... Не выгонка в сам-деле.
- Не будем ждать.
- Ты вот что, дядя Степан... Канитель не разводи.
- Давай об деле говорить.

Широко вздохнул.

- Где ж ваш товар?
- Вот товар.

Ногой ящики.

- Все тут?
- Все.
- Мы...

— Легковато. Упорю нет. Перекинет.

Фенька ударила жаркими глазами.

- Чего тут радиться... Дашь ялик, нет ли?
- Ты не бойся — ялик вернем.
- Я не боюсь... Кого мне в своей хате бояться...

Крякнул мужик. В сердцах шелкнул со стола котенка, пробующего недоодевшую уху. В сердцах сорвал картуз с гвоздя.

— Айдайте... Мне что ж... Мое дело телячье: поел и в клев... А токо скажу: зрэй вы горячку порете.

Степанов сын Андришка с красными утек. Меньшака Деника мобилизовал. Ни слуху, ни духу; ни пера, ни пуху. Нет и нет. Будто и не было сыночков родных. Не за что Степану любить ни тех, ни тех. И крутой мужик, а комитету подпольного побаивался. Комитетчики все крючнички да рыбаки своего курмыша. В случай чо — житъя прокляты не дадут. С чего такое сбзузыкалось — и не придумаешь. Держи по водам.

В дверь. В ночь. Крутень-вертень. Буря топит море, как девушка в смольных потоках кос своих топит любовника.

Рыбак разбивает молодых:

- Зря... Буря... Я бы тож...
- Мачту крепи!
- Ставь по ходу.

Фенька накатывает в лодку камней. Илько треплет по закрику кутенка: успели подружиться. Ялик мечется на якоре. Цепью гремит. Ялик мечется из-под ног. Волна бьет, бьет.

— К берегу не жмись... Забирай все круче, круче... У маяка на перевале в бортовую качку не ложись. Боже сохрани... Царапай в лоб, в лоб... К берегу не жмись — боже сохрани... Впра — по-малу...

- Взяли...
- Счастливо!
- Хо-оп!

Бортом по зубьям гребней. Чамра¹ в парус торк-торк. Берега утонули. Огонек утонул. Выкрошился оскал скал. В реве утонуло Степаново:

— Держи — держииииииии!

Ялик раскачивается. Дрожит в беге. Грудью прошибает ночь. Молодой горячей силой топчет кольчатую волну. Море со свистом мечет арканы пенящихся гребней.

Буй сердце вертит. Рука захрясла на руле. За кормой искра стелет. Море бьется — косматая рыба в сетке. Налит парус пылающим ветром. Фенька кожаной чепкой (черпак упустила) отплевкивает. Оба на корме. Нос высок. Весела мчалы. Скачут косматые молнии. Через всю ночь молчком. Только о деле.

— Камни за борт...

— Перехвати фал. Занемела рука.

На перевале брали килевую качку. Волна крыла подветренный борт. Фенька до свету отплевкивала без отверту воду. В жарком размете кувыркалось море.

БУРЯ

РУ

БИЛА

УДАЛЫХ.

Напеч. в журн. «Красная Новь», литературно-художественный и научно-публицистический журнал. 1924 г. Кн. 1-ая. Госиздат, стр. 41.

¹ Удары бури.

В. ЗАВОДЧИКОВ

Род. в 1904 г. в деревне, в Смоленск. губ. Комсомолец. Ранен был в гражд. войне. Студент Брюсовского Института.

ДВЕ ЭПОХИ

Памяти Н. Кузнецова.

Чем к истине ступает разум ближе,
Тем боль невыносимей и острей;
Яснее видишь, пламя сердце лижет
На вечно полыхающем костре.

Быть может, завтра будут пушки
Грохать, снаряды лихо спляшут трепака,
О, кто ты, взвихрившая нас эпоха,
И кем придут грядущие века?!

* * *

Открытой пастью щерятся кафе,
И проститутками засеяны бульвары;
В житейских волнах новые всплываю
Бары, и манит лаской в омут сласть кон-
фект.

Сил больше нет итти дорогой тор-
ной, и тряпка виснут мускулы порой;
Но кто-то в сердце, властный и упор-
ный,

Из огоньков души вздувает горн,—
И понял я, что это «я второй».
Вот первый воеет жалобно собакой,
Провоет ночь до утренней зари;
Всю ночь слезами огненными плакать
С ним будут на бульварах фонари.
Второй идет — и светлею улыбой
Оттаивает льдистый груз вериг.

Шагает через тину топей зыбок
И рвет цветы в долинах мудрых книг.
Подумал первый: «Кумачу не хватит,
Чтоб опоясать круглый шар земли...
Вложить бы в землю гулкий динамит,
Чтобы взорвать ее во всем объхвате!»

Другой заполнил: «Пушки грохотали...
В безмолвный звон малиновой зари
Проскачут те, что раньше проска-
кали,

Те — кумачевые богатыри».

* * *

Во мне два «я»¹, непримиримых
Зверя, в берлоге сердца гнездятся, таясь...
Сцепились в схватке злобой. Разно
верят.

У двух дорога разная — своя.
По-разному обоих лижет пламя.
Я, раздвоясь, по-разному иду...
Моей души горящими глазами
Все это вижу в пасмурном бреду.
Мой каждый день страницей мудрой
Книги

Прошлестит в задумчивый закат;
У них двоих — в их схватке — ка-
ждый выгиб

Полож на яркий и живой плакат!
Я вижу небывалую борьбу,
Я слышу их мучительные вздохи;
*В моей эпохе вижу две эпохи, —
Два «я» вступили в дикий грозный
бунт.*

И чем борьба к концу приходит
Ближе, тем более невыносимей и острей,
Яснее вижу, — пламя сердце лижет
На вечно полыхающем огне!

Октябрь 1924.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|-----------------------|--------|
| Предисловие | Стр. 3 |
|-----------------------|--------|

ОТДЕЛ I

Предреволюционная эпоха и 1905 год

| | |
|--|---|
| Первые писатели-выходцы из новых классов | 5 |
| Весенние мелодии — Максима Горького | 7 |

ГЛАВА ПЕРВАЯ

| | |
|--|----|
| Максим Горький — вестник революции 1905 г. | 11 |
| Автобиографическая заметка 1897 г. | 13 |
| Автобиограф. заметка из журнала «Семья» № 36 за 1899 г. | 14 |
| Первые литературные шаги М. Горького. Автобиографические рассказы. I. Времья Короленко | 17 |
| II. Короленко | 23 |
| «Более чем оригинально!» (Случай с Максимом Горьким) | 25 |
| 9-е января (отрывок из очерка) | 30 |
| I. Максим Горький о писателях самоучках | 31 |
| II. Из предисловия к книге стихов Ив. Морозова | 32 |
| III. Максим Горький о творчестве рабочих | 32 |

ГЛАВА ВТОРАЯ

| | |
|--|----|
| Демократическая беллетристика. — Скиталец (Петров). — Н. Темный (Н. А. Лазарев). — А. И. Свирский. — А. П. Чапыгин. — И. Вольнов | 34 |
| Скиталец. — В. Львов-Рогачевский | — |
| Из песен Скитальца. — Поставление | 36 |
| Утро жизни | 40 |
| Гуслар | 41 |
| Свирский, А. И. | 43 |
| Автобиография | 44 |
| Юбилей А. И. Свирского. — Ю. М. Соболев | 52 |
| Отрывок из «Записок рабочего» | 57 |
| Н. Темный (Н. А. Лазарев) — очерк И. А. Белоусова | 62 |
| А. П. Чапыгин. — В. Львов-Рогачевский | 63 |
| Белая ночь | — |
| Осенний страх | — |
| Лесной пестун (отрывок из рассказа) | 67 |
| Иван Вольнов. — В. Львов-Рогачевский | — |
| Повесть о днях моей жизни (Юность. Часть 2, глава 6, отрывок) | 68 |

¹ Курсив наш. В. Л.-Р.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Стр.

| | |
|---|----|
| Революционно-марксистская беллетристика.—А. П. Бибики.— П. Бессалько | 74 |
| А. П. Бибики.—В. Львов-Рогачевский | 75 |
| К широкой дороге. Отрывок 1 | 81 |
| Отрывок 2 | 84 |
| П. К. Бессалько.—В. Львов-Рогачевский | 85 |
| Из воспоминаний о почивших борцах за пролетарскую культуру.—А. В. Луначарский | 86 |
| Кагастрюфа (отрывок) | 91 |
| Песни садовника VIII | 96 |
| IX | 92 |

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

| | |
|---|-----|
| Демократическая лирика.—С. Д. Дрожжин.—И. А. Белоусов.— С. Д. Фомин.—Ив. Морозов.—Е. Нечаев.—Ф. С. Шкулев.— А. Гмырев.—Е. Тарасов | 93 |
| С. Д. Дрожжин.—В. Львов-Рогачевский | — |
| О Спиридоне Дрожжине.—Гость | 86 |
| Песня | 99 |
| Без довольства | 100 |
| Народному певцу | — |
| Сторонка благодатная | — |
| От юных лет | — |
| Возращение из города | 101 |
| Много песен | — |
| Радость пахаря | — |
| И. А. Белоусов.—В. Львов-Рогачевский | — |
| На родине | 102 |
| С. Д. Фомин.—В. Львов-Рогачевский | — |
| Из письма С. Д. Фомина к Н. А. Рубакину | 103 |
| Н. А. Рубакин о народных поэтах | 104 |
| Родословная | 105 |
| Посту-пахарю.—Дрожжину | 106 |
| В июле | — |
| В аллом вихре | — |
| Иван Морозов.—В. Львов-Рогачевский | 107 |
| Из письма И. Морозова к М. Горькому | — |
| Зашуми ты, вихрь могучий | 108 |
| Блажен | — |
| Г. Е. Нечаев.—В. Полянский | — |
| Гутарям | 112 |
| На работе | — |
| Гимн пролетарским птенцам | — |
| Ткач (Шкулеву) | 113 |
| Ф. С. Шкулев.—В. Львов-Рогачевский | 114 |
| Кузнецы | 115 |
| Алексей Гмырев.—В. Львов-Рогачевский | 116 |
| Вот и прожита жизнь | 117 |
| В черном мраке | — |
| Под знамя | — |
| Евгений Тарасов.—Москва в декабре | 118 |

ОТДЕЛ II

Литература рабоче-крестьянская.

| | |
|---|-----|
| О. Русь, взмахни крылами.—С. Есенин (Вместо эпиграфа ко 2-му отделу) | 121 |
|---|-----|

ГЛАВА ПЕРВАЯ

| | |
|--|-----|
| «Новокрестьянское творчество». — Вводный критический очерк В. Львова-Рогачевского (новокрестьянское творчество) | 122 |
|--|-----|

ГЛАВА ВТОРАЯ

| | |
|--|-----|
| Лирика новокрестьянских поэтов.—Пимен Карпов.—С. Клычков.— Н. Клюев.—А. Ширяевец.—С. Есенин.—П. Орешин.— Я. Тисленко.—Автобиографии и характеристики | 134 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| Пимен Карпов.—Стой, солнце | — |
| Рябину Ивану | — |
| С. А. Клычков.—В. Львов-Рогачевский | 136 |
| Сад | 137 |
| Детство | — |
| Была над рекою | — |
| На чужбине | 138 |
| Куда ни глянь | — |
| Люблю свой незатейный жребий | 142 |
| Н. А. Клюев.—В. Львов-Рогачевский | — |
| Вы обещали нам сады | — |
| Александру Блоку | 143 |
| Владимиру Кириллову | — |
| Меня Распутным назвали | 144 |
| Где рай финифтный | — |
| Пахарь | — |
| Песня про судьбу | — |
| В золотканые дни Сентября | 145 |
| Пушистые темные тучи | — |
| Осинник гудит | — |
| Безответным рабом | 146 |
| Я иду на черную рубаху | — |
| Красная песня | 147 |
| Товарищ | — |
| Из подвала, из темных углов | — |
| Из «Красной Газеты» | — |
| Ленин | 148 |
| Сказке | — |
| Сергею Есенину | 149 |
| Завещание | — |
| Сергей Есенин.—Автобиография | 150 |
| О Сергее Есенине.—В. Львов-Рогачевский | 154 |
| Товарищ | 155 |
| За темной прядью перелезет | — |
| Голубень | 156 |
| Гой ты, Русь | — |
| Матушка в купальницу по лесу ходила | — |
| Проплясал, проплакал дождь весенний | 157 |
| Исповель хулигана | 158 |
| Сорокоуст | — |
| Все живое | — |
| Заметался пожар голубой | — |
| Ты такая ж простая | 159 |
| Александр Ширяевец.—В. Львов-Рогачевский | 165 |
| Разлука | — |
| Воспоминания о поэте А. В. Ширяевце.—П. П. Шпак | 168 |
| Из подготовленной к печати книги «Гоминьялик» (предисловие) | 169 |
| Памяти отца | — |
| Старая Винарадка | — |
| 905 год | — |

